

П. Миллюковъ.

ОЧЕРКИ

ПО ИСТОРИИ

РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

Национализмъ и общественное
мнѣніе.

Выпускъ первый.

Изданіе редакціи журнала «МІРЪ БОЖІЙ».



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія И. Н. Скороходова (Надеждинскыя, 43).

1901.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

Введение	СТР. 1—13
---------------------------	----------------------

Общія понятія. Два оттънка въ пониманіи «народнаго самосознанія»: «національное» и «общественное самосознаніе» 1—3.— Составные элементы понятія «національности» 3—8.— Національность и раса 3—4.— Національность и среда 4—5.— Національность—явленіе социальное, продуктъ психическаго вваимодѣйствія 5—7.— Значеніе языка и религіи въ образованіи національности 7—8.— Процессъ развитія національнаго самосознанія и его фазисы: самовозвеличеніе и самокритика 9—11.—Періоды въ развитіи русскаго общественнаго самосознанія 12—13.

I. Націоналистическіе идеалы органической эпохи и первыя попытки ихъ критики (XV—XVII вѣка)	14—129
--	---------------

I. Русское общественное самосознаніе не вытекаетъ изъ преемства удѣльно-вѣчевыхъ традицій 14—17.—Степень сознательности процесса образованія Московскаго государства 18—25.

II. Практика и идеологія московской политической программы 27—46.—Общій характеръ историческаго перелома въ концѣ XV в. 27—28.—Жлтейскіе элементы московской программы: 1) традиція скопидомства 28—29.—2) Традиція «единства», превратившагося въ «объединеніе» 29—30.—3) Традиція религіознаго единства 30—31.—Религія, какъ орудіе политики 31—32.—Идеологическіе элементы программы и ихъ источникъ 32.—Попытки Европы вовлечь Россію въ союзъ противъ турокъ; бракъ съ Софіей Палеологъ, какъ средство,—и неожиданный результатъ: возникновеніе идеи панруссизма 32—37.— Національно-политическія стремленія южныхъ славянъ 37—39.—Ихъ перенесеніе на Москву 39—41.—Возникновеніе подъ ихъ вліяніемъ новой идеи о Москвѣ—третьемъ Римѣ и о римско-византійскомъ преемствѣ власти 41—45.

III. Судьба оппозиціонныхъ идеологій въ XVI вѣкѣ 47—69.—Источники религіознаго вольнодумства—въ еретическомъ и мистическомъ движеніи на Балканскомъ полуостровѣ и на Аеонѣ 48—50.—Ниль Сорскій и «нестяжатели» 50.—Попытки власти восполь-

зоваться движениемъ для секуляризаціи духовныхъ имуществъ 51—52. — Второе поколѣніе «нестяжателей» компрометируетъ себя союзомъ съ политической оппозиціей 52—54. — Ихъ противники (Иосифъ) предлагаютъ власти теоретическую поддержку 54—55. — Отношеніе власти къ новому политическому классу 55—56. — Его оппозиція 57—58. — Союзъ боярства съ нестяжателями и его послѣдствія 58—59. — Развитие теоріи демократическаго самодержавія въ памфлетѣ Ивашки Пересвѣтова 60. — Развитие оппозиціонной теоріи въ отвѣтъ публициста боярско-нестяжательской партіи 61—62. — Отголоски оппозиціонныхъ мнѣній на соборахъ середины XVI в. 62—63. — Соціальная оппозиція, какъ мотивъ для религіозно-моралистической полемики 64; какъ орудіе монархической программы 65—66. — Активное проявленіе соціального протеста въ смутное время 67—68.

IV. Торжество націоналистическихъ идеологій 70—89. — Побѣда религіозно-политической теоріи 71—72. — Ея популярность въ массѣ 72—73. — Побѣда соціальной программы Пересвѣтова: поддержка «войнства» въ ущербъ боярству и крестьянству 74. — Роль всѣхъ трехъ соціальныхъ элементовъ въ событіяхъ смутнаго времени 74—77. — Преобладаніе «ратныхъ людей» 77—78. — Развитие ихъ программы въ договорахъ съ временнымъ правительствомъ и кандидатами на престолъ 78—81. — Ихъ активное участіе въ правительствахъ Трубецкаго и Пожарскаго 81—85. — Примѣненіе предыдущихъ соглашеній къ новому кандидату (Михаилу) 85—86. — Исключительная роль земскаго собора и ея непродолжительность 86—87. — Бюрократія и дворянство 88—89.

V. Національное сознаніе въ столкновеніи съ иноземными элементами 90—129. — Иноземное вліяніе, какъ факторъ національнаго самосознанія 90—92. — Формулировка націоналистической традиціи, какъ результатъ 92—93. — Вліяніе иноземнаго быта на обстановку жилища 94—95; на костюмъ 95—96; на образъ жизни 96—97; удовольствія 97—98. — Вліяніе идей въ области религіи и науки 98—99. — Поѣздки за границу 99—100. — Иностранная колонія въ Москвѣ 100—101. — Составъ населенія Нѣмецкой Слободы 102—103. — Вѣроисповѣданія 103—104. — Обрусѣніе 104—105. — Знакомство русскихъ съ иностранными языками 105. — Книжная торговля въ Москвѣ 105—106. — Переводы съ иностр. языковъ 107. — Реакція націонализма противъ иностранцевъ 107—110. — Выселеніе въ Слободу 110. — Сознательное обсужденіе національнаго вопроса въ соч. Крижанича 111—127. — Дилемма, предстоящая Россіи въ виду противоположности культурныхъ вліяній нѣмцевъ и грековъ 112—115. — Причина преимущества иностранцевъ передъ русскими 116—117. — Время—лучшій учитель 117—118. — Для славянства время учиться наступило 118. — Опасность иноземнаго вліянія и средства борьбы 119; предпочтительность русскаго быта и необходимыя въ немъ реформы 120. — Преимущества русскаго общественнаго строя 121. — Преимущество самодержавія 121—122; вредъ крайностей въ политическомъ строѣ 122. — Обязанности короля 123. — Необходимость развитія производительныхъ силъ Россіи 124. — Средства къ этому 125. — Необходимость политической реформы 126. — Идеи Крижанича и русская дѣйствительность 127—128.

II. Официальная побѣда критическихъ элементовъ надъ націоналистическими. 129—181

I. Стихийная побѣда и стихийная реакція 130—181.—Невозможность «средняго» пути Крижанича 131.—Первоначальная близость элементовъ націонализма и критике и нейтральная позиція царя Алексѣя 132—133.—Обостреніе противорѣчій 133.—Умѣренно-національная реформа Голицына 134.—Ея показной характеръ 135—136.—Контрастъ съ Петромъ 137.—Короткое торжество націоналистической реакціи 138—139.—Необходимость и возможность насильственнаго и личнаго характера реформы 139.—Отсутствіе препятствій со стороны духовенства и бюрократіи 140—141.—Безсиліе другихъ общественныхъ элементовъ 142—144.—Отношеніе Петра къ бюрократіи и боярству 144—145.—Изолированность Петра и выборъ сотрудниковъ 145—147.—Петръ опирается на гвардейское дворянство 147—149.—Разница взглядовъ на личную роль Петра въ его реформѣ 149—150.—Его пониманіе задачъ и приѣмовъ реформы 151—153.—Внѣшнее пониманіе европейской культуры 153—154.—Импульсивность воли и недисциплинированность мысли, какъ препятствія для обдуманнаго и сознательнаго отношенія къ собственной реформѣ 155—156.—Отсутствіе плана не замѣняется общей схемой (безопасность—правосудіе) 156—157.—Не замѣняется и чувствомъ служебной дисциплины 157—158.—Результатъ: экспериментированіе на удачу и отрывочность отдѣльныхъ усилій 158—159.—Отраженіе этихъ чертъ на созданіи арміи, флота, Петербурга 159—162.—Выводъ 162—163.—Расколъ, какъ готовое орудіе націоналистической реакціи 163.—Отсутствіе принципиальной основы для разногласія съ нивоніанствомъ 163—165.—Колебанія массы 165—166.—Реформа Петра даетъ принципиальную основу націоналистическому протесту и отталкиваетъ массу въ лагерь старовѣровъ 166—167.—Недовольство распространяется повсемѣстно 167—169.—Отсутствіе въ расколѣ соціального элемента 170.—Попытка союза соціальной оппозиціи съ религіозною на Дону въ 1688 г. и ея неудача вслѣдствіе разнородности взглядовъ и цѣлей 170—173.—Стрѣльцы возобновляютъ попытку 173—174.—Новая формула націонализма 174—175.—Послѣдняя неудачная попытка соглашенія религіозной оппозиціи съ казачествомъ въ Астрахани 1705 г. 175—176.—Молчаливая оппозиція «родословныхъ людей» 176.—Связи съ царевичемъ Алексѣемъ 177. Критика внѣшней и внутренней политики Петра съ точки зрѣнія классовыхъ интересовъ дворянства и знати 178—181.

ВВЕДЕНІЕ.

Развитіе соціального самосознанія—предметъ третьей части «Очерковъ».—Односторонность пониманія «народнаго самосознанія» у нѣкоторыхъ предъидущихъ писателей—Различеніе въ «народномъ самосознаніи»—«національнаго» и «общественнаго»—Ошибочность стараго пониманія «національности».—Современное ученіе объ отношеніи національности къ «расѣ».—Вопросъ о зависимости ея отъ географическихъ условій.—Національность—понятіе социальное.—Психическое взаимодѣйствіе—основа соціальныхъ явленій вообще и національности въ частности.—Языкъ—какъ органъ психическаго взаимодѣйствія.—Измѣнчивость языка.—Религія, какъ символъ національности.—Національное сознаніе отчасти само создаетъ свое содержаніе—Раннія стадіи въ развитіи національнаго самосознанія—Періодъ военной борьбы за формированіе націи.—Соотвѣтствующая ему стадія національнаго самовозвеличенія; ея религіозная санкція и социальное значеніе послѣдней.—Условія, опредѣляющія направленіе и степень дальнѣйшаго развитія общественнаго самосознанія.—Происхожденіе, распространеніе и результаты критическаго возрѣнія—Отношеніе сказаннаго къ темѣ третьей части «Очерковъ».

Въ двухъ первыхъ томахъ «Очерковъ по исторіи русской культуры» мы имѣли дѣло, главнымъ образомъ, съ стихійными или полусознательными историческими процессами, развитіе и общій ходъ которыхъ менѣе всего опредѣлялись сознательнымъ выборомъ или рѣшеніемъ общества или его представителей. Мы прослѣдили каждый изъ этихъ процессовъ до конца и могли убѣдиться, что всѣ они становятся, однако же, болѣе сознательными по мѣрѣ приближенія къ современности.

Та или другая степенъ сознательности есть, конечно, во всякомъ соціальномъ процессѣ, такъ какъ всѣ соціальныя явленія происходятъ въ психической средѣ. Но «общественное» самосознаніе предполагаетъ наличность извѣстнаго механизма, посредствомъ котораго индивидуальная мысль становится общественной. Чѣмъ этотъ механизмъ совершеннѣе, тѣмъ быстрѣе происходитъ эта передача, и тѣмъ скорѣе и цѣлесообразнѣе реагируетъ общественная мысль на получаемые ею импульсы. Напротивъ, чѣмъ механизмъ передачи примитивнѣе, тѣмъ болѣе отстаетъ моментъ передачи отъ момента усвоенія, тѣмъ болѣе, слѣдовательно, является запоздалымъ усвоенный общественнымъ самосознаніемъ результатъ, тѣмъ труднѣе замѣнить этотъ результатъ другимъ, новымъ въ общественномъ сознаніи, и тѣмъ труднѣе сдѣлать изъ него какое-либо практическое приложеніе къ окружающей дѣйствительности. Такимъ образомъ, степень соотвѣтствія между дѣйствительностью и ея отраженіемъ въ общественномъ сознаніи, можетъ быть чрезвычайно разнообразна, а при неразвитости механизма для

передачи и усвоения общественной мысли—бываетъ обыкновенно крайне низка. Вотъ почему, хотя наличность и непрерывность общественнаго самосознанія есть социальный фактъ, не подлежащій никакому сомнѣнію, но было бы верхомъ заблужденія ограничивать изученіе социальныхъ процессовъ областью общественно-сознаваемого и тѣмъ большей ошибкой было бы искать у этого общественнаго самосознанія отвѣтовъ на научные вопросы о причинахъ тѣхъ или другихъ социальныхъ явленій.

Уже изъ только что сказаннаго видно, что общественное самосознаніе само есть одно изъ такихъ социальныхъ явленій, находящееся въ неразрывной связи съ стихійными процессами, изучавшимися выше и, подобно имъ, подлежащее закономерному объясненію. Передъ историческимъ трибуналомъ оно не можетъ фигурировать не только въ роли судьи или адвоката, но даже и въ роли простого свидѣтеля, признаннаго констатировать факты: оно является скорѣе объектомъ разбирательства, и его дѣянія должны быть установлены, взвѣшены и оцѣнены при помощи данныхъ и приѣмовъ, независимыхъ отъ его собственныхъ показаній.

Эта точка зрѣнія діаметрально противоположна той, съ которой очень часто трактовалась исторія «народнаго самосознанія». Самый этотъ терминъ слишкомъ долго оставался монополіей создавшаго его мировоззрѣнія, по духу котораго всѣ вопросы національной жизни должны были рѣшаться простой справкой съ тѣмъ, что говоритъ или какъ думаетъ объ этомъ «народное самосознаніе». Содержимое народнаго самосознанія, рѣшавшее, въ послѣдней инстанціи, важнѣйшіе вопросы народной жизни, считалось при этомъ неподлежащимъ анализу: оно было дано искони, отъ вѣка вложено въ сознававшій себя народъ.

Предметомъ подобнаго «самосознанія» являлся, по необходимости, сложившійся въ прошломъ общественный типъ: и ссылка на «народное самосознаніе» получала смыслъ защиты этого традиціоннаго типа отъ всякихъ покушеній на его измѣненіе. Дѣйствительно, только таково—т.-е. анахронично и традиціонно—и могло быть содержимое «народнаго сознанія» въ періодъ отсутствія всякихъ цѣлесообразныхъ приспособленій для выработки общественной мысли. Въ народномъ сознаніи, по закону контраста, запечатлѣвалось преимущественно то, что составляло особенность, отличіе данной національности отъ сосѣднихъ, и этотъ *націонализмъ* переносился изъ области внѣшней политики въ область внутренней. Однако, дальнѣйшія усовершенствованія въ процессѣ выработки общественной мысли должны были привести, рано или поздно, къ измѣненію содержанія «народнаго самосознанія». Изъ «*національнаго*» оно должно было сдѣлаться «*общественнымъ*»—въ смыслѣ бѣльшаго вниманія къ внутренней политикѣ, лучшаго пониманія требованій современности въ этой области и болѣе активнаго отношенія къ этимъ требованіямъ.

Такимъ образомъ, только что отмѣченные два оттѣнка въ содержаніи

«народнаго самосознанія» знаменуютъ собою, въ то же время, два послѣдовательныхъ момента въ развитіи этого самаго содержанія. Національное самосознаніе является, при этомъ, психологически и хронологически, первымъ моментомъ, а общественное самосознаніе—вторымъ. И носителями того и другого являются не однѣ и тѣ же общественныя группы. Простая справка съ современнымъ народнымъ самосознаніемъ наиболее развитыхъ странъ Европы покажетъ, что хранителями національнаго самосознанія являются группы, программа которыхъ имѣетъ цѣлью сохраненіе остатковъ прошлаго, тогда какъ выразителями общественнаго самосознанія становятся другія группы, занятая преимущественно устройствомъ лучшаго будущаго. Естественно, что при такой дифференціаціи программъ—«національное самосознаніе» представляется съ характеромъ болѣе или менѣе традиціоннымъ, тогда какъ «общественное самосознаніе» имѣетъ характеръ по преимуществу реформаторскій.

Представленіе о національности, какъ о чемъ то традиціонномъ, естественно повело, при недостаткѣ научныхъ свѣдѣній, къ мнѣнію, будто бы «національность» есть вѣчто неизмѣнное, отъ самаго начала данное, неразрывно связанное съ плотью и кровью народа, съ его физической организаціей. Такое мнѣніе могло держаться, однако, лишь до тѣхъ поръ, пока наши свѣдѣнія объ исторіи народовъ ограничивались предѣлами исторически-извѣстнаго, т. е. самаго короткаго періода исторіи жизни человѣчества. Чѣмъ больше наука углубляется въ доисторическую тьму, тѣмъ яснѣе становится, что, въ сущности, современная «національность» есть самый поздній изъ продуктовъ исторической жизни: и то, что говоритъ объ этомъ современная антропология и доисторическая археология, сполна подтверждается выводами современныхъ соціологовъ.

Прежде всего, надо считать безвозвратно прошедшимъ то время, когда можно было искать неизмѣнной основы національности въ естественно-историческомъ понятіи «расы». Не говоримъ уже о томъ, что чистую «расу» можно въ настоящее время встрѣтить лишь тамъ, гдѣ есть искусственный подборъ, и что на свободѣ, въ природѣ, мы встрѣчаемъ лишь смѣшанныя расы, причемъ процессъ смѣшенія мы должны возводить къ самымъ первымъ временамъ существованія человѣчества. Но даже если мы возьмемъ вторичные продукты этихъ древнѣйшихъ смѣшеній, все еще доисторическія «расы», отличающіяся большимъ или меньшимъ преобладаніемъ извѣстныхъ анатомическихъ и физиологическихъ признаковъ (длиннаго или широкаго черепа, высокаго или низкаго роста, круглой или овальной формы, а также темнаго или свѣтлаго цвѣта волосъ и глазъ), то мы увидимъ, что, во-первыхъ, самые эти признаки, по всей вѣроятности, не оставались неизмѣнными на протяженіи исторіи (особенно ростъ и цвѣтъ волосъ и глазъ), а во-вторыхъ даже и самая позднія изъ такихъ физиологи-

ческихъ измѣненій все-таки совершились до . . . тныхъ намъ «національностей», такъ какъ современныя національности объединяютъ въ себѣ людей самого разнообразнаго физическаго строевія, т. е. самыхъ чуждыхъ другъ другу расъ. Съ другой стороны, одна и таже первоначально «раса»—служить въ настоящее время физическимъ матеріаломъ для самыхъ разнообразныхъ національностей, не имѣющихъ между собой ничего общаго. Такъ, антропологи все рѣшительнѣе приходятъ къ выводу, что длинноголовая раса составляла древнѣйшее населеніе Европы, родственное африканскому и отодвинутое впоследствии на сѣверъ и на югъ Европы пришедшей изъ Азіи короткоголовой расой, врѣзавшейся клиномъ въ среду этого старѣйшаго населенія. Между тѣмъ, теперь обѣ расы безразлично входятъ въ составъ англійской, французской, нѣмецкой и итальянской національности: а потомки первобытныхъ длинноголовыхъ оказываются эскимосами въ полярныхъ странахъ, скандинавами въ сѣверной, испанцами и итальянцами въ южной Европѣ. И такъ, говорить о «расовомъ» различіи національностей въ наше время было бы непозволительнымъ анахронизмомъ, свидѣтельствующимъ только о недостаточномъ знакомствѣ съ современнымъ состояніемъ науки.

Гораздо больше, чѣмъ «кровь», въ созданіи современныхъ національностей должна была участвовать «природа», окружающая обстановка, т. е. главнымъ образомъ климатъ, затѣмъ почва и другія географическія условія. Было время, когда этимъ условіямъ приписывалась главная роль въ процессѣ физическаго преобразованія типа, въ превращеніи, наприм., низкаго роста въ высокій или темнаго цвѣта въ свѣтлый. Теперь и въ этомъ отношеніи происходитъ нѣкоторая реакція, выдвигающая для объясненія новыхъ разновидностей не столько климатъ, сколько тотъ же извѣстный намъ процессъ смѣшеній. Мы не можемъ вдаваться здѣсь въ подробности этого спора, до сихъ поръ еще не конченнаго и не приведшаго къ вполне ясному результату. Для нашей цѣли важно отмѣтить, что и сколько-нибудь видные результаты воздѣйствія природы все еще лежатъ внѣ тѣхъ хронологическихъ предѣловъ, къ которымъ мы можемъ отнести происхожденіе современныхъ «національностей». То же самое придется, вѣроятно, сказать и о психо-физиологическихъ различіяхъ народовъ, сложившихся подъ климатическими и др. географическими вліяніями. Въ популярной рѣчи мы постоянно говоримъ о «южномъ» или «сѣверномъ темпераментѣ» той или другой національности или различныхъ частей одной и той же національности. Но уже самая эта терминологія показываетъ, что подобныя отличія темпераментовъ мы не ставимъ ни въ какую связь съ національностями: и дѣйствительно, напр., «южный темпераментъ» есть свойство, которое сближаетъ въ одну группу представителей самыхъ разнообразныхъ національностей Европы: испанцевъ, итальянцевъ, грековъ, жителей южной Германіи, Франціи, Россіи и т. д.

Чему же обязаны «національности» своимъ происхожденіемъ, если «кровь» совсѣмъ не участвовала, а «природа» только отчасти участвовала въ ихъ созданіи? Въ противоположность прежнимъ толкованіямъ, необходимо настойчиво подчеркивать, что «національность» есть понятіе не естественно-историческое и не антропогеографическое — а чисто *соціологическое*.

Современные соціологи спорятъ о томъ, какой основной признакъ отдѣляетъ соціальное явленіе отъ не-соціального. Но среди этихъ споровъ можно, какъ кажется, уловить общій центръ, къ которому тяготѣютъ различныя предложенныя соціологами объясненія того, что слѣдуетъ понимать подъ соціальнымъ явленіемъ. Можно считать прежде всего окончательно выясненнымъ тотъ пунктъ спора, на которомъ самая возможность выдѣленія специфически-соціальныхъ явленій отъ явленій сосѣднихъ наукъ подвергались сомнѣнію. Ни къ чистой *механикѣ*, ни къ чистой *біологіи* свести объясненія соціальныхъ явленій не удалось, и если неясна еще граница между *психологіей* и соціологіей, то только потому, что чисто индивидуальная психологія оказывается все болѣе и болѣе нераздѣльной отъ соціальной, такъ что, въ концѣ концовъ, рискуетъ окончательно раствориться въ послѣдней. Это не значитъ еще, конечно, чтобы мы готовы были принять существованіе нѣсколько мистической «коллективной души», вмѣстѣ съ ея защитниками. Напротивъ, индивидуальное сознаніе, несомнѣнно, является единственнымъ носителемъ коллективнаго сознанія—и при томъ до такой степени, что мы не знаемъ, что осталось бы въ немъ, еслибы исключить изъ него все, принадлежащее этому послѣднему.

Правда, Гиддингсъ, со свойственной ему схематичностью, пробовалъ отдѣлить индивидуальную психологію, какъ «науку объ ассоціаціи идей» отъ соціологіи, какъ «науки объ ассоціаціи умовъ». Но здѣсь, какъ часто бываетъ у этого писателя, различіе могло быть проведено только *in abstracto*. Гиддингсъ слишкомъ глубокой соціологъ, чтобы не призвать, *in concreto*, что безъ «ассоціаціи умовъ» самая «ассоціація идей» не могла бы развиваться до той степени, на которой становится возможнымъ, при помощи языка, отдѣленіе общихъ понятій отъ представленій и сочетаніе ихъ въ предложенія. Нельзя не принять свѣтлой мысли Гиддингса, что эта ступень развитія, на которой человѣкъ сдѣлался человекомъ, достигнута уже какъ результатъ могущественнаго дѣйствія соціальной группировки, т. е. что общественная жизнь явилась необходимымъ предварительнымъ условіемъ, объясняющимъ самое появленіе языка и достиженіе соотвѣтствующей ступени психическаго развитія индивидуума. Но, принявъ эту мысль, мы тѣмъ самымъ приобретаемъ надежную почву для отысканія кореннаго признака отдѣляющаго соціальныя явленія отъ не-соціальныхъ. Соціальная группировка съ одной стороны предполагаетъ, а съ другой сама создаетъ извѣстныя средства психологическаго взаимодействія. Такимъ

образомъ, *психическое взаимодействие умовъ* со всѣми приемами и результатами этого взаимодействия является основной чертой, отличающей новую группу явлений, социальную, отъ всѣхъ другихъ.

Правда, только что—данное опредѣленіе особенности социальныхъ явлений казалось многимъ социологамъ еще черезчуръ общимъ, и они искали другого, болѣе частнаго. Такъ, напр., одинъ изъ *приемовъ* психическаго взаимодействия, именно подражаніе, послужилъ выдающемуся французскому социологу Тарду основаніемъ для цѣлой социологической системы. Несомнѣнно, однако, что это только *одинъ* изъ приемовъ, и что самая характеристика его, какъ односторонняго «подражанія», предполагаетъ слишкомъ рѣзкое различіе между тѣмъ, кто подражаетъ, и тѣмъ, кому подражаютъ. Психическое взаимодействие опредѣлено здѣсь слишкомъ узко; и понятно, что на такомъ односторонне-формулированномъ принципѣ—могла быть построена лишь односторонняя же теория. Съ другой стороны, одинъ изъ *результатовъ* психическаго взаимодействия, «сознаніе принадлежности къ одному и тому роду», былъ выдвинутъ, какъ коренной признакъ общественной ассоціаціи, Гиддингсомъ. Односторонность такой формулировки, какъ исключительно субъективной оставляющей въ сторонѣ объективную сторону, такъ сказать, движущую пружину явленія, была уже указана Гиддингсу Тардомъ. Нѣмецкій ученый Штаммлеръ хотѣлъ обратить преимущественное вниманіе изслѣдователей на *цѣль* всякаго социального взаимодействия, и призналъ *единственной* такою цѣлью—стремленіе къ установленію извѣстныхъ правовыхъ нормъ взаимныхъ отношеній. Но и это опредѣленіе коренного признака социальныхъ явлений сводится къ одной изъ разновидностей психическаго взаимодействия и не исчерпываетъ его ни лиѣ какъ уже замѣтилъ Штаммлеру одинъ изъ его нѣмецкихъ рецензентовъ. Какъ бы то ни было, всѣ названные социологи сходятся въ одномъ: идея психическаго взаимодействия лежитъ въ основѣ всѣхъ ихъ опредѣленій. И даже Гумпловичъ, проводящій рѣзкую границу между психическими и социальными явленіями, и считающій возможнымъ въ основу социологическаго объясненія положить только социологическій же фактъ (принявъ за элементарную единицу социального явленія не индивидуума, а извѣстную социальную группу),—даже Гумпловичъ вынужденъ былъ—отдѣлать явленія психическаго взаимодействия (языкъ, религію, правы, обычаи и т. д.), въ особую группу—явленій «социально-психическихъ». При болѣе широкомъ взглядѣ онъ долженъ былъ бы отнести сюда и тѣ явленія (социальная группа, государство), которыя онъ отводитъ въ особую рубрику—явленій чисто «социальныхъ».

Легко замѣтить, что ни одна изъ перечисленныхъ формулировокъ не исключаетъ другой—и не исключаетъ также возможности новыхъ формулировокъ подсобнаго же рода, т. е. основанныхъ на одномъ и томъ же коренномъ признакѣ—психическаго взаимодействия. Уже изъ одного этого можно было бы заключить, что всѣ эти формулировки грѣшатъ не столько ошибочностью, сколько неполнотой и односторонностью.

Для нашей цѣли, т. е. для выясненія понятія національности какъ чисто соціального, достаточно остано­виться на общемъ, включающемъ всѣ другія опредѣленія соціальныхъ явленій.—какъ явленій психиче­скаго взаимодействія. Национальность есть соціальная группа, распо­лагающая такимъ единственнымъ и необходимымъ средствомъ для не­прерывнаго психическаго взаимодействія, какъ языкъ, и выработав­шая себѣ постоянный запасъ однообразныхъ психическихъ навыковъ, регулирующихъ правильность и повторяемость явленій этого взаимо­дѣйствія. Изъ этого опредѣленія сама собой вытекаетъ важность языка для національности. Можно даже сказать, что языкъ и націо­нальность—это понятія если не тождественныя, то вполне покрываю­щія одно другое. Предѣлы одного—тождественны съ предѣлами дру­гого. Даже продолжительное раздѣленіе одноязычной группы между различными политическими организаціями не можетъ уничтожить въ ея членахъ «сознанія рода», пока уцѣлѣлъ языкъ; точно также и разно­язычныя соціальныя группы не могутъ даже при продолжительномъ сожи­тельствѣ внутри одной политической группы слиться въ одну національ­ность, пока не слились ихъ языки. «Тотъ, кто говоритъ на двухъ язы­кахъ, есть измѣнникъ».—это политическое правило первобытныхъ пле­менъ какъ нельзя лучше подчеркиваетъ важность, которую инстинк­тивно придавала единству языка государственная мудрость того вре­мени. А борьба за государственный языкъ, какъ за самое могуще­ственное средство сліянія съ господствующей національностью, и от­чаянное противоудѣйствіе, которое оказываютъ этому національныя меньшинства въ разныхъ странахъ Европы, напоминаютъ намъ, что и до нашего времени тѣснѣйшая связь языка и національности при­знается основной аксіомой не въ однихъ только соціологическихъ трак­татахъ. И самая напряженность, которой достигаетъ борьба за языкъ въ наше время (напр. въ Турціи или Австріи), доказываетъ, что обѣ борющіяся стороны считаютъ результатъ борьбы нерѣшеннымъ и впол­нѣ зависящимъ отъ ихъ сознательныхъ усилій. На самомъ дѣлѣ, языкъ, этотъ коренной признакъ національности, оказывается далеко не проч­нымъ ея достояніемъ. Два или три поколѣнія, при благопріятныхъ условіяхъ, могутъ быть достаточны, чтобы превратить одну «націо­нальность» въ другую. На нашихъ глазахъ цѣлыя области, напр. Ма­кедонія, подвергаются этому «соціологическому» эксперименту. Пишу­щій эти строки могъ лично наблюдать, какъ въ турецкихъ областяхъ армяне, греки и славяне превращались въ турокъ, (въ Малой Азіи), болгары въ «грековъ» и обратно въ болгаръ, тоже и албанцы; при благопріятныхъ условіяхъ, напр. для сербской пропаганды въ Маке­доніи, нѣтъ ничего мудренаго, что часть македонцевъ превратится въ «сербовъ» прежде, чѣмъ слависты успѣютъ доказать, что ихъ ста­рый языкъ былъ «болгарскимъ». На нашихъ глазахъ такое превра­щеніе «болгаръ» въ «сербовъ» было достигнуто, въ какіе нибудь двад­

цать лѣтъ въ отторгнутыхъ отъ болгарскаго племени пограничныхъ областяхъ. И всѣ эти быстрыя перемѣны достигались съ помощью самаго простаго средства: забвенія своего стараго языка и употребленія новаго. Итакъ, языкъ,—этотъ основной и наиболѣе существенный признакъ національности, носитель всѣхъ связанныхъ съ ея понятіемъ ассоціацій,—оказывается явленіемъ въ высшей степени хрупкимъ и преходящимъ. Нѣтъ ничего удивительнаго, что населеніе Европы, съ древнѣйшихъ временъ пережившее множество завоеваній и смѣшеній, могло много разъ перемѣнить свой языкъ, оставаясь въ то же время антропологически тѣмъ, чѣмъ было и прежде: это наблюденіе окончательно разъясняетъ, почему нельзя искать никакого соответствія между языкомъ (а слѣдовательно и національностью) и «расой».

То, что сказано о языкѣ, тѣмъ болѣе вѣрно по отношенію къ другимъ явленіямъ, представляющимъ изъ себя не орудіе и не средство психическаго взаимодействія, а его результаты. Въ національномъ самосознаніи, напр., религія является часто столь же существенной, и представляется столь же коренной и исконной чертой національности какъ и языкъ. Въ данномъ случаѣ, однако, опять голосъ самосознанія можетъ ввести изслѣдователя въ заблужденіе. Лица, жившія нѣкоторое время на Балканскомъ полуостровѣ, могутъ засвидѣтельствовать, напр., какое огромное значеніе имѣетъ религія въ христіанскихъ областяхъ остающихся подъ турецкою властью, и какъ равнодушно относится къ той же религіи населеніе областей, только что добившихся національной независимости. Явленіе это, повторявшееся не разъ и въ прошломъ, можетъ свидѣтельствовать объ одномъ: религія въ подобныхъ случаяхъ, очевидно, цѣнилась не по внутреннему своему значенію, а какъ символъ соціальной обособленности исповѣдующаго ее населенія. Соціальная роль религіи въ этихъ случаяхъ можетъ быть огромна, и въ то же время вѣроисповѣдное ея значеніе сводится къ нулю.

Итакъ, все существенное содержаніе «національнаго самосознанія» при болѣе внимательномъ разсмотрѣніи оказывается вовсе не заимствованнымъ изъ реальныхъ свойствъ національности. Эти реальные свойства анатомическія, фізіологическія и т. д., остаются нетронутыми и, въ предѣлахъ одной и той же національности, очень различными. Національное самосознаніе выводитъ свою постройку надъ этимъ фундаментомъ, не обращая никакого вниманія на его распланировку, и весь свой матеріалъ беретъ изъ самого себя. Тоже самое психическое взаимодействие, которое составляетъ необходимое условіе національнаго сознанія, въ концѣ концовъ служитъ ему для распространенія выработаннаго этимъ сознаніемъ, обыкновенно, въ рѣзкихъ, лапидарныхъ чертахъ, понятія о самомъ себѣ, т. е. объ отличіяхъ національнаго типа. Нечего и говорить, что этими отличіями оказываются тѣ, которыя запечатлѣваются, какъ такія, въ національномъ сознаніи. А такъ какъ

процессъ работы національнаго сознанія вездѣ одинъ и тотъ же, то и вырабатываемый имъ продуктъ. понятіе о собственномъ національномъ типѣ, въ главныхъ чертахъ повсюду болѣе или менѣе одинаковъ. Помимо частныхъ чертъ, подсказываемыхъ мѣстными условіями, это понятіе вездѣ отражаетъ на себѣ характеръ создающей его эпохи.

Въ самомъ дѣлѣ, очень важно отмѣтить, что и эпоха, когда социальное самосознаніе дѣлаетъ предметомъ наблюденія собственныя національныя черты, приблизительно одинакова у самыхъ различныхъ социальныхъ группъ. Сознаніе оъ особенностяхъ своего типа не бываетъ отчетливымъ въ періодъ племенной жизни, отчасти, можетъ быть. Потому, что социальные группы въ этотъ періодъ слишкомъ дробны и слишкомъ однородны, такъ какъ вращаются среди себѣ подобныя группы того же языка. «Сознаніе рода», конечно, уже существуетъ и въ эту эпоху: оно выѣется на лицо даже и въ животныхъ обществахъ. Но объективное выраженіе этого сознанія не идетъ въ эпоху племенной жизни дальше легенды оъ единомъ родоначальникѣ племени или о братьяхъ родоначальникахъ племени, сознающихъ свою національную близость. Въ болѣе сложныхъ формахъ національное самосознаніе развивается въ эпоху территориальнаго объединенія націй, и особенно въ тотъ моментъ, когда процессъ этого объединенія самъ собой приводитъ данную національную группу въ столкновеніе съ другими, несходными съ нею. Языкъ, иногда и физическій типъ являются въ такомъ случаѣ основными причинами сознанія несходства; но нужна значительная привычка къ отвлеченному мышленію, чтобы привести въ связь сознаніе національной особенности съ этими истинными вызывающими его причинами. Наиболее легкой и элементарный приѣмъ социального мышленія состоитъ въ томъ, что сознаніе несходства приурочивается къ какому-нибудь болѣе наглядному, но и болѣе вѣшнему признаку. Племенная религія расширяющаяся въ національную по мѣрѣ территориальнаго роста, обыкновенно становится первымъ такимъ признакомъ, на которомъ основывается зарождающееся сознаніе племеннаго несходства; къ этому признаку, по мѣрѣ дальнѣйшаго развитія социального самосознанія, приурочиваются и другіе. Общественныи и политическій строй данной группы, ея нравственный обликъ, наконецъ, даже ея территорія, все это становится подъ защиту религіи въ ея мѣстной, національной формѣ: все это объявляется «святымъ». И самая эта религіозная окраска национальныхъ отличій, ихъ интеграція въ національномъ сознаніи подъ покровомъ религіи, даетъ установленному такимъ образомъ национальному типу огромную силу распространенія: здѣсь вступаетъ въ свою роль бессознательное подражаніе, ассимилирующее выработанный типъ вновь присоединяемыхъ областныхъ группы. Национальное самосознаніе само является, такимъ образомъ, факторомъ, реализующимъ свою идею.

Дальнѣйшая эволюція народнаго сознанія, подобно экономиче-

ской. политической, религиозной и т. д. эволюціямъ, находится въ зависимости отъ историческихъ условій, среди которыхъ протекаетъ жизнь той или другой націи. Въ самомъ началѣ «Очерковъ» мы признали возможность остановки всѣхъ этихъ эволюцій на одной изъ раннихъ ступеней. — въ случаѣ, напримѣръ, остановки роста населенія. Подобную же остановку вполне возможно предположить и въ процессѣ развитія общественнаго самосознанія. Все что задерживаетъ процессъ образования національности и протягиваетъ періодъ войны, неразлучныхъ съ такимъ процессомъ: все, что препятствуетъ процессу внутренняго расчлененія данной національности на группы, классы, сословія: наконецъ, все что мѣшаетъ быстрому психическому обмѣну и, слѣдовательно, взаимодействию и борьбѣ разныхъ общественныхъ взглядовъ и типовъ мысли, вызванныхъ этимъ внутреннимъ расчлененіемъ, — все это можетъ приостановить развитіе соціальнаго сознанія на той ступени, которой оно достигаетъ въ періодъ національнаго объединенія и на которой закрѣпляется неподвижной религиозной санкціей. Но мы повсюду въ «Очеркахъ» имѣли въ виду не этотъ, возможный, конечно, случай остановки эволюціоннаго процесса, а тотъ нормальный случай, когда историческія обстоятельства благопріятствуютъ полному осуществленію эволюціонирующей общественной тенденціи. Для болѣе полной эволюціи общественнаго самосознанія необходимы слѣдующія условія: во-первыхъ, ослабленіе военной дѣятельности націи; во-вторыхъ, извѣстная степень разнообразія интересовъ внутри націи, при достаточной густотѣ населенія, дѣлающей возможнымъ болѣе или менѣе быстрый психологическій обмѣнъ между личностями и группами. Сюда, присоединяется, въ-третьихъ, условіе, не необходимое логически, но обыкновенно сопровождающее два первыхъ: именно, извѣстная степень мирнаго психологическаго взаимодействия между данной группой и чуждыми ей сосѣдними національностями. Ближайшее знакомство съ чужимъ національнымъ типомъ бываетъ на практикѣ первымъ толчкомъ, вызывающимъ перемѣны въ сложившейся формѣ національнаго сознанія. Эпоха самовозвеличенія смѣняется эпохой самокритики. Вниманіе части общества, наиболѣе заинтересованной въ перемѣнахъ, обращается отъ внѣшней національной борьбы къ внутреннему общественному строю. Такъ какъ внѣшняя борьба, обыкновенно, далеко еще не успѣваетъ закончиться къ тому времени, когда начинается только-что описанная смѣна состояній общественнаго сознанія и такъ какъ другія соціальныя условія тоже бываютъ вначалѣ мало благопріятны для распространенія новаго *критическаго* воззрѣвія, то его появленіе вызываетъ неминуемо отпоръ и ведетъ къ борьбѣ, болѣе или менѣе продолжительной, болѣе или менѣе успѣшной для разныхъ сторонъ, смотря потому, насколько быстро совершается, параллельно этой борьбѣ, эволюція вліяющихъ на ея исходъ общественныхъ условій. Въ благопріятномъ случаѣ, неизбѣжнымъ исходомъ борьбы бываетъ болѣе

или менѣе полная перестройка традиціонной системы общественныхъ отношеній и замѣна ея системой, основанной на сознательномъ выборѣ большинства.

Но чтобы осуществился такой благоприятный исходъ, необходима уже очень значительная степень быстроты и правильности психическаго взаимодействія между членами даннаго общества. Языкъ, самъ по себѣ, какъ средство непосредственной устной передачи, оказывается при этомъ недостаточно надежнымъ орудіемъ и требуетъ дополнительныхъ приспособленій и усовершенствованій. Первымъ изъ нихъ являются періодическія собранія для обсужденія политическихъ вопросовъ, возникающія при сколько-нибудь значительномъ скопленіи людей, т. е. по преимуществу въ городахъ, на центральномъ городскомъ рынкѣ. Намъ нѣтъ надобности напоминать, какъ развилась эта архаическая форма древняго политическаго быта въ современныхъ государствахъ. При всемъ ея развитіи, однако же, при всей растяжимости въ количественномъ отношеніи и при всей гибкости относительно содержанія обсуждаемыхъ резолюцій, эта форма имѣетъ свои границы, за предѣлами которыхъ она не можетъ служить цѣлямъ соціально-психическаго взаимодействія. Она не можетъ обеспечить ни достаточно спокойнаго, ни достаточно непрерывнаго, ни достаточно общедоступнаго обсужденія общественныхъ вопросовъ. Болѣе удобнымъ во всѣхъ этихъ отношеніяхъ орудіемъ психологическаго взаимодействія является письменная передача мысли, — средство очень древнее въ своемъ происхожденіи и, тѣмъ не менѣе, очень юное въ томъ употребленіи, которое сдѣлала изъ него растущая соціальная потребность быстрой и точной передачи мысли большому количеству людей. Дѣйствительно, пресса есть одно изъ самыхъ недавнихъ соціальныхъ изобрѣтеній. Если городская площадь послужила средствомъ для развитія критическаго воззрѣнія въ маленькихъ государствахъ древности и среднихъ вѣковъ, то развитіе прессы является средствомъ, по преимуществу характеризующимъ государства нашего времени. Для созданія «общественнаго мнѣнія» новаго времени пресса есть столь же необходимое средство, какъ языкъ для національнаго самосознанія всѣхъ временъ. Разумѣется, внутри этого періода возможно дальнѣйшее совершенствованіе въ очень широкихъ размѣрахъ. Цѣлая пропасть отдѣляетъ политическіе памфлеты временъ реформаціи и возрожденія, съ ихъ несовершенными способами распространенія, отъ ежедневныхъ парижскихъ газетъ, сенсаціонныя заголовки которыхъ въ оживленные моменты общественной жизни каждые четверть часа дѣлаютъ общественнымъ достояніемъ очередную новость. Австрійское правительство, очевидно, очень хорошо поняло соціальную роль парижскихъ *camelots*, запретивши разносную продажу газетъ подъ предлогомъ шума, производимаго на улицахъ окриками мальчишекъ.

Общія черты только-что описаннаго соціальнаго процесса настолько глубоко коренятся въ самомъ существѣ соціальныхъ явленій, какъ та-

ковыхъ,—что мы должны ожидать встрѣтить ихъ во всякомъ развивающемся обществѣ, а слѣдовательно и въ русскомъ. Для читателей, знакомыхъ съ первыми двумя томами «Очерковъ», не будетъ неожиданнымъ тотъ двойной выводъ, къ которому мы придемъ въ результатъ предстоящаго намъ обзора развитія русскаго общественнаго самосознанія. Мы найдемъ, во первыхъ, что *качественно*, по существу, ходъ этого развитія ничѣмъ не отличается отъ подобнаго же процесса въ любой странѣ, гдѣ онъ вообще имѣлъ возможность развиться. Во-вторыхъ, мы увидимъ, что въ той формѣ, въ какой процессъ этотъ развивался въ Россіи, онъ представляетъ *количественныя* различія и особенности, вполне совпадающія съ тѣми, которыя намъ пришлось отмѣтить въ предыдущихъ частяхъ «Очерковъ» относительно другихъ процессовъ. Въ зависимости отъ этихъ двухъ выводовъ долженъ стоять и возможный для изслѣдователя социологическій прогнозъ

Планъ изложенія настоящей третьей части «Очерковъ» непосредственно вытекаетъ изъ замѣчаній, только что сдѣланныхъ нами. Мы различили два момента развитія общественнаго самосознанія. Въ эпоху созидательной государственной работы или, какъ мы условимся называть ее,—въ *органический періодъ* нашей исторіи—общественное самосознаніе развивалось въ формѣ контраста русской національности съ окружающими ее народностями. Это была, другими словами, эпоха созданія и усвоенія народнымъ самосознаніемъ *націоналистическихъ идеаловъ*. Критическій элементъ проникъ, правда, уже тогда въ русскую общественную среду, какъ результатъ того же столкновенія съ чуждыми національностями. Но почва для развитія общественной самокритики была черезчуръ неблагоприятна, и критика не пошла дальше самыхъ скромныхъ пачатковъ. Это положеніе дѣла совершенно измѣнилось въ новѣйшій періодъ нашей исторіи. Общественное самосознаніе въ этотъ періодъ все болѣе обращалось отъ завоевательныхъ плановъ внѣшней политики къ проектамъ внутренняго общественнаго переустройства. Старые національные идеалы уступили мѣсто въ общественномъ мнѣніи новымъ, которые подверглись упреку въ «космополитизмъ» со стороны «патріотовъ» добраго стараго времени. Число послѣднихъ стало быстро уменьшаться. Таковъ характеръ общественнаго самосознанія въ періодъ, который мы условимся называть *критическимъ*. Между тѣмъ и другимъ періодомъ лежитъ промежуточный, характеризуемый смѣсью признаковъ того и другого. Завоевательная программа предыдущей эпохи въ немъ находитъ свое завершеніе, и параллельно ея завершенію намѣчается содержаніе новой программы внутренней политики. Промежуточный періодъ этотъ довольно точно укладывается въ хронологическія рамки XVIII столѣтія, такъ характерно начинающагося реформами Петра и столь же характерно кончающагося завоеваніями Екатерины.

Такимъ образомъ, исторія русскаго общественнаго самосознанія можетъ быть раздѣлена, для удобства изложенія, на три отдѣла: 1) развитіе націоналистическихъ идеаловъ органической (завоевательной) эпохи и начало ихъ критики. 2) Последнія побѣды национализма и первые успѣхи общественной критики. 3) Развитіе общественнаго мнѣнія критической эпохи. Черезъ всѣ три періода проходитъ, какъ видимъ, красной нитью—постепенное нарастаніе критическаго воззрѣнія и соотвѣтственное ослабленіе воззрѣнія націоналистическаго. Первоначальной мыслью нашей было—разсмотрѣть оба эти процесса отдѣльно одинъ отъ другого. Такой порядокъ далъ бы, можетъ быть, больше рельефности въ изображеніи, но вызвалъ бы повторенія и оторвалъ бы явленія отъ ихъ естественной связи. Чтобы избѣжать этихъ неудобствъ, мы рѣшились разсмотрѣть оба параллельные процесса въ рамкахъ трехъ указанныхъ хронологическихъ періодовъ. Какъ всякое дѣленіе на періоды одного неразрывнаго процесса, и это дѣленіе имѣетъ свои неудобства и влечетъ за собой свои неточности. Но намъ кажется, что оно лучше другихъ, намъ извѣстныхъ, соотвѣтствуетъ дѣйствительнымъ моментамъ развитія русскаго общественнаго самосознанія.

Вопросъ объ отношеніи національности и расы все чаще обсуждается въ указанномъ нами смыслѣ въ различныхъ социологическихъ трактатахъ. Новѣйшее систематическое изложеніе его см. въ только-что вышедшей книгѣ сѣверо-американскаго профессора *William Z. Ripley, The Races of Europe, a sociological study* (Lowell Institute Lectures). New-York, D. Appleton and Company, 1899, pag. XXVII+624. Замѣчанія объ отношеніи національности къ климату см. тамъ же, а также въ *Anthropogeographie Fr. Ratzel's*, Stuttgart 1882—1891 (2 тома). Сопоставленныя нами мнѣнія социологовъ о характерѣ социальныхъ явленій см. въ сочиненіяхъ *Габр. Тарда, Законы подражанія*, Спб. 1892. *Гиддингса, Основанія социологіи*, Спб. 1898. *Штаммера, Хозяйство и право*, Спб. *Гумпловича, Основы социологии*, Спб. 1899. Замѣчанія Тарда на Гиддингса перепечатаны въ его *Etudes de psychologie sociale* Paris, 1898 (Bibliothèque sociologique internationale, publiée sous la direction de M. René Worms, XIV). Мнѣніе, что реальнымъ носителемъ общественнаго сознанія является индивидуумъ, высказано Тардомъ; противоположное мнѣніе объ объективномъ существованіи общественной традиціи старался доказать *Дюргеймъ* («Правила социологическаго метода»; см. возраженія Гиддингса въ цитиров. соч.). Социологическое ученіе объ эволюціи общественнаго сознанія, съ различеніемъ въ этой эволюціи эпохи «Образованія національности» и «Эпохи критики», особенно обстоятельно развито, по слѣдамъ Конта и Спенсера, *Беджотомъ* въ его назаслуженно забытомъ сочиненіи: *Естественное и политика*. Спб. 1874 (Международная научная библіотека, № 1, изданіе журнала «Знаніе») Отсюда оно перешло и къ Гиддингсу, сочиненіе котораго я особенно рекомендую читателю, въ виду широты его взгляда и умѣнья связать въ одно стройное цѣлое крупныя истины, разсыпанныя въ разныхъ социологическихъ теоріяхъ.

I. Націоналістичскіе идеалы органической эпохи и первыя попытки ихъ критики (XV—XVII вѣка).

Начала русскаго самосознанія по понятіямъ защитниковъ вѣчеваго быта и московскихъ порядковъ. — Вопросъ объ отношеніи вѣчеваго быта къ московскимъ порядкамъ. — Разница формъ національнаго самосознанія той и другой эпохи — Вопросъ объ участіи общественнаго сознанія въ выработкѣ московскихъ порядковъ. — Степень активности «передаточной роли» психическихъ элементовъ процесса. — Въ какомъ смыслѣ можно говорить о «цѣлесообразности» возникновенія Московскаго государства. — Допускаемъ ли мы техническую, органическую или психологическую цѣлесообразность? — Предполагаетъ ли послѣдняя «общественный договоръ»? — Какъ понимаемъ мы роль *индивидуальныхъ* условій, способствовавшихъ возникновенію Московскаго государства? — Принадлежитъ ли къ ихъ числу внѣшняя опасность, или только тотъ моментъ, когда она начала ощущаться? — Роль «чисто субъективныхъ интересовъ и стремленій» въ процессѣ образованія Московскаго государства — Выводъ: исторію русскаго національнаго самосознанія слѣдуетъ начинать съ конца XV в

Съ какого хронологическаго момента слѣдуетъ начинать исторію русскаго общественнаго самосознанія? Отвѣтъ на этотъ вопросъ будетъ различный, смотря по тому, какого общаго міровоззрѣнія придерживается тотъ или другой историкъ. Мы считаемъ общественное самосознаніе въ его прошломъ — продуктомъ исторіи, т. е. продуктомъ извѣстныхъ стихійныхъ историческихъ процессовъ. При такомъ пониманіи — содержимое общественнаго сознанія вполне опредѣляется содержаниемъ этихъ процессовъ, мѣняется вмѣстѣ съ ними, останавливается или идетъ впередъ, прерывается или развивается непрерывно смотря по ходу развитія самыхъ этихъ процессовъ. Не такъ давно еще господствовало совершенно противоположное воззрѣніе, по которому сама исторія являлась продуктомъ общественнаго сознанія. Съ этой точки зрѣнія надо было, наоборотъ, содержимое историческихъ процессовъ выводить изъ общественнаго сознанія и съ него, слѣдовательно, начинать исторію. Въ приложеніи къ русской исторіи этотъ взглядъ былъ развитъ въ цѣлую систему. Русское общественное сознаніе, какъ первый двигатель историческаго процесса, было надѣлено при этомъ опредѣленнымъ содержаніемъ, соотвѣтственно общественнымъ идеаламъ самихъ систематиковъ. Первымъ продуктомъ идеализованнаго такимъ образомъ общественнаго сознанія представлялся вѣчевой порядокъ домонгольской Руси. Дальнѣйшій ходъ русской исторіи являлся, с

этой точки зрѣнія, отклоненіемъ отъ прежняго нормальнаго хода; вина за такое отклоненіе падала на создателей новаго порядка, московскихъ князей-собирателей и на ихъ варварскіе политическіе приемы, объяснявшіеся вліяніемъ чуждаго русской національности духа Византіи и Золотой Орды. Но въ концѣ концовъ русскій народный духъ долженъ былъ восторжествовать надъ иноземными вліяніями. «Живучесть» вѣчевыхъ началъ, свойственныхъ народному самосознанію удѣльной Руси, доказывалась новгородскими порядками и московскими земскими соборами.

Прежніе противники этого историческаго построенія стояли на одинаковой теоретической почвѣ съ его защитниками. Они тоже вѣрили, что народное самосознаніе творить исторію и тоже влагали въ это самосознаніе свой собственный идеаль. Но такъ какъ этотъ идеаль былъ прямо противоположенъ «вѣчевому», то тамъ, гдѣ сторонники вѣчевого уклада видѣли норму, ихъ оппоненты видѣли отклоненіе и наоборотъ. Московскіе порядки были ихъ идеаломъ и, слѣдовательно, должны были быть идеаломъ народнаго самосознанія. Въ наиболѣе чистомъ видѣ это самосознаніе должно было проявляться, слѣдовательно, не въ удѣльно-вѣчевой Руси, а въ Московскомъ государствѣ.

Естественно, что на такой почвѣ полемика между сторонниками того и другого взгляда сводилась къ защитѣ соотвѣтственнаго общественнаго идеала. Установить преемство этого идеала съ порядками кіевской или, наоборотъ, съ порядками московской Руси—значило уже—дать своему идеалу нѣкоторую историческую санкцію.

Такъ и должно было быть, пока общественный идеаль выводился изъ абсолютнаго и неизмѣннаго народнаго самосознанія, проявленія котораго искали въ исторіи. Но современный изслѣдователь не можетъ больше вѣрить въ эту абсолютность и неизмѣнность. Общественное самосознаніе для него есть нѣчто измѣняющееся соотвѣтственно измѣненіямъ общественнаго порядка. Поскольку закономерны эти послѣдніе измѣненія, постольку мы можемъ искать закономерности и въ развитіи общественнаго самосознанія. Но напередъ мы можемъ утверждать одно—именно, самый фактъ измѣнчивости или развитія, и отрицать одно—именно то, что какая бы то ни было изъ стадій этого развитія можетъ считаться «нормой» для всѣхъ другихъ стадій.

Мы не вѣримъ болѣе ни въ какія историческія санкціи и ищемъ оправданія того или другаго современнаго общественнаго идеала исключительно въ его соотвѣтствіи потребностямъ настоящаго и будущаго. Его тожество съ идеалами прошлаго можетъ только доказывать отсутствіе такого соотвѣтствія и свидѣтельствовать о его отвлеченности, нежизненности.

Намъ могутъ замѣтить, что все это—слишкомъ азбучныя истины и что съ устарѣлымъ историческимъ міровоззрѣніемъ, о которомъ только что шла рѣчь, уже нѣтъ надобности сражаться въ наше время. Дѣйствительно, едва ли найдутся теперь защитники этого міровоззрѣнія въ

его старой, цѣльной формѣ. Но привычки мысли сильны; онѣ часто переживаютъ создавшее ихъ міровоззрѣніе; и въ данномъ случаѣ, намъ пришлось выслушать отдаленные отголоски критикуемаго міровоззрѣвія по поводу самыхъ «Очерковъ». Насъ упрекали, въ очень осторожной и сдержанной формѣ, въ сущности, въ томъ, что мы слишкомъ игнорируемъ «традиціи» удѣльно-вѣчевого періода и преувеличиваемъ фатальную неизбѣжность порядковъ московскаго государства. Теперь, когда намъ приходится рѣшать вопросъ, откуда начинать исторію общественнаго русскаго самосознанія, съ Кіева или съ Москвы,—будетъ своевременно отвѣтить на оба эти, чрезвычайно характерныя, возраженія.

Намъ говорятъ, во-первыхъ, слѣдующее: «Москва, въ смыслѣ совокупности извѣстныхъ государственныхъ учрежденій, сложилась не на пустомъ мѣстѣ. Государственный порядокъ, предшествовавшій ея появленію, вовсе не ограничивался, въ сущности, предѣлами южно-русскихъ земель, но распространялся и на сѣверо-востокъ, и борьба съ *этимъ порядкомъ Москвы, возникшей на его развалинахъ, оставила слишкомъ глубокіе слѣды въ дальнѣйшемъ ходѣ исторіи, чтобы можно было совсѣмъ обойти ее. Удѣльный періодъ... съ его вѣчевыми собраніями и вольными слугами князей передалъ московской эпохѣ и нѣкоторыя традиціи, и нѣкоторыя учрежденія, причемъ кое-какія изъ нихъ оказались довольно живучими*».

Этотъ рядъ положеній, къ сожалѣнію, слишкомъ бѣгло намѣченныхъ и оставленныхъ безъ дальнѣйшаго развитія нашимъ оппонентомъ, дѣйствительно, мало гармонируетъ съ нашими собственными представленіями о ходѣ исторіи на русскомъ сѣверо-востокѣ. Начинать съ пустаго мѣста—наше общее міровоззрѣніе, конечно, еще менѣе позволяетъ, чѣмъ какое бы то ни было другое. Но начинать съ отождествленія порядковъ, господствовавшихъ на сѣверо-востокѣ въ домосковскій періодъ, съ порядками южной Руси, мы бы не рѣшились: такое начало, какъ сейчасъ увидимъ, скорѣе всего и привело бы къ построенію московской исторіи на «пустомъ мѣстѣ». Различіе всего соціальнаго строя сѣверо-востока и юга Россіи, намъ казалось, достаточно ярко указано нашими предшественниками; вотъ почему мы и сочли возможнымъ ограничиться простой ссылкой на то, что на сѣверо-востокѣ «были совсѣмъ другія условія историческаго развитія», чѣмъ на югѣ. Исходя изъ этихъ спеціально свойственныхъ сѣверо-востоку условій общественной жизни, мы не видимъ въ нихъ и такого противорѣчія съ позднѣйшими московскими порядками, какъ это склоненъ представлять себѣ нашъ оппонентъ. Для него эти порядки возникаютъ, какъ прямое отрицаніе старыхъ, какъ продуктъ «борьбы», на ихъ «развалинахъ». Для насъ это скорѣе—продуктъ простаго развитія старыхъ порядковъ сѣверо-восточной Руси, при измѣнившихся условіяхъ времени. «Глубокіе слѣды» *этихъ* старыхъ порядковъ въ первомъ періодѣ существо-

ванія московскаго княжества мы вполне согласны были бы признать, но вѣдь оппонентъ требуетъ отъ насъ другого. Своихъ «глубокихъ слѣдовъ въ дальнѣйшемъ ходѣ исторіи» онъ, очевидно, ищетъ среди «развалинъ», онъ видитъ ихъ въ тѣхъ «нѣкоторыхъ традиціяхъ и нѣкоторыхъ учрежденіяхъ», которыя удѣльный періодъ «передалъ московской эпохѣ» въ *противорѣчіе* ея основнымъ чертамъ. Сюда, какъ видно изъ его дальнѣйшей фразы, онъ готовъ причислить вѣче, боярскую думу и земскіе соборы. О послѣднихъ двухъ у насъ будетъ рѣчь: предваряя наше изложеніе, мы скажемъ только здѣсь, что смотримъ на эти учрежденія, какъ на совершенно новыя, созданныя текущими потребностями, а не завѣщанныя «традиціями» удѣльнаго періода. Что касается вѣча.—по существу эта форма отжила свой вѣкъ съ появленіемъ на Руси единого національнаго государства. Тутъ, вѣроятно, мы всего болѣе разойдемся съ міровоззрѣніемъ нашего оппонента. По его мнѣнію, повидимому, извѣстное состояніе общественнаго самосознанія можетъ быть завѣщено, какъ «традиція»—и притомъ «живучая» отъ одного общественнаго строя другому, совершенно несходному съ первымъ. Наше же мнѣніе заключается въ томъ, что каждый общественный строй создаетъ *свое* общественное самосознаніе, совершенно отъ него неотдѣлимое и вмѣстѣ съ нимъ измѣняющееся.

Нѣтъ нужды отрицать, что въ южно-русскомъ городѣ древняго періода, съ его значительнымъ скопленіемъ населенія, съ его живостью торговыхъ сношеній, создано то, что обыкновенно создается при этихъ условіяхъ въ городскихъ общинахъ: извѣстная степень быстроты и правильности психическаго взаимодействія и, какъ результатъ, сравнительно высокая степень общественнаго самосознанія. Нельзя отрицать, что и сѣверно-русскій городъ не вовсе лишенъ былъ этихъ преимуществъ. Но, какъ элементъ политической власти, это специфически-городское самосознаніе оказалось недостаточно сильнымъ даже тогда, когда городская община имѣла еще возможность явиться центромъ соотвѣтственной государственной единицы. Естественно, что когда начался періодъ выработки высшаго государственнаго единства, городская община уже вовсе не могла фигурировать, какъ политическій факторъ. И тѣ общественно-критическіе элементы, которые свойственны были городской общинѣ, не могли непосредственно перейти къ вновь слагавшейся высшей общественной группѣ. Въ этой послѣдней было, какъ увидимъ, свое общественное самосознаніе, ей свойственны были и свои элементы общественной критики. Но они не имѣли ничего общаго ни по формамъ, ни даже по матеріалу — съ общественнымъ самосознаніемъ городской общины, отодвинутой на задній планъ общимъ ходомъ соціальной эволюціи.

Теперь намъ предстоитъ обсудить возраженія, высказанныя по поводу изображенія въ «Очеркахъ» самого этого общаго хода. Главное обвиненіе, какъ мы говорили, заключается тутъ въ томъ, что про-

цессъ соціальной эволюціи изображенъ у насъ черезчуръ фаталистично. Не будучи спеціалистомъ по русской исторіи, второй нашъ оппонентъ опирается въ этомъ отношеніи на Костомарова; но свои возраженія онъ формулируетъ во имя новѣйшихъ требованій соціологіи, такъ что съ нимъ мы можемъ говорить его языкомъ.

Нашъ второй оппонентъ ставитъ своей задачей доказать, что авторъ «Очерковъ» безсознательно, такъ сказать, *malgré lui*, является послѣдователемъ теоріи экономическаго матеріализма. Онъ обвиняетъ эту теорію въ излишнемъ «объективизмѣ», доказываетъ неудобства такого объективизма и противопоставляетъ ему ученіе «субъективной школы», какъ онъ его понимаетъ. «Намъ кажется ошибочнымъ сведеніе ученія субъективной школы къ желанію поставить психическія явленія внѣ и выше матеріальныхъ условій»,—говоритъ онъ.—«Центръ тяжести вопроса заключается вовсе не въ этомъ, а въ признаніи или непризнаніи, въ числѣ необходимыхъ элементовъ историческаго процесса, области субъективныхъ стремленій и цѣлой системы традицій, вѣрованій, чувствъ и идей, безъ сомнѣнія обусловленныхъ въ своемъ происхожденіи внѣшними причинами, но развивающихся сообразно своимъ внутреннимъ законамъ и *дѣйствующими на исторической сценѣ, въ качествѣ общественныхъ силъ* (курсивъ автора). Объективная школа не отрицаетъ, конечно, самаго присутствія человѣка съ его субъективными ощущеніями на исторической сценѣ, но она приписываетъ ему чисто передаточную роль. Все содержаніе какого-либо переворота или измѣненія въ общественныхъ отношеніяхъ уже заключено, по ученію этой школы, въ тѣхъ или другихъ внѣшнихъ, объективныхъ причинахъ: условіяхъ производства, географической среды или сосѣдства хищныхъ народовъ,—и необходимость этого измѣненія уже предуготовлена объективной причиной: человѣкъ же или, вѣрнѣе сказать, общество является лишь исполнителемъ этихъ предначертаній. По ученію же субъективной школы, какъ мы понимаемъ его, чтобы объяснить какое бы то ни было сложное общественное явленіе, необходимо *предположить наличность дифференцированной психической области, въ которой подъ вліяніемъ внѣшнихъ причинъ и матеріальныхъ условій, а также и подъ вліяніемъ психическихъ воздѣйствій развиваются общественныя силы, устанавливающія и поддерживающія извѣстныя общественныя отношенія. Историческая необходимость этихъ отношеній лежитъ не въ самихъ внѣшнихъ причинахъ, а въ вызванныхъ ими и даннымъ состояніемъ общественной психики—общественныхъ силахъ. Отсюда—гораздо болѣе относительный характеръ этой необходимости меньшая обусловленность общественныхъ отношеній причинами, не подлежащими воздѣйствію человѣка; отсюда—возможность государственныхъ реформъ и общественной дѣятельности* (курсивъ нашъ)».

Мы не могли отказать себѣ въ удовольствіи сдѣлать эту длинную выписку, такъ какъ новый «центръ тяжести» ученій «субъективной

школы» въ формулировкѣ нашего оппонента значительно приближается къ центру тяжести нашихъ собственныхъ мыслей, и, можетъ быть, въ самомъ дѣлѣ окажется возможнымъ слить оба центра воедино. Оставимъ, для упрощенія спора, въ сторонѣ вопросъ о томъ, слѣдуетъ ли подводить воззрѣнія автора «Очерковъ» и его оппонента подъ ярлыки той или другой школы и будемъ бесѣдовать по существу. По существу, слѣдовательно, авторъ не ставитъ психическія явленія «внѣ и выше матеріальныхъ условій»; «система традицій, вѣрованій, чувствъ и идей», по его словамъ, «безъ сомнѣнія обусловлена въ своемъ происхожденіи внѣшними причинами». Но въ сколько-нибудь «сложномъ общественномъ явленіи»—«психическая область» является уже «дифференцированной» и въ свою очередь можетъ «дѣйствовать на исторической сценѣ въ качествѣ общественныхъ силъ». Это вліяніе «общественной психики», «развивающейся сообразно своимъ внутреннимъ законамъ», идетъ, однако, объ руку съ вліяніемъ «внѣшнихъ причинъ и матеріальныхъ воздѣйствій». Вся разница съ противоположнымъ воззрѣніемъ та, что, тогда какъ оно объясняетъ «необходимость» «какого-либо переворота» «тѣми или другими внѣшними, объективными причинами», а за «человѣкомъ или, вѣрнѣе сказать, обществомъ» оставляетъ лишь «чисто передаточную роль» «исполнителя предначертаній», «предустановленныхъ объективными причинами»,—воззрѣніе, защищаемое нашимъ оппонентомъ, напротивъ, видитъ «историческую необходимость» не въ этихъ «внѣшнихъ причинахъ», а въ «вызванныхъ ими общественныхъ силахъ». Дѣйствіе этихъ общественныхъ силъ сокращаетъ районы «обусловленности общественныхъ отношеній причинами, не подлежащими воздѣйствію человѣка» и придаетъ, такимъ образомъ, «гораздо болѣе относительный характеръ этой необходимости», открывая людямъ «возможность государственныхъ реформъ и общественной дѣятельности».

Мы спросимъ нашего оппонента: какъ же понимаетъ критикуемое имъ воззрѣніе «передаточную роль» человѣческой психики, если не въ формѣ «государственныхъ реформъ и общественной дѣятельности»? Это «исполненіе предначертаній», предустановленныхъ *внѣшними* причинами,—представляетъ ли такую скромную и тѣсную роль, какъ это кажется теоретику «общественныхъ силъ»? И, съ другой стороны, въ самомъ развитіи «общественныхъ силъ» нѣтъ ли своихъ «внутреннихъ законовъ», хотя и не выходящихъ за предѣлы «психики», но, тѣмъ не менѣе, тоже «не подлежащихъ воздѣйствію человѣка»? Другими словами, мы утверждаемъ, что «передаточная роль» общественной психики вовсе не такъ пассивна и безсознательна, а дѣятельность общественныхъ «силъ» вовсе не такъ автономна, какъ это допускаетъ нашъ критикъ. Расширивъ сознательный элементъ первой и ослабивъ активный характеръ вторыхъ, мы пришли бы къ довольно сходному пониманію роли «общественной психики» въ историческомъ процессѣ, к-

торой мы вовсе не отрицаемъ, какъ это видно изъ нашихъ неоднократныхъ заявленій.

Вся эта относительность и условность принципиальныхъ возраженій критика видна будетъ еще яснѣе на томъ историческомъ примѣрѣ, который и вызвалъ эти возраженія, — именно на объясненіи происхожденія Московскаго государства. Мы утверждаемъ въ «Очеркахъ», что Московское государство явилось продуктомъ черезчуръ высокихъ государственныхъ требованій, предъявленныхъ къ черезчуръ неразвитому экономически населенію. Подозрѣвающей насъ въ тайной склонности къ экономическому матеріализму критикъ, во-первыхъ, сводитъ это объясненіе къ «чисто внѣшнимъ и матеріальнымъ причинамъ», а во-вторыхъ, показываетъ намъ теоретическую несостоятельность такъ понятаго объясненія. Высокія государственныя требованія, — разсуждаетъ онъ, — вызваны, по мнѣнію автора «Очерковъ», необходимостью бороться съ сосѣдями, т.-е. чисто внѣшней причиной. «Медленный ходъ экономическаго развитія древней Руси объясняется ея суровымъ климатомъ. т.-е. самою объективною изъ объективныхъ причинъ». Но когда «историческое явленіе связывается отношеніемъ необходимости съ внѣшними объективными причинами, то *этимъ самымъ область психическихъ явленій устраняется изъ числа составныхъ элементовъ историческаго процесса: такъ какъ всѣ главные поворотные пункты послѣдняго предустановлены объективными факторами, то для психическихъ общественныхъ силъ не остается мѣста въ исторіи. Ихъ существованіе, конечно, не отрицается и не можетъ быть отрицаемо историками объективной школы, но онѣ не играютъ никакой роли въ ихъ историческихъ построеніяхъ*». Мы видѣли, что «роль психическихъ силъ остается еще очень большая и при полномъ признаніи роли «объективныхъ факторовъ». Но послѣдуемъ далѣе за развитіемъ мысли критика. Итакъ. «область психическихъ явленій» устраняется..., и этимъ создается положеніе, невозможность котораго очень остроумно доказывается критикомъ. Психологія устраняется, но *цѣлесообразность* возникновенія Московскаго государства продолжаетъ признаваться, помимо *закономѣрности*. Итакъ, это выходитъ — *цѣлесообразность* природы, объективная *цѣлесообразность*, т.-е. вопреки основному принципу «объективной школы» — чистѣйшая телеологія. «Только всемогущее государство могло успѣшно бороться съ набѣгами крымскихъ, ногайскихъ и казанскихъ татаръ, окружавшихъ Россію въ XIV вѣкѣ, а также и съ надвигавшеюся съ Запада литвою, *поэтому* и создалась въ Россіи всемогущая государственная власть; такъ какъ это было необходимо для русскаго общества, то это и *должно было случиться*. Цѣль была поставлена ясно; потребность въ ея достиженіи была неотложна и исторія удовлетворила этой потребности. Отсюда тотъ историко-философскій выводъ, что все необходимое для независимаго существованія народа осуществляется въ его исторіи въ наиболѣе цѣле-

«сообразной формѣ». Критикъ, конечно, протестуетъ противъ такого вывода, и мы протестуемъ вмѣстѣ съ нимъ. «Не все то совершается въ исторіи, что необходимо для сохраненія независимости даннаго народа». Безъ сомнѣнія, не все. И лучшее доказательство этого—то, что исторія знаетъ множество народовъ, не сохранившихъ своей независимости. Но мы опять предложимъ критику вопросы: не признаетъ ли онъ, во-первыхъ, что сохранить свою независимость, все-таки, стремятся *все* народы, и, во-вторыхъ, что сохраненіе независимости *даннаго* народа доказываетъ само по себѣ, что все «необходимое для сохранения» его было «совершенно»?

Отвѣчая на первый вопросъ, критикъ, вѣроятно, признаетъ внутреннюю тенденцію самосохраненія свойственной всѣмъ общественнымъ группамъ. Отвѣтъ на второй вопросъ труднѣе, потому что тутъ предстоитъ разрѣшить то, что и составляетъ самый узелъ спора. «Совершенно» ли это «необходимое для народнаго самосохраненія» слѣпой игрой силъ природы, или сознательнымъ общественнымъ поведеніемъ? И эти «силы природы» слѣдуетъ ли представлять себѣ, какъ совершенно случайную комбинацію «внѣшнихъ» факторовъ или какъ стихійный процессъ развитія внутренней тенденціи? Создается ли государство по образцу того, какъ сорвавшійся камень убиваетъ случайнаго прохожаго или какъ дерево вырастаетъ изъ сѣмени, или какъ техникъ строить машину? Другими словами, надо ли объяснять происхожденіе государства—механически, органически или психологически? Нашъ критикъ заставляетъ насъ строить объясненіе по первому способу и справедливо удивляется, какъ въ такомъ случаѣ можно говорить о какой-либо цѣлесообразности. Онъ менѣе удивлялся бы, если бы, признавъ существованіе внутренней тенденціи политической эволюціи, заставилъ насъ понимать ея осуществленіе по второму способу. Цѣлесообразность органическаго процесса—вещь не столь нелѣпая и бессмысленная, чтобы отвергать ее безъ всякихъ оговорокъ и поясненій. Но, во всякомъ случаѣ, это—не та цѣлесообразность, какую мы привыкли видѣть въ сознательномъ волевомъ процессѣ, т.-е. которую необходимо допустить при объясненіи происхожденія государства по третьему способу. Такое объясненіе необходимо сведется къ теоріи свободнаго договора. Нашъ критикъ естественно не предполагаетъ возможности объяснить происхожденіе Московскаго государства и этимъ путемъ. «Трудно допустить»,—говоритъ онъ,—«чтобы общественное сознаніе играло большую роль въ установленіи такой формы государственной власти, въ основѣ которой лежало подавленіе (мы скажемъ бы слабость) этого сознанія». И, естественно, критикъ, находитъ невозможнымъ понять наши объясненія «въ томъ смыслѣ, что русское общество XIV—XV в., проникнутое сознаниемъ неотложной потребности во внѣшней защитѣ, облекло для этого свое правительство неограниченными полномочіями и создало соответственный государственный строй».

Но является вопросъ: дѣйствительно ли для того, чтобы доказать цѣлесообразность возникновенія извѣстнаго общественнаго строя, необходимо предположить его *договорное* происхожденіе? Цѣлесообразность въ данномъ случаѣ предполагаетъ сознательность, но необходимо ли допустить такую именно степень сознательности, какъ требуетъ критикъ? Почему «сознаніе неотложной потребности во внѣшней защитѣ» должно было проникнуть *все* «русское общество», чтобы могли быть приняты соотвѣтственныя, болѣе или менѣе, цѣлесообразныя мѣры? И нужно ли было правительству, удовлетворившему такой «неотложной потребности», дожидаться, чтобы общество «облекло его для этого неограниченными полномочіями»?

Мы напомнимъ читателю наше объясненіе вызвавшее всѣ эти сомнѣнія нашего оппонента. «Надо было защищать собственное существованіе, слѣдовательно надо было найти для этого средства. Для *этого* надо было вызвать ихъ, создать, если ихъ не оказывалось налицо; для этого приходилось, хотя бы искусственно, развивать общественную самодѣятельность. Такимъ образомъ, благодаря настоятельнымъ государственнымъ потребностямъ, и создалось всемогущее государство на самой скудной матеріальной основѣ; вслѣдствіе самой этой скудности, оно должно было напрягать всѣ силы своего населенія, а чтобы распоряжаться всѣми силами его оно, и должно было сдѣлаться всемогущимъ».

Объясненіе, дѣйствительно, «телеологическое». Но, какъ видно изъ предыдущихъ объясненій, за этой «телеологіей» не скрывается въ данномъ случаѣ никакой метафизики и она не предполагаетъ никакого общественнаго договора. Понятое буквально такъ, какъ было написано, это объясненіе предполагаетъ только, что нашлось достаточно сознательности среди русскихъ представителей власти XV вѣка, чтобы приспособить и даже форсировать наличныя средства страны въ видахъ заразъ и собственнаго, и общественнаго самосохраненія.

Таково и было, дѣйствительно, наше предположеніе. Мы никогда не исключали «общественной психики» изъ нашего объясненія и нисколько не отождествляли ее съ «общественнымъ договоромъ». Мы просто искали ее не тамъ, гдѣ ищетъ критикъ, и допускали ея присутствіе въ иной формѣ, чѣмъ готовъ допустить онъ. Онъ считаетъ носителями этой «общественной психики» не совсѣмъ ясно опредѣляемые имъ «общественныя силы», созданныя, повидимому, и въ его мнѣніи стихійнымъ процессомъ, и дѣйствовавшія неизвѣстно съ какой степенью активности и сознательности. И для насъ «общественныя силы» данной эпохи, въ смыслѣ, болѣе или менѣе, ясно сознаваемыхъ интересовъ общественныхъ группъ и единицъ, составляютъ необходимую предпосылку нашего объясненія; но мы указываемъ, какъ наличное состояніе «общественныхъ силъ», при данныхъ условіяхъ, выразилось въ дѣйствіяхъ власти, какъ наиболѣе сознательнаго тогда выра-

зителя коллективнаго общественнаго сознанія. Можетъ быть, это-то наше положеніе критикъ и будетъ продолжать оспаривать, но для этого ояъ долженъ опредѣленнѣе, чѣмъ до сихъ поръ, указать, въ какихъ другихъ формахъ, какими другими «общественными силами» это коллективное сознаніе выражалось помимо тогдашнихъ представителей власти. Отчасти это послѣднее требованіе выполнимъ и мы сами, когда зайдетъ рѣчь объ элементахъ критики только что создававшася тогда національнаго идеала. Но мы увидимъ при этомъ, какъ уже было сказано раньше, что это критическое общественное сознаніе возникло на той же почвѣ, какъ и критикуемый имъ общественный идеалъ, т.-е. на почвѣ только что сложившагося общественнаго строя. Идеалъ и критика его были одинаково продуктами того, «какъ бы стихійнаго, процесса», которымъ «совершались событія» этой эпохи, по собственному признанію критика.

Мы позволили себѣ вѣдаться въ эту длинную полемику исключительно потому, что она не только не удаляетъ насъ, а, напротивъ, открываетъ намъ путь къ предмету нашихъ бесѣдъ въ третьей части «Очерковъ». Если не ошибаемся, сказанное нами раньше даетъ достаточный матеріалъ для вполне опредѣленнаго отвѣта на вопросъ, откуда слѣдуетъ начинать исторію русскаго національнаго самосознанія и почему для этого начала мы останавливаемся на избранномъ нами хронологическомъ періодѣ.

Русское національное самосознаніе могло развиваться лишь на почвѣ политическаго объединенія русской національности. Ни самосознаніе, ни критика его не могли предшествовать факту, къ которому относились. Но, конечно, характеръ того и другого опредѣлился тѣми условіями, при которыхъ совершалось русское національное объединеніе. *Особенность* этихъ условій, скорѣе чѣмъ *необходимость* самаго процесса, мы и хотѣли подчеркнуть нашимъ объясненіемъ. Необходимость процесса политической эволюціи мы при этомъ предполагали, какъ саму собой разумѣющуюся. Необходимость процесса—не есть еще, конечно, необходимость результата, такъ какъ результатъ является уже продуктомъ условій, среди которыхъ развивается процессъ. Среди этихъ условій есть такія, которыя продолжаютъ намъ казаться болѣе необходимыми, *менѣе случайными*, чѣмъ это, повидимому, кажется нашему критику. Это, именно, прежде всего, роль внѣшней опасности при образованіи государства. Дѣло въ томъ, что хотя опасность этого рода и *внѣшняя*, хотя можно представить себѣ отвлеченную возможность созданія государства исключительно внутреннимъ процессомъ, тѣмъ не менѣе въ дѣйствительности этотъ внѣшній факторъ такъ же распространенъ, какъ зародыши всевозможныхъ болѣзней въ окружающей атмосферѣ. Стало быть, дѣйствительный процессъ политической эволюціи всегда и вездѣ совершался при наличности этого фактора, внѣшней опасности, воздѣйствовавшаго на внутреннюю эволюцію

власти. *Случайно*, т.-е. свойственно именно данной исторіи—не то, что внѣшняя опасность была налицо и дѣйствовала, какъ внѣшній факторъ образованія государства, а то, что *дѣйствіе этого фактора совпало съ данной, а не съ какой-либо другой, степенью развитія внутреннихъ «общественныхъ силъ»*. Эти «силы» не игнорируются, а, напротивъ, входятъ необходимымъ элементомъ въ наше объясненіе. Разница только въ томъ, повидимому, что критикъ оцѣниваетъ политическое значеніе этихъ силъ иначе, нежели мы. Онъ говоритъ, какъ мы видѣли, объ ихъ «подавленіи» тамъ, гдѣ мы предпочли бы говорить о ихъ «слабости». Последнюю, однако, онъ тоже мѣстами признаетъ. «Въ томъ фазисѣ общественной эволюціи»,—замѣчаетъ онъ вполне справедливо,—«о которомъ идетъ рѣчь въ разсмотрѣнныхъ нами историческихъ объясненіяхъ автора «Очерковъ», роль общественнаго самосознанія была *чрезвычайно слаба* и событія совершались какъ бы стихійнымъ процессомъ; но роль *чисто субъективныхъ интересовъ и стремленій главнѣйшихъ историческихъ дѣятелей* той эпохи была тѣмъ не менѣе очень значительна. Говоря о субъективныхъ факторахъ исторіи.—оговаривается критикъ.—мы вовсе не имѣемъ въ виду исключительно цѣлесообразной общественной дѣятельности или вліянія высокихъ идей; мы говоримъ лишь о томъ *сравнительномъ просторѣ, который предоставляется исторіей субъективному фактору* въ силу самой природы общественныхъ явленій».

И мы признаемъ этотъ «сравнительный просторъ», какъ видно изъ предисловія къ первой части «Очерковъ»; отсюда же видно, что степень этого простора мы опредѣляемъ различно, судя по тому, идутъ ли «чисто субъективные интересы и стремленія главнѣйшихъ историческихъ дѣятелей» въ разрѣзъ или, наоборотъ, въ одномъ направленіи съ внутренней тенденціей даннаго процесса. И прилагая эту мѣрку къ оцѣнкѣ «сравнительнаго простора» дѣйствій историческихъ дѣятелей эпохи возникновенія московскаго государства, мы, можетъ быть, близко сойдемся съ сужденіями о томъ же предметѣ нашего оппонента. Раньше мы показали уже, почему наше сужденіе о цѣлесообразности русской политической эволюціи нельзя толковать ни въ смыслѣ «предустановленной цѣлесообразности самого историческаго процесса», ни въ смыслѣ «сознательнаго установленія русскимъ обществомъ XIV вѣка самодержавнаго государственнаго строя». Сдѣлаемъ оговорку: всѣ наши сужденія о «цѣлесообразности» относятся не къ XIV, а къ концу XV вѣка. Мы вполне согласны съ мнѣніемъ оппонента, что «московское самодержавіе было подготовлено длиннымъ процессомъ, въ основѣ котораго лежала не общая идея о необходимости сильнаго государства, а частныя, своекорыстныя стремленія враждовавшихъ между собою князей» и что «сами московскіе великіе князья могли ставить общегосударственныя задачи своей политикѣ только послѣ того, какъ въ ихъ рукахъ скопились достаточныя для того силы». Мы безусловно признаемъ, что начало процесса было вполне стихійнымъ или, если угодно,

лежало въ области «чисто субъективныхъ интересовъ и стремленій» соперничавшихъ между собой представителей власти. Общественный результатъ этого соперничества,—возникновеніе болѣе сложной политической организаціи, находился, несомнѣнно, внѣ сферы ихъ личнаго сознанія. Это не мѣшаетъ намъ не видѣть ни въ процессъ борьбы, ни въ его результатъ—ничего случайнаго, а считать то и другое проявленіемъ внутренней тенденціи, необходимо присущей процессу политической эволюціи вездѣ, гдѣ этотъ процессъ имѣетъ возможность совершиться. Мы не отрицаемъ ни «субъективныхъ стремленій», ни «страстей», развившихся «въ этой смутной, тяжелой и часто трагической исторіи» образованія русскаго государства. Но такъ какъ мы ищемъ въ данномъ случаѣ социологической истины, а не нравственнаго назиданія, то совершенно естественно, что мы обратили все свое вниманіе не на элементы «трагизма», несомнѣнно существовавшіе, а на элементы «строгой общественной необходимости».

Постепенное развитіе сознательности по мѣрѣ развитія процесса—также входятъ въ число этихъ необходимыхъ элементовъ социальнаго развитія. Носителемъ этого сознанія, опредѣляющимъ и его первоначальный характеръ, является, конечно, не вся народная масса.—«общественное самосознаніе» которой, по вѣрному замѣчанію критика, было тогда еще «чрезвычайно слабо»—, а «главнѣйшіе историческіе дѣятели той эпохи», т.-е. представители власти и ихъ совѣтники. Мы совершенно согласны съ нашимъ оппонентомъ, что роль этихъ дѣятелей «была очень значительной», тогда какъ «роль общественнаго самосознанія была», напротивъ, «чрезвычайно слаба». Но «значительность» роли современныхъ дѣятелей мы объясняемъ не столько тѣмъ «сравнительнымъ просторомъ, который предоставляется исторіей субъективному фактору», какъ таковому, сколько той *цѣлесообразностью* ихъ дѣйствій, т.-е. соответствіемъ ихъ условіямъ данной эпохи, которое только и могло обезпечить этимъ дѣйствіямъ «сравнительный просторъ» *).

*) Извиняемся передъ нашимъ вторымъ оппонентомъ, что оставляемъ безъ подробнаго разбора тѣ его возраженія, обсужденіе которыхъ отвлекло бы насъ отъ главной цѣли нашей настоящей бесѣды. Замѣтимъ только, что напрасно критикъ хочетъ и въ этихъ другихъ возраженіяхъ выставить насъ безусловнымъ сторонникомъ теоріи экономическаго матеріализма, вопреки нашему собственному заявленію. Политическаго элемента въ социальномъ развитіи мы нисколько не отрицаемъ, но, дѣйствительно, въ примѣрахъ, приводимыхъ авторомъ, самую степень активности этого политическаго элемента мы ставимъ въ зависимость отъ степени экономическаго развитія. Земледѣльческій трудъ получаетъ «принудительную организацію» по преимуществу тамъ, гдѣ плоды его могутъ быть подѣлены съ «организаторами», т.-е. въ случаѣ извѣстной степени доходности его. Вотъ почему, вопреки мнѣнію оппонента, мы продолжаемъ думать, что не потому экономическое развитіе древней Руси было низко, что не нашлось организаторовъ труда изъ среды завоевателей-иноплеменниковъ, представителей «благороднаго» сословія, а потому этого сословія благородныхъ завоевателей не оказалось на Руси, что экономическое развитіе было низко. Рѣзкаго раздѣленія между обоими факторами, конечно, проводить нельзя, потому что необходимо допустить извѣстную степень взаимодѣйствія между ними.

Теперь должно сдѣлаться уже вполне ясно, почему исторію національнаго самосознанія мы начнемъ не съ элементовъ самосознанія и критики, присущихъ «удѣльно-вѣчевому» періоду русской исторіи, а съ конца XV вѣка, т.-е. съ момента, къ которому, по признанію нашего второго оппонента, эти старые элементы совершенно переродились. Въ этомъ признаніи второй нашъ критикъ отличается отъ перваго, который склоненъ признавать «нѣкоторые» старые элементы, напротивъ живучими и оставившими глубокій слѣдъ въ послѣдующей исторіи. Но и со вторымъ критикомъ, съ которымъ мы соглашаемся въ томъ, что элементовъ удѣльно-вѣчевого періода болѣе уже не было налицо, мы расходимся въ объясненіи того, почему ихъ не было. Слѣдуя Костомарову, онъ всю вину возлагаетъ здѣсь на татарское иго и на произведенныи имъ переворотъ въ состояніи «общественныхъ силъ». Мы же, вмѣстѣ съ старой московской исторической школой, готовы искать причину глубже и дальше—въ особенностяхъ соціальнаго строя русскаго сѣверо-востока, какъ этотъ строй сложился уже въ дотатарскую эпоху.

Первый изъ критическихъ отзѣвовъ на «Очерки», разбираемый выше, принадлежитъ *В. А. Мякотину* и напечатанъ въ «Русскомъ Богатствѣ» 1896 года, № 10. Второй разборъ сдѣланъ въ статьѣ: «Нѣсколько замѣчаній объ «Очеркахъ по исторіи русской культуры» г. Милюкова», принадлежащей г. *П. Б.* и появившейся въ томъ же журналѣ за 1898 годъ, № 8.

II.

Общій характеръ историческаго перелома въ концѣ XV вѣка — Житейскіе элементы новой московской программы.—Традиція скопидомства.—Традиція «единства», превратившаяся въ традицію «объединенія».—Традиція религиознаго единства и ея отношеніе къ идеѣ національнаго объединенія.—Религія, какъ средство въ рукахъ московской политики.—Идеологическіе элементы московской программы и ихъ общій источникъ.—Идея крестоваго похода противъ турокъ, какъ главная причина интереса Европы конца XV в. къ Россіи.—Левантинцы: итальянцы и греки, какъ посредники при первыхъ сношеніяхъ.—Женитьба на Софьѣ Палеологъ, какъ первый результатъ сношеній.—Политическія послѣдствія брака и первыхъ сношеній съ европейскими государями.—Неудачныя попытки ввести Ивана III въ международную іерархію государей.—Быстрый ростъ и практической успѣхъ идеи «панруссизма».—Теорія и дѣйствительность «борьбы съ исламомъ».—Дальнѣйшее развитіе московской политической идеологии при помощи южныхъ славянъ.—Национальное самосознаніе, какъ продуктъ истории южныхъ славянъ.—Его формулировка въ соотвѣтственной политической идеологии.—Перенесеніе этой идеологии на Москву.—Славянскіе литераторы (Киприанъ, Пахомій) овладѣваютъ русскими национальными темами.—Московский князь рисуется въ чертахъ славянскаго «царя и самодержца».—Москва становится «новымъ Царьградомъ».—Пропаганда новыхъ идей русскими писателями (Филовеѣ) —Связь славянскихъ идей съ русской идеей «панруссизма» при помощи легенды объ историческомъ преемствѣ власти отъ Византіи.

Послѣднія двадцать лѣтъ XV-го вѣка въ русской исторіи отличаются цѣлымъ рядомъ нововведеній, рѣзко отдѣляющихъ ихъ отъ всего предъидущаго времени. Русская политическая жизнь круто поворачиваетъ на новую дорогу. Въмѣсто нѣсколькихъ великихъ княжествъ, дробящихся на множество мелкихъ удѣловъ, мы встрѣчаемъ компактную массу московскихъ владѣній, почти уже поглотившихъ всѣ земли своихъ крупныхъ и мелкихъ сосѣдей. Въмѣсто прежняго великаго князя, договаривающагося и воюющаго съ этими ближайшими сосѣдями, мы видимъ «государя всея Руси». Онъ заботится не о мелкихъ прикупкахъ и «примыслахъ», а объ окончательномъ объединеніи подъ своей властью всей русской народности. И для достиженія этой цѣли онъ не хлопочетъ больше о томъ, чтобы подкупить ханскихъ совѣтниковъ и какъ-

нибудь выклянчить у хана ярлыкъ. Онъ теперь самъ «царь», не хуже ордынскаго, и «самодержецъ», не нуждающійся ни въ какой чужеземной санкціи своей власти. Его дипломаты, во что бы то ни стало, хотятъ быть на равной ногѣ не только съ правительствомъ венеціанской республики, но и съ самимъ цесаремъ римскимъ. Словомъ, на почвѣ стихійныхъ усиловъ, достигнутыхъ «прародителями», московскій государь вырабатываетъ широкую программу политики, которой сознательно и твердо придерживается съ этихъ поръ его правительство и его потомки. II, — что насъ особенно интересуетъ здѣсь, — въ этой программѣ текущая государственная задача впервые получаютъ болѣе или менѣе отвѣченную идеологическую формулировку. Политическая идеологія московской государственной программы скоро становится достояніемъ «народнаго сознанія», и надолго переживаетъ создавшую ее историческую обстановку. Вотъ почему намъ предстоитъ съ особымъ вниманіемъ отнестись къ этой программѣ и тщательно выдѣлать въ ней элементы житейскіе и элементы идеологическіе.

Заранѣе можно сказать, что именно послѣдніе т. е. идеологическіе элементы и составляютъ то новое, что даетъ особую, бросающуюся въ глаза окраску всему періоду, въ теченіе котораго осуществляется новая программа. Напротивъ, элементы, непосредственно вытекающіе изъ потребностей текущей жизни, связываютъ московскую дѣйствительность съ прошлымъ, составляя лишь прямой и логическій результатъ медленной, стихійной работы предъидущихъ поколѣній. Попытаемся же анализировать и тѣ, и другіе составные элементы московской политической программы.

Въ только что упомянутой «стихійной работѣ» прародителей московскаго самодержца, безъ сомнѣнія, была своя сознательность и своя традиція. Еще сынъ Калиты, Симеонъ Гордый, вполне отчетливо подчеркиваетъ эту традицію, кончая свое духовное завѣщаніе (1353) такими выраженіями: «а пишу вамъ это слово того ради, чтобъ не перестала память родителей нашихъ и наша, и свѣча бы не угасла». Симеонъ могъ быть спокоенъ. Свѣча, зажженная Калитой, не гасла, а разгоралась яркимъ пламенемъ при его сыновьяхъ, внукахъ, правнукахъ и праправнукахъ. Первый русскій самодержецъ стоялъ на плечахъ пяти поколѣній, и потому видѣлъ такъ далеко и широко. Но вѣрно, однакожъ, и то, что его предкамъ никогда и не снились такія широкія перспективы. Прикупая и «примышляя» деревню къ деревнѣ, волость къ волости, копя въ своей казнѣ золото и серебро, ожерелья и мониста, кожухи червленые жемчужные и пояса «съ камнемъ», обсчитывая татаръ на дани и насильничая надъ «своей братьей», князьями, — эти «прародители» не шли въ своихъ политическихъ мечтахъ дальше смутной надежды, что придетъ когда-нибудь время и «Богъ освободитъ ихъ отъ Орды». Если бы спросить ихъ, что они будутъ дѣлать съ своей свободой, они, вѣроятно, не смогли бы развить

никакой иной программы, кромѣ все той же старой, привычной, ставшей инстинктомъ: еще больше примышлять и копить, обманывать и насильствовать,—съ единственной цѣлью добиться какъ можно больше власти и какъ можно больше денегъ. Такимъ образомъ, традиція «скопидомства» была самой коренной, самой натуральной и наименѣе идеологической изъ всѣхъ традицій московской великокняжеской семьи.

Самая необходимость борьбы съ татарами намѣчала, правда, иныя, болѣе отвлеченныя цѣли; но онѣ едва ли отчетливо сознавались, тѣмъ болѣе, что отчасти противорѣчили очереднымъ задачамъ практической политики. Въ томъ самомъ завѣщаніи Симеона, непосредственно передъ цитированными словами, находятся совѣты, хотя и традиціонные, но сохранявшіе тогда очень реальный смыслъ. «Какъ отецъ мой приказалъ вамъ жить заодно, такъ и я вамъ приказываю; лихихъ людей не слушайте, а если кто васъ будетъ ссорить, слушайте отца нашего, владыки Алексѣя». Дѣйствительно, необходимость быть «заодно» была особенно осязательна, въ виду перспективы борьбы съ татарами. Но такое единство могло быть достигнуто на практикѣ лишь цѣной уничтоженія однимъ изъ соперниковъ всѣхъ прочихъ. Такимъ образомъ, въ устахъ счастливаго побѣдителя эта мораль «прародителей» должна была по необходимости принять другую форму. Быть «заодно»—ему больше не нужно было; но онъ твердо запомнилъ, что не надо дѣлиться съ другими. Старорусская, шедшая еще съ кіевскаго юга традиція «единства» превратилась, въ силу обстоятельствъ, въ традицію «объединенія». Не единеніе князей-родичей, а единство власти въ рукахъ одного «господаря» — таковъ былъ практическій урокъ, вынесенный московскимъ княземъ какъ разъ изъ бесплодности прадѣдовской морали. Какъ отчетливо и сознательно усвоилъ себѣ Иванъ III этотъ урокъ, мы знаемъ, по счастливой случайности, изъ его собственныхъ выраженій. Вѣсть о томъ, что зять Александръ литонскій князь, женатый на дочери Ивана, Еленѣ, хочетъ дать брату Сигизмунду *удѣлъ* въ литовской землѣ, подняла въ умѣ Ивана цѣлую тучу воспоминаній, и онъ продиктовалъ своимъ посланцѣмъ, ѣхавшимъ къ Еленѣ, въ Вильну, слѣдующее внушительное предостереженіе. «Передали мнѣ, что князь великій и паны хотятъ Сигизмунду дать въ литовскомъ великомъ княжествѣ Кіевъ и другіе города. Вотъ что, дочь моя: слыжалъ я, каково было нестроење нъ литовской землѣ, когда было государей много. Да и въ нашей землѣ, ты слышала, каково было нестроење при моемъ отцѣ; а послѣ отца моего, каковы были дѣла и мнѣ съ братьею, надѣюсь, слышала, а иное и сама помнишь. И если Сигизмундъ будетъ нъ литовской землѣ, какая вамъ отъ того польза? Я это велю тебѣ передать потому, что ты—дитя наше и что дѣло ваше начнетъ дѣлаться не какъ слѣдуетъ, а мнѣ того жаль».

Самъ Иванъ велъ свое «дѣло» «какъ слѣдуетъ», но онъ былъ не совсѣмъ сирѣдливъ къ своимъ предкамъ. Дѣло въ томъ, что извѣст-

ные намъ совѣты—бытъ заодно съ «братъею»—эти предки чѣмъ дальше, тѣмъ больше сопровождали такими распоряженіями, при которыхъ нравственная обязанность младшей брата превращалась въ политическую необходимость. «Прародители Ивана» все болѣе и болѣе увеличивали долю старшаго въ наслѣдствѣ и обдѣляли младшихъ. Старшій сынъ Дмитрія Донского, какъ извѣстно, вносилъ съ своей доли 34% татарской дани, т. е. владѣлъ третью русскихъ доходовъ, а самъ Иванъ III, его правнукъ, получилъ отъ отца уже половину всѣхъ русскихъ городовъ, и притомъ лучшую. Онъ передалъ своему сыну такую долю, съ которой шло уже цѣлыхъ 72% татарской дани, т. е. недалеко до трехъ четвертей всѣхъ русскихъ доходовъ.

Какъ видимъ, Иванъ III всецѣло стоялъ на плечахъ своихъ предковъ, когда критиковалъ ихъ политику съ высоты достигнутыхъ имъ результатовъ. Онъ только видѣлъ, какъ мы сказали, лучше и дальше, а потому могъ отнестись гораздо сознательнѣе къ ихъ идеѣ. А главное, препятствія къ осуществленію этой идеи были настолько ослаблены къ его времени, что онъ имѣлъ полную возможность провести идею несравненно послѣдовательнѣе.

Въ завѣщаніи Симеона мы отмѣтимъ еще одинъ совѣтъ, кромѣ совѣта о нравственномъ единеніи, участь котораго мы только-что прослѣдили. «Слушайте владыки Алексѣя», писалъ Симеонъ. Этотъ совѣтъ напоминаетъ намъ о другомъ элементѣ, роль котораго въ новой политической идеологіи намъ предстоитъ оцѣнить: элементъ религіозномъ. Казалось, по самому своему существу, этотъ элементъ толкалъ на путь идеологіи гораздо сильнѣе, чѣмъ элементъ политической борьбы. Однако, какъ увидимъ, московская политика и изъ него прежде всего создала себѣ орудіе для достиженія своихъ ближайшихъ житейскихъ цѣлей.

Борьба только-что зачинавшихся политическихъ центровъ за то, которому изъ нихъ быть резиденціей митрополита, началась, какъ извѣстно, съ очень давняго времени. Митрополитъ былъ религіознымъ представителемъ «всѣя Руси» гораздо раньше, чѣмъ московскій князь сдѣлался ея политическимъ представителемъ. Онъ былъ по самому своему положенію представителемъ *всей* русской народности, пока вся Русь оставалась единственной восточно-славянскою епархіей въ вѣдомствѣ константинопольскаго патріарха. Мало того, что самъ митрополитъ являлся невольнымъ представителемъ «всѣя Руси», онъ переносилъ это положеніе и на того князя, возлѣ котораго избиралъ свою постоянную резиденцію. Когда тверскому князю Михаилу Ярославичу удалось заручиться содѣйствіемъ митрополита Петра, онъ тотчасъ же, въ подражаніе титулу митрополита, сталъ называть и себя «великимъ княземъ *всѣя Руси*». Такимъ образомъ, московскій соперникъ тверскихъ князей, Иванъ Калита, не вводилъ ничего новаго, а просто копировалъ своихъ враговъ, когда, перетянувъ митрополита Петра на свою сторону, и онъ гоже перенялъ этотъ самый титулъ «великаго князя *всѣя Руси*». Не

забудемъ, что то и другое произошло за полтора вѣка до того времени, когда Иванъ III положилъ этотъ же самый титулъ въ основу своей національной политики.

Ничего подобнаго его политикѣ мы не найдемъ, однако же, у этикъ его предшественниковъ по титулу. Одно это сопоставленіе показываетъ, что въ XIV в. религіозный элементъ еще не могъ играть такой политической роли, какую онъ сталъ играть съ конца XV в. Идея всероссійскаго религіознаго единства, очевидно, не вызывала въ умахъ идеи всероссійскаго политическаго единства, и даже титулъ великаго князя «всея Руси» звучалъ совершенно безопасно и невинно. Имъ, самое большее, отмѣчались претензіи на гегемонію въ своеобразной политической федераціи, какую представляла система княжествъ удѣльнаго періода, а вовсе не стремленія къ политическому объединенію всей русской народности.

Эта старая роль церкви, какъ представительницы моральнаго единства, была уже сыграна, когда началась объединительная политика Ивана III-го. Церковь уже потому не могла долѣе служить носительницей національной идеи, что сама она раскололась къ этому времени на двѣ половины, соотвѣтственно двумъ частямъ Руси: литовской и московской. Литовская Русь получила въ срединѣ вѣка своего собственнаго духовнаго главу, который шелъ по слѣдамъ митр. Исидора, т. е. стремился провести въ жизнь формальное признаніе юго-западной русской церковью флорентійской уніи. Напротивъ, іерархія сѣверо-восточной Руси съ этихъ же самыхъ поръ вполне подчинилась цѣлямъ княжеской политики и цѣной своей свободы и независимости отъ свѣтской власти приобрѣла независимость, сперва фактическую, а позже и формальную, отъ византійскаго патріарха. Такимъ образомъ, церковь не ведетъ здѣсь за собой національную идею, а сама слѣдуетъ за ея развитіемъ, какъ послушное орудіе въ рукахъ государства.

Въ 80-хъ и 90-хъ годахъ XV вѣка изъ этого орудія было сдѣлано первое широкое примѣненіе. Государь «всея Руси» объявилъ войну государю литовской Руси во имя защиты православія противъ «римскаго закона». Защитой православія онъ оправдывалъ всѣ свои захваты у Литвы не только передъ своей непосредственной жертвой, но и передъ государями Европы, и даже передъ самимъ папой. Это была идеологія, соприкасавшаяся очень близко съ дѣйствительностью, но тѣмъ не менѣе, не совпадавшая съ нею всецѣло. Въ литовской Руси была своя православная партія, боровшаяся противъ окатоличенія Литвы; но борьбу свою она вела совсѣмъ другими средствами, и помощь Ивана являлась для нея тѣмъ болѣе непрошеной, что онъ, въ сущности, и не думалъ вступать съ этой партіей въ болѣе близкія отношенія. Для его ближайшихъ цѣлей достаточно было имѣть постоянный предлогъ къ вмѣшательству въ литовскія дѣла: этотъ предлогъ давали ему—въ значительной степени мнимыя—притѣсненія его дочери католиками. Нужно только прочесть въ дипломатическихъ бумагахъ того времени эти постоян-

ные упреки зятю и внушенія дочери, все въ тѣхъ же словахъ, превратившихся, въ концѣ концовъ, въ условныя формулы, отлично служившія въ рукахъ московскихъ дипломатовъ, но совершенно игнорировавшія дѣйствительность. Иванъ объяснялъ, дажѣ, и переѣздъ къ нему на службу мелкихъ пограничныхъ князей и передачу Москвѣ ихъ владѣній — все той же «нужею, что ихъ вудятъ приступити къ римскому закону».

Мы видимъ теперь, что и объединительная политика. и употребленіе, въ ея видахъ, религіозно-національной идеи хотя и имѣютъ свои корни въ болѣе или менѣе далекомъ прошломъ, въ политикѣ предковъ московскаго самодержца, но, тѣмъ не менѣе, въ его собственномъ употребленіи эти старыя идеи обогащаются новыми чертами и совершенно теряютъ, въ концѣ концовъ, свой старый характеръ. Такимъ образомъ, идея моральнаго единства всей «братии» уступила мѣсто безусловному политическому подчиненію всѣхъ остальныхъ передъ «старѣйшимъ», ихъ «господиномъ». Такимъ же образомъ и идея религіознаго единства всей русской народности послужила средствомъ для оправданія завоевательной политики московскаго князя. Та и другая перемѣна могла бы совершиться, и частью совершилась,—просто въ силу измѣнившихся обстоятельствъ, безъ всякаго воздѣйствія постороннихъ идеологій. Но теперь мы должны обратить вниманіе на другую сторону дѣла,—на чисто идеологическій элементъ московской программы. Только разборъ этого элемента можетъ намъ объяснить, почему новая программа была такъ быстро и такъ сознательно формулирована, и откуда взялись тѣ идейныя наросты на этой программѣ, съ которыми намъ еще предстоитъ познакомиться.

Секретъ этого быстрого идейнаго перелома, переодѣвшаго великаго князя удѣльнаго періода въ царскій костюмъ, находится тамъ же, гдѣ и двѣсти лѣтъ спустя, въ моментъ переодѣванія московскаго царя въ европейское платье. Тогда, при Петрѣ, Россія заинтересовалась Европой и принялась черпать полными руками изъ ея культурной сокровищницы новыя нравы и новыя мысли. Теперь, при Иванѣ, московская Русь была еще слишкомъ некультурна, чтобы заинтересоваться Европой: но теперь Европа заинтересовалась Россіей и обронила на русской почвѣ скудную сѣмена, давшія скоро на этой нетронутей почвѣ совсѣмъ своеобразныя всходы.

Въ эпоху Ивана III всю интеллигентную Европу проникала одна мысль—общаго крестоваго похода противъ турокъ. За исключеніемъ Бѣлграда, оставшагося (до 1521 г.) за венграми, Балканскій полуостровъ былъ въ послѣднія десятилѣтія XV в. уже въ турецкихъ рукахъ. Съ Дуная турки грозили румынамъ и вевграмъ, австрійскимъ славянамъ и нѣмцамъ. Они начинали также присматриваться и къ Италіи, куда не разъ призывали ихъ внутреннія ссоры мелкихъ династовъ. Всѣ эти земли уже испытывали на себѣ въ то время тяжесть турецкихъ на-

бѣговъ. Естественнымъ вождемъ оппозиціи противъ торжества ислама являлся глава западнаго христіанскаго міра, папа. Кромѣ него, больше всего въ Италіи заинтересованы были въ борьбѣ двѣ торговыя республики, соперничавшія на южноевропейскомъ востокѣ и имѣвшія тамъ повсюду свои колоніи: Генуя и Венеція. Въ Италіи заинтересованными лицами были наследники послѣдняго византійскаго императора, продававшіе свои права тому, кто дороже дастъ, и римскій императоръ германской націи, старавшійся наловить въ замутившейся водѣ европейской политики какъ можно больше добычи на своей восточной границѣ. У всѣхъ этихъ лицъ и государствъ было слишкомъ много противорѣчащихъ другъ другу интересовъ и эгоистическихъ побужденій, чтобы можно было надѣяться на осуществленіе идейнаго союза между ними. Тѣмъ охотнѣе они предоставляли честь и мѣсто всякому, кто согласился бы принять безкорыстно участіе въ такомъ союзѣ.

Таковъ былъ историческій моментъ, когда Европа открыла Россію. Честь этого открытія принадлежитъ, главнымъ образомъ, левантинцамъ. Этотъ типъ людей безъ отечества, съ тонкимъ умомъ и растяжимой моралью, охотно балансирующихъ на той неуловимой границѣ, которая отдѣляетъ дипломатію отъ шарлатанства, несомнѣнно, сложился вполнѣ уже въ то время. Наблюдательные и проницательные, они умѣли угадать, что кому нужно, и торговали тѣмъ товаромъ, на который былъ спросъ. Въ Италіи они открывали кафедры поэзіи и толковали Гомера и Демосеева; въ Москвѣ они сосватали великому князю племянницу византійскаго императора, Зою (Софію) Палеологъ. Дѣло было щекотливое, такъ какъ папа считалъ Зою, которую онъ пріютилъ у себя, ревностною католичкой, а для московскаго князя нужна была «православная христіанка». Два левантинца, одинъ итальянецъ, другой грекъ, уладили это затрудненіе, какъ нельзя лучше. Итальянецъ (Джанъ-Баттиста делла Вольпе, монетчикъ Ивана) взялъ на себя обмануть папу, обѣщавъ ему, что Россія подчинится св. престолу: грекъ (Юрій Траханиотъ, *magister domus* или дворецкій отца невесты, Θομης Палеолога, перешедшій потомъ на московскую службу) обманулъ Ивана III, засвидѣтельствовавъ, яко бы отъ имени византійскаго кардинала Виссаріона, «православное христіанство» Зои и рассказавъ при этомъ кучу небылицъ о ея женихахъ, которымъ она будто бы отказала изъ отвращенія къ латинству (на дѣлѣ, женихи ей отказывали). По дорогѣ, посланный Вольпе успѣлъ еще провести венеціанцевъ, поманивъ ихъ перспективой союза съ Золотой Ордой и предложивъ себя въ комиссіонеры. Второе дѣло сорвалось, зато первое наладилось. Московскій «варваръ» сталъ мужемъ «византійской царевны», какъ не переставала себя величать католическая Зоя, превратившаяся на русской почвѣ въ православную Софію (1472).

Отдавалъ ли себѣ Иванъ III ясный отчетъ во всѣхъ тѣхъ преимуществахъ, которыя онъ получалъ въ глазахъ Европы отъ этого брака?

Европа, съ своей стороны, не упускала случая ему напомнить объ этихъ преимуществахъ. Иванъ получилъ теперь право войти въ семью цивилизованныхъ государей Европы въ почетной роли защитника христіанства противъ турокъ.—въ роли, въ которой заинтересована была, какъ мы видѣли. прежде, всего, сама Европа. Вотъ почему венеціанскій сенатъ уже въ 1473 г. напоминаетъ Ивану, что «въ случаѣ прекращенія мужскаго потомства византійскихъ императоровъ, наслѣдственные права переходятъ къ нему, Ивану, по женѣ». Является въ Москву (1480 и вторично 1490) и самъ наслѣдникъ, готовый продать свои права за деньги. Должно быть, расчетливому московскому князю права эти показались не стоящими цѣны, которую за нихъ требовали, и скоро Андрей Палеологъ нашелъ себѣ болѣе выгоднаго покупателя въ лицѣ французскаго Карла VIII. Но въ европейской владѣтельной семьѣ долженъ же былъ московскій государь имѣть какое-нибудь опредѣленное положеніе. И вотъ, начались попытки купить у Ивана его услуги цѣной королевскаго титула. Уже въ 1484 году папа Сикстъ IV спѣшитъ успокоить волненія по этому поводу польскаго короля Казимира. Онъ обѣщаетъ ему, что если Иванъ попроситъ у папы званія императора или короля «всей русской націи» (*in tota ruthenica natione*), то онъ не дастъ ему этого званія, ве спросившись предварительно у поляковъ. Про польскіе страхи узналъ тогда же и одинъ случайный германскій путешественникъ, заѣхавшій въ Россію въ 1486 г. (Николай Поппель). По его свѣдѣніямъ, которыя онъ черезъ два года сообщилъ въ Москвѣ самому великому князю, «королю польскому очень не хочется, чтобы римскій папа сдѣлалъ великаго князя королемъ; онъ посылалъ къ папѣ великіе дары, чтобы папа этого не дѣлалъ... Ляхи очень боятся того, что если твоя милость будетъ королемъ, то тогда *вся Русская земля, которая подъ королемъ польскимъ, отступитъ отъ него и твоей милости будетъ послушна*».

На этотъ разъ, какъ и въ наше время, «черезчуръ большая забота о больномъ сдѣлалась причиной болѣзни». Московскій князь выслушалъ очень равнодушно увѣренія Поппеля, что не въ папѣ дѣло, что титулъ короля можетъ дать только императоръ, и что Иванъ можетъ, если захочетъ, получить этотъ титулъ на извѣстныхъ условіяхъ отъ его господина. Громкое имя «римскаго императора» было пустымъ звукомъ для невѣжественныхъ ушей Ивана III. Титулъ «короля» не только оставлялъ его вполне равнодушнымъ, но даже раздражалъ, какъ знакъ какого-то подчиненія. Входя въ европейскую семью, онъ хотѣлъ, если не быть первымъ, то остаться самимъ по себѣ, совершенно несоизмѣримымъ съ установленными ступенями европейской іерархіи государей. Первые московскіе послы не хотѣли уступать въ чести ни Франціи, ни Испаніи, тогдашнимъ сильнѣйшимъ державамъ Европы. Въ соборѣ св. Марка и въ Ватиканскомъ дворцѣ они претендовали на первое мѣсто: въ Вѣнѣ они требовали, чтобы императоръ назначилъ въ женихи

дочери московскаго князя—своего наследника: герцоги и маркграфы были для нея слишком ничтожными особами. Самая тонкая государственная мудрость не могла продиктовать Ивану бо́гѣе ловкаго отвѣта, чѣмъ тотъ, который онъ далъ Поппелю въ своемъ наивномъ невѣдѣніи европейскихъ отношеній. «Что ты намъ говорилъ о королевствѣ», отвѣчали дипломаты московскаго князя германскому послу,—«то мы, Божіею милостіею, государя на своей землѣ изначала, отъ первыхъ своихъ прародителей, а поставленіе имѣемъ отъ Бога—какъ наши прародители такъ и мы. просимъ Бога, чтобы намъ и дѣтямъ нашимъ всегда дало такъ и быть, какъ мы теперь государя на своей землѣ; а поставленія. какъ прежде мы не хотѣли ни отъ кого, такъ и теперь не хотимъ». Однако, скоро въ самой Москвѣ такая мотивировка, подсказанная старой житейской традиціей, показалась недостаточной; черезъ нѣсколько мѣсяцевъ московскіе послы придумали для императора новый, болѣе пышный отвѣтъ, въ которомъ, какъ скоро увидимъ, уже играла роль принесенная изъ-за-границы политическая идеологія.

Какъ бы то ни было, къ соблазнамъ западнаго государственнаго права Иванъ III остался холоденъ. Совершенно иначе отнесся онъ къ подсказанной Поппелемъ идеѣ «панруссизма». Мы не знаемъ, насколько основательны были страхи короля польскаго; но если бы даже у Ивана III не было раньше никакой мысли о томъ, чтобы добыть оружіемъ литовскую Русь, то теперь напомианія и намеки изъ-за-границы должны были запасть въ душу Ивана. Нельзя ли было добыть «всю русскую землю, которая подъ королемъ польскимъ (и подъ великимъ княземъ литовскимъ)» и безъ королевскаго титула, безъ папской или императорской санкціи? Отвѣтъ на это заключался въ только что приведенныхъ словахъ, сказанныхъ Поппелю московскими дипломатами. Если москвичи забыли, что южная Русь когда-то тоже принадлежала великому князю кіевскому и что послѣдняго можно тоже разсматривать, какъ «прародителя», а его владѣнія, какъ московскую «отчину», то теперь императоръ и папа должны были имъ объ этомъ напомнить. Вотъ почему Иванъ, отвергнувъ королевскій титулъ, такъ энергично схватился за сдѣланные ему намеки на возможность претензіи съ его стороны—владѣть всею Русью. И онъ отвѣчаетъ императорскому послу, Георгу фонъ-Турну (1490), что хочетъ съ «королемъ» Максимилианомъ и любви, и дружбы, и «единачества», что готовъ «быть съ нимъ за одинъ на своихъ недруговъ», т. е. на польскаго короля, съ тѣмъ, чтобы каждый «доставалъ своихъ отчинъ» у этого своего соперника: Максимилианъ—Угорскаго королевства, а Иванъ—«Кіевскаго великаго княжества». И онъ торопитъ императора, упрекаетъ его въ охлажденіи, убѣждаетъ «поотставить инья свои дѣла и пристать къ тому своему дѣлу накрѣшко». Не дождавшись помощи Максимилиана, онъ, наконецъ, рѣшается приняться за дѣло самъ, и ведетъ его съ упрямой настойчивостью, поражавшей постороннихъ наблюдателей и приведшей къ же-

ланному концу. Въ 1493 году онъ формально принимаетъ титулъ, подсказанный историческими прецедентами и такъ кстати освѣженный въ памяти дипломатами папы и императора: титулъ «государя всея Руси». На протестъ литовскаго зятя, держащаго подъ собой половину этой «всея Руси», московскіе дипломаты отвѣчаютъ уже съ увѣренностью и апломбомъ, которые надолго остаются ихъ привилегіей. «Государь нашъ ничего высокаго не писалъ и никакой новости не вставилъ. Онъ отъ начала—правый *уроженецъ-государь* всея Руси, чѣмъ его Богъ подаровалъ отъ дѣдовъ и прадѣдовъ». И по мѣрѣ своихъ мирныхъ захватовъ и военныхъ пріобрѣтеній, Иванъ III послѣдовательно развиваетъ разъ принятую точку зрѣнія. Все, отнятое у Литвы,—«наша вотчина». «Да и не то одно—наша вотчина, что нынѣ за нами: и вся русская земля, Божіей волей, изъ старины отъ нашихъ прародителей—наша вотчина». не забываютъ прибавлять всякій разъ москвичи. За годъ до смерти Ивана (1504) этотъ тезисъ развивается еще опредѣленнѣе. «Вся русская земля—Кіевъ и Смоленскъ и иные города—отъ нашихъ прародителей—наша вотчина, и онъ бы (король) намъ русской земли *всей*—Кіева, Смоленска и *иныхъ городовъ*... поступился». Эта глухая ссылка на «иные» города даетъ возможность постоянно расширять требованія: такъ, въ 1517 г., уже при Василии III, встрѣчаемъ формулу: «Кіевъ, Полоцкъ, Витебскъ» и, опять-таки, «иные города». На самага хладнокровнаго читателя сухихъ посольскихъ донесеній этотъ тяжелый, размѣренный шагъ московскаго «каменнаго гостя» способенъ произвести впечатлѣніе какого-то давящаго кошмара.

Но что же случилось съ миссіей великаго князя, какъ защитника христіанства отъ «невѣрныхъ»? Въ этомъ отношеніи новый союзникъ такъ же разочаровалъ западное христіанство, какъ разочарованы были и сами его представители другъ въ другѣ. Вся разница была только въ томъ, что Иванъ III не чувствовалъ даже потребности и не давалъ себѣ труда прикрывать громкими фразами эгоистическую подкладку своей политики. Онъ не прочь былъ побороться противъ «поганства»; но онъ предусмотрительно спрашивалъ всегда: противъ *какого* поганства? Какъ у европейскихъ государей, какъ у польско-литовскаго короля и князя, у Ивана III было «поганство», съ которымъ онъ дружилъ не только противъ другого «поганства» же, но и противъ своихъ христіанскихъ сосѣдей. Такимъ былъ его старый другъ, крымскій ханъ Менглы-герай, оказавшій Ивану незамѣнимыя услуги въ борьбѣ съ Золотой Ордой и съ польско-литовскимъ государствомъ. Какъ разъ въ то время крымскій ханъ сдѣлался вассаломъ турецкаго султана, только-что вытѣсниваемаго генуэзцевъ съ южваго берега Крыма. Дружба Ивана съ Менглы-гераемъ открывала ему путь къ прямымъ сношеніямъ съ самимъ падишахомъ. Послѣ предварительной переписки черезъ крымскаго пріятеля, московскій посланникъ (1494) появился на берегахъ Босфора. Въ столицѣ вождя правовѣрныхъ, какъ въ столицѣ

римскаго императора, представитель московскаго князя игнорировалъ установившіеся обычай этикета и требовалъ для себя исключительнаго положенія. Потомокъ пророка былъ жестоко шокированъ, что не помѣшало, однако, Высокой Портѣ отправить въ Москву отвѣтъ, наполненный самыми утонченными любезностями въ восточномъ вкусѣ, и дать, спустя нѣсколько лѣтъ, русскимъ купцамъ значительныя преимущества въ торговлѣ (1499). А еще черезъ нѣсколько лѣтъ (1503) на новое предложеніе помириться съ польско-литовскимъ государствомъ для общей войны противъ турокъ, Иванъ III отвѣчалъ папѣ, что онъ «какъ напередъ того за христіанство противъ поганства стоялъ, такъ и нынѣ и впредь, если дастъ Богъ, хочеть за христіанство противъ поганства стоять»; но что въ войнѣ съ Литвой виноватъ не онъ, а его противникъ, и что «русская земля отъ нашихъ предковъ, изстаринны, наша вотчина».

Такова была единственная идеологія, непосредственно извлеченная самимъ Иваномъ III изъ сношеній съ западно-европейскими дипломатами. Но самый фактъ этихъ сношеній долженъ былъ послужить источникомъ для другихъ идеологій, и, прежде всего, для дальнѣйшаго развитія той, которую мы только-что отмѣтили. Чтобы прослѣдить это дальнѣйшее развитіе русской національной идеологіи, мы должны вернуться изъ Европы въ Москву,—на этотъ разъ обогащенную плодами своихъ первыхъ сношеній съ Европой.

Здѣсь мы прежде всего встрѣтимся съ вліяніемъ новаго элемента, до сихъ поръ мало отмѣченнаго учеными. Итальянцы и греки были самыми подходящими людьми, чтобы завести вѣшнія сношенія Россіи съ Европой. Но чтобы воздѣйствовать на русскую національную психологію, многого не хватало не только первымъ, но и вторымъ. У грековъ былъ свой національный патріотизмъ, узкій и исключительный, проводившій рѣзкую границу между своими и чужими. Если еще и въ настоящее время они не перестали считать русскихъ, по старой привычкѣ, «варварами», то можно себѣ представить, что было въ эпоху Ивана III. Принужденные льстить и кланяться, выпрашивая подачекъ у московскаго государя, они затаивали въ душѣ презрѣніе и недоброжелательство къ своимъ покровителямъ-дикарямъ. Московскіе люди платили имъ за эти чувства подозрительностью и недоверіемъ. Несравненно ближе чувствовали себя къ русскимъ южные славяне они-то и явились самыми естественными воспитателями русскаго національнаго чувства въ его первыхъ проявленіяхъ въ рассматриваемую нами эпоху.

Въ нихъ самихъ вся ихъ исторія воспитала это національное чувство и періодически приводила къ самому рѣзкому обостренію его. И всякій разъ причиной такого обостренія національнаго чувства являлась вражда южныхъ славянъ къ грекамъ. Во всѣхъ случаяхъ, когда среди балканскихъ славянъ обнаруживалось сколько-нибудь самостоя-

тельное культурное движеніе, въ основѣ его всегда лежала ненависть къ цивилизаціи «ромеевъ», или, точнѣе говоря, къ проявленіямъ ихъ національнаго высокомерія. Цѣлью подобныхъ національныхъ движеній всегда становилась политическая борьба за независимость отъ византійскаго императора и религіозная борьба за независимость отъ константинопольскаго патріарха. Свой собственныи, славянскій императоръ и свой патріархъ—таковы были вѣковѣчные идеалы южно-славянскихъ національныхъ стремленій

Въ послѣдній разъ передъ турецкимъ завоеваніемъ это національное чувство вспыхнуло въ XIV в. при болгарскомъ Александрѣ и сербскомъ Душанѣ. Оба носились съ мыслью—завоевать самимъ Константинополь и водворить на мѣстѣ Византіи славянскія державы: сербско-греческую и болгаро-греческую. Для начала, оба стали титуловать себя «царями» и «самодержцами», а Стефанъ Душанъ и формально короновался (1346). Что касается церковной независимости, въ Болгаріи самостоятельное патріаршество (сперва въ Охридѣ, потомъ въ Тырновѣ) существовало уже издавна. Душанъ завелъ у себя вновь такого же самостоятельнаго патріарха для сербовъ. Византійскій этикетъ повластно воцарился при дворахъ славянскихъ государей, давно уже привыкшихъ величаться византійскими придворными титулами и окружать себя внѣшними знаками почета, принятыми при императорскомъ дворѣ.

Какъ видимъ, программа для Москвы, новой наследницы Царьграда, была во всѣхъ главныхъ чертахъ намѣчена югославянскими прецедентами. Намѣчена была тогда же и тамъ же и самая идеологія, пригодная для Москвы въ ея новомъ положеніи.

Въ одной болгарской рукописи середины XIV вѣка, писанной по повелѣнію «царя и самодержца» Іоанна Александра, мы уже находимъ не только тѣ же самыя мысли, которыя полтора вѣка спустя найдемъ въ Москвѣ, но даже и тѣ же самыя выраженія. Писецъ вставляетъ въ текстъ старой византійской хроники (Манассіи) вотъ какую новую замѣтку. «Все это приключилось съ *старымъ* Римомъ; нашъ же *новый* Царьградъ стоитъ и растетъ, крѣпится и оmlаждается. Пусть онъ и до конца растетъ,—о Царь, всѣми царствующій,—принявши (въ себя) такого свѣтлаго и свѣтоноснаго царя, великаго владыку и изряднаго побѣдоносца, происходящаго изъ корени Асѣня, преизящнаго царя болгарь.—я разумѣю Александра прекроткаго, и милостиваго и мнхолобиваго, нищихъ кормильца, великаго царя болгарь, чью державу да исчислять неисчислимыя солнца». По смыслу этой фразы, подъ «новымъ Царьградомъ» надо разумѣть болгарскую столицу Іоанна Александра, многократно воспѣтый преславный градъ Тырновъ.

Трубные звуки національнаго величанія «царя» и столицы—прерываются, правда, по временамъ раскатами турецкаго грома, сперва отдаленными, потомъ все болѣе близкими. На первыхъ порахъ, однако, это

не мѣняетъ темы національнаго гимна, а только вноситъ новый аккомпанементъ,—то радостный и торжественный, то мистическій и мрачный. Славянскій царь уже раньше представлялся въ національныхъ легендахъ возстановителемъ всеобщаго мира и благоденствія. Теперь его начинаютъ сближать съ Александромъ Македонскимъ, его тезкой по имени, и къ нему относятъ древнія пророчества. При немъ выйдутъ изъ горъ запертые Александромъ народы, Гогъ и Магогъ (въ послѣднихъ видятъ турокъ); никто не устоитъ противъ нихъ, но Господь пошлетъ архистратига, который перебьетъ ихъ всѣхъ, а тамъ наступитъ скоро и антихристово пришествіе и кончина міра.

Событія мало-по-малу разрушили до основанія эти надежды и эту эсхатологию. Прежде всего не сбылись ожиданія болгарскаго переписчика Манассіи. «Новый Царьградъ» не устоялъ «до конца». Турки пришли и взяли все. И «новый», и «старый» Царьградъ раздѣлили участь «старога Рима». Оскорбленное національное чувство не могло, конечно, примириться съ такимъ плачевнымъ исходомъ. Отчаявшись въ возможности побѣдить своими силами, югославянская интеллигенція перенесла свои упованія на сосѣднихъ государей, до которыхъ дошла очередь борьбы съ турками послѣ потери Балканскаго полуострова. Поочередно, балканскіе поэты и политики, дипломаты и духовныя лица возлагали надежды то на вевгровъ, то на поляковъ. Но время шло, и эти надежды точно такъ же рушились, какъ и мечты о національной державѣ. Ближайшіе сосѣди оказывались безсильными помочь балканскимъ славянамъ. Тогда-то ревностные патріоты принялись искать помощи дальше, на сѣверѣ Европы. Тайнственная, мало извѣстная тогда Москва должна была явиться въ этой роли, предназначенной когда-то для стольнаго града Тырнова; единоплеменный и единовѣрный московскій князь занялъ мѣсто національнаго «царя и самодержца», «изряднаго побѣдоносца», которое оказалось не по силамъ государямъ ближайшихъ странъ. Взамѣнъ тѣхъ услугъ, которыхъ отъ него ожидали, на него перенесли теперь древнія пророчества, его окружили ореоломъ «единственнаго православнаго царя во всей вселенной», Москву сдѣлали «новымъ Царьградомъ» и «третьимъ Римомъ», а въ москвичахъ впервые пробудили всѣмъ этимъ болѣе сознательное національное чувство.

Въ посредникахъ между Москвой и Тырновомъ недостатка не было. Уже въ самую эпоху расцвѣта національнаго самосознанія на Балканскомъ полуостровѣ, въ XIV вѣкѣ, отдаленные отголоски этого славянскаго движенія проникли до Москвы и оказали здѣсь кое-какое вліяніе. Навязанный московскому князю изъ Константинополя болгаринъ митр. Кипріанъ, дважды прогнанный изъ Москвы сторонниками московской независимости, кончилъ тѣмъ, что примирился съ Василиемъ I и посвятилъ остатокъ дней тому же дѣлу, надъ которымъ трудились свои, московскіе создатели, Петръ и Алексѣй. Онъ первый примѣнилъ литературную манеру, выработанную въ болгарскомъ Тырновѣ знаменитымъ

Евфиміемъ, къ возвеличенію памяти митрополита-сотрудника Калиты. Скромный, сдержанный стиль прежнихъ русскихъ «списателей» житій не позволялъ разгуляться фантазіи: напротивъ, при новой литературной манерѣ церковнаго витійства, заимствованной юго-славянами изъ Византіи— національной легендѣ отрывался широкій доступъ въ духовную литературу.—и вмѣстѣ съ тѣмъ, создавалось новое, могущественное средство въ рукахъ московскихъ князей для пропаганды новой религіозно-политической идеологіи. На примѣрѣ «житія» митрополита Петра Кипріяна показавъ москвичамъ, какъ надо дѣлать это дѣло. Прежній русскій биографъ. Прохоръ, выражался, напримѣръ, о Москвѣ, какъ о «градѣ честномъ кротостію». Подъ перомъ Кипріяна это выраженіе превращается въ «градъ славный, зовомый Москвой». Онъ вноситъ въ житіе Петра и ту знаменитую легенду, по которой будущая роль «славнаго града» была провидѣна случайнымъ гостемъ Калиты. «Если меня послушаешься», говорилъ, будто-бы, Калитѣ митр. Петръ, «и построишь храмъ пречистой Богородицы, то и самъ прославишься больше другихъ князей, и сыновья и внуки твои, и городъ этотъ славенъ будетъ, святители станутъ въ немъ жить и подчинить онъ себѣ всѣ остальные грады».

Послѣ паденія Константинополя, особенно же послѣ потери надеждъ на ближайшихъ сосѣдей, т. е. во второй половинѣ XV вѣка, юго-славяне появляются въ Россіи въ еще большемъ количествѣ и смѣло идутъ по стопамъ знаменитаго іерарха, своего земляка и предшественника, создавая отдѣльные элементы національной легенды и проводя ихъ въ литературу при помощи тенденціозныхъ вставокъ или цѣльныхъ сказаній. До самаго послѣдняго времени эта литературная работа южныхъ славянъ оставалась анонимной. только въ наше время анонимы начинаютъ вскрываться, и по тому, что удалось обнаружить, можно составить себѣ нѣкоторое понятіе о происхожденіи цѣлой группы аналогичныхъ идеи, вторгнувшихся замѣтной струей въ нашу политическую литературу конца XV в. и начала XVI в., или, лучше сказать, впервые создавшихъ на Руси политическую литературу.

Начинается съ того, конечно, что къ московскому князю примѣняются понятія и идеи, установившіяся относительно юго-славянскихъ государствъ. Такъ, предваряя событія, сперва юго-славянское, а потомъ и русское духовенство начинаетъ безъ стѣсненія титуловать князя «царемъ», обильно уснащая свои обращенія къ нему всевозможными эпитетами славянско-византійскаго происхожденія. Онъ «боговѣчанный», онъ «благородный», «благовѣрный», «великодержавный», онъ «богосущественный поспѣшникъ истины», «высочайшій исходатай благовѣрія» и т. д. Одинъ духовный писатель, оказавшійся, по новымъ изслѣдованіямъ, не кѣмъ инымъ, какъ извѣстнымъ «списателемъ житій» XV вѣка по манерѣ Евфимія Тырновскаго, сербомъ Пахоміемъ, даже влагаетъ въ уста самого греческаго царя, Іоанна Палеолога, признаніе за московскимъ государемъ царскаго титула—вмѣстѣ съ объясненіемъ, почему

онъ его еще не носитъ официально. Въ Москвѣ, по этому мнимому заявленію византійскаго императора передъ Флорентійскимъ соборомъ, сохраняется «большее православіе» и «высшее христіанство»; и только «смиренія ради и по величеству разума» московскій князь «не зовется царемъ, но княземъ великимъ русскимъ».

Затѣмъ на московскаго князя, какъ нѣкогда на болгарскаго Іоанна Александра, переносятся всѣ предсказанія и пророчества. «Русскій родъ», которому, по греческимъ преданіямъ, суждено побѣдить Измаила и овладѣть, въ концѣ концовъ, семью холмами Царяграда, — превращается теперь въ «русскій родъ». «Если всѣ преждереченныя Мееодиѣмъ Патарскимъ и Львомъ Премудрымъ *) знаменія о градѣ семъ сбылись», читалъ русскій читатель, — «то и послѣднія не минуютъ, во то же сбудутся; ибо писано: русскій родъ всего Измаила побѣдитъ и Седмихолмный возьметъ, и въ немъ воцарится». Такова ореографическая ошибка, положившая начало русской «исторической миссіи» относительно св. Софіи Цареградской. Въ умахъ широкой публики, подобная легенда очевидно, могла произвести болѣе сильное дѣйствіе, чѣмъ признаніе венеціанскаго сената или торговля своимъ титуломъ дяди Софіи Палеологъ, — извѣстныя только двору и дипломатамъ.

Однако, дожидаться осуществленія легендарныхъ или юридическихъ правъ на Константинополь — вовсе не входило въ расчеты московской политики. Тѣмъ болѣе, что легенда, по обыкновенію, связывала это событіе съ послѣдними временами (наступленіе ихъ ожидалось тогда, правда, уже въ концѣ XV в.). Съ своей обычной практичностью, московскій князь спѣшитъ дисконтировать долгосрочный вексель и пустить выручку немедленно въ оборотъ. Отблескъ св. Софіи долженъ былъ упасть на Москву и сообщить ей новый ореолъ дома и за-границей II на этомъ пути вдохновленное юго-славянскими идеями духовенство первое пошло впередъ.

Мы видѣли, какъ болгарскій литераторъ пытался въ срединѣ XIV вѣка перенести славу «старога Рима» и «старога Царьграда» на «новый Царьградъ» — Тырновъ. Теперь эта красивая метафора, заключающая въ себѣ цѣлую историческую схему, цѣлую философію всемірной исторіи, безъ труда переносится на Москву. Міръ совсѣмъ не кончается на седьмой тысячѣ лѣтъ отъ сотворенія; напротивъ, со вступленіемъ въ восьмую тысячу (1492 годъ) начинается новый періодъ міровой исторіи, и этотъ періодъ характеризуется именемъ Москвы. Эти идеи впервые развиваются въ русской литературѣ въ сочиненіи, написанномъ въ этотъ самый критическій годъ и имѣвшемъ цѣлью опровергнуть распространенные въ публикѣ страхи передъ кончиной міра: въ пасхали на восьмую тысячу лѣтъ, составленной митропо-

*) Подъ этими двумя именами ходили наиболѣе распространенныя пророчества о судьбѣ Царяграда и о послѣднихъ временахъ.

литомъ Зосимой. «Царь Константинъ создалъ новый Римъ—Царьградъ,— замѣчаетъ Зосима,— а государь и самодержецъ всея Руси Иванъ Васильевичъ, «новый царь Константинъ», положилъ начала «новому Константинограду—Москзѣ». Какъ бы для того, чтобы подчеркнуть юго-славянское происхожденіе этихъ идей, другой русскій авторъ, извѣстный псковскій инокъ Филосей, прямо воспользовался для выраженія ихъ знакомой намъ формулой болгарскаго «списателя» XIV вѣка. Въ 1511 г. царскій дьякъ Мунехинъ привезъ ему во Псковъ изъ Москвы новинку— «Хронографъ» или очеркъ юго-славянскій исторіи въ связи съ византийской и русской, составленный для русской публики въ 1442 году упомянутымъ выше писателемъ житій, ученикомъ Евфимія Тырновскаго, сербомъ Пахоміемъ. Филосей рѣшилъ переделать этотъ хронографъ для своихъ псковичей, и кончивъ (1512) переделку, прибавилъ въ концѣ свое собственное заключеніе. По его идеѣ, это резюме должно было подчеркивать тотъ главный философско-историческій выводъ, который читатель долженъ былъ сдѣлать изъ чтенія подобранныхъ сербомъ историческихъ данныхъ, доведенныхъ до паденія Царяграда. Вотъ этотъ выводъ, соединяющій въ одно цѣлое древнія пророчества и новыя мечты. «Православные питаютъ надежду, что, послѣ достаточнаго наказанія, снова всемогущій Господь возметъ во тѣмъ злочестивыхъ властей погребенную, словно въ пещѣ, искру благочестія, и поалитъ, какъ терніи, царства измаильтянъ злочестивыхъ, и просвѣтитъ свѣтъ благочестія и вновь поставитъ благочестіе и царя православнаго. Ибо всѣ эти благочестивыя царства (о которыхъ рассказывалъ хронографъ), греческое и сербское, босенское и альбанское и иныя за множество грѣховъ нашихъ Божіимъ поущеніемъ безбожныя турки поплѣнили и въ запустѣніе привели и подъ свою власть покорили. Наша же російская земля, Божіей милостью и молитвами Пречистой Богородицы и всѣхъ святыхъ чудотворцевъ, растеть и молодѣеть и возвышается. Дай ей, Христе милостивый, расти и молодѣть и шириться до скончанія вѣка».

Недовольный этимъ исповѣданіемъ своей политической вѣры въ «Хронографѣ», Филосей принимается за настоящую пропаганду новыхъ учений и развиваетъ ихъ въ цѣломъ рядѣ посланій. Онъ пишетъ (1517) упомянутому уже дьяку Мисюрю Мунехину, одному изъ выдающихся интеллигентныхъ людей того времени, который около 1493 года самъ путешествовалъ на православномъ востокѣ и уже этимъ путешествіемъ втянутъ былъ въ кругъ новыхъ идей. Онъ пишетъ также и самому великому князю (между 1514—1521). Въ своихъ посланіяхъ онъ особенно подчеркиваетъ ту мысль, что политическое паденіе православныхъ царствъ связано съ ихъ религіозной измѣной и что политическое господство Москвы есть слѣдствіе ея религіозной непоколебимости. «Девяносто лѣтъ прошло,—пишетъ онъ Мунехину,— какъ греческое царство разорено, и оно не воскреснетъ, такъ какъ греки предали православную вѣру въ латинство». Подобнымъ же образомъ и «всѣ хри-

стіанскія царства пришли въ конецъ и сошлись въ единое царство нашего государя: въ *россійское* царство, какъ предсказали пророческія книги». И этому «нынѣшнему православному царствію пресвѣтлѣйшаго и высокостольнѣйшаго государя нашего,—единого во всей поднебесной христіанамъ царя»,—нѣтъ конца, какъ нѣтъ конца православію на землѣ. Онъ является, по необходимости, единственнымъ уцѣлѣвшимъ въ мірѣ «браздодержателемъ святыхъ Божіихъ престоловъ святой вселенской церкви», представительницей которой служитъ, «вмѣсто римской и константинопольской, церковь святаго и славнаго Успевія Богородицы въ богоспасенномъ градѣ Москвѣ, которая одна во всей вселеннѣй паче солнца свѣтится». Однимъ словомъ, по резюмирующей формулѣ Филоея, «два Рима пали, третій стоитъ, а четвертому не бывать». И онъ усердно старается натвердить эти религіозно-политическія аксіомы великому князю Василю *)

Въ другомъ мѣстѣ мы говорили о томъ, какія національно-религіозныя послѣдствія вытекали изъ только что изложенныхъ теорій. Эти теоріи вели, въ концѣ концовъ, къ полной націонализациі русской церкви. Теперь намъ важнѣе другая сторона ихъ, именно та національно-политическая санкція, которая изъ нихъ вытекала. И въ этомъ смыслѣ намъ остается прослѣдить еще одинъ важный шагъ, который сдѣлали эти завезенныя съ юга теоріи уже на русской почвѣ, чтобы приноровиться къ мѣстной дѣйствительности.

Московскій «царь и самодержецъ», по новой теоріи, являлся прямымъ продолжателемъ дѣла царя Константина. Однако же, скачекъ былъ слишкомъ великъ—отъ «стараго» Константина къ «новому». Затѣмъ, это преемство представлялось *логическимъ* результатомъ событій въ православномъ мірѣ; но, для полной убѣдительности и наглядности, надо было представить его *историческимъ* фактомъ, совершившимся въ пространствѣ и времени, въ опредѣленный моментъ въ извѣстномъ мѣстѣ. То же самое нужно было и для того, чтобы согласовать юго-славянскую формулу политическихъ притязаній Москвы—съ мѣстной, московской. Въ своей реальной политикѣ московскій князь выступалъ въ качествѣ наследника своихъ «прародителей»; онъ добивался этого наследства, «великаго княжества Кіевскаго», какъ своей «отчины и дѣдивы». Онъ готовъ былъ, конечно, фигурировать и въ роли наследника царя Константина, но съ тѣмъ только условіемъ, чтобы это идейное наследство не затемняло другого, несравненно болѣе реальнаго и доступнаго. Итакъ, надо было теперь балканскую идеологию примирить съ московской политикой.

Задача была разрѣшена блистательно, при помощи все тѣхъ же пришельцевъ съ христіанскаго востока. Чтобы византійское наследство

*) См. цитаты изъ письма Филоея къ государю въ «Очеркахъ по исторіи русской культуры», т. II, стр. 22.

не затемняло кievскаго, лучше всего было—самого кievскаго «прародителя» надѣлать этимъ византійскимъ наслѣдствомъ, связать его непосредственно съ великими именами древности. Изъ двухъ кievскихъ прародителей.—двухъ Владиміровъ, крѣпче всѣхъ другихъ князей засѣвшихъ въ народной памяти,—къ кому роль наслѣдника византійской власти могла идти лучше, какъ не къ тому, кто носилъ греческое прозвище Мономаха, напоминавшее о его родственныхъ связяхъ съ Византіей?

Выдумывать фантастическія генеалогіи для оправданія національных политическихъ притязаній—не было новостью для славянскихъ литераторовъ. Они еще въ XI—XII вѣкѣ вывели болгарскихъ Асѣней отъ «знатнаго римскаго рода», а въ XIV вѣкѣ породнили сербскихъ Нѣманей съ Константиномъ Великимъ и даже съ кесаремъ Августомъ. Безъ сомнѣнія, и Иванъ III чувствовалъ уже потребность въ такихъ же, болѣе пышныхъ историческихъ связяхъ, которыя бы могли лучше поставить его на одну высоту съ императоромъ, чѣмъ это могла сдѣлать простая ссылка на кievскихъ прародителей. Онъ уже дѣлаетъ и оффиціальную попытку связать себя съ Царьградомъ и Римомъ, и притомъ не прямо, какъ легко было бы сдѣлать мужу Софьи Палеологъ, и именно черезъ своихъ «прародителей». Онъ не рѣшается еще говорить о родствѣ и о формальной передачѣ власти, но вотъ что уже говорятъ его послы германскому императору въ 1489 году, нѣсколько мѣсяцевъ послы посольства Поппеля. «Во всѣхъ земляхъ извѣстно,—надѣмся и вамъ вѣдомо, что государь нашъ—великій государь, урожденный изначала отъ своихъ прародителей и что прародители его отъ давнихъ лѣтъ были въ пріятельствѣ и въ дружбѣ съ прежними римскими царями, которые Римъ отдали папѣ, а сами царствовали въ Византіи». Въ началѣ XVI в. (1513—1523) наконецъ, легенда принимаетъ конкретныя формы: появляется въ Москвѣ цѣлое сказаніе «о князьяхъ владимірскихъ», удовлетворяющее всѣмъ только что указаннымъ требованіямъ московскаго правительства. «Августъ кесарь», по этому сказанію, ставитъ «Пруса, сродника своего» на берегахъ Вислы; потомка этого Пруса въ четвертомъ колѣнѣ, Рюрика, приглашаютъ «мужи Новгородскіе» изъ «Прусской земли» на Русь. Четвертый потомокъ Рюрика—Владимиръ Святой, а четвертый потомокъ Владимира Святаго—Владимиръ Мономахъ, и это прозвище даетъ поводъ составителю разсказать цѣлую исторію, для которой, собственно, и придумано все сказаніе. Владимиръ, по совѣту съ «князьями своими и съ боярами и съ вельможами», предпринимаетъ побѣдоносный походъ «на Фракію»; тогдашній благочестивый царь Константинъ Мономахъ, занятый борьбой «съ персами и съ латинами», шлетъ къ нему пословъ съ дарами: съ «коробочкой сердоликовой, изъ которой Августъ кесарь римскій веселился», съ ожерельемъ, «сирѣчь, святыми бармами» съ своихъ плечъ, съ золотой цѣпью и «иными многими дарами царскими». Послы просятъ «боголюбиваго и благовѣрнаго князя» принять «сіи честные дары,—царскій

жребій на славу и честь и на вѣнчаніе» его «вольнаго и самодержавнаго царства», уготованный ему «отъ начатка вѣчныхъ лѣтъ» его «родства и поколѣнія»,— «чтобы церкви Божіи были безмятежны и все православіе пребывало въ покоѣ подъ властью» византійскаго «царства» и московскаго «вольнаго самодержавства великія Россіи», чтобы московскій князь, «вѣнчанный симъ царскимъ вѣнцомъ», «назывался боговѣнчаннымъ царемъ». «Съ тѣхъ поръ, — прибавляетъ сочинитель сказанія нужное ему заключеніе,— и доньятѣ великіе князья владимірскіе, когда ставятся на великое княженіе російское, вѣнчаются тѣмъ царскимъ вѣнцомъ, что прислалъ греческій царь Константинъ Мономахъ».

Кто бы ни оказался авторомъ «Сказанія о князьяхъ владимірскихъ», — сербъ ли Пахомій, какъ предположилъ было одинъ новѣйшій изслѣдователь, или какой-нибудь другой литераторъ изъ той же среды, — во всякомъ случаѣ несомнѣнно, что «Сказаніе» явилось логическимъ выводомъ изъ всѣхъ тѣхъ идей, которыя распространялись на Руси юго-славянскимъ духовенствомъ со второй половины XV вѣка. Несмотря на всю важность этихъ идей для правительства, несмотря на оффиціозный характеръ этого литературнаго творчества, московская государственная власть не сразу рѣшилась воспользоваться имъ открыто и придать новымъ политическимъ взглядамъ оффиціальную санкцію.

Надо прибавить, что въ эпоху Ивана III эти взгляды находились еще въ процессѣ выработки. Выступъ съ этой струей изъ того же юго-славянскаго міра вынесена была другая, прямо противоположная, рѣзко оппозиціонная. Броженіе оффиціозныхъ и оппозиціонныхъ элементовъ продолжалось съ конца XV вѣка до середины XVI. и только къ этому послѣднему моменту инвентарь идей, имѣющихъ войти въ національное сознаніе, окончательно опредѣлился и закрѣпленъ былъ оффиціальными правительственными актами. Раньше, чѣмъ мы остановимся на этомъ окончательномъ итогѣ, мы должны поэтому познакомиться съ перешедшими на Русь оппозиціонными идеями и прослѣдить ихъ судьбу въ новой для нихъ обстановкѣ

Литература по исторіи политическихъ идеологій XV вѣка, какъ и вообще литература по исторіи русскаго національнаго самосознанія, грѣшитъ тѣмъ основнымъ недостаткомъ, что большинство изслѣдователей оказываются заинтересованными въ томъ или другомъ содержаніи этого самосознанія, считая послѣднее — своего рода высшей инстанціей въ вопросахъ національной жизни, не допускающей дальѣйшихъ обжалованій. Такъ, напр. новѣйшее сочиненіе по исторіи національной политики Ивана III (*Е. Церетели*, Елена Ивановна великая княгиня литовская, русская, королева польская. Спб. 1898) смотритъ на эту политику глазами самого Ивана III. Гораздо научнѣе и безпристрастнѣе, несмотря на католическія тенденціи автора, составлена сводная работа о Пирлинга (S. J.) «La Russie et le saint Siége», *Etudes diplomatiques*, Paris, 1896. Въ первый томъ этого почтеннаго труда вошла и изданная раньше въ русскомъ переводѣ монографія Пирлинга: *Россия и Востокъ*, Спб. 1892. Завѣщаніе Симеона см. въ Собр. грамотъ и Договоровъ, т. I. О принятіи Михаиломъ Ярославичемъ титула в. к. всея Руси см. Библиографъ

1889. № 1. замѣтку: «кто былъ первый великій князь всѣя Руси» Личность Юрія Траханюта и его положеніе до пріѣзда въ Россію только-что выяснилось теперь, см. замѣтку г. Peregrius въ Новомъ Времени, 19 января 1900 г. о протоколѣ Ѳомы Палеолога по поводу передачи папѣ Пію II мощей св. Іоанна Крестителя. Протоколъ, хранящійся, повидимому, при мощахъ, въ Съенѣ, подписанъ: Georgius Trachanoti, magister domuss praetati (?) Illustrissimi. Эта подробность помогаетъ уяснить ходъ сватовства Ивана III, ср. *Pierling*. I. 132—133. Подлинныя документы дипломатіи Ивана III см. въ «Сборникѣ историческаго общества», т. 35 и въ «Памятникахъ дипломатическихъ сношеній», ч. I. см. также статью *В. Бауера*. въ журналѣ Министерства Нар. Просв., ч. СXLVIII. отд. 2. «Сношенія Россіи съ германскими императорами въ концѣ XV и началѣ XVI столѣтій». О южно-славянскихъ политическихъ стремленіяхъ см. *К. Радченко*, «Религіозное и литературное движеніе въ Болгаріи въ эпоху передъ Турецкимъ завоеваніемъ», Кіевъ 1898 О славянскихъ надеждахъ на сосѣдей (венгровъ и поляковъ) см. *Іосифа Первольфа*, «Славяне ихъ взаимныя отношенія и связи», Варшава. 1888. Взгляды русскаго и южно-русскаго духовенства на государственную власть см. въ изслѣдованіи *М. Дяконова*, «Власть московскихъ государей», Спб. 1889 и въ его же статьѣ. «Къ исторіи древнерусскихъ церковныхъ отношеній». «Историческое обозрѣніе» т. III О литературной манерѣ Кипріана и Пахомія см. *В. Ключевскаго*. «Древне-русскія житія святыхъ», М. 1871 (о ихъ учителѣ Евфиміи Тырновскомъ см. упомянутую книгу Радченка). Предположеніе о составленіи хронографа 1512 года въ первоначальной формѣ (1442) Пахоміемъ и о переклѣбкѣ его Филоеемъ выставлено и очень солидно аргументировано акад. *А. А. Шахматовымъ*; см. его статью «Къ вопросу о происхожденіи хронографа», Спб. 1899 и его же «Путешествіе М. Г. Мисюря Мунехина на востокъ и хронографъ редакціи 1512 г.», Спб. 1899, въ «Извѣстіяхъ отдѣленія русскаго языка и словесности И. А. Н.» т. IV, кн. 1. Текстъ приписки Филоея къ хронографу—въ «Изборникѣ» *Андрея Попова*, М. 1869. Текстъ его посланій—въ «Православномъ Собесѣдникѣ», 1861, II и 1863, I. Изслѣдованіе о происхожденіи «Сказанія о князехъ Владимірскихъ», указаніе на связь его съ юго-славянскими идеями и самый текстъ памятника см. въ книгѣ *Ив. Жданова*, «Русскій былевой эпосъ», I—V, Спб. 1895.

III.

Оппозиція XVI вѣка: религіозная, политическая и социальная.—Источники религіозной оппозиціи: еретическое и мистическое движеніе на Балканскомъ полуостровѣ и на Афонѣ.—Ниль Сорскій переноситъ на Русь теорію «сихастовъ».—Эксплуатація этой теоріи государственной властью.—Неудача секуляризаціи и разрывъ Ивана III съ еретиками и нестяжателями.—Новый характеръ борьбы партий при Василии III: компромиссы и политическая окраска споровъ.—Дѣло Серапіона и выясненіе политической роли «осифлянъ».—Союзъ съ ними государственной власти.—Союзъ «нестяжателей» съ политической оппозиціей.—Составные элементы послѣдней.—Положеніе боярства и его политическія стремленія.—Полемика Ивана IV съ Курбскимъ, какъ выраженіе идеаловъ спорившихъ сторонъ.—Соединеніе политическаго идеала оппозиціи съ религіознымъ.—Дальнѣйшая разработка его въ «Бесѣдѣ валаамскихъ чудотворцевъ».—Попытка осуществленія оппозиціонной программы на соборахъ середины XVI вѣка.—Ея неполнота.—Социальная оппозиція, какъ мотивъ религіозной полемики, какъ аргументъ въ рукахъ самодержавной власти (Сказаніе Перевѣтсва). Ея непосредственное и самостоятельное выраженіе въ событіяхъ смутнаго времени.

Мы видѣли, какъ сама жизнь подготовила почву для *націоналистическихъ* идеологій въ московскомъ государствѣ XV в. и какъ на подготовленной такимъ образомъ почвѣ начали быстро прививаться занесенныя въ Москву изъ югославянскихъ земель политическія идеи. Судьба *оппозиционныхъ* идеологій на Руси XV и XVI вѣка была совершенно противоположная. Занесенныя отчасти изъ чужеземнаго источника, онѣ не нашли для себя готовой почвы и послѣ недолгой борьбы должны были очистить поле сраженія передъ побѣдоноснымъ противникомъ. Исторію этой борьбы и этой побѣды намъ предстоитъ теперь прослѣдить.

Характеренъ уже самый порядокъ, въ которомъ развиваются оппозиціонныя идеологіи на Руси XV и XVI столѣтія. Въ началѣ онѣ носятъ преимущественно религіозный отгѣнокъ. Потомъ къ религіозному элементу присоединяется политическій. Наконецъ, — притомъ независимо отъ обоихъ предыдущихъ — встрѣчаемъ и элементъ социальный.

Слѣдую этому порядку, и мы начнемъ нашъ рассказъ съ наиболее отвлеченной оппозиціи, чтобы закончить наиболее стихійной.

Какъ извѣстно, религіозное вольнодумство на Руси впервые проявляется уже въ XIV и XV столѣтіи въ наиболее культурныхъ обла-

стяхъ: Псковѣ, Новгородѣ и Кіевѣ. Исслѣдователи усердно искали источниковъ этого вольнодумства на западъ и на югъ, въ сектахъ средневѣковой Германіи и въ богомилствѣ. Второе объясненіе априори кажется болѣе вѣроятнымъ, такъ какъ къ воздѣйствію запада даже самыя культурныя области тогдашней Руси не были готовы, особенно въ области религіозной мысли. Первая русская ересь должна была явиться съ православнаго востока

Это соображеніе приводитъ насъ къ тому источнику, откуда мы только что выводили политическія идеологіи московской Руси—къ Балканскому полуострову. Среди религіознаго броженія умовъ, которое господствовало въ XIV вѣкѣ на Балканскомъ полуостровѣ, намъ важно отмѣтить два направленія, которыя стоятъ въ очень близкой связи съ русскими движеніями того же времени. Я разумѣю направленіе *еретическое* и направленіе *православно-мистическое*. Прямою ересью было возродившееся въ это время богомилство и стоявшее, повидимому, въ какой-то связи съ нимъ раціоналистическое ученіе, распространившееся среди евреевъ Балканскаго полуострова, тогда уже довольно многочисленныхъ. По отрывочнымъ даннымъ нашихъ источниковъ, — болгарскихъ и солунскихъ еретиковъ-евреевъ XIV вѣка обвиняли какъ разъ въ томъ самомъ, въ чемъ обвинялись и русскіе «жидовствующіе.» а именно, въ непризнаніи божественнаго происхожденія Спасителя отъ Маріи Дѣвы, въ отрицаніи иконъ, въ непочитаніи святыхъ и мощей, въ непризнаніи воскресенія мертвыхъ. Было бы странно, конечно, требовать, чтобы евреи признавали все это: но очевидно, рѣчь шла объ активной пропагандѣ этихъ взглядовъ среди православныхъ. При обширныхъ торговыхъ сношеніяхъ, евреевъ нѣтъ ничего удивительнаго въ томъ, что эта пропаганда перекинулась изъ крупнаго еврейскаго торговаго центра, какимъ была Солунь, — въ Крымъ, въ Кафу, къ тамошнимъ караимамъ; отсюда, а также и черезъ сухопутную границу, тѣ же ученія проникали въ Кіевъ и къ литовскимъ евреямъ; а изъ Кіева уже по прямымъ показаніямъ источниковъ «жидовская ересь» была завезена въ Новгородъ. По отношенію къ богомилству въ собственномъ смыслѣ мы, къ сожалѣнію, не можемъ съ такой же вѣроятностью возстановить путь, какимъ оно могло бы придти на Русь. Но всего естественнѣе предположить, что оно явилось въ сопровожденіи другаго религіознаго движенія, проникшаго къ намъ съ Балканскаго полуострова, — именно, мистическаго движенія такъ называемыхъ «исихастовъ», съ которымъ это еретическое движеніе находилось въ несомнѣнной связи—сохраненной и послѣ перехода богомилскихъ и «исихастическихъ» ученій на Русь. Посредникомъ же при этомъ переходѣ, всего скорѣе, могъ быть—православный Аeonъ.

Аeonъ, дѣйствительно, въ теченіе всего XIV и XV столѣтія былъ центромъ, въ которомъ находили лучшее выраженіе всѣ вопросы, волновавшіе тогдашнюю православную мысль. Вопросы эти вовсе не были

такъ элементарны, какъ можно бы было думать по состоянію русской религіозности. Православный востокъ шелъ далеко впереди православной Руси. Въ сущности, онъ волновался тѣмъ самымъ, чѣмъ волновалась и европейская религіозная мысль того времени. Онъ колебался между номинализмомъ и реализмомъ, точнѣе говоря, между схоластикой и мистицизмомъ. Когда основатели теоретическаго славянофильства непременно хотѣли представить схоластику особенностью западной мысли, а изъ мистицизма сдѣлать привилегію восточной, то они безспорно ошибались. Оба типа религіозной мысли существовали какъ на востокѣ, такъ и на западѣ, хотя западъ тому и другому далъ наиболѣе яркое выраженіе. Но ошибка славянофиловъ легко объясняется тѣмъ, что, дѣйствительно, мистицизмъ (особенно въ то время, о которомъ мы теперь говоримъ) получилъ на православномъ востокѣ особенно широкое распространеніе. Его проповѣдникомъ и теоретикомъ въ XIV столѣтіи былъ Григорій Синаитъ, ученіе котораго развивалъ его землякъ— малоазіатскій грекъ Григорій Палама; послѣдователями обоихъ были болгаре: Θεодосій и Евфимій Тырновскіе. Ученіе всѣхъ этихъ религіозныхъ мыслителей близко подходитъ къ той чертѣ, за которой мистицизмъ перестаетъ согласоваться съ положительнымъ ученіемъ христіанства и превращается въ пантеизмъ. Всѣ они исходятъ, подобно нашимъ славянофиламъ, изъ отрицанія «силлогизма» и науки—«внѣшней мудрости»,—какъ способа познанія истины, и единственнымъ путемъ къ ея достиженію считаютъ погруженіе въ собственный духъ. Теоретическому «знанію» они противопоставляютъ нравственно-религіозную «дѣятельность». Но, на высшей ступени доступнаго человѣку «любимудрія»—они и самой «дѣятельности» (πραξις) предпочитаютъ внутреннее, мистическое «созерцаніе» (θεωρία). А для достиженія полной глубины такого «созерцанія»—они рекомендуютъ рядъ обычныхъ у мистиковъ практическихъ приемовъ. Посредствомъ употребленія этихъ приемовъ достигается состояніе экстаза, выражающееся физически въ извѣстнаго рода тѣлодвиженіяхъ, а психически—въ особомъ ощущеніи покоя (hesuchia, отсюда и названіе «исихастовъ»), восторга и, наконецъ, на высшей ступени,—«эаворскаго свѣта». Это послѣднее состояніе—ощущеніе свѣта—есть состояніе полнаго общенія съ Божествомъ. Для примиренія этой идеи непосредственнаго общенія съ положительнымъ христіанствомъ Григорій Палама долженъ былъ придумать особое различеніе между «сущностью» Бога и Его «проявленіемъ» («энергіей») первая непостижима, но съ послѣднимъ человѣкъ можетъ сливаться

На Афонѣ, гдѣ долго жилъ основатель ученія, Григорій Синаитъ, теорія «исихастовъ» была въ большемъ ходу. Былъ и такой моментъ въ XIV вѣкѣ, когда на Афонѣ пользовались вліяніемъ богомилы. Между обоими ученіями существовало не мало точекъ соприкосновенія, какъ въ положительныхъ чертахъ ученія, такъ еще болѣе въ отрицательномъ отношеніи ихъ ко всему тому, что въ традиціонной религіи мѣ-

шало ихъ «внѣреннему» и вниманію вѣры. Ихъ пренебреженіе къ обрядности и внѣшности, предпочтеніе живого духа мертвой буквѣ, враждебное отношеніе къ чиновническому пониманію пастырскаго служенія—все это настолько сблизило ихъ другъ съ другомъ въ глазахъ прогивниковъ, что обвиненія балканскихъ и афонскихъ «исихастовъ» въ «мессалианскую ересь» (т. е. богомилство) сдѣлались общимъ мѣстомъ. А между тѣмъ, именно эта критическая сторона ученія «исихастовъ», какъ болѣе доступная, должна была выдвинуться на первый планъ при перенесеніи ихъ взглядовъ на Русь.

Былъ, впрочемъ, въ тогдашней Россіи человекъ, который могъ и болѣе глубокимъ образомъ отнестись къ теоріи Григорія Сиваита. Это былъ Нилъ Сорскій, имѣвшій возможность познакомиться съ ученіями «исихастовъ» на самомъ Афонѣ, откуда онъ и вывезъ эти ученія въ Россію. Григорій требовалъ отъ своихъ послѣдователей, прежде всего, строгаго уединенія. Обыкновенный, «общежительный» монастырь не удовлетворялъ этому требованію; вотъ почему Нилъ ввелъ новый порядокъ жизни для своихъ учениковъ: въ скитѣ. Въ глухомъ заволжѣ, кругомъ Кириллова монастыря, создано не мало такихъ «скитовъ», населенныхъ «пустынниками», послѣдователями Нила или, какъ ихъ стали называть, «заволжскими старцами» *). При такомъ складѣ жизни имъ легко было осуществлять свой «нестяжательскій» идеалъ монашескаго существованія и критиковать монашеское и монастырское владѣніе собственностью: землями, селами и крестьянами. Цѣль ихъ была при этомъ, несомнѣнно,—уйти отъ міра. Но, совершенно неожиданно для нихъ самихъ, ихъ теорія оказалась имѣющей политическое значеніе, и, вопреки основному своему принципу, имъ пришлось сыграть видную роль въ политической борьбѣ.

Вообще религіозные споры на русской почвѣ очень быстро пріобрѣли церковно-государственный характеръ. Когда на православномъ востокѣ возникало религіозное сомнѣніе, оно обыкновенно рѣшалось духовнымъ соборомъ. Ученіе «исихастовъ», напр., обсуждалось и принято было тремя такими соборами XIV в. На Руси дѣло стояло иначе. «Неслыханное у насъ явленіе, ересь», застало совершенно врасплохъ мѣстныя духовныя власти и вызвало не теоретическое обсужденіе,—а административное преслѣдованіе. «Люди у насъ просты,—писалъ новгородскій владыка Геннадій,—не умѣютъ по книгамъ говорить; такъ лучше ужъ о вѣрѣ никакихъ рѣчей не плодить, только для того и соборъ учинить, чтобы еретиковъ казнить, жечь и вѣшать». Однако, государь не сразу рѣшился на такую суммарную юстицію, какую рекомендовалъ епископъ.

Причиной этого было, прежде всего, то, что на сторонѣ новгородскихъ еретиковъ стоялъ вліятельный кружокъ въ самой Москвѣ, рав-

*) См. «Очерки по исторіи русской культуры». II. 30—31.

дѣлявшій, повидимому, ихъ мнѣнія по убѣжденію. Это были все люди бвжнныя. Одинъ изъ нихъ склонилъ на сторону новыхъ ученій даже невѣстку великаго князя. Елену, партія которой (Патрикѣевы) была къ то время сильна при дворѣ. Московскій митрополитъ Геронтій, поэтому, молчалъ «или по непониманію, или по небрежности, или изъ страха передъ державнымъ». Преемникъ же его, Зосима, очевидно, самъ былъ выдвинутъ партіей и раздѣлялъ ея мнѣнія. Была и другая причина, по которой Иванъ III не слѣшалъ расправиться съ еретиками. Въ голько что (1478) отобралъ у новгородскаго духовенства и монастырей цѣлую половину ихъ земель,—а еретики какъ разъ проповѣдовали «вестяжательность». Еще удобнѣе для Ивана III въ этомъ отношеніи были теоріи русскихъ «исихастовъ», т.-е. Нила Сорскаго съ его учениками—пустынниками. Они не были такими отъявленными еретиками, какъ новгородскіе «жидовствующіе», и не могли, слѣдовательно, такъ скандализировать своими мнѣніями православную паству, какъ «злюбѣсный волкъ», митр. Зосима. Вотъ почему, смѣстивъ явнаго еретика Зосиму, великій князь продолжалъ «держатъ въ великой чести» Нила. Эта «великая честь» очень хорошо совмѣщалась съ политикой Ивана III, т.-е. съ подчиненіемъ духовенства государственной власти. При посвященіи преемника Зосимы Иванъ III обратился къ новому митрополиту Симону съ рѣчью, содержащею вѣчто вродѣ инаугураціи: этимъ признавалось за московской государственной властью право, принадлежавшее прежде только византійскому императору,— право утверждать назначеніе митрополита. Черезъ четыре года (1500) Иванъ вторично отобралъ съ благословенія того же Симона, нѣкоторыя земли новгородскаго духовенства и обложилъ остальные тяжелымъ посошнымъ тягломъ. Наконецъ, еще черезъ три года (1503), подъ невиннымъ предлогомъ—рѣшить вопросъ о судьбѣ вдовыхъ поповъ—собранъ былъ духовный соборъ, и на немъ, послѣ того, какъ разѣхались самыя видныя защитники интересовъ духовенства, неожиданно для всѣхъ Нилъ, а съ нимъ «пустынники бѣлозерскіе», его ученики, «начали говорить, чтобы у монастырей селъ не было, а жили бы чернецы по пустынямъ, а кормились бы рукодѣліемъ». Это была бы, другими словами, полная секуляризація монастырскихъ имуществъ въ Россіи. Очевидно, русскіе «исихасты», болѣе умѣренные въ своихъ религіозныхъ мнѣніяхъ, не считали еще въ то время нужнымъ прибѣгать къ компромиссамъ въ практической программѣ: съ ними былъ самъ великій князь.

Партія старины переломилась. Послали наскоро за волоколамскимъ игуменомъ Іосифомъ, вождемъ старо-православной партіи, уѣхавшимъ съ собора раньше его окончанія *). Не дожидаясь его

*) См о немъ «Очерки». II. стр. 25—27.

пріѣзда, митрополитъ послалъ къ великому князю своего дьяка съ письмомъ; потомъ явился самъ съ московскими духовными сановниками и прочелъ Ивану докладъ, въ которомъ многочисленными цитатами, правда, не всегда добросовѣстно приведенными, доказывалась, если не нравственная справедливость и законность, то историческая древность и юридическая правильность вотчиннаго монастырскаго владѣнія. Передъ примѣрами древности, а еще больше передъ практическими неудобствами радикальнаго рѣшенія великому князю пришлось отступить,—а вмѣстѣ съ тѣмъ и союзъ съ «нестяжателями» потерялъ для него всякое практическое значеніе. Тутъ кстати проснулась и совѣсть. Иванъ III призвалъ къ себѣ Іосифа Волоколамскаго, признался ему, что до тѣхъ поръ, дѣйствительно, поддерживалъ еретиковъ, обѣщалъ разслѣдовать дѣло и окончательно искоренить ересь. Партія «нестяжателей», однако, не сразу сдалась: это видно изъ новыхъ колебаній и проволочекъ Ивана. Смущенный, очевидно, новыми аргументами «нестяжателей», онъ снова зоветъ Іосифа, чтобы спросить у него, «какъ писано: вѣтъ ли грѣха еретиковъ казнить»? Сподвижникъ Геннадія не затруднился, конечно, подобрать примѣры и цитаты, чтобы разсѣять опасенія великаго князя. Но дѣло все-таки тянулось. Послѣ тщетныхъ напоминаній Ивану III, Іосифу пришлось вступить въ литературную полемику съ нестяжателями, чтобы опровергнуть сомнѣнія, смущавшія великаго князя. Волоколамскій игуменъ рѣшительно утверждалъ, что «грѣшника или еретика—все равно, руками ли убить, или молитвой». Нестяжатели иронически предлагали Іосифу самому попробовать надъ еретиками одно изъ описанныхъ имъ чудесъ и напоминали, что Евангеліе запрещаетъ осуждать ближняго. Этотъ первый на Руси публицистическій споръ кончился не въ пользу новаторовъ. Въ 1505 г. собранъ былъ соборъ, который удовлетворилъ всѣмъ желаніямъ защитниковъ старины. Новгородская ересь была искоренена жестокими казнями. Такъ кончилась исторія религіознаго вольнодумства эпохи Ивана III.

Въ княжевіе Василя III борьба новыхъ идеологій со старыми привычками принимаетъ новыя формы. Наученные опытомъ, нестяжатели не защищаютъ болѣе прежнихъ позицій. Преемникъ Нила, Вассіанъ, рисуется намъ человѣкомъ мевѣ глубокимъ и менѣ знающимъ чѣмъ Нилъ, но зато болѣе практичнымъ, болѣе близкимъ къ жизни, Онъ не хочетъ жертвовать дѣйствительностью теоріи и защищать радикальныя мѣры только потому, что онѣ логическія. Практика жизни требовала компромисса, и Вассіанъ предложилъ компромиссъ. Онъ не отрицалъ болѣе за монастырями права владѣть землями, но старался только доказать, что не слѣдуетъ владѣть людьми. Съ своей стороны и партія Іосифа сдѣлала уступку: она признала за свѣтской властью право контроля надъ употребленіемъ монастырскихъ имуществъ. На этотъ разъ, однако же, споръ вышелъ далеко за прежніе предѣлы. Къ чисто религіознымъ теоріямъ оппозиціи присоединился элементъ

политическій:—онъ то и рѣшилъ окончательно судьбу русскаго религіознаго вольнодумства.

Пока нестяжателей обвиняли, болѣе или менѣе основательно, въ тайныхъ симпатіяхъ и сношеніяхъ съ новгородскими еретиками, государственная власть могла смотрѣть на это сквозь пальцы и продолжать пользоваться услугами партіи для своихъ цѣлей. Но если заподозрѣвалась политическая благонадежность религіозной оппозиціи, это уже было дѣло другое. Естественно, что противники нестяжателей воспользовались первымъ случаемъ, чтобы придать своему спору съ ними политическую окраску. Подходящій случай представился въ первые же годы княженія Василія Ш (1507—1509).

Монастырь Іосифа былъ расположенъ въ Волоколамскомъ удѣлѣ. Мѣстный удѣльный князь, Ѳеодоръ Борисовичъ, соблазнившись примѣромъ Ивана Ш, сталъ претендовать на свою долю въ имуществвахъ и казѣ монастырей своей области. Спасаясь отъ его вымогательствъ, Іосифъ передалъ свой монастырь въ непосредственное завѣдованіе великаго князя. Жаловаться на такой поступокъ Іосифа въ тогдашней Руси было некому. Волоцкій князь нашель, однако, косвенный способъ отмстить Іосифу. Дѣло въ томъ, что непосредственнымъ начальствомъ Іосифа былъ новгородскій владыка, и Іосифъ не могъ передать своего монастыря въ чужую епархію безъ его благословенія. Если овъ такъ поступилъ, то, очевидно, лишь потому, что хорошо зналъ тогдашняго новгородскаго владыку Серапіона и не могъ рассчитывать на его поддержку. «Подъ вліяніемъ дружественно расположенныхъ къ нему новгородцевъ, а можетъ быть и по собственному чувству справедливости», замѣчаетъ одинъ изслѣдователь, «Серапіонъ не могъ сочувствовать тому, что удѣльный князь былъ лишенъ права вѣдать богатый монастырь, который достался «державному», и безъ того готовому не нынѣ-завтра воспользоваться послѣднимъ удѣломъ своего двоюроднаго брата». Съ другой стороны, Іосифъ имѣлъ полное основаніе не опасаться никакихъ возраженій противъ совершившагося факта ни со стороны князя, ни со стороны епископа. «Объ этомъ (благословеніи епископа) не заботьтесь, говорилъ самъ Василій посланцамъ Іосифа, а Іосифу скажите, что *не онъ* отошелъ изъ архіепископіи новгородской, а *я самъ* взялъ монастырь отъ насилія удѣльнаго; когда же окончится земская невзгода, я самъ пошлю объ этомъ къ архіепископу».

Серапіонъ ждалъ этой «посылки» отъ князя два года и не дождался. Тогда, подстрекаемый волоцкимъ княземъ, онъ предпринялъ рѣшительный шагъ: отлучилъ Іосифа отъ священства и отъ причастія. «Ты отступилъ отъ небснаго и пришелъ къ земному», писалъ онъ въ своей неблагословенной грамотѣ Іосифу.

«Дѣло приняло политическій оборотъ», замѣчаетъ тотъ же изслѣдователь. Грамоту Серапіона перетолковали по своему: онъ-де въ ней

небеснымъ назвалъ князя Ѳедора, а земнымъ великаго самодержца. Въ этомъ увидали новгородскій духъ, крамолу». Московскій митрополитъ поспѣшилъ рѣшитьъ Іосифа отъ отлученія, произнесеннаго вадъ нимъ новгородскимъ владыкой. Серапіона вызвали въ Москву, лишили священства и заключили въ Андрониковъ монастырь. Это не заставило его однако, отказаться отъ защиты праваго дѣла. Изъ своего заключенія онъ пишетъ митрополиту посланіе, въ которомъ проситъ объ облегченіи своей участи, а развиваетъ тѣ аргументы, которыхъ не хотѣлъ выслушать осудившій его соборъ, и заявляетъ во всеуслышаніе, что ему «не боятся въ правдѣ ни князя, ни народной толпы...», такъ какъ писано: правдою предъ цари глаголахъ—и не стыдехся».

Такое поведеніе изложеннаго епископа произвело впечатлѣніе даже въ тогдашней Москвѣ. У Серапіона нашлись поклонники и въ Новгородѣ, и въ столицѣ, особенно среди бояръ. Сторонники Іосифа были смущены и одинъ за другимъ обращались къ нему съ просьбами—помириться съ Серапіономъ. Іосифъ отвѣчалъ на это рядомъ писемъ къ друзьямъ, въ которыхъ не только не признавалъ себя виновнымъ, а, напротивъ, рѣзко нападалъ на своего противника и подыскивалъ теоретическое оправданіе своему поступку. Въ этихъ-то письмахъ Іосифъ откровенно подчеркнул политическій характеръ всего дѣла и этимъ окончательно опредѣлилъ положеніе, которое заняла его собственная партія въ современной политической борьбѣ.

«Священныя правила повелѣваютъ о церковныхъ и монастырскихъ обидахъ приходить къ православнымъ царямъ и князьямъ». «Отъ меньшихъ царей и князей всегда и вездѣ духовныя лица обращались къ большимъ». По ихъ примѣру и онъ, Іосифъ, билъ челомъ тому, «кто не только князю Ѳедору, но и архіепископу Серапіону и всѣмъ намъ общій всей русской земли государь»; его «Господь Богъ устроилъ вмѣсто себя и посадилъ на царскомъ престолѣ, предавъ ему судъ и милость и вручивъ и церковное, и монастырское, и власть надъ всѣмъ православнымъ государствомъ и всей русской землей. Если бы я иному государю билъ челомъ, то поступилъ бы дурно». Напротивъ, Серапіонъ «во всемъ противно чинилъ божественнымъ правиламъ». «Поразуди ты Серапіоновъ умъ, чѣмъ бы ему бить челомъ на соборѣ государю православному и самодержцу всей Руси, да преосвященному митрополиту, онъ сталъ спорить съ государемъ и съ святителями. А божественныя правила повелѣваютъ царя почитать, не ссориться съ нимъ. Ни древніе святители не дерзали этого дѣлать, ни четыре патріарха, ни римскій папа, бывшій на вселенскомъ соборѣ. Когда царь на кого гнѣвался, то они съ кротостью, со смиреніемъ и со слезами молили царя». Поэтому только «неразумные, скоту подобные люди» могутъ поощрять Серапіона: «ты де, государь, стой, лица сильныхъ

не срамы: стой крѣпко». Словомъ, это была известная намъ *) теорія «богонаученнаго коварства».

Съ теоріей нестяжателей, которую проводилъ на практикѣ Серапионъ, этотъ взглядъ дѣйствительно представлялъ толный контрактъ. Нестяжатели хотѣли, чтобы церковь стояла выше государства, а для этого она, прежде всего, должна была быть независимой отъ него. Источникъ независимости—собственность; отказъ отъ собственности долженъ обезпечить настоятелямъ независимость отъ поддерживающей власти: только при такомъ условіи они получаютъ возможность обращаться къ власти не съ собственными «обидами», а съ «псчалованіемъ» о неправдахъ міра. Простаго сопоставленія этой точки зрѣнія съ взглядами, которыя защищалъ Іосифъ,—достаточно, чтобы угадать, на чью сторону должна была стать московская власть.

Іосифъ, правда, вовсе не даромъ предлагалъ этой власти религиозную санкцію духовенства. Тѣмъ же случаемъ съ волоцкимъ княземъ онъ воспользовался, чтобы показать свидѣтельствами «писанія», къ какимъ послѣдствіямъ ведетъ вмѣшательство властей въ неприкосновенность монастырскихъ имуществъ. Онъ выводилъ изъ грозныхъ примѣровъ прошлаго, что «не только власть отнимаетъ Богъ у похитителей церковнаго и монастырскаго имущества, а и душу беретъ у нихъ страшными, лютыми муками». Онъ требовалъ, другими словами, чтобы московское правительство оставило монастырскія имущества въ покоѣ **).

На этомъ пунктѣ власть готова была идти на уступки. Еще Иванъ III принужденъ былъ отказаться отъ полной секуляризаціи духовныхъ имуществъ. Василій III ограничился простымъ контролемъ, противъ котораго ничего не имѣлъ, какъ мы знаемъ, и самъ волоцкій игуменъ. На этихъ условіяхъ состоялся окончательный союзъ между «іосифлянами» и властью.

Нестяжатели съ своими возвышенными стремленіями были отброшены въ оппозиціонный лагерь. Изъ кого этотъ лагерь состоялъ, видно изъ только что разсказанной исторіи съ Серапиономъ. Къ нему примыкало все то, что еще уцѣлѣло, вопреки суровымъ мѣрамъ Ивана III, отъ новгородскаго духа. Надо признаться, что это были уже одни только жалкіе обломки. Потомъ здѣсь были остатки—уже нѣсколько лучше сохранившіеся, хотя и не многимъ болѣе живучіе—удѣльно-княжеской власти, съ которой предстояло расправиться окончательно Ивану IV. Было бы, однако, неправильно заключить, что вся оппозиція XV вѣка состояла исключительно изъ этихъ развалинъ древности. Былъ тутъ и элементъ, не просто отрицавшій новый порядокъ устанавливавшійся въ Москвѣ, а и стремившійся по своему приладиться къ этому порядку, требовавшій въ немъ мѣста для себя. *Болре*—не только

*) См. «Очерки» II, стр. 27.

**) Ср. «Очерки» II, стр. 27—28.

тѣ, которые давно уже жили въ Москвѣ, а и тѣ, которые въ нее только что пріѣхали съ своихъ удѣльно-княжескихъ престоловъ,—жили не прошлымъ, а настоящимъ, и въ настоящемъ хотѣли устроиться, какъ можно для себя удобнѣе.

Отъ своихъ прародителей XIV в. московскіе князья XV и XVI вв. получили завѣтъ «слушаться старыхъ бояръ». Теперь составъ этихъ бояръ сильно измѣнился и качественно, и количественно; вмѣстѣ съ тѣмъ, чрезвычайно расширился и кругъ ихъ дѣятельности. Боярскій совѣтъ сдѣлался необходимымъ учрежденіемъ въ государствѣ, а кучка правительственныхъ лицъ, участвовавшихъ въ этомъ совѣтѣ въ удѣльную эпоху по служебной обязанности, превратилась въ цѣлый общественный классъ, смотрѣвшій на роль совѣтниковъ государя, какъ на свое политическое право.

Со стороны московскаго князя эти претензіи на первыхъ порахъ не только не встрѣтили никакого отпора, но, напротивъ, послужили лишнимъ ресурсомъ для сформированія новаго государственнаго строя и сдѣлались однимъ изъ самыхъ эффектныхъ его украшеній. Когда Иванъ III получилъ изъ Литвы грамоту отъ «всѣхъ князей и пановъ рады» Литовскаго княжества съ необычнымъ для него адресомъ: «братьямъ и пріятелямъ нашимъ, князьямъ и панамъ рады великаго князя Ивана Васильевича»,—онъ не захотѣлъ ударить въ грязь лицомъ передъ своими учителями въ государственномъ правѣ: русскіе князья и бояре получили приказаніе приложить свои печати къ отвѣту, написанному въ княжеской канцеляріи. А чтобы въ другой разъ литовскіе «паны-рада» не имѣли повода отговариваться незнаніемъ именъ московскихъ бояръ и «мѣсть, гдѣ кто сидитъ подлѣ кого въ радѣ государя», въ грамотѣ выписывались и имена и небывалые титулы московскихъ совѣтниковъ князя: «отъ князя Василья Даниловича, воеводы московскаго, и отъ князя Данила Васильевича, воеводы великаго Новагорода и отъ Якова Захарьевича, воеводы Коломенскаго» и т. д. Такимъ образомъ, стремленіе подражать сосѣдямъ само по себѣ уже возвышало московскій боярскій совѣтъ на степень правильно организованнаго учрежденія. Съ той же точно цѣлью и самъ Иванъ скопировалъ свой собственный титулъ съ польско-литовскихъ грамотъ. Но помимо этихъ казовыхъ эффектовъ, Иванъ, несомнѣнно, цѣнилъ свою думу и какъ дѣйствительно полезное учрежденіе при усложнившихся государственныхъ задачахъ. Недаромъ онъ оставилъ по себѣ хорошую память даже въ такихъ приверженцахъ правящаго сословія, какъ князь Курбскій. По мнѣнію Курбскаго, Иванъ III потому «такъ далеко границы свои расширилъ, великаго царя ордынскаго изгналъ и юртъ его разорилъ», что «много совѣтовался съ мудрыми синклитами, былъ любосовѣтень и ничего не починалъ безъ глубочайшаго и многаго совѣта».

Однако, уже при Иванѣ III въ эти отношенія закрадывается дис-

сонансъ, который скоро разростается въ принципиальное противорѣчіе. Сознаніе этого противорѣчія растетъ по мѣрѣ роста извѣстныхъ уже намъ національно-политическихъ идеологій. Чѣмъ полнѣе развивалась теорія самодержавной власти, тѣмъ несовмѣстимѣе съ нею казалось «любосовѣтное» настроеніе прежнихъ князей. Но—что мы должны здѣсь особенно подчеркнуть—это то, что *и съ противной стороны*, со стороны боярства — ходъ событій развивалъ совершенно новыя идеологii, еще болѣе обострившія только что указанное противорѣчіе.

Конечно, силы съ двухъ сторонъ были далеко не равны: наступать приходилось только одной сторонѣ, а другой оставалось—обороняться. Вотъ почему слабѣйшая и побѣжденная сторона, боярство, сама привыкла представлять свою идеологію по преимуществу оборонительной, а идеологію своихъ противниковъ, государей,—по преимуществу агрессивной. Она готова была обвинять московскаго великаго князя въ «переставливаніи обычаевъ», а себя изображать защитницей старины. Мы, однако, сдѣлаемъ большую ошибку, если повѣримъ ей на слово. Въ дѣйствительности, старины не существовало болѣе ни для одной изъ сторонъ,—хотя обѣ старались доказать, что историческая традиція на ихъ сторонѣ.

Право «совѣта» въ государственныхъ дѣлахъ—такова была исходная мысль идеологіи боярскаго класса. По его представленію, бояре имѣли это право давно, и все дѣло было въ томъ, чтобы его сохранить при новомъ порядкѣ. «Земля замутилась», по ихъ понятію, лишь съ тѣхъ поръ, какъ на Москву пришла «цареградская царевна (Софья)»; только съ этого времени стало все труднѣе и рискованнѣе «говорить навстрѣчу державному». Все это было совершенно вѣрно;—но такъ же вѣрно было и то, что прежде и темъ для такихъ «встрѣчныхъ» рѣчей было гораздо меньше, и такія рѣчи не считались *правомъ*, а тѣмъ болѣе *исключительнымъ* правомъ извѣстнаго общественнаго класса. Только тогда, когда обсужденіе усложнившихся по составу и увеличившихся въ количествѣ государственныхъ дѣлъ сдѣлалось постояннымъ занятіемъ извѣстнаго круга лицъ, только тогда всякое отклоненіе, всякая попытка обойти этотъ кругъ или выйти за его предѣлы стала чувствоваться членами сплотившагося круга, какъ обида. Обидой для боярства было, когда «совѣтникомъ» князя (не только по положенію, но и по титулу) становился какой-нибудь Шигона Поджогинъ и когда съ такими людьми князь думалъ свою думу «самъ-третей у постели». Обидно стало, что князь «зѣло вѣритъ писарямъ, а избираетъ ихъ не отъ шляхетскаго роду, ни отъ благороднаго, но паче отъ поповичевъ или отъ простаго всенародства,—и то творить, ненавидячи вельможъ своихъ». И эта «обида», съ одной стороны, и эта «ненависть» съ другой — были явленіемъ новымъ, произошедшимъ оттого, что пришлось дѣлать то, что раньше не дѣлалось.

Итакъ, мы имѣемъ здѣсь дѣло не съ борьбой стараго отживаю-

шаго и новаго нарождающагося порядка, а съ борьбой двухъ политическихъ идеаловъ, правда, далеко, неравносильныхъ, за осуществленіе въ будущемъ. Вполнѣ сознательно и отчетливо эти идеалы формулируются только въ третьемъ поколѣніи послѣ начала борьбы, въ знаменитой перепискѣ Грознаго съ Курбскимъ.

«Отчего же государь и *самоержецъ* называется, какъ же оттого, что самъ строить», спрашиваетъ своего прогивника Иванъ IV, смѣло перенося на внутреннюю политику—понятіе, сложившееся во внѣшней. Иностранные государи «царствами своими не владѣютъ, какъ имъ велятъ подданные ихъ, такъ и владѣютъ». Потому и погибли эти царства, что «цари были тамъ послушны епархамъ и сирклитамъ: если царю не повинуются подвластные, никогда не прекратятся въ странѣ междоусобныя брани». По настоящему «земля правится не судьями и воеводами, не ипатами и стратигами, а Божиимъ милосердіемъ, вѣхъ святыхъ молитвами, родителей нашихъ благословеніемъ, а напоследокъ и нами, государями своими».

На такую точку зрѣнія никакъ не хотѣлъ стать первый, русскій эмигрантъ, добровольно покинувшій «неблагодарное, варварское, недостойное ученыхъ мужей», но все-таки «любимое отечество». Онъ вовсе не признавалъ, что «Богъ отдалъ въ работу» его предковъ—предкамъ великаго князя: для него это былъ просто «издавна кровопійственныи родъ», основавшій свою власть на правѣ сильного. Его политическимъ идеаломъ было двоевластіе—царя и «избранной рады». Царь долженъ быть главой, а его совѣтники—членами одного тѣла. Впрочемъ, князь-публицистъ не ограничивался желаніемъ, чтобы участвовали въ «совѣтъ» члены его собственнаго сословія, и шелъ дальше. «Царь долженъ искать добраго полезнаго совѣта не только у совѣтниковъ, но и у всенародныхъ челоѣкъ». Негодуя, какъ мы видѣли, противъ «писарей», вознесенныхъ державнымъ на неподобающую высоту, онъ ничего не имѣлъ противъ такого члена «избранной рады», какимъ былъ Адашевъ.

Таковъ былъ характеръ той политической оппозиціи, съ которою религіозная оппозиція XVI в. вступила въ идейный союзъ. Мы оставили эту оппозицію въ началѣ третьяго періода ея существованія, когда, переставши быть еретической (въ смыслѣ жидовствующихъ) и радикальной (въ смыслѣ Нила), она вступила, въ лицѣ Вассіана, въ компромиссъ съ требованіями дѣйствительности. Именно эта близость Вассіана къ практической жизни, однако, поставила его лицомъ къ лицу съ тогдашней политической дѣйствительностью. Постриженный представитель опальнаго княжескаго рода (Патрикѣевыхъ), онъ на себѣ самоѣ испыталъ всю тяжесть устанавливавшагося въ Москвѣ политическаго режима. Не увлекаясь никакой политической теоріей, не пытаясь создать никакого политическаго идеала, онъ, тѣмъ не менѣе, не могъ не отзываться на политическую злобу дня, тѣмъ болѣе.

что было одно время близко къ царю Василю и пользовался большимъ вліяніемъ при дворѣ «Печалованіе» къ «державному» было единственной формой, въ которой князь-инокъ и его единомышленники могли высказать свой протестъ противъ возмущавшихъ ихъ совѣсть событій современности. Естественно, что за это право они такъ же крѣпко держались, какъ бояре за аналогичное право «совѣта». Такое сходство положенія само по себѣ сближало нестяжателей съ недовольными изъ бояръ, тѣмъ болѣе, что имъ нечего было дѣлить другъ съ другомъ. Конкурентами въ сферѣ землевладѣнія были для бояръ не нестяжатели, а ихъ противники, защищавшіе вотчинное владѣніе монастырей; а вліяніе на власть—нестяжатели хотѣли имѣть только нравственное.

Какъ проявлялась на практикѣ политическая оппозиція нестяжателей при Василии III и къ какимъ послѣдствіямъ она приводила, можно видѣть изъ слѣдующаго примѣра. Въ 1523 г. сѣверскій князь былъ оклеветанъ въ перепискѣ съ Литвой и заключенъ въ Москвѣ въ тюрьму, несмотря на письменное ручательство въ безопасности, данное ему великимъ княземъ и митрополитомъ Даниломъ (осифляниномъ). Митрополитъ, «взявшій его на образъ Пречистыя да на чудотворцевъ да на свою душу», самъ первый радовался поимкѣ «зачужнаго врага» государя. Нестяжатели взглянули иначе на поступокъ князя и митрополита. Они не только осуждали этотъ поступокъ въ разговорахъ между собой (впослѣдствіи послужившихъ однимъ изъ поводовъ къ обвиненію Максима Грека), но одинъ изъ нихъ, троицкій игуменъ Порфирій, «яко мужъ обычаевъ простыхъ и въ *пустыни* воспитанъ», рѣшился «молить» государя, «да освободитъ брата... отъ оковъ»—и былъ за это изгнанъ изъ монастыря и замученъ. Въ тотъ же самый годъ очередь дошла и до Максима, идеалиста, присоединившагося во имя евангельскихъ требованій ко всей религіозной программѣ нестяжателей,—къ ихъ борьбѣ противъ монастырскаго сребролюбія, къ ихъ «печалованіямъ»,—и терпѣливо выслушивавшаго ихъ жалобы на печальную политическую дѣйствительность, не только дикую и чуждую, но и малопонятную для ученика Савонаролы *). Максимъ былъ осужденъ за мнѣнія своей партіи гораздо больше, чѣмъ за свои собственныя. Черезъ шесть лѣтъ за нимъ послѣдовалъ въ заточеніе и самъ Вассіанъ.

Итакъ, и третье поколѣніе оппозиціонеровъ сошло со сцены безплодно для того дѣла, которое защищало. Брошенные ими сѣмена, однако, не заглохли сразу. Напротивъ, въ четвертомъ поколѣніи,—даже если мы оставимъ въ сторонѣ такія вершины политической мысли, какъ Курбскій и Иванъ Грозный,—оппозиціонная теорія разрабатывалась дальше, также какъ и теорія самодержавія. Точку зрѣнія Грос

*) См. о Максимѣ «Очерки» II, стр. 36—38.

наго развить и защищать новыми аргументами—Ивашка Пересвѣтовъ, въ своемъ извѣстномъ памфлетѣ: «Сказаніе о Петрѣ, волошскомъ воеводѣ». Ему отвѣчалъ, развивая политическія теоріи Курбскаго, — неизвѣстный намъ авторъ такъ называемой «Бесѣды Валаамскихъ чудотворцевъ, Сергія и Германа».

Царь долженъ быть «грозенъ и самоуправливъ и мудръ безъ вопрошанья» (т.-е. безъ чужихъ совѣтовъ): тогда только «Богъ покорить недруговъ подъ ноги его и онъ будетъ обладать многими царствами». Таково основное положеніе, лежащее въ основѣ всѣхъ дальнѣйшихъ разсужденій Ивашки Пересвѣтова. Первое послѣдствіе этого положенія—то, что совѣтъ съ «пріятелями», вельможами, — можетъ только ослабить силу царской инициативы. вмѣстѣ съ самимъ Иваномъ IV, Пересвѣтовъ всѣ государственныя бѣдствія склоненъ выводить изъ одной причины: изъ того, что «вельможи своимъ чародѣйствомъ привратили къ себѣ сердце царево и научили его во всемъ волю свою творити». Отсюда «умалилась правда въ московскомъ государствѣ». Разбогатѣвшіе и обгнѣившіеся вельможи «цвѣтно, конно и людно выѣзжаютъ на потѣхи». а когда выѣзжаютъ на битву, то травятъ людей и теряютъ войско, благодаря своей трусости. Держа за собой города и волости въ кормленьѣ, вельможи богатѣютъ отъ слезъ и отъ крови крестьянской. Они подбрасываютъ мертвецовъ въ дома богатыхъ людей и въ села, чтобъ потомъ разорить подсудимыхъ неправымъ судомъ. Они дѣлятся со сборщиками податей, позволяя имъ за то «собирать деньги безъ пощады, мучить крестьянъ и брать на царя десять рублей, а себѣ сто». Словомъ, творя волю вельможъ, царь «напускаетъ тѣмъ лишнюю войну на царство». Къ нему самому—доступа нѣтъ, такъ какъ тѣ же вельможи «отбиваютъ отъ него міръ съ челобитными». Необходимо устранить этихъ подозрительныхъ посредниковъ между царемъ и народомъ. Дѣйствовать мимо нихъ, обратиться прямо къ самому народу съ лобнаго мѣста — таковъ пріемъ Ивана IV; такова же и теорія его защитника. При такомъ настроеніи, обличеніе властелинскихъ неправдъ превращается подъ его перомъ въ широкую картину соціальныхъ золъ, отъ которыхъ страдаетъ Русь и отъ которыхъ она можетъ быть освобождена только прямымъ вмѣшательствомъ царской власти. Къ этой чертѣ «Сказанія» мы скоро вернемся.

Монархическая теорія автора, назвавшагося Пересвѣтовымъ, не осталась безъ отвѣта и вызвала со стороны московскихъ конституціоналистовъ XVI вѣка рѣзкое возраженіе. Это возраженіе, вмѣстѣ съ собственной программой партіи, развито въ любопытномъ памфлетѣ, написанномъ какимъ-нибудь почитателемъ Вассіана, Памфлетъ этотъ интересенъ, прежде всего, тѣмъ, что авторъ его открыто совмѣщаетъ теорія «нестяжателей» съ теоріями оппозиціоннаго боярства. Устами святыхъ «чернцовъ» Сергія и Германа, составитель «Бесѣды», ведущейся отъ ихъ имени, — развиваетъ цѣлую теорію, въ которой самымъ своеобраз-

нымъ образомъ соединяются и перемѣшиваются идеи религіозной оппозиціи съ идеями оппозиціи политической,—Нилъ Сорскій съ Курбскимъ.

«Напрасно думаютъ многіе (это возраженіе направлено прямо по адресу Пересвѣтова, ср. виже, стр. 65),—что Богъ сотворилъ человѣка на свѣтъ *самовольнымъ*. Если бы Онъ создалъ его самовластнымъ, тогда не оставилъ бы царей и прочихъ властей и не отдѣлилъ бы государство отъ государства». Авторъ согласенъ, что государство создано «на воздержаніе міра сего для спасенія душъ нашихъ». Но для этого недостаточно, чтобы государи были «грозны»: всего они не могутъ сдѣлать личными усиліями. Они должны искать совѣта, и именно совѣта *мірскихъ* людей. На дѣлѣ же государи послѣднихъ временъ оказываются «просты»: они воздерживаютъ міръ *не съ своими пріятелями, съ князьями и съ боярами*, а съ «непогребенными мертвецами»—съ монахами. Монахи,—люди, отрeksiеся отъ міра,—владѣютъ волостями съ крестьянами, судятъ мірянъ и отдаютъ ихъ на поруки; монахи кормятся крестьянскими слезами, собирая въ свою пользу всякіе царскіе доходы съ волостей, точно царскіе мірскіе приказчики. Наживая богатые палаты, они губятъ душу; и міръ не перемонится съ духовнымъ саномъ,—съ бродящими по міру священниками, потерявшими свои мѣста. Чтобы поднять духовный авторитетъ, необходимо, во-первыхъ, собирать всѣ доходы съ земель въ казну, а духовенству выдавать ежегодное урочное содержаніе; во-вторыхъ, отдать подъ начало въ монастыри всѣхъ безпріютныхъ духовныхъ. Тогда міръ будетъ строиться и царство утвердаться иноческимъ постомъ и молитвами, непрестанными слезами и молитвостояніемъ. Иноки будутъ заботиться о томъ, чтобы всякій человѣкъ вездѣ и повсюду ежегодно говѣлъ, чтобы царю не быть въ отвѣтѣ передъ Богомъ за души подданныхъ. Царь же править самъ съ своими властями: «совѣтъ совѣщаетъ съ совѣтниками о всякомъ дѣлѣ». Совѣтниками должны быть «князья и бояре и прочіе міряне». Въ приложеніи, которое нѣкоторые ученые—неосновательно, какъ намъ кажется,—приписываютъ другому автору, нашъ публицистъ приводитъ объ свои мысли—о спасенія душъ посредствомъ ежегоднаго покаянія и объ устройствѣ всякихъ государственныхъ дѣлъ посредствомъ совѣта мірянъ—въ весьма оригинальную связь. Царь не своей личной храбростью, а разумомъ своего славнаго воинства крѣпитъ и распространяетъ свою державу. Поэтому, духовенство должно благословить царя «на единомысленный всеиенскій совѣтъ». А царь долженъ «съ радостью, безъ высокоумной гордости, съ хриstopодобной смиренной мудростью воздвигнуть отъ всѣхъ градовъ своихъ и отъ уѣздовъ городовъ тѣхъ и безпрестанно держать при себѣ погодно ото всякихъ мѣръ всякихъ людей и на всякъ день ихъ добрѣ разспросить царю самому о всегоднемъ посту и о каянніи всего міра и про всякое дѣло міра сего». Такимъ образомъ, «царю всегда будетъ вѣдомо про всѣ дѣла его самодержавства» и онъ сможетъ скрѣпить отъ грѣха всѣ власти и воеводъ и приказныхъ людей: отъ

взятки и посула и отъ всѣхъ безчисленныхъ властелинскихъ грѣховъ, словомъ, отъ всякой неправды *). Гѣ же «вселодные постные люди» обезпечать царю и ежегодное всеобщее покаяніе, такъ что сохранены будутъ и души, и тѣла.

Однимъ развитіемъ оппозиціонной *теоріи* дѣло, однако, не ограничилось. Есть всѣ основанія думать, что только что изложенная «Бесѣда Валаамскихъ чудотворцевъ» явилась лишь запоздалымъ литературнымъ выраженіемъ мнѣній, которыя русская оппозиція XVI вѣка пыталась уже ранѣе того осуществить на практикѣ.

Можно было ожидать, повидимому, что такая попытка будетъ сдѣлана во время боярскаго правленія послѣ смерти Василя III. Но регентство Елены оказалось не особенно благопріятнымъ моментомъ для осуществленія оппозиціонныхъ идеологій. Зато тѣмъ удачнѣе сложились обстоятельства въ концѣ этого смутнаго десятилѣтія, при вступленіи Ивана IV. Это было то время, которое Курбскій разрисовалъ въ такихъ розовыхъ краскахъ и про которое Иванъ Грозный говорилъ съ такимъ раздраженіемъ, какъ о времени, когда Сильвестръ съ Адашевымъ «всѣ строенія и утвержденія по своей волѣ и своихъ совѣтниковъ хотѣнію творили», когда ему оставили только имя и честь, а всю власть государя присвоили себѣ.

Идея духовнаго и земскаго «вселенскаго совѣта» или собора была въ это время осуществлена въ дѣйствительности и программа вопросовъ, представленныхъ царемъ на первый изъ соборовъ, во многихъ случаяхъ близко напоминала идеи автора «Валаамской бесѣды». На первомъ планѣ стоялъ здѣсь вопросъ о монастырскихъ имуществвахъ, но за нимъ тотчасъ возникалъ другой, не менѣе серьезный для государства вопросъ о формѣ вознагражденія за военную службу, т. е. о служилыхъ земляхъ. Съ монастырской собственности связанъ былъ, какъ мы знаемъ, вопросъ о нравахъ и о внутренней дисциплинѣ духовенства. Въ этомъ послѣднемъ вопросѣ авторъ «Бесѣды» далеко не раздѣлялъ широкихъ взглядовъ Курбскаго: новыя моды съ Запада и съ Востока, новый костюмъ и прическа, новсе убранство комнатъ, новая манера пѣть въ церкви и писать иконы, т. е. новыя направленія въ церковной живописи и музыкѣ **), все это приводило его въ большое смущеніе; на все это онъ обращалъ вниманіе власти и ея совѣтниковъ.

И изъ другихъ источниковъ мы знаемъ, что только что очерченный, на основаніи «Валаамской бесѣды», кругъ вопросовъ сильно занималъ «избранную раду» Ивана IV наканунѣ созыва соборовъ. Прежде всего, молодые реформаторы вспомнили своихъ старыхъ вождей: голосъ изъ тюрьмы Максима и другой голосъ друга нестяжателей, Артемія ***),

*) И здѣсь заключается косвенный отвѣтъ Пересвѣтову, предлагавшему для искорененія «неправды» другія мѣры; см. ниже, стр. 65.

**) См. объ этомъ «Очерки», II, 2-е издание, стр. 209—210. 224.

***) См. о немъ «Очерки», II 30, 32. 95.

вскорѣ посланнаго въ Солвки, — первые раздаются по призыву Сильвертра и Адашева. Оба, разумѣется, сочувствуютъ реформѣ: Артемій намекалъ даже на возможность радикальнаго разрѣшенія вопроса о монастырскихъ имуществахъ въ духѣ Нила Сорскаго.

Но время радикальныхъ рѣшеній прошло или, лучше сказать, не наступило: митрополитъ Макарій, несмотря на свою мягкость и привычку всѣмъ дѣлать пріятное, въ этомъ случаѣ оказался вѣренъ завѣтамъ своей *alma mater*, Волоколамскаго монастыря, и подалъ — по обыкновению, чужими словами (митр. Симона на соборѣ 1503 г.) — рѣшительное мнѣніе противъ радикальной постановки вопроса на предстоящемъ соборѣ. За нимъ высказались и еще нѣсколько лицъ не въ пользу затѣй молодой партіи; такъ что еще до созыва собора ясно было, что дѣло кончится полумѣрами. Не вызывалъ особенныхъ надеждъ и самый составъ собравшагося въ Москвѣ духовнаго собора (т. наз. Стоглава). Изъ десяти его членовъ только одинъ (Кассіанъ) извѣстенъ своими передовыми мнѣніями: за то преданіе и украсило его біографію самыми внушительными подробностями, вродѣ того, что у него рука отнялась, голова повернулась назадъ и т. п. Трое (кромѣ Макарія) были «осифляне», т.-е. явные противники реформы.

На дѣятельности собора мы здѣсь не можемъ останавливаться. Скажемъ только, что по отношенію къ вотчиннымъ правамъ монастырей дѣло ограничилось нѣкоторыми мѣрами государственнаго контроля надъ монастырскимъ судомъ и финансовой администраціей. Зато новодныя мурмолки («тафьи безбожнаго Магомета») подверглись жестокому гоненію, такъ же, какъ и модныя иконы и бритье бороды. Гораздо важнѣе были государственныя мѣры, принятыя въ интересахъ служилаго сословія. Наградить генераловъ за службу и обезпечить бытъ офицерства — это былъ настоящій лозунгъ времени, который такъ выдвигалъ впередъ Курбскій и на который такъ нападалъ Грозный.

Въ интересахъ того же офицерства созваны были и первые русскіе земскіе соборы. Недавно стало извѣстно, что эти соборы не были ни собраніемъ настоящихъ представителей, ни выраженіемъ мнѣній всей земли, — какимъ хотѣлъ бы видѣть подобный соборъ авторъ Валаамской бесѣды. Государство созвало своихъ слугъ, занимавшихъ извѣстныя должности, и потребовало отъ нихъ не столько ихъ вотума, сколько простой экспертизы — въ видѣ отвѣта на опредѣленно поставленный вопросъ о ихъ служебной годности въ данный моментъ. Такимъ образомъ, оказывается, что въ моментъ перваго появленія такого, повидимому, интереснаго учрежденія — историку русскихъ общественныхъ движеній съ нимъ уже нечего дѣлать. Оно завершаетъ собой, какъ и другой, духовный соборъ, оппозиціонное движеніе цѣлаго полувѣка, сводя къ минимуму его результаты, — и именно потому съ этихъ соборовъ не приходится начинать никакого новаго движенія.

Впрочемъ, оговоримся. Принявъ съ такой рѣшительностью подъ свою защиту интересы одного класса (надо прибавить: не того, который былъ въ силѣ въ данный моментъ и сила котораго вскорѣ оказалась такой непрочной, т.-е. боярства. — а того, которому принадлежало будущее, т.-е. дворянства). московское правительство этимъ самымъ готовило себѣ новую оппозицію, наименѣе идеологическую и наиболее опасную—даже тогда, когда она проявлялась не активно, а пассивно. Это была оппозиція социальная—оппозиція крестьянъ и холоповъ.

Первые признаки такой оппозиціи являются еще раньше соборовъ и раньше сознательнаго и систематическаго классоваго законодательства. Собственно, во всей этой полемикѣ противъ монастырскаго владѣнія землей и людьми, рядомъ съ морально-религіозными и политическими побужденіями, все время слышится также и социальная нотка. Разумѣется, особенно сильно она звучитъ у пустынножителей, какъ у такихъ противниковъ монастырскаго владѣнія, которые не принадлежатъ сами къ числу рабовладѣльцевъ и нападаютъ на «иноковъ» не какъ на опасныхъ конкурентовъ служилаго землевладѣнія, а принципиально. Максимъ Грекъ—самый умѣренный въ своихъ политическихъ взглядахъ и самый отвлеченный въ своихъ моралистическихъ сужденіяхъ—въ данномъ случаѣ выступаетъ съ самымъ рѣзкимъ и безповоротнымъ осужденіемъ. «Гдѣ писано, спрашиваетъ онъ, чтобъ (угодившіе Богу иноки) давали деньги займы, вопреки правиламъ закона или чтобы они вымогали у убогихъ проценты на пропенты? А мы позволяемъ себѣ дѣлать это съ бѣдными селянами, трудящимися и страдающими безъ отдыха въ нашихъ селахъ и на всѣхъ нашихъ службахъ, отягчая ихъ высокимъ ростомъ и разоряя, когда они не могутъ отдать долга... Ты истязуешь человѣка и расхищаешь жалкое его стяжанье; ты гонишь его, вмѣстѣ съ женой и дѣтьми, прочь изъ своихъ селъ съ пустыми руками или порабощаешь вѣчнымъ порабощеніемъ, какъ древній мучитель фараонъ—сыновъ израилевыхъ. Если, изнемогши отъ тягости налагаемыхъ нами безпрестанно трудовъ, онъ захочетъ переселиться куда-нибудь въ другое мѣсто, мы его не пускаемъ безъ уплаты установленнаго оброка,—забывъ о безчисленныхъ трудахъ его и страданіяхъ, и потѣ, пролитомъ для необходимыхъ намъ услугъ въ течение столькихъ лѣтъ, проведенныхъ въ нашемъ селѣ. Что можетъ быть мерзче этого, братъ мой, что можетъ быть безчеловѣчнѣе?»

Всякій, кто стоялъ ближе къ тогдашней русской жизни, чѣмъ Максимъ,—не могъ не чувствовать, что тяжесть этихъ обличеній падаетъ не на одно монастырское землевладѣніе и рабовладѣніе. Любой мелкій помѣщикъ и крупный бояринъ дѣлалъ въ своихъ селахъ то же самое. Поэтому, когда авторъ Валаамской бесѣды, повторяя Вассіана и Максима, въ своихъ обличеніяхъ «иноковъ, кормящихся мірскими слезами»,—въ то же время тщательно выгораживаетъ изъ этихъ обличеній свѣтское землевладѣніе, это уже кажется или крайнимъ ослѣп-

леніемъ, или престо недобросовѣстностью; во всякомъ случаѣ, это крайне непослѣдовательно. Конечно, не одни иноки кормились мірскими слезами: не одними ихъ притѣсненіями объяснялся тотъ пассивный протестъ населенія, на который намекалъ Максимъ въ приведенныхъ выше словахъ и который авторъ бесѣды еще ярче характеризовалъ въ формѣ пророчества: «будутъ пусты, никѣмъ не гонимы, въ волостяхъ и селахъ дѣмы крестьянскіе, люди начнутъ убивать и земля начнетъ пространѣе быть, а людей будетъ мевше.—и тѣмъ оставшимся людямъ на той пространной землѣ жить будетъ негдѣ». И если авторъ Валаамской бесѣды, какъ на единственный радикальный исходъ, могъ указать только на взятіе всѣхъ монастырскихъ земель въ казну и на уплату монастырямъ ежегодно жалованья, то вполне послѣдовательно было предложить *распространить ту же мѣру и на служилое землевладѣніе.*

Такъ и ставитъ вопросъ о вознагражденіи служилого сословія извѣстный намъ памфлетъ Пвашки Пересвѣтова, къ соціальной сторонѣ котораго мы теперь возвращаемся. Авторъ рѣзко подчеркиваетъ, прежде всего, именно тѣ бѣдствія низшихъ классовъ, которыя вызваны господствомъ боярской партіи. Онъ утверждаетъ, что вельможи, завладѣвъ царствомъ, «не даютъ управы на сильныхъ—бѣднымъ и безпомощнымъ. Слабому человѣку невозможно ни въ городѣ жить, ни отъ города хоть на версту отѣхать. Поэтому, многіе, чтобы избавиться отъ бѣды, отдаются во дворъ къ вельможамъ. А Богъ не велѣлъ другъ друга порабощать; Богъ сотворилъ человѣка самовластнымъ и повелѣлъ ему быть самому себѣ владыкой, а не рабомъ. Мы же беремъ человѣка въ работу и записываемъ его навѣки». Исходъ, по мнѣнію нашего автора, можетъ быть только одинъ: «такой сильный государь, какъ царь русскій, долженъ со всего своего царства доходы брать прямо себѣ въ казну, а изъ казны платить военнымъ и гражданскимъ чиновникамъ ежегодное жалованье, чѣмъ имъ можно прожить съ людьми и съ конями съ году на годъ». За военныя заслуги царь долженъ награждать, къ себѣ близко припускать, жалобы ихъ позлащать и тѣмъ сердца ихъ утѣшать. Тогда и 20.000 воиновъ ѡудутъ сильнѣе, чѣмъ 100.000 при дѣйствующемъ порядкѣ; тогда и *вельможи перестанутъ «неправеднымъ собираніемъ богатѣть, да родами считаться, да мѣстами мѣстничаться и тѣмъ цареву воинство ослаблять».* Имѣя въ своихъ рукахъ «воинство», царь уже сможетъ «вельможъ своихъ всячески искушать и боярами своими *тѣшиться, какъ младенцами; вельможи начнутъ его бояться и ни съ какими злохитростями не дерзнутъ къ нему приблизиться».*

Мы видимъ, дальше чего не идетъ демократизмъ защитника политики Грознаго въ его критикѣ соціальныхъ условій тогдашней русской жизни. Онъ на сторонѣ «бѣдныхъ и безпомощныхъ»—лишь въ очень условномъ смыслѣ слова. Онъ не на сторонѣ крестьянъ противъ ихъ владѣльцевъ, а на сторонѣ «воинства» противъ «вельможъ». Онъ,

правда, непрочь посовѣтовать правительству — вступить въ прямыя отношенія къ крестьянамъ, минуя ихъ господъ, но съ тѣмъ, чтобы интересы этихъ господъ, — поскольку они суть интересы службы, слѣдовательно совпадаютъ съ государственными интересами, — были обезпечены. А если окажется, что прямыхъ сношеній съ крестьянами на этихъ условіяхъ установить нельзя, то государственная власть ни минуты не усомнится отдать «самовластнаго челоуѣка, владыку самого себя», своему «воинству» «въ работу навѣки»

Впрочемъ, все это выяснилось только съ теченіемъ времени, по мѣрѣ хода событій. Какова бы ни оказалась положительная сторона монархически-демократической программы. — ея главный, очередной интересъ сосредоточивался на отрицательной сторонѣ: на борьбѣ противъ вельможъ и приписанныхъ имъ соціальныхъ бѣдствій, на кого бы онѣ ни падали. Борисъ Годуновъ озаботился даже нагляднымъ образомъ пропагандировать эту программу, заказавши расписать Грановитую палату картинами, въ которыхъ царь изображенъ былъ то «кручинящимся» отъ «крамолы вельможъ», то вручающимъ судѣ праведному — мечъ отищенія. Тутъ же вдовица просила управы на обидящаго вельможу и т. д. Это было — живописнымъ отвѣтомъ на болѣе раннюю (1552) роспись сосѣдней Золотой палаты, гдѣ не была забыта ни «избранная рада», ни даже Сильвестръ, — высшій источникъ царевой мудрости, уподобленный здѣсь Варлааму извѣстной притчи (о В. и Иосафатѣ). Такъ и искусство приняло участіе въ полемикѣ политическихъ партій XVI вѣка.

Въ итогѣ, мы видимъ, что соціальный вопросъ разрабатывается въ XVI в. въ двухъ направленіяхъ: сперва (именно у нестяжателей и ихъ сторонниковъ) въ направленіи религіозно-моралистическомъ, потомъ (въ рукахъ такого оффиціознаго памфлетиста, какъ Пересвѣтовъ) въ направленіи политическомъ. То и другое направленіе не могло принести для его рѣшенія никакой пользы, такъ какъ пользовалось соціальнымъ вопросомъ, лишь какъ средствомъ борьбы другъ противъ друга. Соціальная же оппозиція, въ собственномъ смыслѣ, сосредоточивались въ такихъ сферахъ, которыя не могли формулировать никакого соціального «вопроса». Когда она выступила сама отъ своего имени, — это выступленіе получило не форму теоріи, а форму поступковъ.

Одинъ изъ такихъ поступковъ отмѣтилъ уже авторъ «Валаамской бесѣды», предсказавъ отъ лица святыхъ, что «люди начнутъ убывать и земля начнетъ пространнѣе быти». Дѣйствительно, по мѣрѣ того, какъ исполнялась мечта московскихъ публицистовъ, расширялись предѣлы государства, — особенно на востокъ и на югъ, — все многочисленнѣе пачинали становиться побѣги отъ московскихъ порядковъ на привольныя окраины. Въ послѣднюю четверть вѣка эти побѣги сдѣлались массовыми и стали грозить чуть не полнымъ обезлюднѣніемъ стараго государственнаго центра. Владѣльческому хозяйству центра грозилъ полный разгромъ, — и правительственная власть, смотрѣвшая въ началѣ

на бѣглецовъ какъ на пригодный для своихъ цѣлей колонизаторскій элементъ. въ концѣ концовъ, принуждена была отождествить свои интересы съ интересами хозяевъ—служилыхъ людей *). При этихъ условіяхъ не могло быть и рѣчи о проведеніи намѣченной Пересвѣтовымъ идеи демократической монархіи, о защитѣ самодержавной властью «автономіи личности» отъ покушеній правящаго сословія на ея свободу. Правительство ограничилось другой задачей, — тоже не легкой, такъ какъ для ея осуществленія понадобилась опричина и крѣпостное право: задачей оградить «воинство» отъ тяготѣнія надъ нимъ вельможъ и отъ ихъ конкуренціи въ сферѣ землевладѣнія. Такова и была. въ сущности, главная идея памфлета Ивашки Пересвѣтова.

Соціальная оппозиція не была, конечно, уничтожена однимъ тѣмъ обстоятельствомъ, что правительство перестало о ней думать. Элементы этой оппозиціи продолжали копиться на окраинѣ; при первомъ случаѣ они должны были напомнить о себѣ правительству. Случай представился въ смутное время.

Любопытно, что знаменемъ для этого перваго активнаго соціального протеста послужилъ «истинный царь Дмитрій»—въ противоположность боярскому царю Василю. Законный наследникъ Грознаго представлялся, очевидно, народной массѣ ея настоящимъ покровителемъ и защитникомъ—*противъ* боярскаго кружка, мечтавшаго, можетъ быть, возобновить преданія «избранной рады» Курбскаго. Идеи демократической монархіи, какъ видимъ, сознательно предпочитались въ народной массѣ тѣмъ конституціонно-боярскимъ идеямъ, во имя которыхъ Василій Шуйскій далъ свою «запись»—не казнить безъ боярскаго суда и не прибѣгать къ произвольнымъ конфискаціямъ имущества подданныхъ. Теоріи Пересвѣтова столкнулись. такимъ образомъ, въ самой жизни съ теоріями «Валаамской бесѣды», — и оказались болѣе популярными.

Въ этихъ теоріяхъ было, однако же, два оттѣнка. не совсѣмъ ладившихъ другъ съ другомъ на бумагѣ и еще менѣе соединимыхъ въ жизни. Онѣ защищали противъ боярства, во-первыхъ, *воинство*, во-вторыхъ, порабощенное (не одними боярами, а также и тѣмъ же воинствомъ) низшее сословіе—*крестьянъ и холоповъ*. Оба эти элемента возстали теперь «на бояръ за убіеніе Дмитрія и самовольное избраніе Василя Шуйскаго». Въ рязанской землѣ возстало «воинство», т.-е. служилые люди; въ сѣверской землѣ возстали бѣглецы крестьяне и холопы, прогнанные боярами во время голода, или отпущенные изъ конфискованныхъ у бояръ домовъ, или просто бѣжавшіе самовольно. Скоро, однако, оказалось, что оба элемента не могутъ дѣйствовать вмѣстѣ и быть союзниками, такъ какъ и цѣли борьбы, и самая тактика были у нихъ совершенно различны. Бѣглецы холопы не интересовались простой смѣной династіи: вожди ихъ рисовали имъ въ перспективѣ цѣлый

*) См. «Очеркп». т. I. 4-е изданіе стр.. 71—72, 76.

соціальный переворотъ. Въ своихъ прокламаціяхъ они «велѣли боярскимъ холопамъ побивать своихъ бояръ и сулили имъ женъ и вотчины, и помѣстья этихъ бояръ, а безымяннымъ бродягамъ былъ данъ купцовъ и всѣхъ торговыхъ людей побивать и имущество ихъ грабить: призывая къ себѣ этихъ воровъ, они обѣщали имъ и боярство, и воеводство, и околничество и дьячество». II. дѣйствительно, при первыхъ же успѣхахъ движенія, сѣверскіе бунтовщики начали именовъ истиннаго царя Дмитрія «разорять дома своихъ бояръ, грабить ихъ имущество и брать себѣ женъ: бояръ и воеводъ снѣ побивали разными смертями, бросали съ башенъ, вѣшали за ноги, распинали на городскихъ стѣнахъ»—словомъ воспроизводили всѣ тѣ сцены, которыя такъ хорошо извѣстны изъ исторіи соціальныхъ движеній XVIII столѣтія. Разанскіе дворяне немедленно отступились отъ такихъ опасныхъ союзниковъ и вернулись къ союзу съ законной властью, которая затѣмъ уже не жалѣла казней противъ враговъ общественнаго порядка. Цѣлые два года правительство царя Василя вѣшало и топило «воровъ»: вся сѣверская область была объявлена на военномъ положеніи и отдана на разграбленіе инородцамъ—черемисамъ и татарамъ.

Теперь, наконецъ, правительство почувствовало необходимость законодательнаго вмѣшательства въ область соціальныхъ отношеній, но сдѣлало это отнюдь не въ интересахъ «самовластія» личности. Въ 1607 г., непосредственно послѣ возстанія, мы встрѣчаемъ цѣлый рядъ мѣръ, общая цѣль которыхъ—подчинить правительственному надзору боярскихъ холоповъ и прекратить побѣги крестьянъ на окраину.

Такъ кончилось первое проявленіе соціальнаго протеста противъ новыхъ московскихъ порядковъ. Источники оппозиціи противъ этихъ порядковъ были теперь сплошь исчерпаны. Порядки оказались сильнѣе—и выставлявшихъ противъ нихъ идеологій, и даже противрѣчившихъ имъ соціальныхъ интересовъ. И если, при всемъ томъ, эти идеологіи успѣли достаточно ярко заявить о себѣ, то и этимъ онѣ обязаны были, во-первыхъ, тому, что порядки не успѣли еще установиться: во-вторыхъ, тому, что нѣкоторыя изъ этихъ идеологій принялъ подъ свою защиту единственный (кромѣ царской власти) сильный тогда соціальный элементъ—боярство. Въ XVII вѣкѣ оба эти условія перестали дѣйствовать. Порядки установились окончательно, а боярство лишено было царской политикой всякаго политическаго значенія. Немудрено, что въ XVII в. мы уже не найдемъ ничего подобнаго той борьбѣ разнородныхъ политическихъ началъ, какую прослѣдили въ XVI в. Новыя политическія идеологіи развиваются, конечно, своимъ чередомъ, но онѣ развиваются, такъ сказать, изнутри установившагося общественнаго порядка.

О религіозныхъ движеніяхъ XIV и XV в. на Балканскомъ полуостровѣ и на Афонѣ см. указанную раньше книгу Радченко и книгу *Θ. И. Успенскаго* «Очерки».

по истории византийской образованности. «Одесса. 1832. Теория западнаго вліянія на возникновеніе ереси въ Псковѣ и Новгородѣ развита *Н. С. Тихонравовымъ*, см. его *Сочиненія*» т. I «Отреченныя книги древней Россіи», очеркъ шестой. М. 189. Общій разсказъ о религиозной и политической борьбѣ XV и XVI в., поскольку она отразилась въ литературныхъ произведеніяхъ. см. въ «Исторіи русской литературы» А. Н. Пыпина, т. II. Спб. 1898 г. Здѣсь и библиографическія указанія. Подробности о борьбѣ нестяжателей съ осифлянами см. въ «Исслѣдованіи о сочиненіяхъ Іосифа Савина» П. Хрущова. Спб. 1868 г. и въ «Историческомъ очеркѣ секуляризаціи церковныхъ земель въ Россіи» А. С. Павлова, въ «Запискахъ Новороссійскаго университета», т. VII. О. 1871 г. «Бесѣда Валаамскихъ чудотворцевъ» издана В. Г. Дружининымъ и М. А. Дьяконовымъ. Спб. 1890 г. О подготовкѣ Стоглаваго Собора см. статью *И. Жадова* въ «Журналѣ Министерства Нар. Просвѣщенія», 1876, июль и августъ. Специалисты замѣтятъ, что мы не совсѣмъ согласны съ освѣщеніемъ фактовъ у автора и считаемъ двѣ безымянныя записки, поданныя устроителямъ собора.—принадлежащими не партии реформъ, а ея противникамъ. О составѣ перваго земскаго сѣбра см. статью *В. О. Ключевскаго*: «Составъ представительства на земскихъ соборахъ древней Руси», въ «Русской Мысли» 1890 г., январь. Сказанія Ивана Пересвѣтова о царѣ турецкомъ Магметѣ и о Петрѣ волошскомъ воеводѣ напечатаны въ «Извѣстіяхъ и ученыхъ запискахъ Казанскаго университета», 1865 г., вып. I. Указанная мною въ текстѣ связь между обоими памфлетами должна быть принята во вниманіе при пересмотрѣ вопроса о времени ихъ написанія. Сказаніе Пересвѣтова, несомнѣнно, составлено тогда, когда вполне выяснился характеръ вліянія Сильвестра на Ивана Грознаго (чародѣйство). но нѣтъ никакой необходимости думать, что всѣ совѣты Пересвѣтова даются имъ *post factum*, т.-е. тогда, когда Иванъ успѣлъ осуществить ихъ учрежденіемъ опричнины. Идеи «Весѣды», во всякомъ случаѣ, должны были быть въ обращеніи уже ко времени реформъ 50-хъ годовъ. О тенденціозной росписи Золотой Палаты—въ духѣ Сильвестра—и Грановитой—въ духѣ Ивашки Пересвѣтова фактич. данныя см. у *Забѣлина*, «Домашній бытъ русскихъ царей». 3-е изд. М. 1895 г. О социальномъ протестѣ смутнаго времени см. «Очерки по исторіи смуты въ московскомъ государствѣ XVI—XVII вв.» С. Θ. Платонова, Спб. 1899 г. Тамъ же и всѣ указанія на источники.

IV.

Торжество націоналистическихъ идеологій.—Побѣда націоналистическихъ идеологій во внѣшней политикѣ: принятіе царскаго титула и теорія византійскаго преемства власти; приложеніе этой теоріи во внѣшнихъ сношеніяхъ; ея распространеніе въ широкихъ кругахъ.—Побѣда націоналистической программы внутренней политики.—Роль боярства и казачества въ смутѣ: паденіе, вмѣстѣ съ ними, политической и соціальной оппозиціи и торжество служилаго класса.—Роль «послѣднихъ людей» въ смутѣ.—Роль служилаго класса.—Попытки дѣйствовать его именемъ и его собственное выступленіе.—Договоръ съ Владиславомъ, какъ первое выраженіе стремленій служилаго класса.—Значеніе правъ, данныхъ въ договорѣ боярской думѣ: взглядъ русскихъ на своихъ бояръ и польскихъ магнатовъ.—Безсиліе боярскаго временнаго правительства и подчиненіе его полякамъ; выступленіе «всей земли» въ видѣ ратнаго совѣта при земскомъ ополченіи: договоръ совѣта съ начальниками ополченія —Его отношеніе къ договору съ Владиславомъ.—Его обязательность для новаго начальника втораго ополченія, Пожарскаго.—Вопросъ о его обязательности для новаго царя: свидѣтельство Фокеродта.—Роль земскаго собора въ первые годы Михаила; соборы при Филаретѣ.—Развитіе бюрократіи и безсильный протестъ дворянства.

Мы познакомились теперь съ элементами, изъ которыхъ слагалось общественное самосознаніе Московской Руси. Мы разсмотрѣли содержаніе какъ націоналистическихъ, такъ и оппозиціонныхъ идеологій XV и XVI вв. Которыя изъ нихъ должны были побѣдить, это предрѣшалось совершенно объективными условіями политической и соціальной жизни Московской Руси. Эти условія мы старались изобразить въ первой части «Очерковъ» и теперь должны предположить ихъ извѣстными. Въ результатѣ этихъ условій—во внѣшней политикѣ московское правительство стало подъ знамя націоналистическихъ идеологій, государственныхъ и религіозныхъ, а во внутренней политикѣ оно стало проводить политическую программу Грознаго и соціальную программу Ивашки Пересвѣтова.

Націоналистическая программа внѣшней политики складывалась съ конца XV вѣка и получила свое окончательное завершеніе и формулировку во второй половинѣ XVI в. Соціально-политическая программа внутренней политики нѣсколько запоздала: во второй половинѣ XVI в. правительство еще вело за нее борьбу, а окончательная побѣда до-

стигнута была лишь въ XVII в., послѣ испытаній смутнаго времени. Теперь мы остановимся нѣсколько подробнѣе на побѣдѣ той и другой программы.

Въ московскомъ Успенскомъ соборѣ до сихъ поръ хранится живой свидѣтель того момента, когда официально восторжествовала националистическая идеологія московской государственной власти. Это — царскій тронъ съ балдахиномъ въ формѣ шатровой крыши московскихъ церквей того времени и съ затворами на три стороны: на каждомъ изъ этихъ затворовъ изображено по четыре сцены тонкой рѣзной работы. Тутъ же вырѣзанъ и текстъ, поясняющій смыслъ этихъ сценъ: это та самая легенда о присылкѣ Владиміру Мономаху греческимъ императоромъ Константиномъ Мономахомъ царскихъ регалій, съ которой мы познакомились раньше. Въ 1547 г. Иванъ Грозный торжественно вѣнчался на царство и принялъ официально царскій титулъ; въ 1552 г. поспѣлъ и тотъ царскій тронъ, о которомъ мы только что упомянули и которымъ давалась легендѣ о византийскомъ преемствѣ власти официальная санкція. Въ 1561 г. Иванъ добился и формальнаго признанія легенды со стороны константинопольскаго патріарха. Правда, для этого пришлось немножко подскоблить греческую грамоту, содержащую въ себѣ не совсѣмъ то, что нужно было царю отъ патріарха; какъ бы то ни было, дѣло было сдѣлано, и московское правительство могло торжественно выступить со своими претензіями передъ иностранными державами.

Эти претензіи, правда, не сразу получили признаніе. Баторій еще въ 1581 г. совѣтуетъ Ивану «не твердить басенъ своихъ бахарей» про Пруса и про Августа кесаря, какъ про своихъ «сродниковъ». Но Иванъ въ долгу не остается и побѣдоносно опровергаетъ сомнѣнія своего соперника простымъ соображеніемъ: «коли ужъ Пруса на свѣтѣ не было, — пусть Стефанъ король намъ объяснитъ, откуда же взялась прусская земля!» Въ свою очередь и онъ самъ возбуждаетъ сомнѣніе: при такомъ важномъ происхожденіи можетъ ли онъ, не теряя своего достоинства, сноситься, какъ равный съ равнымъ, съ человѣкомъ, не «отъ государскаго прироженья, а отъ рыцарскаго чина», каковъ Баторій? О шведскомъ королѣ Иванъ еще болѣе низкаго мнѣнія: тотъ прямо «мужичьяго рода». Получивъ грамоту «индѣйской земли государя», московскій царь былъ поставленъ въ крайнее затрудненіе: называть ли его братомъ въ своемъ отвѣтѣ? Въ концѣ концовъ, онъ рѣшилъ «о братствѣ къ нему не писать», такъ какъ неизвѣстно — «государь ли онъ, или простой урядникъ». На языкѣ московской политической теоріи это значило: «неограниченный онъ государь или конституціонный». Конституціонную монархію въ Москвѣ ставили чрезвычайно низко. «Мы думали, — писалъ Грозный английской королеви Елизаветѣ, — что ты на своемъ государствѣ государыня и сама владѣешь, а у тебя люди владѣютъ, — и не токмо люди, а мужики тор-

говые..., а ты пребываешь въ своемъ дѣвическомъ чинѣ, какъ есть пошлая дѣвица». Такъ же презрительно относился Иванъ IV и къ «убогой» власти польскаго короля. «Ты посаженыи государь, а не вотчинный,—писали московскіе бояре Сигизмунду-Августу,—какъ тебя захотѣли павы твои, такъ тебѣ въ жалованіе государство и дали; ты въ себѣ и самъ не воленъ, какъ же тебѣ быть вольнымъ въ своемъ государствѣ?»

Успѣхи націоналистическаго самовозвеличенія завершились провозглашеніемъ полной независимости русской церкви отъ греческой, подъ управленіемъ собственнаго патріарха (1589). Оффиціальныи актъ и въ этомъ случаѣ воспользовался легендой, которая давно уже успѣла сдѣлаться популярной. Теорія о Москвѣ-третьемъ Римѣ, о превосходствѣ русскаго православія, о религіозномъ преемствѣ отъ Византіи (наряду съ государственнымъ)—все это было цѣликомъ внесено изъ литературныхъ источниковъ начала вѣка въ государственный документъ, санкціонировавшій въ концѣ вѣка учрежденіе патріаршіи. Правда, дѣйствительность и здѣсь не совсѣмъ соотвѣтствовала гордымъ національнымъ претензіямъ: московскій патріархъ оказался послѣднимъ въ ряду вселенскихъ, несмотря на усилія московскихъ дипломатовъ добыть ему, если ужъ не первое, то хоть третье мѣсто. Пришлось довольствоваться и этимъ, такъ какъ и самое согласіе на учрежденіе патріаршіи было вырвано у грековъ чуть не насильно.

Мы имѣемъ всѣ основанія думать, что торжество націоналистическихъ теорій не ограничилось одними только правительственными кругами, но уже въ предѣлахъ XVI в. стало признаваться и въ средѣ самаго населенія. Когда извѣстная идея проникаетъ въ массы,—она непремѣнно закрѣпляется въ народной памяти при помощи народной легенды, при помощи размѣра и ритмы. Книжныя легенды XVI в., наряду съ оффиціальными актами, тоже нашли себѣ путь къ широкой публикѣ, воспринимавшей эти легенды не глазами, а слухомъ. Передавая другъ другу: изустно живое преданіе, эта публика перепутала, конечно, имена, событія и даты, но общій смыслъ событій она запомнила твердо. И вотъ какой видъ приняла въ воспоминаніи народной массы извѣстная намъ націоналистическая легенда о пріобрѣтеніи московскимъ княземъ царскихъ регалій. Какъ въ книжномъ источникѣ, такъ и въ народной передачѣ его герой легенды отправляется въ Вавилонъ изъ Царьграда добывать регаліи для *византійскихъ* императоровъ. Но дальше народная фантазія начинаетъ работать самостоятельно. Вернувшись назадъ, въ Византію, посланецъ Федоръ Барма (имя котораго, очевидно, подсказано царскими *бармами*) находитъ тамъ крушеніе царства и вѣры и прямымъ путемъ доставляетъ регаліи единому православному царю вселенной, Ивану Васильевичу. Онъ застаётъ его какъ разъ въ моментъ торжества православія надъ басурманами и въ моментъ дѣйствительнаго принятія Грознымъ царскаго титула. «Тутъ было

въ Царьградѣ великое кроволитіе: рушилась вѣра правовѣрная, не стало царя православнаго. И пошелъ Федоръ Барма въ нашу Руссію подселенную и пришелъ онъ въ Казань градъ и вошелъ онъ въ палаты княженецкія, въ княженецкія палаты богатырскія. . И улегла тутъ порфира и корона съ града Вавилона на голову грознаго царя правовѣрнаго, Ивана царя Васильевича, который рушилъ царство Проходима, поганаго князя казанскаго».

Всего любопытнѣе то, что народная память не только удержала моментъ національнаго возвеличенія московской государственной власти, но и сохранила представленіе о связи между националистической политикой вѣшной и внутренней. Въ народной былинѣ новая государственная власть представляется или орудіемъ борьбы съ внутренними врагами, или результатомъ побѣды надъ ними: монархія является на свѣтъ съ демократической программой,—какъ она нарисована была на стѣнахъ Грановитой Палаты.

Когда-жъ то возсіяло солнце красное,
Тогда-то воцарился у насъ Грозный царь,
Грозный царь Иванъ Васильевичъ.
Заводилъ онъ свой хорошъ почестный пиръ,
Всѣ на почестномъ напивались.
И всѣ на ппру порасхвастались.
Говорилъ Грозный царь Иванъ Васильевичъ:
«Есть чѣмъ царю мнѣ похвастати:
Я повynesъ царенье изъ Царяграда.
Царскую порфиру на себя надѣлъ,
Царскій костыль себѣ въ руки взялъ,
И повыведу измѣну съ каменной Москвы».

Или въ другой формѣ:

«Вывелъ я измѣну изъ Пскова.
Вывелъ я измѣну изъ каменной Москвы,
Казанское царство мимоходомъ взялъ,
Царя Симіона подъ миръ склонилъ;
Снялъ я съ царя порфиру царскую,
Привезъ порфиру въ каменну Москву,
Крестилъ я порфиру въ каменной Москвѣ,
Эту порфиру на себя наложилъ,
Послѣ этого сталъ Грозный царь».

Здѣсь какъ будто сохранилась свѣжая память о томъ, какъ живой, не легендарный царь Иванъ Васильевичъ, дѣйствительно, «порасхвастался» передъ своимъ народомъ съ лобнаго мѣста, сваливая всю вину за государственныя нестроения на бояръ и обѣщая самъ все исправить; или какъ тотъ же Иванъ Грозный объявлялъ публично полтора десятка лѣтъ спустя свою опалу высшимъ общественнымъ слоямъ и свою милость низшимъ, прося у послѣднихъ экстренныхъ полномочій для того, чтобы расправиться съ своими и ихъ врагами,—«повывести измѣну».

Мы видѣли, однако же, что, въ дѣйствительности, программа внутренней политики Грознаго и его сторонниковъ вовсе не была такъ демократична, какъ это могло показаться съ перваго взгляда. «Воссіявшее» надъ Россіей «красное солнце» скоро должно было оказаться кровавымъ заревомъ соціальнаго пожара. Согласно теоріи Пересвѣтова, «войнство»,—рядовое дворянство все болѣе и болѣе становилось исключительнымъ предметомъ правительственныхъ заботъ: въ немъ видѣли какъ необходимый элементъ для существованія и независимости государства, такъ и опору противъ притязаній «вельможъ». Его надѣляли землями; ему облегчали тяжесть податей; съ нимъ даже начали совѣщаться о государственныхъ дѣлахъ. Напротивъ, противъ верхняго общественнаго слоя Грозный «сталъ за себя», т.-е. въ интересахъ личнаго самосохраненія. Онъ «губилъ» его «всеродно» и такъ удачно дѣйствовалъ въ этомъ направленіи, что къ концу вѣка боярскій классъ представлялъ изъ себя только одни жалкіе остатки того, чѣмъ онъ былъ въ началѣ вѣка. Что касается низшаго общественнаго слоя, онъ просто выходилъ изъ кругозора московскаго правительства. Оно занялось имъ лишь тогда, когда это понадобилось для того же «войнства»; и, конечно, оно взглянуло на него глазами «войнства». Такимъ образомъ, недовольны положеніемъ должны были быть верхъ и низъ русскаго общества: верхъ, въ которомъ едва теплилась искра старой, почти совершенно сломленной политической оппозиціи, и низъ, въ которомъ быстро копился горючій матеріалъ, грозившій вспыхнуть соціальнымъ протестомъ. Оба элемента въ послѣднемъ счетѣ должны были оказаться несравненно слабѣе общественной середины, представлявшейся служилымъ классомъ московскаго государства. Однако, политическія обстоятельства сложились такъ, что на короткій промежутокъ дали перевѣсъ именно этимъ крайнимъ элементамъ надъ среднимъ.

Внѣшней причиной, совершенно случайнаго свойства, послужило при этомъ прекращеніе династіи. Внутренней причиной, въ которой не было ничего случайнаго, была та степень легкости, съ которой различныя общественныя группы могли мобилизовать свои силы, чтобы воспользоваться представившимися обстоятельствами. Наболѣе близко къ власти, выпавшей изъ привычныхъ рукъ, стоялъ классъ, только что перестававшій быть правящимъ,—боярство. Оно и попробовало первое—эксплуатировать наступившую смуту въ своихъ выгодахъ. Но оно было слишкомъ мало дисциплинировано, какъ классъ, и слишкомъ заинтересовано, въ лицѣ отдѣльныхъ своихъ представителей, въ разрѣшеніи династическаго вопроса въ пользу того или другого кандидата, чтобы имѣть возможность выиграть въ начавшейся борьбѣ, какъ классъ. Оно, притомъ, слишкомъ было разбито политикой Грознаго и, въ оставшихся своихъ обломкахъ, слишкомъ занято родословными счетами, чтобы представлять какую-нибудь дѣйствительную силу. Его единственнымъ орудіемъ была придворная интрига,—орудіе превосходное въ бо-

лѣе спокойное время, но совершенно непригодное въ тѣхъ трудныхъ обстоятельствахъ, въ которыхъ очутилось государство благодаря вмѣшательству въ смуту иностранныхъ враговъ и другихъ сословій. Расчеты боярства не разъ путала уже московская уличная толпа, всѣмъ не организованная—и сильная лишь пока стояла на площади. Немудрено, что толпа, организованная въ постоянное военное сообщество, какою были казаки съ присоединившимися къ нимъ бѣглецами и холопами, имѣла полную возможность овладѣть положеніемъ на болѣе или менѣе продолжительное время. Несчастіе этой группы состояло лишь въ томъ, что на другой день послѣ побѣды она не знала бы, что ей съ этой побѣдой дѣлать. Она годилась на роль кондотьеровъ; но воспользоваться ею такимъ образомъ, было некому, а для самостоятельной политической роли она не годилась. Союзъ ея съ бѣглецами окончательно оттолкнулъ отъ нея всѣ имущіе классы и былъ главнымъ стимуломъ, заставившимъ ихъ принять мѣры самообороны. Вѣрно или невѣрно,—но тогдашняя буржуазія была убѣждена, что казаки до самаго конца смуты остались при своемъ «первомъ зломъ совѣтѣ», обнаружившемся еще въ возстаніи Болотникова: что они хотятъ «бояръ и дворянъ и всякихъ чиновъ людей и земскихъ, и уѣздныхъ *лучшихъ* людей побить и имущества ихъ разграбить и завладѣть ими по своему воровскому казачьему обычаю». Этотъ призракъ соціального переворота въ самыхъ перѣшительныхъ долженъ былъ пробудить охоту дѣйствовать. Съорганизоваться для какого бы то ни было дѣйствія среднему классу было всѣхъ труднѣе: только крайняя нужда могла заставить его подняться, и только очень медленно онъ могъ стовориться и выступить на арену. Но разъ явившись въ роли активнаго элемента, онъ долженъ былъ поставить своей задачей возстановить тотъ прежній порядокъ, при которомъ ему жилось лучше, чѣмъ другимъ общественнымъ группамъ. По существу дѣла, это былъ, стало быть, элементъ консервативный. Его побѣда надъ послѣдней вспышкой политической оппозиціи (боярства) и надъ первымъ взрывомъ соціального протеста (казачества)—должна была очистить путь къ торжеству національной программы во внутренней политикѣ.

Очень часто говорятъ, слѣдую риторическому выраженію лѣтописца, что московское государство спасли «послѣдніе люди». Конечно, если разумѣть подъ «послѣдними людьми» зажиточное купечество, — какъ это дѣлали привычные къ родословнымъ счетамъ служилые москвичи, то въ эту категорію попадетъ и Кузьма Мининъ. Но тогда не надо забывать, что такимъ же «торговымъ мужикомъ», какъ Мининъ, былъ и его антиподъ, Федька Андроновъ, сторонникъ Владислава и Сигизмунда. Характерно, конечно, для того момента что люди этого слоя вообще могли получить голосъ въ общественныхъ дѣлахъ; несомнѣнно также, что *и они* нужны были всякому правительству, какъ плательщики и какъ сборщики податей,—и сильное правительство нужно было имъ.

для ихъ промышленныхъ предпріятій и торговыхъ оборотовъ. *Послы* служилыхъ людей они, дѣйствительно, были самымъ нужнымъ элементомъ: немудрено, что претенденты на власть старались имѣть на своей сторонѣ и тѣхъ и другихъ. Тѣ и другіе—и раскололись между разными претендентами, прежде чѣмъ время рѣшило, кто изъ нихъ окажется «прямымъ», а кто «кривымъ». «Вы бы безъ всякаго сомнѣнья собрались со всѣми людьми и шли къ намъ къ Москвѣ,—уговариваетъ царь Василій отпавшія отъ него области,—и службу бы свою и радѣнье совершили, а мы васъ пожалуемъ нашимъ великимъ жалованьемъ: васъ, помѣщиковъ и дѣтей боярскихъ, пожалуемъ большой денежной и помѣстной придачею, велмъ васъ испомѣститъ и наше жалованье дать. А васъ, посадскихъ и уѣздныхъ людей, пожалуемъ льготой на многіе годы: велмъ вамъ торговать безошлинно и во всемъ васъ отарханимъ, да и сверхъ того пожалуемъ нашимъ великимъ жалованьемъ, чего у васъ и въ разумѣ нѣтъ». Эта грамота чрезвычайно ярко показываетъ, на какіе элементы могло опереться правительство и чѣмъ оно могло вознаграждать ихъ за ихъ «службу». Былъ моментъ, когда «посадскіе и уѣздные люди», дѣйствительно, сослужили службу тому же Василю Шуйскому и *одни, безъ помощи служилыхъ, «помѣщиксъ и дѣтей боярскихъ»*. Это было въ тотъ моментъ, когда рядовое дворянство уѣхало отъ «боярскаго» царя—по домамъ или въ Тушино,—а за него сталъ организованный Скопинымъ изъ Новгорода дальній московскій сѣверъ. Тамъ, на этомъ сѣверѣ, никакихъ служилыхъ людей вовсе не было, а только и были посадскіе въ городахъ и черные крестьяне въ уѣздахъ. Когда эти «мужики» явились изъ своихъ сѣверныхъ палестинъ въ центральную Россію.—населеніе тутъ сильно «смутилось». Это были вѣдь настоящіе «послѣдніе люди» государства,—а въ центрѣ привыкли представлять себѣ такихъ послѣднихъ людей не иначе, какъ въ видѣ казаковъ и ихъ бѣглыхъ товарищей. Но ополченцы поспѣшили разсѣять эти страхи. «Вы смущаетесь потому,—писали они жителямъ города Романова,—что будто бы черные люди дворянъ и дѣтей боярскихъ побиваютъ и дома ихъ разоряютъ; а *здѣсь, господа, черные люди дворянъ и дѣтей боярскихъ чтятъ и позора имъ никакого нѣтъ*». Дѣйствительно, у этихъ поморовъ ничего не было общаго съ южно-русскимъ казачествомъ. Это были просто рекруты, поставленные своими волостями по приказу уѣздныхъ властей и содержавшіеся на счетъ мѣстныхъ государственныхъ сборовъ, отчасти спеціально для этого назначенныхъ. Посылая на помощь правительству этихъ рекрутъ, посадскіе люди исполняли обычную государственную повинность—не такъ охотно какъ всегда, такъ какъ они рисковали теперь попасть на службу не къ тому правительству, которое окажется законнымъ. Въ то самое время, какъ набирались мужицкія ополченія на сѣверѣ, устюжане писали, напр., сольвычегодцамъ: «пожалуйста, помыслите съ миромъ крѣпко и не спѣшите креста цѣловать: не угадать, на чемъ со-

вершится...; а если услышимъ, что Богъ пошлетъ гнѣвъ свой праведный на русскую землю, такъ еще до насъ далеко; успѣемъ съ повинной послать». И расчетъ оказался совершенно правильнымъ. Естественно, что къ концу смуты черносотенныя воюсты русскаго сѣвера, въ лицѣ своихъ посадскихъ руководителей, еще меньше обнаруживали охоты «спѣшить». Такимъ образомъ, *настоящіе* «последніе люди» русской земли приняли самое незначительное участіе въ развязкѣ смутнаго времени.

Главная роль принадлежала здѣсь, безъ сомнѣнія, служилому сословію. Если бы оно успѣло своевременно организоватья и во-время нашло бы себѣ кандидата, достаточно обезпечивающаго его интересы, то смута могла бы кончиться гораздо раньше, чѣмъ это случилось въ дѣйствительности. Задолго до того времени, когда служилое сословіе выработало себѣ, среди смуты, свой собственный представительный органъ, его общественная сила была понята, на него старались опереться, какъ на самый надежный элементъ, его именемъ начали дѣйствовать. Рядомъ съ нимъ ставилось, правда, имя посадскихъ людей, когда рѣчь заходила о голосѣ *всей* земли, но всѣ понимали при этомъ, что фактическимъ представителемъ «всей земли» явится, именно, служилое сословіе,—ратные люди. Когда города сносились съ городами,—это значило, что переписываются между собой ихъ оффиціальныя представители, т.-е., за исключеніемъ черносотеннаго сѣвера. «большіе дворяне». Когда шла рѣчь о «единомысленномъ земскомъ совѣтѣ», всякій зналъ, что и количественный, и качественный перевѣсъ будетъ имѣть на этомъ совѣтѣ голосъ служилаго сословія. Правда, въ идеѣ это былъ совѣтъ «всѣхъ чиновъ московскаго государства», но въ ряду этихъ «всѣхъ чиновъ» всевозможныя, даже самыя мелкія служилыя группы перечислялись самымъ точнымъ образомъ, тогда какъ тѣлое населеніе уѣздовъ лишь глухо упоминалось для стилистической полноты въ концѣ обычной формулы и фактически обыкновенно вовсе отсутствовало.

Это не значитъ, конечно, чтобы въ событіяхъ смуты не было мѣста болѣе горячимъ элементамъ и болѣе идеальнымъ побужденіямъ. То и другое, несомнѣнно, было и даже имѣло значительное вліяніе на то, какъ сложилась индивидуальная фізіономія событій. Но общій смыслъ ихъ былъ именно таковъ, какъ мы говорили,—и это очень хорошо чувствовали сами дѣйствующія лица громкихъ событій. Василія Шуйскаго свела съ престола народная сходка за Арбатскими воротами; а формулировала она свое дѣло въ слѣдующихъ корректныхъ выраженіяхъ: «дворяне и дѣти боярскія всѣхъ городовъ и гости, и торговые, и всякіе люди, и стрѣльцы, и казаки, и посадскіе и всѣхъ чиновъ люди всего московскаго государства, поговоря межъ себя... били челомъ ему государю всякіе люди, чтобы государь государство оставилъ». И дѣйствительно, если бы «дворяне» и т. д. не стояли за спиной построѣй московской толпы, то сверженіе Василія было бы немислимо. Точно также и Козьма Мининъ могъ быть правъ, вложивъ въ уста

преп. Сергія слова: «старѣйшіе на такое дѣло не пойдутъ, если не начнутъ юнѣйшіе»; и все-таки было бы странно объяснять успѣхъ ополченія Пожарскаго подъ Москвой тѣми чувствами, которыя Мининъ вдохнулъ въ нижегородскую молодежь.

Чѣмъ болѣе идея земскаго совѣта «всей земли» ставилась реальностью, тѣмъ отчетливѣе вырисовывалась та партійная программа, которую должно было принять будущее правительство изъ рукъ своихъ избирателей. Совершенно ясно сдѣлалось для выступившей на сцену общественной группы, еще въ періодъ, пока шла переписка между городами, что безусловно должны быть отброшены въ сторону интересы двухъ другихъ группъ: боярства и казачества. Раньше чѣмъ сойтись въ Ярославлѣ, городскія ополченія уже дали другъ другу письменныя обязательства—стоять заодно и противъ бояръ, и противъ казаковъ. Отстранивъ формально оба эти активные элемента смуты, служилыя городскія дружины просто игнорировали остальные «чины». Слово «вся рать» было для нихъ совершенно тождественно съ выраженіемъ: «вся земля».

Какъ такое положеніе отразилось на общественной программѣ служилого сословія, видно изъ обязательствъ, продиктованныхъ имъ своимъ избранникамъ: Владиславу въ договорѣ 17 августа 1610 г.; тріумвирату Трубецкого, Ляпунова и Заруцкаго—въ «приговорѣ» 30 іюня 1611 г.;—вѣроятно, также и Пожарскому и, наконецъ, самому Михаилу Феодоровичу. Первые два обязательства извѣстны; о послѣднихъ двухъ мы можемъ догадываться.

При каждой новой перемѣнѣ власти программа ратныхъ людей развивалась все полнѣе и послѣдовательнѣе. Основной принципъ ея,—именно тотъ, что голосъ служилыхъ людей изъ городовъ есть голосъ «всей земли» и что онъ долженъ быть выслушанъ во всѣхъ важнѣйшихъ государственныхъ вопросахъ,—этотъ принципъ былъ признанъ давно самими представителями власти. Не говоримъ уже о Борисѣ Годуновѣ, первомъ государственнымъ человѣкѣ, который повелъ сознательную политику покровительства служилому сословію. Но даже и боярскій избранникъ, Василій Шуйскій, пробовалъ опереться на всю служилую землю—и противъ боярской интриги, и противъ народной «крамолы». Въмѣсто присяги боярамъ, онъ попробовалъ всенародно присягнуть «всей землѣ»,—и вызвалъ этимъ сильнѣйшее раздраженіе своихъ избирателей. Зато, когда въ царскій дворецъ явилась взбунтовавшаяся толпа народа, тотъ же царь Василій сказалъ ей въ лицо, по словамъ летописи: «если хотите убить меня, я готовъ на смерть; но если желаете свергнуть меня съ престола—это невозможно вамъ сдѣлать безъ большихъ бояръ и дворянъ, безъ совѣта всей російской земли». И мы видѣли, что явившіеся, годъ спустя, низложить Василя ратные люди сдѣлали это отъ имени всѣхъ чиновъ московскаго государства. Низложивъ царя, побѣдители присягнули сами и заставили присягнуть русскую землю и назначенное ими временное правительство кн. Мсти-

славскаго въ томъ, что «выбрать государя на московское государство имъ боярамъ и всякимъ людямъ *всею землею... сославшись съ городами*». Что подъ «всякими людьми» и подъ «всею землею» ратвые люди разумѣли, главнымъ образомъ, себя самихъ, это они тотчасъ же и показали, не дождавшись, пока соберется полный соборъ, и вступивъ, безъ дальнихъ сношеній съ «землей», въ предварительные переговоры съ намѣченнымъ ими кандидатомъ, королевичемъ Владиславомъ. На свое временное правительство дворяне наложили единственное обязательство: «насъ всѣхъ праведнымъ судомъ судити». Вступая въ постоянное соглашеніе съ чужеземнымъ избранникомъ, они, напротивъ, сочли нужнымъ развить это обязательство въ цѣлую программу, послужившую предметомъ формальнаго договора. Вчеряѣ этотъ договоръ былъ написанъ подъ Смоленскомъ депутатами отъ дворянства, явившимися туда изъ Тушинскаго лагеря. Окончательно онъ былъ закрѣпленъ подъ Москвой и подписанъ Жолкѣвскимъ и боярскимъ правительствомъ. Последнее обстоятельство заставило изслѣдователей обратить особенное — и по нашему мнѣнію преувеличенное — вниманіе на тѣ немногія измѣненія, какія были въ немъ сдѣланы при окончательной редакціи. Предполагалось, что въ этихъ измѣненіяхъ особенно проявились боярскія тенденции договора. Въ дѣйствительности, и въ этой редакціи вліяніе дворянства имѣло рѣшающее значеніе. Не даромъ дворяне такъ ревниво слѣдили за переговорами временнаго правительства съ Жолкѣвскимъ и самолично являлись къ последнему цѣлыми толпами — до пятисотъ человекъ.

Если исключить тѣ пункты договора, которые касаются простаго возстановленія стараго правительственнаго порядка, а также тѣхъ, которые регулируютъ отношенія земли къ кандидату-иностранцу, его землякамъ и его государству, — т. е. пункты, вытекавшіе изъ особенныхъ условій момента и изъ личности кандидата въ цари — все остальное содержаніе договора съ Владиславомъ имѣетъ главною цѣлью охрану интересовъ служилаго сословія и боярства, *какъ его составной части*. Представители «всей земли» прежде всего заботятся о томъ, чтобы сохранить «жалованье денежное, оброки и помѣстья и вотчины, кто что имѣлъ до сѣхъ мѣсть» за служилымъ сословіемъ. Затѣмъ они хлопочутъ объ облегченіи своего податнаго бремени и диктуютъ Владиславу мѣру, впоследствии принятую въ интересахъ служилаго сословія Михаиломъ. Въ запустѣвшіе отъ войны уѣзды они требуютъ «послать описати и дозировать, много-ль чего убыло и доходы велѣтъ имати съ *живущаго* по описи и дозору, а на запустошенныя вотчины и помѣстья дать льготы, поговоря съ бояры» (см. «Очерки», ч. 1, 4-е изд. стр. 144). Наконецъ, они пользуются случаемъ закрѣпить за собой рабочій трудъ и проектируютъ мѣру, опять-таки осуществленную новою династіей. «Промежь себя крестьянамъ выходу не быть; боярамъ и дворянамъ и всѣмъ чинамъ держать крѣпостныхъ людей по прежнему обычаю, по крѣпостямъ»

(ср. объ этомъ «Очерки, ч 1, стр. 212 — 213). Всѣ существенные интересы служилыхъ людей были, такимъ образомъ, ограждены; имъ оставалось позаботиться лишь о томъ, чтобы и впредь, при нормальномъ теченіи государственной жизни ихъ голосъ былъ выслушанъ при всякой касающейся ихъ государственной реформѣ. Этого они не столько не съумѣли, сколько просто не сочли нужнымъ сдѣлать въ договорѣ съ Владиславомъ. Только относительно «праведнаго суда» они на этотъ разъ приняли болѣе опредѣленное и обязательное для правительства рѣшеніе «Суду быть и совершаться по прежнему обычаю и по судебнику; а если захотятъ въ чемъ пополнить для укрѣпленія судовъ, государю на то согласиться съ думою бояръ и *всей земли*, чтобъ было все праведно». Это единственный случай, когда предусмотрѣна въ договорѣ необходимость созыва земскаго собора. Надо прибавить, что это также—единственный случай, въ которомъ и новая династія все еще считала необходимымъ прибѣгать къ собору, когда вообще обращеніе ко «всей землѣ» давно уже вышло изъ моды. Очевидно, праведный судъ былъ слишкомъ насущной потребностью, неудовлетвореніе которой черезчуръ тяжело чувствовалось «всѣми чинами» московскаго государства. Всѣ остальные текущія дѣла служилое сословіе спокойно предоставило правительству, выговоривъ только для болѣе важныхъ дѣлъ необходимость совѣщаться съ «думными людьми». Сюда введено было и правило, установленное при выборѣ Шуйскаго: «не сыскавъ вины и не осудивши судомъ—*всѣми бояры*—никого не казнити и чести ни у кого не отнимати и въ заточенье не засылати, помѣстій и вотчинъ и дворовъ не отнимати», а также не распространять вины на родственниковъ преступника. Это было форменное отнятіе права, формально признаннаго *всей землей* за Иваномъ Грознымъ, когда тотъ принялся «выводить измѣну изъ каменной Москвы». Сюда же отнесено и еще одно важное правило, тоже фигурировавшее, по сообщенію одного иностранца, въ договорѣ Шуйскаго съ боярами: «доходы государскіе сбирати по прежнему, а сверхъ прежнихъ обычаевъ, *не поговоря съ бояры*, ни въ чемъ не прибавливати». Въ томъ и другомъ случаѣ, отдавая известную категорію дѣлъ въ вѣдѣніе боярской думы, служилое сословіе просто руководилось своей любимой мыслью, что такимъ образомъ оно возвращается къ «прежнему обычаю» и нисколько не думало, чтобы этимъ могло быть усилено боярство, какъ классъ. Единственная мѣра, принятая въ договорѣ прямо въ пользу боярства, была вызвана тѣмъ, что царемъ дѣлался иноземецъ: онъ обязывался, именно, «московскихъ княженецкихъ и боярскихъ родовъ пріѣзжими иноземцами въ отечествѣ и въ чести не тѣснить и не понижать». Но это обязательство вытекало само собой изъ того принятаго въ договорѣ принципа, по которому вообще рѣшено было «польскимъ и литовскимъ людямъ на Москвѣ ни у какихъ земскихъ расправныхъ дѣлъ и по городамъ въ воеводахъ не быть и городовъ въ намѣстничество польскимъ и литовскимъ лю-

дамъ не давать». Только путемъ такой раздачи высшихъ государственныхъ должностей и могли родовитые чужеземцы затѣснить московскіе боярскіе роды. Итакъ, единственная льгота, выговоренная договоромъ въ пользу боярства, вполне совпадала съ интересами самого служаго сословія, больше всего боявшагося за свои помѣстья и вотчины, «если въ городахъ будутъ распоряжаться чужеземцы». Дворянство, очевидно, имѣло нѣкоторое представленіе о томъ, что происходило по этой части въ самой Польшѣ. Въ Москвѣ по этому поводу происходили интересные политическіе разговоры между поляками и русскими. «Соединитесь съ нами, — говорили поляки, — и у васъ тоже будетъ свобода». «Вамъ дорога ваша свобода, — отвѣчали имъ на это русскіе, — а намъ наша неволя. У васъ не вольность, а своеволие: сильный грабитъ слабого, можетъ у него отнять имѣніе и самую жизнь, а найти на него судъ, по вашимъ законамъ, трудно: дѣло можетъ затянуться на цѣлые годы. Съ иного и ничего не возьмешь. У насъ, напротивъ, самый знатный бояринъ не властенъ обидѣть послѣдняго простолюдина; по первой жалобѣ царь творитъ судъ и расправу. А если самъ царь поступитъ неправосудно — его воля: отъ царя легче снести обиду, чѣмъ отъ своего брата; на то онъ нашъ общій владыка».

Можно спросить себя, слыша такія рѣчи: ужъ не осуществился ли въ самомъ дѣлѣ демократическо-монархическій идеалъ Ивашки Пересвѣтова? Или, можетъ быть, москвичи изъ патріотизма противопоставляли этотъ русскій идеалъ польской дѣйствительности, забывая упомянуть о русской? Какъ бы то ни было, очевидно, идеалъ проникъ таки въ сознаніе общества: это мы видѣли и раньше; это подтверждается и теперь хотя бы тѣмъ равнодушіемъ, съ которымъ дворянство предоставляло боярамъ — *при царѣ* — заботу о новыхъ налогахъ, о высшемъ уголовномъ судѣ и даже о провѣркѣ правъ самихъ служилыхъ людей на землю: «что кому прибавлено не по достоинству или убавлено безъ вины».

Безъ царя или, точнѣе, въ ожиданіи царя, расчетъ дворянъ оказался, однако же, совершенно невѣрнымъ. Не то, чтобы временное боярское правительство злоупотребило своей властью: напротивъ, все зло было въ томъ, что этой власти у него, въ отсутствіи «всей земли», оказалось слишкомъ мало, чтобы съ авторитетомъ противустать дальнѣйшимъ польскимъ притязаніямъ на Россію. Для Сигизмунда боярское правительство оказалось такимъ же неопаснымъ, какимъ считали его для самихъ себя московскіе служилые люди. Онъ скоро фальсифицировалъ его составъ, вводя въ него своихъ доброхотовъ; въ этомъ видѣ боярское правительство сдѣлалось игрушкой въ рукахъ Гонсѣвскаго. «Къ боярамъ ты ходилъ, — говорили послѣдному потомъ о его тогдашней дѣятельности въ думѣ, — челобитныя приносилъ; пришедши, сядешь, а возлѣ себя посадишь своихъ совѣтниковъ, а намъ и не слышать, что ты съ своими совѣтниками говоришь и переговариваешь; и

что по которой челобитной велишь сдѣлать. такъ и сдѣлаютъ, а подписываютъ челобитныя твои же совѣтники дѣяки». Проигрывала отъ этихъ порядковъ, дѣйствительно, служивая масса. такъ какъ «челобитными», на которыя диктовалъ свои резолюціи Гонсѣвскій — были, главнымъ образомъ, прошенія о пожалованіи земель—въ незаконномъ количествѣ или людямъ, вовсе не имѣвшимъ на то права. Кромѣ того, въ рукахъ поляковъ московское временное правительство собиралось нарушить наложенное на него обязательство «выбрать государя всей землей»; а вмѣстѣ съ тѣмъ подвергались вопросу и условія, на которыхъ служилое сословіе приглашало кандидата,—и даже самая личность кандидата.

Такимъ образомъ, служилому сословію — въ интересахъ своихъ и «всей земли» (что, въ данномъ случаѣ, было одно и то же)—пришлось создавать новое правительство. И если ратные люди на этотъ разъ постарались созданное ими правительство отдать *подъ постоянный уже контроль всей земли*, то не потому, чтобы они боялись силы сословія, только что обнаружившаго свое полное безсиліе, а потому, что обстоятельства требовали правительства дѣйствительно сильнаго. Такъ мы объясняемъ разницу въ содержаніи новаго договора ратныхъ людей съ Ляпуновымъ, Трубецкимъ и Заруцкимъ—въ сравненіи съ только-что разобраннымъ договоромъ съ Владиславомъ. Эти два договора не есть выраженіе политическихъ стремленій двухъ различныхъ общественныхъ слоевъ, а просто двѣ формулировки одной и той же политической программы, разница которыхъ вызвана необходимостью осуществлять старую программу при измѣнившихся политическихъ обстоятельствахъ.

Болѣе активное участіе служилыхъ людей въ новомъ правительствѣ Трубецкого съ товарищами выразилось, прежде всего, тѣмъ, что формальный договоръ съ ними (30 іюня 1611 г.) заключенъ былъ по прямому требованію дворянства и по настоянію представителя служилыхъ людей, Прокопія Ляпунова. Въ концѣ этого договора ратные люди, наученные опытомъ, выговорили себѣ право перемѣнить своихъ избранниковъ, въ случаѣ, если ихъ дѣятельность перестанетъ удовлетворять требованіямъ «всей земли». Что рѣшеніе дворянства равносильно рѣшенію всей земли, въ этомъ ни у кого не возникало никакихъ сомнѣній. Никакихъ принципиальныхъ вопросовъ государственнаго права, порѣшенныхъ договоромъ съ Владиславомъ, новый договоръ вновь не возбуждаетъ: «вся земля» продолжаетъ, очевидно, держаться разъ выработанныхъ ею условій: она пока не отказывается еще формально и отъ разъ намѣченнаго ею кандидата. Но одинъ изъ капитальныхъ пунктовъ договора съ Владиславомъ получаетъ въ приговорѣ 30 іюня новую редакцію: избранные землей воеводы обязуются «не объявля *всей землѣ* (не однимъ боярамъ). смертной казни никому не дѣлать и по городамъ не ссылатъ». Затѣмъ, все остальное содержаніе договора относится къ прекращенію того хищническаго разграбленія служилыхъ земель, которое санкціонировалось московскимъ временнымъ правительствомъ и при по-

мощи котораго Сигизмундъ старался наwerbenъ себѣ свою партію среди московскихъ служилыхъ людей. Любопытно, что, кассируя всѣ такія распоряженія московскаго правительства, ратные люди крайне снисходительно относятся къ своимъ собратьямъ, попользовавшимся отъ польскихъ щедротъ. Такъ какъ для нихъ государство—это они, то имъ не приходится различать между собой «прямыхъ и кривыхъ». И тѣ, что были въ Тушинѣ, и тѣ, что были въ Калугѣ (со вторымъ самозванцемъ), и служившіе царю Василью, и присягнувшіе Владиславу, и даже подслуживающіеся Сигизмунду,—въ случаѣ, если во время отстануть отъ своего покровителя, всѣ они члены одного сословія, всѣ имѣютъ право на свою долю въ служилой землѣ. Все дѣло лишь въ томъ, чтобъ однихъ не обдѣлить, другимъ не дать лишняго: въ этомъ главная забота и главный интересъ класса, диктовавшаго приговоръ 30 іюня. Не касаясь, какъ мы уже сказали, принципиальныхъ вопросовъ будущаго государственнаго устройства, не повторяя даже и разъ даннаго обязательства—добиваться избранія государя всей землей, приговоръ всецѣло погруженъ въ детальнѣйшія мѣропріятія по регулированію служилаго землевладѣнія. Наблюденіе за службой и за вознагражденіемъ ея будетъ сосредоточено въ центральныхъ вѣдомствахъ, въ главномъ изъ нихъ будетъ посаженъ выѣбранный всей землей «дворянинъ изъ большихъ дворянъ». Всѣ захваченные служилыми людьми лишки будутъ возвращены въ казну, всѣ нуждающіеся и разоренные дворяне надѣлены. Бѣглецы въ городъ и къ другимъ помѣщикамъ крестьяне будутъ возвращены старымъ владѣльцамъ (объ этомъ болѣе мѣстѣ своего тогдашняго хозяйства дворяне не могутъ забыть и въ критическій моментъ). Таковы всѣ существенныя постановленія приговора. То, чего въ немъ не оказалось, должно, очевидно, было считаться регулируемымъ предъидущими постановленіями.

Только ставъ на эту точку зрѣнія.—что приговоръ 30 іюня не *отмѣняетъ, а дополняетъ* прежнія обязательства, взятые на себя «всей землей», мы составимъ себѣ правильное понятіе о его значеніи. Ново въ немъ то, что «вся земля» съ этихъ поръ считаетъ необходимымъ оставаться ея регманенте при ратномъ ополченіи, въ качествѣ постояннаго «земскаго совѣта». Цѣли остаются старыя; но старое средство, боярское представительство земли, оказалось недостаточнымъ: оно и замѣняется съ этихъ поръ новымъ непосредственнымъ представительствомъ самого служилаго сословія. Силою обстоятельствъ на мѣсто боярской думы выдвигается земскій соборъ.

Мы имѣемъ основанія думать, что договоръ перваго земскаго ополченія съ Трубецкимъ сохранилъ свою обязательность и для преемниковъ обѣихъ сторонъ: для втораго земскаго ополченія съ Пожарскимъ. Если даже онъ и не былъ возобновленъ формально *), то вѣдь и на-

*) На формальный актъ «выбора», необходимо сопровождавшійся и письменнымъ документомъ, «приговоромъ», указываетъ торжественный титулъ Пожар-

добности въ такомъ возобновленіи не было. «Вся земля», разошедшаяся изъ-подъ Москвы послѣ убійства Ляпунова—это была та же самая земля, которая вновь пришла подъ Москву съ Пожарскимъ. А «перемѣнить» своихъ бояръ и воеводъ «вся земля» предоставила себѣ право еще въ договорѣ 30 іюня. Новый представитель земли началъ съ того, что возобновилъ въ памяти всей земли старую, данную ею присягу: «совѣтовать со всякими людьми общимъ совѣтомъ, чтобъ по совѣту всего государства выбрать общимъ совѣтомъ государя». Онъ распорядился также и о созывѣ «всякихъ чиновъ людей для земскаго совѣта вскорѣ». Собравшійся такимъ образомъ—впервые въ такомъ полномъ составѣ—земскій соборъ вступилъ во всѣ функціи, предусмотрѣнныя договоромъ ратвыхъ людей съ Трубецкимъ. Онъ, напри- мѣръ, принялся отбирать дворцовыя земли, расхвачанныя служилыми людьми при помощи временнаго московскаго правительства: это прямо было предусмотрѣно договоромъ съ Трубецкимъ. Когда произошло покушеніе на жизнь Пожарскаго, преступниковъ пытала «*вся рать и посадскіе люди*», и «разослали ихъ по городамъ и темницамъ землю», т.-е. было исполнено указанное выше условіе договора: «не объявляя всей землѣ, смертной казни никому не дѣлать и по городамъ не ссылатъ».

Какъ долго дѣйствовалъ новый «земскій совѣтъ» съ правами, предоставленными ему договоромъ съ Трубецкимъ или перешедшими къ нему отъ временнаго боярскаго правительства, роль котораго онъ поневолѣ долженъ былъ на себя взять? Былъ ли такой моментъ, когда эти функціи сняты были съ него формально и когда онъ вошелъ въ скромныя рамки дѣятельности обыкновеннаго земскаго собора? Эти вопросы прямо приводятъ насъ къ разъясненію одного пункта, до сихъ поръ остающагося спорнымъ. Рѣчь идетъ о взаимныхъ отношеніяхъ, какія установились между этимъ самымъ земскимъ соборомъ—и первымъ царемъ новой династіи.

Отвѣтъ, который мы даемъ на этотъ вопросъ, прямо вытекаетъ изъ всего нашего взгляда на значеніе предыдущихъ соглашеній «всей земли» съ мѣнявшимися представителями власти и кандидатами на престолъ. Исслѣдователи напрасно, какъ намъ кажется, рассматривали каждое изъ этихъ соглашеній совершенно отдѣльно отъ другихъ или, когда приводили ихъ въ связь, то старались отыскать въ каждомъ выраженіе интересовъ какого-нибудь особаго общественнаго слоя. Если рассматривать всѣ эти заявленія въ связи, какъ рядъ постоянно приспособлявшихся къ обстоятельствамъ заявленій отъ имени «всей земли» одного и того же сословія,—все болѣе сильнаго, по мѣрѣ того какъ оно все болѣе оказывалось организованнымъ,—тогда отвѣтъ на поставленный вопросъ станетъ ясенъ самъ собой.

скаго: «по избранью всѣхъ чиновъ людей россійскаго государства—у ратныхъ и у земскихъ дѣлъ стольникъ и воевода Дмитрій Пожарскій съ товарищи» Это—буквальное повтореніе вступительныхъ выраженій договора съ Трубецкимъ

Уже по тому количеству свѣдѣній о соглашеніи Михаила Теодоровича со всей землей, какое дошло до насъ, и по разнообразію источниковъ изъ которыхъ идутъ однородныя показанія,—мы можемъ заключить, что фактъ этотъ не выдуманъ. Еще больше убѣдимся въ этомъ, если разберемъ содержаніе этихъ показаній.

Самое обстоятельное изъ нихъ принадлежитъ современнику Петра Великаго, Фокеродту — наблюдателю, которому нельзя отказать ни въ умѣ, ни въ освѣдомленности. По его словамъ, «вельможи составили изъ себя родъ сената, который они назвали соборомъ и въ которомъ засѣдали и имѣли голосъ не только бояре, но также и всѣ другія лица, занимавшія высокія государственныя должности (*welche in hohen Reichsbedienungen stunden*). Они приняли единодушное рѣшеніе—не выбирать въ цари никого, кто не обѣщаетъ имъ клятвенно: предоставить полный ходъ правосудію по старымъ законамъ страны; никого не судить и не осуждать высочайшей властью; безъ согласія собора не вводить никакихъ новыхъ законовъ, не отягчать подданныхъ новыми налогами и не принимать самомалѣйшихъ рѣшеній въ ратныхъ и земскихъ дѣлахъ (*in Kriegs—und Friedensgeschäften*). Чтобы крѣпче связать новаго царя этими условіями, они рѣшили не избирать своимъ властелиномъ никого, кто принадлежалъ бы къ вліятельной фамиліи и имѣлъ бы много приверженцевъ, съ помощью которыхъ могъ бы нарушить предписанные ему законы и вернуть себѣ снова верховную власть... Царь Михаилъ подписалъ эти условія безъ колебаній, и въ теченіе нѣкотораго времени правленіе велось предписаннымъ образомъ».

За исключеніемъ извѣстія о выборѣ «фамиліи», къ которой долженъ былъ принадлежать избираемый государь,—въ сообщеніи Фокеродта нѣтъ ничего для насъ новаго. Изложенныя имъ условія—тѣ же самыя, какія предлагались Владиславу, только съ замѣной боярской думы соборомъ, съ участіемъ «не однихъ бояръ», но также и другихъ лицъ. Такая перемѣна, дѣйствительно, была сдѣлана въ условіяхъ, какъ намъ извѣстно изъ договора дворянства съ Трубецкимъ. Мы не знаемъ, возобновленъ ли былъ этотъ договоръ формально съ Пожарскимъ, но если даже не было новаго соглашенія, то намъ остается только принять, что оставалось въ силѣ старое, такъ какъ мы видѣли выше, что Пожарскій считалъ себя связаннымъ нѣкоторыми и притомъ важнѣйшими постановленіями стараго договора. Фокеродтъ нѣсколько смутно изобразилъ то учрежденіе, въ пользу котораго вводились ограниченія власти; но даже и въ этомъ случаѣ онъ оставался вѣренъ истинѣ. Мы знаемъ, что «ратный совѣтъ» при ополченіяхъ, договаривавшійся съ вождями этихъ ополченій, дѣйствительно, пересталъ походить на думу, не пріобрѣтя еще, между тѣмъ, характера полнаго земскаго собора. Въ немъ, въ самомъ дѣлѣ, были «не одни бояре», но и «всѣ чины» присутствовали пока лишь на бумагѣ. Не менѣе

вѣрно и очень важно въ разсказѣ Фокеродта—то, что онъ представляетъ условія выработанными заранѣе, до опредѣленія личности кандидата. Такъ и должно было быть. если условія, предложенныя Михаилу, были тѣ же самыя, какія предложены раньше Владиславу и изменены потомъ тѣмъ фактомъ, что вмѣсто московскаго боярскаго правительства событія выдвинули органъ «всей земли», замѣнившій бояръ въ ихъ правахъ и обязанностяхъ. Такимъ образомъ, свидѣтельство Фокеродта во всѣхъ своихъ оттѣнкахъ соответствуетъ исторической обстановкѣ того момента, къ которому относится. Напротивъ, въ памяти русскихъ людей—уже въ XVII столѣтіи—событіе приняло одностороннюю и невѣрную окраску, вызвавшую совершенно справедливыя сомнѣнія изслѣдователей. Напрасно только, вмѣсто того, чтобы усомниться въ *оцѣнкѣ* факта русскими источниками, эти изслѣдователи усумнились въ *самомъ фактѣ*. Такъ, какъ передаютъ фактъ псковская лѣтопись и Котошихинъ, — это выходитъ повтореніе исторіи съ царемъ Шуйскимъ: бояре обязали царя безъ суда и вины никого не казнить и безъ боярскаго совѣта ничего не дѣлать. Конечно, какъ стояли дѣла въ моментъ избранія новаго царя,—бояре были безсильны и не могли наложить никакихъ обязательствъ: они сами, наравнѣ съ казаками, сдѣлались, какъ мы видѣли, предметомъ вражды всей земли, всемогущей тогда въ лицѣ своей рати и своихъ представителей на земскомъ соборѣ.

Роль земскаго собора въ послѣдніе мѣсяцы смуты и въ первые девять лѣтъ царствованія Михаила Ѳеодоровича окончательно убѣждаютъ насъ въ правильности нашего пониманія дѣла. Какъ извѣстно, роль эта была совершенно исключительная. Соборъ превратился на это время изъ учрежденія, созывавшагося въ *исключительныхъ* случаяхъ для подачи *совѣщательнаго* голоса по *тѣмъ только* вопросамъ, съ которыми обращалась къ нему власть,—въ постоянное учрежденіе, засѣдавшее непрерывно, съ постояннымъ составомъ депутатовъ, перемѣнявшихся по трехлѣтіямъ, съ широкимъ кругомъ дѣлъ не только законодательнаго и учредительнаго, но и чисто распорядительнаго характера. Это учрежденіе непосредственно отъ своего имени сносилось съ областной администраціей. Словомъ, въ тогдашнихъ экстренныхъ обстоятельствахъ, оно, дѣйствительно, вѣдало «самомалѣйшія (*die allergeringsten*) дѣла войны и мира». Обычная московская формула закона и указа: «государь указалъ, а бояре приговорили», смѣнилась на время другою: «мы, великій государь говорили и совѣтовали на соборѣ, а всѣхъ великихъ російскихъ государствъ (или «городовъ») ратные и выборные и всякіе люди приговорили». Въ особенно важныхъ случаяхъ, «чтобы вамъ (землѣ) наше (депутатское) обѣщаніе было вѣдомо», всякихъ чиновъ люди даже прикладывали свои руки къ такимъ «государевымъ указамъ и всей земли приговорамъ».

И въ другомъ своемъ сообщеніи Фокеродтъ оказывается совершенно правъ: дѣйствительно, только что описанный порядокъ дѣйстви-

вагъ очень недолго, — только «до тѣхъ поръ, пока не вернулся изъ польскаго плѣна отецъ государевъ Филаретъ». Въ 1619 г. онъ пріѣхалъ въ Москву, въ 1622 г. кончилась очередная (третья) сессія постоянного земскаго собора, та самая, при участіи которой Филаретъ выполнилъ одно изъ важнѣйшихъ обязательствъ, возлагавшихся на Владислава, — привести въ извѣстность потери служилыхъ людей въ разоренныхъ смутой мѣстностяхъ и дать имъ податныя льготы. Послѣ того Филаретъ пересталъ созывать новыхъ депутатовъ. Даже польскую войну онъ началъ, десять лѣтъ спустя, не спросившись «всей земли». Но война затянулась и потребовала дополнительныхъ военныхъ расходовъ, не предусмотрѣнныхъ раньше: необходимо было обязать всю землю обложить себя новымъ налогомъ, — и земскій соборъ опять появился на сцену (въ 1633 и 1634). Таже исторія повторилась черезъ три-четыре года. Опять правительство попробовало обойтись безъ помощи собора, опять это не удалось, и пришлось созвать соборъ для назначенія всей землей новаго налога и новаго набора. Но даже изъ формально обѣщанныхъ депутатами денегъ удалось собрать немногимъ больше половины оклада; можно себѣ представить, къ чему приводило взиманіе денегъ и рекрутъ собственными силами правительства и для чего, слѣдовательно, необходимъ еще былъ правительству соборъ. Наученная горькимъ опытомъ, власть уже серьезнѣе отнеслась къ вопросу, воевать или не воевать, когда этотъ вопросъ вновь представился по поводу взятія казаками Азова (1642). «Чины» всей земли были на этотъ разъ собраны въ особенной полнотѣ и ихъ мнѣнія отбирались особенно тщательно и детально, «на письмѣ». Правительство спрашивало: разрывать ли съ турецкимъ и крымскимъ царемъ, и если разрывать, откуда взять средства для войны, которая можетъ оказаться очень продолжительной? Депутаты — преимущественно тѣхъ слоевъ общества, отъ которыхъ и зависѣла исправность платежей, отвѣчали, что они платить не могутъ и Азовъ былъ очищенъ. Въ послѣдній разъ «вся земля» рѣшила вопросъ о войнѣ и мирѣ, и въ первый разъ въ голосъ всей земли послышалась новая нота. «Пуще турецкихъ и крымскихъ бусурманъ мы разорены отъ московской волокиты и отъ неправедныхъ судовъ», говорили, представители городского дворянства. «Наша братья», городовые дворяне идутъ въ Москву въ чиновники («къ государевымъ дѣламъ»); служа въ приказахъ и по областному управленію, они наживаются, а военная служба страдаетъ. Дворовые люди государя тоже занимаютъ выгодныя должности по управленію дворцовыми имуществами, а полковой службы не служатъ. Дьяки и подьячіе, находясь постоянно «у государевыхъ дѣлъ», берутъ взятки и наживаются себѣ такія «неудобьсказаемыя палаты», какихъ при прежнихъ государяхъ не было и у «великородныхъ» людей. Торговые люди прибавляли къ этому, что они страдаютъ отъ воеводъ: «при прежнихъ государяхъ въ городахъ вѣдали губные ста-

росты, а посадскіе люди судились сами промежь себя, а воеводъ въ городахъ не было: посылались они только въ окраинные города съ ратными людьми для береженья отъ тѣхъ же турецкихъ и крымскихъ и нагайскихъ людей». Наконецъ, и мелкіе тяглецы московскихъ черныхъ слободъ жаловались, что государство запрягло ихъ на службы,— въ цѣловальники по приказамъ, въ «ярыжные», въ пожарный обозъ при московской полиціи. Смыслъ всѣхъ этихъ крупныхъ и мелкихъ неудовольствій былъ одинъ и тотъ же. Въ тотъ моментъ, когда «вся земля» непосредственнымъ личнымъ усиліемъ отдѣлалась отъ бояръ и отъ казаковъ, когда она думала подъ наблюденіемъ своихъ депутатовъ возстановить «прежніе обычаи» московскаго государства, передъ ней обрисовалось не новое по существу, но новое по размѣрамъ зло, которое, притомъ, слишкомъ тѣсно было связано съ тѣмъ самымъ благомъ, къ которому земля стремилась,—съ упорядоченіемъ государства. Противъ этого неожиданнаго врага «земля», въ свою очередь, оказывалась безсильной.

Дѣло въ томъ, что необходимость въ постоянномъ земскомъ соборѣ вызывалась полнымъ разрушеніемъ управленія и отсутствіемъ правильной администраціи. Естественно, что реорганизація управленія была первой мѣрой, которую долженъ былъ принять государевъ отецъ, начавши «вновь строить государство». Онъ принялся за выполненіе этой задачи со свойственной ему энергіей и умѣніемъ. Результатомъ его усилій былъ тотъ строго-бюрократическій строй, который, безъ сомнѣнія, приводилъ въ порядокъ государственныя дѣла, но въ то же время избавлялъ власть отъ необходимости справляться при всякомъ важномъ случаѣ съ настроеніемъ «всѣхъ чиновъ». Вновь налаженный порядокъ управленія отдавалъ государство въ руки всемогущей бюрократіи, надъ злоупотребленіями которой никакой дѣйствительный контроль былъ невозможенъ.

Такимъ образомъ и произошло, что то же самое сословіе, которое за нѣсколько лѣтъ раньше законодательствовало и распоряжалось отъ своего собственнаго имени, въ ближайшій слѣдующій моментъ поставлено было въ необходимость изливать передъ властью свои безсильныя жалобы. Но какъ же могло оно само допустить такую невыгодную для себя перемѣну?

Отвѣтъ мы найдемъ въ извѣстныхъ намъ уже отчасти взглядахъ самого служилаго сословія на ту роль, которая выпала ему на долю въ событіяхъ смутнаго времени. Оно представляло себѣ эту роль временной и чрезвычайной. Оно и не хотѣло вовсе своимъ договоромъ съ избравшимися имъ представителями власти устанавливать новаго государственнаго порядка. Оно видѣло въ этомъ только кратчайшій путь къ возстановленію «прежняго обычая». Его единственной цѣлью было, «чтобы російское государство послѣ московскаго разоренія впредь безгосударно не было». Оно боялось, такимъ образомъ, не излишества власти, а недостаточности власти и противъ этого принимало

свои мѣры. Вотъ почему, вмѣсто того, чтобы организовать надъ властью правильный контроль и позаботиться о дѣйствительности такого контроля, оно не побоялось само стать правительствомъ, чтобы помочь минутной слабости власти; а когда эта минута прошла, оно сразу—и безъ всякаго протеста—потеряло и участіе въ правительствѣ, и возможность контроля. Съ своей точки зрѣнія, оно даже еще слишкомъ долго засидѣлось въ правительствѣ: на свои депутатскія полномочія оно всегда смотрѣло, какъ на непріятную повинность, къ отбыванію которой надо приступать какъ можно позже и отбывать ее какъ можно скорѣй. Ни вкуса, ни потребности во власти не развили въ служиломъ сословіи эти нѣсколько лѣтъ постоянныхъ мытарствъ по ополченіямъ и соборамъ. Болѣе ловкіе члены сословія воспользовались близостью ко двору и правительству, чтобы устроиться «у государевыхъ дѣлъ». Масса стремилась использовать плоды своего короткаго участія во власти у себя дома, въ деревнѣ. Обезпечить за своимъ сословіемъ, какъ цѣлымъ, политическую власть въ будущемъ не приходило въ голову ни тѣмъ, ни другимъ. Для этого въ сословіи было слишкомъ мало организованности и политическаго смысла. Его политическіе взгляды, въ огромномъ большинствѣ, совпадали съ тѣми, которые намъ извѣстны изъ разговора поляка съ русскимъ въ Москвѣ (стр. 81).

Все это приводитъ насъ къ заключенію, что въ сознаніи господствовавшего сословія того времени мы не найдемъ элементовъ оппозиціи и критики. Содержаніе этого сознанія исчерпывается извѣстными намъ націоналистическими идеологіями. Чтобы найти элементы критики въ XVII ст., надо обращаться не къ классовой борьбѣ, какъ это мы дѣлали по поводу XV и XVI ст. Мы найдемъ эти элементы въ самой бюрократіи, въ вызванномъ ею дѣятельностью приливѣ иноземныхъ идей.

Данныя о побѣдѣ націоналистическихъ идеологій см. въ цитированныхъ раньше книгахъ М. А. Дьяконова и И. Жданова, а также въ «Главныхъ теченіяхъ русской исторической мысли» автора «Очерковъ». Новѣйшее изложеніе событій смутнаго времени съ точки зрѣнія классовой борьбы принадлежитъ С. Ѡ. Платонову: см. его «Очерки по исторіи смуты». Спб. 1899. Въ предыдущей литературѣ идея постепеннаго выступленія различныхъ общественныхъ слоевъ, какъ причины продолжительности смуты, съ особенной яркостью развита В. О. Ключевскимъ въ его «Боярской думѣ», гл. XVIII. Ср. также его «Краткое пособіе по русской исторіи». М. 1899. Въ текстѣ мы старались мотивировать наши собственные отклоненія отъ взглядовъ обоихъ изслѣдователей. Текстъ договора съ Владиславомъ напечатанъ въ «Собраніи государственныхъ грамотъ и договоровъ», т. II, № 200. Текстъ приговора 30-го іюня см. въ «Исторіи» Карамзина, т. XII, примѣчаніе 793. Сочиненіе Фокеродта издано Ф. Германномъ въ книжкѣ: «Russland unter Peter dem Grossen». Lpz. 1872; русскій переводъ см. въ «Чтеніяхъ Общества Исторіи и Древностей», 1874 г., кв. II. Политическій разговоръ поляка съ русскимъ въ Москвѣ рассказанъ въ дневникѣ Масквеча, см. «Сказанія современниковъ о Димитріи Самозванцѣ», изд. 3-е, ч. II. Спб. 1859. Фактическія данныя о земскихъ соборахъ подобраны въ сочиненіи В. Н. Ламкина: «Земскіе соборы древней Руси», Спб. 1885. Показанія разныхъ чиновъ людей на соборѣ 1642 г. см. въ «Собраніи грамотъ и договоровъ», т. III, № 113.

Происхождение націоналистической традиции, какъ первый продуктъ дѣйствія иноземныхъ факторовъ.—Вторженіе иноземныхъ элементовъ въ обстановку домашней жизни, во времяпрепровожденіе. — Болѣе глубокое вліяніе—при помощи непосредственнаго сближенія съ иностранцами.—Русскіе за границей: стипендіаты и послы.—Иностранная колонія въ Москвѣ.—Внѣшняя исторія Нѣмецкой слободы.—Ея составъ по профессіямъ, и вѣроисповѣданіямъ.—Перекресты.—Вліяніе иноземной литературы: учителя языковъ, библіотеки, переводы.—Національная реакція противъ иностранцевъ и иностраннаго вліянія. — Стихійная реакція народной массы. Планомѣрная реакція правительства: принятія имъ мѣры противъ иностранцевъ.—Первая систематическая теорія русскаго націонализма, представленная Юріемъ Крижаничемъ.—Его резюме культурнаго положенія Россіи во второй половинѣ XVII вѣка.—Средства борьбы противъ иностраннаго вліянія въ торговлѣ, въ войскахъ.—Контрастъ въ области быта и золотая середина. — Преимущества монархическаго строя, необходимость смягченія «крутого владѣнія».—Взглядъ на обязанности государя.—Поднятіе производительныхъ силъ, какъ главная черта положительной программы.—Проектъ сословныхъ вольностей.—Отношеніе положительной программы націонализма къ программѣ реформы.

Русскіе націоналисты всегда считали XVII в. эпохой самаго полнаго расцвѣта національныхъ идеаловъ. Русскіе западники видѣли въ томъ же самомъ столѣтій періодъ подготовки петровской реформы, т.-е. европеизаціи Россіи. То и другое—одинаково вѣрно. Мы видимъ въ этихъ двухъ утвержденіяхъ не два противорѣчивыхъ положенія, исключая другъ друга, а двѣ стороны одной и той же истины, тѣснѣйшимъ образомъ связанныя другъ съ другомъ. Въ XVII в., дѣйствительно, первые косые лучи европейскаго просвѣщенія начали золотить верхушки русскаго общества. Голые, сѣрые стволы, на которыхъ пышно распускались эти верхушки, дали длинныя тѣни. Эти тѣни—неразлучныя со свѣтомъ—и есть отраженіе въ общественномъ сознаніи національной своеобразности.

Сравненіе, взятое изъ практики любителя-фотографа, можетъ быть, еще лучше пояснить нашу мысль. Фотографическая пластинка, уже воспринявшая изображеніе, полная фигуръ и образовъ, тѣней и свѣта, на видъ остается такой же чистой и гладкой, какою была раньше. Но стоитъ погрузить ее въ извѣстный химическій растворъ, чтобы ея внутреннее содержаніе тотчасъ начало проявляться. Прежде всего, покры-

вается густой черной тѣнью небо и даль. На этомъ фонѣ рѣзко выступаютъ бѣлые силуэты перваго плана, пока вичѣмъ не наполненные. Но вотъ тамъ и сямъ на бѣлыхъ мѣстахъ начинаютъ выступать рѣзкіе черные штрихи; за ними появляются полутоны и, наконецъ все сливается въ одну цѣльную картину. Картина была, собственно, готова до своего «проявленія» въ растворѣ. Но всякій фотографъ знаетъ, что не только необходимъ «проявитель» для обнаруженія картины, но что, до извѣстной степени, можно повліять на распредѣленіе свѣта и тѣней въ картинѣ, видоизмѣняя составъ раствора.

Иностранное вліяніе обыкновенно играетъ роль такого «проявителя» созданной исторіей картины—даннаго національнаго типа. Раньше чѣмъ началъ дѣйствовать этотъ реактивъ, нація такъ же мало сознаетъ свою національность, какъ герой Мольера признавалъ, что онъ говоритъ прозой. Въ общественной, какъ и въ индивидуальной психикѣ, сознание является результатомъ контраста. Тамъ, гдѣ контрастъ можетъ скорѣе и легче обнаружиться (напр. въ небольшихъ племенныхъ группахъ, среди смѣшаннаго населенія, въ пограничныхъ мѣстностяхъ и т. п.), тамъ и сознание національныхъ отличій является скорѣе и принимаетъ болѣе острыя формы. Напротивъ, въ такой странѣ, какъ Россія, національное самосознание должно было развиваться поздно и медленно и, даже развившись, часто имѣло характеръ не инстинкта, а отвлеченной идеи—у руководителей массы, характеръ пароксизма, а не постоянно дѣйствующаго фактора,—у самой этой массы.

И въ самой послѣдовательности развитія національнаго сознанія можно найти въкоторую параллель съ приведеннымъ нами фотографическимъ примѣромъ. Тутъ тоже есть своя рѣзкая разница между чернымъ фономъ чужой національности и бѣлымъ контуромъ собственной,—разница, которая отмѣчается въ сознаніи прежде всего. Такой разграничительной чертой для національнаго сознанія является обыкновенно вѣроисповѣдная форма. Вѣра въ социологіи—совсѣмъ не то, что въ богословіи: не совокупность откровенныхъ истинъ, обыкновенно мало извѣстныхъ и даже мало доступныхъ массамъ, а всѣмъ извѣстное, доступное и понятное знамя, вокругъ котораго сосредоточивается борьба за національныя особенности. Естественно, что при такомъ пониманіи—вѣра и національность становились понятіями тождественными, нераздѣльными другъ отъ друга. Тотъ, кто стоялъ «за вѣру», тѣмъ самымъ стоялъ за національность, замѣняя только первымъ, болѣе нагляднымъ понятіемъ, второе, болѣе отвлеченное. Безъ сомнѣнія, такой именно смыслъ имѣли всѣ подобныя заявленія людей смутнаго времени—этого перваго пароксизма національнаго самосознанія, первой широкой популяризаціи контраста между своимъ и чужимъ. Перемѣнить вѣру—это было такъ же физически невозможно, какъ перемѣнить «натуру». Русскій человѣкъ становился втупикъ передъ такимъ, напр., явленіемъ, какъ превращеніе русскаго молодца, посланнаго Годуновымъ за гра-

ницу учиться языкамъ, въ англиканскаго пастора. Онъ просто не хотѣлъ повѣрить въ самую возможность подобнаго превращенія. Онъ допускалъ, что англичане силой принудили русскаго стипендіата переимѣнить вѣру, готовъ былъ даже допустить, что тотъ «съ молодости попрельстился»; но чтобы онъ добровольно отказался вернуться на родину, — нѣтъ: «недостаточное то дѣло — православныя вѣры отбыть и природнаго государства и государя своего и отцовъ и матерей своихъ и роду и племени забыть». «А своей природы какъ забыть», спрашивали русскіе послы англійское правительство — и лѣтъ двадцать настаивали на возвращеніи въ Россію ея блуднаго сына.

Но какое же національное содержаніе скрывалось подъ этимъ вѣроисповѣднымъ символомъ? Какія отдѣльныя черты соединены были эгою общей скобкой — бѣлаго вѣроисповѣднаго контура? И когда начали «проявляться» въ сознаніи отдѣльныя черты, заполнявшія контуръ?

Чтобы привести въ сознаніе содержимое символа, нужно было дальнѣйшее дѣйствіе нашего «проявителя». Нравы, бытъ, тѣ или другія черты жизни, обстановки, характера — только тогда могли быть поняты какъ специфически-національныя, когда рядомъ съ ними стали параллельныя и въ то же время контрастирующія черты чуждыхъ нравовъ, чужого быта. А это случилось — въ сколько-нибудь значительныхъ размѣрахъ — только въ XVIII столѣтіи. Вотъ почему наполненіе голыхъ вѣроисповѣдныхъ контуровъ національнаго самосознанія живыми чертами быта и могло быть дѣломъ только XVII столѣтія. Естественно, что бытъ и запечатлѣлся въ національномъ сознаніи именно въ той самой формѣ, въ которую онъ сложился въ моментъ своего «проявленія», въ XVII вѣкѣ. Не все, конечно, въ этомъ бытѣ, только что достигшемъ тогда высшей точки своего развитія и только что начинавшемъ отживать свое время — не все въ немъ было безусловно самобытно и національно. Напротивъ, за все предыдущее время, когда еще не сложилось, по контрасту, понятіе о національномъ типѣ быта — не мало отдѣльныхъ чертъ чужого быта успѣли контрабандой проскользнуть въ составъ національнаго типа и получили въ немъ теперь національную санкцію. За «свое» пошло не мало чужаго, но заимствованнаго раньше, въ періодъ бессознательнаго развитія національности. Отдѣляя это чужое, принятое за свое, отъ чужаго, сохранившаго на себѣ въ общемъ сознаніи свое привозное клеймо, мы въ каждой отдѣльной области жизни могли бы точно опредѣлить, гдѣ прошла граница между бессознательной и сознательной порою національнаго развитія.

Могутъ возразить, однако, что здѣсь дѣло просто во времени. Пройдетъ время, — и недавно усвоенное станетъ давно усвоеннымъ, и сознаніе о его чуждомъ происхожденіи тоже будетъ потеряно, какъ по-

терялось сознание о происхождении бытового инвентаря XVII вѣка. Это совершенно вѣрно, но это нисколько не мѣшаетъ намъ утверждать, что въ разные эпохи національной исторіи, какъ въ разные возрасты отдѣльнаго человѣка, способность помнить о прошедшемъ бываетъ разная. Соціальная память, подобно индивидуальной, формируется и крѣпнетъ въ извѣстную пору исторической жизни народа. Все, что предшествуетъ этой порѣ, не оставляетъ по себѣ никакой памяти или оставляетъ весьма смутную. Все, что совершается по сторону этой черты, образуетъ болѣе или менѣе непрерывную нить болѣе или менѣе связанныхъ воспоминаній, технические приемы сохраненія которыхъ все болѣе и болѣе совершенствуются. Наслѣдство, передаваемое отъ первой, бессознательной поры исторической жизни—второй, сознательной, составляетъ обыкновенно *націоналистическую традицію*. Этимъ происхожденіемъ націоналистической традиціи объясняется то, что содержимое такой традиціи представляется исконнымъ, неразложимымъ. Оно дѣйствительно исконно и неразложимо въ предѣлахъ исторической памяти народа, гораздо болѣе короткой, чѣмъ его историческое существованіе. Исторія, которая исправляетъ и дополняетъ эту память, находитъ способъ—разложить націоналистическую традицію, и отыскать ея источники. Вотъ почему, если еще можно видѣть въ исторіи, въ извѣстномъ смыслѣ, «народное самосознаніе», то уже ни въ какомъ случаѣ это народное самосознаніе не можетъ оказаться тождественнымъ съ тѣмъ, которое считается живымъ хранителемъ націоналистической традиціи. Можно было бы даже сказать, что нѣтъ болѣе сильнаго врага для націоналистической традиціи, чѣмъ именно исторія.

Въ предыдущихъ главахъ мы занялись такимъ историческимъ анализомъ происхожденія русской націоналистической традиціи. Анализъ этотъ привелъ насъ къ выводу, что уже при первой формулировкѣ націоналистическихъ идеаловъ чужеземное вліяніе играло главную, даже рѣшающую роль. Такимъ образомъ, элементы національной традиціи при самомъ своемъ возникновеніи находились въ ближайшемъ и непосредственномъ сосѣдствѣ съ элементами критики. Тотъ самый Иванъ Грозный, который далъ національнымъ идеаламъ такую эффектную санкцію, въ разговорѣ съ однимъ иностранцемъ не находилъ словъ достаточно рѣзкихъ, чтобы характеризовать низкій нравственный уровень своихъ подданныхъ. А когда его собесѣдникъ съ недоумѣніемъ напомнилъ царю, что вѣдь и самъ онъ русскій, то Иванъ рѣшительно отвѣчалъ, что онъ вовсе не русскій, а нѣмецъ, такъ какъ происходитъ отъ Пруса. Не мудрено, что послѣдовательные націоналисты уже въ XVII в., порицали Ивана IV за его западничество, вмѣсто того чтобы преклоняться передъ нимъ какъ передъ національнымъ героемъ народной легенды (см. ниже, стр. 122).

Элементамъ критики и дальше суждено было развиваться, прежде всего, въ той же самой средѣ, т. е. среди представителей двора и правительства. Къ этому одинаково приводили какъ положительныя, такъ и отрицательныя причины. Отрицательной причиною было то, что никакой другой социальный элементъ тогдашней Россіи не былъ способенъ явиться носителемъ оппозиціонно-критическихъ идеологій. Въ этомъ должны были убѣдить насъ событія смутнаго времени. Положительной же причиною надо считать ту, что непосредственный источникъ всякой критики, иностранное вліяніе, былъ всего ближе и доступнѣе именно для этихъ общественныхъ слоевъ, для двора и высшей бюрократіи. Въ тѣхъ же слояхъ, слѣдовательно, должна была получить теперь, по контрасту, свою окончательную формулировку и націоналистическая идеологія.

Итакъ, нашей ближайшей задачей въ этомъ отдѣлѣ является опредѣлить силу иноземнаго реактива и охарактеризовать произведенную имъ реакцію. Другими словами, мы должны, съ одной стороны, прослѣдить распространеніе иностранныхъ идей и быта въ XVII вѣкѣ; съ другой стороны, опредѣлить то значеніе, которое имѣли эти элементы критики— не для разрушенія націоналистическихъ идеаловъ, такъ какъ для этого время еще не пришло тогда, а, на первый разъ, для болѣе полнаго и точнаго опредѣленія націоналистическаго идеала.

Вліяніе иноземной культуры должно было, на первыхъ порахъ, носить болѣе матеріальный, чѣмъ идейный характеръ. Прежде чѣмъ началось вліяніе западныхъ *идей*, въ русской жизни сказалось вліяніе *быта*, вліяніе обстановки высшей культуры, а затѣмъ (или, вѣрнѣе, рядомъ съ этимъ) и вліяніе европейскихъ прикладныхъ, техническихъ знаній. Первое казалось безвреднымъ: второе было вызвано прямой необходимостью; такимъ образомъ, въ обоихъ случаяхъ европейское вліяніе проходило въ жизнь само собою, постепенно и малозамѣтно, возбуждая лишь сравнительно слабый и бессильный протестъ. Между тѣмъ, то и другое — бытъ и техника — бессознательно для русскаго человѣка втягивали его и въ кругъ европейскихъ идей и понятій. И когда онъ очнулся передъ неожиданно большимъ итогомъ чуждыхъ привычекъ, усвоенныхъ по мелочамъ, — идти назадъ было уже поздно. Старый бытъ былъ уже фактически разрушенъ. Только и оставалось — сдѣлать его предметомъ націоналистическаго культа и отвлеченной идеализаціи.

Въ XVII в. этотъ стихійный процессъ только еще начался. Даже въ сферѣ собственно-бытовой успѣхи иноземныхъ вліяній были очень ограничены, достигались медленно и распространялись на очень узкій социальный кругъ. Въ царскомъ дворцѣ, въ нѣсколькихъ наиболѣе аристократическихъ московскихъ домахъ явилось нѣсколько предметовъ европейской обстановки, правда, нисколько не упразднявшихъ старую, а только ее дополнявшихъ. Рядомъ съ простыми гладкими, липоваго

или дубоваго дерева столами появились «на польскій образецъ» или «нѣмецкой работы» столы «эбеноваго» или «индѣйскаго» дерева, съ кривыми или точеными фигурными ножками. Рядомъ съ традиціонными скамьями по стѣнамъ—явились кресла съ замысловатой обивкою и стулья «золотные нѣмецкіе», которые въ концѣ вѣка можно было покупать въ Москвѣ, въ Овощномъ ряду, цѣлыми дюжинами, по рублю (тогдашнему) за штуку. Появились,—на первыхъ порахъ, впрочемъ, лишь во внутреннихъ, жилыхъ покояхъ,—и зеркала на стѣнахъ; ихъ, однако, завѣшивали тафтой или закрывали, на манеръ кіота, затворами, чтобы подчеркнуть ихъ утилитарную, а не эстетическую роль. Часы, столовые и карманные, имѣли то же значеніе и уже съ начала XVII вѣка составляли довольно обычный предметъ обихода, какъ можно судить по сравнительно значительному количеству вольно-практиковавшихъ часовыхъ мастеровъ-иностранцевъ, находившихъ себѣ, очевидно, достаточное пропитаніе въ тогдашней Москвѣ. Несомнѣнно-эстетическое значеніе имѣли картины, постепенно вытѣснявшія къ концу вѣка стѣнную роспись. Къ картинамъ перешло и традиціонное содержаніе стѣнной росписи, по преимуществу церковно-историческое, рѣже просто историческое или аллегорическое. Новостью было изображеніе «персонъ съ живства», т. е. портретной живописи. Конечно, всѣ эти роды картинъ были роскошью, доступной не многимъ. Для болѣе широкаго круга картины замѣнялись дешевыми гравюрами—«фряжскими листами» заграничной работы или даже ихъ русскими воспроизведеніями, такъ какъ печатаніе гравюръ успѣло къ концу вѣка сдѣлаться предметомъ мѣстной индустріи, процвѣтавшей въ Москвѣ и въ Кіевѣ и снабжавшей своими издѣліями торговцевъ московскаго Овощного ряда и Спасскихъ воротъ. Дешевизна (отъ $1/2$ коп. до 2 тогдашнихъ коп.) и разнообразіе содержанія, подчасъ очень серьезнаго, чаще моральнаго и религіознаго, нерѣдко и смѣхотворнаго, распространяли вкусъ къ фряжскимъ листамъ—этимъ предшественникамъ лубочныхъ картинокъ—все въ болѣе и болѣе широкихъ кругахъ. Въ богатыхъ домахъ эти листы насчитывались сотнями, а во дворцѣ ими замѣняли иногда обои.

Такъ традиціонная русская изба превращалась мало-по-малу въ европейскія «палаты». Но палатами и ограничилось на первый разъ это превращеніе.

Значительно быстрѣе, чѣмъ въ обстановкѣ, прививалось польское и нѣмецкое вліяніе въ костюмѣ. Въ области костюма особенно много можно было бы указать чертъ, несомнѣнно заимствованныхъ, но превратившихся въ «свое», національное достояніе къ тому времени, когда начались массовыя заимствованія XVII вѣка. Въ пограничномъ Псковѣ мѣстный пастырь уже въ концѣ XV вѣка увѣщаетъ свою паству «не носить нѣмецкаго платья». Въ срединѣ XVI вѣка извѣстный намъ памфлетъ, бесѣда Сергія и Германа, снова обличаетъ грѣховодниковъ, «позавидовавшихъ ризамъ невѣрныхъ, съ головы и до ногъ» и даже грозитъ

«горемъ» всему «роду христіанскому, прельстившемуся на порты и шлыки невѣрныхъ, имущему ихъ на себѣ». Черезъ весь XVII вѣкъ идетъ опять рядъ обличеній и запрещеній, очевидно, столь же бессильныхъ, какъ и предъидущія. Царскія дѣти уже при Михаилѣ Ѳеодоровичѣ носятъ нѣмецкое платье, пошитое имъ ихъ воспитателемъ Морозовымъ; а въ 1675 г. спеціальныи указъ запрещаетъ употребленіе этого платья служилымъ чинамъ, толпившимся во дворцѣ. Одного изъ придворной молодежи царь разжаловалъ въ низшій чинъ за ношеніе модной прически,—и затѣмъ было сдѣлано только что упомянутое распоряженіе, чтобы придворные чины (стольники, стряпчіе, дворяне и жильцы): «иноземныхъ нѣмецкихъ и иныхъ извѣчаевъ не перенимали, волосъ у себя на головѣ не подстригали, а также платья, кафтановъ и шапокъ у себя не носили и людямъ своимъ тоже носить не велѣли». Однако же, въ московскихъ рядахъ въ то же время и позднѣе свободно занимались своимъ ремесломъ портные поляки и нѣмцы, очевидно, находившіе своихъ кліентовъ. Царскій указъ, самое большое, долженъ былъ заставить только московскихъ щеголей—нѣкоторое время—не мозолить глаза при дворѣ своими новыми модами.

Гораздо труднѣе, чѣмъ въ обстановку и костюмъ, было проникнуть новымъ вѣяніямъ въ традиціонное препровожденіе времени. Строгий чинъ русской жизни, детально регламентированный, превращалъ жизнь въ обрядъ, соблюденіе котораго было не менѣе обязательно, по крайней мѣрѣ въ высшемъ кругу, чѣмъ соблюденіе обрядовъ религіи. И здѣсь, однако, нашлась лазейка, отыскалось такое слабо защищенное мѣсто, черезъ которое новыя вѣянія пробили себѣ путь къ уму и сердцу русскаго человѣка. Единственный моментъ дня, когда онъ былъ предоставленъ самому себѣ, когда ни вѣра, ни общество, ни даже домашній порядокъ ничего отъ него не требовали, это были часы, — достаточно долгіе, правда, — посвященные отдохновенію. Русскій человѣкъ уже и воспользовался этимъ промежуткомъ отдыха, чтобы распуститься въ волю и систематически нарушить тутъ все то, что его такъ строго заставляли соблюдать въ остальное время дня. Тамъ онъ былъ уменъ; здѣсь онъ позволялъ себѣ дурачиться. Тамъ его унижали; здѣсь онъ самъ унижалъ другихъ, куражился надъ ними. Тамъ онъ былъ вѣрный сынъ церкви; здѣсь онъ возвращался къ языческой старинѣ, упорно игнорируя всѣ предписанія церкви. Здѣсь наша себѣ убѣжище гонимая церковью народная литература, или, по крайней мѣрѣ, ея удѣлѣвшія отъ крушенія обломки. Здѣсь сбрасывалась личина смиренія и постничества, и раздавался безпрепятственно тотъ самый смѣхъ, на который строгіе церковные моралисты смотрѣли какъ на начало душевной гибели. Если среди всего этого разгула самъ хозяинъ не пускался въ пѣніе и плясъ, то только потому, что все еще долженъ былъ соблюдать свое достоинство передъ дворней. Зато онъ вдоволь заставлялъ другихъ и пѣть, и плясать, и выкидывать всякія штуки,—

чѣмъ замысловатѣе, чѣмъ забористѣе, чѣмъ циничнѣе, тѣмъ лучше. Это было, словомъ, то царство дураковъ и дурь, «бахарей» (сказочниковъ) и «домрачеевъ» (сказителей былинь подѣ звуки домры), которое водворялось во всякомъ богатомъ русскомъ домѣ въ часы послѣобѣденнаго отдохновенія или передъ отходомъ ко сну. Къ этому-то наименѣе защищенному пункту и могли легче и незамѣтнѣе всего привиться заносныя «польскія» или «нѣмецкія» забавы.

Первыми пионерами этого иностраннаго нашествія явились заѣзжіе акробаты, фокусники, клоуны. Одинъ изъ нихъ, «нѣмчинъ» Иванъ Семеновъ цѣлыя десять лѣтъ подрядъ увеселялъ въ «Потѣшной палатѣ» семью царя Михаила Ѳеодоровича и оставилъ послѣ себя цѣлую школу учениковъ: «выучилъ по канатамъ ходить и танцовать и всякимъ потѣхамъ, чему самъ умѣетъ, пять человекъ, да по барабанамъ выучилъ бить 24 человекъ». Музыканты-нѣмцы тоже не переводились при московскомъ дворѣ съ самаго начала XVII столѣтія. Органы и цимбалы (родъ фортепьянъ) еще съ XVI в. фигурировали въ дворцовомъ инвентарѣ. Со вступленіемъ Алексѣя Михайловича развитіе всѣхъ этихъ придворныхъ забавъ круто обрывается. вмѣсто былинь и сказокъ «бахарей» и «домрачеевъ», у государя «наверху» распѣваютъ духовные стихи его «нищіе богомольцы». Мѣсто органной игры занимаетъ стройный церковный хоръ. Музыкальные инструменты и маски преданы были торжественному ауто-да-фе за Москвой, на Болотѣ. Царь бросилъ «Потѣшную палату» для медвѣжьей потѣхи или для любимаго своего спорта — соколиной и псовой охоты. Воздержаніе отъ заграничныхъ и языческихъ забавъ продолжалось, однако, лишь до тѣхъ поръ, пока жива была первая жена царя Алексѣя. Съ женитьбой на второй женѣ, эмансипированной Матвѣевымъ Натальи Кирилловнѣ, — дворъ какъ будто спѣшитъ наверстать потерянное время и сразу переходитъ къ самой сложной формѣ иноземной забавы: къ театральному спектаклю (1672—1675). Форма была нова, но всѣ ея составные элементы стары, такъ что переходъ къ этой формѣ не вызвалъ особаго протеста. Театральный спектакль проходилъ подѣ флагомъ «дѣйства изъ Библии», т. е. воспроизведенія въ лицахъ общеизвѣстнаго библейскаго сюжета: Есеири, Товии, Юдиен, Иосифа. Только одно «Темиръ-Аксаково дѣйство» было робкою попыткою выйти изъ круга библейскихъ темъ въ область историческихъ. Но и тутъ авторъ ухитрился изобразить героя (Тамерлана) въ видѣ христіанскаго подвижника за вѣру. Конечно, флагъ прикрывалъ контрабанду: романическій и смѣхотворный элементъ, строго запрещенные церковью. Но и это запрещеніе было слишкомъ часто нарушаемо раньше: передъ зрителемъ являлись на подмосткахъ въ сущности тѣ же дураки и дуры, съ ихъ плоскими шутками и откровеннымъ цинизмомъ. Безцеремонный реализмъ любовныхъ объясненій Олоферна съ Юдиенью или жены Пентефрія съ Иосифомъ тоже не шокировалъ тогдашняго вкуса. Въ этомъ отношеніи очень хорошо было для успѣха

первых театральныхъ попытокъ то обстоятельство, что устроители заимствовали для русской сцены не новый репертуаръ только что обновленнаго тогда нѣмецкаго театра, а старую ветошь, затрепанную бродячими артистами Германіи по ярмаркамъ и приспособленную ими же для самаго низменнаго уровня. Остроуміе голландскаго Пикельгеринга и чувственность «англійской комедіи» были какъ разъ по плечу московской придворной публикѣ. Военныхъ сценъ, треска и грома, дракъ и убійствъ на сценѣ было совершенно достаточно въ этихъ комедіяхъ, чтобы удовлетворить самаго взыскательнаго любителя балагана. Словомъ, новинка должна была придтись по вкусу. Пригодились и придворные художники-иностранцы: живописецъ нарисовалъ до трехъ дюжинъ декораций «преоспективнымъ письмомъ»; органистъ составилъ оркестръ при помощи дворовыхъ музыкантовъ Матвѣева. Нѣмецкій пасторъ изъ «слободы» режиссерствовалъ и обучалъ актеровъ: онъ же выбиралъ и пьесы, а переводить ихъ пришлось, повидимому, подъячимъ посольскаго приказа. Такимъ образомъ, для осуществленія новой затѣи пущены были въ ходъ всѣ наличные ресурсы тогдашней московской цивилизаціи. Результатъ превзошелъ ожиданія. Три года подрядъ представленія не прекращались ни зимой, ни лѣтомъ: актеры, оркестръ, декорации переѣзжали вслѣдъ за царемъ и его дворомъ изъ кремлевскаго дворца въ Преображенское и обратно.

Мы знаемъ, однако, что чужеземныя вліянія въ XVII в. не ограничились перемѣнами во вѣншемъ бытѣ, обстановкѣ и времяпрепровожденіи знатныхъ людей. Мы видѣли («Очерки», II, 38—40), что уже въ серединѣ вѣка, подъ вліяніемъ отчасти польскимъ, отчасти греческимъ, московское правительство стало критически относиться къ религіознымъ идеологіямъ націоналистовъ XVI столѣтія. Послѣдствіемъ такой критики была ссора представителей официальной церкви съ защитниками національной идеологіи, передавшими скоро свое оппозиціонное настроеніе народной массѣ. Но, возвысившись надъ націонализмомъ религіознымъ, московскія власти остановились на полупути. Скоро имъ самимъ пришлось защищать только-что освобожденную ими отъ націоналистическаго содержанія религію противъ новыхъ вѣяній—польско-европейскихъ. (См. «Очерки», II, стр. 153, 244—8). Мы знаемъ, что борьба съ этими новыми вѣяніями оказалась, однако, такой же непосильной, какъ и борьба съ религіознымъ націонализмомъ. Точка зрѣнія чистаго формализма не могла удовлетворить ни тѣхъ, которые хотѣли жить старыми упованіями на всемірноисторическую миссію русскаго народа, ни тѣхъ, кто искалъ, увлекаясь европейскими вѣяніями или запросами собственнаго сердца, новыхъ формъ религіозной мысли и чувства. Въ результатъ и мысль, и чувство ускользнули изъ-подъ вліянія официальныхъ руководителей. Старая вѣра, съ одной стороны,—раціонализмъ и мистицизмъ, съ другой,—нашли къ концу вѣка готовую почву для распространенія. Еще меньше препятствій встрѣ-

тнѣ европейская свѣтская наука—сперва въ видѣ сбрытковъ средне-вѣковыхъ устарѣлыхъ знаній, переданныхъ черезъ посредство Польши, а потомъ и въ подлинномъ своемъ видѣ. (См. о смѣнѣ тѣхъ и другихъ родовъ знаній въ «Очеркахъ», II, 250—275). Ко всѣмъ этимъ послѣдствіямъ чужеземныхъ вліяній мы теперь уже не будемъ возвращаться. Намъ интересуетъ въ данный моментъ не столько положительное содержаніе переданнаго Россіи запаса новыхъ мыслей и чувствъ, сколько самый процессъ ихъ передачи и вызванное имъ сознаніе контраста между націонализмомъ и европеизмомъ. Къ этому, т.-е. къ путямъ и способамъ европейскаго идейнаго вліянія и къ его послѣдствіямъ для національнаго самосознанія—мы теперь и возвращаемся.

Главнѣйшимъ способомъ, какимъ проникало вліяніе европейскихъ идей въ Россію, было, конечно, непосредственное соприкосновеніе русскихъ съ иностранцами: за границей или у себя дома. Поѣздки русскихъ людей за границу были, впрочемъ, до конца XVII в. рѣдкимъ и исключительнымъ явленіемъ. Первый опытъ командировки русскихъ за границу для обученія, сдѣланный Годуновымъ, кончился, какъ мы видѣли, полной неудачей. Молодежь оказалась болѣе воспріимчивой къ благамъ европейской культуры, чѣмъ это было нужно московскому правительству. Съ тѣхъ поръ въ Москвѣ относились крайне осторожно къ заграничнымъ поѣздкамъ, отпускали только акклиматизировавшихся уже въ Россіи иностранцевъ и ихъ сыновей, а на русскихъ наложенъ былъ безусловный запретъ. Одинъ изъ немногихъ, нарушившихъ этотъ запретъ русскихъ эмигрантовъ, Котошихинъ, совершенно правильно передаетъ соображенія, руководившія при этомъ правительствомъ. «Для науки и обученія въ инія государства дѣтей своихъ не посылаютъ», говоритъ онъ, «страшась того: узнавъ тамошнихъ государствъ вѣру и обычаи и вольность благую, начали бы свою вѣру отмѣнять и приставать къ другимъ, и о возвращеніи къ домамъ своимъ и къ сродичамъ никакого бѣ попеченія не имѣли и не мыслили». Такимъ образомъ, за границу не могли понасть какъ разъ тѣ, кому такое путешествіе могло бы принести больше всего пользы. Изрѣдка появлялось въ Европѣ русское посольство,—но московскіе чиновники, волей правительства ставившіеся импровизированными дипломатами, меньше всего были подготовлены къ роли наблюдателей европейской жизни. Незнакомые съ языками, кое-какъ вычитывавшіе по тетрадкѣ, слово за словомъ, свои оффиціальныя рѣчи, они озабочены были однимъ: какъ бы не сдѣлать лишняго шага, или не сказать лишняго слова, которое бы умалило честь государя и подвело ихъ подъ служебное взысканіе. Они не прочь были иной разъ попользоваться непривычной свободой жизни, но то, какъ они понимали эту свободу, вызывало отвращеніе въ невольныхъ свидѣтеляхъ ихъ разгула. Это было, въ глазахъ европейскихъ наблюдателей, даже не «варварство», а просто «скотство» и «свинство». Отъ удовольствій европейскаго стила, такъ же какъ отъ наслажденія пу-

тешествіемъ—картинами природы, памятниками искусства, приобрѣтеніями культуры—отдѣляла ихъ китайская стѣна, созданная ихъ собственной умственной и нравственной грубостью. Куда бы они ни являлись, они несли съ собою всюду, въ буквальномъ и въ переносномъ смыслѣ, свою собственную атмосферу. Помѣщенія, въ которыхъ они останавливались, приходилось провѣтривать и чистить чуть не цѣлую недѣлю. Ихъ появленіе на улицѣ, въ парчахъ и въ шелку краснаго, желтаго или зеленаго цвѣта, въ длиннополохъ халатахъ съ высочайшими воротниками и длиннѣйшими рукавами, въ мѣховыхъ шапкахъ азіатскаго покроя, собирало около нихъ толпу зѣвакъ: не то это былъ маскарадъ, не то религіозная процессія, не то просто этнографическій курьезъ, вывезенный какимъ-нибудь предприимчивымъ антрепенеромъ изъ заморскихъ странъ, вмѣстѣ съ нильскими крокодилами и африканскими львами. Когда въ Москвѣ поняли, наконецъ, къ концу XVII в., какое впечатлѣніе производятъ за границей эти доморощенные дипломаты, всего больше хлопотавшіе о томъ, какъ бы не уронить достоинства своего государя, то ихъ стали замѣнять обжившимися въ Россіи иностранцами. Житейская опытность и свѣтская развязность послѣднихъ теперь, въ свою очередь, вызывали изумленіе въ европейской дипломатіи, привыкшей считаться съ *grobianità Moscovitica*.

Итакъ, поѣздки за границу ничего, или почти ничего не могли дать для усиленія иноземнаго вліянія въ Россіи. Совсѣмъ иное значеніе имѣли въ этомъ дѣлѣ непосредственныя столкновенія русскихъ съ иностранцами у себя дома.

Исторія этихъ столкновеній начинается очень давно. Но намъ нѣтъ никакой надобности слѣдить за ней съ самаго начала. Пока иностранный элементъ лишь отдѣльными струями просачивался въ русскую жизнь, его уносило теченіемъ, или онъ опускался на дно, ассимилируясь съ окружающей средою и исчезая безслѣдно съ поверхности жизни. Только когда иммиграція иностранцевъ приняла количественно большіе размѣры, отдѣльныя единицы стали задерживаться все долѣе на поверхности, цѣпляясь и поддерживая другъ друга, такъ что къ концу XVII в. въ Москвѣ сложилась уже большая, благоустроенная колонія,—маленькій оазисъ Европы среди культурной пустыни.

О первой завязи этой колоніи намъ сообщаютъ источники еще изъ первой половины XVI столѣтія. Герберштейнъ рассказываетъ, что Василій III отвелъ своимъ тѣлохранителямъ (набраннымъ изъ литовцевъ и поляковъ) для поселенія особую слободу Нали(вки), имя которой до сихъ поръ сохранилось въ названіи одной церкви между Полянкой и Якиманкой. Исслѣдователи объясняли исчезновеніе этой первой иноземной слободы набѣгомъ Девлетъ-Гирея (1571 г.). Вѣроятно же предположить, что корпусъ тѣлохранителей просто постепенно обрусѣлъ, оставшись на томъ же мѣстѣ, но получивъ новую организацію и новое имя стрѣльцовъ, данное имъ Иваномъ Грознымъ въ 60 хъ годахъ. Въ то же

десятилѣтіе встрѣчаемся съ новымъ массовымъ наплывомъ иностранцевъ. Это — плѣнные, цѣлыми тысячами приведенные изъ ливонскихъ походовъ. Часть ихъ была разсѣяна по разнымъ провинціальнымъ городамъ, гдѣ большинство, вѣроятно, опять-таки зажило и обрусѣло. Другая часть — поселена въ столицѣ. Для послѣднихъ отведено было новое мѣсто — близъ устья Яузы, на ея правомъ берегу. Подобно старой, новая слобода («Нѣмецкая») освобождена была отъ питейнаго акциза; ея жители скоро разбогатѣли продажей вина. Въ 1578 г. эта Нѣмецкая слобода сдѣлалась жертвой одной изъ вспышекъ гнѣва Ивана Грознаго. По его приказу, она подверглась форменному штурму и была разграблена. Но скоро яузская колонія оправилась отъ погрома и къ концу вѣка, вѣроятно, достигла высшей точки своего процвѣтанія, благодаря внимательному отношенію Годунова къ иностранцамъ. Въ смутное время, однако яузская колонія была сожжена и опустѣла на цѣлые полвѣка. Ея населеніе разбѣжалось по уѣздамъ и значительная часть тамъ навсегда осталась. Роста иноземцевъ въ Москвѣ это, однако, не остановило. Напротивъ, лишившись осѣлости въ яузскомъ предмѣстьѣ, иностранцы перенесли свои поселенія въ самый городъ и оставались тамъ до середины вѣка, постоянно прибывая въ численности. вмѣсто прежней одной церкви (лютеранской), у нихъ явилось двѣ и одна реформатская. Главнымъ ихъ центромъ была Покровка и Чистые Пруды; но ихъ дома, перекупленные у москвичей, явились также и на Тверской, на Арбатѣ, на Сивцевомъ Вражкѣ. Разбросанные среди русскихъ, иностранцы невольно начали втягиваться мало-по-малу въ русскую жизнь. Они вели русскія знакомства, держали русскую прислугу, усвоивали языкъ, стали, наконецъ, даже носить русское платье, чтобы меньше обращать на себя вниманія въ городѣ. Все это возбудило опасенія и въ средѣ торговцевъ, которымъ иностранцы сбивали цѣны на товары, и среди домовладѣльцевъ, которымъ они набивали цѣны на земли, и среди духовенства, которое начало бояться вліянія иностранцевъ на нравы. Посыпался рядъ жалобъ, которыя правительство сочло нужнымъ удовлетворить. Въ числѣ мѣръ, о которыхъ упомянемъ ниже, противъ иностранцевъ принята была одна радикальная, составившая эру въ исторіи ихъ общины. Имъ велѣно было продать свои дома русскимъ владѣльцамъ, и церкви ихъ, стоявшія внутри города, были снесены. Для новыхъ поселеній иностранной колоніи мѣсто было отведено, «гдѣ были напередъ сего нѣмецкіе дворы», т.-е. на Яузѣ, только нѣсколько выше по ея теченію. Такимъ образомъ, опредѣлилось (въ 1652 г.) окончательное мѣсто «Ново-нѣмецкой» слободы, въ районѣ теперешней Нѣмецкой улицы. Непосредственной своей цѣли выселеніе иностранцевъ изъ городской черты достигло: сліяніе съ русскимъ населеніемъ приостановилось. Но вмѣстѣ съ тѣмъ, сила иностраннаго вліявія возрасла, такъ какъ теперь подъ самыми стѣнами столицы сформировался иностранный городокъ, съ совершенно особымъ строемъ

жизни и быта. До сихъ поръ иностранцамъ грозила ассимиляція съ русскимъ элементомъ въ гораздо большей степени, чѣмъ русскимъ усвоеніе иностранной культуры. Теперь эта культура стояла рядомъ, во всей своей неприкосновенности, какъ вѣчно готовый образецъ для подражанія. Представители русской власти не хотѣли допустить амальгамы русскаго быта съ иностраннымъ. Теперь имъ предстояло пережить періодъ культурнаго завоеванія Москвы Нѣмецкой слободою.

Не нужно, впрочемъ, быть особенно высокаго мнѣнія о культурности элементовъ, собравшихся въ Нѣмецкой слободѣ. Девизъ этого населенія былъ тотъ самый, который одинъ изъ его пасторовъ (Беръ) формулировалъ латинскимъ стихомъ

Omne solum forti patria est, ut piscibus aequor

то-есть:

«Всякій край для смѣлаго—родина, какъ рыбѣ—море»

Въ авантюристахъ, любителей легкой наживы, среди этого населенія не было недостатка. Не мало было тутъ и шарлатановъ, искусно эксплуатировавшихъ русское невѣжество, чтобы дорогой цѣною продать дешевыя услуги. Этотъ всегдашній элементъ добровольцевъ-цивилизаторовъ, обязательно являющійся во всѣхъ малокультурныхъ странахъ, по обыкновенію больше всѣхъ шумѣлъ и скандалилъ, навлекая на всю колонію ненависть мѣстнаго населенія, у котораго онъ перебивалъ хлѣбъ, и создавая колоніи за границей самую дурную репутацію. Но, конечно, такими людьми не исчерпывался составъ населенія Нѣмецкой слободы. Не мало было здѣсь, особенно на второстепенныхъ и третьестепенныхъ должностяхъ, такихъ людей, какъ, напр., пушечныхъ дѣлъ мастеръ Фалькъ, давшій въ одномъ изъ скандальныхъ процессовъ слободы угрюмое показаніе, что «онъ съ кляузниками не водится, такъ какъ онъ — человекъ недосужный». Не гонясь за многимъ, эти люди несли въ чужую имъ страну свой трудъ и знаніе и чество дѣлали свое маленькое дѣло. Для русской культуры, впрочемъ, на первыхъ порахъ всякіе элементы—шарлатаны и честные труженики, были полезны.

Профессиональный составъ иноземнаго населенія вполне опредѣлялся государевыми и государственными потребностями. Въ началѣ первыя преобладали. Лейбъ-медикъ—иностранецъ давно уже появился при московскомъ дворѣ. За нимъ слѣдовали мастера золотыхъ и серебряныхъ дѣлъ, «органные играцы», живописцы и т. д. Государственнымъ нуждамъ удовлетворяли переводчики посольскаго приказа, явившіеся также и первыми переводчиками серьезной иностранной литературы; полковые лекаря, очень, впрочемъ, немногочисленные; квалифицированные мастера военнаго дѣла и пр. Если прибавимъ сюда довольно значительный элементъ торговыхъ людей, для собственныхъ интересовъ поселившихся въ Москвѣ, то этимъ и исчерпаемъ составъ древнѣйшей иноземной общины, такъ какъ рядовыхъ солдатъ въ этотъ составъ иноземной интеллигенціи вводить нельзя. Чѣмъ дальше, тѣмъ больше военный

элементъ усиливается, занимая, наконецъ, первое мѣсто въ рядахъ иноземческой аристократіи. Уже въ тридцатыхъ годахъ является съ своими офицерами полковникъ Лесли, реорганизовавшій русское войско для (неудачной, впрочемъ) борьбы съ Польшей. Подъ его начальствомъ собралось въ Москвѣ, въ началѣ этого десятилѣтія, до 3.000 иноземныхъ солдатъ; потомъ эта масса частью склынула, разбрелась по Россіи,—но офицерство осталось въ Москвѣ и положило тамъ начало «новой» иноземской общинѣ, такъ называемой «офицерской», вступившей вскорѣ въ безконечную распрю со старой. «купеческой». Когда въ 1653 г. было запрещено иностранцамъ владѣть помѣстьями, то и жившее въ деревняхъ офицерство должно было частью съѣхаться въ Москву. Наконецъ, въ началѣ 60-хъ годовъ, вызванъ были для военной реорганизаціи цѣлый рядъ новыхъ иностранныхъ офицеровъ, ставшихъ во главѣ преобразованныхъ полковъ. Съ этого момента перевѣсъ военныхъ въ составѣ Нѣмецкой слободы становится безспорнымъ. Перепись 1665 г. показала слѣдующій составъ населенія Ново-нѣмецкой слободы (по дворамъ):

	Дворовъ.
Военныхъ иноземцевъ (отъ полковника до прапорщика)	142
Военныхъ дѣлъ мастеровъ (пушечнаго, ружейнаго)	4
Придворныхъ мастеровъ (золотаго и серебрянаго дѣла часовщиковъ, сѣдельника, портныхъ, живописца)	20
Лѣкарей и аптекарей	4
Переводчиковъ	3
Торговыхъ иноземцевъ	23
Стряпчаго торговыхъ людей	1
Еврея	1
Пасторовъ	3
Неизвѣстнаго званія	3

И т о г о 204

Здѣсь, конечно, сочтены только домовладѣльцы; квартиранты въ этотъ счетъ не входятъ. Общую цифру населенія слободы надо считать не меньше 1.500 (въ двадцатыхъ годахъ можно предположить около 500, въ срединѣ вѣка около 1.000 чел.).

Господствующимъ вѣроисповѣданіемъ въ слободѣ давно уже было лютеранское. Католицизмъ преобладалъ среди московскаго иноземскаго населенія только до второй половины XVI вѣка; населеніе первой Лузской слободы уже было по преимуществу лютеранское. Дѣло въ томъ, что католицизмъ былъ въ Москвѣ извѣстенъ и подозрителенъ, какъ вѣра сосѣдняго Польско-литовскаго государства. Церковь съ давнихъ поръ воспитывала русское населеніе въ ненависти къ «латинству». Опытъ смутнаго времени могъ только усилить это враждебное отношеніе И, дѣйствительно, правительство, призывая со всѣхъ сторонъ иностранцевъ, внимательно слѣдило за тѣмъ, чтобы какъ нибудъ не проникъ въ

Московское государство латынникъ. Когда въ числѣ солдатъ, навербованныхъ Лесли въ Европѣ, оказываются католики, правительство немедленно выпроваживаетъ ихъ за границу на казенный счетъ. Въ теченіе всего столѣтія католикамъ такъ и не удается, несмотря на всѣ старанія, добиться разрѣшенія имѣть въ Москвѣ свою церковь, по примѣру давно разрѣшенныхъ лютеранской и реформатской. Къ протестантскимъ исповѣданіямъ правительство относится, напротивъ, очень терпимо,—во-первыхъ, потому, что относительно нихъ оно не связано никакой традиціей, никакими историческими прецедентами, во-вторыхъ, потому, что какъ болѣе далекое отъ православія, какъ еретическое, а не только схизматическое, протестантство кажется ему менѣе опаснымъ для русскаго населенія. Только къ концу вѣка группируется въ Нѣмецкой слободѣ, около Гордона, небольшой католическій кружокъ, но онъ уже не можетъ измѣнить общаго тона религіозной жизни въ слободѣ. Ученикъ Нѣмецкой слободы, Петръ Великій, выноситъ изъ нея протестантскіе взгляды (см. «Очерки», II, стр. 245 и слѣд.).

Несмотря на переселеніе въ новую слободу, для иностранцевъ всегда оставался открытымъ одинъ законный путь перехода въ русскую среду. Это, именно, принятіе православія, часто сопровождавшееся, или даже вызывавшееся, женитьбою иностранцевъ на русскихъ. Въ старое время, въ XVI вѣкѣ, обрусѣніе иностранцевъ происходило такъ постепенно и регулярно, что переходъ совершался зачастую какъ бы самъ собою. Просто начиналъ человѣкъ ходить въ русскую церковь и исправлять русскіе обряды; крестилъ его дѣтей поневолѣ православный попу, и второе поколѣніе выросло настолько уже обрусѣвшее, что едва помнило иностранное происхожденіе и національность отца. Только когда правительство, послѣ смуты, усилило контроль надъ иностранцами, а московскій помѣстный соборъ 1620 г. постановилъ, что ихъ (собственно католиковъ, такъ какъ о протестантахъ и вопроса не возникало) надо вновь крестить, какъ еретиковъ, — только тогда власти принялись за этихъ полу-иностранцевъ, отцы которыхъ выѣхали въ Россію при Грозномъ или даже при Василии III,—и заставляли ихъ перекрециваться на старости лѣтъ. Рѣшеніе собора 1620 г. было, правда, отмѣнено соборомъ 1667 г. Возможно, что въ провинціи обрусѣніе совершалось и теперь попрежнему, т.-е. путемъ постепеннаго сліянія, но въ столицѣ это было уже трудно. Тутъ оно, впрочемъ, было бы и невыгодно, такъ какъ, рѣшившись принять православіе, иностранцы, обыкновенно, старались извлечь побольше выгодъ изъ этого перехода. Они выбирали себѣ крестнаго отца познатнѣе и побогаче и осаждали правительство челобитьями о своихъ нуждахъ: просили и получали и деньги, и помѣстья, и должности съ окладами, и даже награды натурой: платьемъ, съѣстными припасами и питьемъ, разнымъ домашнимъ скарбомъ. Процесса обрусѣнія этотъ формальный переходъ въ православіе ничуть не ускорилъ. Напротивъ, прежде, затериваясь въ русской массѣ, единицы

скорѣе ассимилировались фактически, чѣмъ это могло быть теперь, когда «перекрестовъ» окружали свои же земляки, поддерживавшіе въ нихъ сознаніе національной и культурной особы. Теперь «перекрестами» заселялись въ Москвѣ цѣлыя слободы, одна изъ которыхъ и географически составляла переходъ отъ Нѣмецкой слободы къ Москвѣ (Басманная; другая, Панская, была расположена по другую сторону города). Такимъ образомъ, и «перекресты» являлись теперь проводниками западнаго вліянія въ русскую среду.

Менѣе общедоступно, но зато болѣе серьезно, чѣмъ личное вліяніе иностранцевъ, было вліяніе иноземной литературы на русскую интеллигенцію. Проводниками этого вліянія были тѣ же поселенцы Нѣмецкой слободы,—конечно, болѣе культурные изъ нихъ. Уже въ смутную эпоху бояринъ Федоръ Головинъ рассказывалъ по секрету поляку Маскѣвичу, что у него былъ братъ, который «имѣлъ большую охоту къ языкамъ, но не могъ открыто учиться имъ; для этого онъ держалъ у себя тайно одного изъ нѣмцевъ, жившихъ въ Москвѣ; нашелъ также поляка, разумѣвшаго языкъ латинскій. Оба они приходили къ нему тайно, переодѣвшись въ русское платье, запирались съ нимъ въ комнатѣ и читали вмѣстѣ латинскія и нѣмецкія книги, которыя онъ успѣлъ пріобрѣсти и уже понималъ недурно». «Множество» этихъ книгъ, доставшихся Головину отъ брата, Маскѣвичъ самъ видѣлъ, также какъ и опыты переводовъ вельможнаго ученика съ латинскаго на польскій. Мало-по-малу, иностранныя книги стали появляться и въ провинціи. Въ 1672 г. изданъ былъ интересный указъ, которымъ такое распространеніе было строго запрещено: «въ городахъ, на посадахъ и слободахъ, и въ уѣздахъ, въ селахъ и деревняхъ, во всѣхъ мѣстахъ, всякихъ чиновъ людямъ учинить заказъ крѣпкій съ большимъ подкрѣпленіемъ, чтобъ тѣ люди польской и латинской печати книгъ никто у себя въ домахъ тайно и явно не держали, а приносили бы и отдавали бы воеводѣ». Едва ли такое распоряженіе оказалось дѣйствительнымъ. Въ столицѣ, во всякомъ случаѣ, подобная мѣра уже въ то время была анахронизмомъ. Здѣсь чѣмъ дальше, тѣмъ становились обыкновеннѣе домашніе учителя и библіотеки иностранныхъ книгъ, и самое обученіе велось открытѣе. Этимъ путемъ обучались и обучали своихъ дѣтей знаменитые западники XVII столѣтія, Ординъ-Нащокинъ, Матвѣевъ, Борисъ Голицынъ. Въ письмѣ къ царю, въ 1671 г., извѣстный малороссійскій проповѣдникъ и политическій дѣятель Барановичъ замѣчалъ, что «снискать царскаго пресвѣтлаго величества польскаго языка не гнушается, но чтутъ книги лядкія въ сладость». Что это былъ не простой комплиментъ по адресу московскихъ бояръ, доказываетъ попытка, сдѣланная въ слѣдующемъ 1672 году типографіей кievской лавры,—открыть въ Москвѣ спеціальную книжную лавку, въ которой польскія книги занимали видное мѣсто. До тѣхъ поръ книги продавались въ Москвѣ изъ казенной лавки при Печатномъ дворѣ; вольная же

продажа книгъ производилась на ряду съ другими товарами. въ лавкахъ овощнаго ряда. Только что упомянутая попытка кievлянъ открыть спеціальный книжный магазинъ кончилась, однако, неудачей. Съ одной стороны, она грозила конкуренціей московской казенной и вольной продажѣ, а съ другой—вызывала опасенія, какъ бы не распространились подозрительныя москвичамъ богословскія и богослужебныя изданія западно- и южно-русской печати. Назначенъ былъ цензоръ,—онъ же и управитель московскаго Печатнаго двора—митрополитъ Павелъ, который выполнилъ свою обязанность весьма просто. Тѣ изъ кievскихъ книгъ, которыя существовали и въ московскихъ изданіяхъ, онъ сличилъ съ послѣдними и отмѣтилъ разворѣчія. Остальныя же книги онъ раздѣлилъ на двѣ категоріи: однѣ, которыя и прежде продавались въ Москвѣ и «спору о нихъ не бывало»; другія, новыя, въ Москвѣ неизвѣстныя. Продажа «несходныхъ» и неизвѣстныхъ книгъ была затѣмъ запрещена, а продавать книги, имѣвшіяся и въ Москвѣ, значило дозволить конкуренцію. Естественно, что правительство, въ концѣ концовъ, рѣшило (1675): «книгъ никакихъ въ Москву на продажу не присылать, потому что въ Москвѣ устроенъ на то Печатный дворъ, и книгами изобильно». «Изобильно» было, въ Москвѣ, очевидно, однѣми богослужебными книгами, которыя почти исключительно и издавала казенная типографія. Но такъ какъ такими книгами только и могъ держаться тогда книжный магазинъ, то отъ своихъ попытокъ устроить въ Москвѣ спеціальную книжную торговлю малороссійскимъ предпринимателямъ пришлось отказаться. Потребность въ иного рода книгахъ этимъ, конечно, не уничтожалась. Любопытно, что и самъ вышеупомянутый цензоръ одобрилъ къ продажѣ латинскія и польскія книги, привезенныя въ 1672 году комиссіонерами кievской лавры. Тогдашняя партія старины судила, конечно, о нихъ иначе. Представители этой греческой партіи (Евфимій) прямо обвиняли русскую знать въ томъ, что при посредствѣ домашнихъ учителей она ввела въ моду латинскія (т. е. неправославныя) мнѣнія. При устройствѣ академіи та же партія хотѣла, какъ мы знаемъ, положить предѣлъ этому вторженію западной литературы путемъ введенія строгаго наблюденія за учителями иностранныхъ языковъ и путемъ безусловнаго запрещенія держать у себя иностранныя книги лицамъ, не прошедшимъ курса высшихъ наукъ (см. «Очерки», II, стр. 246). Уже самая условность этихъ мѣропріятій (независимо отъ ихъ полнаго безсилія на практикѣ) показываетъ, что преградить иностранному вліянію этотъ путь—литературный—было уже поздно и невозможно.

Вліяніе, однако, шло еще дальше простаго привоза и чтенія иностранныхъ сочиненій. Иностранныя бібліотеки и учителя доступны были, дѣйствительно, только знати. Теперь же, чѣмъ дальше, тѣмъ больше—иностранная литература и наука популяризировались посредствомъ русскихъ переводовъ. Правда, огромная часть этихъ перево-

довъ оставалась въ единственномъ экземплярѣ, представлявшемъ автографъ переводчика; притомъ многія изъ такихъ рукописей составляли достояніе правительственныхъ учреждений или вельможныхъ библиотекъ. Но, какъ бы то ни было, — начало было положено. Можно даже составить, очень неполную, правда, но все же поучительную, статистику этихъ древнѣйшихъ русскихъ переводовъ, характеризующую отчасти вкусы и потребности тогдашняго читателя. Вотъ табличка, показывающая, сколько было сдѣлано (извѣстныхъ намъ) переводовъ за три пятидесятилѣтія (съ середины XVI до конца XVII столѣтія), съ распредѣленіемъ этихъ переводовъ по отраслямъ знанія.

О Т Д Ъ Л Ъ.	Число переводовъ.		
	1550—1599	1600—1649	1650—1699
Религіозно-нравственный	3	6	28
Литературный	1	2	12
Историческій	3	1	14
Космографія и географія	4	4	7
Медицинскій	1	2	5
Энциклопедіи, словари и справочныя книги	1	4	3
Астрономія	—	—	9
Военныя науки	—	3	2
Естественныя	3	1	—
Математическія	—	—	3
Юридическія и политическія	—	1	5
Разныя	—	—	6
Итого	16	24	94

Какъ ни разнообразны были пути и формы иноземнаго вліянія, какъ ни возрасла сила этого вліянія къ концу XVII вѣка, — тѣмъ не менѣе, его побѣда была дѣломъ будущаго, дѣломъ слѣдующаго періода развитія нашего національнаго самосознанія. Въ настоящемъ же періодѣ, какъ сказано выше, элементы критики приводили не къ разрушенію націоналистическихъ идеологій, а, наоборотъ, къ ихъ болѣе точной и полной формулировкѣ. На этомъ отрицательномъ вліяніи западныхъ вѣяній намъ и нужно остановиться, прежде чѣмъ мы перейдемъ къ положительному. Итакъ, посмотримъ, прежде всего, какъ реагировалъ туземный націонализмъ на западное вліяніе.

Реакція была въ началѣ бессознательная, очень энергичная по своимъ проявленіямъ, но очень слабая по своимъ конечнымъ результатамъ, такъ какъ она исходила изъ мало-вліятельныхъ общественныхъ слоевъ. Напротивъ, къ концу вѣка націоналистическая реакція становилась все болѣе планомерной и сознательной, захватывала все болѣе вліятельные слои, по мѣрѣ того какъ выяснялась степень и размѣръ опасности, которою грозили націоналистической традиціи элементы

критики. Если, несмотря на свою планомѣрность, сознательность и вліятельную поддержку, націоналистическая реакція оказалась, въ концѣ концовъ, безсильной, то это отчасти потому, что она слишкомъ поздно сознала грозившую націонализму опасность, отчасти же потому, что ей нечего было и потомъ противопоставить этой опасности, нечѣмъ съ нею бороться. Тамъ, гдѣ этихъ причинъ не было, націоналистическая реакція обыкновенно оказывалась болѣе способной—не побѣдить, конечно, критическія тенденціи, но, по крайней мѣрѣ, противопоставить имъ болѣе сильное и продолжительное сопротивленіе и этимъ отсрочить моментъ ихъ побѣды. У насъ сопротивленіе націонализма оказалось ничтожнымъ, и потому побѣда критическихъ тенденцій вышла необычайно быстрой и полной (см. объ этомъ также «Очерки», II, стр. 169—171, 205, 216, 225, 247—248, 366—372).

Стихійная, стадная ненависть къ чужеземцамъ есть одно изъ тѣхъ элементарныхъ соціальныхъ чувствъ, которыя сопровождаютъ народное развитіе съ низшихъ ступеней до высшихъ. Оно слабо проявляется только тамъ, гдѣ вообще слабо развито сознание національной особенности. Деруледъ, тщетно проповѣдующій національную вражду русскому мужику въ имѣніи Льва Толстого—вотъ самая наглядная иллюстрація этихъ двухъ ступеней, можно бы сказать, двухъ полюсовъ развитія—национальнаго самосознанія. Смягчается это выраженіе национальной вражды лишь на высокихъ ступеняхъ культуры, подъ вліяніемъ болѣе частыхъ международныхъ сношеній и идей общечеловѣческаго единства и равенства. Но какъ тонокъ и непроченъ этотъ культурный слой космополитическихъ чувствъ и идей, мы только что могли заключить изъ поведенія такой высоко-культурной націи, какъ англійская.

Национальное самосознаніе массы въ старой Москвѣ до конца XVI в. стояло, повидимому, на уровнѣ толстовскаго мужика, т.-е. на уровнѣ примитивнаго безразличія, которое, конечно, было бы ошибочно принимать за философскую терпимость, такъ какъ единственнымъ основаніемъ его было полное отсутствіе впечатлѣній, возбуждающихъ національное чувство. Положеніе дѣла должно было измѣниться, по мѣрѣ того какъ такія впечатлѣнія стали накапливаться и перестали быть случайными и одиночными. Смутное время было своего рода эрой въ этомъ отношеніи. Ежеминутныя насилія надъ привычками и формами народнаго быта воспитали и обострили національную вражду въ жителяхъ столицы, а грабежи польскихъ шаекъ по всей Руси популяризировали то же чувство въ провинціи. Отъ недоумѣнія, вызваннаго дѣйствіями перваго самозванца, Москва скоро перешла къ самой горячей ненависти. Какъ быстро совершилась эта перемена настроенія, видно, напр., изъ того, что тотъ самый греческій архіерей, Арсеній Элассонскій, большой хитрецъ, который въ началѣ смуты присоединялся къ мнѣнію московскихъ оппортунистовъ,—что смута могла

бы быть прекращена женитьбою Василя Шуйскаго на Маринѣ, вдовѣ самозванца, — въ концѣ, выдержавши тяжелую осаду съ запертыми въ Москвѣ поляками, счелъ удобнымъ и своевременнымъ разгласить повсюду, что освобожденіе Москвы отъ поляковъ было ему предсказано во снѣ національнымъ патрономъ, препод. Сергіемъ.

Съ тѣхъ поръ освобожденная и очищенная формально Москва свято хранила свою ненависть къ «поганству». Недаромъ московская протестантская община пѣла, по окончаніи богослуженія, вмѣсто церковнаго гимна, элегическій «плачъ», сочиненный пасторомъ Беромъ въ 1610 году:

Простри, о Боже, свой покровъ
Надъ нами въ дни печали,
Чтобъ отъ злокозненныхъ враговъ
Въ конецъ мы не пропали.
Они всѣмъ сердцемъ, всей душой
Мечтаютъ изъ страны родной
Насъ истребить безслѣдно.
Не сговорится намъ никакъ:
То скажутъ такъ, то эдакъ,
И насъ же, бѣдныхъ, въ дуракъ
Оставятъ напоследокъ.
Какъ ни старайся, ни трудись,
Хоть ты для нихъ пзъ кожи лѣзь:
Ничѣмъ не угодишь имъ
Вездѣ, куда ни кинешь взоръ,
Твой взглядъ врага лишь видитъ
Самъ царь, и съ нимъ весь царскій дворъ
Насъ просто ненавидитъ.

Простой народъ не терпитъ насъ:
Кто не по немъ, такъ съ тѣмъ тотчасъ—
Корогкая расправа.
.
Отъ ихъ окровавленныхъ рукъ,
О Боже, ты спаси насъ!
Не медли же, явился вдругъ,
Отсюда изведи насъ.
Будь намъ Ты истинный Навинъ:
Среди смѣющихся равнинъ
Поставь земли нѣмецкой.
Здѣсь дольше жить для новыхъ мукъ
Твое не въ силахъ стадо:
Тяжелъ намъ варварскій Молахъ—
Признаться въ томъ ужъ надо.
Веди жъ насъ прочь, иль, внявъ мольбѣ
Несчастныхъ призови къ себѣ—
Въ небесные чертоги.

Острый моментъ прошелъ и разбѣжавшаяся было община понемногу опять собралась. Но враждебное къ ней отношеніе населенія не измѣнилось. Оно, напротивъ, усиливалось по мѣрѣ того, какъ община росла въ числѣ и старалась ближе стать къ столичному населенію. При каждомъ удобномъ случаѣ вражда эта проявлялась самымъ недвусмысленнымъ образомъ. Въ догонку иностранцамъ уличные мальчишки и взрослые посылали самыя отборныя ругательства, какъ это теперь можно услышать и увидѣть на глухихъ улицахъ Стамбула. Загянувшего въ церковь иностранца—выталкивали въ шею и подмегали за нимъ полъ: въ этомъ случаѣ турки обращаются либеральнѣе съ гяурами. Олеарій разсказалъ намъ нѣсколько болѣе серьезныхъ случаевъ, — вѣроятно, не единственныхъ въ этомъ родѣ. Нѣсколько прохожихъ шли мимо лавки цирюльника и замѣтили, что у него зъ квартирѣ виситъ человѣческій скелегъ, который, показалось имъ, шевелится въ то время, какъ хозяинъ играетъ на люгнѣ. Несмотря на ргіательную протекцію, злополучнаго цирюльника пришлось выслать изъ Москвы, а скелегъ былъ преданъ торжественному сожженію. Едва спасся отъ народной расправы и живописецъ, при пожарѣ дома котораго найденъ былъ

черепъ. Въ виду такого отношенія толпы, и иностранцамъ и русскимъ во взаимныхъ сношеніяхъ приходилось соблюдать величайшую осторожность. Мы видѣли раньше, что бояринъ, желавшій принимать у себя въ домѣ учителя-иноземца, долженъ былъ дѣлать это потихоньку отъ людей и переодѣвать своего учителя въ русское платье. Въ срединѣ столѣтія положеніе мало перемѣнилось, какъ видно изъ наблюденій Павла Алеппскаго. По его словамъ, москвичи «считаютъ чуждаго по вѣрѣ въ высшей степени нечистымъ: никто изъ народа не смѣетъ войти въ жилище кого-нибудь изъ франкскихъ (европейскихъ) купцовъ. чтобы купить у него что-нибудь, но долженъ идти къ нему въ лавку на рынокъ; а то его сейчасъ же хватаютъ со словами: ты пошелъ, чтобы сдѣлаться франкомъ». Органомъ этого раздраженія противъ иностранцевъ сдѣлалось уже въ концѣ царствованія Михаила (1643) московское духовенство. Оно жаловалось царю формально на то, что иностранцы строятъ свои церкви близко отъ русскихъ, что они «русскихъ людей у себя въ дворѣхъ держатъ и всякое оскверненіе русскимъ людямъ отъ тѣхъ нѣмецъ бываетъ». Эта челобитная послужила сигналомъ къ извѣстному уже намъ правительственному гоненію противъ иностранцевъ. Немедленно были свесены двѣ протестантскія церкви—на Покровкѣ и у Чистыхъ прудовъ; та же судьба постигла затѣмъ и третью. Далѣе послѣдовалъ рядъ указовъ о непошеніи русскаго платья, недержаніи православной прислуги иноземцами, о наказаніи ихъ смертной казнью за богохульство, объ изгнаніи изъ всѣхъ городовъ Россіи, кромѣ Архангельска, англійскихъ коммерсантовъ, наконецъ, о выселеніи всѣхъ иностранцевъ за городскую черту, во вновь отведенную имъ слободу (1652). Все это не только не утишило національной вражды къ иностранцамъ, но на первое время придало смѣлости бунтамъ. Не успѣла обстроиться Ново-Нѣмецкая слобода, какъ мы встрѣчаемся съ попыткой уличной толпы разгромить ее. Взволнованная слухами о томъ, что жена только что пожалованнаго помѣстьемъ генерала Лесли мучитъ крестьянъ и жжетъ въ огнѣ иконы, толпа бросилась на Ново-Нѣмецкую слободу, разнесла крыши на только-что перенесенныхъ туда церквахъ и разрушила въ нихъ кафедры проповѣдниковъ и алтари. Послѣ того и владѣніе помѣстьями запрещено иноземцамъ спеціальнымъ указомъ. Всѣ эти распоряженія создали для иноземцевъ то новое, болѣе спокойное и, въ сущности, болѣе опасное для націонализма положеніе, о которомъ мы говорили выше. Сами иностранцы справедливо сравнивали его съ положеніемъ рака, котораго за наказаніе рѣшено утопить въ водѣ.

Выгнать иностранцевъ изъ Москвы, не умѣя все таки обойтись безъ нихъ, значило, въ сущности, придти къ нимъ самимъ, но уже въ ихъ собственную среду, въ ихъ обстановку, за наукой. Необходимость такого обращенія не замедлила обнаружиться. Лишивъ иностранцевъ русской прислуги, правительство не затруднилось прислать рус-

скихъ дѣтей въ нѣмецкую школу, когда это понадобилось для придворнаго спектакля. Мѣщанскія дѣти показали путь царскому сыну.

Изъ русскихъ едва ли кто тогда понималъ невозможность побѣдить европеизмъ путемъ однихъ только чисто отрицательныхъ мѣропріятій, вредъ только что перечисленныхъ Злѣйшимъ врагомъ надвигавшейся европеизаціи, понявшимъ опасность во всемъ ея размѣрѣ и пытавшимся указать не одни только палліативы для борьбы съ нею, оказался на первый разъ не русскій, а славянинъ. Обстановка славянской жизни, съ ея несравненно большей опасностью иноземнаго порабощенія, съ наглядными примѣрами такого порабощенія въ самыхъ разнообразныхъ степеняхъ и періодахъ развитія, начиная съ экономической зависимости, продолжая культурной и кончая политической,—такая обстановка гораздо болѣе изощряла глазъ и настораживала воображеніе противъ всѣхъ возможныхъ опасностей, дѣйствительныхъ и мнимыхъ, иноземнаго вліянія. Только тамъ, на западѣ и можно было, къ тому же, получить подготовку, необходимую для сознательнаго сужденія о политическихъ и соціальныхъ вопросахъ. Всѣ эти условія соединялъ въ себѣ первый теоретикъ русскаго (точнѣе, славянскаго) націонализма, хорватъ Юрій Крижаничъ *). Отъ себя онъ прибавилъ къ этому горячее сердце и недюжинный умъ, силу котораго мы должны будемъ признать за знаменитымъ славяниномъ и тогда, когда точнѣе изучимъ его пособія и источники, и выдѣлимъ въ его разсужденіяхъ все то, чѣмъ онъ обязанъ западной публицистикѣ своего времени. Съ своимъ политическимъ развитіемъ, съ своими знаніями, Крижаничъ для тогдашней Россіи былъ слишкомъ крупной фігурой и, конечно, не могъ быть ни оцѣненъ, ни даже понятъ вполне. Но мы зашли бы слишкомъ далеко, если бы повторили вслѣдъ за покойнымъ историкомъ Брикнеромъ, что это былъ въ Россіи «ораторъ безъ аудиторіи, проповѣдникъ безъ кафедръ». Сочиненія Крижанича имѣлись налицо и у царя на Верху, и въ Посольскомъ приказѣ и въ частной библіотекѣ В. В. Голицына. Это все были какъ разъ тѣ читатели, къ которымъ и обращался хорватскій патріотъ съ своими политическими утопіями. Но даже и независимо отъ степени распространенности и выполнимости, идеи и наблюденія Крижанича имѣютъ для насъ огромное значеніе, какъ болѣе

*) Родившись въ 1617 году въ Хорватіи, Крижаничъ окончилъ курсъ въ католической духовной семинаріи въ Вѣнѣ, готовился къ миссіонерской дѣятельности въ Римѣ, въ 1642—1646 г дѣйствовалъ какъ униатскій миссіонеръ среди православныхъ сербовъ (въ Хорватіи), въ 1646—1650 жилъ въ Россіи, съ цѣлью соединенія церквей. Вѣроятно, въ 1660,—онъ опять пріѣхалъ въ Москву, а въ 1661,—надо думать, за нежеланіе принять второе крещеніе при переходѣ въ православіе, что должно было быть понято, какъ доказательство католическихъ тенденцій,—высланъ въ Тобольскъ, гдѣ и оставался до смерти царя Алексѣя, до 1676 г. Тамъ написана имъ «Политика», о которой говорится въ текстѣ. 1676—1680 г.—провелъ въ Польшѣ, дальше слѣды Крижанича теряются

сознательное выраженіе того, что многими смутно думалось и чувствовалось на тогдашней Руси, а также какъ самое яркое описаніе готовившагося въ русской жизни культурнаго перелома. Не имѣй мы сочиненій Крижанича, намъ пришлось бы клеить изъ случайно дошедшихъ до насъ, очень скудныхъ обрывковъ ту идейную формулировку націоналистической реакціи, которая, несомнѣнно, должна была явиться ближайшимъ результатомъ усилившагося теперь натиска европейской культуры. На наше счастье, мы можемъ замѣнить эту мозаику цѣльной картиной первостепеннаго мастера, въ которой все типичное и существенное подчеркнуто, проведено чрезъ сознаніе художника, изображено, благодаря этому, можетъ быть черезчуръ выпукло и преувеличенно рѣзко, но мы предпочтемъ эту выпуклость и рѣзкость тусклому лепету туземныхъ политиковъ, какъ предпочитаемъ изучать бытъ Японіи и Китая по европейскимъ фотографіямъ, а не по силуэтамъ безъ тѣней и перспективы, нацарапаннымъ рукой мѣстныхъ художниковъ.

Россія представляется Крижаничу, уже въ 60-хъ годахъ XVIII в., стоящей на распутьѣ двухъ культурныхъ дорогъ, изъ которыхъ одна манитъ впередъ, въ опасную даль, а другая уводитъ назадъ, въ густыя потемки. Программы обоихъ противоположныхъ между собой культурныхъ направленіи онъ формулируетъ въ цѣломъ рядѣ яркихъ сопоставленій. При каждомъ отдѣльномъ случаѣ Крижаничъ указываетъ и исходъ изъ опасной дилеммы—въ видѣ средняго пути между крайностями радикализма и реакціи: такой исходъ диктуетъ ему «разумъ».

«Есть два народа, искушающихъ Россію приманками противоположнаго характера, влекущихъ и разрывающихъ ее въ противоположныя стороны. Это—нѣмцы и греки. При всемъ различіи между собой, оба народа вполне сходятся въ одномъ, именно въ основной цѣли своихъ искушеній, и сходятся настолько хорошо, что можно было бы предположить между ними взаимный заговоръ для нашей гибели».

«1. Нѣмцы намъ рекомендуютъ всяческія нововведенія. Они хотятъ, чтобы мы бросили всѣ наши похвальныя древнія учрежденія и нравы и сообразовались съ ихъ собственными извращенными нравами и законами. Греки, напротивъ, безусловно осуждаютъ всякую новизну; безъ дальнихъ разсужденій они вопятъ и твердятъ, что всякая новизна есть зло. *А разумъ говоритъ*: ничто не можетъ быть дурно или хорошо только потому, что оно ново. Все хорошее и дурное было вначалѣ ново. Когда-нибудь было ново и то, что теперь является старинной. Нельзя принимать новизну безъ разсужденія, легкомысленно,—такъ какъ при этомъ можно ошибиться. Но нельзя и отказываться отъ хорошаго изъ-за одной его новизны, такъ какъ и тутъ возможна ошибка. Будемъ ли мы принимать или отвергать нововведеніе, во всякомъ случаѣ надо при этомъ серьезно разобрать дѣло».

«2. Греки научили насъ когда-то православной вѣрѣ. Нѣмцы намъ проповѣдуютъ нечестивыя и душепагубныя ереси. *Разумъ совѣтуетъ въ*

данномъ случаѣ: грекамъ быть весьма благодарными, а нѣмцевъ избѣ-
гать и ненавидѣть ихъ, какъ дьяволовъ и драконовъ.

«3. Нѣмцы стараются завербовать насъ въ свою школу. Подъ видомъ наукъ, они намъ подсовываютъ дьявольскія кудесничества: Астрологию, Алхимию, Магію. Они совѣтуютъ свободныя, т.-е. философскія знанія выбросить на общее употребленіе и сдѣлать доступными каждому мужику. Греки, напротивъ, осуждаютъ всякое знаніе, всякую науку и рекомендуютъ намъ невѣжество. *А разумъ говоритъ*: избѣгай дьявольскихъ кудесничествъ, какъ самого дьявола, но вѣрь, что и невѣжество не приводитъ къ добру. Что касается философіи, съ ея изученіемъ не надо такъ шумѣть и воляничать, какъ это дѣлаютъ нѣмцы, но слѣдуетъ дѣлать это съ той скромностью, съ какой изучали и преподавали философію Святые Отцы. Какъ все хорошее, употребляясь въ излишество, становится дурнымъ, такъ и философія, сдѣлавшись извѣстной всему народу, ведетъ за собой много сомнѣній и смуть и многихъ отъ труда отвлекаетъ къ праздности, какъ и видимъ теперь у нѣмцевъ. Тамъ всё безъ различія, ученый и неученый, честный и не честный, хорошо или худо—пользуются общимъ добромъ, кто для того, чтобъ найти истину, кто чтобъ доказать свое невѣрное мнѣніе, кто чтобъ оправдать свои пороки. Нельзя всякое блюдо приправлять медомъ; иначе будетъ тошно. Нельзя и философію дѣлать доступной народу, но только благородному сословію и немногимъ изъ простолюдиновъ, специально для того назначеннымъ, сколько ихъ потребуется для государственной службы. Иначе—достоинѣйшая вещь профанируется и пошлѣетъ: бисеръ мечется передъ свиньями.

«4. Нѣмцы выше всего ставятъ проповѣдь или чтеніе Евангелія: этимъ однимъ они надѣются спастись, безъ всякаго покаянія и добрыхъ дѣлъ. При этомъ они вызываютъ насъ на диспуты. Греки же совсѣмъ упразднили и осудили проповѣдь Слова Божія. И диспуты или соборы они осудили, запретили. *А разумъ совѣтуетъ*: во-первыхъ, поревновать о покаяніи и добрыхъ дѣлахъ, а во-вторыхъ, и проповѣди не отвергать. Но нельзя поручать или позволять проповѣдь первому попавшемуся, неопытному или не твердому въ нравственныхъ правилахъ, священнику или монаху. Проповѣдовать можетъ одинъ епископъ или старѣйшіе, наиболѣе испытанные жизнью и распростившіеся съ мірскими соблазнами монахи. Простымъ священникамъ достаточно читать проповѣди по книгѣ, да и это не всѣмъ можно дозволить, а то въ Германіи и въ Польшѣ всякій пьяный попъ можетъ проповѣдовать Слово Божіе.

«5. Нѣмцы совѣтуютъ намъ предаваться всякой тѣлесной распущенности, а монашескую жизнь, посты, ночныя бдѣнія и всяческое умерщвленіе плоти учатъ презирать. Греки требуютъ, чтобы мы соблюдали не только истинное и похвальное христіанское воздержаніе, но вводятъ особые виды ложнаго благочестія и фарисейскаго суетвѣрія. Они хотятъ тѣлесными омовеніями смыть душевныя пятна, а священническими мо-

литвами думаютъ очистить тѣлесную нечистоту и т. п. *А разумъ* внушаетъ: никоимъ образомъ не допускать тѣлесной распущенности и не пренебрегать дѣлами покаянія и умерщвленія плоти. Новые же, подозрительные и неизвѣстные отцамъ виды благочестія предварительно хорошенько изслѣдовать.

«6. Въ политическихъ дѣлахъ греки совѣтуютъ намъ во всемъ поступать по образцу турецкаго двора. Будучи сами неучены и неопытны въ этомъ вопросѣ, они ничего другого и не могутъ намъ сказать объ этомъ, кромѣ того, что видятъ въ Турецкой Портѣ. Нѣмцы же порицаютъ всѣ турецкіе нравы, законы и учрежденія. Все, что носитъ имя турецкаго—тѣмъ самымъ слыветъ у нихъ за варварское, не гуманное, скотское. *А разумъ* говоритъ, что и у турокъ есть кое-какія отличныя и достойныя подражанія учрежденія,—разумѣется, не всѣ.

«7. Нѣмцы утверждаютъ, что въ вопросахъ вѣры нельзя никого осуждать и ссылаются при этомъ на Писаніе, гдѣ сказано: «не судите, да не судимы будете». А греки приводятъ другой текстъ: «Кто будетъ вамъ проповѣдовать что-либо сверхъ того, что вы пріяли,—да будетъ анаеема». И они выводятъ изъ этого и другихъ подобныхъ мѣстъ, что мы должны ихъ однихъ слушать и имъ безъ разсужденій вѣрить. *А разумъ* совѣтуетъ: нѣмецкія и всякія другія ереси, осужденныя уже отцами и соборами, отвергать безъ всякаго новаго разсмотрѣнія, а если возникнетъ новый спорный вопросъ, отцами и соборами не разсмотрѣнный и не рѣшенный,—сперва выслушать и разобрать, какъ слѣдуетъ, а безъ разбора не осуждать. (Напр., вопросы о числѣ таинствъ, о чистилищѣ).

«8. Греки намъ льстятъ и подслуживаются баснями, стараясь возвеличить старину этого государства, а въ дѣйствительности только позорятъ его и ставятъ въ невыгодное положеніе. Они назвали Москву третьимъ Римомъ и сочинили смѣшную сказку, будто русское царство есть римское и ему приличествуютъ знаки достоинства римской имперіи. Нѣмцы же на насъ клеветуютъ и всячески стараются доказать міру, что русское государство есть простое княжество, а государи—великіе князья. Тѣ и другіе отказываютъ здѣшнему государству въ имени и чести «королевства» (регнум); тѣ и другіе сходятся въ лживой передержкѣ, будто римское государство—не простое королевство, а нѣчто высшее, и будто здѣшнее государство не можетъ сравняться съ нимъ въ достоинствѣ, если не получитъ этого достоинства отъ римскаго государства. *А разумъ* говоритъ, что государей можетъ ставить одинъ Богъ, а не римскій императоръ; что дать корону и титулъ—не значитъ сдѣлать кого-либо государемъ, а просто значитъ—уступить ему свое мѣсто. Русское царство такъ же велико и славно, какъ римское, никогда ему не подчинялось и равно ему по власти.

«9. Изъ вышесказаннаго ясно видно, какимъ разнообразнымъ и гибельнымъ искушеніямъ подвергаютъ насъ нѣмцы и греки, давая

намъ притомъ совѣты прямо противоположныя. Въ самомъ дѣлѣ. 1) Первые хотятъ заразить насъ своими новизнами, вторые огульно осуждаютъ всякую новость и подъ фальшивымъ именемъ древности навязываютъ намъ свои нелѣпости. 2) Одни сѣютъ ереси; другіе хотя и научили насъ истинной вѣрѣ, но примѣшали къ ней схизму. 3) Одни предлагаютъ намъ смѣсь истинныхъ наукъ съ дьявольскими; другіе восхваляютъ невѣжество и всѣ науки считаютъ ересью. 4) Одни питаютъ тщетную надежду спастись одною проповѣдью; другіе пренебрегаютъ проповѣдью и предпочитаютъ полное молчаніе. 5) Одни, допуская всяческую распущенность въ жизни, влекутъ насъ на широкій и просторный путь гибели; другіе, призывая къ фарисейскому суевѣрію и ханжеству, указываютъ тѣмъ путь—болѣе узкій, чѣмъ даже тѣсный и истинный путь спасенія. 6) Одни—всѣ турецкіе государственные порядки считаютъ варварскими, тираническими и негуманными, другіе все находятъ прекраснымъ и похвальвымъ. 7) Одни находятъ, что нельзя никого судить; другіе утверждаютъ, что надо осуждать, не выслушавъ. 8) Одни не отдаютъ должной чести этому государству; другіе приписываютъ ему честь вымышленную, суетную, нелѣпую и невозможную. 9) Расходясь, такимъ образомъ, почти во всемъ, отлично сходятся въ томъ, что одинаково ненавидятъ нашъ народъ, презираютъ его, злословятъ и осыпаютъ злѣйшими клеветами и нареканіями».

Эта длинная цитата не только резюмируетъ взгляды автора на занимающій насъ вопросъ, но она рисуетъ и его самого во весь ростъ. Такъ отнестись къ борьбѣ греческаго и нѣмецкаго культурнаго вліянія могъ только человекъ, чуждый тому и другому: человекъ, который смотрѣлъ на протестантизмъ и на православіе глазами католика, который ненавидѣлъ грека и нѣмца, какъ балканскій славянинъ, притомъ славянинъ той пограничной области, гдѣ высококомѣрное господство грека соприкасалось съ предприимчивой эксплуатаціей нѣмца. Крижаничъ хорошо понималъ, притомъ, что за грекомъ стоятъ лишь традиціи прошлаго, которыя не устоятъ передъ славянскимъ возрожденіемъ, тогда какъ нѣмцу принадлежитъ будущее, и бороться съ нимъ можно только его же оружіемъ—дальнѣйшимъ развитіемъ собственной культуры. Естественно, что уже и по этой причинѣ,—а не только по одному тому, что нападать на грековъ въ православной Москвѣ было не особенно ловко,—всѣ усилія Крижанича направлены на борьбу не съ греками, а съ главнымъ, по его мнѣнію, врагомъ славянства, съ нѣмцами. Сила его ненависти къ этому врагу равняется только тому невольному уваженію, которымъ онъ былъ проникнутъ по отношенію къ европейской культурѣ.

Мы видимъ, что этотъ теоретикъ націонализма выступаетъ на литературную борьбу съ багажомъ, рѣзко различнымъ отъ того, какой находился въ распоряженіи у доморожденныхъ противниковъ иноземнаго вліянія. Его публицистическая проповѣдь представляетъ, сооб-

разно съ этимъ, двѣ очень несходныя стороны. Когда онъ проклинаетъ русскую любовь къ иностранцамъ, мы воображаемъ, съ какимъ удовольствіемъ поддакивали въ тагть его рѣчамъ самые закоренѣлые московскіе старовѣры. Но стоило ему перейти къ средствамъ для излѣченія лютаго недуга, и можно себѣ легко представить, какъ вытягивались ихъ лица: самъ Петръ Великій говорилъ съ ними устами патриота-славянина.

«Народы даровитые и мудрые обыкновенно эксплуатируютъ другіе менѣе культурные народы (*populos rudiores*)». Такова исходная точка зрѣнія Крижанича. «Такимъ образомъ прежде греки завлекали въ обманъ другіе народы; теперь ихъ совращаютъ германцы». Больше всѣхъ пострадали отъ нѣмцевъ славяне. Главная причина этого—слабость собственнаго культурнаго развитія. «Нашъ народъ занимаетъ середину между дикими и цивилизованными (людскими) народами». Съ цивилизованными народами славяне не выдерживаютъ никакого сравненія. «Мы по наружности—посредственны, а иностранцы красивы и потому надменны и горды. Мы неразговорчивы, а они бойки на языкъ, говорливы и полны насмѣшливыхъ, ругательныхъ, язвительныхъ рѣчей. Мы медленны умомъ и просты сердцемъ, они исполнены всякихъ хитростей. Мы—гуляки и расточители, приходу и расходу счета не держимъ; богатство свое раздариваемъ и разбрасываемъ; они скупы, жадны, всецѣло преданы корысти. День и ночь они только и смотрятъ, какъ бы наполнить свои мѣшки, а надъ нашими пирами и угощеніями смѣются. Мы лѣнны къ работѣ и къ наукамъ, они трудолюбивы и не проспять ни одного удобнаго часа. Мы довольствуемся убогой одеждой и умѣреннымъ образомъ жизни; они требовательны, утопаютъ въ роскоши и изнѣженности, никогда ничѣмъ не насытятся, но постоянно алчутъ и хотятъ имѣть все больше и больше. Мы живемъ въ убогой землѣ, они рождены въ богатыхъ роскошныхъ странахъ и привозятъ къ намъ всякіе, къ роскоши и наслажденіямъ служащіе товары: бисеръ, шелкъ, драгоценные камни, вино, сахаръ, фрукты, и этими приманками дурачатъ насъ, какъ ловцы звѣрей. Мы просто говоримъ и думаемъ и просто въ нашихъ дѣйствіяхъ поступаемъ: если поссоримся, то и опять помиримся; у нихъ—сердце скрытное, неискреннее, злопамятное, наружность притворная; обиднаго слова они не забудутъ до смерти, и если разъ съ тобою поссорятся, то уже во вѣки истиннаго мира не учинятъ, но и послѣ примиренія всегда ищутъ случая къ отместкѣ».

Преимущества иностранцевъ ослѣпляютъ насъ и отдаютъ имъ въ руки. «Обладая языкомъ самымъ несовершеннымъ, чуть не нѣмымъ, некрѣпкіе разумомъ и почти вовсе лишенные красоты, мы дивимся чужому краснорѣчію, мудрости, разуму, искусству въ играхъ и льстивымъ шуткамъ; и подобно птицамъ, которыя тѣмъ легче попадаютъ въ силки охотника, чѣмъ больше любопытствуютъ и дивятся на охот-

ничья затѣи, и мы, зазѣвавшись на иноземческую красоту, бываемъ ими одурачены и сведены съ ума: они вакинутъ намъ узду, сядутъ на шею и ѣздятъ, сколько хотятъ». Очаровавъ насъ своею красотой и обманувъ своимъ умомъ и хитростью, иностранцы затѣмъ «берутъ съ насъ дань, обдираютъ и доводятъ до нищеты своею алчностью и ненасытностью, побиваютъ, вредятъ и приводятъ въ отчаяніе своею скрытностью, тайнымъ, вѣчнымъ, неутешнымъ ядомъ и коварствомъ, срамятъ, осмѣиваютъ и выставляютъ на позоръ всѣмъ народамъ своей бѣсовской надменностью».

Но неужели славянамъ суждено навсегда остаться несовершеннѣйшими въ семьѣ цивилизованныхъ народовъ? Можетъ ли быть измѣнено только что описанное отношеніе между ними и германцами?

По смыслу мнѣній Крижанича, оно отчасти не можетъ, отчасти не должно, но отчасти необходимо должно измѣниться.

Отношеніе *не можетъ* измѣниться, если изображенныя національныя свойства считать неотъемлемыми, прирожденными чертами національнаго характера. Крижаничъ такъ именно и склоненъ смотрѣть на нѣкоторыя изъ упомянутыхъ національныхъ свойствъ. «Неразговорчивость, лѣность, пированіе и расточительность — говоритъ онъ, суть наши урожденные примѣты или четыре первоначальныя свойства, съ которыми мы, кажется, родились». Рядомъ съ этими природными недостатками онъ отмѣчаетъ и природныя достоинства, — которыя *не должны* измѣняться. «Первое наше счастье отъ рожденія состоитъ, кажется, въ томъ, что мы не честолюбивы... и довольствуемся простымъ образомъ жизни».

Оставляя въ сторонѣ эти неизмѣнныя національныя особенности, Крижаничъ сводитъ остальные различія между славянами и иностранцами, повидимому, къ одному — къ *степени знанія и умнѣнія*. Незнаніе — есть такой порокъ, который неизбежно излѣчивается временемъ. «Всякій человѣкъ рождается простъ и во всемъ неискусенъ. Медленно онъ растетъ тѣломъ, еще медленнѣе совершенствуется разумомъ. Несмѣтное множество людей едва на четырнадцатомъ году возраста, или еще позднѣе осматриваются кругомъ себя и начинаютъ разумѣть, что такое свѣтъ и что въ немъ происходитъ... Но не только отдѣльный человѣкъ, а и цѣлыя народы медленно учатся и совершенствуются разумомъ. Проходитъ много времени, пока народы узнаютъ истину, и оставляютъ древнія свои дурныя (вредныя) идеи и законы. Только тогда они, что непригодно, научаются дѣлать пригоднымъ, что было неудобно, превращаютъ въ удобное, что было хорошо, перемѣняютъ на лучшее; что было мерзко, превращаютъ въ приличное и почетное... Очень удачно Флоръ, римскій историкъ, приравниваетъ исторію своего народа къ четыремъ возрастамъ человѣческимъ (дѣтству, молодости, возмужалости и старости)... Мы можемъ съ полнымъ основаніемъ и всякій другой народъ примѣнить къ этому раздѣленію эпохъ: это покажетъ намъ не только то, что всѣ человѣческія вещи непостоянны и пере-

мѣнячивы, но также и то, что всякій народъ не сразу и не въ одинъ мигъ, а спустя много времени научается разуму и мудрости, которая нужна для общественной жизни и государственнаго устройства...» «Какъ храбрость, такъ и мудрость переходитъ отъ народа къ народу. Нѣкоторые народы были въ древности отлично знакомы со всякими науками, а теперь несвѣдуши, напр. египтяне, греки, евреи. А другіе въ древности были грубы и дики, а теперь въ ремеслахъ и во всякой мудрости на диво славны,—напр. нѣмцы, французы... Пусть же никто не говоритъ, будто бы намъ, славянамъ, путь къ наукамъ былъ заказанъ какимъ-то рокомъ небеснымъ и будто бы мы не можемъ или не должны учиться наукамъ. Какъ другіе народы не въ одинъ день и не въ одинъ годъ, но постепенно, одни отъ другихъ учились, такъ и мы можемъ научиться, если захотимъ и если постараемся».

Однако, не всѣ славяне находятся въ достаточно благопріятныхъ условіяхъ для воспріятія наукъ. Напрасно было бы и думать о возрожденіи славянства въ Помераніи, Силезіи, Чехіи и Моравіи,—какъ странахъ, вполнѣ уже онѣмеченныхъ. Задунайскіе славяне (болгары, сербы и хорваты) тоже «давно уже потеряли не только свои государства, но и всю свою силу, языкъ и разумъ... Помочь имъ вполнѣ и возстановить ихъ государства въ теперешнія трудныя времена—невозможно: можно только посредствомъ книгъ открыть этимъ людямъ умственные очи, чтобъ они сами научились понимать свое достоинство и начали бы думать о своемъ возрожденіи». Всего легче разбудить народное самосознаніе у поляковъ, но и для этого нужна посторонняя помощь. Такую помощь всѣмъ славянамъ можетъ оказать только московскій государь; на него обращены всѣ взоры славянства, онъ одинъ можетъ собрать разсѣянное стадо и вернуть человѣческій видъ народамъ, превращеннымъ въ скотское состояніе вліяніемъ иностранцевъ, словно чудодѣйственнымъ напиткомъ Цирцеи. Не даромъ Богъ возвысилъ на Руси славянское королевство, подобнаго которому по силѣ, славѣ и величеству не было до сихъ поръ среди славянства. «У другихъ народовъ мы видимъ, что когда какое-либо государство достигаетъ высшей точки своего могущества, тогда у этого народа и начинаютъ процвѣтать науки... Поэтому мы полагаемъ, что теперь пришло, наконецъ, время и нашему народу учиться наукамъ».

Но для того чтобы сыграть такую роль въ славянствѣ, Россія сама должна очиститься отъ грѣха «чужебѣсія»—ксеноманіи, которому и она подвержена, хотя и въ меньшей степени, чѣмъ остальные славяне. «Пора уже разъ навсегда прогнать отъ себя нѣмцевъ: мерзко вѣкъ учиться и не научиться, а такъ и остаться навѣки на ученической скамьѣ».

Путемъ такой философіи исторіи Крижаничъ приходитъ къ своему беспощадному анализу рускаго «чужебѣсія». Разъ коснувшись этой темы, онъ уже не жалѣетъ красокъ, не останавливается передъ пре-

увеличеніями, не смущается никакими радикальными рѣшеніями: лишь бы спасти Россію отъ той печальной судьбы, которая мерещится ему въ болѣе или менѣе близкомъ будущемъ на основачіи прецедентовъ остального славянства. Онъ тщательно выискиваетъ въ современной Россіи наличные слѣды европейскаго вліянія, старается отыскать ихъ вредную сторону и взываетъ къ національнымъ силамъ, долженствующимъ замѣнить иностранныя. Не довольствуясь настоящимъ, онъ рисуетъ опасности будущихъ заимствованій, предостерегаетъ отъ нихъ и отстаиваетъ противъ нихъ сохранившіеся еще на Руси старые добрые нравы.

Двѣ главныя основы государственнаго могущества суть матеріальное богатство и военная сила. Въ обоихъ отношеніяхъ могущество Россіи подвергается опасности отъ нашествія чужеземцевъ. Богатство страны они высасываютъ, какъ купцы. Они умѣютъ за бездѣнокъ купить русскіе товары, по огромнымъ цѣнамъ навязать имъ свои. И притомъ, они привозятъ такіе товары, которые часто лишь служатъ для дальнѣйшаго развращенія русскихъ иноземнымъ вліяніемъ, а вывозятъ такіе, которые необходимо нужны самой Россіи для дальнѣйшаго роста ея населенія (напр. зерновой хлѣбъ). Военная сила Россіи тоже не столько увеличивается, сколько умаляется наймомъ иностранцевъ на военную службу. Уже не говоря о наймѣ цѣлыхъ корпусовъ, Крижаничъ рѣшительно высказывается и противъ приглашенія иностранныхъ офицеровъ, которое въ большихъ размѣрахъ практиковалось въ тридцатыхъ годахъ и приняло особенно большіе размѣры въ шестидесятыхъ, т.-е., какъ разъ тогда, когда онъ писалъ свою книгу. «Полковники» научили русскія войска не тому, чему надо: они ввели тяжелый строй, который пригоденъ лишь для войны на западной границѣ, но совсѣмъ не годится для борьбы съ южными кочевниками, со стороны которыхъ грозитъ Россіи главная опасность. Научиться стрѣлять изъ пищалей и носить длинныя копья мы могли бы и сами; но, введя эти реформы въ пѣхотѣ, мы напрасно приняли нѣмецкій конный строй, вмѣсто того, чтобы удержать выработанную опытомъ «легкую ѣзду и гусарскій строй». Съ другой стороны, приглашеніе иностранцевъ на высшія мѣста закрыло дорогу своимъ, которые потеряли надежду выслужиться, а слѣдовательно, и охоту служить. Простые же солдаты, слыша иноземную команду, потеряли увѣренность въ себѣ, въ своемъ превосходствѣ надъ прочими народами, не пріобрѣтая въ то же время довѣрія къ своимъ новымъ начальникамъ.

Какъ же помочь дѣлу? Крижаничъ стоитъ здѣсь за радикальныя мѣры. И купцовъ, и полковниковъ надо выгнать изъ русской земли: первыхъ оставить лишь въ пограничныхъ торговыхъ пунктахъ, вторыхъ удержать лишь до тѣхъ поръ, пока они передадутъ свои знанія русскимъ людямъ; впрочемъ, имъ и передавать больше нечего кромѣ того, что они уже дали.

Но Крижаничъ идетъ дальше: отъ опасностей наличныхъ онъ переходитъ къ опасностямъ, грозящимъ въ будущемъ. На рубежѣ тѣхъ и другихъ стоятъ заимствованія отъ иностранцевъ во всемъ строѣ жизни. Крижаничъ съ удовольствіемъ констатируетъ незначительность этихъ заимствованій и тотъ полный контрастъ, который продолжаетъ существовать между европейскимъ строемъ жизни и русскимъ. Этотъ именно контрастъ вызываетъ большую часть иностранныхъ обличеній и насмѣшекъ. Крижаничъ готовъ признать, что не все въ этихъ обличеніяхъ лживо, во вездѣ онъ запальчиво отвѣчаетъ иностранцамъ—упреками, что они впадаютъ въ другую крайность. Какъ всегда, такъ и въ данномъ случаѣ онъ видитъ исходъ въ золотой серединѣ. Вѣрно, конечно, что русское жильё крайне неудобно, что окна низки, отдушины для прохода дыма малы, и при топкѣ по черному дымъ стоитъ въ избѣ и слѣпить глаза. Правда, что подъ лавками въ избѣ вѣчная грязь, поезда немыты, нельзя продохнуть отъ вони. Но дома иностранцевъ располагаютъ къ изнѣженности: мраморные полы ихъ такъ часто моются и содержатся въ такой чистотѣ, точно алтари; нельзя гостю и плюнуть на полъ, чтобы служанка тотчасъ не подтерла. «Не будемъ подражать черезчуръ заботливой и не жалѣющей труда чистоплотности нѣмцевъ», которые хотятъ превратить временную земную гостиницу въ небесные чертоги. Домъ долженъ быть чистъ, утварь должна быть удобная для мытья, а не чеканная и рѣзная, мебель пусть будетъ простая, сдѣланная изъ туземнаго, а не изъ привознаго матеріала. Точно также и относительно платья. Совершенно вѣрно, что русскій костюмъ не удовлетворяетъ ни одному элементарному требованію отъ одежды: онъ неудобенъ, непроченъ, дорогъ и тяжелъ; его покроемъ безобразитъ народъ, и безъ того некрасивый; къ тому же, при немъ приходится платокъ прятать въ шапку, деньги—въ ротъ, а ножи, бумаги и всякія нужныя вещи въ голенища, что вызываетъ смѣхъ и отвращеніе иностранцевъ. Недостатки фасона приходится возмѣщать богатствомъ и яркостью матеріи, дороговизной отдѣлки—мѣхами или драгоценными камнями. У европейскаго покроя нельзя отрицать разумности и цѣлесообразности. Но зато у нихъ каждый годъ новая мода: нѣтъ такихъ украшеній и формъ, служащихъ комфортабельности или пикантности, которыхъ бы они не выдумали. И «стоитъ во Франціи или въ другомъ мѣстѣ придумать что-нибудь пикантное, игривое, легкомысленное или роскошное, какъ нѣмцы тотчасъ набѣгутъ и усердно переймутъ это». Русскимъ слѣдуетъ создать покроемъ средній между восточнымъ и западнымъ: нужно, чтобы онъ былъ дешевъ, удобенъ для движенія, проченъ и легокъ.

Русскій образъ жизни Крижаничъ безусловно предпочитаетъ европейскому. Европейцы «высшей задачей человѣка считаютъ наслажденіе» и утверждаютъ, что «человѣкъ созданъ Богомъ для того, чтобы пользоваться мірскими удовольствіями». Такимъ образомъ, «Евангеліе Христа

они превращаютъ въ евангеліе наслажденія». Нашу же простоту жизни они считаютъ варварствомъ. Русскій человѣкъ, кое-какъ выславшись, на лавкѣ или на печи, подъ собственной свитой вмѣсто одѣяла и на соломенной подстилкѣ вмѣсто тюфяка, спѣшитъ спозаранку на работу или на царскую службу. Иностранецъ нѣжится до полудня на пуховикахъ и перинахъ и, едва вставъ съ постели, тотчасъ принимается за вкусный завтракъ. Онъ проводитъ время въ праздности, разнообразя досугъ играми, пѣснями, музыкой, танцами, услаждая свой вкусъ тысячными блюдами со всевозможными приправами. И въ то время, какъ высшій классъ — «сарданапалы» или «лежаки» утопаютъ въ роскоши, безземельные рабочіе погружены въ нищету: «цѣлый годъ они не пьютъ ничего, кромѣ чистой воды, и питаются недостаточно однимъ хлѣбомъ». «А на Руси, по Божьей милости, всѣ люди, какъ самые богатые, такъ и самые бѣдные, ѣдятъ ржаной хлѣбъ, рыбу, мясо и пьютъ, если у кого нѣтъ пива, по крайней мѣрѣ, квасъ». Они живутъ въ топленныхъ избахъ, тогда какъ на Западѣ бѣдняки терпятъ зимою стужу, такъ какъ «дрова продаются на вѣсъ». «Такимъ образомъ, крестьянское и батрацкое житье гораздо лучше на Руси, чѣмъ во многихъ странахъ». Въ высшей степени важное преимущество русскаго социальнаго строя Крижаничъ видитъ въ томъ, что всѣ общественныя группы несутъ общественную службу, и никому не позволено оставаться празднымъ. На Руси нѣтъ непроизводительныхъ общественныхъ группъ, или число ихъ доведено до минимума. «Крестьяне пахутъ землю и готовятъ хлѣбъ; ратные люди терпятъ холодъ и голодъ, проливаютъ кровь и полагаютъ головы; дворяне воюютъ, суды судятъ, думы думаютъ, совѣтами и трудами своими королю и народу служатъ; церковники и иноки Бога за людскіе грѣхи молятъ. При такомъ порядкѣ всѣ добрые и производительные классы нѣчто дѣлаютъ, что служить на общую пользу всѣмъ классамъ». Въ этотъ перечень Крижаничъ умышленно не вводитъ ни торговцевъ, ни того, что мы назвали бы интеллигенціей. Торговцы, съ его точки зрѣнія, подобно праздной части дворянства, суть непроизводительный, «некорыстный» классъ — «бездѣльники». Интеллигенція же, сверхъ извѣстнаго минимума, тоже представляется ему дармоѣдами, приносящими больше вреда, чѣмъ пользы. Разводить ихъ слишкомъ широкимъ преподаваніемъ либеральныхъ наукъ — нѣтъ никакой надобности.

Переходимъ къ политическимъ взглядамъ Крижанича. Отношеніе его къ русскому самодержавію — очень для него характерно. Онъ постоянно и настойчиво повторяетъ, что неограниченная монархія есть одна изъ важнѣйшихъ основъ національнаго благополучія. Кромѣ ходячаго аргумента, намъ уже не разъ встрѣчавшагося, что самодержавіе лучше обезпечиваетъ свободу cadaго отъ посягательствъ вліятельныхъ лицъ и классовъ, — защищаетъ слабого отъ сильнаго, — Крижаничъ имѣетъ при этомъ въ виду другое основаніе, для него самого

особенно важное. То дурное, что ему не нравится на Руси, большею частью вытекаетъ, по его мнѣнію, какъ мы видѣли, изъ *незнанія*, т.-е. является плодомъ простыхъ ошибокъ, которыя могутъ быть исправлены законодательствомъ. «Худое законодательство» — вотъ коренной источникъ всѣхъ золъ; слѣдовательно, радикальная законодательная реформа — таково, въ его глазахъ, должно быть коренное лѣкарство. Неограниченность власти государя нужна ему, какъ необходимое условіе такого, радикальнаго законодательства. Вотъ почему онъ особенно горячо ее защищаетъ. Если, однако, присмотримся ближе, то увидимъ, что и тутъ разсужденіе Крижанича располагается по его обычной схемѣ: Россія — крайность, славянство — другая; истина — посрединѣ.

«Не умѣютъ наши люди ни въ чемъ мѣры держать и среднимъ путемъ ходить, но всегда увлекаются въ крайности. Въ иномъ мѣстѣ у насъ государственное устройство въ конецъ распущено, своевольно, безпорядочно; въ другомъ — въ конецъ твердо, строго и жестоко. На всемъ широкомъ свѣтѣ нѣтъ королевства такого безряднаго и распустнаго, какъ польское, и нигдѣ нѣтъ такого крутаго владѣнія, какъ въ этомъ славномъ государствѣ русскомъ». Въ той и другой крайности виновными оказываются иностранцы и ихъ вліяніе. «Нѣмцы заразили свѣтъ распустой и ограниченіемъ самовластія». Отъ нихъ заимствовали и ляхи свою анархію. Начинателемъ русскаго «людодерства» (тиранства) былъ царь Иванъ Грозный; но онъ же «хотѣлъ сдѣлать изъ себя варяга, нѣмца, римлянина, — кого угодно, только не русскаго и не славянина». Не довольствуясь прибрѣтеннымъ имъ могуществомъ, онъ захотѣлъ суетной славы: его «домашніе бахари» (Крижаничъ не подозреваетъ, что въ томъ числѣ были и славяне и складываетъ вину на грековъ, въ частности на патріарха Іеремію, пріѣзжавшаго въ Россію въ 1588 году) придумали ему вздорныя и вредныя сказки о томъ, что Москва — третій Римъ и что ея государь — потомокъ Августа. Эта суетность была «не послѣдней и немаловажной причиной и московскаго разоренія, и иныхъ народныхъ бѣдствій, которыя претерпѣлъ нашъ народъ со времени царя Ивана». Возвращаясь къ «людодерству», Крижаничъ подчеркиваетъ его вредъ во внутренней и вѣншей политикѣ. Крутое владѣніе сопровождается поборами, обогащающими царскую казну, но въ несравненно бѣльшихъ размѣрахъ разоряющими народъ; этими финансовыми тягостями объясняется и опустѣніе страны. Съ другой стороны, та же крутость отталкиваетъ сосѣдей: такъ Малороссія, испробовавъ московскаго владычества, поспѣшила вернуться подъ власть ляховъ.

Противъ обѣихъ крайностей, «людодерства» и «распусты» Крижаничъ часто и длинно полемизируетъ. Важнѣе этой полемики для насъ остановиться на томъ положительномъ пониманіи «умѣреннаго владѣнія», — своего рода «просвѣщеннаго абсолютизма», — которое развиваетъ

нашъ публицистъ. Это пониманіе и составляетъ ту золотую середину, къ которой тяготѣютъ въ данномъ случаѣ симпатіи Крижанича.

«Спроси всѣхъ королей на свѣтѣ, какъ они понимаютъ свои обязанности, и ты много найдешь такихъ, которые не смогутъ объяснить тебѣ отчетливо, зачѣмъ Богъ создалъ на свѣтѣ королей и зачѣмъ далъ имъ власть надъ народами. Мнятъ короли, что не они созданы ради королевствъ и народовъ, а королевства ради нихъ. Мнятъ короли, что ихъ дѣло только господствовать, повелѣвать и пользоваться удовольствіями, а не промышлять день и ночь о народномъ благѣ». Въ дѣйствительности, каково бы ни было происхожденіе власти, она ограничена: или Божьей волей (въ случаѣ если власть получена отъ пророка или путемъ завоеванія), или волей народа (въ избирательныхъ монархіяхъ—власть каждаго государя отдѣльно, въ наследственныхъ—власть «перваго, который вольно отъ народа избранъ на царство», что практически сводится къ тому же). Такимъ образомъ, хотя «король никакой человѣческой власти не подчиненъ и никто не можетъ его судить или казнить, но онъ подчиненъ заповѣди Божіей и общественному мнѣнію (общему гласу). Эти двѣ цѣпи связываютъ короля и напоминаютъ о его долгѣ. Кто не заботится ни о страхѣ Божіемъ, ни о срамѣ людскомъ, ни о славѣ грядущихъ временъ, тотъ есть настоящій, полный тиранъ». Для короля тиранство—такой же позоръ, какъ для воина трусость, для женщины невѣрность, для дворянина ложь и для богача—кража.

«Забота и обязанность и главное дѣло короля есть—*мудство учинить блаженнымъ*». Къ этому онъ долженъ направлять всѣ свои помыслы. Конечно, и для царя не все возможно. Никакой царь не можетъ надѣяться достигнуть того, чтобы его царство было абсолютно свободно отъ всякихъ недостатковъ. Онъ не можетъ заставить землю дать плодъ или заставить море произвести рыбу. Но изъ этого не слѣдуетъ, чтобы государь имѣлъ право оставить безъ исправленія то, что можетъ быть исправлено. И какъ бы онъ ни былъ полонъ добрыхъ намѣреній, онъ долженъ помнить, что послѣ него можетъ явиться наследникъ иного рода. Лучшимъ средствомъ закрѣпить надолго свои улучшенія являются «добрые уставы». Но хорошее законодательство дается не легко. Для него необходимо «много думать и взвѣшивать, и въ книгахъ искать, и голову утруждать. Среди другихъ заботъ, королю и его думнымъ людямъ не легко держать въ памяти столько расчетовъ и разныхъ соображеній и подбирать себѣ наглядные примѣры прошлыхъ временъ по книгамъ». Для всего этого, а также и въ видѣ противоядія противъ лживыхъ совѣтовъ льстецовъ, «разумному государю необходимо держать при себѣ, по крайней мѣрѣ, хоть одного или двухъ философовъ, со званіемъ напоминателя или лѣтописца, которые бы раскрывали ему другую сторону истины или, если бы побоялись сами

объявить истину, то хотя бы указали книги, которые не боятся говорить правду».

Эту роль Крижаничъ, очевидно, предназначалъ для самого себя. Желаніе его, повидимому, и исполнилось, но только въ довольно своеобразной формѣ. Онъ былъ отправленъ въ почетную ссылку, съ значительнымъ жалованьемъ,—порядокъ, который онъ формально одобряетъ и считаетъ похвальнымъ въ своей «Политикѣ». Оттуда, изъ далекаго Тобольска, онъ могъ безопасно для государственнаго спокойствія и для себя самого подавать свои политическіе совѣты; надъ этимъ онъ и работалъ нѣсколько лѣтъ подрядъ. Плодомъ такихъ добровольныхъ занятій въ невольномъ уединеніи и явилась та единственная въ своемъ родѣ философія націонализма, которая бросаетъ такой яркій свѣтъ на стремленія времени.

Совѣты, которые давалъ Крижаничъ, далеко не ограничивались критикой существующаго; не ограничивались и одними отрицательными совѣтами—запереть для иностранцевъ Россію. На досугѣ онъ обдумалъ и предложилъ правительству цѣлый рядъ положительныхъ реформъ во всѣхъ отдѣлахъ государственной и общественной жизни. По его плану, самъ царь долженъ былъ оповѣстить народу объ этихъ реформахъ въ длинной рѣчи, которую сочинилъ для него Крижаничъ и которая заключала въ себѣ резюме всѣхъ его предположеній. Въ разборъ всѣхъ этихъ предположеній намъ нѣтъ нужды вдаваться, но необходимо остановиться нѣсколько на ихъ общей связи, чтобы въ pendant къ націоналистическимъ вождедѣніямъ характеризовать также и размахъ реформаторской мысли Крижанича.

Не будетъ, кажется, ошибкой признать центральной мыслью положительной программы Крижанича—необходимость развитія производительныхъ силъ Россіи. «Наипервая причина силы государства—множество народа». «Люди плодятся и множатся тамъ, гдѣ есть пища, одежда и прочее необходимое для человѣческаго существованія: миръ, хорошо устроенное правительство. Люди повсюду размножаются настолько, насколько ихъ можетъ понести и прокормить земля, т.-е. насколько земля и вода родитъ хлѣба, скота, рыбы, звѣрей для корма и одежды; деревьевъ, камней и рудъ на постройку жилищъ, на утварь и орудія. А гдѣ земля неплодна, тамъ по необходимости и населеніе будетъ рѣдкое. Правда, въ иныхъ мѣстахъ, напр. въ Голландіи, жителей гораздо больше, чѣмъ земля можетъ прокормить, но такіе люди живутъ великимъ развитіемъ промышленности и торговли, а пищу и одежду привозятъ извнѣ. Напротивъ, въ другихъ мѣстахъ земля плодородна, а людей мало. Причинами могутъ быть моръ, голодъ, война. Этого рода причины не производятъ длительного дѣйствія: послѣ нихъ земля скоро заселяется вновь. Если же она остается малолюдной полвѣка и больше, то причины должны быть другія». Это—или слабое развитіе земледѣлія, ремесла и торговли, въ связи съ экономической

эксплуатаціей страны иностранцами, или дурные законы и крутое тиранство (связанное съ тяжелыми поборами). Такимъ образомъ, мѣры къ увеличенію густоты населенія могутъ быть троякія: во-первыхъ, непосредственныя законодательныя распоряженія, во-вторыхъ, всѣ мѣры направленные къ подъему туземной промышленности и торговли и къ ограниченію иностранной конкуренціи, въ-третьихъ, наконецъ, перемѣны въ государственномъ строѣ въ связи со здоровой финансовою политикою.

Непосредственными законодательными мѣрами для заселенія страны и размноженія населенія могутъ быть всевозможныя облегченія и поощренія браковъ. Напротивъ, ничего нѣтъ хуже для этой цѣли какъ переселенія и приписка къ подданству иностранцевъ. Римская имперія потому разрушилась, что, по мѣрѣ завоеваній, становилась все болѣе и болѣе смѣшанной изъ разныхъ народностей. Напротивъ, русское государство сильно своимъ племеннымъ единствомъ. Крижаничъ рѣзко возстаетъ противъ переименованія иностранцевъ и противъ приглашенія на службу чуждыхъ иноземныхъ корпусовъ.

Для развитія производительныхъ силъ Россіи Крижаничъ даетъ цѣлую массу практическихъ указаній. Въ основу онъ кладетъ тутъ, какъ мы знаемъ, полное изгнаніе иностранцевъ. Враждебно настроенный къ классу посредниковъ-торговцевъ, онъ не хочетъ передавать барышей иностранной торговли и въ руки частныхъ русскихъ предпринимателей. Онъ всецѣло предоставляетъ ихъ казнѣ, которая должна взять всю оптовую торговлю съ иностранцами въ свои собственныя руки. Нѣтъ возможности перечислить здѣсь всѣ отдѣльные совѣты о розыскѣ новыхъ природныхъ богатствъ, объ устройствѣ новыхъ промышленныхъ предпріятій, введеніи новыхъ орудій производства и обработки русскаго сырья, объ открытіи новыхъ торговыхъ пунктовъ, о заимствованіи европейскихъ формъ кредита и т. д.

Что касается здоровой финансовой политики, Крижаничъ исходитъ изъ критики тиранскихъ поборовъ, выбивающихъ изъ населенія въ десять разъ больше, чѣмъ доходитъ до самой казны. Основнымъ принципомъ, который онъ «не устаетъ повторять», для него служитъ правило: богатъ народъ, богатъ и король; бѣденъ народъ, бѣденъ и король. Онъ предлагаетъ всѣ государственныя поборы замѣнить однимъ прямымъ налогомъ, взимавіе котораго поручить мѣстному самоуправленію.

Остается деликатный вопросъ о введеніи монархической власти въ извѣстныя законныя рамки. Крижаничъ думаетъ рѣшить этотъ вопросъ путемъ предоставленія разнымъ классамъ умѣренныхъ привилегій—«слободинъ». Нисколько не ограничивая самодержавія, такія «слободины», напротивъ, могутъ лишь быть ему полезны. «У французовъ и испанцевъ вельможи имѣютъ извѣстныя, связанныя съ происхожденіемъ, вольности; зато тамъ не чинится никакого нечестія королямъ

ни отъ простаго народа, ни отъ войска. А у турокъ, гдѣ нѣтъ никакихъ присвоенныхъ родовитости вольностей, государи зависятъ отъ глупости и дерзости простыхъ пѣшихъ стрѣльцовъ. Что захотятъ янычары, то и долженъ дѣлать король. Дерзость чернаго люда, которая при насъ (эти рѣчи Крижаничъ влагаетъ въ уста Алексѣя Михайловича) дважды обнаружилась, вамъ вѣдома. Вся эта дерзость отъ того происходитъ, что у бояръ нѣтъ силы и крѣпости, которая бы могла черныи народъ держать на уздѣ и удерживать отъ бѣшенныхъ поступковъ. Вотъ для чего мы и хотимъ вамъ, слугамъ нашимъ, дать надлежащія вольности». Такимъ образомъ, по мысли Крижанича, предлагаемыя имъ «слободины» должны создать своего рода *rouvoirs intermédiaires* Монтескье, которыя и превратятъ «людодержство» въ «умѣренное владѣніе».

Однако же, эти вольности не должны ограничивать самодержавіа, даются условно и во всякое время могутъ быть отобраны. Съ другой стороны, они не должны нарушать основныхъ принциповъ московской государственной практики, которые Крижаничъ безусловно одобряетъ: «запертія рубежей», т.-е. запрещенія ѣздить за границу, и, затѣмъ, того правила, что всякій приписанъ къ своему дѣлу и не можетъ оставаться празднымъ. Только для «именитыхъ бояръ» сдѣлано исключеніе: послѣ трехлѣтней непрерывной службы при дворѣ, или въ войскѣ, бояринъ освобождается до самой смерти отъ придворной службы и не обязанъ ни пріѣзжать ко двору, ни даже жить въ Москвѣ, если не будетъ вызванъ спеціально. По русскимъ понятіямъ, такое положеніе, правда, равнялось опалѣ. Для высшаго класса — «князей» — создается новое право — владѣть укрѣпленными городами. Дворянство освобождается отъ тѣлесныхъ наказаній и, за исключеніемъ государственныхъ преступленій, отъ конфискаціи имущества. Сослать дворянина государь, однако, сохраняетъ право безъ суда. Право владѣть помѣстьями принадлежитъ однимъ дворянамъ. Имъ же дается преимущественное право обучаться высшимъ наукамъ. Торгово-промышленный классъ освобождается отъ всякихъ монополій и привилегій. Ремесленники получаютъ цеховое устройство. Городамъ дается самоуправленіе. Остальныя вольности, проектируемыя Крижаничемъ, сводятся къ уничтоженію унижительныхъ формъ обращенія къ власти (битье челомъ, именованіе просителя холопомъ и употребленіе уменьшительнаго имени) и къ установленію титуловъ и внѣшнихъ знаковъ почета.

Напуганный прецедентами западно- и южно-славянской исторіи, Крижаничъ особенно боится, чтобы «чужебѣсіе» не превратилось въ «чужевладство», т.-е. въ господство чужой династіи, которое, въ концѣ концовъ, приведетъ къ политическому порабощенію. Чтобы предупредить эту возможность, долженъ быть, по его мнѣнію, выработанъ точный законъ о наследованіи престола. Государь долженъ обязать народъ присягой ни въ какомъ случаѣ не допускать до престола чужеземца.

Въ случаѣ прекращенія династіи, престолъ переходитъ къ одному изъ двѣнадцати «князей», составляющихъ высшее сословіе государства и пожалованныхъ въ это званіе государемъ.

Нельзя отрицать, перебирая всѣ эти реформаціонные проекты перваго теоретика русскаго націонализма, что мы здѣсь попадаемъ въ сферу идей петровской реформы. Национализмъ соприкасается съ реформой въ томъ основномъ утвержденіи Крижанича, что для борьбы съ высшей культурой необходимо и дѣйствительно одно лишь средство—развитіе собственной самодѣятельности. Разница только въ томъ, что для Петра, какъ и для самой русской исторіи, самодѣятельность была не средствомъ, а естественно вытекавшимъ изъ условій времени результатомъ. Даже тамъ, гдѣ Петръ дѣйствовалъ цѣлесообразно и сознательно—въ сферѣ вопроса о развитіи производительныхъ силъ Россіи, это развитіе было для него или само по себѣ цѣлью, или даже средствомъ для ближайшей цѣли—усиленія государственныхъ ресурсовъ. Для Крижанича, какъ для политически подготовленнаго мыслителя, эта ближайшая цѣль рѣшительно перестала имѣть то самостоятельное значеніе, которое она получила въ стихійномъ процессѣ русскаго государственнаго развитія. Онъ систематически принижалъ государство до роли служителя національной жизни. Но, далѣе, и самая самодѣятельность національной жизни служила для Крижанича лишь средствомъ для дальнѣйшей цѣли—для сохраненія національной особенности, безъ которой немислимо было достиженіе на этотъ разъ уже послѣдней, самой завѣтной цѣли всей его публицистической дѣятельности—освобожденія славянства и соединенія церквей. Отчасти эта отдаленность главной цѣли, отчасти серьезная политическая подготовка и давали Крижаничу ту прозорливость, которой отличается его постановка вопроса. Чтобы найти въ собственно русской публицистикѣ такую сознательную постановку національнаго вопроса, намъ надо бы было перескочить черезъ цѣлое столѣтіе, прямо къ Болтину, т.-е. ко временамъ Екатерины II.

Въ промежуткѣ осуществилось очень многое изъ предложеннаго Крижаничемъ царю Алексѣю. Но осуществилось много и такого, передъ одной возможностью чего Крижаничъ приходилъ въ трепетъ и ужасъ. Вся внѣшность европейской культуры была усвоена безъ всякихъ измѣненій, совершенно механически, т.-е. именно такъ, какъ опасался Крижаничъ. И сладкая ѣда, и мягкія постели, и изящная праздность высшаго класса, и роскошь обстановки, костюма, жилья—все это стало обыденными явленіями. Пережила Русь и то самое «чужевладство», котораго Крижаничъ боялся больше всего. На престолѣ сидѣла иностранка и женщина. Произошло это вслѣдствіе того самаго отсутствія закона о престолонаслѣдіи, на которое Крижаничъ настойчиво обращалъ вниманіе правительства. Словомъ, во всемъ ходѣ культурной жизни не было и признаковъ той сознательности, которой отъ нея тре-

бовалъ Крижаничъ. И тѣмъ не менѣе, всѣ страхи Крижанича оказались совершенно напрасными. Россія не денаціонализировалась, а по-немногу ассимилировала себѣ воспринятые механически элементы иноземныхъ культуръ. Не значило ли это, что самая возможность опасности, указанной Крижаничемъ, для Россіи не существовала, если при самыхъ худшихъ условіяхъ Россія все-таки ея избѣгла?

Денаціонализація можетъ совершиться только тогда и тамъ, гдѣ не создано еще достаточно сильныхъ элементовъ національной организаціи, или же тамъ, гдѣ національная замкнутость уже уступила мѣсто сознательному космополитизму. Россія не представляла ни того, ни другого условія. Она вышла изъ того состоянія безформенной этнографической массы, въ которомъ возможно было полное онѣмеченіе славянства восточно-нѣмецкихъ земель. И она не дошла до того уровня культурности, на которомъ оказалось возможно распространеніе эллинистическаго космополитизма. Въ своемъ промежуточномъ состояніи она была неуязвима даже для несравненно болѣе сильнаго и болѣе проникающаго вглубь иноземнаго вліянія, чѣмъ какое было возможно при данныхъ условіяхъ: при низкомъ уровнѣ развитія Россіи и при ея гигантскихъ размѣрахъ. Вотъ почему самая идея о возможности такой опасности, какъ денаціонализація, не могла даже въ голову придти въ то время никому другому, кромѣ искушеннаго чужимъ опытомъ иностраннаго наблюдателя. По той же причинѣ не наступило тогда еще время и для созвальной постановки національнаго вопроса. Идеи и чувства, диктовавшія Крижаничу его опасенія, несомнѣнно, были налицо и въ русскомъ обществѣ, но Крижаничъ разсматривалъ ихъ въ увеличительное стекло своей исторической и политической науки. Вотъ почему доза иноземнаго яда, которую жизнь ввела или готова была ввести въ русскій организмъ, казалась ему достаточно сильной, чтобы вызвать заразу и повлечь за собой роковой исходъ, — тогда какъ спокойный діагнозъ и самочувствіе туземнаго организма находили эту дозу едва-едва достаточной, чтобы произвести дѣйствіе обычной цѣлительной прививки.

Новѣйшая сводная работа по вопросу объ иноземныхъ вліяніяхъ (преимущественно XVII в.) принадлежитъ *А. Брикнеру*: см. его *Geschichte Russlands bis zum Ende des 18 Jahrhunderts. Band I, Überblick der Entwicklung bis zum Tode Peters des Grossen. Gotha 1896* (въ *Geschichte d. europ. Staaten, Heeren u. Uckert*). См. также болѣе ранніе работы *того же автора*: *Die Europäisierung Russlands. Land und Volk, Gotha, 1883* и *Beiträge zur Kulturgeschichte im XVII Jahrhundert. Leipzig, 1887*. Давныя объ измѣненіи домашней обстановки и образа жизни см. у *Забѣлина*, *Домашній бытъ русскихъ царей въ XVI и XVII в. Ч. I. 3-е изд. 1895* и *его же* *Домашній бытъ русскихъ царицъ, 2-е изд. 1870*. О придворныхъ спектакляхъ Алексѣя Михайловича см. (кромѣ *Забѣлина*) статью *Н. С. Тихонравова*, *Первое пятидесятилѣтіе русскаго театра (Сочиненія, т. II, М. 1898)* и *его же*: *Русскія драматическія произведенія 1672—1725 гг., т. I-й съ только что названною статьей въ видѣ предисловія. Спб. 1874*. См. также *П. О. Морозова*, *Исторія русскаго театра, I, Спб. 1889*. *Исторія стипендіатовъ, посланныхъ Годуновымъ за границу,*

рассказана, отчасти по новымъ источникамъ—въ статьѣ кн. *Н. В. Голицына*, Научно-образовательныя сношенія Россіи съ Западомъ въ началѣ XVII вѣка. Въ Чтеніяхъ Общ. Ист. и Др. 1898, II. Для исторіи нѣмецкой слободы см. *Fechner*, Chronik der Evangelischen Gemeinden in Moskau. I. M. 1876. Д. В. *Цытова*, Протестантство и протестанты въ Россіи до эпохи преобразованій въ Чтеніяхъ О. И. и Др. 1889. IV и 1890, I. Эпизодъ съ кievской книжной лавкой въ Москвѣ рассказанъ по архивнымъ даннымъ въ брошюрѣ *В. Эйфорна*: «Книги кievской и львовской печати въ Москвѣ въ третью четверть XVII в.». М. 1894. Таблица переводныхъ сочиненій XVI—XVII в. составлена почти исключительно по своду данныхъ этого рода, сдѣланному *И. А. Шляпнымъ* въ его книгѣ: Св. Димитрій Ростовскій и его время (1651—1709). Спб. 1891. О Крижаничѣ см. *Матвѣя Соколова*, Матеріалы и замѣтки по старинной славянской литературѣ, II, Спб. 1891 (Изъ Журн. Мин. Нар. Просв.). Очень слаба брошюра *Иована П. Рогановича*, Крижаничъ и его философія націонализма. Казань, 1899 (тутъ же библиографія). Устарѣла монографія *Арс. Маркевича*, Юрій Крижаничъ и его литературная дѣятельность, въ Варшавскихъ университетскихъ извѣстіяхъ, 1876, № 1 и 2. Главное сочиненіе Крижанича издано не въ полномъ видѣ *П. Безсоновымъ* подъ заглавіемъ: Русское государство въ половинѣ XVII вѣка, М. 1859, 6 выпусковъ или два тома. Новое изданіе всѣхъ сочиненій Крижанича, предпринятое Обществомъ Исторіи и Древностей Росс., остановилось пока на второмъ выпускѣ.

II. Официальная победа критических элементов надъ націоналистическими.

I.

Официальный характеръ победы.—«Средній» путь Крижанича и отношеніе къ реформѣ царя Алексѣя Михайловича.—Умѣренно-національная реформа В. В. Голицына; ея казовой характеръ; ея претензіи и ея неудачи во внѣшней и внутренней политикѣ.—Контрастъ между государственной дѣятельностью Голицына и времяпрепровожденіемъ молодого Петра. — Консервативная реакція послѣ сверженія Софьи.—Насильственный и крайній характеръ реформы Петра.—Объясненіе этого характера условіями обстановки—культурной и соціальной—Причина особаго ослабленія націоналистической культурной традиціи—въ предшествовавшей религіозно-церковной реформѣ и ея послѣдствія: моральномъ кризисѣ въ средѣ правящаго класса.—Причина особаго ослабленія социальныхъ препятствій—въ отсутствіи господствующаго класса.—Отказъ дворянства отъ политической роли и безсиліе правящей бюрократіи воспользоваться положеніемъ. — Легкость волненій, какъ послѣдствіе этого; ихъ исключительно отрицательный характеръ —Безсиліе олигархической тенденціи правящей бюрократіи. — Гдѣ искалъ Петръ опору своей власти? — Его отношеніе къ бюрократіи и боярству.—Недовѣрчивость Петра и ея результаты—въ выборѣ сотрудниковъ.—Послѣдствія этого выбора: необходимость дѣлать все лично и недовѣрѣ къ избраннымъ —Отсутствіе подходящихъ сотрудниковъ, какъ новая причина индивидуальности реформы.—Дворянская гвардія, какъ самая надежная опора власти.—Майоры гвардіи, какъ самые довѣренные люди.—Взгляды современниковъ на личную роль Петра въ его реформѣ. Цѣли и средства реформы, признававшіяся самимъ Петромъ. Его отношеніе къ европейской культурѣ.—Отношеніе къ собственной реформѣ: недостатокъ систематичности и обдуманности въ связи съ личными свойствами ума и воли. — Грубая общая схема и идея долга не замѣняютъ общаго плана — Петръ самъ учится на реформѣ. — Отраженіе этихъ чертъ на главныхъ частяхъ реформы: войско, флотъ, Петербургъ.—Выводъ.—Отношеніе націонализма къ реформѣ. — Расколъ, какъ готовое знамя для національной оппозиціи. — Его религіозный характеръ; отсутствіе принципиальной розни съ никоніанствомъ; относительный и временный характеръ разногласій въ депетровскую эпоху — Благодаря реформѣ Петра, религіозный протестъ окончательно превращается въ національный и принимаетъ принципиальную окраску. — Широкое распространеніе недовольства.—Отношеніе религіознаго протеста къ соціальному до Петра.—Попытка союза обоихъ теченій на Дону 1688 г. и причина ея неудачи.—Новый факторъ политическаго протеста, стрѣльцы: въ ихъ рукахъ національный протестъ получаетъ свою формулу (1698).—Неудачная попытка націоналистической оппозиціи опереться на южныя окраины (1705—1708).—Аристократическая оппозиція, ея возраженія противъ войска, флота, Петербурга —Основанія ея недовольства въ классовыхъ интересахъ.

Мы познакомились съ тѣмъ, какъ проникали въ русскую народную жизнь, начиная съ конца XV до конца XVII в., все въ большемъ и большемъ размѣрѣ, элементы критики, заимствованные изъ жизни европейскихъ народовъ. Мы видѣли также и то, что первымъ, ближай-

шимъ послѣдствіемъ этого вліянія критическихъ элементовъ—была совсѣмъ не реформа національной жизни, а лишь, по контрасту, болѣе или менѣе сознательная формулировка ея мѣстныхъ особенностей, сложившихся мало-по-малу въ національный идеалъ, не подлежавшій никакой реформѣ.

Дальнѣйшей ступеню того же вліянія,—къ которой мы теперь должны перейти,—была побѣда критическихъ элементовъ надъ только что сложившимся національнымъ идеаломъ,—побѣда, выразившаяся въ полной реформѣ жизни. Но на первый разъ побѣда эта оказалась внѣшней и формальной, такъ какъ совершена была насильственными мѣрами власти, а не внутреннимъ процессомъ эволюціи народной жизни. Вотъ почему мы назвали эту побѣду, характеризующую второй періодъ въ исторіи борьбы между русскимъ націонализмомъ и критикой, терминомъ «официальной». Первой нашей задачей въ этомъ отдѣлѣ и будетъ—показать, почему таковъ именно оказался характеръ первой побѣды критики надъ націонализмомъ въ русской жизни.

Возможность *иного* способа побѣды горячо старался, какъ мы видѣли, доказать Крижаничъ, мечтавшій разрѣшить вопросъ о реформѣ въ полной гармоніи съ національнымъ вопросомъ. Но предлагавшійся Крижаничемъ «средній» путь уже потому долженъ былъ оказаться невозможнымъ, что основанъ былъ на наличности такого условія, котораго не было въ русской жизни тогда и которое не скоро явилось потомъ. Какъ при заимствованіи чужого, такъ и при сохраненіи своего, онъ предполагалъ полную сознательность выбора, основаннаго на указаніяхъ «разума». Именно этой-то сознательности и не было, а за ея отсутствіемъ весь ходъ развитія критическихъ воззрѣній и національнаго самосознанія пошелъ совсѣмъ не такъ, какъ бы хотѣлось нашему публицисту. Критическіе элементы заимствовались стихійно, полусознательно, механически, и въ такія же стихійныя, полусознательныя формы вылился національный протестъ. Такимъ образомъ, споръ и рѣшился не путемъ добровольнаго компромисса, а путемъ открытой борьбы и,—какъ ея перваго результата,—«официальной побѣды» крайнихъ воззрѣній.

Неизбѣжность такого исхода, правда, выяснилась далеко не сразу; и въ шестидесятыхъ годахъ XVII в., когда писалъ Крижаничъ, онъ еще имѣлъ полную возможность предаваться своимъ иллюзіямъ. Элементы критики, при первомъ своемъ распространеніи, на самомъ дѣлѣ очень близко соприкасались съ элементами національнаго идеала, при первой его формулировкѣ. Уже не говоря о созданіи, при помощи чужеземныхъ элементовъ, новаго монархическаго идеала XVI в., и новый бытовой идеалъ XVII в. находился съ элементами критики въ близкомъ сосѣдствѣ. Какъ мы уже говорили раньше, и критика, и національное самосознаніе, въ своихъ первыхъ источникахъ, были двумя сторонами одного и того же социальна-психическаго процесса, совершавшагося въ

одной и той же общественной средѣ, часто даже въ однихъ и тѣхъ же людяхъ. Этой средой былъ единственно доступный западному вліянію тѣсный придворный кругъ; этими лицами, совмѣщавшими западничество съ націонализмомъ, были, въ сущности, всѣ знаменитые западники XVII ст. Даже такое специфически-національное движеніе, какъ расколъ, имѣло однимъ изъ своихъ источниковъ, какъ намъ уже извѣстно *), просвѣтительно реформаторскія стремленія кружка, собравшагося при молодомъ тогда царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ. Да и самъ царь, въ началѣ царствованія, казалось, какъ нельзя лучше подходилъ къ этому культурному моменту первоначальнаго равновѣсія—или, вѣрнѣе сказать, безразличія—элементовъ критики и націонализма въ русскомъ сознаниі. На счастье «тишайшаго» царя Алексѣя, ему не пришлось напрягать силъ для какой-нибудь крупной исторической борьбы, не пришлось идти къ цѣли черезъ трупы и топить въ винѣ и крови укору мятущейся совѣсти, какъ приходилось это дѣлать царю Ивану или Петру. Все это было бы для него совершенно непосильно. Ему привелось царствовать въ промежуткѣ между двумя историческими катастрофами, въ моментъ сравнительнаго затишья. Но и въ этомъ затишьѣ все-таки было такъ много движенія, внутренней жизни, что къ концу царствованія Алексѣй Михайловичъ остался позади времени, съ своимъ пассивнымъ и лѣнливымъ оптимизмомъ. Остроумный историкъ московской Руси наглядно изобразилъ намъ историческую роль царя Алексѣя въ позѣ человека, занесшаго ногу впередъ, да такъ и застывшаго въ нерѣшительности. Но нерѣшительность «тишайшаго» царя была еще значительнѣе, чѣмъ можно было бы заключить изъ этой позы. Онъ вообще не любилъ никакихъ беспокойныхъ позъ. Онъ никуда не шелъ и даже не стоялъ: онъ просто спокойно возлежалъ на грудѣ обломковъ стараго и новаго, не разбирая, откуда что идетъ, и подобралъ подъ себя, что было помягче. вмѣстѣ съ этой грудой его несло по теченію. Иногда это мирное плаваніе прерывалось неожиданными толчками изъ міра дѣйствительности, врывавшимися неприятнымъ диссонансомъ въ созданную царемъ искусственную атмосферу покоя и комфорта. Тогда царь волновался,—волновался какъ ребенокъ, которому мѣшаютъ играть въ любимую игрушку. Но за него все устраивали другіе, и царь опять успокаивался до ближайшаго слѣдующаго толчка, который опять приходилъ неожиданно и проходилъ безслѣдно. Чѣмъ дальше, однако же, тѣмъ подводные толчки становились чаще и сильнѣе, тѣмъ яснѣе должно было стать, наконецъ, что кругомъ не все мирно и тихо; что тѣ элементы, которые такъ спокойно улеглись рядомъ въ обиходѣ царя,—суть элементы враждебные другъ другу; что подъ видимой тишью

*) См. «Очерки», II, 40—1. Ср. тамъ же на стр. 136—7 замѣчанія Костомарова о расколѣ, какъ о движеніи по существу своему новомъ и передовомъ для того времени, когда оно возникло.

я гладью скрывается незримая борьба, сталкиваются противоположныя теченія, которыя скоро разнесутъ на клочки самыя основы его благополучія. Что-нибудь подобное долженъ былъ чувствовать и самъ царь Алексѣй, сталкиваясь на своемъ жизненномъ пути съ безпокойными людьми, которые не желали знать и цѣнить его душевнаго мира, которые хотѣли борьбы и смѣло шли на нее. Когда, съ одной стороны, упрямый Аввакумъ отъ имени святой старины грозно звалъ царя на страшный судъ съ собой и заклиналъ его стряхнуть съ себя мірское забытье; когда, съ другой, молодой мечтатель, сынъ его любимца (Ордина-Нащокина) бѣжалъ на вольный просторъ мысли и жизни, за «рубезъ», отъ вымотавшаго душу московскаго болота,—тогда и «тишайшему» должно было, хотя минутами, придти въ голову, что мирное сосѣдство элементовъ критики и націонализма не есть нѣчто само собою разумѣющееся и вѣчное. Но, дорожа больше всего своимъ покоемъ, тишайшій царь отговялялъ отъ себя черныя мысли, слѣдуя своему правилу: «нельзя чтобы не поскорбѣть и не прослезиться, и прослезиться надобно, да въ мѣру, чтобы Бога наипаче не прогнѣвать». Съ этимъ благоразумнымъ режимомъ, въ которомъ самое горе обращалось на пользу, какъ своего рода гигиена души, царь Алексѣй кое-какъ сводилъ свои счеты съ настоящимъ, не безъ содѣйствія крѣпкихъ московскихъ тюремъ,—а о будущемъ не думалъ. Такимъ образомъ то среднее, скорѣе нейтральное положеніе между старымъ и новымъ, которое онъ занялъ, ничего не имѣло общаго съ «среднимъ» путемъ реформы, на который призывалъ его Кряжаничъ. Робкаго и смирнаго царя, пасовавшаго передъ самыми пустыми жизненными затрудненіями, уступавшаго всякому сколько-нибудь настойчивому проявленію воли, просто-душно удивлявшагося, что въ дворцовомъ вѣдомствѣ слушаютъ его приказаній*), и принужденнаго,—чтобъ его на самомъ дѣлѣ слушали,—дѣйствовать либо хитростью, либо слезами, либо, въ крайнемъ случаѣ, недалеко отъ слезъ нервнымъ крикомъ и жалкими словами,—такого царя невозможно представить себѣ въ роли смѣлаго реформатора.

Между тѣмъ, прошло царствованіе Алексѣя и вмѣстѣ съ нимъ прошелъ первый шансъ помирить или хоть отдалить столкновеніе возникающихъ противорѣчій при помощи заблаговременнаго компромисса. Эти противорѣчія, едва обрисовавшіяся въ началѣ царствованія, къ концу уже выяснились совершенно: уживавшіеся когда-то рядомъ элементы критики и націонализма разошлись далеко въ противоположныя стороны.

Были, однако, люди, которые думали, что время среднихъ рѣшеній все еще не прошло безвозвратно. Надежда на реформу въ націоналистическомъ духѣ казалась тѣмъ основагельнѣе, что на самомъ дѣлѣ

*) «Слово мое *теперь* во дворцѣ добрѣ страшно и дѣлается безъ замедленья», шутливо пишетъ онъ Никою.

къ концу вѣка въ области національной мысли, національнаго чувства обнаружилась совершенно новыя, небывалыя явленія. Въ своемъ мѣстѣ мы объ этихъ явленіяхъ говорили: всѣ онѣ сводятся къ подъему религіознаго сознанія—въ литературѣ (Великое Зерцало, см. «Очерки» II 174—5), искусствѣ (новыя теченія въ иконографіи, II, 209—12), въ богословской наукѣ («хлѣбопоклонная» ересь, II, 153), въ школьномъ дѣлѣ («Академія» II, 246—7). Всѣ эти явленія связаны также и источникомъ ихъ происхожденія: латинско-польскимъ вліяніемъ. Мы видѣли, что то же вліяніе обновляло и формы быта, не порывая въ то же время окончательно съ національной традиціей, чему содѣйствовало особенно посредничество Кіева. Словомъ, казалось, элементы реформы въ умѣренно-національномъ духѣ всѣ были на лицо. Скоро явился и реформаторъ, кн. В. В. Голицынъ, любимецъ Софьи. Реформаторъ имѣлъ широкую программу, лично имъ изложенную одному иностранцу (Невиллю). Въ программѣ значилось и устройство регулярной арміи, и постоянныя международныя отношенія Россіи съ заграницей, и полная свобода совѣсти и вѣры, и заграничное воспитаніе дѣтей, и замѣна натурального хозяйства денежнымъ, и даже освобожденіе крестьянъ съ землей. Голицынъ хотѣлъ заселить окраины, оживить торговлю и пути сообщенія въ Сибири, «нищихъ сдѣлать богатыми, дикарей превратить въ людей, хижины—въ каменные дворцы». Словомъ, здѣсь было очень много хорошихъ словъ и добрыхъ намѣреній: не было только единства мысли и практической точки опоры для осуществленія программы. За отсутствіемъ того и другого, не было и такого импульса, который бы помогъ претворить слово въ дѣло, и какихъ потомъ оказалось больше чѣмъ нужно въ реформѣ Петра, грѣшившей, какъ сейчасъ увидимъ, обратнымъ недостаткомъ. Петръ прямо начиналъ съ дѣла, а потомъ собирался подумать. В. В. Голицынъ имѣлъ въ своемъ распоряженіи цѣлыхъ 7 лѣтъ, въ теченіе которыхъ могъ бы такъ же далеко уйти въ своей реформѣ, какъ Петръ, если бы онъ, подобно Петру, былъ человекомъ дѣла. вмѣсто того, настоящее дѣло застало его врасплохъ и было сдѣлано вполне неудачно. Нельзя сказать, чтобы его время было занято и заботой о самосохраненіи, такъ какъ и въ этомъ отношеніи Софьѣ пришлось, наконецъ, замѣвить его болѣе рѣшительнымъ Шакловитымъ.

Каковы же получились итоги семилѣтняго режима умѣренной реформы? Послушаемъ современника и панегириста регентства Софьи кн. Куракина, который находитъ, что «никогда такого мудраго правленія въ російскомъ государствѣ не было»,—противопоставляя его притомъ не только предыдущимъ «правленіямъ», но и послѣдующему. Къ сожалѣвію, главному аргументу Куракина— всего труднѣе повѣрить: будто бы, въ противоположность предыдущему и послѣдующему времени, семилѣтнее регентство отличалось господствомъ «правосудія» и «умноженіемъ народнаго богатства». «И торжествовала тогда

довольность народная», развиваеѣ онѣ свою мысль, «такъ что всякій легко могъ видѣть: когда праздничный день въ лѣтѣ, то всѣ мѣста кругомъ Москвы за городомъ, сходныя къ забавамъ, какъ Марьины роши, Дѣвичье поле и проч. наполнены были народомъ, которые въ великихъ забавахъ и играхъ бывали, *изъ чего можно было видѣть* довольность житія ихъ». Эта сентиментальная наивность совсѣмъ не подѣ стать обычнымъ реалистическимъ сужденіямъ Куракина; но тѣмъ интереснѣе для насъ это отступленіе отъ обычной манеры: онѣ повторилъ, очевидно, то, что слышалъ кругомъ себя ребенкомъ*). Мы узнаемъ здѣсь, какихъ похвалъ добивалась и какими довольствовалась голицынская реформа. Это была очевидная фальсификація общественнаго мнѣнія, котораго Голицынъ имѣлъ всѣ основанія бояться.

Такою же рекламу видимъ и во внѣшней политикѣ, непосредственно находившейся въ рукахъ Голицына. Единственный успѣхъ этой политики, вѣчный миръ съ Польшей (1686) и окончательная уступка Кіева, былъ подготовленъ неоднократно совѣтами гетмана Самойловича; но тотъ-же Самойловичъ еще настойчивѣе совѣтовалъ даже и за эту цѣну не обязываться къ походу на Крымъ, невозможность взятія котораго онѣ ясно видѣлъ и предсказывалъ. Такъ же скептически онѣ относился и къ идейной цѣли борьбы съ турками, въ качествѣ которой уже тогда — и такъ же преждевременно, по мнѣнію Самойловича, — выдвинулось освобожденіе балканскихъ народностей. Самойловичъ указывалъ, что въ лучшемъ случаѣ задача эта выпадетъ на долю поляковъ, которые собственно и рисовали русскимъ дипломатамъ, уже въ 70-хъ годахъ, перспективу славянскаго объединенія. Но, пока русскіе будутъ бесплодно возиться съ Крымомъ, говорилъ Самойловичъ, поляки и ихъ союзники австрійцы — будутъ работать на Дунаѣ и за Дунаемъ, и конечно, не въ пользу православной идеи. Если ужъ хотятъ сдѣлать эту идею задачей національной политики, такъ пусть преслѣдуютъ ее не тамъ, гдѣ она пока еще недосыгаема, а у себя подѣ бокъ, въ польскихъ владѣніяхъ. Когда, наконецъ, московскіе дипломаты откровенно выставляли послѣдній мотивъ въ пользу войны, необходимость отвлечь внутреннее недовольство внѣшними предпріятіями, то Самойловичъ и тутъ подавалъ дѣловой совѣтъ, которому вскорѣ и послѣдовалъ Петръ. «Не надо держать въ Москвѣ много ратныхъ людей: лучше разослать ихъ по пограничнымъ мѣстностямъ для постройки крѣпостей, а въ Москвѣ держать одинъ-два полка надежныхъ людей, которыхъ привлечь къ себѣ милостями». За эти совѣты, которымъ нельзя отказать ни въ умѣ, ни въ знаніи дѣла, Самойловичъ получилъ выговоръ, а потомъ и отставку. Голицынъ предпочиталъ осторожной, дѣловой политикѣ — громкую, рассчитанную на казовой эффектъ. Послѣ перваго неудачнаго похода на Крымъ, онѣ выставилъ такія условія мира, ка-

*) Въ годъ паденія Софьи Куракину было 13 лѣтъ.

кихъ Екатерина II, вѣкъ спустя, не рѣшилась продиктовать послѣ своихъ побѣдъ, а послѣ второго—разгласилъ по всей Европѣ о своихъ необычайныхъ успѣхахъ. Какъ бы для наглядной иллюстраціи непрактичности московскаго правительства, его дипломаты появились во Франціи, чтобы убѣждать Людовика XIV помогать «недругу (Австріи) противъ друга (Турціи)», а оттуда проѣхали въ Испанію, чтобы сдѣлать въ истощенной странѣ крупный денежный заемъ. Въ активѣ регентства, подведенномъ Куракинымъ, это значило, что правительство Софьи заботится объ «алліансахъ» и поддерживаетъ «корришпонденцію со всѣми дворами въ Европѣ».

Первымъ условіемъ для блестящей внѣшней политики была коренная военная реформа, которую и проектировалъ Голицынъ, какъ мы видѣли. Но на дѣлѣ и здѣсь реформа не пошла дальше эффектнаго предисловія—заявленіа уничтоженія (еще при Теодорѣ) мѣстничества, и безъ того ничему уже не мѣшавшаго въ военномъ дѣлѣ. Голицынъ воспользовался для своихъ походовъ той реорганизаціей арміи (по территориальнымъ округамъ, см. «Очерки», I, 164), которая давно уже проведена была по совѣту Ордина-Нащокина. Но не введя никакихъ новыхъ существенныхъ улучшеній, онъ долженъ былъ убѣдиться, какъ трудно съ подобной арміей осуществлять затѣянныя имъ грандіозныя предпріятія.

Остается, стало быть, та культурная внѣшность реформы, которая свидѣтельствовала о главномъ источникѣ тогдашняго московскаго просвѣщенія. Какъ выражаетъ это Куракинъ—«политесь возстановлена въ шляхетствѣ и другихъ придворныхъ съ манеру польскаго: и въ экипажахъ, и въ домовномъ строеніи, и въ уборахъ, и въ столахъ». Правда, Куракинъ прибавляетъ еще: «и науки почали быть—латинскаго и греческаго языка»; но мы видѣли какъ разъ въ этомъ пунктѣ все безсиліе латинско-польской партіи въ Москвѣ провести свою образовательную программу, какъ она ни была умѣренна. Мы знаемъ, что открывшаяся, наконецъ, въ Москвѣ академія не только не отвѣчала по своему направленію стремленіямъ московскихъ реформаторовъ, но прямо налагала строжайшій запретъ на ту свободу совѣсти въ дѣлахъ вѣры и на ту свободу частнаго преподаванія, которыя такъ красиво фигурировали въ программѣ Голицына. Въ общемъ, приходится сказать, что умѣренность голицынской реформы состояла не столько въ ея направленіи,—которое гораздо ближе къ Петру, чѣмъ къ Крижаничу,—сколько въ ея неполнотѣ и нерѣшительности, зависѣвшей, быть можетъ, столько же отъ того, что временное правительство не чувствовало у себя твердой почвы подъ ногами, сколько и отъ того, что къ себѣ подъ ноги оно смотрѣло гораздо менѣе, чѣмъ въ туманную, заманчивую даль.

Контрастъ между этой государственной дѣятельностью Голицына и начавшимъ въ то же время опредѣляться времяпрепровожденіемъ молодого Петра былъ очень великъ и, казалось, говорилъ не въ пользу послѣдняго.

Въ то время, какъ Голицынъ окружалъ себя книгами, картами, статуями, Петръ съ азартомъ предавался спорту, а книгу допускалъ въ минимальныхъ размѣрахъ, лишь какъ необходимое зло для подготовки къ спорту же *). Голицынъ ѣздилъ въ Нѣмецкую Слободу для серьезныхъ политическихъ бесѣдъ съ солиднымъ Гордономъ, причемъ держалъ сторону конституціонной Англiи Вильгельма III противъ сторонника династическихъ притязаній Стюартовъ. Петръ слышать не хотѣлъ ни о какой политикѣ, тѣмъ болѣе русской, неразрывно снязывавшейся въ его тогдашнемъ представленіи съ торжественными официальными аудіенціями, отъ которыхъ онъ бѣжалъ, какъ отъ чумы. Въ Слободу привезъ его кузень Голицына, «пьяница» Борисъ, но не для поучительныхъ бесѣдъ, а для баловъ и попоекъ, которые съ тѣхъ поръ и потянутся непрерывной чередой, подъ руководствомъ Лефорта, «дебошана французскаго». Пока Голицынъ мечталъ о «довольствѣ народномъ», Петръ исподволь принималъ мѣры для обезпеченія личной безопасности. Укрѣпивъ свое положеніе преданной военной силой, Петръ обнаружилъ полное пренебреженіе къ общественному мнѣнію и издѣвался надъ нимъ въ той же мѣрѣ, въ какой Голицынъ за нимъ ухаживалъ и его боялся. Голицынъ въ походахъ только и думалъ, какъ бы скорѣе вернуться въ столицу, чтобы разрушить козни враговъ; Петръ рвался изъ столицы въ походы, какъ бы чувствуя, что тамъ, при войскѣ, его сила, а заботу о столицѣ и объ общественномъ мнѣніи всецѣло свалилъ на плечи своего Аракчеева — князя-кесаря Ромодановскаго. И тогда, какъ Голицынъ высшей цѣлью своей политики считалъ заключеніе «алліансовъ», Петръ во что бы то ни стало искалъ хорошаго театра войны, гдѣ бы можно было разгуляться на волѣ его кораблямъ и пушкамъ.

О реформѣ еще не было сказано ни слова, но Петръ уже былъ въ самомъ руслѣ своей реформы: онъ весь тутъ и до конца жизни останется такимъ, какимъ сложили его десять подготовительныхъ лѣтъ (1686—1695). Кн. Куракинъ, своякъ Петра и свидѣтель, хотя и не близкій, его юношескихъ упражненій, сообщаетъ намъ полный списокъ тогдашнихъ талантовъ Петра вмѣстѣ съ именами его учителей. «Мастеромъ голландскаго языка былъ дьякъ посольскаго приказа, Андрей Виніусъ; для экзерцицій на шпагахъ и лошадяхъ—сынъ датскаго резидента Бутенанта; а для математики и фортификаціи и другихъ артеи, какъ токарскаго мастерства и для огней артифіціальныхъ—одинъ гамбургчанинъ Францъ Тиммерманъ; а для экзерцицій солдатскаго строю еще въ малыхъ своихъ лѣтахъ обучился отъ одного стрѣльца Присова Обросима, Бѣлаго полку, а по барабанамъ—отъ старосты барабанщиковъ Федора, Стремяннаго полку. а танцовать по польски --- съ одной

*) До конца жизни Петръ сохранилъ такой взглядъ на книгу, какъ на руководство къ практическому дѣлу и тернѣтъ не могъ «лишнихъ разсказовъ, которые время только трагять и у чтущихъ охоту отъемлютъ».

практики въ домѣ Лефорта». Такова была академія, пройденная Петромъ. и дополненная потомъ въ Голландіи уроками кораблестроенія и зубодерганія. Во всемъ своемъ жизописномъ безразличіи всѣ эти курсы наукъ, или лучше—искусствъ, твердо держались въ памяти Петра: до конца жизни онъ такъ же искусно выбивалъ барабанную дробь, дѣйствовалъ топоромъ на кораблѣ, дергалъ зубы, приготовлялъ фейерверки, говорилъ по-голландски съ моряками (для другихъ разговоровъ его знаніе было недостаточно), дѣлая притомъ все это и все другое, за что принимался, — съ такимъ увлеченіемъ, какъ будто очередное дѣло и было его главнымъ и единственнымъ занятіемъ. Этотъ талантъ—входить въ суть каждаго дѣла и отдаваться ему вполне—былъ, несомнѣнно, одной изъ основныхъ чертъ Петра, объясняющихъ секретъ его успѣха и характеръ достигнутыхъ результатовъ.

Но до результатовъ было еще далеко. Пока—видно было въ молодомъ Петрѣ только полное отсутствіе интереса къ государственнымъ дѣламъ и склонность къ разгулу, не знавшая ни удержу, ни мѣры, доводившая пьяную компанію до невѣроятныхъ предѣловъ цинизма, грубости и жестокости. Немудрено, что когда власть перешла изъ просвѣщенныхъ рукъ регентства въ невѣжественныя руки царицы Натальи и своекорыстныя руки ея ближайшихъ помощниковъ, то благомыслящіе люди, русскіе и иностранцы, пожалѣли о свергнутыхъ узурпаторахъ и пророчили Россіи возвратъ къ полной тьмѣ и невѣжеству. И у противниковъ новизны съ этимъ переходомъ власти на минуту воскресла надежда, что послѣ неудачи умѣренной голицынской реформы можно будетъ ликвидировать и всякую реформу вообще. Господиномъ положенія былъ патриархъ Іоакимъ, и онъ успѣшилъ воспользоваться своей силой, чтобы уничтожить латинскую партію въ лицѣ Медвѣдева («Очерки» II, 244—5), свободомыслящихъ въ лицѣ Кульмана (ib. 103) и чтобы начать форменное преслѣдованіе противъ свободы богослуженія въ Нѣмецкой Слободѣ. Смерть прервала его дальнѣйшую дѣятельность (іюль 1690), но что у него была цѣлая программа самой послѣдовательной реакціи, объ этомъ свидѣтельствуетъ оставленное имъ завѣщаніе. Здѣсь онъ требовалъ отъ царя, чтобы иновѣрческія церкви были разрушены, иностранцы—лишены военныхъ и всякихъ другихъ должностей, всѣ сужденія о религіозныхъ предметахъ строго запрещены имъ, а всякая попытка распространять свою вѣру и нравы наказывалась бы смертною казнью *). Отъ русскихъ патриархъ требовалъ, чтобы они никакихъ «новыхъ латинскихъ и иностранныхъ обычаевъ и въ платьѣ перемѣнъ по иноземски не вводили». Дѣло Іоакима долженъ былъ продолжать Адрианъ: кандидатъ, предложенный въ патриархи Петромъ, образованный и знакомый съ иностранными

*) Ср. проведенный Іоакимомъ при Голицынѣ уставъ Славяно-греко-латинской академіи, «Оч.» II, 243—5.

языками Маркелъ, былъ именно поэтому забракванъ и на всякій случай даже обвиненъ въ ереси. Петръ могъ пока отомстить только тѣмъ, что завелъ своего собственнаго «всешутѣйшаго» патріарха и «всепьянѣйшій» соборъ.

Такимъ образомъ, *формально* вопросъ о судьбѣ реформы оставался открытымъ вплоть до самаго начала самостоятельной дѣятельности Петра. *Фактически*, конечно, уже вполне выяснилось, что реформа неизбежна, и притомъ не реформа умѣренная, а крайняя, не реформа идеологическая, подготовленная книгой и литературой, а реформа произвольная, стихійная, вытекающая непосредственно изъ потребностей жизни; наконецъ, не реформа, основанная на народномъ сознаниі, а реформа, идущая наперекоръ этому сознанию, сверху,—реформа насильственная, необходимость которой предсказывалъ и ждалъ отъ царской неограниченной власти еще Юрій Крижаничъ.

Что реформа Петра была насильственна, въ этомъ такъ же мало сомнѣвались тѣ, кто ее проводилъ, какъ и тѣ, кто ей противился. Она была насильственна не только въ тѣхъ своихъ частяхъ, которыя были въ ней случайны и произвольны, но также и въ тѣхъ, которыя были существенны и необходимы. Мало того: насильственность реформы даже существенному и необходимому въ ней придавала характеръ случайнаго и произвольнаго, т.-е. облекала это существенное въ случайныя формы. Поэтому, признавать насильственный, личный характеръ реформы—вовсе не значить еще отрицать ея историческую необходимость, и, наоборотъ, доказывать необходимость реформы—вовсе не значить отрицать ея насильственный характеръ. Задача историка въ данномъ случаѣ именно и заключается въ томъ, чтобы показать, почему необходимая по существу своему реформа *) *должна была*, не могла не облечься въ формы личнаго произвола одного лица надъ массой и почему примѣненіе такого произвола было вообще *возможно*.

Возможность эта и необходимость создавались той культурной и социальной обстановкой, среди которой Петръ предпринялъ свою реформу. Конечно, при сколько-нибудь прочной культурной традиціи и при плотно организованныхъ классовыхъ интересахъ, подобный способъ побѣды критическихъ элементовъ былъ бы немыслимъ. Но мало сдѣлать общую ссылку на отсутствіе у насъ культурной традиціи и слабость классовой организаціи. Нужно остановиться еще нѣсколько подробнѣе на томъ несомнѣнномъ фактѣ, что въ Россіи, ко времени, когда стихійный ходъ жизни сдѣлалъ побѣду критическихъ элементовъ необходимою, сопротивленіе этихъ задерживающихъ силъ было особенно ослаблено, и для хозяйской руки реформатора созданъ, такимъ образомъ, особенно широкій просторъ.

*) Самая необходимость реформы по существу предполагается здѣсь доказанной въ тѣхъ частяхъ «Очерковъ», гдѣ рѣчь идетъ о стихійныхъ процессахъ развитія разныхъ сторонъ національной жизни.

Уже Фокеродтъ замѣтилъ (1737), что, «по мнѣнію многихъ разумныхъ людей, Петръ едва ли могъ бы такъ далеко пойти въ своей реформѣ, если бы ему пришлось бороться съ болѣе способнымъ духовенствомъ, которое сумѣло бы пріобрѣсти у народа любовь и уваженіе и воспользоваться ими къ своей выгодѣ». Замѣчаніе это имѣетъ болѣе глубокой смыслъ, чѣмъ можетъ показаться съ перваго взгляда. Если современное Петру духовенство не имѣло у народа ни любви, ни уваженія, то это объясняется не недостаткомъ лояльности въ немъ, а тѣмъ особымъ положеніемъ русской церкви, при которомъ она, дѣйствительно, потеряла ко времени Петра и ту долю вліянія на массу, какую позволяли ей имѣть уровень ея развитія и ея социальное положеніе. Мы видѣли («Оч.», II), что весь тотъ запасъ религиознаго чувства и нравственнаго одушевленія, который былъ налицо среди русскихъ пастырей и паствы, — пошелъ на національно-религиозное движеніе XVI—XVII в. Мы знаемъ также, что это движеніе было одинаково осуждено и представителями кievской богословской науки, какъ недостаточно просвѣщенное, и представителями греческой церковной старины, какъ отступающее отъ древней традиціи. Правительство приняло точку зрѣнія кievлянъ и грековъ, и вслѣдъ за духовной властью, объявившей русское національно-религиозное движеніе расколомъ и проклявшей его, — съ своей стороны объявило участіе въ этомъ движеніи государственнымъ преступленіемъ, подлежащимъ карѣ свѣтскаго закона. Такимъ образомъ, критическіе элементы за полвѣка до Петра уже одержали побѣду надъ націоналистическими въ сферѣ религиозной, но это была побѣда бюрократической канцелярщины надъ народной психологіей. Всѣ, въ комъ живо было нравственное и религиозное самосознаніе — разумѣется, въ той единственной формѣ, какая была доступна тому времени, — всѣ эти люди были теперь отброшены въ оппозицію. Судьбу этой оппозиціи мы еще прослѣдимъ; но здѣсь мы должны констатировать, что этотъ переходъ въ оппозиціонный лагерь оставилъ очень замѣтную моральную пустоту въ лагерь правящемъ. Онъ именно подготовилъ и сдѣлалъ возможнымъ появленіе въ составѣ высшаго духовенства южно-русскихъ духовныхъ сановниковъ, принесшихъ съ собой свои научно-литературныя традиціи, а главное, ту угодливость и готовность служить интересамъ свѣтской власти, изъ которыхъ Петръ сдѣлалъ такое широкое употребленіе («Очерки», II, стр. 145—6). Но этимъ измѣненіемъ состава и паденіемъ самостоятельности высшаго русскаго духовенства не ограничились послѣдствія торжества официальной вѣры надъ народной. Это торжество внесло раздвоеніе въ душу огромнаго большинства современниковъ, всѣхъ тѣхъ, кто не былъ достаточно силенъ, чтобы разорвать окончательно или съ новымъ, или съ старымъ, перейти или въ тотъ, или въ другой лагерь. Совѣсть была сломлена или усыплена этимъ внутреннимъ раздвоеніемъ: а всего лучше подходили для наступившей ломки тѣ, у которыхъ она

совсѣмъ молчала *). Вотъ почему никакія надругательства Петра надъ тѣмъ, что только что считалось святымъ и неприкосновеннымъ, не могли вызвать сколько-нибудь сильнаго внутренняго сопротивленія въ окружающей его средѣ. Онъ какъ будто нарочно переходилъ отъ одной циничной выдумки къ другой, еще болѣе циничной, еще болѣе оскорбительной для чужого достоинства и совѣсти, умышленно и систематически насилуя всѣ вкусы, всѣ убѣжденія, — чтобы узнать, какъ много онъ можетъ себѣ позволить, и узнавалъ, — не испытывая даже удивленія, какъ извѣстный римскій императоръ, — что онъ все можетъ. Всякая форма, всякій мундиръ къ чему-нибудь обязываетъ. Надѣтый Петромъ мундиръ европейской культуры на первый разъ только *развязывалъ*, не обязывая ни къ чему, устраняя тотъ обязательный чинъ жизни, строй мысли и чувства, который было налаживался въ Москвѣ XVII в., и возвращая русскую жизнь къ той безформенности, съ которой мы уже привыкли встрѣчаться повсюду въ русской исторіи. При московскомъ чинѣ жизни, какъ ни былъ онъ плохъ и низменъ самъ по себѣ, все-таки, были вещи, которыя дѣлать было обязательно, и были другія, которыхъ дѣлать было *нельзя*. Теперь такихъ вещей не оставалось. Все было можно, и ничто не было обязательно, кромѣ очереднаго приказанія реформатора. А его натура была, какъ сейчасъ увидимъ, такова, что только и приходилось ждать *очереднаго* приказанія: система, новый чинъ жизни, новые порядки установились какъ-то сами собой, постепенно, изъ ряда такихъ очередныхъ приказаній, сплошь да рядомъ другъ друга отмѣнявшихъ. Окружавшимъ оставалось лавировать, какъ умѣли, въ этомъ новомъ фарватерѣ, въ которомъ только цѣль и общее направленіе оставались одни и тѣ же, а пути къ цѣли постоянно мѣнялись, дѣлая притомъ порою самые причудливые изгибы, самые неожиданные повороты.

Бюрократія, высшее духовное и свѣтское чиновничество были, такимъ образомъ, въ полномъ распоряженіи Петра. А кромѣ бюрократіи ему ни съ кѣмъ не приходилось считаться. Соціальная жизнь Россіи такъ сложилась ко времени реформы, что съ этой стороны реформатору встрѣчалось еще меньше препятствій, открывалось еще больше простора, чѣмъ со стороны культурной традиціи.

Въ промежуткѣ между распаденіемъ боярства и усиленіемъ дворянства, между XVI и XVIII вѣкомъ, бюрократія являлась единственнымъ господствующимъ классомъ. Мы видѣли, какъ дворянство, въ

*) Датскій посланникъ Юль въ 1709 г. замѣчалъ относительно раскольниковъ (очевидно, передавая общее мнѣніе): «Въ общемъ, раскольники честнѣе, богобоязненнѣе и трезвѣе противъ русскихъ, а по части христіанскихъ догматовъ начитаннѣе и просвѣщеннѣе ихъ». Въ то же время, изъ своихъ сношеній съ правящей бюрократіей, Юль сдѣлалъ такой общій выводъ: «Вообще, на русскяхъ надо вліять лестью, водкой и взятками; всѣ же другія средства, вродѣ справедливости, права, на нихъ не дѣйствуютъ». Юль забылъ прибавить къ перечню этихъ средствъ еще одно, — ему, конечно, менѣе доступное, — именно «страхъ»

самый момент своей побѣды надъ боярствомъ и казачествомъ, добровольно уступило бюрократіи правительственную роль и отказалось отъ постояннаго контроля надъ нею, какой могъ дать дворянству земскій соборъ (см. выше, стр. 75, 78, 81, 86—89). Послѣдствія этой безконтрольности оно очень скоро и неприятно почувствовало; однако не только ничего не сдѣлало, чтобы вернуть себѣ господствующее положеніе, но неохотно отвѣчало даже на прямые призывы къ нему въ этомъ смыслѣ со стороны правительства. Вѣроятно, это такъ вышло по той же причинѣ, по которой на пожарахъ того времени люди предпочитали сидѣть сложа руки и ждать, пока все сгоритъ у всѣхъ, высматривая только случай что-нибудь утащить изъ чужого имущества, а въ остальномъ полагаясь на волю Божию и на святые иконы *). Въ концѣ концовъ, правительство со второй половины XVII вѣка замѣнило земскіе соборы созывомъ свѣдущихъ людей. и политическая роль «ратныхъ людей», такъ же какъ и другихъ «чиновъ» московскаго государства, сдѣлалась историческимъ преданіемъ. Однако же, и бюрократія не много выиграла, въ политическомъ смыслѣ, отъ этого добровольнаго отказа. Та-же самая неорганизованность общественной жизни, которая мѣшала возникновенію политическаго самосознанія классовъ, лишала и бюрократію необходимыхъ орудій, при посредствѣ которыхъ она могла бы воспользоваться своимъ господствующимъ положеніемъ, чтобы сдѣлаться всемогущей. Только что наживши «неудобьсказаемыя палаты», представители этой бюрократіи могли подвергнуться линчеванію народной толпы.—и никто не могъ защитить ихъ; даже самому царю приходилось умиловать эту толпу слезами или кончать рукобитьемъ съ московскими бунтовщиками, въ ожиданіи, пока можно будетъ захватить ихъ такъ же врасплохъ, какъ они сами заставляли московское правительство. Крижаничъ очень хорошо объяснилъ характеръ этихъ московскихъ бунтовъ (1648 и 1662 гг.) и предсказалъ стрѣлецкіе бунты—тѣмъ совершенно вѣрнымъ замѣчаніемъ, что «нечестіе королямъ» со стороны «простого народа и войска» чинится обыкновенно тамъ, гдѣ нѣтъ господствующаго сословія или политически организованныхъ (снабженныхъ «слободинами») классовъ (см. выше, стр. 125—126). За отсутствіемъ таковыхъ, производить волненія въ Московскомъ государствѣ XVII в. было чрезвычайно легко, а усмирять ихъ весьма трудно, такъ что правительство обыкновенно прибѣгало, за неимѣніемъ силы, къ хитрости. Чтобы не имѣть самому дѣла съ массой, оно сперва разъединяло ее, потомъ обѣщало всѣмъ полное прощеніе и уже только, когда все успокаивалось, захватывало и казнило намѣченныхъ раньше зачинщиковъ **).

*) См. многократныя наблюденія Юля, при которыхъ выгодно выступаетъ и роль Петра—въ организаціи борьбы съ общей опасностью, въ насильственномъ приучиваніи толпы къ общественному дѣлу и интересу.

**) Всего отчетливѣе можно прослѣдить эту тактику борьбы во Псковѣ, во время бунта 1650 г., и въ Астрахани (1671—2), во время возстанія Стеньки Разина.

Всѣ эти волненія. во всякомъ случаѣ, не только обнаружили безсиліе бюрократіи, но и показали, что у самихъ недовольныхъ также мало шансовъ—завладѣть положеніемъ. Русское общество постоянно распадалось при всякихъ волненіяхъ на тѣ же двѣ части, которыя намѣтились уже въ Смутное время. На сторонѣ власти оставались всѣ общественные слои, извлекавшіе выгоду изъ современнаго положенія вещей. Сюда относились, кромѣ, слоевъ прикосновенныхъ къ правительству, высшаго чиновничества, духовенства и купечества, также все дворянство и весь приказный чинъ. Къ противникамъ власти примыкали всѣ обдѣленные современнымъ порядкомъ: крестьяне и большая часть дворовыхъ людей («боярскихъ людей», «холоповъ»), рядовое городское населеніе («посадскіе») и часто низшее духовенство. Отрицательной программой всякаго бунта было: въ столицѣ изводить бояръ и высшихъ чиновниковъ, въ городахъ рѣзать воеводъ и приказныхъ, въ уѣздахъ избивать дворянъ и помѣщиковъ. Положительной программой, въ которой напрасно старались видѣть отголоски древняго вѣчевого строя,—былъ казацкій кругъ и казацкое равенство. Наиболее яркое осуществленіе та и другая программа получили на примыкавшей къ Поволжью границѣ между осѣдлымъ населеніемъ и степью *) во время бунта Стеньки Разина. Этого было достаточно, чтобы до конца вѣка держать въ страхѣ власти; въ 1682 г. анонимный доносъ на Хованскаго приписываетъ ему эту самую разинскую программу. Но она и могла служить только орудіемъ агитаціи, матеріаломъ для доноса и «жупеломъ» для тогдашнихъ пугливыхъ людей. Серьезной опасности съ этой стороны грозить не могло. Разинская программа была черезчуръ ужъ проста въ своей отрицательной части и черезчуръ фантастична въ положительной. Нормальнымъ выходомъ для недовольныхъ былъ въ XVII вѣкѣ побѣгъ въ степь, къ казакамъ, а не водвореніе казацкаго строя среди осѣдлаго населенія.

Итакъ, исключительно вслѣдствіе отсутствія другихъ общественныхъ силъ, а вовсе не благодаря собственному могуществу, бюрократія оставалась господиномъ положенія до конца XVII столѣтія. Къ концу вѣка, пожалуй, можно замѣтить слабые признаки того, что эта бюрократія, какъ будто, хочетъ замкнуться въ тѣсный кругъ и принимаетъ олигархическій оттѣнокъ. Русская чиновная знать узнаетъ кое-что про положеніе иностранной знати и перестаетъ довольствоваться «государевымъ жалованьемъ», какъ санкціей своего положенія. Ей хочется подняться на степень владѣтельныхъ князей западной Европы. Крижаничъ уже предлагалъ для этого создать особое сословіе «князей», обезпеченное чѣмъ то вродѣ феодальныхъ владѣній. Къ этому отчасти клонился и представленный Думѣ въ 1681 г. проектъ, дѣ-

*) На «Симбирской чертѣ», см. «Очерки», I, 57—8 (теперешнія Нижегородская, Пензенская и Тамбовская губерніи).

лившей Россію на намѣстничества и устанавливавшей іерархію новой чиновной аристократіи (I, 185—7 и ниже объ элементѣ «чина» въ этомъ проектѣ). Не разъ повторялись подобныя предложенія и въ проектахъ, поданныхъ Петру его совѣтниками. Но у Петра мало было охоты оживлять «дряблѣе, упавшее дерево» стараго боярства. Изъ всѣхъ аристократическихъ затѣй онъ принялъ только одну—законъ о майоратѣ, но и тотъ, въ его понятіи, долженъ былъ послужить на пользу не высшей аристократіи, а среднему дворянству (I, 183).

Если существовавшій социальный строй ничѣмъ не могъ помѣшать петровской реформѣ, то за то въ немъ не на что было и опереться. Эту опору власти надо было еще создать. Какъ поступилъ въ этомъ случаѣ реформаторъ?

Первыми сотрудниками Петра были, естественно, люди, сдѣлавшіе переворотъ въ его пользу: ему оставалось просто принять это наследство прошлаго. Главные изъ нихъ, Борисъ Голицынъ, Левъ Кир. Нарышкинъ, Тихонъ Стрѣшневъ, какъ нельзя лучше представляли три типичныхъ оттѣнка тогдашней бюрократіи: богатый, образованный по новому и лѣнивый титулованный аристократъ Гедиминовичъ, одинъ изъ тѣхъ, которые были не прочь дать феодальную опору старому титулу (и въ самомъ дѣлѣ Борисъ Голицынъ осуществилъ это стремленіе, сдѣлавшись «неограниченнымъ государемъ» Казанскаго дворца); представитель новой придворной знати, спѣшившей воспользоваться случайной близостью къ двору для скорой наживы. человекъ безъ прошлаго, неприготовленный къ власти и избалованный ею; наконецъ, тонкій и хитрый дѣлецъ, посѣдѣвшій въ приказахъ и умѣвшій держать въ своихъ рукахъ «секретъ всѣхъ дѣлъ». Никто изъ троихъ не понадобится Петру впослѣдствіи: ни титулованный бояринъ, манкирующій дѣлами, ни разжирѣвшій рагуени, котораго Петръ замѣнитъ своими, лично ему всѣмъ обязанными; ни приказный владѣлецъ государственныхъ секретовъ, которые Петръ будетъ хранить про себя.

Что касается боярства, среди него были люди, «которые старой вѣры не любятъ, а новую заводятъ»; упомянутый выше доносъ на Хованскаго перечислялъ до дюжины такихъ бояръ: «Одоевскихъ троихъ, Черкасскихъ двоихъ, Голицыныхъ троихъ, Шереметевыхъ двоихъ. И. М. Милославскаго и иныхъ многихъ». Но то была «новая вѣра» Никона и В. В. Голицына, а не «вѣра» Петра. Какъ относились бояре къ новой петровской вѣрѣ и какъ относился, въ свою очередь, къ нимъ самъ Петръ, это ярко иллюстрируетъ маленькая сцена на похоронахъ Лефорта (1699 г.), записанная Корбомъ. Замѣтивъ, что бояре въ похоронной процессіи перемѣнили порядокъ, насильно занявъ переднее мѣсто, предназначенное для иностранцевъ, Петръ раздраженно крикнулъ: «Это собаки, а не мои бояре»; а когда послѣ похоронъ бояре спѣшили покинуть домъ Лефорта, какъ только ушелъ царь, — онъ совсѣмъ вышелъ изъ

себя, тотчасъ вернулся и проговорилъ: «Вы. можетъ быть, рады его смерти? Большую пользу вамъ принесла его кончина? Зачѣмъ расходитесь? Или, быть можетъ, отъ большой радости вы не въ состояніи дольше притворно морщить лица и дѣлать печальный видъ?» Очевидно, это самое желаніе сорвать ненавистную ему маску, обнаружить и наказать предполагаемое притворство—руководило Петромъ, когда онъ заставилъ этихъ самыхъ бояръ собственными руками рубить головы стрѣльцамъ, въ сочувствіи которымъ подозрѣвалъ ихъ.

Только одному Ѡ. Ю. Ромодановскому позволялось открыто порицать иностранцевъ и иностранные обычаи: Петръ цѣнилъ въ немъ то же качество, которое оплакивалъ въ Лефортѣ и которое Куракинъ формулировалъ словами: «Его величеству вѣрной такъ былъ, что никто другой». Это было то, чего Петръ искалъ въ своихъ сотрудникахъ прежде всего и въ чемъ его всего труднѣе было убѣдить, а разъ убѣдивъ, заставить разувѣриться. Среди тревожной обстановки его дѣтства въ немъ выработалось замѣчательное умѣнье притворяться, которому не разъ удивлялись иностранцы,—а вмѣстѣ съ тѣмъ и непобѣдимое недоувѣріе къ искренности его окружающихъ. Эта благопріобрѣтенная черта не позволяла ему до конца жизни ни на кого ни въ чемъ положиться и приводила къ тому же, къ чему и врожденная живость характера: къ желанію, превратившемуся въ потребность, самому все дѣлать, входя въ самыя мелочныя детали каждаго дѣла. «Нерѣдко,—разсказываетъ намъ Юль (1710),—когда въ откровенной бесѣдѣ заходила у насъ рѣчь объ удачѣ и подвигахъ великихъ государей, царь отдавалъ справедливость многимъ правителямъ и государямъ, въ особенности королю французскому (Людовику XIV), ..но большая часть ихъ, прибавлялъ онъ, обязана своими успѣхами многимъ разумнымъ и смышленнымъ людямъ, которыми могли пользоваться во всѣхъ, даже наиважнѣйшихъ вопросахъ; между тѣмъ какъ онъ, царь, съ самаго вступленія на престолъ, въ важныхъ дѣлахъ почти не имѣетъ помощниковъ и поневолѣ завѣдуетъ всѣмъ самъ». Въ совѣтахъ и совѣтникахъ, конечно, у Петра не было недостатка: чѣмъ дальше, тѣмъ ихъ являлось больше. Но это не мѣшало ему чѣмъ дальше, тѣмъ больше чувствовать себя одинокимъ, что, конечно, усилило печать индивидуальности, наложенную имъ на свою реформу,—часто къ ея несомнѣнному ущербу. Съ своимъ недоувѣріемъ къ людямъ, царь попадалъ въ какой-то заколдованный кругъ. Цѣня въ людяхъ прежде всего испытанную вѣрность себѣ, онъ имѣлъ очень ограниченный выборъ и ни на одинъ сколько-нибудь отвѣтственный постъ не могъ посадить лицо, дѣйствительно подходящее, а назначалъ фигурантовъ, ничтожества, не имѣвшія никакого понятія о дѣлѣ, которое должны были дѣлать,—только бы можно было положиться на ихъ преданность. Такимъ образомъ, Шереметевъ и Меншиковъ оказались фельдмаршалами, Головинъ и Апраксинъ—адмиралами, Головкинъ—министромъ иностранныхъ дѣлъ и

т. д. Правда, онъ не упускалъ случая приставить къ нимъ опытныхъ иностранцевъ-спеціалистовъ, которые собственно и дѣлали дѣло. Такъ былъ приставленъ къ Шереметеву Огильви для арміи, къ Апраксину—Крюйсъ для флота, къ Головкину—Шафировъ, а потомъ Остерманъ для дипломатіи. Это, однако, только усилило для Петра необходимость за всѣмъ слѣдить самому, отчего реформа и получила, вопреки содѣйствію спеціалистовъ, случайный, отрывочный и дилеттантскій характеръ, отражавшій темпераментъ и состояніе знаній самого цара-реформатора. Другимъ послѣдствиемъ той же причины было полное равнодушіе ближайшихъ сотрудниковъ къ самому существу того дѣла, которое они вели; и чѣмъ ихъ положеніе становилось прочнѣе и обезпеченнѣе, тѣмъ сильнѣе обнаруживалось, что они преслѣдуютъ только личные, своекорыстные интересы. Въ другой формѣ, это были тѣ же самые враги реформы, отъ которыхъ царь надѣялся спастись назначеніемъ довѣренныхъ лицъ на отвѣтственные посты. Въ этомъ и заключался тотъ заколдованный кругъ, о которомъ мы говорили. Энергичный и настойчивый Петръ не хотѣлъ, однако, съ этимъ мириться. Едва онъ замѣчалъ, что лица перестаютъ соответствовать дѣлу, онъ тотчасъ принимался за ломку, какъ бы эти лица ни сдѣлались близки его сердцу. Вотъ почему столько блестящихъ карьеръ, начатыхъ при Петрѣ людьми случая, при немъ же и закончились эшафотомъ и ссылкой. Чѣмъ дальше, однако, тѣмъ труднѣе становилось вынимать колеса изъ заведенной машины и выдвигать на насиженные мѣста новыхъ людей. Къ концу царствованія этотъ диссонансъ между вновь сложившейся рутинной и непримиримымъ нигилизмомъ царя, сохранившаго среди новой обстановки всѣ старыя привычки, вынесенныя изъ Нѣмецкой Слободы, становился все чувствительнѣе и тяжелѣе для обѣихъ сторонъ. Съ своими требованіями налаго простора и пустоты кругомъ онъ становился все болѣе анахронизмомъ среди сотканной имъ же паутины новаго житейскаго церемоніала; окружающіе утомлялись отъ этой необходимости быть вѣчно на сторожѣ и снѣшили припасти себѣ кое-что на черный день. Въ концѣ концовъ противъ царя составилъ какой-то молчаливый, пассивный заговоръ, не ускользнувшій, разумѣется, отъ его наблюдательности и только обострившій у него желаніе разорвать паутину. Въ 1719, отправляясь въ одну поѣздку, онъ прорвался и сказалъ—не кому другому, какъ Меншикову и Апраксину,—что ему отлично извѣстно, какъ въ сущности они несочувственно относятся ко всѣмъ его мѣропріятіямъ; что умри онъ,—и они не прочь будутъ бросить завоеванныя провинціи и Петербургъ и оставить на произволъ судьбы флотъ, который стоилъ ему столько труда, крови и денегъ. Исторія съ Монсомъ въ 1724 г. открыла Петру окончательно глаза на то, какъ страшно онъ одинокъ и изолированъ: онъ колебался между желаніемъ уничтожить все, рассыпать кругомъ страшные удары, и сознаніемъ невозможности начинать такъ поздно все опять сызнова, съ пустого мѣ-

ста. Единственнымъ возможнымъ исходомъ изъ этого трагическаго положенія была смерть.

Мы видимъ, что тотъ самый социальный и культурный просторъ который сдѣлалъ возможной побѣду крайняго направленія реформы, роковымъ образомъ наложилъ на реформу рѣзкую печать индивидуальности Петра, помѣшавъ ему установить взаимное довѣрiе между собой и своими сотрудниками и подобрать для реформы подходящихъ людей. При полномъ отсутствii той междуклѣточной ткани социальныхъ отношенiй, которая вырабатывается культурнымъ процессомъ и одна можетъ обезпечить непрерывность социального дѣйствiя—въ пространствѣ, также какъ и во времени,—при отсутствii этого необходимаго условiя созпательной реформы, Петру поневолѣ приходилось вѣрить въ одного только себя и полагаться лишь на собственные силы.

Но это еще не рѣшаетъ вопроса о томъ, на кого и на что опирался Петръ, чтобы дѣйствовать такъ рѣшительно, какъ онъ дѣйствовалъ, бравируя вкусы, привычки, стремленiя и интересы какъ ближайшей окружающей среды, такъ и широкой народной массы. Точка опоры у него была, очевидно, ни въ того и другого—слишкомъ узкаго и слишкомъ широкаго круга. Найти эту точку опоры не трудно: стоитъ лишь вернуться къ первымъ годамъ царствования Петра.

Напомнимъ здѣсь практическiй совѣтъ Самойловича, переданный имъ черезъ думнаго дьяка Украинцева В. В. Голицыну: вужно для укрѣпленiя за собой власти держать въ Москвѣ одинъ-два полка надежныхъ людей. Не принеся пользы В. В. Голицыну, совѣтъ дошелъ, однако,—только по другому адресу. Украинцевъ легко могъ передать его Стрѣшневу. Какъ бы то ни было, но съ этого самаго времени (1687) военные забавы Петра сразу принимаютъ серьезный характеръ. Сознательность этой перемѣны засвидѣтельствована сверстникомъ Петра, однимъ изъ юныхъ спальниковъ, набранныхъ въ «потѣшныя полки», кн. Куракинымъ. По его словамъ, Петръ «привелъ себя тѣми малыми полками въ охраненiе отъ сестры» и «началъ приходитъ въ силу». И Шакловитый показалъ, съ другой стороны, что «въ то время (1687) у государя Петра Алексѣевича начали прибирать потѣшныхъ конюховъ, и оттого возродилось опасенiе», заставившее Софью начать усиленную агитацію среди стрѣльцовъ. Суть новой перемѣны именно заключалась въ томъ, что къ сверстникамъ изъ знатныхъ фамилiй, записанныхъ къ Петру въ сотоварищи военныхъ игръ въ придворномъ чинѣ «спальниковъ», присоединены были теперь совсѣмъ простаго происхожденiя ребята, «конюхи потѣшной конюшни», а также добровольцы изъ мелкаго дворянства, составившіе вмѣстѣ Преображенскiй и Семеновскiй полки. Кн. Куракинъ съ сокрушенiемъ замѣчаетъ, что окружающiе Петра лица, всѣ эти Нарышкины, Стрѣшневые, происходя изъ «домовъ самаго низкаго и убогаго шляхетства», «всегда внушали ему съ молодыхъ лѣтъ противъ великихъ фамилiй» и что къ этому «и самъ его

величество склоннымъ явился, дабы уничтоженіемъ оныхъ отнять у нихъ пувуаръ весь и учинить бы себя наибольшимъ сувереномъ». Самъ Куракинъ пострадалъ отъ этого «уничженія великихъ фамилій», такъ какъ и онъ, вмѣстѣ съ другими «знатными персонами», былъ «отдаленъ», не смотря на свое званіе спальника, а «во всѣ комнатныя службы вошли отъ того времени (люди) простаго народу».

Такимъ образомъ, съ самыхъ первыхъ шаговъ Петра мы встрѣчаемъ обдуманную и сознательную систему устраненія аристократіи и привлеченія мелкаго дворянства, организованнаго въ гвардейскіе полки, для поддержки и усиленія власти государя. Если отъ начала царствованія перейдемъ къ концу, то встрѣтимъ тамъ ту же самую черту: она прошла неизмѣнной сквозь всѣ перипетіи реформы. Петербургскія попойки того времени происходили въ нѣсколько болѣе приличной обстановкѣ и носили болѣе утонченный характеръ, чѣмъ московскія. Но одинъ моментъ, очевидно сохранившійся въ неприкосновенности отъ московскаго времени, вселялъ особенный страхъ и ужасъ въ иностранцевъ, обязанныхъ посѣщать эти увеселенія по торжественнымъ случаямъ. Это—тогда моментъ, когда «человѣкъ шесть гвардейскихъ гренадеръ вносили на носилкахъ большія ведра съ самой простой сивухой, запахъ которой слышенъ былъ за сто шаговъ». За гренадерами шли майоры гвардіи, которые приглашали желающихъ и нежелающихъ пить изъ большого ковша, подносимаго рядовымъ, за здоровье ихъ полковника, т.-е. царя. Отказаться было невозможно; иностранцамъ объясняли, «что царь приказываетъ подавать именно это вино—изъ любви къ гвардіи, когорую онъ всячески старается тѣшить, часто говоря, что между гвардейцами нѣтъ ни одного, которому бы онъ смѣло не рѣшился поручить свою жизнь». Тотъ же Берхгольцъ, которому принадлежатъ эти свѣдѣнія, замѣчаетъ, что въ обоихъ гвардейскихъ полкахъ «большая часть рядовыхъ, по крайней мѣрѣ, очень многіе изъ нихъ,—князья, дворяне или унтеръ-офицеры изъ армейскихъ полковъ».

Мы имѣемъ, впрочемъ, наглядное доказательство того высшаго довѣрія, которое Петръ, вообще такой недовѣрчивый, выказывалъ своей дворянской гвардіи. Въ ту пору, когда, какъ мы видѣли, онъ сталъ сомнѣваться въ своихъ ближайшихъ согрудникахъ и товарищахъ,—для того, чтобы разслѣдовать ихъ темныя дѣла, наказать ихъ и вообще дать имъ понять, что онъ можетъ обойтись и безъ нихъ,—Петръ не нашелъ ничего лучшаго, какъ обратиться къ своимъ майорамъ гвардіи. Это былъ его послѣдній ресурсъ. Майоры, полковники и капитаны гвардіи явились предсѣдателями слѣдственныхъ комиссій и членами судовъ, обнаружившихъ цѣлый рядъ хищеній и безпорядковъ въ дѣятельности ближайшихъ помощниковъ Петра. Извѣстенъ рассказъ Фокеродта, что въ послѣдній годъ жизни Петръ, «потерявъ всякое терпѣніе», самъ вошелъ во всѣ подробности слѣдственныхъ дѣлъ, посадилъ возлѣ себя, въ особой комнаткѣ своего дворца, одного изъ та-

кихъ довѣренныхъ людей, генераль-фискала Мякина, и на его вопросъ, отсѣкать ли вѣтви, или рубить самый корень, отвѣтилъ: «искореняй все». Не менѣе любопытно и то, что Петръ насильно заставилъ дворянство принимать участіе въ выборахъ, и не только въ выборахъ мѣстныхъ-чиновниковъ (земскихъ комиссаровъ), но и въ выборахъ, посредствомъ баллотировки, высшихъ должностныхъ лицъ въ государствѣ. Такъ въ 1722 г. выборы президента юстицъ-коллегии произведены были съ участіемъ генераль-майоровъ, майоровъ и другихъ офицеровъ гвардіи, а также 100 человекъ выборныхъ отъ дворянства. Мы увидимъ скоро, что путь, указанный Петромъ дворянству къ достиженію положенія правящаго сословія, не былъ забытъ послѣ его смерти.

Мы познакомились теперь съ тѣми причинами индивидуальнаго характера реформы, которыя лежали въ условіяхъ обстановки. Намъ остается посмотреть, какъ именно и какія индивидуальныя черты личности Петра отразились на его реформѣ.

Относительно размѣровъ и характера личнаго вліянія Петра на реформу—уже его современники сильно расходились во мнѣніяхъ. Видя, какъ Петръ вездѣ—самъ, вездѣ—одинъ, окружающіе, естественно, получали впечатлѣвіе, что Петръ полный хозяинъ своей реформы. Онъ все знаетъ, все видитъ, все можетъ, все дѣлаетъ; онъ, какъ выразился Юль, «лично одаренъ столь совершеннымъ и высокимъ умомъ и познаніями, что одинъ можетъ управлять всѣмъ». Самыя грубыя забавы, въ какихъ только могла находить удовольствіе чуждая всякой тонкости натура Петра,—получали съ этой точки зрѣнія скрытый символическій или,—какъ выражается Фокеродтъ,—«гіероглифическій» смыслъ. Его почти ежедневныя попойки, приводившія въ такой ужасъ иностранныхъ дипломатовъ и не прекращавшіяся со времени перваго выѣзда въ Слободу до послѣдняго мѣсяца жизни, представлялись важнымъ орудіемъ государственной машины,—какъ способъ узнавать тайныя мысли опьянѣвшихъ собесѣдниковъ. Привычка Петра стравливать, при помощи шутовъ, своихъ ближайшихъ сотрудниковъ, изобильно награждавшихъ при этомъ другъ друга плевками, пощечинами и выводившихъ на свѣжую воду взаимныя грѣхи, казалась могущественнымъ средствомъ правительственнаго контроля. Наконецъ, даже и неожиданныя выходки и вспышки самого Петра принимали видъ заранѣе обдуманнаго наполеоновскаго приѣма, такъ какъ хотя и «нѣтъ никакой возможности догадаться, дѣйствуетъ ли онъ преднамѣренно или нѣтъ, но, конечно, вѣрнѣе предположить, что государь такого ума говоритъ подобныя вещи не спроста и не иначе, какъ нарочно» (Юль). Словомъ, не довольствуясь тѣмъ несомнѣннымъ выводомъ, что Петръ умѣлъ извлекать выгоды изъ примитивности окружавшихъ его отношеній, его поклонники готовы были заключить, что самая примитивность отношеній—есть продуктъ высшей государственной мудрости Петра. По выраженію Фокеродта, они «вообразили себѣ, что во всѣхъ поступкахъ этого монарха должна

скрываются почти сверхчеловѣческая мудрость». Русскіе поклонники Петра скоро такъ и будутъ называть его—«земнымъ богомъ».

Однако, присмотрѣвшись ближе, наиболѣе проницательные изъ современныхъ наблюдателей пачинали наталкиваться на цѣлый рядъ мелочей и важныхъ вещей, которыя никакъ нельзя было объяснить съ только что указанной точки зрѣнія. Тотъ же Юль видитъ, какъ царь по цѣлымъ днямъ запирается у себя въ Преображенской избѣ или петербургскомъ домикѣ отъ всѣхъ государственныхъ дѣлъ и точить на своемъ ставкѣ такъ усердно, «какъ будто бы работалъ за деньги и снискивалъ себѣ этимъ трудомъ пропитаніе»: или ловить его на попойкахъ, чтобы поговорить о важныхъ дѣлахъ, для которыхъ не назначено никакихъ опредѣленныхъ дней; или застаётъ его самолично сортирующимъ рекрутовъ: и онъ удивляется все больше и больше. «Непосвященный подумалъ бы, что никакого другого дѣла у него нѣтъ, тогда какъ во всей Россіи дѣла—гражданскія, военныя и церковныя—вѣдаются имъ однимъ, безъ особой помощи другихъ!» Болѣе посвященный, Фокеродтъ, не удивлялся, такъ какъ хорошо зналъ, какъ вѣдались всѣ эти дѣла въ петровской Россіи. Онъ зналъ, что «объ улучшеніяхъ во внутреннемъ государственномъ строѣ... Петръ почти не заботился или даже вовсе не заботился въ первые 30 (вѣрнѣе, 20) лѣтъ своего царствованія, лишь бы у флота и арміи было довольно денегъ, лѣса, рекрутъ, матросовъ, провіанта и аммуниціи»; что война и, насколько было для нея необходимо, иностранныя дѣла поглощали все его вниманіе. И какъ разъ въ военномъ и морскомъ дѣлѣ, самомъ близкомъ сердцу Петра, Юль, самъ морякъ-спеціалистъ и военный, наткнулся на такія вещи, которыя окончательно рѣшили его взглядъ на личную роль Петра въ его реформѣ. Въ маѣ 1710 г. Петръ со всей эскадрой отправился изъ Петербурга къ Выборгу, причемъ 1) «весь фаватеръ былъ еще покрытъ пловучимъ льдомъ», 2) «во всемъ флотѣ не было чело-вѣка, знакомаго съ фаватеромъ», 3) суда, построенныя изъ ели, были «большею частью непригодны для морского плаванія», 4) управленіе карбасами было поручено «крестьянамъ и солдатамъ, едва умѣвшимъ грести однимъ весломъ»; такъ что въ результатѣ весь флотъ едва справился съ погодой и только потому не сдѣлался жертвой шведской эскадры, что та случайно явилась двумя днями позже. Экспедиція, которая по всѣмъ человѣческимъ соображеніямъ должна была кончиться катастрофой, рѣшила взятіе Выборга,—и честный датчанинъ могъ только, разводя руками, цитировать Квинта Курція и Цицерона: «*temeritas in gloriam cessit; ut multum virtuti, plurimum tamen felicitatē debet*» *). «Если ужъ какому государю суждено стать великимъ, Господь Богъ благопріятствуетъ ему во всемъ, какъ бы ни было предаринато-самое дѣло».

*) Опрометчивость обратилась въ славу. Хотя ты (Цезарь) многимъ обязанъ своимъ талантамъ, но болѣе всего обязанъ удачѣ.

Изъ двухъ противоположныхъ мнѣній которое же ближе къ истинѣ? Былъ ли Петръ самъ своимъ промысломъ или промыслъ сдѣлалъ свое дѣло помимо него и даже вопреки его поступкамъ? Мы не можемъ рѣшить этого вопроса, не ознакомившись внимательнѣе съ тѣмъ, въ какой степени сознательно самъ Петръ относился къ своей реформѣ.

Ни русская современность, ни личный психическій складъ, ни условия воспитанія не могли создать у Петра привычки къ отвлеченному мышленію. Мы, слѣдовательно, не должны ожидать, чтобы Петръ на вопросъ объ общемъ значеніи своей реформы, о ея роли въ исторической связи явленій—отвѣтилъ намъ соціологическимъ трактатомъ. Когда ему приходится объ этомъ говорить—а это бываетъ нечасто—онъ просто повторяетъ то, что говорятъ кругомъ него иностранцы по этому поводу. Въ самомъ началѣ реформы мы слышимъ отъ Корба, что молодой царь предпочитаетъ забавамъ прежнихъ государей *«тяжелая забава любителей славы: военное искусство, потѣшныя огни, пушечную пальбу, кораблестроеніе»*. Этотъ мотивъ крѣпко засѣлъ въ памяти Петра: черезъ полтора десятка лѣтъ (1715) онъ въ этихъ самыхъ выраженіяхъ старается втолковать царевичу Алексѣю важность своихъ раннихъ увлеченій, противопоставляя свои *«тяжкія забавы»*—*«легкимъ забавамъ»* отца и брата. Тотъ же Корбъ указываетъ и источникъ этого юношескаго настроенія: *«Лефортъ указалъ царю истинный путь къ славіи, возбуждая его къ военнымъ подвигамъ, питалъ въ немъ стремленіе къ послѣдней»*. Итакъ, слава, какъ смутная цѣль, а какъ ея средства и атрибуты—армія и флотъ, салюты и фейерверки,—вотъ что рисовалось въ фантазіи будущаго реформатора въ моментъ первыхъ, подсказанныхъ, дѣйствительно, Лефортомъ предпріятій: азовскихъ походовъ и заграничной поѣздки. И до конца своего царствованія Петръ не потеряетъ чувствительности къ славіи: онъ не прочь потягаться при случаѣ съ Константиномъ Великимъ и Александромъ Македонскимъ: *«Александръ построилъ Дербентъ, а Петръ его взял»*; *«Людовику помогали, а Петръ все сдѣлалъ одинъ»*. Корабль, на которомъ онъ командовалъ—безъ всякихъ, впрочемъ, результатовъ—флотами четырехъ державъ (изъ которыхъ двѣ были представлены номинально),—этотъ корабль онъ пожелаетъ сохранить для потомства. Но Петръ слишкомъ прозаическая натура, чтобы вдаваться въ сентиментальности, слишкомъ большой утилитаристъ, чтобы связывать съ понятіемъ «славы» то представленіе, какое съ ней связываютъ иностранцы. Тѣ думаютъ при этомъ словѣ, прежде всего, о добромъ имени въ европейской семьѣ народовъ, о приобщеніи варварскаго народа къ цивилизаціи и гуманности. Петръ, напротивъ, постоянно подчеркиваетъ, что «слава» состоитъ въ могуществѣ Россіи и въ грозномъ положеніи, приобрѣтенномъ ею въ короткое время среди европейскихъ державъ. Желая доказать подданнымъ необходимость войны (въ памфлетѣ, написанномъ Шафировымъ), онъ упоминаетъ, конечно, что благодаря войнѣ мы *«получили такія славы»*, но тотчасъ же спѣшитъ при-

бавить «*паче же*—безопасство» отъ сосѣдей; «могу сказать, что никого такъ не боятся, какъ насъ, за что Господу силъ да будетъ выну слава». Такимъ образомъ, къ политикѣ Петра вполне относится выводъ Фокеродта: «можно считать несомнѣннымъ, что простой русскій человѣкъ во всѣхъ своихъ поступкахъ съ иностранцами ничего другого не имѣетъ въ виду, кромѣ собственной выгоды, и меньше всего приходитъ ему въ голову думать о томъ, чтобы дать иностранцамъ выгодное понятіе о собственной особѣ». Горькимъ опытомъ иностранцы на каждомъ шагѣ убѣждались, что такія слова, какъ «*gloire, opinion (publique), point d'honneur*» и даже просто *honneur*—для русскихъ пустые звуки, что они смѣются надъ тѣмъ, кто готовъ добиваться «идейнаго блага» цѣной «реальнаго ущерба»; что поэтому они не признаютъ никакихъ обязательствъ, разъ послѣднія приходятъ въ коллизію съ ихъ ближайшими интересами, и поступаютъ, какъ имъ выгодно, предоставляя думать о себѣ, что угодно. Никакими убѣжденіями нельзя заставить ихъ повѣрять, что чужое мнѣніе можетъ опредѣлять ихъ поступки, что хорошая репутація нужна—даже съ точки зрѣнія личной выгоды. Они дѣйствуютъ, какъ купецъ, который фальсифицируетъ товаръ, не думая, что за то у него никто больше не купитъ. Всѣ эти наблюденія почти дословно повторяются иностранцами и въ началѣ (Корбъ), и въ серединѣ (Юль) и въ концѣ царствованія (Фокеродтъ). Такимъ образомъ, надо всегда помнить, что въ реформѣ Петра «слава» есть не идеальная цѣль, а вполне реальное средство, и что пользованіе этимъ средствомъ ничего не имѣетъ общаго съ желаніемъ—заслужить репутацію цивилизованнаго народа.

Но, однако же, стремленіе къ «славѣ» къ чему-нибудь обязывало не только во внѣшней, а и во внутренней политикѣ? Петръ не разъ говоритъ иностранцамъ, что его миссія въ этомъ отношеніи—превратить «скотовъ въ людей». Въ своихъ обращеніяхъ къ подданнымъ онъ выражается нѣсколько мягче: онъ хочетъ превратить «дѣтей» во «взрослыхъ». Суть его мысли, однако же,—еще мягче, чѣмъ эти сердигыя выраженія. Не воспитанный самъ, онъ уже просто потому не можетъ быть воспитателемъ и педагогомъ своего народа, что не имѣетъ представленія ни о задачахъ, ни о приемахъ педагогическаго искусства. Мы это видѣли на отношеніи первыхъ петровскихъ школъ къ учащимся («Очерки» II, 283—4). Своихъ «дѣтей» Петръ, въ сущности, трактуетъ какъ взрослыхъ, и дѣло сводится совсѣмъ не къ воспитанію, а къ самообученію, къ усвоенію извѣстныхъ техническихъ приемовъ и навыковъ. Петръ рассуждаетъ при этомъ приблизительно такъ, какъ заставляетъ его рассуждать Корбъ по тому же поводу. «Русскіе не хуже другихъ народовъ одарены отъ природы. У насъ такіе же руки, глаза и тѣлесныя способности, какъ у людей другихъ націй; если тѣ развили свой умъ, то почему же намъ не развить его: развѣ мы какіе-нибудь выродки человѣческаго рода? Умъ у насъ такой-же, и успѣвать мы будемъ

такъ же, *если только захотимъ*». Такимъ образомъ, задача реформы весьма упрощалась. Стоило только захотѣть,—какъ захотѣлъ самъ царь—и можно было немедленно стать въ уровень съ европейской культурой. Нужно было только приобрѣсти необходимыя знанія. Приобрѣтя ихъ, можно было затѣмъ обойтись безъ дальнѣйшихъ услугъ иностранцевъ, т.-е. просто прогнать ихъ. Именно такъ и выражался Петръ, по словамъ неизданныхъ записокъ Остермана: «намъ нужна Европа на нѣскольکو десятковъ лѣтъ, а потомъ мы къ ней можемъ вернуться задомъ». Какъ видимъ, это совсѣмъ не такъ далеко отъ программы Крижанича.

Что касается того, чтобы «захотѣть»,—въ этомъ у Петра недостатка не было. Воли у него было въ избыткѣ. Слѣдовательно, оставалось только «приневолить» своихъ подданныхъ—научиться тому, чему онъ самъ научился въ Нѣмецкой Слободѣ. Думалъ-ли Петръ о томъ, что это было далеко не все, чему можно было вообще научиться у Запада, и что самому цѣнному, что было въ содержаніи европейской культуры, вообще нельзя «научиться» такъ просто, а надо это нажить самимъ, воспитать въ себѣ—совсѣмъ въ иномъ смыслѣ, чѣмъ онъ воспитывалъ своихъ современниковъ? Если и думалъ даже, то, какъ человѣкъ практическій, онъ, конечно, не остановился бы на томъ, что было не въ его власти сдѣлать. Но чего онъ, навѣрное и не подозрѣвалъ вовсе—это то, что настоящая культура, съ ея условными и обязательными формами житейскаго общенія, съ ея уваженіемъ къ чужой личности, сдѣлала бы его собственные приемы насажденія культуры совершенно непримѣнными и невозможными.

Такимъ образомъ, въ реформаціонныхъ задачахъ и приемахъ своей внутренней политики, въ самыхъ даже крайностяхъ и увлеченіяхъ европеизмомъ—и именно въ этихъ крайностяхъ—Петръ остался, какъ и во внѣшней политикѣ, глубоко національнымъ, человѣкомъ своего времени и общества. Онъ могъ научить окружающихъ только тому, чему самъ научился; а самъ научился немногому: и только это немногое и можно было внушить подданнымъ тѣми способами, какими внушалъ онъ. Слѣдовательно, его культурная реформа стояла совершенно на уровнѣ его времени.

Ввести такимъ образомъ можно было только внѣшность культуры. Иностранцы очень хорошо замѣчали, что новые «болѣе мягкіе нравы» русскихъ суть только «подражаніе смягченнымъ обычаямъ» (Корбъ), и что «хотя по внѣшности они и отесаны немного и одѣты во французское платье, тѣмъ не менѣе внутри ихъ сидитъ прежній мужикъ (Юль)». Доказательства многочисленны и общеизвѣстны; но чтобы дать почувствовать наглядно, чего не хватало этой новонасажденной культурѣ сравнительно съ ея источникомъ, приведемъ маленькій эпизодъ столкновенія двухъ культуръ,—изъ воспоминаній того же Юля. Дѣйствіе происходитъ въ маленькомъ городкѣ Торнѣ, дашемъ пріютъ

Екатеринѣ въ 1711 г. «Я былъ пополудни въ церкви, — рассказываетъ Юль, — и пѣлъ вмѣстѣ съ остальною паствой. Вдругъ я замѣтилъ, что церковныя двери отворились, и въ нихъ появилась будущая (вѣнчаніе было въ 1712 г.) супруга царя съ лицами своей свиты. Онѣ колебались, стоя на порогѣ, войти или нѣтъ; но, увидавъ меня, вошли и помѣстились на моей скамьѣ—въ мужскомъ отдѣленіи—по двѣ женщины съ каждой стороны, чѣмъ привели меня въ крайнее смущеніе. Когда вслѣдъ за ними устремилось ко мнѣ еще нѣсколько женщинъ. я, какъ бы уступая имъ мѣсто, перешелъ съ моей скамьи и занялъ другую. Въ отдѣленій для молящихся стояло много русскихъ гвардейскихъ офицеровъ: они говорили, кричали и шумѣли, точно въ трактирѣ. Когда священникъ, войдя на кафедру, началъ говорить проповѣдь, женщины, успѣвшія соскучиться, вышли изъ отдѣленій и стали обходить церковь, осматривая ея убранство и громко болтая... Такъ какъ проповѣдь все продолжалась, то царица послала сказать пастору, чтобы онъ кончилъ... По окончаніи проповѣди, царица, услышавшая отъ кого-то, будто въ этой церкви похоронена Пресвятая Дѣва Марія, послала просить, чтобы останки (Божіей Матери) были выкопаны и переданы ей для перенесенія въ Россію»...

Не слѣдуетъ, однако же, черезчуръ низко цѣнить значенія той чисто внѣшней прививки новыхъ культурныхъ элементовъ, которою, по необходимости, ограничилась реформа Петра. Эти формы, пока еще не наполнены содержаніемъ, были, однако же, ассоціированы съ *известнымъ*, вполне опредѣленнымъ содержаніемъ, отрицавшимъ соотвѣтственное содержаніе русской старины. Внѣшность, т.-е. одежда, пища, жилище, все это—части нѣмого языка культуры, который говоритъ тѣмъ краснорѣчивѣе, чѣмъ рѣзче противорѣчитъ окружающей внѣшности. Завоевать право на такое открытое противорѣчіе—значитъ очистить путь новой идеѣ, вовому соціальному факту, преодолѣть важное препятствіе для его вступленія въ жизнь. Такой фанатическій противникъ петровской культурной внѣшности, какъ Константинъ Аксаковъ, лучше всѣхъ западниковъ понялъ важность этого перваго шага Петра и на себѣ испыталъ его трудность, попытавшись при имп. Николаѣ I взволновать дворянскіе умы обратной реформой—пропагандой бороды и русской рубашки. Если эта параллель покажется неубѣдительною, напомнимъ другую, одинаковаго характера съ петровской: напомнимъ, какихъ усилій стоили и какими протестами сопровождались въ *образованномъ* русскомъ обществѣ стриженные волосы эмансипированной женщины. Для стриженной бороды эмансипированнаго мужчины среди народной массы петровскаго времени—это сравненіе, впрочемъ, будетъ слишкомъ слабо. Тотъ, кто бывалъ въ турецкой современной провинціи и знаетъ, какому серьезному риску подвергаетъ себя мѣстный обыватель, который вздумаетъ замѣнить феску европейской шляпой, тотъ еще можетъ наглядно представить себѣ все

соціологическое значеніе стриженной бороды и венгерскаго костюма въ петровской Россіи.

Какъ-бы то ни было, вполне сознательнаго отношенія къ заимствуемой культурѣ, полнаго пониманія того, въ чемъ состоитъ ея содержаніе, невозможно искать ни въ реформаторѣ, ни въ реформѣ. Но служивя и упрощая задачи реформы, можетъ быть, за то реформаторъ остался ея полнымъ хозяиномъ въ этой болѣе ограниченной сферѣ? Можетъ быть, не овладѣвъ вполне оригиналомъ, онъ зато въ упрощенную копію внесъ все, что желалъ и какъ желалъ?

Нельзя сказать и этого. Чтобы охватить реформу въ ея цѣломъ, предварительно ее обдумать, распланировать и затѣмъ осуществлять въ извѣстной послѣдовательности и системѣ, для этого у Петра было слишкомъ мало знаній, а главное — слишкомъ неподходящая натура. Та же непосредственность натуры, которая исключала пониманіе болѣе глубокихъ и тонкихъ сторонъ европейской культуры, сдѣлала невозможной и систематически-обдуманную дѣятельность. Задерживающіе центры работаютъ еще слишкомъ слабо въ этомъ мозговомъ аппаратѣ. «Продолжительное занятіе однимъ и тѣмъ же дѣломъ повергаетъ Петра въ состояніе внутренняго безпокойства», замѣчаетъ Юль. За то, если Петра займетъ какая-нибудь мысль, она должна быть осуществлена немедленно. Онъ пріѣзжаетъ въ Дрезденъ: онъ былъ цѣлый день въ дорогѣ, люди измучены; уже вечеръ; время ужина. Ничего не значить: Петръ хочетъ видѣть кунсткамеру, — нужно отпереть ее, зажечь свѣчи и показывать ее Петру цѣлую ночь. Извѣстная нервная болѣзнь Петра еще усиливаетъ эту импульсивность, эту быстроту переходовъ отъ настроенія къ поступку и отъ настроенія къ настроенію. Въ январѣ 1710 г., веселый и радостный, онъ празднуетъ въ Москвѣ триумфальнымъ шествіемъ Полтавскую побѣду. Вдругъ онъ оставилъ свое мѣсто въ процессіи и во весь опоръ проскакалъ мимо кареты канцлера, въ которой сидѣлъ Юль. «Лицо его было чрезвычайно блѣдно, искажено и уродливо. Онъ дѣлалъ страшныя гримасы и движенія головою, ртомъ, руками, плечами, кистями рукъ и ступнями. Мы вышли изъ кареты и увидали, — какъ царь, подѣхавъ къ одному простому солдату, несшему шведское знамя, сталъ безжалостно рубить его обнаженнымъ мечомъ и осыпать ударами, — быть можетъ, за то, что тотъ шелъ не такъ, какъ хотѣлъ царь. Затѣмъ царь остановилъ свою лошадь, но все продолжалъ дѣлать гримасы, вертѣлъ головою, кривилъ ротъ, заводилъ глаза, подергивалъ руками и плечами и дрыгалъ взадъ и впередъ ногами... Никто не смѣлъ къ нему подойти, такъ какъ видѣли, что царь сердитъ и чѣмъ-то раздосадованъ». Съ такимъ темпераментомъ Петръ всегда страстно предавался дѣлу, которое интересовало его въ данную минуту, и забывалъ обо всемъ остальномъ. Его работа распадалась на детали, въ которыя Петръ погружался всецѣло: въ нихъ онъ чувствовалъ свою силу, ими наполнялъ безъ остатка свое время;

на нихъ удовлетворялъ своей потребности труда; но общій планъ этимъ самымъ отодвигался на второе мѣсто; на немъ сосредоточивать мысль было уже некогда, да и непривычно. Вотъ почему Петръ поставленъ былъ въ необходимость искать ресурсовъ, импульсовъ для своей детальной работы—извнѣ, вотъ почему онъ такъ жадно ловилъ всякія указанія и совѣты со стороны и такъ быстро пускалъ ихъ въ оборотъ, не согласовавъ и не продумавъ, только бы они подходили сколько-нибудь къ общему направленію его интереса въ данный моментъ.

Такого рода общее направленіе было, конечно, и у Петра; но оно опредѣляло характеръ его работы только въ самыхъ общихъ, черезчуръ общихъ чертахъ. Не охватывая однимъ взглядомъ всей своей реформы, не представляя себѣ отчетливо тѣхъ процессовъ, которые вызваны были его-же дѣйствіями, но не прямо, а косвенно, и фактически совершались, ускользая отъ его глазъ или отъ его вниманія, — Петръ схематизировалъ реформу въ своемъ сознаніи очень поверхностно и грубо. Онъ твердо зналъ во всю первую половину царствованія только одно: что надо во что бы то ни стало побѣдить непріятеля. Для его любимыхъ склонностей, для его привычныхъ занятій — война слишкомъ много давала пищи, чтобы онъ еще захотѣлъ думать о чемъ-нибудь другомъ, кромѣ того, что такъ или иначе, прямо или косвенно, относилось къ усиленію его военныхъ ресурсовъ. Потомъ, кромѣ «рощенія російской славы», его стало занимать также и «введеніе добрыхъ порядковъ». Чѣмъ дальше, тѣмъ больше онъ сосредоточивается на этой второй мысли. Въ 1719 г. французскій дипломатъ Ла-Ви записываетъ рѣчь, которую Петръ держалъ передъ отъѣздомъ въ Олонецъ. Послѣ того, какъ достигнута внѣшняя безопасность, говорилъ царь, онъ употребитъ всѣ усилія, чтобы прекратить эксплуатацію народа продажными чиновниками и судьями; обязанность монарха—охранить народъ отъ всякой несправедливости и искоренить самыми сильными средствами нечестность и испорченность бюрократіи. И, въ отвѣтъ на пышныя похвалы сената, предлагающаго Петру, по случаю Ништадтскаго мира, титулы «отца отечества» и «императора всеросійскаго»—за то, что онъ вывелъ Россію «изъ тьмы невѣдѣнія (т. е. неизвѣстности) на театръ славы всего свѣта», царь говоритъ знаменательныя слова: «надѣясь на миръ, не надлежитъ ослабѣвать въ воинскомъ дѣлѣ,—дабы съ нами не такъ стало, какъ съ монархіей греческой; (но также) надлежитъ трудиться о пользѣ и прибыткѣ общемъ... отъ чего облегченъ будетъ народъ».

Въ общемъ—задача опредѣлена такъ-же вѣрно и мѣтко, какъ и задача первой части царствованія. Но опять между этимъ общимъ опредѣленіемъ и деталями, между цѣлью и средствами лежитъ огромный пробѣлъ, заключающійся въ отсутствіи общаго плана и въ невозможности для Петра его заблаговременно обдумать и систематически осуществить. По старой привычкѣ, Петръ обращается къ средству уже испытанному: если въ устройствѣ арміи помогла иностранная техника,

то отчего же не поможетъ она и въ «введеніи добрыхъ порядковъ»? Эти «добрые порядки» ему представляются какимъ-то секретомъ,—вродѣ новаго тактическаго приѣма или ружья усовершенствованнаго образца,—который иностранцы таятъ про себя и который стоитъ только узвать, чтобы все пошло какъ по маслу. Уже въ 1709 г. онъ такъ и говоритъ Юлю: этотъ секретъ скрываютъ отъ него пруссаки. «Когда онъ собирался, во время заграничнаго путешествія, идти моремъ изъ Пиллау въ Кольбергъ, то бранденбургцы старались увѣрить его, будто по Балтійскому морю во множествѣ ходятъ турки и корсары, чтобы напугать этимъ и отклонить отъ поѣздки, которая-бы могла открыть ему глаза, ознакомивъ его съ состояніемъ другихъ краевъ, и тѣмъ способствовала-бы устройству собственнаго его государства по образцу Европы». Но Петръ перехитритъ иностранцевъ. Тайно, не говоря никому ни слова, онъ пошлетъ въ Швецію голштинскаго камеръ-рата Фика, чтобы списать по секрету всѣ шведскіе уставы и регламенты. Затѣмъ, останется только перевести ихъ на русскій языкъ и ввести у себя дома (Ср. «Оч.» I, 166).

Итакъ, вотъ какъ Петръ схематизируетъ свою реформу: сперва внѣшняя безопасность, потомъ внутренній порядокъ и правосудіе. Не надо, однако, забывать, что и эта схема вырабатывается только ко второй половинѣ царствованія *), такъ сказать *post factum*,—послѣ того, какъ юношескія мечты о славѣ и военныхъ забавахъ все равно втянули Петра въ войну, а постепенно развившееся недоувѣріе къ ближайшимъ сотрудникамъ все равно заставило принять усиленныя мѣры контроля **). И даже въ своемъ наиболѣе разработанномъ видѣ эта схема не можетъ замѣнить сознательно разработаннаго плана реформы, такъ какъ она для этого слишкомъ обща.

За отсутствіемъ идей, остается одно только чувство, постоянно выходящее Петра надъ всѣми мелочами и деталями, въ которыхъ онъ ежеминутно захлебывается. Это чувство—очень сильно развитое въ Петрѣ; единственное, которое его дисциплинируетъ, замѣняетъ для него въ сдержки, которыхъ не дало воспитаніе,—это чувство своей отвѣтственности, чувство долга, обязанности извнѣ наложенной. Любо-

*) Первое упоминаніе о ней находимъ въ знаменитомъ письмѣ къ сыну (1715 г.): «два необходимыхъ дѣла къ правленію—еже распорядокъ и оборона». Тутъ и упоминаніе о греческой монархіи, погибшей отъ пренебреженія къ воинскому дѣлу, и о тяжкихъ забавахъ, необходимыхъ для государя: видно, что философія собственнаго царствованія далась Петру не легко, запечатлѣлась въ его умѣ лапидарными штрихами и пускалась въ ходъ лишь по особо торжественнымъ случаямъ, всегда въ однихъ и тѣхъ же выраженіяхъ.

**) Надо замѣтить, что кн. Куракинъ, въ одно слово съ жертвами Преображенской канцеляріи, утверждаютъ, что съ первыхъ годовъ петровскаго царствованія «началось неправо правленіе отъ судей и мздоимство великое и кража государственная»; онъ прибавляетъ, что все это «донынѣ продолжается (1727) съ умноженіемъ, и вывести сію язву трудно».

пытно, что и это сознание долга передъ родиной облекается у Петра въ форму, наиболѣе понятную для него и для его окружающихъ,—въ форму, заимствованную изъ военной службы, военной дисциплины. Онъ *служитъ* отечеству—не только какъ царь, какъ «первый слуга», какъ Фридрихъ Великій; вѣтъ—онъ прежде всего служитъ, какъ барабанщикъ, бомбардиръ, шаутбенахтъ, вице-адмиралъ. Въ Полтавской битвѣ онъ командуетъ своей отдѣльной частью, подвергаясь въ этотъ рѣшительный для его реформы моментъ одинаковой опасности со всѣми, хотя исходъ битвы можно считать предрѣшеннымъ. Въ 1713 г. вице-адмиралъ Крюйсъ предостерегаетъ Петра отъ рискованной морской авантюры; Петръ отвѣчаетъ: брать жалованье и не служить—стыдно. Во всемъ этомъ есть доля позы и доля буфонства; но во всей дѣятельности Петра мы не найдемъ другой болѣе глубокой, болѣе укоренившейся, почти сдѣлавшейся инстинктомъ, руководящей идеи, кромѣ этой идеи службы. И когда, въ послѣдній годъ жизни, онъ захочетъ втолковать своимъ подданнымъ ихъ обязанности къ народу, необходимость быть честными, не лгать, не грабить казну и не брать взятки, онъ не найдетъ иного способа, какъ распространить на эту сферу гражданскихъ отношеній тѣ же понятія военной службы и дисциплины. «Преступившихъ добровольно и сознательно въ дѣлахъ своей должности надлежитъ наказывать такъ же, какъ измѣнника, нарушившаго свою обязанность во время самаго боя,—ибо это преступленіе хуже измѣны: измѣну, увидавъ, можно остеречься,—а здѣсь не всякій остережется, такъ какъ скрытое преступленіе можетъ долго течено свое имѣть»: погрѣшившій начальникъ не будетъ въ состояніи сдерживать подчиненныхъ, «и такъ мало-по-малу всѣ въ безстрашіе придуть и людей въ государствѣ разорять, и такимъ образомъ, хуже измѣны отдѣльнаго лица можетъ быть государству не только бѣдствіе, но и окончательное паденіе (тутъ, вѣроятно, опять рисуется Петру «монрхія греческая»).

Чувство долга, безъ сомнѣнія, помогаетъ Петру—среди всѣхъ колебаній и превратностей судьбы, среди собственныхъ увлеченій и капризовъ сохранить постоянное направленіе воли, переупрямить своихъ враговъ, своихъ союзниковъ, своихъ сотрудниковъ и свой народъ въ стремленіи къ достиженію разъ поставленной цѣли. Но замѣнить предѣленнаго плана, дать дѣйствіямъ Петра систему — и это чувство не можетъ.

Отсутствіе такого плана и системы, безъ сомнѣнія, должны были лишить реформатора возможности господствовать надъ реформой, руководить ея ходомъ вполне сознательно и цѣлесообразно. Другими словами, личное его вліяніе на реформу сильно сокращалось въ размѣрахъ при этомъ условіи. Но то же самое условіе дѣлало особенно рельефной, особенно замѣтной со стороны ту долю личнаго участія, которая все-таки оставалась. Личное участіе царя въ реформѣ, конечно, гораздо болѣе скра-

дывалось бы, если бы въ ней все совершалось въ свое время на своемъ мѣстѣ, при помощи разъ избранныхъ и приставленныхъ къ дѣлу посредниковъ и исполнителей. Но когда все распадалось на рядъ отдѣльныхъ, отрывочныхъ экспериментовъ, единичныхъ толчковъ, всякій разъ исправлявшихъ и замѣнявшихъ другъ друга и всякій разъ продиктованныхъ личнымъ усмотрѣніемъ Петра, тогда, разумѣется, вмѣшательство личности царя должно было чувствоваться и требоваться на каждомъ шагѣ. Если это былъ «промыселъ», то отнюдь не действской, а скорѣе фетишистской религіи: за отсутствіемъ общаго закона столько актовъ воли, сколько поступковъ. И здѣсь, конечно, сейчасъ же надо сдѣлать оговорку. Всѣ эти поступки, безъ сомнѣнія, не являлись безусловно изолированными, вполнѣ чуждыми одинъ другому. Если въ этой примитивной натурѣ не было твердаго скелета мысли, то за то не было и никакого упорства систематика; не было доктрины, но не было и доктринерства. Петръ съ удивительной легкостью и быстротой признавался въ своихъ ошибкахъ и никогда не уставалъ начинать сызнова. Такимъ образомъ, если его реформа и не вела прямымъ путемъ къ цѣли, то она и не кружила около и тѣмъ болѣе не топталась на одномъ мѣстѣ. Обыкновенно (хотя и не всегда, какъ увидимъ) ошибка служила урокомъ; новый экспериментъ вносилъ поправку: это была, какъ любилъ говорить самъ Петръ, его школа. Разумѣется, при такомъ несовершенномъ методѣ, ученіе могло продолжаться безконечно; и Петръ ошибался, когда по поводу Ништадтскаго мира опредѣлялъ курсъ своей выучки—тройнымъ цеховымъ (семилѣтнимъ) срокомъ. Онъ умеръ, не кончивъ курса и не выдержавъ экзамена по многимъ весьма существеннымъ предметамъ своей программы.

Стоитъ перебрать въ памяти всѣ главные предметы реформы Петра, чтобы убѣдиться въ правильности сдѣланныхъ замѣчаній. Учрежденіе постояннаго войска и обезпеченіе его содержаніемъ — есть, конечно, одинъ изъ самыхъ важныхъ результатовъ реформы, на достиженіе котораго направлена была наибольшая часть заботъ и усилій Петра. Но надо знать, какія жертвы должна была принести страна людьми и деньгами для достиженія этого результата: только тогда убѣдимся, что результатъ не стоитъ ни въ какомъ соотвѣтствіи съ усиліями, что огромная часть ихъ была затрачена нецѣлесообразно и непроизводительно. Если же обратимся отъ войска къ военному дѣлу, то увидимъ, что тутъ до конца жизни Петръ остался ученикомъ самымъ непонятливымъ. Не говоримъ уже о Нарвскомъ пораженіи: Петръ самъ созналъ, что тутъ было одно «младенческое играніе» и что войну мы «начали, какъ слѣпые, не вѣдая силы противниковъ и своего состоянія». Но когда та же ошибка, опять по личной винѣ Петра, повторилась на Прутѣ; когда въ предпоследній годъ жизни его походъ на Дербентъ напомнилъ крымскіе походы Голицына,—то тутъ для сужденія о характерѣ личнаго вліянія Петра на ходъ военныхъ операцій не остается

сомнѣній. Пораженіе арміи Карла XII, какъ и пораженіе великой арміи Наполеона, есть, главнымъ образомъ, дѣло самихъ полководцевъ. Нельзя относить на счетъ Петра отсутствіе общаго плана войны, такъ какъ здѣсь онъ зависѣлъ и отъ противниковъ и отъ союзниковъ. Свое личное дѣло, завоеваніе моря, онъ сдѣлалъ и сумѣлъ отстоять: хотя, конечно, и тутъ—полное разореніе завоеваннаго побережья не свидѣтельствуетъ объ обдуманной программѣ завоеваній.

Гораздо ярче личный характеръ реформы отражается на созданіи флота. Ради флота Петръ велъ всѣ свои войны; но и эта задача до самой смерти осталась не вполне осуществленной и распадалась на рядъ разрозненныхъ и недовершенныхъ до конца попытокъ, брошенныхъ частью самимъ Петромъ, частью его ближайшими преемниками. Скудость результатовъ сравнительно съ грандіозностью затраченныхъ средствъ тутъ выступаетъ особенно ярко. Уже не говоримъ объ игрушечной флотиліи, парадировавшей при взятіи Азова; тотчасъ за этимъ вступленіемъ Петръ спѣшитъ однимъ почеркомъ пера создать настоящій большой торговый флотъ: землевладѣльцы построятъ ему 98 кораблей, и самъ онъ построитъ 90. Вернувшись изъ Голландіи, онъ забраковываетъ всю работу и начинаетъ все сначала (1700); это не мѣшаетъ ему, годъ спустя, хвалиться передъ Августомъ польскимъ, что у него 80 кораблей, по 60 и 80 пушекъ на каждомъ. Увы, когда наступаетъ время пустить корабли въ дѣло для завоеванія Финляндіи въ 1713 г., у Петра оказывается всего четыре линейныхъ корабля и пара фрегатовъ. Въ промежуткѣ однако Петръ не тратилъ времени даромъ; каждый годъ ѣздилъ на свою воронежскую верфь; кромѣ личныхъ усилій и заботъ, онъ положилъ тамъ огромныя суммы денегъ; сотни тысячъ людей умерли отъ болѣзней и голода «у гаваннаго строенія» (т.-е. у постройки новой Троицкой гавани возлѣ Таганрога, такъ какъ по мелководному Дону спускать большіе корабли оказалось невозможнымъ). Прутскій походъ сразу прикрываетъ все многолѣтнее дѣло: гавань скрыта, суда отданы туркамъ или гниютъ на мѣстѣ; ничего почти не приходится утилизировать для сѣвернаго судостроенія, куда теперь Петръ переноситъ всѣ свои заботы, стараясь какъ можно скорѣе нагнать упущенное время. Въ 1719 г. у него уже 28 линейныхъ кораблей, но сколько новыхъ усилій для этого результата! Олонецкая верфь удовлетворяетъ только на первые годы послѣ закладки Петербурга; перенесеніе ея въ Петербургъ тоже оказывается недостаточнымъ: по Невѣ нельзя выводить оснащенные корабли въ море безъ углубленія фарватера. Петербургскую верфь приходится дополнить кронштадтскою гаванью. Но послѣ ряда новыхъ усилій, послѣ новыхъ огромныхъ жертвъ людьми и деньгами, и Кронштадтъ перестаетъ удовлетворять: отъ прѣсной воды суда гниютъ вдвое скорѣе, по условіямъ мѣста изъ бухты можно выдти только при восточномъ вѣтрѣ, по условіямъ климата—гавань только полгода свободна отъ льда. За нѣсколько лѣтъ до смерти Петръ на-

ходитъ новое мѣсто: Рогервикъ, недалеко отъ Ревеля. Правда, шведы остановились передъ страшными расходами и физическими препятствіями для укрѣпленія этой бухты; но Петра такіе пустяки не могутъ остановить: и снова люди десятками тысячъ идутъ на новую работу; «всѣ лѣса въ Лифляндіи и Эстляндіи сведены» для ящиковъ, въ которыхъ погружаютъ на дно морское камень, наломанный въ соседнихъ скалахъ; а неумолимыя бури изъ года въ годъ, при Петрѣ и при Екатеринѣ, разносятъ всю людскую работу, такъ что наконецъ и этотъ проектъ «стойвшій невѣроятныхъ суммъ», приходится бросить. Въ результатѣ, русскій флотъ *демонстрируетъ* въ Балтійскомъ морѣ, какъ онъ демонстрировалъ передъ Константинополемъ и передъ Азовомъ. но дѣйствительно важную услугу въ войнѣ оказываютъ только маленькія галеры, свободно пробирающіяся между шхеръ, въ виду шведскаго флота и арміи, и высаживающія то тамъ, то сямъ небольшіе десанты, которые разоряютъ берега и заставляютъ, наконецъ, Швецію вернуть себѣ безопасность въ собственной странѣ путемъ отказа отъ завоеванныхъ Петромъ заморскихъ провинцій. Но, можетъ быть, Петръ работалъ для будущаго? Въ 1734 г., всего девять лѣтъ послѣ его смерти, нужно запретить съ моря Данцигъ: Петербургское адмиралтейство можетъ снарядить самое большее—15 кораблей, да и для тѣхъ не хватаетъ экипажа и нѣтъ офицеровъ.

Небывалое напряженіе государственныхъ силъ для достиженія военныхъ задачъ Петра вызываетъ, какъ мы знаемъ («Очерки», I), непредвидѣнныя измѣненія въ другихъ частяхъ государственнаго строя, а необходимость считаться съ этими измѣненіями и здѣсь налагаетъ на стихійные историческіе процессы печать торопливости, отрывочности и безсвязности отдѣльныхъ экспериментовъ, ликвидирующихъ и исправляющихъ другъ друга. Не будемъ повторять здѣсь того, что объ этомъ говорилось въ отдѣлахъ о русскихъ учрежденіяхъ и финансахъ (I, 164—7). Напомнимъ, что даже и исторія школы не изъята изъ того же общаго правила—экспериментированія на ощупь (II, 277 и сл.). Не возвращаясь ко всему этому, остановимся еще только на одной области реформы, кажется, наиболѣе личной, наиболѣе зависѣвшей отъ воли реформатора и, слѣдовательно, наиболѣе доступной для планомѣрнаго выполненія. Петербургъ—это воплощеніе всѣхъ пристрастій и антипатій Петра, его любви къ морю и флоту, его потребности въ полномъ просторѣ, его привычки къ внѣшней обстановкѣ культуры, его ненависти къ старинѣ и его страха передъ глухой враждой старой столицы,—этотъ «парадизъ» Петра, созданный, по живописной финской легендѣ, цѣликомъ на воздухѣ и потомъ разомъ опущенный на болото, чтобы не потонуть въ немъ по кусочкамъ,—этотъ самый Петербургъ тоже отразилъ на себѣ не только все содержаніе реформы въ миниатюрѣ, но также и всѣ ея приемы. На этихъ маленькихъ клочкахъ земли, раздѣленныхъ невскими устьями, Петръ мечется десять лѣтъ безъ устали,

и въ результатѣ опять—масса непродуманно затраченнаго труда, масса началъ безъ концовъ, великолѣпныхъ и дорогихъ проектовъ, оставшихся безъ исполненія,—и ничего цѣльнаго. То Петербургъ будетъ на теперешней Петербургской Сторонѣ,—и тамъ строятся церкви, биржа, лавки, зданіе для коллегій, частные дома, которые обязанъ построить каждый служащій дворянинъ, смотря по имуществу. То—лучше перенести торговлю и главное поселеніе въ Кронштадтъ; и тамъ, опять по наряду, каждая губернія воздвигаетъ огромный каменный корпусъ, въ которомъ никто никогда не будетъ жить и которыя постепенно разнаются отъ времени. Между тѣмъ, городъ возникаетъ на новомъ мѣстѣ, между Адмиралтействомъ и Лѣтнимъ Садамъ, гдѣ берегъ выше и наводненія не такъ опасны. И опять Петръ недоволенъ: на досугѣ послѣднихъ лѣтъ ему приходитъ въ голову новая затѣя: Петербургъ обратить въ Амстердамъ, улицы замѣнить каналами,—и для этого перенести весь городъ на самое низменное мѣсто, на Васильевскій Островъ, раньше подаренный цѣликомъ Меншикову; а отъ наводненій и непріятельскихъ нападений построить плотины. И опять все дворянство, уже обзаведшееся домами въ другихъ мѣстахъ Петербурга, приглашается обязательно строить новые дома на Васильевскомъ Островѣ. Умираетъ Петръ—и начатыя постройки забрасываются, приходятъ въ ветхость и служатъ только матеріаломъ для остроумцевъ: въ другихъ странахъ время создаетъ руины, а въ Россіи ихъ строятъ нарочно. «Ничего не было бы легче, какъ сдѣлать новый городъ (при помощи обязательныхъ построекъ) однимъ изъ красивѣйшихъ и правильнѣйшихъ въ Европѣ,—заключаетъ Фокеродтъ,—если бы только послѣдовали обычнымъ правиламъ архитекторовъ, и прежде чѣмъ строить, выработали бы опредѣленный планъ. Но дѣло пошло такъ, какъ обыкновенно бываетъ въ подобныхъ случаяхъ въ Россіи: начали съ исполненія».

Довольно, кажется, всѣхъ этихъ сопоставленій для общаго вывода. Личность Петра видна всюду въ его реформѣ; на всякой частности лежитъ ея печать: и какъ разъ эта-то черта и сообщаетъ реформѣ въ значительной степени стихійный характеръ. Это безконечное повтореніе и накопленіе опытовъ, этотъ непрерывный круговоротъ разрушенія и созиданія, и среди всего какая-то неизсякаемая жизненная сила, которую не могутъ ни сломить, ни даже остановить никакія жертвы, никакія потери, никакія неудачи,—все это такія черты, которыя напоминаютъ расточительность природы въ ея слѣпомъ, стихійномъ творчествѣ, а не политическое искусство государственнаго человѣка. Дѣлая этотъ выводъ, мы не должны забыть еще другой черты, постоянно мелькавшей въ предыдущемъ изложеніи. Именно въ *этомъ* своемъ видѣ реформа перестаетъ представляться чудомъ и спускается до уровня окружающей дѣйствительности. Она должна была быть такой, чтобы соответствовать этой дѣйствительности: ея случайность, произвольность, индивидуальность, насильственность—необходимыя въ ней

черты; и не смотря на ея рѣзко антинаціональную внѣшность, она цѣликомъ коренится въ условіяхъ національной жизни. Страна получила такую реформу, на какую только и была способна.

Посмотримъ теперь, какъ отразилась первая побѣда критическихъ элементовъ на положеніи русскаго націонализма. Въ странѣ, сильно отставшей культурно, по необходимости принужденной заимствовать болѣе совершенную технику сосѣдей и поневолѣ перенявшей, вмѣстѣ съ техникой, нѣкоторыя внѣшнія формы ихъ быта,—въ такой странѣ, можно сказать а priori, націоналистическій протестъ долженъ былъ быть силенъ и долженъ былъ вылиться въ форму религіозную. Мы знаемъ, что въ самой религіозной сферѣ этотъ протестъ уже былъ на лицо, и что тамъ онъ тоже былъ вызванъ побѣдой критическихъ элементовъ. Расколъ именно и былъ такимъ протестомъ со стороны національной религіи, осужденной иноземною критикою. Въ своемъ происхожденіи, также какъ во внутренней логикѣ своего развитія расколъ былъ, какъ мы знаемъ, явленіемъ чисто религіознымъ, въ томъ смыслѣ, что онъ не имѣлъ характера «земскаго» или «соціальнаго» протеста, какъ думали нѣкоторые изслѣдователи («Оч.». II, 45). Но не надо забывать, что сама русская религіозная мысль носила въ то время существенно-націоналистическій характеръ. Конечно, забота о душевномъ спасеніи вызвала расколъ; но забота эта вытекала не изъ какого-нибудь внутренняго процесса религіозной мысли или чувства, а изъ опасенія—лишиться испытанныхъ внѣшнихъ формулъ спасенія. Это былъ не порывъ—спасти свою душу путемъ личнаго усилія, а страхъ какъ бы не погубить ее по чужой винѣ. Словомъ, это была борьба за формы національной религіи, потревоженные греческой и кievской грамматикой. Все враждебное вѣрѣ оказывалось при этомъ заразъ враждебнымъ и національности: и даже эта антинаціональность служила главнымъ доказательствомъ антирелигіозности нововведеній. Такимъ образомъ, религіозный принципъ раскола какъ нельзя болѣе пригоденъ былъ для того, чтобы сдѣлаться принципомъ націоналистической реакціи.

Но для того, чтобы принять подъ сѣнь и охрану націоналистической религіи всю вообще національную старину,—нужно было, чтобы вся она подверглась преслѣдованію, т. е. чтобы и въ *другихъ* областяхъ жизни, какъ это случилось въ религіи, побѣду одержали критическіе элементы. Пока этого не случилось, расколъ не могъ сдѣлаться значенемъ націоналистическаго протеста. Въ лагерьъ противоположномъ тоже еще слишкомъ много оставалось націоналистическихъ элементовъ, чтобы разрывъ, пока исключительно религіозный, могъ считаться окончательнымъ и безповоротнымъ: онъ просто былъ для этого недостаточно принципиаленъ. Лозунгъ протеста, въ упрощенной формулѣ протопопа Аввакума, гласилъ: «тверди: такъ въ старопечатныхъ книгахъ, да молитву Ісусову грызи,—и все тутъ». Но, увы, эта опора была вовсе не такъ прочна и незыблема, какъ казалось Аввакуму. Самое понятіе

«старопечатныхъ книгъ» при ближайшемъ знакомствѣ оказывалось совершенно условнымъ и относительнымъ. Книги печатались до Никона при пяти патріархахъ: Іовѣ, Гермогенѣ, Филаретѣ, Іоасафѣ и Іосифѣ, — и всякій разъ съ исправленіями и перемѣнами. Всѣ онѣ въ свое время были «новопечатными», а нѣкоторыя наталкивались даже на противорѣчіе, совершенно одинаковое съ раскольническимъ (какъ, напр., знаменитое исключеніе «и огнемъ» изъ филаретовскаго Требника). Спрашивалось, какимъ же именно «старопечатнымъ книгамъ» вѣрить и съ какого момента исправленіе книгъ считать ихъ порчей? У самого Аввакума, напр., въ Псалтири іоасафовскаго изданія стояло въ 104 псалмѣ «возврати», а у его товарища по изгнанію, діакона Ѳедора, въ іосифовской Псалтири было правильное чтеніе «возрасти». «И за сію опись (разсказываетъ Ѳедоръ) больше года бранился со мною Аввакумъ: ты-де старыя книги хулишь, а я-де за нихъ мучусь отъ никоніанъ давно прежде тебя... И послѣ отъ иныхъ Псалтирей позналъ, яко право глаголахъ ему; азъ ему и ту опись справилъ. И немудрая тарѣчь, и не богословская, да и о той у него велика толка была». Естественно, что Аввакуму и той огромной массѣ, яркимъ представителемъ которой онъ былъ, трудно было принять выводъ Ѳедора, что «за опись кую въ книгѣ какой ни есть и за погрѣшительное слово — не подобаетъ намъ ни спиратися, ни стояти». Но при всемъ упорствѣ съ обѣихъ сторонъ (такъ какъ и никоніане крѣпко вѣрили въ силу буквы), все-таки оставалось сознаніе, не уничтоженное даже неосторожнымъ проклятіемъ 1667 года, что и та и другая сторона стоятъ на одной почвѣ, что если не примиреніе, то побѣда и полное перерѣшеніе спора возможно для побѣжденныхъ. Не только обѣ стороны боролись одинаковымъ оружіемъ, но каждой случалось еще порой заимствовать оружіе у противника. Никонъ могъ, напр., съ досады, стоя на судѣ передъ патріархами, пустить въ ходъ раскольничій аргументъ, что «греческія правила не прямыя», что «печатали ихъ еретики» (ср. «Оч.» II, 39); и Аввакумъ могъ упорно защищать латинское мнѣніе о времени пресуществленія «святого сакрамента» (ср. «Оч.» II, 153). Такимъ образомъ, принципиальной основы для полнаго раздѣленія, въ сущности, не было. И такъ, расколъ уже потому не могъ въ XVII в. сдѣлаться исключительнымъ знаменемъ націонализма, что и господствующая партія вовсе не стояла подъ знаменемъ иноземной критики, да и самъ онъ не терялъ надежды стать на ея мѣсто.

Въ самомъ расколѣ, правда, уже не было единогласія въ этомъ послѣднемъ вопросѣ. Въ немъ уже складывалась непримиримая фракція, считавшая разрывъ принципиальнымъ и окончательнымъ, вѣрившая въ наступленіе антихристового царства, въ полное исчезновеніе христовой церкви и таинствъ. (См. «Оч.» II, 48 и сл.). Но господствующее настроеніе массы вѣрнѣе отражалось въ посланіяхъ Аввакума, который, правда, самъ не прочь поугатъ враговъ и друзей антихристомъ

я благословить на бѣгство изъ міра и на вольную смерть, но въ то же время не скрываетъ ни отъ себя, ни отъ другихъ своей вѣры въ скорое возстановленіе истины—и всѣми силами старается приблизить минуту этого торжества. Пока можно, онъ «докучаетъ» своими просьбами и угрозами царю Алексѣю, даетъ обѣтъ «не сводить рукъ съ высоты небесной», пока не обратитъ царя къ старымъ книгамъ. Потомъ онъ переноситъ надежды на Ѳедора, пишетъ ему и, наконецъ, передъ смертью своей (14 апр. 1682) и царя, благословляетъ своего любимаго ученика Сергія «стужати царю о исправленіи вѣры». Недавно стало извѣстно, что это—тотъ самый Сергій, который такъ неудачно пытался съ помощью стрѣльцовъ выполнить завѣтъ своего учителя въ Грановитой палатѣ, передъ царевной Софьей и патриархомъ, 5 іюля того же года. Понятно, что въ ожиданіи скорой перемены Аввакумъ дорожилъ скрытыми союзниками изъ никоніанъ и соглашался на всякія поблажки, чтобы только облегчить, а не затруднить связь между обоими лагерями. Онъ былъ противъ перекрещиванія и развѣнчиванія переходящихъ въ расколъ. готовъ былъ принимать православныхъ поповъ въ ихъ чинѣ, дозвольствуясь раскаяніемъ; смотрѣлъ сквозь пальцы на участіе своихъ сторонниковъ въ православныхъ обрядахъ и таинствахъ, позволялъ имъ принимать у себя поповъ и отдариваться предъ властями, молиться за царя и оставаться на царской службѣ, не отрицалъ даже таинствъ, совершенныхъ новыми попами по старымъ книгамъ, а при употребленіи новыхъ книгъ—требовалъ только дополнительныхъ обрядовъ. Все это было принципиально невысказано; но Аввакумъ слишкомъ хорошо понималъ, что пока наставники спорятъ о догматическихъ тонкостяхъ, масса ждетъ и колеблется въ нерѣшительности: вотъ почему онъ такъ широко практиковалъ свою систему временныхъ отступленій—«по нуждѣ», ссылаясь на то, что «время изъ правилъ вышло».

Положеніе, дѣйствительно, было таково. Народная масса стояла внѣ обоихъ лагерей, не разрывая формально съ церковью, въ душѣ инстинктивно склоняясь къ старинѣ, но не зная хорошенько, въ чемъ она состоитъ, въ чемъ разница между «старой вѣрой» и «новой». Такимъ рисуютъ намъ это настроеніе разныя сцены во время стрѣлецкаго мятежа 1682 г. Стрѣльцы готовы воспользоваться своимъ господствомъ, чтобы потребовать публичнаго пересмотра религіознаго спора; но они еще не рѣшаются высказаться опредѣленно: половина подписываетъ челобитную, половина возражаетъ: «зачѣмъ намъ руки прикладывать? Мы отвѣчать противъ челобитной не умѣемъ... все это дѣло не наше, а патриаршее; а мы и безъ рукоприкладства рады тутъ быть, стоять за православную вѣру и *смотреть правду*, а по старому не дадимъ жечь и мучить». И они спрашиваютъ, въ лицѣ своихъ депутатовъ: «За что старыя книги отринуты, какія въ нихъ ереси, *чтобъ намъ про то вѣдомо было*», склоняясь про себя, разумѣется, къ тому,

что ересей въ старыхъ книгахъ нѣтъ, что стринуты онѣ напрасно, но предоставляя рѣшеніе дѣла властямъ и при первой опасности громко заявляя объ этомъ: «Намъ до старой вѣры дѣла нѣтъ; это дѣло патріарха и всего освященнаго собора».

Дать этотъ наглядный матеріалъ, недостававшій народу, для рѣшительнаго выбора между расколомъ и никоніанствомъ; популяризировать въ массѣ ненависть начетчиковъ къ «новой вѣрѣ», поразивъ народную мысль инсезными новшествами и тѣмъ отбросивъ эту массу въ принципиально враждебный лагерь; убѣдить ее до очевидности въ пришествіи и торжествѣ антихриста и въ необходимости спастись изъ міра: эту миссію исполнила петровская реформа. Она поставила разрывъ раскола съ церковью на ту принципиальную почву, которой до сихъ поръ не хватало, и тѣмъ превратила расколъ въ знамя національнаго протеста, въ оплотъ націоналистическихъ идеологій. Перемена позицій произошла необыкновенно быстро. Подъ извѣстнымъ намъ завѣщаніемъ патр. Іоакима самый нетерпимый раскольникъ могъ бы еще подписаться. Безсильное попустительство патр. Адріана петровскимъ новымъ модамъ — уже приводило въ негодованіе. Когда же послѣ Адріана церковь осталась вовсе безъ патріарха, раскольники потеряли всякій критерій для сужденія о ней и ея роли въ обществѣ. А время шло все такъ же быстро впередъ. Въ политическихъ видахъ Петръ преобразовалъ самое устройство церкви на протестантскій ладъ; ему случалось, уставши держать руки, въ качествѣ шафера, надъ женихомъ, приказывать прекратить вѣнчальный обрядъ (на свадьбѣ племянницы Анны Ивановны); онъ не стѣснялся даже разводить своихъ приближенныхъ (Ягужинскаго) съ женами и женить на другихъ; самъ онъ, какъ мы знаемъ, въ подобномъ случаѣ долго обходился и вовсе безъ вѣнчанія. Однимъ словомъ, церковь, послѣ такой огромной роли, какую она играла въ недавнемъ прошломъ, какъ-то вдругъ сразу сократилась и заняла болѣе чѣмъ скромное положеніе въ государственной и частной жизни. Естественно, что при головокружительной быстротѣ, съ которой совершилась эта перемена, почва ушла изъ-подъ ногъ у ревнителей стараго благочестія; недавніе споры съ церковью сами собой отодвинулись такъ далеко назадъ, такъ странно было бы теперь тянуть ее къ отвѣту и строить на побѣдѣ надъ ней какіе-либо расчеты,—когда и сама она была уже не та, что прежде, и главный врагъ оказался совсѣмъ не тамъ, гдѣ его привыкли видѣть... Надеждъ на побѣду, разумѣется, теперь уже быть не могло. За то реформа Петра впервые подала расколу весьма основательную надежду на долгое, прочное существованіе, въ обильную паству, на богатый матеріалъ для пропаганды — не одной уже «старой вѣры», но и вообще стараго націонализма. Враги Никона не могли не сблизиться съ новыми врагами Петра изъ никоніанъ: настоящіе старовѣры расплылись въ массѣ «бородачей». Петръ не особенно преувеличивалъ, когда выра-

зился однажды, что вмѣсто одного бородача (онъ разумѣлъ самого Никона), ему приходится имѣть дѣло съ тысячью.

Реформа Петра, со свойственными ей приемами, дѣйствительно, не могла не послужить самымъ могущественнымъ орудіемъ для распространенія націоналистическихъ идеаловъ въ сѣрой массѣ. Бросая вызовъ всѣмъ старымъ привычкамъ, оскорбляя всѣ чувства, затрогивая всѣ интересы, эта реформа была не изъ такихъ, которыя скрываются въ глубинѣ канцелярій и теряютъ силу въ процессѣ нисхожденія и восхожденія по инстанціямъ. Она не могла остаться неизвѣстной самому послѣднему крестьянину въ самомъ глухомъ захолустьѣ: къ нему туда приходили, его нѣсколько разъ переписывали, безчисленное количество разъ облагали новыми, неслыханными податями и повинностями, отрывали отъ семьи и сохи и «выволакивали» на всевозможныя службы во всѣ концы государства. Въ своихъ собственныхъ платежныхъ квитанціяхъ онъ могъ прочесть длинную лѣтопись разрозненныхъ усилій Петра, то внося деньги на «дѣло кирпича» и «известное жженье» для петербургскихъ построекъ, то посылая людей «къ гаванному строенью» въ Азовъ или «на Котлинъ», то уплачивая дополнительные сборы на «драгунскія сѣдла», то собирая провіантъ и фуражъ и т. д. Но мало всего этого,—Петръ и самъ не оставался вдали отъ народной массы. Ежегодно онъ носился изъ конца въ конецъ Россіи; вездѣ его видѣли, всюду онъ являлся съ своими привычками, такими странными и такъ мало отвѣчавшими старой идеѣ о царской власти, съ своими новыми людьми, еще болѣе безцеремонными, чѣмъ онъ самъ. Словомъ, Россія была полна Петромъ и его реформой: прожить жизнь и не столкнуться съ нимъ, не попасть такъ или иначе въ тѣнь его гигантской фигуры—становилось просто невозможно. Что могло быть, повидимому, общаго между великимъ реформаторомъ и простымъ тамбовскимъ дьячкомъ? А между тѣмъ и тамбовскому дьячку оказалось тѣсно жить въ одной Россіи съ Петромъ. Какъ бы оправдывая народную жалобу, что «никуда отъ него не уйдешь», дьячекъ могъ уйти отъ Петра—только на плаху. Мирно жилъ этотъ дьячекъ Степанъ въ Тамбовѣ, пока не началъ ему наговаривать Савва монахъ: «Было благочестіе, а нынѣ отпало, какъ и Римъ отпалъ; царь Петръ—антихристъ, потому что владѣетъ одинъ, безъ патріарха; а что бороды брить и у драгуновъ раскаты — это антихристова печать». Степанъ смутился; пересталъ, на всякій случай, въ церковь ходить и пошелъ къ духовнику за совѣтомъ. Услыхавъ про Петра-антихриста, духовникъ, къ слову, вспомнилъ: «Были мы на Воронежѣ въ пѣвчихъ и пѣвали передъ государемъ и при его компании; зашелъ разговоръ о Талицкомъ (авторъ памфлета о Петрѣ-антихристѣ, казненный въ 1701 г.); царь и говоритъ: «Такой онъ воръ—Талицкій; ужъ и я антихристъ! О Господи, ужъ и я антихристъ предъ Тобою!» А мы еще, то слыша, подумали: Богъ знаетъ, къ чему это онъ говоритъ»... Разумѣется, та-

кое совпаденіе подкрѣпило подозрѣнія Степана; а тутъ еще прочелъ онъ въ старопечатной Кирилловой книгѣ: «Во имя Симона Петра имать сѣсти гордый князь міра, антихристъ». Нѣтъ сомнѣнія: Петръ—антихристъ; вотъ и прохажая женщина рассказываетъ: были ея родственники въ Суздаль, гдѣ заточена царица (Евдокія Лопухина), и царица говорила людямъ: «Держите вѣру христіанскую, это не мой царь, иной—выше» Со страха, богобоязненный дьячекъ постригся отъ живой жены въ Трегуляевскомъ монастырѣ, подъ именемъ Самуила. Смотри, говорили ему, на монастыри первое гоненіе будетъ. «Нѣтъ нужды,—отвѣчалъ онъ,—тогда я въ горы уйду». Дѣйствительно, и въ монастырѣ Петръ не оставляетъ въ покоѣ разыгравшееся воображеніе Самуила. То какой-нибудь монахъ расскажетъ ему, что «теперь надъ нами царствуетъ не нашъ государь, а сынъ Лефорты», подмѣненный вмѣсто родившейся у Алексѣя Михайловича дѣвочки; то Самуиловъ дядя, тоже монахъ, успокоитъ племянника, что Петръ—только «предтеча» антихриста. Попалъ по какому-то дѣлу Самуилъ въ Воронежъ и рѣшилъ подѣлиться своими свѣдѣніями съ православными: написалъ письмо, что Петръ—антихристъ и подбросилъ въ неизвѣстный дворъ. Идетъ обратно; на пути въ селѣ Избердеѣ боярскій сынъ сообщаетъ ему новость: «А вѣдь говорятъ, нашъ царь пошелъ въ Стекольную (Стокгольмъ), и тамъ его посадили въ заточеніе, а это не нашъ государь». И Самуилъ про себя думаетъ: ну, такъ и есть, антихристъ. Пришелъ въ монастырь Духовный Регламентъ—царь отводитъ отъ монашества: явно антихристъ; ничего не подѣлаешь, надо бѣжать въ пустыню. Самуилъ бѣжитъ, его ловятъ, возвращаютъ въ монастырь. Сидя на цѣпи, монахъ думаетъ: «Игумену ни за что не поклонюсь: онъ слуга антихриста». Отсидѣлъ—и таки бѣжалъ опять, въ степь, оттуда пробрался къ казакамъ. Идея объ антихристѣ и тутъ не оставляетъ Самуила; встрѣтитъ онъ простого бурлака, ему внушаетъ про царство антихриста; а то наткнулся на попа, который по своему мстилъ Петру: на ектеніяхъ онъ поминалъ вмѣсто «императоръ»—«имперетеръ» на томъ основаніи, что Петръ всѣхъ людей «перетеръ». Но тутъ случилась неожиданность: Самуилу попали въ руки правительственныя изданія противъ раскола; онъ прочелъ, пересталъ проповѣдовать про антихриста, обратился въ православіе и вернулся въ монастырь къ мирной жизни. Тщетная надежда: Петръ не даетъ никому пожить мирно. Самуилъ изъ своего Трегуляевскаго монастыря переведенъ въ московскій Богоявленскій, и велѣно ему посѣщать школу. Онъ бы и не прочь почитать хорошую книжку, но учиться грамматикѣ въ его возрастѣ уже трудно. Попробовалъ было не ходить въ классы: префектъ грозитъ плетью. И раздраженіе противъ царя,—теперь уже не антихриста,—снова растетъ въ душѣ Самуила. Въ такомъ настроеніи его застаютъ извѣстіе: жена его вышла замужъ за другого Самуилъ пораженъ въ самое сердце: и жены жаль, и на себя досадно, что ввелъ

ее въ грѣхъ. Но кто главный виновникъ? И тутъ все онъ же, опять Петръ, опять его Регламентъ: вѣдь хотѣла жена постричься: вѣтъ, не позволили! Товарищъ Самуила. другой монахъ, тоже бранить Регламентъ, тоже поджигаетъ Самуила. И вотъ, доведенный до крайней степени раздраженія, совсѣмъ потерявшій душевное равновѣсіе, не зная, на комъ и какъ сорвать свою злобу, Самуиль хватаетъ клочки бумаги и принимается—исключительно «для покою въ совѣсти», отнюдь не для пропаганды—отводить свою душу письменной бранью противъ вѣчнаго своего врага, императора. На горе монаха, одна такая бумажка попалась кому-то на глаза, препровождена была куда слѣдуетъ,—въ Тайную Канцелярію,—и пропалъ Самуиль. Не помогли ни оправданія, ни объясненія: его казнили.

Эта исторія маленькаго человѣка поможетъ намъ наглядно представить себѣ, до какой степени насыщена была общественная атмосфера раздраженіемъ противъ преобразователя. Епископъ Досиѣей, колесованный за сношенія съ постриженной царицей Евдокіей, далъ самую краснорѣчивую характеристику этого настроенія, когда передъ соборомъ архіереевъ, вмѣсто всякихъ показаній, заявилъ: «Посмотрите, что у всѣхъ въ сердцахъ! Извольте пустить уши въ народъ,—что въ народѣ говорятъ,—а самъ я объ этомъ говорить не стану». Что говорилъ народъ, дѣйствительно, слишкомъ хорошо было извѣстно въ московскомъ застѣнкѣ: пусть читатель прочтетъ извлеченную оттуда, трепещущую жизнью, страницу исторіи Соловьева, съ ея постояннымъ рефреномъ: «Какой онъ царь!»

Казалось бы, если когда-либо можно было ожидать, что «старая вѣра» сдѣлается знаменемъ широкаго политическаго и соціального протеста, то это именно въ описываемое время. Не даромъ же иностранные резиденты при русскомъ дворѣ такъ напряженно ждали, что не сегодня-завтра въ Россіи разразится что-нибудь такое, что положить конецъ всей этой адской стряпнѣ. Не даромъ и въ самой Россіи, въ кругахъ сгруппировавшихся около царевича Алексѣя, изъ году въ годъ возрастало нетерпѣливое, нервное предчувствіе развязки; казалось, что вотъ-вотъ потерпитъ царевичъ еще 2—3 года въ монастырѣ или за границей, а тамъ и можно будетъ кликнуть кличъ «отъ архіереевъ—священникамъ, отъ священниковъ—прихожанамъ». Но и иностранцы, и русскіе недовольные сводили счеты безъ хозяина. Царевичъ за свою неясную мечту не то о смерти отца, не то о бунтѣ—поплатился жизнью. Религіозный протестъ, дѣйствительно, превратился въ общенациональный; но изъ національнаго соціальнымъ и политическимъ не сдѣлался. Это не значитъ, что соціального протеста вовсе не существовало; но, какъ и до Петра, онъ шелъ своей отдѣльной струей, и всѣ попытки сліянія его съ религіозно-национальнымъ протестомъ не привели ни къ чему.

На взаимныхъ отношеніяхъ этихъ двухъ отдѣльныхъ теченій, ре

лигіозно-національнаго и соціальнаго, намъ необходимо остановиться, однакоже, нѣсколько внимательнѣе, чтобы пояснить только-что сдѣланное утвержденіе.

Изъ основныхъ принциповъ раскола нельзя было сдѣлать никакихъ соціальныхъ выводовъ. Только въ нѣкоторыхъ крайнихъ толкахъ безпоповщины (какъ, напр., странники, см. «Очерки», II, 88), мы встрѣчаемся съ опредѣленнымъ соціальнымъ ученіемъ, и то выработаннымъ довольно поздно. Вообще же расколъ относился къ соціальнымъ вопросамъ совершенно нейтрально. «Кой во что призванъ, въ томъ да пребываетъ», такъ формулировалъ Аввакумъ это основное правило раскола. Конечно, расколу пришлось все-таки стать въ оппозицію государственной власти, но лишь постольку, поскольку эта власть являлась представительницей интересовъ государственной церкви. И притомъ, даже эта оппозиція была не активная, а пассивная; расколъ дѣйствовалъ по отношенію къ государству оборонительно, а не наступательно. Самымъ активнымъ проявленіемъ самаго нетерпимаго отношенія раскола къ свѣтской власти—было самоубійство, самосожженіе: мученичество за вѣру, а не борьба за ея торжество.

На активную борьбу расколъ самъ по себѣ былъ не способенъ. Это, однако же, не исключало возможности попытокъ воспользоваться оппозиционнымъ настроеніемъ раскола, чтобы привлечь его къ союзу съ элементами дѣйствительно активнаго протеста. Степанъ Разинъ еще не знаетъ хорошенько, гдѣ искать на Руси представителей религіознаго протеста, но онъ ихъ уже ищетъ и предлагаетъ имъ свой союзъ. Его эмиссары появляются и у низложеннаго патріарха Никона, и у взбунтовавшихся противъ его нововведеній иноковъ Соловецкаго монастыря. Конечно, эта первая попытка остается безъ всякихъ результатовъ. Годъ спустя послѣ казни Разина положеніе дѣла становится яснѣе. Раскольничья община, преслѣдуемая правительствомъ, разбѣгается мало-помалу изъ Москвы по окраинамъ; въ это время и на Донъ появляются (1672 г.) до 130 чернецовъ и бѣльцовъ и строятъ себѣ на берегу рѣки Чира пустынь, скоро сдѣлавшуюся знаменитой. Неудачная попытка возстановить старую вѣру во время стрѣлецкаго мятежа (1682 г.) влечетъ за собой новый пароксизмъ правительственныхъ преслѣдованій: на сѣверѣ они вызываютъ эпидемію самосожженій (Оч. II, 69), на западной окраинѣ бѣгство за границу, въ Польшу и Швецію, а на Дону на первыхъ порахъ—новый сильный приливъ бѣглецовъ: «Свѣтлая Россія потемнѣла, а мрачный Донъ возсіялъ и преподобными отцами наполнился». Здѣсь, среди казачества, на классической почвѣ русскаго соціальнаго протеста, союзъ религіозной оппозиціи съ соціальной долженъ былъ, повидимому, послѣдовать самъ собой. Онъ и послѣдовалъ,—но только для того, чтобы показать до послѣдней очевидности, до какой степени обѣ оппозиціи разнохарактерны и до какой степени ихъ совмѣстное дѣйствіе невозможно. Старцы, поселившіеся въ Чирской пустынѣ, ду-

мали лишь объ одномъ, какъ бы перетерпѣть тяжелое время для раскола и обезпечить непрерывность церковной жизни: освятить церковь (1686 г.), наготовить въ ней какъ можно больше запасныхъ даровъ, чтобы и «въ тысячи лѣтъ не оскудѣло» *); самые смѣлые мечтали какъ-нибудь, хотъ семью-восемью попами посвятить себѣ епископа. Вотъ почему, когда въ ихъ обители въ 1683 г. появились эмиссары изъ Москвы звать казаковъ на помощь стрѣльцамъ, старцы спровадили ихъ поскорѣе дальше по Дону, съ ихъ подложной грамотой отъ царя Ивана Алексѣевича. А когда поднялось дѣйствительно политическое движеніе на Дону, старцы спасались въ лѣса и бѣжали на Кавказъ отъ царскихъ посылокъ за ними. Были, однако, на Дону и представители болѣе крайняго теченія въ расколѣ. На р. Медвѣдицѣ поселился типичный проповѣдникъ близкаго пришествія антихриста, Кузьма Косой. Созванный имъ отовсюду сходъ единомышленниковъ, тысячъ до двухъ, на первый взглядъ могъ показаться настоящимъ военнымъ лагеремъ, гдѣ готовились идти на Москву войной. Кузьма говорилъ о какомъ-то царѣ Михаилѣ, который будетъ съ ними и «очиститъ землю». Изъ всего этого сдѣлали въ Москвѣ политическій заговоръ и послѣ многихъ пытокъ умирающаго Кузьму заставили признать, что тѣхъ, кто не послушаетъ ихъ ученія на Дону и въ Москвѣ, «намѣрено было, вѣхъ побивать». Смыслъ этого признанія, однако же, былъ совсѣмъ иной, чѣмъ могло показаться на первый взглядъ. Достаточно внимательно въсмотрѣться въ проповѣдь Кузьмы, чтобы узнать въ немъ близкаго родственника тѣхъ пропагандистовъ, которые волновали Заволжье и призывали къ самосожженію (Оч. II, 67). Подобно имъ, Кузьма учить «умирать безъ причастія», «и жить безъ вѣнчанія», такъ какъ нѣтъ больше на землѣ ни церкви, ни таинствъ, и до кончины міра (1692 г.) осталось только пять лѣтъ. Подобно имъ, это ожиданіе антихриста вызываетъ въ немъ и въ его паствѣ повышенное, экзальтированное настроеніе, располагающее къ мистицизму и къ апокалипсическимъ видѣніямъ. Это—то же движеніе, которое одновременно съ самосожженіями, вызвало въ Заволжьѣ хлыстовщину (Оч. II, 102—5). Кузьма открыто заявляетъ въ Москвѣ (1688—1689 гг.), что у него есть «подлинникъ, писанный перстомъ Божиимъ прежде сотворенія міра». При такомъ настроеніи, Кузьма и его послѣдователи «все земное дѣло и суету отложили» и собрались на Медвѣдицѣ «для великаго божественнаго дѣла»: они ждали, какъ «вся земля вострепещетъ и море восколеблется и преисподняя потрясется и нечестивые и непокорные всѣ потребятся отъ земли»—царемъ Михаиломъ, подъ которымъ Кузьма разумѣлъ Христа. Естественно, что такого рода приготовленія и ожиданія не имѣли ничего общаго съ традиціями Стеньки Разина: и самъ Кузьма, и его покровители въ Чер-

*) Это такъ называемое «Досиеево причастіе», о которомъ толковали, что «того таинства будетъ на 5.000 лѣтъ для 100.000 человекъ безъ нужды»; игумень Досиеевъ обыкновенно просфору для агнца, «запасалъ великую яко буличу». Ср. II, 72.

касскѣ успокаивали мирныхъ казаковъ, чтобъ они «отъ того сбору не опасались и не мятежились, потому что тотъ сборъ былъ о божественномъ писаніи, а не иного какого худого дѣла и къ Москвѣ идтить намѣренія не было». Но эта самая несоизмѣримость взглядовъ и полное различіе цѣлей, при всемъ видимомъ сходствѣ средствъ, должны были оттолкнуть отъ Кузьмы и немирныхъ казаковъ, замышлявшихъ настоящій мятежъ. Дѣло Кузьмы для нихъ было «страшнымъ дѣломъ» и его сборище «нелѣпнымъ совѣтомъ»: вмѣсто того, чтобы готовить втихомолку бунтъ, Кузьма заявлялъ, что онъ никого не боится, «ни царей, ни войска, ни всей вселенной», а когда казаки пробовали урезонивать его простымъ практическимъ соображеніемъ: «Какъ-де вамъ идти, васъ-де немного», Кузьма отвѣчалъ имъ на своемъ языкѣ: «Съ нами будутъ небесныя силы». Очевидно, сговориться съ такимъ страннымъ союзникомъ было нельзя: онъ могъ быть скорѣе опасенъ, чѣмъ полезенъ для настоящаго заговора: вотъ почему казачій кругъ при первомъ требованіи выдалъ Кузьму московскому правительству. Сборище на Медвѣдицѣ продолжало держаться до послѣдней возможности, но оно никуда не шло, а только стсиживалось; а когда, послѣ долгихъ усилій, ихъ окопъ былъ взятъ приступомъ, большинство осажденныхъ бросалось въ огонь и въ воду, т.-е. принимало мученическій вѣнецъ, какъ того требовало крайнее и послѣдовательное направленіе раскола. Изъ этого видно, что цѣль, съ которой собрались на Медвѣдицѣ послѣдователи Кузьмы, до конца оставалась все та же.

Итакъ, ни умѣренное, ни даже крайнее теченіе въ расколѣ не могло быть прямо и непосредственно использовано для соціального протеста *). Это нисколько не помѣшало казацкой вольницѣ присоединить къ старой Разинской программѣ «старую вѣру» въ качествѣ новаго лозунга. «Старая вѣра», дѣйствительно, сдѣлала большіе успѣхи между донскимъ казачествомъ въ 80 годахъ, благодаря бѣжавшимъ изъ Россіи раскольникамъ. Въ чуждой казацкой средѣ расколъ сразу сдѣлался простымъ политическимъ орудіемъ въ рукахъ партіи, враждебной Москвѣ. Пока старцы на Чиру запасаются дарами, на всемъ Дону идетъ дѣятельная пропаганда вожаковъ антимосковской партіи; они добиваются постановленія казачьяго круга, чтобы въ Черкасской церкви служить по старымъ книгамъ, и стараются даже прекратить моленіе за царя. Пока Кузьма собираетъ свой сборъ на Медвѣдицѣ и пропагандируетъ свои апокалипсическія видѣнія, въ Черкасскѣ составляется формальный заговоръ, участники котораго, не надѣясь «очистить землю» съ помощью «небесныхъ силъ», заводятъ сношенія съ Яикомъ и Тере-

*) Зачатки соціального ученія, можетъ быть, и были у Кузьмы. «Мы, по созданію Божію, всѣ братія», пишетъ онъ съ Медвѣдицы къ донскимъ казакамъ, опровергая какое-то ихъ недоразумѣніе. Но, конечно, ни возможности, ни надобности не было развивать это ученіе въ виду того, что «ничтоже намъ не пособитъ вѣка сего житіе»—при предстоящемъ второмъ пришествіи.

комъ, съ калмыками и «иными ордами», и назначаютъ даже срокъ, къ которому донское казачество должно быть готово искать зиуновъ Исходъ заговора (1688 г.) и здѣсь оказался неудачнымъ, вслѣдствіе доноса; но тогда какъ раскольники при неудачномъ исходѣ стремятся умереть за вѣру, бросаясь въ огонь и въ воду, заводчики казацкаго бунта начинаютъ съ того, что отрекаются отъ «старой вѣры». Отношеніе ихъ къ расколу очень вѣрно характеризуетъ одинъ изъ допрашиваемыхъ казаковъ. Заговорщики, по его словамъ, рѣшили «учинить бунтъ, какъ и при Стенькѣ Разинѣ, и идти для всровства на Волгу и на Куму рѣку», а «приговоря къ себѣ и иныя орды, возмутить всѣмъ государствомъ и идти къ Москвѣ... А старую вѣру они твердили и за нее стояли всѣ—для того жъ, умышляя, чѣмъ бы имъ не токмо что всѣмъ Дономъ, но и всѣмъ московскимъ государствомъ замутишь».

Такъ стояло дѣло, когда начались «тяжелыя забавы» Петра, «замутившія» и на самомъ дѣлѣ «все московское государство». «Старая вѣра», въ смыслѣ протеста религіознаго, оказалась непригоднымъ орудіемъ для политической борьбы; но можетъ быть, какъ протестъ націоналистическій, она окажется болѣе сильнымъ и активнымъ союзникомъ?

Дѣйствительно, поведеніе Петра сильно оживило извѣстные намъ толки и подняло ослабѣвшія надежды. Опять появились въ народѣ мнимые извѣты царя Ивана Алексѣевича, на этотъ разъ съ новымъ содержаниемъ: «братъ живетъ не по церкви, знаетъ съ нѣмцами». Опять заговорила и «голутьба» на Дону. Но, что всего важнѣе, новымъ факторомъ явились стрѣльцы: чѣмъ дальше, тѣмъ становилось яснѣе, что имъ все равно пропадать, и вмѣстѣ съ тѣмъ росло въ ихъ средѣ мужество отчаянія. «Какъ Стенька былъ Разинъ, вы намъ мѣшали», говорили казаки стрѣльцамъ; «а теперь мѣшать будетъ некому». «Какъ бы вы съ одного конца, а мы съ другого». У движенія являются и вожди, характерный союзъ: братъ знаменитыхъ раскольниковъ, пострадавшихъ при Алексѣѣ, Морозовой и Урусовой, (Соковвинъ) и стрѣлецкій полковникъ (Цыклеръ). Обстоятельства, повидимому, складываются какъ нельзя благоприятнѣе. Царь, «уклонившійся въ потѣхи» и покинувшій правленіе на произволъ судьбы, кончаетъ тѣмъ, что совсѣмъ уѣзжаетъ изъ царства за-границу. Цыклера съ стрѣльцами назначаютъ въ Таганрогъ, самый удобный пунктъ для соединенія съ казачествомъ. Планъ дѣйствій создается самъ собой: «какъ буду на Дону у городского дѣла Таганрога, то, оставя ту службу, съ донскими казаками пойду къ Москвѣ для ея разоренія и буду дѣлать тоже, что и Стенька Разинъ». Заговоръ раскрытъ и заговорщики казнены; но вызвавшее заговоръ настроеніе не умираетъ; напротивъ продолжительное отсутствіе Петра даетъ ему новую силу. Царь «невѣдомо живъ, невѣдомо мертвъ»: первая непришедшая во время почта повергаетъ самихъ бояръ въ «страхъ бабій»; стрѣльцовъ держатъ на границахъ, и знающіе люди говорятъ имъ, что въ столицу, къ семьямъ, имъ уже

больше не вернуться. При этихъ условіяхъ мысль о походѣ на Москву пріобрѣтаетъ надъ умами стрѣльцовъ принудительную силу: «непремѣнно идти къ Москвѣ, хотя бы умереть». Последней каплей является призывная грамота изъ Дѣвичьяго монастыря, отъ царевны Софьи. Рѣшеніе принято моментально: «идти къ Москвѣ». Цѣль тоже сама собой ясна. «Нѣмецкую слободу разорить и нѣмцевъ побить за то, что отъ нихъ православіе закоснѣло; бояръ побить, государя въ Москву не пустить и убить за то, что почалъ вѣровать въ нѣмцевъ. Послать вѣдомость къ донскимъ казакамъ». Въ своей челобитной, поданной при встрѣчѣ съ правительственными войсками боярину Шеину, кромѣ жалобъ на «еретика-иноземца Франца Лефорта», хотѣвшаго погубить «чинъ ихъ, московскихъ стрѣльцовъ, чтобы благочестію великое препятіе учинить»,—бунтовщики передаютъ волновавшіе ихъ слухи, что «идутъ къ Москвѣ нѣмцы, послѣдуя брадобритію и табаку, во все-совершенное благочестія испроверженіе».

«Брадобритіе и табакъ», какъ доказательства «исроверженія благочестія»,—такова новая націоналистическая формула, смѣнившая уже—ранѣе первыхъ мѣропріятій Петра—старый лозунгъ религіознаго протеста новопечатныя книги. Стрѣлецкій походъ къ Москвѣ 1698 г., рѣшенный, какъ мы только что видѣли, какъ-то стихійно: таково первое и единственное (въ самой Россіи) вооруженное проявленіе новаго націоналистическаго протеста. Петръ далекъ отъ того, чтобы понимать его внутренній смыслъ: онъ все еще борется съ тѣвью, съ «сѣменемъ Милославскаго», ничего не видя въ движеніи, кромѣ продолженія старой династической интриги. Онъ не знаетъ, или не хочетъ знать, что стрѣльцы уже мало интересуются царевной Софьей и готовятъ престолъ его законному сыну. Передъ его глазами стоятъ и заслоняютъ все другіе старыя, знакомыя фигуры его личныхъ враговъ, и все то бѣшенство, на которое онъ только способенъ, поднимается разомъ со дна его души: начинается ужасная бойня, которая разомъ освобождаетъ Петра отъ единственной организованной опоры націонализма. Онъ можетъ теперь дѣлать, что хочетъ «брадобритіе и табакъ», съ прибавленіемъ еще новаго платья, останутся главными предметами націоналистическаго протеста, какъ бы напоминая о томъ моментѣ, когда народное негодование сразу возникло и поднялось до своей высшей точки. За этимъ предѣломъ—народное воображеніе точно притупилось мы не видимъ новыхъ лозунговъ, а только частичныя отдѣльныя жалобы. Причина понятна. Стрѣлецкое войско было единственнымъ социальнымъ факторомъ, способнымъ сыграть роль аккумулятора народныхъ жалобъ; его настроеніе передъ неминуемой гибелью—единственной социальной силой, достаточно напряженной, чтобы дать этимъ жалобамъ исходъ въ какомъ-нибудь коллективномъ дѣйствіи; наконецъ, и моментъ—пока еще Петръ не взялъ правленія въ свои сильныя

руки—былъ единственнымъ моментомъ, когда для такого дѣйствія открывался хоть какой-нибудь просторъ. Націоналистическая формула была отчеканена въ этотъ моментъ въ коллективномъ сознаніи и навсегда сохранила дату своего чекана.

У націоналистической оппозиціи, впрочемъ, и послѣ гибели московскихъ стрѣльцовъ, оставался еще одинъ ресурсъ: южныя окраины. На этотъ разъ она сама первая пошла навстрѣчу и искала союза. Идея идти на Москву была на югѣ очень популярна. Въ списокъ враговъ, подлежащихъ истребленію, кромѣ бояръ, воеводъ и приказныхъ, занесены были и нѣмцы, а скоро прибавлена еще новая категорія: «прибыльщики» (доморощенные финансисты изъ дворовыхъ и приказныхъ, измышлявшие новые налоги въ началѣ сѣверной войны). Положительная сторона программы тоже включила въ себя всѣ исторически сложившіеся слои—разинскій, раскольничій, націоналистическій и новѣйшій фискальный. Но на Дону и на Волгѣ сочетанія этихъ элементовъ оказались различныя. «Стали мы въ Астрахани (1705) за вѣру христіанскую, и за брадобритіе, и за нѣмецкое платье, и за табакъ... и за то, что стала намъ быть тягость великая», говорилось въ тамошней прокламаціи. Въ такой программѣ оказывалось слишкомъ мало—разинскаго элемента. Не обнаружили астраханскіе бунтовщики и достаточной ловкости, и достаточнаго знанія мѣстныхъ условій, которое могло бы зарекомендовать ихъ въ глазахъ казачества. Они, правда, не даромъ говорили, что такое «великое дѣло не просто начали». Дѣйствительно, за ними стоялъ цѣлый съѣздъ представителей недовольныхъ изъ разныхъ мѣстностей: «со многихъ городовъ люди». Но эти «многіе города» внутренней Россіи ничѣмъ не могли помочь возстанію, кромѣ идейнаго сочувствія; а о привлеченіи мѣстныхъ, всегда готовыхъ волноваться элементовъ—организаторы подумали слишкомъ поздно и сдѣлали это дѣло неумѣло. Выборный вождь движенія, ярославскій раскольникъ Носовъ, повидимому, принадлежалъ къ типу людей, лучше умѣвшихъ «умирать» за вѣру, по его собственному выраженію, чѣмъ за нее бороться. Это были, словомъ, на Волгѣ не свои люди: вотъ почему имъ и не удалось сплотить около себя низовой вольницы.

Главные союзники, которыхъ особенно боялся Петръ и на которыхъ особенно рассчитывали какъ московскіе, такъ и астраханскіе стрѣльцы,—это были донскіе казаки. Посланное имъ, слишкомъ оффиціально, прямо въ Черкасскъ, приглашеніе—было оффиціально и отклонено. Донцы остались равнодушны къ главной, націоналистической сторонѣ астраханской программы, на томъ основаніи, что «къ ничъ до сихъ поръ о бородахъ и о платьѣ указу не прислано». Это не помѣшало донской «голутьбѣ» два года спустя возстать самостоятельно (подъ предводительствомъ Булавина), выставивъ поводомъ, между прочимъ, и «еллинскую вѣру», въ которую «вводятъ» добрыхъ людей. Самая эта форму-

лировка *) показывала, однако же, что Донъ болѣе чѣмъ когда-либо остается чуждъ религіозно-національному элементу протеста. Булавинская прокламація приглашала «атамановъ-молодцовъ, дорожныхъ охотниковъ, воровъ и разбойниковъ» — «съ нимъ погулять, по чисту полю красно походить, сладко попить да поѣсть, на добрыхъ коняхъ поѣздить». Очевидно, Носовъ и Булавинъ говорили на разныхъ языкахъ.

Итакъ, всѣ наличныя силы, на которыя могъ бы опереться соединенный соціально-религіозно-націоналистическій протестъ, были пущены въ дѣло и разбиты по одно икѣ. Безплезно обсуждать, каковы были бы шансы на успѣхъ въ случаѣ комбинированнаго дѣйствія, но для насъ важно отмѣтить, что соглашеніе не могло состояться, помимо случайности и стихійности дѣйствій, также и потому, что и чувства, и взгляды, и задачи разныхъ входившихъ въ соглашеніе элементовъ были черезчуръ различны между собою.

Наши наблюденія надъ оппозиционными элементами Петровской эпохи были бы, однако, неполны, если бы мы, помимо народной оппозиціи, не упомянули еще и объ оппозиціи интеллигентной, сосредоточивавшейся въ высшемъ общественномъ слоѣ. Мы разумѣемъ остатки титулованной аристократіи, «родословныхъ людей». Нѣкоторые изъ нихъ, какъ кн. Дм. Мих. Голицынъ и кн. Б. Куракинъ, были передовыми людьми своего времени, гораздо болѣе образованными, чѣмъ самъ Петръ, поневолѣ пользовавшійся ихъ услугами. Но Петръ не пускалъ ихъ на первыя мѣста и распространялъ на нихъ то недовѣріе, съ которымъ вообще относился, какъ мы знаемъ, къ боярству. Въ свою очередь, и они съ презрѣніемъ смотрѣли на плебейскіе вкусы и привычки царя, были шокированы его семейными отношеніями и не признавали его второго брака, негодовали на выборъ сотрудниковъ, какъ Меншиковъ, невѣжественныхъ и надменныхъ, которымъ тѣмъ не менѣе они принуждены были кланяться. Петровской безцеремонности и неуваженію къ чужому достоинству они старались противопоставить крайнюю сдержанность и осторожность, по возможности устрояясь отъ его оргій и предпочитая постоянному лицезрѣнію царя—службу въ провинціи, въ арміи, за-границей или просто житье у себя дома. «Что вы дома дѣлаете?»—спрашивалъ ихъ Петръ.—«Я не знаю, какъ безъ дѣла дома быть?»—«Какъ не найти дѣла дома», возражали они, думая про себя: «у тебя все готово, ты нашихъ нуждъ не знаешь». Для Петра—это было только оправданіемъ его отношенія къ этимъ «большимъ бородамъ, которыя, ради тунеядства своего, нынѣ не въ авантажѣ обрѣтаются».

Царевичъ Алексѣй былъ тѣмъ идейнымъ центромъ, въ которомъ

*) Можетъ быть, она вызвана жалобами астраханцевъ, что ихъ ваставляютъ кланяться «болваннымъ кумирскимъ богамъ», подъ которыми они разумѣли подставки для париковъ, найденные въ домахъ служилыхъ людей. характерный провинціализмъ, уцѣлѣвшій отъ временъ Олгарія.

соединялась народная оппозиція съ аристократической. «Мнѣ только здорова была бы чернь», говорилъ онъ, и въ то же время насчитывалъ въ числѣ своихъ друзей всѣхъ этихъ Долгорукихъ, Голицыныхъ, Курякиныхъ и т. д. «Отецъ твой хотя и уменъ», говорили они ему, «но только людей не знаетъ, а ты умныхъ людей знать будешь лучше». При случаѣ они не прочь были бы выступить впередъ, и, можетъ быть, даже дать народному протесту ту организацію, которой ему больше всего недоставало. Но случая не представлялось, а царевичъ менѣе всего былъ способенъ самъ создать такой случай, — и титулованная аристократія таила въ душѣ свою оппозицію, въ ожиданіи лучшихъ дней. «Кабы царица не смягчала государева жестокаго нрава, намъ бы было жить нельзя: я бы первый измѣнилъ», шепталъ царевичу кн. Вас. Влад. Долгорукій — и принималъ на себя потомъ очень двусмысленную роль, какъ посредникъ между отцомъ и сыномъ. «Пожалуйста, меня не оставь», говоритъ царевичъ въ Сенатѣ другому своему «другу», кн. Якову Фед. Долгорукому, передъ бѣгствомъ за границу. «Всегда радъ, — отвѣчаетъ князь Яковъ, — только больше не говори со мной: другіе на насъ смотрятъ». И при возвращеніи Алексѣя, князь, въ числѣ другихъ сенаторовъ, подписываетъ свое имя подъ смертнымъ приговоромъ царевичу и присутствуетъ при его предсмертной пыткѣ въ крѣпости, довольный хоть тѣмъ, что удалось спасти отъ пытки и казни сородича — князя Василья.

Аристократическая оппозиція принуждена была ограничиться разговорами по секрету. Но въ этихъ разговорахъ реформа Петра подвергалась беспощадной критикѣ и намѣчался планъ дѣйствій въ будущемъ. Царевичъ Алексѣй только резюмировалъ всѣ эти разговоры, когда излагалъ свою программу своей возлюбленной, Афросиньѣ. «Я старыхъ всѣхъ (сотрудниковъ) переведу и изберу себѣ новыхъ по своей волѣ; буду жить въ Москвѣ, а Петербургъ оставлю простымъ городомъ; кораблей держать не буду; войско стану держать только для обороны, а войны ни съ кѣмъ имѣть не хочу: буду довольствоваться старымъ владѣніемъ». Итакъ, новая программа, принимая въ общемъ реформу, отрицательно относится къ тремъ пунктамъ ея, для Петра, конечно, самымъ важнымъ: къ арміи, флоту и Петербургу. По счастью, мы знаемъ не только эти выводы, но и самыя разсужденія, на которыхъ они основывались: двѣнадцать лѣтъ спустя послѣ смерти Петра Фокеродтъ изложилъ эти разсужденія, частью отъ лица оппозиціи, частью отъ своего собственнаго лица, когда былъ съ ними согласенъ. Не можетъ быть сомнѣнія, что именно въ этомъ кругу, о которомъ мы теперь говоримъ, Фокеродтъ слышалъ эти «интимныя, конфиденціальныя» бесѣды изъ устъ лицъ, слагавшихъ Петру при «публичныхъ разговорахъ» — «пышные панегирики».

Недовольство непрерывными войнами, безсрочной военной службой и введеніемъ постоянной регулярной арміи заставило аристократиче-

скую оппозицію формулировать свой собственный взглядъ на задачи иностранной политики.—Прежніе государи, — говорила недовольная знать, — тоже дѣлали завоеванія, но присоединяли лишь такія земли, которыя были необходимы государству или откуда насъ беспокоили разбойничьи набѣги. Напротивъ, пріобрѣтенія Петра ничего не прибавляютъ къ нашей безопасности, а могутъ только вовлечь насъ, безъ всякой пользы для Россіи, въ чуждые намъ взаимные счеты и споры иностранныхъ державъ. Прежнія завоеванія были ужъ настоящими завоеваніями, изъ которыхъ и государство, и служилые люди извлекали всевозможныя выгоды; а петровскія завоеванія требуютъ только заботъ и расходовъ. Не только дворянство не получило отъ нихъ никакихъ выгодъ и имѣній, а напротивъ, «лифляндцы у насъ чуть не на головахъ нашихъ пляшутъ, имѣютъ больше привилегій, чѣмъ мы сами: намъ только остается честь—защищать своею кровью и охранять на свой счетъ чужую націю». Наше государство такъ велико, что расширять его нѣтъ надобности; нужно только заселить его погуще. На насъ никто не нападаетъ, да и географическое положеніе Россіи таково, что чужеземное вторженіе ей не страшно. Въ случаѣ вторженія—страна, конечно, напряжетъ всѣ усилія для защиты, какъ это и было въ смутное время; но никакой, даже самый жестокой непріятель, хотя бы онъ опустошилъ все государство, не могъ бы причинить намъ и половины вреда, какой приноситъ постоянная армія. Такимъ образомъ, настоящая національная политика должна состоять въ томъ, чтобы сидѣть смирно, въ чужія дѣла не мѣшаться и ни на кого не нападать. Для обороны же достаточно и старой военной организаціи; а миліоны людей, которыхъ стоила шведская война и построеніе Петербурга, умнѣе было бы оставить дома, за сохой, гдѣ недостатокъ ихъ слишкомъ тяжело чувствуется.

Еще нелѣпѣе въ такой странѣ, какъ Россія,—стремиться играть роль морской державы. Для обороны границъ флотъ не нуженъ, такъ какъ единственная страна, которая могла бы высадить свои войска съ моря, Швеція, всегда предпочтетъ сдѣлать это съ суши; а высаженный моремъ десантъ необходимо окажется отрѣзаннымъ, какъ только берега покроются льдомъ. Для нападенія же—флотъ бесполезенъ, такъ какъ шведскіе берега защищены скалами, а прусскіе—дюнами; нападать же на Данію нѣтъ ни расчета, ни возможности, потому что за нее вступятся другія морскія державы. Не нуженъ флотъ и для торговыхъ цѣлей, такъ какъ вся русская торговля совершается на чужихъ корабляхъ. Такимъ образомъ, и потраченныя на флотъ невѣроятныя суммы денегъ лучше было бы оставить въ карманѣ подданныхъ.

Наконецъ, и перенесеніе резиденціи въ сѣверную столицу болѣе вредно, чѣмъ полезно. Не говоря уже о томъ, что и судъ, и финансы и все вообще внутреннее управленіе, переполненное ворами и взяточниками, гораздо легче было бы контролировать изъ такого центрального

пункта, какъ Москва,—и для вѣшной политики переселеніемъ въ Петербургъ выигрывается немногое. Правда, Швеція ближе изъ Петербурга, но ужъ черезчуръ, такъ какъ при малѣйшей оплошности новая столица рискуетъ сдѣлаться жертвой шведскаго нападенія. Напротивъ, къ Польшѣ и Турціи, за которыми, конечно, важнѣе наблюдать, чѣмъ за Швеціей—Москва ближе Петербурга; а ко всѣмъ остальнымъ державамъ разстояніе одинаково, такъ какъ и Москва, и Петербургъ одинаково удалены отъ Риги, «составляющей дверь, черезъ которую теперь проходитъ въ Россію все, что идетъ изъ Европы». Наконецъ, и торговля не можетъ извлечь никакой выгоды изъ пребыванія двора въ Петербургѣ, такъ какъ потребленіе двора составляетъ самую ничтожную часть торговаго оборота; главный предметъ его—громоздкое вывозное сырье, особенно нуждающееся въ дешевизнѣ расходовъ на перевозку: а при высокихъ петербургскихъ цѣнахъ, вызываемыхъ именно присутствіемъ двора, эти расходы ложатся на товары очень тяжело; слѣдовательно, дворъ лишаетъ торговлю и тѣхъ выгодъ, которыя могло бы дать ей мѣстоположеніе Петербурга.

Вотъ систематизированное, можетъ быть нѣсколько заднимъ числомъ, изложеніе аргументовъ, какіе могли имѣть противъ реформы Петра государственные люди типа кн. Д. М. Голицына. Въ этомъ націоналистическомъ взглядѣ особенно бросается въ глаза одна черта, которая, на первый взглядъ, какъ будто противорѣчитъ націоналистическому характеру программы: это, именно, требованіе разоруженія и мирной политики. Мы привыкли, наоборотъ, завоевательную политику считать необходимой составной частью національной программы. Сюда, несомнѣнно, подходитъ и завоевательная политика Петра: недаромъ и противъ Турціи, и противъ Швеціи онъ выдвигалъ русскіе «завѣты исторіи». Въ этомъ соединеніи національно-завоевательной политики съ оффиціальной побѣдой критическихъ элементовъ мы усматриваемъ даже характерную черту переходнаго XVIII вѣка (выше, стр. 12). Несомнѣнно, въ реформѣ Петра критическіе элементы составляли лишь средство, а цѣль была вполне націоналистическая. Если такъ, то какой же смыслъ имѣетъ противопоставленіе этой, по существу своему націоналистической, политикѣ,—какой-то другой, совершенно обратной политики въ націоналистической программѣ? Ужъ не помѣнялись ли на этотъ разъ мѣстами национализмъ и критика?

Въ дѣйствительности, здѣсь противорѣчіе только кажущееся. Достаточно обратить вниманіе на то, какъ—совершенно по-ассирійски или, что то же, по старо-московски—смотритъ націоналистическая оппозиція на задачи всякаго завоеванія вообще; какъ непонятенъ ей, съ этой точки зрѣнія, характеръ подчиненія Лифляндіи и сохраненіе ея привилегій,—чтобы убѣдиться, что взглядъ оппозиціи на вѣшнюю политику безусловно ваціоналистическій. Онъ не исключаетъ ни дальнѣйшихъ «необходимыхъ пріобрѣтеній» отъ Польши, ни новыхъ завоева-

ній, «обезпечиваючихъ отъ набѣговъ» — со стороны Турціи. Онъ просто только считаетъ эти старыя цѣли московской политики достижимыми и при помощи старыхъ средствъ. Расширять же сферу дипломатическихъ отношеній Россіи онъ, очевидно, боится, чтобы не сдѣлать Россію орудіемъ въ чужихъ рукахъ безъ всякой для нея пользы. Конечно, и увлеченіе Петра «безплодной Ингерманландіей» и его любезности передъ остзейцами — этотъ взглядъ считаетъ отклоненіемъ отъ нормальнаго хода русской политики.

Однако же, и помимо этихъ спокойныхъ, логическихъ государственныхъ соображеній, есть еще причины, побуждавшія старую аристократію держаться подальше отъ Швеціи, поближе къ Польшѣ и Турціи, и мечтать о возвращеніи къ военному устройству XVII вѣка. Это — классовые интересы ея и вообще русскаго дворянства, существенно затронутые новыми порядками. «Когда (этой знати) приводятъ въ примѣръ дворянство европейскихъ странъ, считающее величайшей честью военныя заслуги, — говоритъ Фокеродтъ, — она обыкновенно отвѣчаетъ: это только доказываетъ, что на свѣтѣ больше дураковъ, чѣмъ умныхъ людей. Умный человѣкъ не станетъ подвергать опасности здоровье и жизнь, — развѣ только изъ нужды, за жалованье. Но русскій дворянинъ съ голоду не умретъ, если только позволятъ ему жить дома и заниматься хозяйствомъ. Даже тому, кто самъ за сохой ходитъ, все-таки лучше, чѣмъ солдату. А человѣкъ мало-мальски со средствами можетъ себѣ всякое удовольствіе позволить: ѣды и питья, платья, прислуги у него въ изобиліи; можетъ онъ, сколько душа захочетъ, и развлекаться охотой и другими забавами предковъ. Нѣтъ у него, конечно, костюмовъ съ серебромъ и золотомъ, нѣтъ великолѣпныхъ каретъ, дорогой мебели, не пьетъ онъ тонкаго вина, не лакомится чужеземными приправами, но за то вѣдь онъ ни о чемъ этомъ и не знаетъ — и уже потому не можетъ чувствовать себя лишеннымъ этого: онъ довольствуется своимъ домашнимъ питьемъ и ѣдой и чувствуетъ себя лучше, чѣмъ любой иностранецъ съ его пресловутой *bonne chère*. Что же можетъ заставить уйти отъ этого покоя и удобства, подвергаться тысячѣ опасностей и трудностей, чтобы добиться какого-то чина?» Таково настроеніе русскаго «шляхетства», неволей «выволоченнаго» изъ насиженныхъ дѣдовскихъ гнѣздъ на тяжелую солдатскую службу. Естественно, что его досадѣ нѣтъ границъ. «Изъ-за какого-то честолюбія государя, а то такъ и министра, сосутъ кровь у крестьянъ, заставляють лично служить, да не такъ, какъ прежде — пока длится война, — а много лѣтъ подрядъ, вдалекѣ отъ дома и семьи; приходится влѣзать въ долги, а имѣнье отдавать въ воровскія руки прикащика, который такъ его обчиститъ, что если и посчастливится по старости или по болѣзни получить отставку, такъ и то не приведешь хозяйства въ порядокъ до самой смерти». Таково то настроеніе, при которомъ создаются націоналистическія мечты о возвращеніи къ ста-

рымъ порядкамъ. Таковы же и тѣ чувства, которыя лежатъ въ основѣ ненависти русской знати къ Петербургу. «Потребности русскаго дворянина, — замѣчаетъ Фокеродтъ — заключаются не въ дорогихъ костюмахъ и мебели, не въ гастрономическомъ обѣдѣ и иностранныхъ винахъ, а въ обиліи пищи и питья мѣстнаго происхожденія, въ многочисленной дворнѣ и въ лошадяхъ. Все это въ Москвѣ онъ имѣетъ даромъ или за очень дешевую цѣну. Провизію для него и для дворни, сѣно и овесъ для лошадей привозятъ ему, по близости, изъ своихъ же деревень въ изобиліи; продавать ихъ все-равно некуда; все и идетъ въ свое же хозяйство. Напротивъ, въ Петербургѣ, окрестности котораго бесплодны, ему приходится везти провизію и кормъ издалека; лошади падаютъ въ дорогѣ, обозъ стоитъ, мужики разбѣгаются; или же приходится все покупать на чистыя деньги, по страшно высокимъ цѣнамъ, — что, при русскомъ хозяйствѣ, приносящемъ доходъ больше натурой, чѣмъ деньгами, чрезвычайно отяготительно».

Итакъ, вотъ что особенно непріятно въ реформѣ для русской знати и дворянства: разореніе хозяйства, подрывъ экономическаго благосостоянія. Изъ всѣхъ мотивовъ недовольства — этотъ окажется самымъ сильнымъ и прочнымъ. Русскій дворянинъ охотно примирится съ самымъ пышнымъ расцвѣтомъ націоналистической внѣшней политики, — который еще впереди; онъ еще скорѣе и охотнѣе войдетъ во вкусъ европейскихъ модъ и житейскаго комфорта. Но къ чему его никогда не удастся пріучить и противъ чего онъ всегда останется въ оппозиціи, — это европейское чувство «военной чести», воспитавшее сословный духъ европейскаго дворянства. Очень скоро послѣ Петра онъ почувствуетъ свою корпоративную силу; но онъ воспользуется ею только для того, чтобы какъ можно скорѣе развязаться съ почетной повинностью военной службы и вернуться назадъ, «домой», къ себѣ въ деревню. Изъ всѣхъ оппозиціонныхъ стремленій петровскаго времени — это будетъ единственное, которое найдетъ твердую точку опоры въ собственной сословной силѣ и которое осуществится, благодаря этому, вопреки волѣ правительства.

Кромѣ общихъ сочиненій о царствованіи Петра В — Устрялова, Соловьева, Брикнера, см. новѣйшую сводную работу *K. Waliszewski*, «Pierre le Grand», Paris 1897 г.: авторъ удачно популяризируетъ и обставляетъ фактическими доказательствами тотъ взглядъ на Петра, который начинается въ послѣднее время устанавливаться въ русской литературѣ. Дневникъ Корба переведенъ въ Читеніяхъ Общ. Ист. и Др., 1866, IV; 1867, I и III. Записки Юста Юля — тамъ же, 1899, II—IV. Мемуары кн. Б. Куракина въ Архивѣ кн. О. А. Куракина, т. I, Спб. 1890. Дневникъ камеръ-юнкера Берхгольца, т. I—IV, М. 1857—63 г. Записка Фокеродта издана Неггманн'омъ: «Russland unter Peter dem Grossen», Lpz., 1872; русск. перев. въ Читеніяхъ О. И. и Др. 1874 г., II. Для характеристики религіозной и соціальной оппозиціи, кромѣ Соловьева и сочиненій, указ. въ «Очеркахъ», т. II, въ отдѣлѣ о расколѣ, см. еще: *П. С. Смирнова*, «Внутренніе вопросы въ р. расколѣ въ XVII в.» Спб. 1898 г. *В. Г. Дружинина*, «Расколъ на Дону въ концѣ XVII в.», Спб. 1889 г.



П. МИЛЮКОВЪ.

ОЧЕРКИ

ПО ИСТОРИИ

РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

Национализмъ и общественное
мнѣніе.

Выпускъ второй.

Изданіе редакціи журнала «МІРЪ БОЖІЙ».

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія И. П. Скороходова (Надеждинская, 43)

1903.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

Очеркъ восьмой. Націонализмъ и общественное мнѣніе.

	СТР.
II. Официальная побѣда критическихъ элементовъ надъ націоналистическими (продолженіе) .	183—423

II. Соціальный характеръ новой культуры и теоретическая борьба стараго и новаго міровоззрѣнія въ литературѣ 183—223.—Наслѣдство Петра Великаго въ рукахъ его фаворитовъ, аристократической оппозиціи и дѣльцовъ-иностранцевъ 183—187. — Новая культура становится соціальнымъ признакомъ высшаго общественнаго слоя 187—190.—Значеніе «чина» 190—194.—Распространеніе культуры въ провинціи — среди помѣстнаго дворянства 194—196. — Защита основъ стариннаго «духовнаго житія» въ «Завѣщаніи» Посошкова; ея безнадежность и противорѣчія съ требованіями жизни 197—205.—Руководства къ «свѣтскому житію» — для дворянства 205—208. — Общія условія дальнѣйшаго развитія интеллигенціи 208—209. — Первая теоретическая защита «свѣтскаго житія», выставленная представителемъ интеллигенціи — Татищевымъ 209—217.—Отсутствіе сознательнаго отношенія къ новому «свѣтскому житію» среди шляхетства 217—218.—Первый опытъ примѣненія политической теоріи къ русской дѣйствительности 219—222.

III. Первое поколѣніе русской интеллигенціи: оживленіе издательства, начало театра и журналистики — при участіи учащейся молодежи 224—247.—Общее настроеніе культурныхъ круговъ при Елизаветѣ 224—225.—Среда и формы, въ которыхъ развивалось просвѣтительное движеніе 226—227.—Неудача петровскаго книгоиздательства и исвое вѣяніе 227—229.—Роль переводнаго романа 229—230.—Полсженіе русскаго читателя 230—231.—Неудача петровскаго театра 232—233. — Кадеты и начало театра 234.—Борьба стараго и новаго въ театрѣ 235—237.—Учащаяся молодежь и первые журналы 238—239.—Переходъ отъ отвлеченной морали къ жизненнымъ темамъ 240—243. — Переходъ къ философскимъ темамъ 244—245. — Слабое распространеніе журналовъ 246.

IV. Распространеніе критическихъ идей просвѣтительной философіи и ихъ первое примѣненіе къ жизни 248—279. — Общее значеніе Екатерининской эпохи, какъ пачала общественнаго самосознанія 248—250.—Общій ходъ движенія 250—251.—Промежу-

точное настроеніе поколѣнія, выросшаго съ Екатериной 252—253.—Характеръ ея отношеній къ Вольтеру 254—255.—Ея взглядъ на отношеніе «принциповъ» къ «интересамъ» 255—257.—Увѣренность въ личномъ характерѣ просвѣтительной миссіи 257—259.—Отношеніе къ социальнымъ выводамъ изъ теоріи естественнаго права (Беккариа) 261—263.—Екатерининская коммисія и ея прецеденты 263—264.—Нужды русской провинціи по наказамъ 265—267.—Дворянскія требованія 267—268 — Противорѣчіе ихъ съ освободительными стремленіями въ крестьянскомъ вопросѣ и въ уголовномъ судопроизводствѣ 268—270.—Вліяніе внѣшней политики на судьбу коммисіи 271—273.—Поведеніе дворянскихъ депутатовъ и антидворянской оппозиціи въ коммисіи 273—275.—Отношеніе русскихъ сословій къ требованіямъ окраинъ 275—276 —Классовой характеръ преній; сплоченіе партій, солидарность антидворянскаго большинства; неудачи Екатерины въ коммисіи и отсрочка ея засѣданій 276—279.

V. Периодъ недоразумѣнія между общественнымъ мнѣніемъ и властью 280—312.—Общій характеръ періода 280 —Дидро—представитель общественнаго мнѣнія Европы—въ Петербургѣ 281.—Философъ и императрица 282—283.—Предметы ихъ разговоровъ; наблюденія, вопросы и предложенія Дидро 283—289.—Его неудача 289—290.—Попытка Екатерины—руководить общественнымъ мнѣніемъ Россіи посредствомъ журнала 290—293.—Отношеніе къ ея журналу остальной прессы 293—294.—Журнальные приемы Екатерины 295—297.—Новый тонъ, приемы и содержаніе новиковскаго «Трутня» 297—299.—Раздраженіе Екатерины 299—301.—Полемика и прекращеніе журналовъ 301—303.—Попытка Новикова—соединить критическія идеи съ націоналистическими въ новомъ журналѣ 304—305.—Националистическія настроенія и типы русской дѣйствительности 305—307.—Особый характеръ націоналистической критики Новикова 307. Преобладаніе критическихъ идей и прекращеніе втораго журнала Новикова 308—309.—Неудачный опытъ—защищать древнія русскія добродѣтели въ третьемъ журналѣ 309—310.—Шагъ впередъ екатерининской журналистики сравнительно съ елизаветинской 310—311.—Причина ея пріостановки въ 1774 г. 311—312.

VI. Дворянско-бюрократическое законодательство Екатерины 313—334.—Трудное положеніе Екатерины въ 1774 г. 313—314.—Пугачевщина, какъ психологическій толчокъ для новаго періода ея «легиславаніи» 315.—Социально-политическая программа пугачевщины 315—316.—Отношеніе къ ней крѣпостного крестьянства и дворянъ 316—317 —Екатерина принимаетъ сторону дворянства 318.—Новые авторитеты Екатерины въ области юриспруденціи 318—319.—Вліяніе остзейскихъ учреждений 320—321.—Идеологическіе элементы «учрежденія о губерніяхъ» 321—323.—Дворянское самоуправленіе 324.—Причины его слабости 324—326.—Бюрократизація выборной службы 326—328.—Роль «учрежденія о губерніяхъ» въ распространеніи дворянской культуры 328—329.—Дальнѣйшіе законодательные планы Екатерины и ихъ неудача 330—332.—Причина отказа отъ реформы центральныхъ учреждений 333—334.

VII. Начало независимаго общественнаго мнѣнія 335—370.—Статистика книгоиздательства въ XVIII вѣкѣ 335—337.—Характеръ изданий 337—338.—Передовыя теченія: вольтеріанство; его характеръ у Екатерины и въ высшемъ обществѣ 338—341.—Промежуточная роль вольтеріанства въ развитіи мысли интеллигентной молодежи 342—344.—Значеніе масонства 344—346 — Первоначальный характеръ масонства въ Россіи 347.—Оживленіе масонства въ рукахъ учащейся молодежи 347—349.—Отношеніе къ масонству Новикова 349—350 — Его практическая цѣль и отношеніе къ ней Екатерины 350—352.—Переселеніе въ Москву и усиленіе оппозиціоннаго настроенія 352—354.—Роль Шварца въ масонствѣ и его просвѣтительная дѣятельность 354—356 — Дѣятельность кружка—356—358 — Развитие возрѣвнѣй кружка въ его журналахъ 358—359.—Философскій трактатъ Шварца и его отношеніе къ нѣмецкой популярной философіи 359—364 — Издательская и общественная дѣятельность кружка по смерти Шварца 364—367 — Отношеніе Екатерины къ масонству въ его трехъ фазисахъ 367. — Ея литературная полемика съ масонствомъ 367—369.—Административныя мѣры 369—370.

VIII. Радикализмъ и реакція 372—423—Ростъ предреволюціоннаго настроенія во Франціи и отраженіе его въ Россіи 372—377.—Философскія и политическія идеи лейпцигскаго кружка 377 — 379.—Вліяніе нѣмецкой университетской философіи и французскаго матеріализма 379—380.—Отраженіе этихъ вліяній въ трактатѣ Радищева о смертности и безсмертіи 380—384.—Впечатлѣнія политической жизни Запада и вліяніе Мабли 384—387.—Публицистическая цѣль «Путешествія» Радищева 387—388 — Его основная идея 388—391.—Обращеніе къ престолу 391—393.—Проектъ социальныхъ реформъ 394—395.—Политическій идеаль будущаго 395—396.—Отношеніе къ книгѣ читателей и Екатерины 396—398.—Отношеніе Екатерины къ французской революціи 398—400 — Впечатлѣніе, произведенное радищевской книгой, и мѣры относительно автора 400—401.—Ростъ раздраженія противъ революціонныхъ событій 402—404.—Мѣры противъ мартинистовъ и «французской варазы» въ Россіи 404—406 — Настроеніе новаго поколѣнія 406—407 — Русская сцена, какъ выраженіе настроенія средней публики 407—408.—Народный и націоналистическій элементъ театральныхъ пьесъ 408—411.—Отношеніе резонерской морали къ взглядамъ передовой интеллигенціи 412—415. Попытки построения націоналистической теоріи 415—417.—«Антидотъ» Екатерины 417—418.—Колебанія Щербатова 419—420.—Теорія Болтина: ея научныя и націоналистическія элементы 420—423.

II.

Наслѣдство Петра Великаго въ рукахъ его фаворитовъ, аристократической оппозиціи и дѣльцовъ-иностранцевъ. — Новая культура становится социальнымъ признакомъ высшаго общественнаго слоя. — Ея успѣхи при дворѣ: ихъ значеніе и послѣдствія — Служебное положеніе и чинъ, какъ средство опредѣлить социальное положеніе лица. — Чиновная аристократія. — Табель о рангахъ, какъ носитель новой культуры. — Медленность распространенія этой культуры изъ столицы въ провинцію — въ рядовсмъ дворянствѣ. — Иллюстраціи Болотова. — «Завѣщаніе» Посошкова, какъ матеріаль для характеристики отживающаго міровоззрѣнія «подлыхъ людей». — Критика лютеранства, какъ главнаго источника новаго «свѣтскаго житія». — Проектъ искорененія раскола. — Препятствія для осуществленія евангельской морали въ собственномъ складѣ воззрѣній Посошкова и въ окружающей средѣ. — Житейскій компромиссъ, какъ основаніе его морали. — Житейскій кодексъ шляхетства по руководствамъ для свѣтскаго обращенія. — Курсъ шляхетскихъ наукъ. — Слабость критическихъ элементовъ въ новой культурной средѣ и ея послѣдствія для будущаго — Теорія «естественнаго закона», какъ первое міровоззрѣніе, послужившее теоретическимъ оправданіемъ «свѣтскаго житія». — «Разговоръ о пользѣ наукъ и училищъ» Татищева, какъ первый опытъ такого оправданія и первая проба русской интеллигентной мысли. — Счастье — цѣль жизни; удовлетвореніе потребностей — средство къ ея достиженію — Отношеніе церковнаго закона къ естественному. — Роль науки, какъ средства познанія естественнаго закона. — Возраженія противъ нея. — Естественная теорія общественныхъ союзовъ. — Требованіе сознательнаго отношенія къ вѣрѣ и жизни въ «Духовной» — Неблагопріятныя условія для распространенія такого отношенія въ шляхетской средѣ. — Политическая идеология «естественнаго права» въ примѣненіи къ борьбѣ русскихъ общественныхъ группъ при воцареніи императрицы Анны.

Въ 1728 г. саксонскій посланникъ Лефортъ сравнивалъ оставленное Петромъ наслѣдство съ кораблемъ, который носится по волѣ вѣтровъ, угрожаемый бурей, тогда какъ капитанъ, и экипажъ корабля спятъ или пьянствуютъ. «Непостижимо, какъ такой обширный механизмъ можетъ дѣйствовать безъ всякой помощи и усилій со стороны. Всякій стремится только свалить съ себя тяжесть, никто не хочетъ принять на себя ни малѣйшей отвѣтственности, всѣ жмутся къ сторонкѣ»... «Огромная машина пущена на удачу; никто не думаетъ о будущемъ; экипажъ ждетъ, кажется, перваго урагана, чтобы подѣлать между собой добычу послѣ кораблекрушенія».

Въ этой яркой картинѣ иностранный дипломатъ забылъ одну существенную черту: это то могучее подводное теченіе, которое на-

правило корабль Петра въ опредѣленный фарватеръ и которое теперь по тому же фарватеру продолжало нести покинутое капитаномъ судно, несмотря на всю панику, охватившую экипажъ, несмотря даже на явное желаніе части экипажа—вернуть корабль противъ теченія. Мы,—которые знаемъ, что руль и компасъ совсѣмъ не оказали Петру такихъ огромныхъ услугъ, какъ думали его поклонники,—легко можемъ понять, какъ преувеличены были опасенія за судьбу корабля, осужденнаго двигаться нѣкоторое время безъ руля и компаса.

Конечно, этихъ опасеній не могла не вызывать разнузданная борьба аппетитовъ и честолюбій, которая происходила на глазахъ дипломатовъ и поражала ихъ пестротой, неожиданностью и непрочною результатами. Но, въ сущности, и самая эта борьба совсѣмъ не была такъ безтолкова, какъ могло показаться со стороны: въ ней былъ свой внутренній смыслъ. Несомнѣнно, смерть Петра застала Россію врасплохъ: и это дорисовываетъ намъ его реформу. Такова, какова она была, она и не могла быть завѣщана никому другому. Петръ слишкомъ отождествлялъ самого себя съ своимъ дѣломъ, чтобы подумать о замѣстителѣ, и слишкомъ погруженъ былъ всегда въ интересы текущей минуты, чтобы останавливаться еще на мысли о будущемъ. Вотъ почему, умирая, онъ оставилъ на первыхъ мѣстахъ только покорныхъ исполнителей, неспособныхъ, а чаще всего и не желавшихъ принять на себя никакой инициативы въ государственныхъ дѣлахъ. Въ интересахъ самосохраненія, эти лично близкіе къ Петру люди должны были ухватиться за власть, которая была въ ихъ рукахъ въ моментъ смерти ихъ покровителя. Но у нихъ не было ни умственныхъ, ни образовательныхъ, ни моральныхъ средствъ, необходимыхъ для того, чтобы удержать захваченную власть за собою надолго. Вотъ почему,—независимо отъ всякихъ случайностей придворной борьбы,—рядомъ съ ними, а потомъ и надъ ними должны были выдвинуться другія наличныя силы, уже знакомыя намъ изъ петровскаго времени: съ одной стороны иностранцы-дѣльцы, заслоненные петровскими ничтожностями, съ другой—отодвинутая Петромъ на второй планъ аристократическая оппозиція. Последняя, къ тому же, представляла и извѣстную социальную силу, а ея отношеніе къ реформѣ, какъ мы знаемъ, совпадало въ значительной степени съ настроеніемъ средняго дворянства. Естественно, что аристократическая оппозиція—и сознательно, и самою силой вещей—должна была первая замѣнить во власти петровскихъ фаворитовъ. Таковъ, дѣйствительно, и былъ смыслъ и исходъ первой партійной борьбы по смерти преобразователя. Послѣ короткаго торжества людей, державшихъ власть въ моментъ смерти Петра, оппозиціи удалось заставить ихъ подѣлиться властью съ собою: фавориты и оппозиціонеры заняли мѣста рядомъ другъ съ другомъ во вновь учрежденномъ Верховномъ совѣтѣ. Затѣмъ, оппозиція провела своего кандидата на престолъ, сына своего злосчастнаго вождя, царевича Алексѣя, и обезпечила себѣ зако-

номъ верховныя права и полную равноправность членовъ въ верховномъ правительствѣ *). Наконецъ, та же оппозиція безпрепятственно провела совершенно уже искусственную кандидатуру (Анны Ивановны), съ единственною цѣлью закрѣпить навсегда свое участіе въ верховной власти путемъ органическаго закона. Только сопротивленіе новаго вліятельнаго общественнаго слоя помѣшало осуществленію этой попытки, къ которой мы еще вернемся, и вмѣстѣ съ тѣмъ положило конецъ политическому преобладанію аристократической оппозиціи.

Какъ же воспользовалась оппозиція этими нѣсколькими годами своей сравнительной силы? У нея была, какъ мы знаемъ, своя программа, правда, больше отрицательная, чѣмъ положительная. Обстоятельства и личности государей (Екатерины I и Петра II) не особенно благопріятствовали энергическому проведенію этой программы, но они и не препятствовали ея предъявленію, тѣмъ больше, что значительная часть ея какъ разъ и заключалась въ *прекращеніи* энергической дѣятельности правительства по извѣстнымъ отдѣламъ управленія. Дѣйствительно, заботы о войскѣ и особенно о флотѣ были тотчасъ же ослаблены или вовсе прекращены. Интересъ къ иностранной политикѣ сохранился чуть не у одного Остермава, тщетно старавшагося поддерживать хоть внѣшній видъ регулярности въ дипломатическихъ сношеніяхъ. Мысль объ облегченіи податнаго бремени легче было высказать, чѣмъ осуществить: вотъ почему, въ ожиданіи податной реформы, эта часть оппозиціонной программы была осуществлена лишь въ своеобразной формѣ—накопленія недоимокъ; мѣстныя власти просто воспользовались ослабленіемъ контроля надъ ними и стали продавать отсрочки во взысканіи податей съ плательщиковъ, за чистыя деяги, которыя клали, разумѣется, въ собственный карманъ. Зато радикально пресѣченъ былъ новый расходъ, который долженъ былъ лечь на населеніе—на содержаніе цѣлой арміи проектированныхъ Петромъ областныхъ чиновниковъ; эта реформа просто была зачеркнута, и русская провинція вернулась къ до-петровскому воеводскому управленію (ср. Оч. I, 166—7). Та же судьба постигла и предпринятую Петромъ расквартировку арміи. Еще усерднѣе проводилась та часть оппозиціонной программы, которая вытекала прямо изъ интересовъ служилаго сословія. Уже въ 1726 г. разрѣшено было отпустить по домамъ двѣ трети офицеровъ и рядовыхъ изъ шляхетства, «чтобы могли привести свои деревни въ порядокъ», а оставить при полкахъ треть, «иноземцевъ и безпомѣстныхъ,

*) Въ завѣщаніи Екатерины I было сказано, что во время малолѣтства Петра II Верховный Совѣтъ будетъ «имѣть полную власть правительствующаго самодержавнаго государя», и что онъ долженъ «множествомъ голосовъ вершать всегда, и никто одинъ повелѣвать не имѣетъ и не можетъ». Последними словами у Меншикова отнималось право, которымъ онъ пользовался со времени Петра,—издавать распоряженія, равносильныя царскимъ указамъ.

которые безъ жалованья прожить не могутъ». Дворянство спѣшило воспользоваться этимъ условнымъ разрѣшеніемъ, не дожидаясь, «когда конъюнктура допустятъ», какъ сказано было въ указѣ. Наконецъ, и ненависть къ Петербургу нашла свое выраженіе въ предположеніяхъ— вернуть внѣшнюю торговлю опять въ Архангельскъ, а дворъ—переселить въ Москву. Послѣдній планъ и былъ осуществленъ съ воцареніемъ Петра II: въ Москву переселялись съ 1728 года навсегда, и на стѣнахъ старой столицы красовались объявленія, грозившія «бить кнутомъ нещадно» всякаго, кто заговоритъ о возвращеніи въ С.-Петербургъ. Переселяясь въ 1732 г. обратно въ Петербургъ, имп. Анна принуждена была притвориться, что это дѣлается только на время. Даже въ самомъ образѣ жизни двора замѣчалась реакція: отъ «тяжелыхъ забавъ» Петра дворъ возвращался снова къ «легкимъ забавамъ» царя Алексѣя и Θεодора:—къ всевозможнымъ видамъ охоты, къ лошадиному спорту: въ покояхъ Анны появились снова дураки и сказочники - бахари царя Алексѣя. Поговаривали и о возстановленіи патриаршества; можетъ быть, только отсутствіе подходящаго кандидата и политическая ловкость Теофана Прокоповича помѣшали перейти отъ словъ къ дѣлу. Какъ бы то ни было, Анна дала оппозиціи обязательство—особенно позаботиться о православіи: и послѣ побѣды надъ нею, набожная по старинному царица не позабыла объ этомъ своемъ обязательствѣ. Первымъ пріѣздомъ своимъ въ сенатъ она воспользовалась, чтобы объявить свой демонстративный указъ 17-го марта 1730 г., которымъ предписывалось аккуратное посѣщеніе церковныхъ службъ, обновленіе вапущенныхъ храмовъ и богадѣленъ, возстановленіе крестныхъ ходовъ, благодарственныхъ молебновъ въ царскіе дни и панихидъ по усопшимъ предкамъ, молебствій и постовъ по случаю разныхъ общественныхъ бѣдствій, словомъ, всего, «какъ прежде при *дядь и отцѣ* нашемъ было». Упомянувъ Алексѣя и Ивана и тщательно умалчивая о Петрѣ, Анна какъ бы подчеркивала реакціонную тенденцію указа: а требуя присутствія архіереевъ во всѣхъ процессіяхъ, какъ бы формально отрекалась отъ солидарности съ протестантскими тенденціями любимца Петра и своего политическаго единомышленника, Теофана.

Однако же эти и нѣкоторыя другія (см. ниже) уступки оппозиціонной программѣ никого не могли ввести въ заблужденіе: въ тотъ моментъ, когда онѣ дѣлались, роль аристократической оппозиціи была уже сыграна. Мѣсто фаворитовъ и оппозиціонеровъ Петра заняли его дѣльцы: правительство Анны было дѣловымъ правительствомъ иностранцевъ; его программа была дѣловой программой, имѣвшей дѣлю не столько новое политическое творчество, сколько реставрацію всего упущеннаго и запущеннаго при двухъ предыдущихъ правительствахъ: и въ войскѣ, и во флотѣ, и въ податяхъ, и въ иностранныхъ сношеніяхъ.

Болѣе энергичная дѣятельность во всѣхъ этихъ сферахъ государственной жизни, также какъ и ликвидація областной реформы Петра, вызывалась соображеніями государственной необходимости. Соображенія эти были тѣ же, которыя вызвали и самую реформу Петра. Потолкавшись о берега и посидѣвъ немного на мели, громоздкій государственный «корабль» двинулся потихоньку дальше, внизъ по теченію.

Въ сферѣ собственно культурной *внѣшности* реформы, которая насъ теперь преимущественно интересуетъ, даже и эти боковые толчки и остановки прошли совершенно незамѣтно. Аристократическая оппозиція ничего противъ этой внѣшности не имѣла; а установившаяся уже при Петрѣ придворная рутинна, послужила первымъ надежнымъ проводникомъ для этого рода культурныхъ заимствованій, измѣнившихъ мало-по-малу всю житейскую обстановку верхняго общественнаго слоя.

Дѣйствительно, уже въ послѣдніе годы Петра петербургскій дворъ, по отзыву иностранныхъ наблюдателей, не уступалъ по внѣшности любому германскому. Прошли тѣ недавнія времена, когда полъ въ пріемныхъ покояхъ приходилось устилать на полъ-аршина сѣномъ, чтобы спасти его отъ вольныхъ и невольныхъ человѣческихъ остатковъ пира. Смокли десятки дураковъ и шутовъ, оглушавшихъ гостей своимъ крикомъ, свистомъ, визгомъ и пѣніемъ, плевавшихъ и сморкавшихся другъ другу въ лицо. Кабакъ, въ которомъ еще Юль засталъ (1710 г.) примитивныя попойки Петра, превратился въ церемонный придворный званый столъ, съ болѣе или менѣе строгимъ этикетомъ, и въ оффиціозный *jong-fixe*, поочередно назначавшійся у болѣе видныхъ членовъ петербургскаго общества,—въ петровскую «ассамблею» двадцатыхъ годовъ. Случалось, правда, и въ это время Петру, по старой привычкѣ, проплясать по столамъ подъ пьяную руку, или старику Бутурлину, «князю-папѣ», съ высоты своего Бахусоваго трона открыть не тотъ кранъ, который слѣдовало: но эти милыя неожиданности уже являлись исключеніемъ, не подходившимъ къ установившемуся общему тону *). Молодежь спѣшила отъ стола къ танцамъ и состязалась во всевозможныхъ галантностяхъ. Съ этого времени, по выраженію кн. Щербатова, «страсть любовная, до того почти въ грубыхъ нравахъ незнаемая, начала чувствительными сердцами овладѣвать» (Ср. «Оч.», II, 191—193). Голштинскій камеръ-юнкеръ Берхгольцъ, побывавшій и въ Парижѣ, и въ Берлинѣ, находилъ, что петербургскія придворныя дамы двадцатыхъ годовъ не уступаютъ ни нѣмкамъ, ни французенкамъ—ни въ свѣтскихъ манерахъ, ни въ умѣньѣ одѣваться, краситься и причесываться. Вѣроятно, имъ уже не

*) Исключеніе составляла и пьяная толпа «славильщиковъ», «неусыпаемая обитель» Петра, набранная изъ людей всякаго происхожденія, вѣдвшая съ Петромъ попрежнему каждыя святки славить Христа по Петербургу и совершавшая всевозможныя безчинства.

приходилось въ это время по три ночи спать сидя, чтобы не испортить прически, какъ это случилось въ старой столицѣ, гдѣ на весь петровскій бомондъ была одна только «убирательница волосъ». Старинная кичка царицы Прасковьи при петербургскомъ дворѣ бросалась въ глаза, какъ исключеніе; а чтобы встрѣтить молодую и знатную даму безъ модной прически, нужно было ѣхать въ Москву. Въ Петербургѣ русскій костюмъ употреблялся только для маскарадовъ. Чѣмъ дальше, тѣмъ больше новые придворные костюмы прогрессировали въ роскоши и дороговизнѣ, и тѣмъ чаще приходилось мѣнять фасоны. Простая обшивка галунами скоро стала казаться черезчуръ бѣдной; явилось золотое и серебряное шитье, все болѣе заполнявшее костюмъ; сукно было замѣнено шелкомъ, бархатомъ и даже парчей; для манжетъ стали употребляться дорогія кружева, для отдѣлки платья—жемчугъ, для пуговицъ—брилліанты. Являться часто ко двору въ одномъ костюмѣ стало считаться неловкимъ. Немудрено, при этихъ условіяхъ, что уже въ срединѣ XVIII вѣка «часто гардеробъ составлялъ почти равный капиталъ съ прочимъ достаткомъ» придворныхъ людей (Щербатовъ).

Но требованія новой «людскости» шли гораздо далѣе простой перемѣны манеръ и костюма. Люди, желавшіе играть роль, не могли ограничиться тѣмъ, что являлись сами при дворѣ: они должны были быть готовы принять дворъ у себя. Петръ, у котораго лично не было никакого двора и который не любилъ расходовъ на представительство, переложилъ эти расходы на окружающихъ: принимать и угощать его и его компанію—для извѣстнаго круга лицъ было обязательно. Въ Петербургѣ двадцатыхъ годовъ—это обязательство было регулировано и регламентировано (правилами объ «ассамблеяхъ»). Такимъ образомъ, старинный русскій домъ, открытый прежде безъ зову только для близкихъ родственниковъ и никогда не выдававшій даже званыхъ гостей въ часы семейнаго обѣда и ужина *), теперь долженъ былъ открыть свои двери для всѣхъ лицъ извѣстнаго общественнаго круга. Знаменитое хлѣбосоольство русскихъ баръ—при всей его національной своеобразности—есть, такимъ образомъ, продуктъ нововведенной «людскости» эпохи реформы, наравнѣ съ домашними оркестрами, тѣшившими гостей за столомъ, картами, составлявшими послѣобѣденное развлеченіе гостей постарше, и танцами, занимавшими гостей помоложе и сдѣлавшимися главной страстью петербургскихъ дамъ и барышень.

Для того, чтобы «держатъ открытый столъ», нужно было имѣть соотвѣтственный погребъ, кухню и обстановку. «Простой» домашней

*) Традиціонное угощеніе почетнаго гостя чаркой вина съ поцѣлуемъ хозяйки дома только подчеркиваетъ замкнутость старой семьи. Такъ теперь у христіанъ Балканскаго полуострова женщина молча подноситъ гостю на подносѣ ракію, кофе или варенье во время церемоннаго визита и молча удаляется, поцѣловавъ ему руку, если онъ старикъ.

водкой уже Петра нельзя было удовлетворить; онъ требовалъ «приказной» (голландской анисовой) или «гданской». Приходилось выписывать изъ-за границы и вина, «эрмитажное», «венгерское»: вскорѣ появилось и «бургонское» и, наконецъ, «шампанское». Иностранное вино подавалось, конечно, на первыхъ порахъ только для гостей: хозяинъ приказывалъ принести запечатанную четвертную бутылъ, наливалъ гостямъ по рюмкѣ и, тщательно запечатавъ, отсылалъ опять бутылъ на погребъ. Однако, эта старомодная бережливость уцѣлѣла не надолго. Уже на петровскихъ праздникахъ иностранное вино лилось рѣкой. Въ срединѣ вѣка шикъ состоялъ въ томъ, что подъ приборы на званомъ обѣдѣ клались цѣлые списки винъ, и каждый спрашивалъ изъ хозяйскаго погреба, какое хотѣлъ. Одновременно съ этимъ прогрессировала и кухня. Хозяева старались перещеголять другъ друга «чужестранными приправами» и десертомъ. Кабинетъ-министръ Елизаветы, Черкасовъ, первый поакомилъ Петербургъ свѣжимъ виноградомъ; но гр. П. И. Шуваловъ поразилъ придворную публику ананасами и бананами. Поварамъ платили въ срединѣ вѣка по 500 р. въ годъ, кромѣ содержанія (3¹/₂ тысячи на наши деньги). Измѣнилось и убранство комнатъ. Оставлятъ стѣны безъ обоевъ, довольствоваться самодѣльной мебелью изъ простаго дерева и освѣщать комнаты сальными свѣчами считалось уже неприличнымъ. Для обоевъ стали употребляться штофныя и шелковыя матеріи; на стѣнахъ явились зеркала, двери и потолокъ украшались позолотою. Мебель обязательно должна была быть англійская, краснаго дерева. Свѣчи употреблялись восковыя, и притомъ не желтаго, а бѣлаго воска. Соотвѣтствующія измѣненія видимъ и въ прислугѣ, и въ выѣздныхъ экипажахъ.

Разъ заведенная, вся эта новая обстановка поддерживалась и прогрессировала вовсе не вслѣдствіе одной только потребности въ комфортѣ. Обстановка отражала соціальное положеніе лица, если оно уже было составлено, закрѣпляла это положеніе, если его еще не было или если требовалось его создать. «Человѣкъ дѣлался почтенъ по мѣрѣ великолѣпности его житія и уборовъ», какъ выразился Щербатовъ. Другими словами, соперничество въ роскоши было своего рода мѣстничествомъ, въ которомъ, однако, побѣждали далеко не самые родовитые. При цѣломъ рядѣ женскихъ правленій, какъ слѣдствіе фаворитизма и родственныхъ связей, появилось множество новыхъ шальныхъ состояній, цѣликомъ употреблявшихся на поддержаніе той придворной жизни, изъ которой они возникли. Сынъ знаменитаго фельдмаршала Б. П. Шереметева, одного изъ членовъ молчаливой петровской оппозиціи и перваго богача въ Россіи, могъ еще держаться на высотѣ положенія и даже заслужить «особливое уваженіе» Елизаветы своею роскошью, которую онъ поддерживалъ поневолѣ, и своей готовностью—во всякое время угостить императрицу съ какой угодно свитой. Но и ему при-

ходилось пасовать передъ новымъ аристократомъ, какимъ-нибудь «графомъ» И. Г. Чернышевымъ, насаждавшимъ союзу новыя заграничныя моды на счетъ жены, родственницы императрицы и тоже «графини» Ефимовской, и на счетъ казны, продавшей ему за 90 тысячъ мѣдные заводы, имъ же перепроданные казнѣ обратно, въ разоренномъ видѣ, за 700 тысячъ. Другой графъ императрицы Елизаветы, П. И. Шуваловъ—не имѣлъ открытаго стола и поддерживалъ свое положеніе инымъ способомъ, «находя нужныя суммы для удовлетворенія роскоши императрицы»,—въ качествѣ перваго финансиста того времени. Но и снѣ, имѣя 400 тысячъ руб. ежегоднаго дохода, ухитрился накопить на себѣ больше милліона казеннаго долга. Очевидно, что старая знать никакой «домашней экономіей» не могла добыть средствъ на подобныя безумныя траты. Привужденная тянуться за случайными людьми, она только «изнуряла свое состояніе» и зачастую кончала полнымъ разореніемъ. Такимъ образомъ, естественнымъ послѣдствіемъ колоссальныхъ затратъ на эту новую обстановку, «превосходившую», по компетентному свидѣтельству герцога де-Лирія (1729), «своей роскошью и великолѣпіемъ даже самые богатѣйшіе дворы» Европы, — была полная перетасовка въ составѣ высшей придворной аристократіи, а также и необходимость постоянно подновлять ее случайными людьми и подкрѣплять случайными состояніями.

Новаго тутъ, въ сущности, не было ничего. Это было только болѣе широкимъ, чѣмъ прежде, примѣненіемъ стараго, извѣстнаго намъ принципа, по которому всякій человѣкъ на Москвѣ «великъ и малъ живетъ (т.-е. бываетъ) государевымъ жалованьемъ». Послѣ самаго дворянскаго изъ русскихъ царствованій, имп. Павелъ еще могъ выразить эту же самую мысль въ утрированной формѣ: «у меня тотъ великъ, съ кѣмъ я говорю и пока я съ нимъ говорю». Петру Великому только удалось найти средство точно измѣрять «государево жалованье», сообразуя съ этимъ и мѣру личнаго достоинства каждаго, и мѣру его участія въ благахъ новой культуры. Этимъ изобрѣтеніемъ была петровская «табель о рангахъ».

Иностранцевъ, привыкшихъ къ твердой соціальной группировкѣ, къ рѣзко проведеннымъ соціальнымъ гранямъ, всегда смущало и удивляло отсутствіе общественныхъ перегородокъ (кромѣ установленныхъ самою властью) въ русскомъ обществѣ. «Русскіе сановники», замѣчаетъ Юль (1709), «весьма невыдержанны въ соблюденіи своей чести и достоинства. То ихъ офицеры, до бригадировъ включительно, ухаживаютъ за ними, какъ лакеи, прислуживаютъ и наливаютъ имъ вино, то они обращаются съ ними за панибрата, какъ съ товарищами... Отъ обѣда до поздней ночи сановники могутъ съ самыми младшими своими подчиненными курить, пить и играть въ карты на деньги, что у насъ считалось бы неприличнымъ и для простаго капрала». Это безразличіе въ общественныхъ сношеніяхъ между людьми разнаго соціаль-

наго положенія было и осталось источникомъ простоты и человѣчности отношеній. Но оно имѣло, однако же, и свою обратную сторону, особенно чувствовавшуюся въ тогдашней Россіи. За отсутствіемъ выработаннаго кодекса соціальныхъ отношеній, каждому члену этого безформеннаго общества приходилось самому создавать свое личное положеніе, измѣряя при этомъ степень высоты или низменности своего мѣста на общественной лѣстницѣ—тою степенью надменности или низкопоклонства, которую онъ могъ или долженъ былъ обнаружить въ своихъ сношеніяхъ съ другими. При этомъ, самая необходимость быстрыхъ переходовъ отъ надменности къ низкопоклонству лишала всякой возможности выработать въ себѣ ту «выдержанность», «ровность» обращенія, которая для всякаго иностранца была чѣмъ-то само собою разумѣющимся, необходимымъ ингредиентомъ культурности. Чувство личнаго достоинства, которое могло бы служить общественной гарантіей противъ насилія, едва-ли можно считать выработаннымъ и въ наше время. Замѣнявшее его чувство сословной чести, какъ скоро увидимъ, выработалось у насъ только ко второй половинѣ XVIII в. и только въ привилегированномъ сословіи. За отсутствіемъ того и другого, служебное положеніе лица оставалось единственнымъ основаніемъ для опредѣленія степени его «чести». На этомъ основаніи классифицировалась «честь» и таксировалось «безчестье» старыхъ «чиновъ» московскаго государства; къ нему же сводилось и «утягиванье» другъ друга мѣстническими «случаями». Но классификація по московскимъ классовымъ группамъ была черезчуръ обща и ничего не могла дать для опредѣленія взаимныхъ отношеній людей *одного и того же* «чина», а это-то и было особенно нужно. Оцѣнка же мѣстническихъ «случаевъ» всегда могла оказаться болѣе или менѣе случайной и субъективной. Въ виду этого, являлась необходимость найти какое-нибудь объективное основаніе для опредѣленія взаимныхъ отношеній, особенно между членами высшаго общественнаго слоя. Но что могло быть объективнѣе и нагляднѣе самой занимаемой должности? Естественно было придти къ мысли о замѣнѣ іерархіи лицъ—іерархіей должностей. Любопытно, что первая попытка установить такую іерархію должностей сдѣлана была вмѣстѣ съ отмѣной мѣстничества (1680 г.); очевидно, на это смотрѣли, какъ на лучшій, болѣе совершенный способъ достигнуть той же самой цѣли. Іерархія устанавливалась только для тѣхъ высшихъ должностей, которыя могли быть доступны людямъ высшихъ, думныхъ чиновъ: боярамъ, окольниковымъ и думнымъ дворянамъ. Но вѣдь только здѣсь и сосредоточивались мѣстничавшіеся между собой «родословные» люди. Всѣ возможные должности, которыя эти люди могли занимать, были раздѣлены на 34 «степени», и каждой должности присвоенъ особый титулъ, феодальнаго или византійскаго происхожденія. Двѣнадцать первыхъ мѣстъ въ Боярской Думѣ должны были принадлежать «намѣстникамъ» важнѣйшихъ городовъ: при этомъ, намѣстникъ

владимірскій считался въ 3-й степени, новгородскій—въ 5-й, казанскій—въ 7-й и т. д. Промежуточныя степени распределены были между важнѣйшими придворными чинами, получавшими византійскіе титулы «доместиковъ», «стратопедарховъ» и т. д., а также между начальниками военныхъ округовъ. Попытка осуществить этотъ проектъ не удалась, такъ какъ патріархъ увидалъ въ немъ опасность для монархической власти. Онъ опасался, что намѣстники главныхъ городовъ, «великородные люди», со временемъ «обогащаются и огордятся», отступятъ отъ московскаго самодержавства, разорятъ единовластіе и раздѣлятъ Россію «себѣ въ особенность».

Мы знаемъ отношеніе Петра къ «великороднымъ людямъ». Когда, 42 года спустя, появилась его табель о рангахъ, она, на первый взглядъ, преслѣдовала совершенно другія и даже прямо противоположныя цѣли сравнительно съ проектомъ 1680 г. «Стали не роды почтенны, но чины и заслуги и выслуги», съ горечью замѣчаетъ кн. Щербатовъ о дѣйстви табели. Какъ извѣстно, по этой табели всѣ, дослужившіеся до первыхъ восьми «ранговъ», «въ вѣчныя времена лучшему старшему дворянству во всѣхъ достоинствахъ и авантажахъ равно почтены быть имѣютъ, хотя бы они и низкой породы были». И однако, не смотря на этотъ бросающійся въ глаза контрастъ между подвижной, открытой снизу для всѣхъ лѣстницей петровскихъ «ранговъ» и замкнутымъ кругомъ 34 «ступеней», предоставленныхъ однимъ «родословнымъ людямъ», несомнѣнно, что, въ сущности, цѣль тѣхъ и другихъ одна и та же: опредѣлить взаимное положеніе членовъ ближайшаго къ правительству общественнаго слоя. Составъ этого слоя могъ очень рѣзко перемениться: Петръ могъ набрать себѣ въ «царедворцы», кого угодно; но кругъ «царедворцевъ» продолжалъ, однако же, существовать, и чѣмъ необычайнѣе былъ его составъ, тѣмъ онъ болѣе нуждался въ новой правительственной санкціи; тѣмъ въ большей степени онъ былъ продуктомъ «государева жалованья», тѣмъ необходимѣе становилось привести результаты отдѣльныхъ мѣръ въ одну цѣльную систему *).

*) Соціальный составъ петровскаго придворнаго круга мы можемъ прослѣдить напр. по списку участвовавшихъ въ маскарадѣ 1723 г., длившемся цѣлую недѣлю. Изъ 138 участвующихъ можно насчитать всего около десятка старыхъ титулованныхъ аристократовъ и столько же членовъ старыхъ дворянскихъ фамилій, частью пожалованныхъ новымъ титуломъ «графовъ». Обѣ группы вмѣстѣ равняются числу иностранцевъ, достигшихъ высшихъ чиновъ на русской службѣ. Вся остальная масса (97)—авантюристы, дѣльцы и служаки, сдѣлавшіе карьеру при Петрѣ и, можетъ быть, на цѣлую треть вышедшіе не изъ дворянства, а изъ приказныхъ (секретари; съ 1724 года велѣно и ихъ набирать изъ дворянъ). Напротивъ, по табели о рангахъ составъ масокъ оказывается вовсе не такимъ пестрымъ. За исключеніемъ нѣсколькихъ молодыхъ людей знатныхъ фамилій (доступъ которыхъ ко двору тоже предусмотрѣнъ табелью) всѣ остальные маски облечены болѣе или менѣе высокимъ «характеромъ», сообразно которому и занимаютъ мѣсто въ маскарадной процессіи и въ отдѣльныхъ группахъ масокъ. Это—президенты, совѣтники, ассесоры и секре-

о рангахъ Петръ санкціонировалъ совершившійся фактъ, а о томъ, насколько демократизируются его «ранги»—и само «лучшее старшее дворянство»—дальнѣйшимъ автоматическимъ дѣйствіемъ таблицы, едва ли онъ особенно задумывался.

О чемъ Петръ заботился и что дѣйствительно было нужно въ тотъ моментъ, это созданіе такого общаго знаменателя, къ которому можно было бы легко привести каждаго изъ выдвинутыхъ имъ сотрудниковъ. За отсутствіемъ такого общеобязательнаго масштаба, петровскіе карьеристы мѣстничались ничуть не менѣе «великородныхъ людей» XVІІ в. Еще въ годъ изданія таблицы о рангахъ оберъ-прокуроръ сената, Скорняковъ-Писаревъ, попрекалъ сенатора М. Шафирова тѣмъ, что тотъ «жидовской породы, холопа боярскаго сынъ», а послѣдній отвѣчалъ ему, что онъ потомокъ «площаднаго писаря и скорняка», а отецъ его пахалъ землю. Теперь «рангъ» все покрылъ. Обиженный братомъ Шафирова, вице-канцлеромъ, совѣтникъ Степановъ въ томъ самомъ году (1722) уже заявлялъ: «я о моей персонѣ не говорю, только характеръ канцеляріи совѣтника не допускаетъ не токмо побой, но и брани терпѣть». Правда, житейская практика скоро показала, что и петровский «чинъ» возвышаетъ только надъ младшими, но не мѣшаетъ самоуправству старшихъ. Дворянинъ въ чинахъ могъ, сколько угодно, бить простого дворянина и безчинствовать въ собственномъ дворцѣ имп. Анны, и самъ московскій главнокомандующій и родственникъ царицы. П. Салтыковъ, «не смѣлъ ничего сдѣлать» съ нимъ—«для того, что онъ имѣетъ чинъ генераль-поручика». Кабинетъ-министръ могъ невозбранно избить простого секретаря, но отвѣчалъ за то, что избилъ его въ домѣ герцога курляндскаго, чѣмъ нанесъ «безчестье» послѣднему.

Какъ бы то ни было, за неимѣніемъ лучшаго, масштабъ соціального положенія «служителей» былъ найденъ и Петръ могъ предписать имъ—при всѣхъ придворныхъ церемоніалахъ и богослуженіяхъ каждому знать свое мѣсто: а кто займетъ мѣсто выше своего ранга или уступитъ его лицу низшаго ранга, подвергается штрафу въ размѣрѣ двухмѣсячнаго жалованья. Петръ, правда, оговорился въ таблицѣ, что эти новыя правила мѣстничества устанавливаются лишь для оффиціальныхъ собраній, «но не въ такихъ оказіяхъ, когда нѣкоторые яко добрые друзья и сосѣди съѣдутся», или въ публичныхъ ассамблеяхъ. Но нововведеніе слишкомъ хорошо отвѣчало на этотъ разъ общественной потребности: «чинъ» надолго сдѣлался основой, на которой строились всѣ общественныя отношенія.

«Чинъ» не былъ, конечно, самостоятельной силой, способной доставить или преградить доступъ ко двору. Табелю о рангахъ была достаточно демократична, чтобы допустить пожалованіе генеральскимъ чи-

тари коллегій и другихъ высшихъ присутственныхъ мѣстъ (около 85): генераль-лейтенанты, генераль-маіоры, бригадиры, полковники, поручики и подпоручики гвардіи)—около 45 ч.

номъ повара имп. Елизаветы, но не настолько демократична, чтобы открыть путь ко двору всякому честному служака. При дѣйствіи табели, какъ при всякомъ другомъ порядкѣ, можно было служить и не дослужиться, и можно было выслужиться, не служивши. Но, послѣ личныхъ связей при дворѣ, чинъ былъ, несомнѣнно, вторымъ проводникомъ новой культурной обстановки. Онъ соединялъ дворъ съ ближайшимъ ко двору социальнымъ слоемъ. То социальное значеніе, которое новая обстановка имѣла для придворнаго круга, она скоро приобрѣла и здѣсь. Уже Петръ заботится о томъ, чтобы культурная внѣшность соответствовала социальному положенію, создаваемому рангомъ, — «понеже знатность и достоинство чина какой особы часто тѣмъ умалывается, когда уборъ и прочій поступокъ тѣмъ не сходствуетъ». Аргументъ этотъ былъ такъ хорошо усвоенъ, что отъ поощреній правительство скоро перешло къ цѣлой системѣ ограниченій. При Елизаветѣ было опредѣлено, въ какую цѣну матеріи имѣютъ право носить лица различныхъ ранговъ (1742): первые пять ранговъ — не дороже 4 р. за аршинъ, слѣдующіе три — не дороже 3 р., остальные — не дороже 2 р. Манифестъ 1775 г. регламентировалъ еще детальнѣе характеръ выѣздныхъ экипажей. Только первые два класса могли ѣздить шестеркой съ двумя форрейторами, слѣдующіе три безъ форрейторовъ, дальнѣйшіе три — только четверкой, остальные парой, а простые дворяне — верхомъ или въ одноколкѣ и саняхъ на одной лошади.

Итакъ, въ придворныхъ и близкихъ къ придворнымъ, чиновныхъ кругахъ общества первое употребленіе, сдѣланное изъ европейской культурной внѣшности, было узко-практическое. Успѣхъ новой обстановки гарантированъ былъ здѣсь тѣмъ социальнымъ значеніемъ, которое она приобрѣла, какъ показатель извѣстнаго общественнаго положенія. Но за предѣлами этого круга стояло все столичное дворянство, участіе котораго въ придворной жизни Петра сводилось къ угощенію высшаго общества гвардейской сивухой, отъ которой бѣгали фешенебельные посѣтители Лѣтняго сада. Какова была судьба новыхъ культурныхъ элементовъ въ этой рядовой дворянской средѣ?

Въ первые полвѣка реформы русское рядовое дворянство очень медленно входило во вкусъ европейской культуры. Кое-кому изъ этихъ дворянъ поневолѣ пришлось побывать и за границей, по царскому наряду. Они возвращались, слегка обчищенные и обтесанные; но, попавъ въ старую среду, въ прежнюю семейную обстановку, быстро отдѣлялись отъ культурныхъ привычекъ и погружались въ «прежнее свинство». «Кто видѣлъ ихъ за границей, черезъ годъ не могъ бы уже узнать ихъ», замѣчаетъ Фокеродтъ. Не оставляя прочныхъ слѣдовъ даже и служба въ русскомъ «регулярствѣ», отъ которой такъ страдали дворяне. Изъ одного указа 1726 г мы узнаемъ, что едва вернувшись по домамъ, они спѣшили залустить бороду и надѣвали старое русское платье. Указъ предписываетъ всѣмъ такимъ отставнымъ и

отпускнымъ дворянамъ «содержать себя всегда въ чистотѣ, какъ въ полкахъ служили»; платье носить нѣмецкое, со шпагой; «буде же кто нѣмецкаго сукна за скудостью купить не можетъ, чтобы дѣлали, хотя изъ русскаго сермяжнаго сукна съ обшлагами другого цвѣта, окрася какою похочетъ краскою». Таково начало дворянскихъ мундировъ. Бороду также приказывалось брить; «а ежели гдѣ въ деревняхъ», предусмотрительно прибавлялъ указъ, «такихъ людей, кто брить умѣетъ, не случится. то подстригать ножницами до плоти въ каждую недѣлю по дважды».

Несмотря на угрозы штравами и батогами, указъ плохо исполнялся. Впрочемъ, скоро, при Аннѣ, разбредшихся по деревнямъ дворянъ вернули опять въ полки; усадьбы стояли пустыя; въ уѣздахъ остались лишь дряхлые и больвые старики, да женщины: ни тѣ, ни другія, конечно, не могли насадить въ уѣздахъ новую дворянскую культуру. Условія кореннымъ образомъ измѣнились лишь во второй половинѣ вѣка.

Въ ожиданіи этого времени, только въ столичномъ дворянствѣ начало появляться сознаніе, что европейская внѣшность можетъ имѣть и для него никакъ не меньшее социальное значеніе, чѣмъ она имѣла для правящихъ круговъ. На самомъ дѣлѣ значеніе это должно было быть огромно. Новой культурѣ суждено было положить ту рѣзкую грань между «благородствомъ» и «подлостью», которая послужила основой и санкціей дворянскаго сословнаго самосознанія. Но, оригинальнымъ образомъ, къ этому самосознанію привело русское дворянство не его положеніе въ деревнѣ, а его положеніе въ столицѣ. Оно сперва почувствовало себя политически сильнымъ, а потомъ употребило эту силу для закрѣпленія своего экономическаго преобладанія и сословной солидарности. Его культурное положеніе, такимъ образомъ, явилось лишь послѣдствіемъ той роли, которую оно сыграло, какъ «опора власти».

Извѣстно, какъ эта роль была сыграна. Въ первые же 16 лѣтъ по смерти Петра дворянство четыре раза участвовало въ государственныхъ переворотахъ, каждый разъ являясь все въ болѣе и болѣе активной роли. Изъ роли простыхъ статистовъ (при воцареніи Екатерины I) дворянская гвардія переходитъ въ роль возстановителей самодержавія (при воцареніи Анны), затѣмъ, даетъ свою помощь для сверженія регента (Бирона) и сама свергаетъ, наконецъ, правящаго государя-младенца, въ ожиданіи, пока свергнетъ взрослога. О плодахъ этой дѣятельности рѣчь будетъ ниже.

Поскольку вліяніе столичнаго дворянства могло проникать въ провинцію, — уже и въ первой половинѣ вѣка мы замѣчаемъ кое-какіе признаки усвоенія европейской культурной внѣшности. Извѣстный мемуаристъ Болотовъ оставилъ намъ изображеніе двухъ провинціальныхъ дворянскихъ обществъ 1750-хъ годовъ, которое какъ нельзя лучше можетъ иллюстрировать послѣдовательный ходъ культурныхъ заимствованій въ первой половинѣ XVIII вѣка. Въ псковской деревнѣ своего зятя Не-

клюдова, Опанкинъ, Болотовъ встрѣчаетъ общество, «которому свѣтское обхожденіе не менѣе знакомо, какъ и петербургскимъ жителямъ». Сестра гордится его свѣтскими талантами, его костюмомъ, его разговорами, когда онъ пріѣзжаетъ къ ней изъ Петербурга, и приходитъ въ ужасъ, когда онъ, одичалый, растерявши все свои «поступки, и поведеніе, и обхожденіе», въ «смѣшномъ, неловкомъ и непристойномъ» платьѣ является къ ней изъ своего каширскаго захолустья, Дворявинова. Ей «стыдно показать сосѣдямъ»—«деревенскаго пентюха». Сосѣди эти проводятъ деревенскій досугъ въ томъ, что поочередно ѣздятъ другъ къ другу всей компаніей въ гости. Одинъ изъ сосѣдей возитъ съ собой и музыку,—двѣ-три скрипки, на которыхъ его собственные лакеи изображаютъ польскіе, менуэты и контрадансы. Послѣ обѣда, продолжающагося нѣсколько часовъ, съ обильными возліянiями,—«хотя бы и не въ деревнѣ»,—барыни засаживаются играть въ карты, въ модную игру «памфелъ», барышни и кавалеры весь вечеръ танцуютъ, а отцы семействъ, «держа въ рукахъ то и дѣло подносимыя рюмки, упражняются въ разговорахъ». Но, начавшись по-петербургски,—если не по-европейски,—вечеръ кончается чисто по-русски. Подгулявшіе господа хотятъ плясать сами, и деликатные «менуэты» и «контрадансы» молодежи смѣняются болѣе знакомой зрѣлому поколѣвію русской плясовой, въ которой принимаютъ участіе и дамы, бросивъ свой «памфелъ». Когда истощается и этотъ ресурсъ, компанія переходитъ къ русскимъ пѣснямъ: зовутъ дѣвокъ и лакеевъ, которые и занимаютъ господъ до самаго ужина, шокируя молодежь, у которой теперь свои модныя любовныя пѣсенки, еще не перешедшія въ распоряженіе лакеевъ и горничныхъ.

До такого «свѣтскаго» образа жизни далеко мелкопомѣстнымъ сосѣдямъ каширской деревни Болотова,—доживающимъ свой вѣкъ сверстникамъ его отца и матери. Ходятъ они въ старинномъ платьѣ, «долгополыхъ кафтанахъ» съ «ужасной величины обшлагами», другъ къ другу почти не ѣздятъ, да и не къ кому ѣздить, потому что все мѣстное дворянство—на службѣ; а когда соберутся, то только пьютъ или ведутъ практической разговоръ про мѣстныя тяжбы, причемъ самымъ ловкимъ сутягой и знатокомъ приказнаго крюкотворства оказывается мѣстный батюшка. За то двѣнадцатилѣтній Болотовъ, съ своимъ знаніемъ нѣмецкаго языка и ариметики, съ начатками французскаго и географіи, кажется всѣмъ въ этой компаніи чудомъ учености. И самое жилище здѣсь остается, какимъ было до реформы. Семья ютится въ двухъ теплыхъ комнатахъ огромнаго дома; холодный залъ, съ почернѣвшими отъ времени деревянными стѣнами, потолками и корявымъ дубовымъ поломъ, съ цѣлымъ иконостасомъ у одной стѣны, съ деревянными лавками по стѣнамъ и простымъ деревяннымъ столомъ вмѣсто всякой мебели—открывается только для молебновъ по большимъ праздникамъ. А между тѣмъ у псковскаго зятя уже есть и мебель, а стѣны покрыты холстомъ, разрисованнымъ масляными красками.

Такъ намѣчаются предѣлы и степень распространенія новой культурной внѣшности въ первой половинѣ XVIII в. Въ предѣлы эти входятъ: дворъ, высшее чиновничество, столичное и отчасти провинціальное дворянство. Въ предѣловъ остается духовенство и приказные, горожане и крестьяне. Всѣмъ этимъ общественнымъ слоямъ суждено надолго остаться чуждыми новой культурѣ,—и не потому только, что міровоззрѣніе этихъ «подлыхъ» людей принципиально противорѣчитъ міровоззрѣнію «благородныхъ», а также и потому, что одни «подлы», а другіе «благородны»: другими словами, потому что вскорѣ послѣ своего водворенія на Руси новая культура становится соціальнымъ признакомъ привилегированнаго сословія.

Въ моментъ этого рѣшительнаго культурнаго и соціального разрыва между «благородствомъ» и «подлостью», не лишнее будетъ остановиться и рассмотреть внимательнѣе, въ чемъ именно состоитъ разница обоихъ міровоззрѣній. Для характеристики того и другого мы выберемъ два литературныхъ произведенія, относящіяся къ одному и тому же времени: «Завѣщаніе отеческое» Посошкова, оконченное, повидимому, въ 1719 г., и «Юности честное зерцало», появившееся первымъ изданіемъ въ 1717 г.

Какой соціальный кругъ имѣется въ виду Посошковымъ въ его «Завѣщаніи», видно изъ перечня тѣхъ общественныхъ положеній, въ которыя ставитъ поочередно отецъ своего сына, чтобы преподать ему соответственные совѣты. Сынъ Посошкова (или его читателя) можетъ сдѣлаться купцомъ, крестьяниномъ, работникомъ, нищимъ, можетъ пойти въ причетники, попы, монахи, удостоиться архіерейства и даже патріаршества, попасть въ приказные и сдѣлаться судьей, поступить въ солдаты и выслужиться до офицерскаго чина. Одного онъ не можетъ: сдѣлаться помѣщикомъ и дворяниномъ. Итакъ, авторъ, — самъ дворцовый крестьянинъ, пишетъ свои правила добродѣтельной жизни для «подлаго состоянія». Однако, и этотъ кругъ настолько широкъ, что въ началѣ XVIII в. и въ немъ уже не существуетъ полнаго единства міровоззрѣнія. Возстановить это единство—является самымъ горячимъ желаніемъ автора, которое, однако, уже тогда оказывается неосуществимой мечтой. Въ предѣлахъ соціального кругозора Посошкова оказываются на лицо всѣ возможные виды и оттѣнки религіознаго міровоззрѣнія. Масса погружена въ двоевѣріе, недалеко ушедшее отъ язычества; изъ вѣрующаго меньшинства—многіе ушли въ расколъ; среди приказныхъ и горожанъ начинается распространяться протестантизмъ и сектантство («лжехристовщина» и «лжемоисѣвщина» ср. «Оч.», II, 110, 104—105). Наконецъ, на крайнемъ предѣлѣ доступнаго Посошкову круга наблюденій возникаетъ призракъ «свѣтскаго житія», совсѣмъ уже ничего не имѣющаго общаго съ «евангельскимъ»: люди «проводятъ время до полуночи, а то и до свѣта въ скаканіи и танцваніи безъ сна; пьютъ съ музыками и въ карты играютъ». Среди всѣхъ

этихъ уклоненій православному человѣку предстоитъ трудная задача проложить себѣ средній путь, не увлекаясь ни «на шую страну» народнаго язычества, ни на «мнимсе десно» раскола и сектантства.

Какъ видимъ, «свѣтское житіе», собственно, вовсе выходитъ изъ строго-религіознаго кругозора Посошкова, такъ какъ не опирается ни на какое религіозное міровоззрѣніе. Хотя онъ и формулируетъ въ одномъ мѣстѣ своихъ писаній тотъ практическій «атеизмъ» (нѣтъ ни Бога, ни души, ни безсмертія, ни вѣчныхъ мукъ), на который могло бы опереться «свѣтское житіе», — но эта формулировка такъ чужда его складу мысли, что съ ней онъ не находитъ ни средствъ, ни желанія бороться. Для него этотъ «атеизмъ» есть скорѣе логическій выводъ, своего рода *reductio ad absurdum*, которымъ онъ грозитъ протестантству, чѣмъ дѣйствительный противникъ, съ которымъ онъ считалъ бы нужнымъ полемизировать. Настоящаго противника онъ видитъ въ породившемъ подобный выводъ, но все же *религіозномъ* міровоззрѣніи. За «атеизмъ», какъ и за «свѣтское житіе» отвѣчаетъ Посошкову Мартинъ Лютеръ. Это онъ, сугубый еретикъ, ища оправданія своему «скверному житію», «отъ презѣльной ярости въ блудѣ» изобрѣлъ широкій, «легкостный» путь жизни и увлекъ на него «сластолюбцевъ». Все, что есть хорошаго у лютеранъ, всѣ ихъ «жителейскіе уставы» — изобрѣтены до Лютера: «издревле, до Мартинова бытія, нѣкто былъ у нихъ пришлецъ или изъ нихъ выродокъ; онъ оставилъ у нихъ гражданскіе уставы, какъ купеческіе, такъ и ремесленные, и воинскіе, и судейскіе». Весь же строй жизни основанъ Лютеромъ — на «свѣтскомъ разумѣ», а не на «духовномъ»: подражать ему — значитъ идти прямымъ путемъ къ гибели. «Святые апостольскіе послѣдователи жить по вашему не умѣли», заявляетъ онъ противникамъ, — «вмѣсто ренскаго пили воду мутную; вмѣсто златотканыхъ одеждъ носили рубища; вмѣсто постелей пуховыхъ спали на голой землѣ; вмѣсто свѣтыхъ свѣтиль живили въ темныхъ вертепахъ; вмѣсто французскихъ танцевъ проводили ночи во всеобщемъ бдѣніи; вмѣсто множества денегъ имѣли множество вшей; вмѣсто музыкъ и веселія — плакали день и ночь о грѣхахъ».

Оставаясь на почвѣ религіозной, какія доказательства можно привести въ пользу «свѣтскаго житія?» Посошковъ знаетъ только одно — не вычитавное, а подслушанное у иноземцевъ — и обрушивается на него со всѣмъ жаромъ своего православнаго негодованія. «По Мартинову толкованію: еже есть на свѣтѣ, то все чисто и свято, и они всѣ святы, и грѣха ни въ чемъ нѣтъ»; «всѣ свои грѣхи причитаютъ къ Божіей винѣ, а не къ своей, говоря: таковыхъ-де насъ Богъ сотворилъ». О, безуміе, о безстрашіе, протестуетъ Посошковъ противъ лютеранскаго фатализма; значитъ, «по вашему лютеранскому высокоумію ни за какую вину наказанія чинить не слѣдуетъ?» Неправда, настаиваетъ онъ: «Богъ сотворилъ человѣка самовластнымъ; идти

скорбнымъ или веселымъ путемъ,—въ томъ воля наша»: «хотимъ здѣсь веселиться,—тамъ возрыдаемъ; а хотимъ тамъ веселиться, подобаешь намъ здѣсь нужду претерпѣти» (ср. споръ Теофана съ Стефаномъ Яворскимъ, «Оч.» II, 167). Въ связи съ этимъ взглядомъ на свободу воли, очевидно, находится и вражда Посошкова къ астрономіи, служившей у насъ первымъ проводникомъ детерминизма (Оч. II, 273—74, 279—80). Особенно ненавистно автору ученіе «проклятаго Коперника, Богу суперника», хотящаго быть мудрѣе самого Соломона, превратившаго «солнце въ Бога», «а землѣ съ людьми» повелѣвшаго «служить солнцу» ежедневнымъ обхожденіемъ.

Подобно московскимъ начетчикамъ XVII в. Посошковъ признаетъ одну науку или, что то же, одно искусство: «какъ жить душеполезно», чтобы достигнуть вѣчнаго спасенія (Оч. II, 255—257). Но на этомъ пути встрѣчаетъ его другая опасность, другой видъ «мнимаго десна» или «ложнаго благочестія»—расколъ. Уже изъ сдѣланныхъ выписокъ можно было бы заключить, что Посошковъ не чуждъ самъ «недугу раскольничьей болѣзни»,—и онъ откровенно признается, что «изначала хромалъ» ею (въ концѣ XVII в.; Посошковъ родился въ 1652 г.). Нѣкоторыя раскольничьи мнѣнія онъ удержалъ и впоследствии, но, отказавшись отъ главныхъ, сталъ отчаяннымъ врагомъ раскола, тѣмъ болѣе непримиримымъ, чѣмъ яснѣе понималъ силу раскола надъ современными умами и чѣмъ ближе самъ стоялъ къ духу раскола. По его мнѣнію, если этихъ «плевель» не «истребить безъ замедленія», то можно опасаться, какъ бы они «и остатковъ доброй пшеницы не подавили и въ конецъ безъ вѣсти бы не учинили». А такъ какъ раскольниковъ «никогда добромъ не научить» и «наукой съ ними и въ двадцать лѣтъ нельзя столько добра сдѣлать, сколько за одинъ годъ жестокостью», и такъ какъ дѣло идетъ о спасеніи или гибели душъ христіанскихъ,—то Посошковъ предлагаетъ драконовскій способъ обращенія раскольниковъ въ православіе. Надо переписать подворно всѣ епархіи, описать всѣ дворы и задворки, и завести книги для записей крещенныхъ, причащенныхъ и вѣнчанныхъ прихожанъ. Всѣ возможныя лазейки, которыми можно было бы уйти отъ этихъ записей и переписи, артистически предусмотрѣны авторомъ; при малѣйшемъ сомнѣніи—духовенству является на помощь полиція, слѣдуетъ обыскъ, дознаніе, пытка, и не могущіе оправдаться, объяснить, напр., у какого священника они состоятъ прихожанами и отправляютъ требы и таинства,—немедленно отсылаются на костеръ. Сожженіе грозитъ и укрывшимъ ихъ изъ корысти православнымъ священникамъ, «понеже раскольниковъ ни отъ чего такъ не умножается, какъ отъ потачки поповской».

По мѣрѣ того, какъ развиваются детали этого невѣроятнаго плана, самому автору онъ начинаетъ казаться «диковатымъ и противноватымъ». Но, какъ человѣкъ практической, Посошковъ правильно рассуждаетъ, что *если* ужъ задаться цѣлью искоренить расколъ, то болѣе мягкія средства тутъ ни къ чему не поведутъ.

Это только доказываетъ, конечно, что искорененіе раскола было такой же безнадежной и неосуществимой мечтой, какъ и искорененіе «свѣтскаго житія». Предложенныя противъ раскола мѣры были похоронены въ синодѣ, вмѣстѣ съ этой частью рукописи «Завѣщанія»; а относительно «свѣтскаго житія» Посошковъ не могъ даже рѣшиться предлагать никакихъ мѣръ и ограничился бессильнымъ и бесполезнымъ протестомъ, дѣлая при этомъ видъ, что протестуетъ противъ иностранцевъ и что не прошло еще время «заткнуть дыру», черезъ которую они проникли въ Россію. Можно подумать, читая эти выходки Посошкова противъ иностранцевъ, что мы имѣемъ дѣло съ современникомъ Крижанича. На самомъ дѣлѣ, позиція, на которой продолжалъ стоять шестидесятилѣтній старикъ, логически вытекала изъ стараго міровоззрѣнія; но занимать ее было уже поздно: она взята была жизнью.

Трагизмъ положенія Посошкова этимъ не ограничивался. Дѣло въ томъ, что и его собственный идеаль—жизни, согласной съ евангельской моралью,—встрѣчалъ неодолимые препятствія и въ собственномъ міровоззрѣніи Посошкова и въ окружающихъ условіяхъ. Не желая склониться на «мнимое десно», онъ часто, не замѣчая того самъ, отклонялся слишкомъ далеко на «шуюю страну». Желаніе освѣтить и согрѣть жизнь вѣрой постоянно вступаетъ у него въ бессознательный компромиссъ съ житейской практикой Домостроя и съ религіознымъ міровоззрѣніемъ кievскаго Патерика. Говоря о брачной жизни, онъ находитъ, что «то добро и свято, еже бы оба изъ воли и изъ любви сошлись», какъ уже и требовалъ петровскій законъ; онъ находитъ, что невѣсты—«не лошади», чтобы ихъ сватать по нѣскольку одновременно. Но, однако, знакомиться съ невѣстой онъ не дозволяетъ, а разрѣшаетъ только взглянуть на нее ненарокомъ, гдѣ-нибудь «у церкви или на переходѣ». Онъ знаетъ, что «Богъ нарекъ жену помощницей, а не работницей», но совѣтоваться съ ней о дѣлахъ рекомендуетъ не столько для пользы, сколько изъ принципа: вѣдь иной разъ «Богъ черезъ малосмысленныхъ, паче мудрыхъ, открываетъ сокровенный совѣтъ». Въ воспитаніи дѣтей онъ безусловно становится на сторону ветхозавѣтной педагогіи: дѣтей надо держать «въ великой грозѣ», чтобы «взгляду вашего боялись»: нельзя не только смѣяться съ ними, но и позволять имъ играть. Даже грудныхъ младенцевъ не надо забавлять, учить матери «кукуши казать и по щекамъ бить»; вмѣсто «папа» и «мама» надо имъ показывать «Богъ на небѣ», «Богъ съ неба смотритъ», «Богъ за то тебя убьетъ». Посошковъ видитъ «Бога на небѣ» такъ же ясно, какъ Аввакумъ и Лазарь въ своихъ богословскихъ теоріяхъ *). На

*) «Троица рядкомъ сидитъ,—писалъ, напр., Лазарь,—Сынъ одесную, а Духъ Святой—спуюю Отца на небесахъ на разныхъ престолахъ—яко царь съ дѣтьми сидитъ Богъ Отецъ, а Христосъ на четвергомъ престолѣ особномъ сидитъ предъ Отцемъ небеснымъ». Посошковъ при словахъ: «Яко Спаса родила еси» совѣтовать: «Умными своими очами въ той часъ зри его ясно. Господа Іисуса Христа, на небесахъ суща».

землѣ, напротивъ, повсюду и всегда сторожить человѣка дьяволъ, который, впрочемъ, «аще и вельми естествомъ тонокъ и пронизателенъ есть, иже и сквозь желѣзо проходитъ, а въ человѣка безъ дыры вникти не можетъ». Но малѣйшая оплошность, малѣйшее отвлеченіе мысли отъ Бога могутъ открыть дьяволу эту «дыру». Поэтому необходимо постоянно твердить въ умѣ молитву и всякое дѣло начинать крестнымъ знаменіемъ, прогоняющимъ дьявола. «Острая молитва всѣ небеса пробиваетъ и престола Божія касается», но невнимательную молитву перехватываютъ у ангела-хранителя летающіе между землей и небомъ «воздушные демоны». Тѣ же демоны стерегутъ на пути къ небу грѣшную душу и не даютъ ей «свободно дойти до царствія небеснаго». Посошковъ убѣждаетъ сына не вѣрять въ примѣты; но самъ очень боится колдуновъ и волхвовъ, въ которыхъ видитъ агентовъ «дьявольской силы», и совѣтуетъ принимать всяческія мѣры противъ «порчи». На сосудъ съ питьемъ надо дунуть крестообразно; входя въ незнакомый или давно не посѣщавшійся домъ, необходимо перекреститься: тогда дьяволъ не сдѣлаетъ никакой «пакости». Дьяволъ дѣйствуетъ въ домѣ, главнымъ образомъ, «изъ запечья, или изъ задняго угла, или изъ бани,—гдѣ нѣтъ святыхъ образовъ». Лѣчиться у колдуна или проглотить письменный заговоръ противъ болѣзни—значитъ прямо «съѣсть прикровеннаго въ такомъ письмѣ дьявола» и самому сдѣлаться его пищей. Безъ сомнѣнія, такое лѣченіе *можетъ* помочь,—но только вражьей силой; вотъ почему Посошковъ предпочитаетъ лѣчиться у доктора, травами: въ травахъ «лѣчебную силу *Богъ* положилъ».

Естественно, что и въ своихъ протестахъ противъ народнаго фетишизма, Посошковъ не могъ быть послѣдователенъ. Онъ запрещаетъ называть иконы «богами», отдавать Николѣ чудотворцу или другимъ излюбленнымъ святымъ предпочтеніе передъ Спасителемъ и Богоматерью, молиться своимъ иконамъ въ церкви. Но онъ твердо вѣритъ, что именно Варварѣ великомученицѣ надо молиться объ избавленіи отъ внезапной смерти и болѣзни, а св. Власію—«о благополученіи»; что Іоаннъ Предтеча научаетъ «цѣломудренному житію», а св. Спиридонъ «утверждаетъ въ православіи». Онъ разрѣшаетъ пожертвовать въ церковь свою икону съ тѣмъ, чтобы передъ ней усиленно ставить свѣчи. Чтобы «образовъ святыхъ не почитать всѣхъ за едино равенство», онъ придумываетъ цѣлую систему своеобразнаго мѣстничества между ними: степень почитанія измѣряется при этомъ глубиной поклоновъ (Посошковъ различаетъ цѣлыхъ пять видовъ ихъ), толщиной свѣчей и мѣстомъ, къ которому нужно прикладываться. Когда дѣло касается обряда, Посошковъ нестоитъ въ своей изобрѣтательности и въ мелочности своей регламентаціи. Онъ утѣренъ, что ветхозавѣтный «законъ» не только не отмѣненъ, но, напротивъ, подкрѣпленъ новой «благодатью», и потому Христовъ законъ долженъ быть гораздо «тяжеловѣснѣе» Моисеева. «Иудейниковъ и фарисеевъ» необходимо

«превзойти» не только евангельской нравственностью, но и обрядомъ. «Фарисей дважды въ недѣлю постился, а ты, кромя среды и пятницы, постись еще всѣ четыре поста: тогда и въ постѣ превзойдешь фарисеевъ». Отдѣливъ Богу положенную десятину отъ своего имѣнія. «приложи рублевъ пять (къ сотвѣ), дабы тебѣ превысить фарисеево подаяніе».

Такимъ же препятствіемъ для осуществленія евангельскихъ совѣтовъ Посошкова, какъ его собственное міровоззрѣніе, оказывается и окружающая его среда. Въ современной ему дѣйствительности эти совѣты или не находятъ себѣ никакого приложенія, или получаютъ неожиданно-изменный, утилитарный смыслъ. II Посошковъ очень хорошо понимаетъ самъ, что до-петровская старина нисколько не помогаетъ, а только мѣшаетъ его благимъ намѣреніямъ. Какъ бы ни грозило будущее его идеаламъ, ему не приходитъ еще и въ голову искать спасенія въ прошломъ. Онъ не приглашаетъ никуда «вернуться», потому что самъ видитъ, что возвращаться некуда и незачѣмъ. Прошлое еще и не ушло никуда; оно тутъ, оно окружаетъ со всѣхъ сторонъ человѣка; оно даже со стороны такого націоналиста, какъ Посошковъ, вызываетъ только борьбу и обличеніе, а отнюдь не прикрашивание и не идеализацію. Развивая свои идеалы «евангельскаго житія» для всевозможныхъ общественныхъ положеній, Посошковъ вмѣстѣ съ тѣмъ развертываетъ передъ нами яркую картину тѣхъ нравственныхъ недостатковъ и социальныхъ золъ стараго русскаго общества, которые полагали этому житію непреодолимые препятствія. За искусственно-огражденной твердыней старой русской семьи—ничѣмъ не сдерживаемая, звѣрская страсть кипитъ и клокочетъ кругомъ. Ребенку шагу нельзя сдѣлать изъ отцовскаго дома: ежеминутно грозитъ ему «содомскій грѣхъ», отъ котораго можно спастись только «воплемъ, елико сможетъ воскричать». Юношу—лишняя минута разговора съ женщиной, лишняя улыбка или даже родственнй поцѣлуй грозятъ сдѣлать «вѣтъ ума». Мужчина—«звѣрски» удовлетворяетъ свою похоть. Особенно опасны для женъ «иноки», и для мужчинъ—молодые монахи. Посошковъ нисколько не скрываетъ отъ себя низкаго культурнаго уровня и жалкаго общественнаго положенія того сословія, которое призвано проводить въ жизнь его идеалы. Попы «валяются пьяные на улицѣ» и «пьянствуютъ въ кабакахъ», паству посѣщаютъ ради угощенья, службу отправляютъ кое-какъ и сокращаютъ въ угоду «сильнымъ людямъ»; посвящаются, не только не зная «грамматическаго разума», но даже «не разумѣя чтомага», а иногда и вовсе не умѣя читать; «торгуютъ церквами», покупая священническія мѣста исключительно ради доходовъ; берутъ взятки съ раскольниковъ и показываютъ ихъ православными; о собственной паствѣ небрегутъ, не только не поучая ихъ въ вѣрѣ, но даже не поучая и къ требамъ: «многіе крестьяне, и близъ Москвы живущіе. лѣтъ до шестидесяти не прича-

щаются и не исповѣдуются; многіе и умираютъ безо всего». Никто и не церемонится съ подобными пастырями. Архіерейскіе чиновники «ни во что ихъ ставятъ» и «обираютъ кругомъ». «Дворяне пресвитеровъ сельскихъ ведутъ хуже холопей своихъ; боясь ихъ, тѣ пресвитеры служатъ у нихъ всякую работу рабью, паче послѣдняго челядинца» *).

При этихъ условіяхъ, требованіе евангельскаго «смиренія» оказывалось въ неожиданно-полномъ согласіи съ русской дѣйствительностью. Что значило человѣку «подлаго состоянія» подставить другую лаяниту—въ томъ обществѣ, гдѣ аристократъ, князь Шаховской, при дворѣ за червонецъ давалъ себя бить по щекѣ всякому желающему? Что могъ значить совѣтъ Посошкова—притворяться, будто не слышишь брани, когда отвѣтить обидчику—зачастую значило рисковать гораздо худшей обидой, когда и сама народная мудрость учила, что «брань на вороту не виснетъ». Въ концѣ концовъ «жить по евангельски» оказывалось иной разъ очень выгодно, и самъ Посошковъ не упускаетъ случая указать на это преимущество. Конечно, онъ совѣтуетъ «смиреніе творить не того ради, дабы тебя люди хвалили»: но на той же страницѣ поощряетъ услужливаго человѣка соображеніемъ: «такъ творя, отъ всѣхъ похваленъ будешь и добрымъ человѣкомъ прослывеши». Однако, выгода отъ добраго поведенія можетъ быть и болѣе реальная. Если ты молодой подъячій, «выбѣги и встрѣть судью» «у саней»; «судья тебя будетъ любить: кому батоги, а тебѣ будетъ доброе слово и милость.—и дѣлами тебя прибыточными наполнять». Если ты работникъ, и хозяинъ «станетъ тебя посылать (дѣло обыкновенное въ то время) на разбой, на воровство или на убійство, отвѣчай кротко, чтобы его не озлобить: благоволи де послать кого посмѣлѣй, а я человѣкъ несмѣлый и несловесный», или какъ-нибудь въ этомъ родѣ, «только бы тебѣ себя побережь, а его не оскорбить». Даже заповѣдь евангельской нищеты превращается въ рукахъ разбогатѣвшаго коммерческими операціями

*) Горячо относясь къ «дворянскимъ обидамъ». Посошковъ приводитъ и примѣръ. Къ помѣщику Ханыкову пришелъ на Пасху съ крестомъ попъ. «не въ ихъ вотчинѣ служащій»—побывавъ по дорогѣ на винокуренномъ заводѣ у Посошкова. Ханыковъ, «вышедъ на крыльцо, ударилъ того пресвитера по щекѣ и крестъ святыи изъ рукъ у него вышибъ и, съ крыльца его спихнувъ, почалъ его во всемъ облаченіи съ людьми своими бить и по грязи волочить и топтать. ты де меня промѣнялъ на Посошкова». Не смѣя жаловаться архіерею, «дабы послѣ больше того не пострадать отъ него», попъ самъ же просилъ у помѣщика прощенія «и едва умолилъ, что святыи крестъ и иконы отдалъ имъ назадъ». Другой примѣръ, изъ близкаго времени (1733): поручикъ Болотовъ, посадивъ пріѣхавшаго къ нему попа за столъ и «наливъ вина, сталъ ему подносить, а за непитье вина (т.-е. какъ разъ за то, чего требовалъ въ такихъ случаяхъ Посошковъ) ударилъ въ щеку, а потомъ билъ палкой», затѣмъ вторично сталъ угощать. Послѣ новаго отказа помѣщикъ велѣлъ солдатамъ принести батоги, «и раздѣвъ, оные солдаты били (попа) батожемъ съ четверть часа». Помѣщикъ оправдывался тѣмъ, что сельскій попъ долженъ ему во всемъ повиноваться и что онъ имѣлъ право наказать попа за непослушаніе. Ср. Отч. II, 151—153.

крестьянина въ ловкій практическій совѣтъ: «если не будешь страстно желать богатства, то оно и само не побѣжитъ отъ тебя, только ты умѣй его держать: не давайся ему подъ власть, но ты имъ господствуй». А, разбогатѣвъ, «если будешь пить хорошіе напитки, вспомни мыслью своей бѣдныхъ людей, которые и чистой воды не имѣютъ, а пьютъ, черпая изъ болота, мутную, съ мухами и червями; а когда ѣшь жирную и сладкую пищу, вспомни убогихъ, которые и хлѣба чистаго не имѣютъ, а ѣдятъ гнилой и съ мякиной. И подумай, что вотъ тебя Богъ наполнилъ и удовлетворилъ такимъ изобиліемъ, а другіе, такіе же какъ ты, люди—страдаютъ. И вспомнивъ про такое ихъ страданіе, воздай Богу благодареніе съ изобиліи твоимъ». Такимъ образомъ, смиреніе и богатому человѣку можетъ послужить на пользу, помогая пищеваренію и становясь источникомъ своеобразнаго наслажденія, такъ хорошо знакомаго русскому кулаку.

Какъ видимъ, въ этой покладливой морали немного осталось «аскетическаго», или «византійскаго». Она является вполне національнымъ продуктомъ національныхъ условій существованія. Это—мораль практическаго человѣка, поставившаго задачей—сохранить душевное равновѣсіе среди всевозможныхъ случайностей окружающей дѣйствительности, готоваго добиться своей цѣли цѣной какого-угодно компромисса, а чаще всего и не сознающаго вовсе, въ какіе компромиссы онъ вступаетъ. Мораль Посошкова, какъ и его міровоззрѣніе, такъ же «простосложны» и «удобопоемны» для огромной массы «подлыхъ людей», какъ и языкъ, которымъ онъ говоритъ съ нею, какъ и его полемическіе приемы.

Совершенно иные интересы, инныя житейскія задачи и иной складъ воззрѣній мы найдемъ въ томъ социальномъ кругѣ, который извѣстенъ Посошкову лишь въ качествѣ «обидчиковъ». Этотъ кругъ, какъ мы видѣли, систематически исключенъ Посошковымъ изъ числа всѣхъ тѣхъ разнообразныхъ и многочисленныхъ общественныхъ положеній, съ которыми онъ имѣетъ дѣло и къ которымъ обращаетъ свои совѣты. Онъ чувствуетъ, очевидно, что для дворянства его совѣты уже не годятся; что здѣсь окончательно возобладало то самое «свѣтское житіе», для котораго, даже съ точки зрѣнія своего услужливаго міросозерцанія, онъ не можетъ найти въ своей головѣ никакого оправданія *).

Но, можетъ быть, и за «свѣтскимъ житіемъ» стояло какое-нибудь

*) Впрочемъ, оговоримся: Посошковъ обнаруживаетъ, въ крайнемъ случаѣ, склонность оправдать и новую моду—ея социальнымъ значеніемъ. «Паруки» составляютъ предметъ его особой ненависти, но онъ допускаетъ, что «ради офицерскаго украшенія и ради отличія отъ простаго народа, по чину» ихъ «надлежитъ носить»; однако и тутъ онъ совѣтуетъ—отростить, вмѣсто парика, собственные волосы. О новомъ платьѣ онъ говоритъ только одинъ разъ во всѣхъ своихъ сочиненіяхъ—въ этомъ же смыслѣ—классоваго отличія, которое предлагаетъ распространить и на купечество, и даже проектируетъ фасонъ.

другое, свое міровоззрѣніе, — хотя бы тотъ «атеизмъ», на которомъ «нѣдны стояли», по утверженію Посошкова, говоря, что «сей свѣтъ самъ о себѣ стоитъ, нѣсть у него ни создателя, ни владѣтеля, но мы де сами собою и всѣмъ свѣтомъ владѣемъ» и т. д.? Изъ того, что мы уже знаемъ о новой культурѣ, не трудно вывести заключеніе, что «свѣтское житіе» не было какой-нибудь теоріей или системой: это былъ новый соціальный фактъ, явившійся самъ собою, какъ стихійное послѣдствіе стихійной реформы. Люди, подчинившіеся этому факту добровольно или неволью, съ охотой или съ отвращеніемъ, чаще всего вовсе не думали, что измѣняютъ старому міровоззрѣнію и являются выразителями какого-то новаго. Извѣстныя уже намъ обстоятельства — слабость и изменчивость религіознаго сознанія въ древней Руси, ослабленіе его уходомъ усерднѣйшихъ въ расколъ — еще болѣе облегчили этотъ переходъ. Соединяющимъ звеномъ между старымъ и новымъ міровоззрѣніями явился религіозный индифферентизмъ, т.-е. отсутствіе потребности въ какомъ бы то ни было цѣльномъ религіозномъ міровоззрѣніи, слѣдовательно и въ атеизмѣ (ср. Оч. II, 397 и ниже).

При такомъ положеніи дѣла, вовлеченная въ новое культурное движеніе общественная среда нуждалась вовсе не въ какомъ-либо особомъ міровоззрѣніи, а въ скорѣйшей выработкѣ и усвоеніи новаго кодекса жизни, правилъ «житейскаго обхожденія», которыя помогли бы ей выдѣлиться изъ остальной массы и войти въ роль привилегированнаго общественнаго слоя, какимъ сдѣлалъ ее историческій процессъ. Для этой цѣли появился цѣлый рядъ практическихъ руководствъ, по большей части переводныхъ; нѣкоторыя изъ нихъ сдѣлались очень популярными и распродавались въ большомъ количествѣ, не смотря на довольно ничтожное содержаніе и совершенно нескладное изложеніе. «Юности честное зеркало или показаніе къ житейскому обхожденію» въ первые же два года (1717—18) разошлось въ 189 экземплярахъ: успѣхъ для того времени совершенно исключительный. Въ 1767 г. вышло уже пятое изданіе «Зеркала». «Совершенное воспитаніе дѣтей, содержащее правила о благопристойномъ поведеніи молодыхъ знатнаго рода и шляхетнаго достоинства людей», аббата Бельгарда, разошлось въ трехъ изданіяхъ (1747, 1759, 1778) *).

Главная задача всѣхъ этихъ руководствъ — научить молодого дворянина «не быть подобнымъ деревенскому мужику» и, по возможности, приблизить его къ идеалу «придворнаго человѣка». Чтобы уничтожить сходство съ мужикомъ, руководства даютъ самыя подробныя наставленія, какъ вести себя въ порядочномъ обществѣ. Для русскаго «шляхтича» эти наставленія надо было начинать съ азовъ: надо было научить его сидѣть за столомъ, стоять, ходить, кланяться, разговаривать,

*) Нѣсколько позже характеризуемаго времени появился въ печати и русскій переводъ знаменитаго Cortegiano графа Кастильоне, итальянскаго гуманиста, подъ заглавіемъ: «Придворный человѣкъ» Граціана Бальтазара (1760).

не причинять беспокойства сосѣдямъ своимъ носомъ, ртомъ, руками и ногами, умѣть обходиться съ ножомъ и вилокъ, съ тарелкой, съ носовымъ платкомъ, съ шляпой. Всѣмъ этимъ обстоятельно занимается «Зерцало». Затѣмъ надо было внушить правила свѣтскаго обращенія. «Говоря о печальныхъ вещахъ, надо имѣть видъ печальный и имѣть сожалѣнїе; въ радостномъ случаѣ быть радостну и являть себя веселымъ съ веселыми» («Зерцало»). Собесѣднику не противорѣчить рѣзко, по возможности соглашаться, свое мнѣнїе высказывать осторожно, правду говорить не всегда («Зерцало» и «Совершенное воспитанїе»). «Скупому надо говорить, что онъ бережливъ и хорошій хозяинъ; расточителю—что онъ щедръ, лицемѣру—что онъ богобоязненъ» и т. д. (рукописное «Наставленїе о хорошемъ поведенїи при государевомъ дворѣ»). При дворѣ надо быть «смѣлымъ», самому объявлять о своихъ заслугахъ и искать награды. «Кто при дворѣ стыдливъ бываетъ, съ порожными руками отъ двора отходить». Между тѣмъ даромъ служить только Богу. Государю же надо «служить ради чести и прибыли» («Зерцало»), показывая, однако, при этомъ видъ, «будто вы дѣлаете все токмо для услугъ отечеству» («Наставленїе»). Не слѣдуетъ никому раскрывать своихъ цѣлей, чтобы ими не воспользовались другіе («Зерцало»); не надо также содѣйствовать возвышенїю человѣка «искуснѣе и способнѣе» себя — на мѣсто, гдѣ онъ можетъ оказаться конкурентомъ («Наставленїе»). Для полнаго успѣха при дворѣ или въ хорошемъ обществѣ необходимы и нѣкоторыя познанїя, или, точнѣе говоря, искусства. «Прямымъ придворнымъ человѣкомъ» можетъ быть лишь тотъ «младый шляхтичъ или дворянинъ», который «въ эксерциціи своей совершенъ, а наипаче въ языкахъ, въ конной ѣздѣ, танцованїи, въ шпажной битвѣ и можетъ добрый разговоръ учинить, къ тому жъ красноглаголивъ и въ книгахъ наученъ». Особенно важны, какъ признакъ хорошаго тона, иностранные языки: на нихъ надо говорить всегда «между собою», во-первыхъ, «дабы тѣмъ навькнутъ могли», во-вторыхъ, «чтобы слуги и служанки дознаться не могли и чтобъ можно» было порядочнаго человѣка «отъ другихъ незнающихъ болвановъ распознать» («Зерцало»). Извѣстенъ рассказъ Фонвизина, какъ сынъ одного аристократа, познакомясь съ нимъ, тогда еще четырнадцатилѣтнимъ мальчикомъ, на елизаветинскомъ спектаклѣ, сразу перемѣнилъ обращенїе, какъ только узналъ, что Фонвизинъ не говоритъ по-французски. «Чтобы не забыть языковъ», необходимо, помимо разговоровъ, поддерживать это знанїе «чтенїемъ полезныхъ книгъ» («Зерцало»). Но, вообще говоря, не слѣдуетъ «прилѣпляться много къ чтанїю книгъ» («Наставленїе»). «Обходительство съ двумя, тремя умными людьми—лучше науки всѣхъ школьныхъ мастеровъ и педагоговъ» (переведено въ скобкахъ: «вралей»). «Откровенные такихъ мудрыхъ людей разговоры отворяютъ у человѣка умъ, запертой природнымъ невѣдѣнїемъ въ темнотѣ незнанїя, и въ одинъ часъ больше покажутъ, не-

желі челоуѣкъ въ три дня изъ книгъ научитья можетъ» («Совершенство воспитаніе»).

Итакъ, наука нужна лишь постольку, поскольку она можетъ пригодиться все для той же цѣли, для «людскости», для пріобрѣтенія необходимыхъ въ свѣтскомъ обиходѣ знаній, привычекъ, вкусовъ; самое большее—для того, чтобы вести занимательный разговоръ. Мы знаемъ, что такимъ образомъ создано представление объ особомъ кругѣ наукъ и искусствъ, необходимыхъ шляхетству, и что дворянство долго лишь постольку цѣнило казенныя учебныя заведенія, поскольку тамъ преподавались именно эти, нужныя для молодого шляхтича знанія и техническіе навыки (Оч. II, 304—5, 310—11, 342). Не находя этого въ существовавшихъ школахъ, дворяне предпочитали воспитывать дѣтей въ частныхъ пансіонахъ или посредствомъ гувернеровъ, причемъ часто иностранныя языки оказывались единственнымъ предметомъ преподаванія. Но очень скоро потребность въ особомъ курсѣ шляхетскихъ наукъ была удовлетворена Анной въ открытомъ ею, по желанію дворянства, для подготовки офицеровъ—сухопутномъ шляхетскомъ корпусѣ. И здѣсь тотчасъ же обнаружилось, къ какого рода предметамъ дворянство тяготѣетъ всего болѣе. Изъ 245 русскихъ кадетъ, воспитывавшихся въ корпусѣ въ 1733 году, обучались:

нѣмецкому языку	237	челов.
танцамъ	110	>
французскому	51	>
фехтованію	47	>
музыкѣ	39	>
геометріи	36	»
рисованію	34	»
исторіи	28	»
верховой ѣздѣ	20	»
русскому	18	>
географіи	17	»
латинскому	15	>
юриспруденціи	11	>

Верховая ѣзда, очевидно, лишь потому стоитъ такъ низко, что это искусство пріобрѣталось и помимо ученія въ корпусѣ. Съ этой поправкой, программа «Зеркала» выполнялась въ корпусѣ гораздо усерднѣе, чѣмъ курсъ петровскихъ наукъ. Нѣмецкій языкъ необходимъ былъ при Аннѣ, но послѣ нея онъ долженъ былъ навсегда уступить мѣсто французскому, какъ неотъемлемому признаку шляхетскаго хорошаго тона.

Послѣ всего сказаннаго. приходится констатировать, что въ новой русской культурной средѣ, въ первое время ея существованія, было очень немного того, что мы называли «критическими элементами»: а то, что въ ней было на лицо,—совсѣмъ не благопріятствовало развитію этихъ

элементовъ и въ ближайшемъ будущемъ. Мы пока еще не встрѣтили въ этой средѣ достаточно сознательнаго отношенія къ самой себѣ и къ окружающему. За отсутствіемъ такого отношенія, «свѣтское житіе» начинало складываться въ такую же бессознательную традицію, какою было «духовное житіе» дореформенной Руси. Оно даже лишено было одного важнаго преимущества, которое давала старому «житію» его, такъ сказать, психологическая непрерывность. Изъ другихъ мѣстъ «Очерковъ» мы знаемъ, что въ той, старой средѣ—назрѣвали нѣкоторыя самостоятельныя движенія въ вѣрѣ и творествѣ, которыя теперь, когда надъ ней вдругъ поднялся новый культурный пластъ, спустились сразу внизъ и продолжали развиваться въ низшихъ слояхъ, конечно, уже далеко не въ тѣхъ благопріятныхъ условіяхъ, въ которыхъ они находились бы, если бы остались наверху. (См. Оч. II, 183—184, 189, 227—230, 240, 398—399). Напротивъ, къ вновь введенному въ жизнь культурному матеріалу—отношеніе новой культурной среды было вначалѣ совершенно пассивное (Оч. II, 140, 219, 230—231, 268).

Это должно было отразиться какъ на содержаніи, такъ и на характерѣ развитія критическихъ элементовъ въ будущемъ. Не предупреждая дальнѣйшаго изложенія, мы, однако, должны теперь же намѣтить отличительныя черты, вытекавшія для будущаго изъ только-что сдѣланнаго изображенія того, какъ стояло дѣло въ началѣ XVIII в.

Во-первыхъ,—и объ этомъ почти не нужно говорить,—ясно, что въ будущемъ культурномъ движеніи отодвинутые внизъ пласты общественной жизни и мысли никакой дальнѣйшей роли играть не будутъ. У нихъ была съ этихъ поръ своя культурная исторія, которую мы и старались прослѣдить во II т. «Очерковъ».

Во-вторыхъ, что касается новой культурной среды, ясно, что при ея общей неподготовленности къ доставшейся ей роли, при полномъ отсутствіи какого-либо связующаго ее общаго міровозрѣнія, при разладѣ ея мысли и жизни, всякія попытки мыслить сознательно въ ея средѣ — по необходимости будутъ индивидуальными попытками отдѣльныхъ ея членовъ, не связанныхъ въ этихъ своихъ попыткахъ ни прошлымъ, котораго у новой культурной среды нѣтъ, ни настоящимъ, которое еще не успѣло кристаллизироваться въ культурныя формы.

Въ-третьихъ, именно благодаря послѣднему условію, критическая мысль отдѣльныхъ, стремящихся къ сознательному мышленію, членовъ новой культурной среды будетъ въ состояніи болѣе или менѣе свободно отнестись къ этой самой средѣ. Другими словами, вмѣсто идейнаго оправданія и обоснованія культурныхъ и сословныхъ основъ, на которыхъ зиждется социальное положеніе этой среды, она сдѣлаетъ своимъ предметомъ критику тѣхъ и другихъ основъ. Она раскритикуетъ культурныя основы потому, что найдетъ ихъ недостаточно сознательными, т.-е. обвинитъ ихъ въ бессознательномъ подражаніи, въ слѣпомъ заимствованіи. Она даже попытается, въ видѣ протеста

противъ безсознательной европеизаціи, со свойственной ей утрировкой подражанія,—идеализировать русскую старину. Но это будетъ протестъ не во имя традиціоннаго націонализма, навсегда спустившагося въ низы общества, а во имя большей сознательности національной жизни, то-есть, во имя настоящихъ критическихъ элементовъ, противъ элементовъ, кристаллизовавшихся въ новую безсознательную традицію, въ простой символъ привилегированной общественной группы. Это будетъ первый шагъ къ дѣйствительной, а не оффиціальной только, побѣдѣ критическихъ элементовъ. Вторымъ шагомъ будетъ критика, обращенная на сословныя основы новаго культурнаго быта.

Наконецъ, въ четвертыхъ, такъ какъ вся эта работа критической мысли имѣетъ отчасти безсословный, отчасти прямо антисословный характеръ, хотя и совершается отчасти въ дворянской средѣ, то выработка и усвоеніе ея результатовъ будетъ идти параллельно развитію новой безсословной или, точнѣе, *междусословной* культурной среды, такъ наз. «интеллигенціи». Чтобы уяснить ея происхожденіе, напомнимъ пока одинъ только извѣстный уже намъ фактъ: именно, присутствіе въ правительственныхъ учебныхъ заведеніяхъ, за все время ихъ существованія, весьма значительнаго недворянскаго элемента (Оч. II, 263, 297, 304, 308—313, 323, 334, 342, 350, 353, 369—372).

Свободная отъ какой бы то ни было національной культурной традиціи, русская критическая мысль получила возможность черпать полными руками изъ богатаго запаса европейской критической мысли. О «слѣпомъ» и «безсознательномъ» заимствованіи здѣсь не можетъ быть рѣчи уже потому, что въ данномъ случаѣ заимствованіе имѣло цѣлью именно выработку сознательнаго отношенія къ окружающему. Русская мысль воспринимала европейскую, разумѣется, въ той формѣ, въ какой та имѣлась на лицо въ данное время; но она брала изъ нея только то, что могла понять и что ей было нужно;—она дѣлала изъ воспринятой мысли болѣе или менѣе оригинальное употребленіе, чтобы разобратъся съ ея помощью въ собственномъ матеріалѣ. Такимъ образомъ, не оригинальная въ своемъ источникѣ, русская критическая мысль была до извѣстной степени самостоятельна какъ въ процессѣ усвоенія, такъ и въ процессѣ приложенія усвоеннаго къ русской дѣйствительности.

Для начала, тамъ, на западѣ, не было недостатка, конечно, и въ *теоретическомъ* оправданіи «свѣтскаго житія». Соответствующее общее міровоззрѣніе выражалось въ той самой формулѣ—«все созданное Богомъ чисто и свято»,—которую Посошковъ слышалъ отъ иноземцевъ въ Москвѣ. Но мотивировка этого тезиса далеко ушла отъ богословской теоріи лютеранства и кальвинизма (о предопредѣленной и фаталистически дѣйствующей «благодати»),—не разрывая въ то же самое время окончательно съ старой религіозной традиціей. Это былъ не только не «атеизмъ», но даже и не философскій деизмъ. Это была теорія «естественнаго закона» вѣры и жизни, самымъ мирнымъ обра-

зомъ укладывавшаяся въ головахъ протестантскихъ богослововъ и пасторовъ.

Главное свсе примѣненіе теорія «естественнаго закона» нашла въ юридической наукѣ, вмѣстѣ съ которой и перешла въ Россію. Руководствами для преподаванія юриспруденціи должны были служить сочиненія двухъ главныхъ теоретиковъ «естественнаго права», Гуго Гроція и Пуффендорфа, переведенныя и изданныя по приказанію Петра. Въ шляхетскомъ корпусѣ «юсъ натурале» даже введено было въ число предметовъ, обязательно преподававшихся тѣмъ, кто хотѣлъ идти въ гражданскую службу,—хотя такихъ и было, какъ мы знаемъ, очень немного («Оч.» II. 305). Еще при Петрѣ «естественное право» сыграло политическую роль, послуживъ Теофану Прокоповичу для оффиціального доказательства «Правды воли монаршей» относительно престолонаслѣдія. По своему общественному положенію, Теофанъ и не могъ сдѣлать изъ философской теоріи болѣе широкаго употребленія: о деликатныхъ вопросахъ онъ позволялъ себѣ лишь разговаривать въ тѣсномъ кругу земляковъ. Но такое употребленіе сдѣлалъ публицистъ и политисторъ В. Н. Татищевъ, отчасти именно подъ вліяніемъ разговоровъ съ Теофаномъ. Въ сочиненіи подъ скромнымъ заглавіемъ «Разговоръ о пользѣ наукъ и училищъ», распространявшемся анонимно, въ рукописныхъ спискахъ, Татищевъ,—дѣлая все время видъ, что говоритъ не объ этомъ, а совсѣмъ о другомъ,—представилъ первую въ Россіи принципіальную защиту «свѣтскаго житія». Онъ совсѣмъ не отвергалъ и «житія духовнаго», по крайней мѣрѣ открыто: онъ только защищалъ право свѣтскаго житія на совмѣстное съ нимъ существованіе. Въ этихъ предѣлахъ, однако, вопросъ былъ поставленъ ребромъ. Если духовное житіе ставитъ цѣлью спасеніе души, то свѣтское имѣетъ полное право рядомъ съ нимъ поставить стремленіе къ земному счастью. Если для перваго—удовлетвореніе природныхъ склонностей человѣка есть грѣхъ, то для втораго—это есть только выполненіе «естественнаго закона».

Дѣло въ томъ, что «естественный законъ» человѣческой природы—есть такой же «божественный законъ», какъ и тотъ, который записанъ въ священномъ писаніи. Только первый вложенъ Богомъ въ человѣка при самомъ его сотвореніи: онъ вездѣ, всегда и для всѣхъ людей одинаковъ, какъ ихъ натура; тогда какъ писанный законъ «словесно отъ Бога преданъ»—первоначально однимъ евреямъ. Оба закона никакъ не могутъ противорѣчить одинъ другому, хотя каждый имѣетъ свою независимую область. Но какъ же не противорѣчатъ они, спрашиваетъ собесѣдникъ, выведенный Татищевымъ въ его «Разговоръ»? Вѣдь человѣку вкоренено «желаніе благополучія», т.-е. эгоизма; между тѣмъ писанный законъ основанъ на любви къ Богу и ближнему? Тутъ противорѣчія нѣтъ, отвѣчаетъ Татищевъ; разумный эгоизмъ обязательно включаетъ въ себя любовь къ Богу и ближнему, такъ какъ это—необходимыя условія человѣческаго «благополучія». Чело-

вѣкъ «взаимодательно» будетъ любить, потому что нуждается въ чужой любви для своего счастья.—Но вѣдь церковь требуетъ, чтобы человѣкъ отрекся отъ своего счастья, а не стремился къ нему: воздержаніе отъ потребности есть добродѣтель; удовлетвореніе ея есть грѣхъ,—продолжаются возраженія. Напротивъ, утверждаетъ Татищевъ: излишнее воздержаніе есть сокращеніе жизни, самоубійство, т.-е., дѣйствительно, величайшій грѣхъ. «Любостыліе, любоимѣніе и плотоугодіе намъ отъ Творца всѣхъ вмѣстѣ съ душой вкоренены, а такъ какъ Богъ есть творецъ добра, то и все, что онъ сотворилъ, не иначе какъ добромъ именовать можемъ». Если удовлетвореніе всѣхъ этихъ потребностей совершается разумно, т.-е. «порядочно и умѣренно», то оно есть добродѣтель; если «безпорядочно и чрезмѣрно», то обращается въ преступленіе. И притомъ природа человѣческая устроена такъ премудро, что она сама указываетъ мѣру, награждая удовольствіемъ за соблюденіе этой мѣры, и страданіемъ за ея нарушеніе. «Богъ во всѣ оныя прстивоприродныя преступленія вложилъ наказанія, дабы каждому преступленію естественныя и наказанія послѣдовали». Грѣхъ есть то, что вредно натурѣ человѣка, добродѣтель—то, что ей полезно. Но вредное и полезное можно и нужно *знать*: слѣдовательно, знаніе себя, своей природы—вотъ необходимое условіе всякаго разумнаго поступка, всякой добродѣтели. Извращеніе человѣческой природы послѣ грѣхопаденія Адама состояло именно въ затрудненіи самопознанія. «Воля, страсть надъ умомъ власть возымѣла; черезъ это не всякъ въ состояніи истинное благо различить отъ мнимаго». Но наука, знаніе должны вернуть человѣчеству это равновѣсіе души, нарушенное адамовымъ грѣхомъ.

Какъ же, однако, быть съ положительными предписаніями «церковнаго закона»? Татищевъ отвѣчаетъ: церковный законъ—не то, что «естественный» или что священное писаніе. Это законъ «не божескій, а самовольный человѣческій», наравнѣ съ «закономъ гражданскимъ». Молитва, напр., есть законъ божескій,—законъ любви (естественный) и долга (письменный); но «время и мѣра», «когда и какъ молиться», это божескимъ «закономъ оставлено на нашу возможность», а церковнымъ закономъ регламентировано. Или постъ: «по божественному онъ весьма полезенъ»—для сохраненія здравія (по естественному закону) и для укрощенія страстей (по писанію); но онъ «состоитъ въ волѣ человѣка», и по человѣческому соглашенію опредѣлены скоромные и постные дни и пища. Бракъ—необходимъ; но дѣло «человѣческихъ законовъ» церкви опредѣлить чинъ брака, возрастъ и другія условія для брачующихся; когда же она «запрещаетъ то, что человѣку закономъ божественнымъ опредѣлено» и, какъ въ католицизмѣ (Татищевъ часто имъ пользуется), требуетъ безбрачія молодыхъ священниковъ, то это уже явное злоупотребленіе. Поэтому-то «мнится пристойнѣе», чтобы «законы церковныя» «состояли подъ властію высшаго мірскаго правленія», какъ это существуетъ въ Англіи, Швеціи, Даніи, Голландіи, Германіи, и

какъ отчасти хотѣлъ сдѣлать Петръ. Какъ «самоизвольный», «законъ церковный есть разный—по разности церквей». Между тѣмъ, законъ естественный одинъ для всѣхъ. Даже «если бъ кто думалъ, что не отъ одного Адама люди начались», все-таки онъ долженъ признать, что «*всѣ* люди равное принужденіе къ пріобрѣтенію благополучія въ сердцѣ имѣютъ», хотя бы и не имѣли «никакого письменнаго закона»: это законъ «человѣческой природы», «познаваемый помощью здраваго ума»; его не лишены даже животныя *).

Прямой выводъ отсюда—требованіе полной вѣротерпимости. Татищевъ всецѣло принимаетъ его, маскируя только логическую связь, изъ которой оно вытекаетъ, и обсуждая вопросъ о вѣротерпимости исключительно «свѣтски», т.-е. съ точки зрѣнія государственныхъ соображеній. Вопреки мнѣнію «папистовъ», онъ утверждаетъ, что «разность вѣръ великой въ государствѣ бѣды не наносятъ», и въ Россіи «отъ разности вѣръ вреда не имѣли, но еще пользу видѣли». Писавіе прямо запрещаетъ «силою въ соединеніе приводить», несогласныхъ мучить, казнить или изгонять (Ефес. 6, 12; 9, 56); и Татищевъ рѣзко обрушивается на «Никона и его наслѣдниковъ», которые «надъ безумными раскольниками свирѣпость свою исполняя, многія тысячи пожгли и порубили или изъ государства выгнали»; онъ восхваляетъ Петра, прекратившаго бесполезныя жестокости. Только для іезуитовъ, по ихъ «коварству», и для евреевъ—«не для вѣры, но паче для ихъ злой природы» — Татищевъ склоненъ сдѣлать исключеніе изъ общаго правила о терпимости.

Таково міровоззрѣніе, котораго, нѣвѣрное, не подозрѣвалъ Посошковъ, когда опровергалъ мнѣніе, что «все чисто», — необходимостью омовеній отъ плотской скверны и проектировалъ инквизицію для раскольниковъ.

Право на свѣтскую жизнь, какъ ее понимаетъ Татищевъ, само собой предполагаетъ право свободнаго изслѣдованія и необходимость свѣтской науки. Дѣло въ томъ, что это — «разумная», сознательная жизнь, основанная на «знаніи правилъ естественнаго закона», т.-е. того, «что человѣку полезно и нужно, и что вредно и не нужно». Невѣжественный человѣкъ «настоящаго страха не боится, а гдѣ нѣтъ страха—трепещетъ, въ печали и радости неумѣренъ, въ счастьѣ и несчастьи—непостояненъ и во всемъ, вѣсто пользы, наноситъ себѣ вредъ». Не

*) Припомнимъ, кстати, разсужденія о душѣ животныхъ Теофана Прокоповича, записанныя его землякомъ Марковичемъ: «Оное мнѣніе Картезія («всякое чувство отъ животныхъ всѣхъ отнимающаго, а только одному человѣку, имущему умъ, причитающаго» и поэтому называющаго животныхъ «автоматами») есть некрѣпкое, ибо явственно спорить противъ повсѣдневныхъ экспериментовъ». Сущность духа—«не въ самомъ мышленіи, но есть особливѣйшее нѣчто, чего мы не видимъ». Поэтому «можно нѣкоторый видъ дебелиго и весьма слуднаго мышленія животнымъ причестъ, однако онаго безсмертнымъ назвать невозможно, а какое оно есть, неизвѣстно, для того, что (мы) не знаемъ существъ не только духа, но и тела».

понимая силы знанія, онъ, какъ ребенокъ, подчиняется шарлатанамъ и обманщикамъ, умышленно «содержавшимъ народъ въ темнотѣ и суевѣрїи»; онъ вѣритъ вмѣшательству сверхъестественныхъ силъ и «мнитъ черезъ дьявола сдѣлать» себѣ пользу, тогда какъ «многіе ученые физически и богословски доказали, что человекъ черезъ дьявола ничего учинить не можетъ». Только наука вывела человечество изъ этого младенческаго состоянія. Рѣшающими моментами въ исторїи человечества Татищевъ считаетъ, помимо пришествія Христа,—изобрѣтеніе *письма*, составляющаго для младенческаго общества то, что для новорожденнаго младенца составляетъ языкъ,— средство «собственныя прѣключенія въ памяти всѣ сохранить», и—изобрѣтеніе *книгопечатанія*. Благодаря послѣднему, сразу умножилось число ученыхъ и училищъ. и открытъ былъ «свѣтъ истиннаго разума въ богословіи, философіи, юриспруденціи, медицинѣ, математикѣ, физикѣ, исторїи и пр.»; «обрѣтены многіе способы къ испытанію и дознанію незнанныхъ прежде свойствъ, яко трубы зрительныя, микроскопіи, зеркала зажигательныя, насосы водяныя, трубы воздушныя, антліа пневматика» и т. д. «Папа и его сообщники» «противъ быстроты онаго теченія постоять не могъ»: «плотина прорвалась»; за Виклефомъ и Гусомъ явились Лютеръ и Кальвинъ, которые «довольно престолъ оный назадъ подвинули»: а затѣмъ «въ нравоученїи Гуго Гроцій, потомъ Пуфендорфъ, въ физикѣ или всей философіи Картезий, въ математикѣ, а паче астрономїи Коперникъ и Галилей, яко же и Араго, несмотря на папескія пресѣченія и не боясь проклятія его, истину доказали и такъ утвердили, что, наконецъ, и сами паписты со стыдомъ принуждены истину оныхъ признать». Но они отомстили имъ клеветой и проклятіями, огласили ихъ «*еестами*», какъ всегда говорили невѣжды объ «умныхъ и ученыхъ людяхъ», «которые наивящше о Богѣ учили»: судьба Эпикура и Сократа была такова же, какъ Коперника, Декарта и Пуфендорфа. Если авторъ «Камня вѣры» (Яворскій, см. Оч. II, 166) повторяетъ эти клеветы папистовъ противъ протестантовъ и обвиняетъ ихъ въ «безбожїи», то этимъ онъ только обнаруживаетъ подобную же недобросовѣстность.

Воображаемый собесѣдникъ Татищева отъ имени стараго русскаго міровоззрѣнія выставляетъ цѣлый рядъ возраженій противъ такого необычнаго преклоненія передъ свѣтомъ науки. «Въ старину меньше учились, но больше благополучія видѣли»; «въ гѣ древнія времена столько было святыхъ отцовъ и праведниковъ, сколько теперъ и въ тысячу лѣтъ не увидимъ». Подобныя утвержденія, отвѣчаетъ Татищевъ, только показываютъ незнаніе исторїи и лишній разъ подтверждаютъ тотъ психологическій фактъ,—то «отъ природы во всѣхъ насъ вкорененное,—что мы мимошедшее хвалимъ, наставшему дивимся». «Златого времени» древнихъ поэтовъ не надо искать назадъ, гдѣ встрѣтимъ только одно варварство и мракъ. Такъ какъ «въ темнотѣ малая искра богѣе видима, нежели въ свѣтлое время великій огонь», то не-

мудрено, что «мы въ слабѣмъ—малому совершенству удивляемся», какъ въ ребенкѣ, а въ сильномъ и зрѣломъ—гораздо болѣе крупныхъ достоинствъ не замѣчаемъ. Однако же «многіе духовные и богобоязненные люди» говорятъ,—продолжаетъ собесѣдникъ развивать древнерусскія «сумнѣнія»,—«что науки человѣку вредны и пагубны»; что изъ-за нихъ многіе отъ Бога отстали и въ ересь впади? Татищевъ соглашается: дѣйствительно, *есть философія, «отвращающая отъ Бога», какъ, напр., ученія древнихъ философовъ. что «тварь самобытна», что «душа человѣческая отъ души міра часть есть и по смерти туда же возвращается,—чѣмъ воскресеніе отрѣшается» и т. п.* Вѣрно также и то, что измыслить ересь можетъ только человѣкъ «ученый» и остроумный, «а по малой мѣрѣ—читатель книгъ (т.-е. начетчикъ)». Но вѣдь злоупотребить можно и священнымъ писаніемъ,—изъ чего вовсе не слѣдуетъ, какъ утверждаютъ «паписты», что Библию можно читать только духовнымъ. «Истинная» философія,—та, которая «нужна къ познанію Бога и къ пользѣ человѣка»,—не только «не грѣшна», но полезна и необходима. Сами святые отцы «другихъ языковъ и многіе—философіи научены были». Истощивши религіозныя возраженія противъ науки, собесѣдникъ Татищева, наконецъ, прибѣгаетъ къ «политическому», яко бы слышанному имъ отъ «людей искусныхъ въ гражданствѣ»: «въ государствѣ чѣмъ яродъ простѣе, тѣмъ покорнѣе и къ правленію способнѣе, а отъ бунтовъ и смятеній безопаснѣе; и для того науки распространять за полезное не почитаютъ». Татищевъ отвѣчаетъ, что въ Россіи, какъ и въ Турціи, бунтовала именно безграмотная «подлость», а не цивилизуемое теперь дворянство, что въ обученіи послѣдняго—правительство нуждается для собственныхъ цѣлей; что и изъ «подлости» теперь человѣкъ можетъ дослужиться хоть до полковничьяго чина, такъ что и здѣсь нужна наука; что «отъ неученія народа», въ собственномъ смыслѣ, происходитъ тотъ «вредъ», что народъ не знаетъ ни естественнаго, ни божественнаго закона; вмѣсто «внутреннихъ добродѣтелей» его учатъ духовные пастыри «человѣческимъ преданіямъ и вѣшнимъ благочестіямъ», что не мѣшаетъ ему впадать въ самыя грубыя преступленія, подвергающія его карѣ гражданского закона. «Противъ онаго маккиавелиста вкратцѣ скажу,—кончаетъ Татищевъ,—если бы ему всѣхъ служителей, лакеевъ, конюховъ, поваровъ и дровосѣковъ всѣхъ опредѣлить дураковъ, а въ дворецкіе, конюшіе, стряпчіе и въ деревни прикащиковъ безграмотныхъ, то онъ бы узналъ, какой порядокъ и польза въ его домѣ явятся; я же радъ и крестьянъ имѣть умныхъ и ученыхъ». Нельзя не замѣтить, что, при всей силѣ отвѣта, *суть* возраженія обойдена Татищевымъ, и центръ тяжести вопроса,—надо думать, сознательно,—перенесенъ на пользу науки для государственныхъ «служителей» и для выясненія «подлому народу» его общественныхъ обязанностей, диктуемыхъ ему естественнымъ закономъ.

Обязанности эти, вполне последовательно, выводятся Татищевым изъ принципа разумнаго эгоизма, какъ и любовь къ ближнему. «Воля челоуѣка положена узда неволи для его же пользы, чтобы чрезъ это онъ могъ прочія благополучія въ уравненіи возможномъ имѣть и въ лучшемъ благополучіи пребывать». Но, однако, эта «неволя» не должна идти дальше, чѣмъ требуетъ личное «благополучіе». «Воля, по естеству, челоуѣку толико нужна и полезна, что ни едино благополучіе ей сравниться не можетъ и ни что ей достойно есть, ибо кто воли лишаемъ, тотъ купно всѣхъ благополучій лишается». «Весьма нужна» лишь та «узда неволи», которая налагается «*по природѣ*», по недостатку собственнаго разума, напр., въ младенчествѣ власть «отеческая», изъ которой происходитъ, по Татищеву, и «власть монаршеская». Отъ этой власти «свободы иной нѣтъ, какъ природное разрѣшеніе». «Полезна» также и другая узда—«своевольной неволи», возлагаемой на себя самимъ челоуѣкомъ «*по договору*»: сюда относится и то «общественное согласіе, гдѣ для защищенія своего отъ нападенія сильнаго многіе совокупляются», составляя «общенародія или республики». Эта «неволя» разрушается нарушеніемъ договора. Наконецъ, «третіе лишеніе воли есть *насильное*, именуемое рабство»; оно «ничѣмъ кончиться не можетъ, какъ милостивымъ освобожденіемъ или собственнымъ невольника избавленіемъ». «Понеже челоуѣкъ по естеству имѣетъ свободу въ защищеніи и охраненіи себя, то онъ такое лишеніе своей воли терпѣть болѣе не долженъ, какъ до возможнаго къ освобожденію случая: зане естество намъ опредѣлило здравіе и вольность или свое собственное благополучіе защищать, а учиненныя обиды—отмщать, дабы не имущій страха отмщенія на большія обиды не дерзалъ». Въ другомъ мѣстѣ «Разговора» Татищевъ не останавливается передъ приложеніемъ этихъ общихъ разсужденій къ русскому крѣпостному праву. «Премѣненіемъ древнихъ обычаевъ иногда не малый вредъ наносился», говоритъ онъ; «напримѣръ, до царства Борисова въ Руссіи крестьянство было все вольное; но онъ слугъ, холопей и крестьянъ сдѣлалъ крѣпостными; за которое холопи Пронской, Боловня, собравъ свою братью и крестьянства немалое войско, великія пакости подѣлалъ». Съ точки зрѣнія естественнаго права—это было только «неразумно»: «ибо, если бы я былъ въ неволѣ у разбойниковъ или въ плѣнѣ у непріятели, и дерзнулъ несравненно малою моею силою имъ отмщать и себя освободить, тобъ я самъ своей гибели причиною былъ». Впрочемъ, при наличныхъ условіяхъ, Татищевъ обнаруживаетъ, повидимому, склонность отнести положеніе крѣпостныхъ къ «неволѣ по природѣ», т. е. къ первой категоріи. «Шляхтичъ всякій *по природѣ* судья надъ своими холопи и рабами и крестьяны». Такимъ образомъ, полагается начало теоріи, по которой власть помѣщика занимаетъ средину между отеческой и монархической. Рисуя въ своихъ «Экономическихъ запискахъ» идеаль помѣщика, Татищевъ уже не углубляется въ принципиальный разборъ вопроса.

Но онъ остается вѣренъ себѣ, повторяя идеи «Разговора» объ относительности понятія «богатства» и ставя цѣлью помѣщичьяго хозяйства—не удовлетвореніе «ненасытныхъ желаній» обогащенія, а возможность «по препорціи своего состоянія безъ долгу вѣкъ прожить». «Познать законъ» крестьяне должны, учась читать и писать, отъ 5 до 10 лѣтъ; но это не устраняетъ необходимости самой строгой опеки надъ ними со стороны помѣщика, чтобы они не привыкли къ праздности и не разорились: очевидно, ихъ «неволя» вызывается, по первой категоріи, «недостаткомъ собственнаго разума».

Въ своей «Духовной» сыну (1734), предназначавшейся, очевидно, для болѣе широкой публики, чѣмъ «Разговоръ», и дѣйствительно распространенной и въ рукописныхъ спискахъ, и въ печатномъ изданіи 1773 г., Татищевъ обнаруживаетъ еще больше уклончивости въ выраженіи своихъ мнѣній. Претерпѣвъ самъ «немало невиннаго поношенія и бѣдъ» за свое вольномысліе, онъ и сыну совѣтуетъ крайнюю осторожность и сдержанность въ разговорахъ, особенно съ «папистами» и «лицемѣрными ханжами», подъ которыми, очевидно, разумѣются враги направленія Теофана Прокоповича. «Не обличай безумнаго, да не возненавидитъ тя»: это правило Соломоновой премудрости онъ самъ практикуетъ въ «Духовной», и потому ея содержаніе выходитъ гораздо ординарнѣе, чѣмъ могло бы быть при иныхъ обстоятельствахъ. Но свой главный принципъ—свободнаго изслѣдованія и сознательно-критическаго отношенія къ жизни—Татищевъ рѣзко подчеркиваетъ и здѣсь; и этого одного достаточно, чтобы сдѣлать изъ его «Духовной» полную противоположность «Завѣщанію» Посошкова, несмотря на частыя совпаденія обоихъ памятниковъ въ правилахъ прописной морали и совѣтахъ житейской опытности. «Главнѣйшее есть вѣра»,—провозглашаетъ Татищевъ,—но «главное» въ этомъ главнѣйшемъ дѣлѣ жизни есть—«охраняться» отъ «лицемѣрныхъ поступковъ и фарисейскихъ ученій», для чего необходимо критическое отношеніе къ «избыткамъ, законами человѣческими въ тягость положеннымъ». Татищевъ предвидитъ, что при такой критикѣ его сынъ «и подлинно» найдетъ «нѣкоторыя погрѣшности и неисправы или излишки въ своей церкви»; онъ только требуетъ, чтобы тотъ «никогда явно отъ церкви не отставалъ и вѣры не перемѣнялъ». Политическое вольномысліе, конечно, было еще опаснѣе религіознаго,—и Татищевъ совѣтуетъ сыну «съ хвалящими вольности другихъ государствъ и ищущими власть монарха уменьшить никогда не соглашаться... какъ то нѣкоторые и предъ немногими лѣты безумно начинали». Мы сейчасъ увидимъ, однако, что къ числу этихъ «нѣкоторыхъ» принадлежалъ одинъ моментъ и самъ Татищевъ, оставаясь, впрочемъ, въ то же время убѣжденнымъ монархистомъ. Во всякомъ случаѣ, онъ настаиваетъ на сознательномъ отношеніи и къ общественной дѣятельности, требуя при этомъ—вопреки наставленіямъ разобранныхъ выше шляхетскихъ руководствъ,—чтобы сынъ его «при-

лежалъ о пользѣ общей, какъ о своей собственной». Не надѣясь провести этотъ принципъ въ придворной службѣ, «понеже тутъ лицемерство, коварство, лесть, зависть и ненависть едва ли не всѣмъ добродѣлямъ предходятъ», онъ рекомендуетъ сыну гражданскую службу, такъ какъ она—вопреки мнѣнію большинства—«въ государствѣ есть главная, ибо безъ добраго и порядочнаго внутренняго правленія ничто въ добромъ порядкѣ содержимо быть не можетъ, и во ономъ гораздо болѣе памяти, смысла и разсужденія, нежели въ воинствѣ, потребно». Именно поэтому необходима для такого рода службы—какъ, впрочемъ, и вообще для сознательнаго отношенія къ окружающему—серьезная научная подготовка. Когда Посошковъ говоритъ о «чтеніи книгъ», онъ разумѣетъ только священныя; необходимая наука для него одна—грамматика, признанная таковою еще въ XVII вѣкѣ, а идеалъ учености—курсъ славяно-греко-латинской академіи. Татищеву ясно, что этотъ максимумъ Посошкова есть лишь устарѣлая средневѣковая схоластика. «Шляхетскія науки», рекомендуемая Зерцаломъ, онъ не отвергаетъ; но для его сына «необходимый» курсъ наукъ долженъ состоять частью изъ наукъ, введенныхъ Петромъ: «арифметики, геометріи и части инженерства», частью же,—для правильнаго пониманія окружающей дѣйствительности—изъ русской исторіи, русской географіи и русскихъ законовъ, гражданскихъ и военныхъ. Это—минимумъ, такъ какъ «Разговоръ» требуетъ гораздо большаго.

Какъ видимъ, Татищевъ сдѣлалъ все, что могъ, для того, чтобы примирить результаты своей критики съ традиционными формами вѣры и жизни. Если не его теорія, то *какая-нибудь* подобная теорія была нужна для принципиальнаго оправданія новаго «свѣтскаго житія». «Подлымъ людямъ» не было нужды въ новомъ міровоззрѣніи; имъ легко было сохранить гармонию жизни и вѣры, хотя и мнимую, какъ мы видѣли у Посошкова, но тѣмъ не менѣе освященную традиціей. Новая жизнь необходимо требовала новой вѣры, такъ какъ со старой посошковской вѣрой ее *дѣйствительно* нельзя было примирить, а отказаться отъ нея, перемѣнить жизнь—было еще невозможно. Русское шляхетство спаслось изъ этого затрудненія совершенно своеобразно: оно просто не признавало ясно противорѣчія между старой вѣрой и новой жизнью, а потому и не спѣшило изъ него выходить. Жизнь была для него нѣчто вполне наглядное, конкретное; а чѣмъ была для него вѣра? Она и прежде такъ мало занимала фактическаго мѣста въ жизни этого общественнаго слоя, такъ сводилась къ простой формальности—притомъ, весьма неаккуратно выполняемой (Посошковъ убѣждалъ своего образцоваго архіерея принуждать не только крестьянъ, но и дворянъ хоть разъ въ годъ говѣть),—что изъ отношенія къ ней большинство вовсе и не думало дѣлать вопроса совѣсти. Придумывать для «спокойствія души и совѣсти» новую теорію, какъ дѣлалъ Татищевъ,—никому не могло придти въ голову просто потому, что въ этомъ не было никакой

внутренней потребности. Церковная обрядность никому не мѣшала и могла оставаться: а если она прикрывала иной разъ трупъ, лишенный жизни,—объ этомъ никто не тревожился. такъ какъ это происходило не отъ излишка, а отъ недостатка религіознаго чувства. При этихъ условіяхъ, дѣйствительно, страдалъ и подвергался упрекамъ въ «безбожіи» и «ереси» тотъ, кто «наивящше училъ о Богѣ», а кто объ этомъ вовсе не думалъ, могъ оставаться совершенно спокоенъ.

Такимъ образомъ, въ пѣломъ общественномъ слоѣ традиціонныя формы вѣры, неприспособленныя къ новымъ формамъ жизни, отмирали мало-по-малу, оставляя одну пустоту. нечувствительную для большинства и поэтому не заполненную своевременно никакими новыми формами. Татищевъ пытался сохранить вѣру, своевременно отбросивъ изъ нея то, что его поколѣніе считало «суевѣріемъ». Большинство не рѣшалось и не чувствовало особой потребности отдѣлять вѣру отъ «суевѣрія». Зато, сохранивъ формально то и другое, оно фактически то и другое заразъ рисковало утратить. При посредствѣ дядекъ оба элемента усваивались нераздѣльно въ деревнѣ. При посредствѣ товарищеско-офицеровъ оба выбрасывались изъ головы, въ вихрѣ свѣтскихъ увеселеній, въ столицѣ. Легкость, съ какой они выбрасывались, конечно, столько же объяснялась силой свѣтскихъ соблазновъ, сколько и слабостью деревенской морали. Чаще всего, деревенское времяпрепровожденіе уже являлось подготовкой къ столичному. По замѣчанію Татищева, «понеже все шляхетство... во отлученіи домовъ своихъ пребываютъ, а дѣти подъ призрачїемъ матерей и холоповъ воспитываются, (то) обхожденіе дѣтей въ домѣ съ бабами, дѣвками и рабскими дѣтьми есть весьма вредное»; а именно, молодежь въ деревнѣ, «научается голько нѣгѣ, спѣси, лѣности и свирѣцству»; напротивъ, «нужнѣйшее, именно знаніе исповѣданія вѣры, законовъ гражданскихъ и состоянія собственнаго отечества—назади въ забвеніи остается». Поэтому, «вмѣсто благоправнаго... часто развращенное воспитаніе въ дѣтяхъ знатныхъ людей примѣчено». И кн. Щербатовъ, совсѣмъ съ другой точки зрѣнія (см. о ней далѣе), приходитъ къ подобному же заключенію, оплакивая упадокъ традиціоннаго міровоззрѣнія, не замѣненнаго никакимъ другимъ. «Уменьшились суевѣрія, но уменьшилась и вѣра», замѣчаетъ онъ объ интересующемъ насъ настроеніи столичнаго шляхетства въ ближайшее къ Петру время; «исчезла рабская боязнь ада, но исчезла и любовь къ Богу и къ святому его закону: и нравы, за недостаткомъ другого просвѣщенія исправляемые вѣрою, потерявъ сію подпору, въ развратъ стали приходять».

Итакъ, почва была неблагоприятна для распространенія сознательнаго отношенія къ вопросамъ вѣры и нравственности въ шляхетской средѣ. Шляхетство не могло усвоить себѣ новаго міровоззрѣнія, которое бы на религіозныхъ началахъ устраивало его отношеніе къ новымъ основамъ жизни. Отъ бессознательной вѣры ему гораздо легче было перейти къ бессознательному невѣрію.

Повидимому, иначе и благопріятнѣе складывались условія для выработки сознательнаго отношенія къ *политическимъ* вопросамъ въ средѣ шляхетства. Та же жизнь, которая заглушала въ немъ религіозное чувство, являлась для него школой политической мысли. Обстоятельства сложились, наконецъ, такъ, что столичному шляхетству пришлось формально высказать свое мнѣніе по важнѣйшему вопросу государственнаго строя (1730, при воцареніи императрицы Анны). Какую же степень сознательности оно при этомъ обнаружило?

Въ этомъ любопытномъ эпизодѣ ярко и рельефно обрисовались всѣ общественныя и интеллектуальныя силы тогдашней Россіи. Старая родовая аристократическая оппозиція сдѣлала послѣднее усиліе вернуть себѣ ту политическую роль, которую, по ея мнѣнію, отнял у ней Петръ Великій. Поставивъ все на карту, она все сразу проиграла. Главнымъ соперникомъ, помѣшавшимъ успѣху родовой аристократіи и ничего не выигравшимъ для себя, явилась новая чиновная аристократія петровской табели о рангахъ. Настоящимъ господиномъ положенія, спутавшимъ всѣ расчеты знати и чина, была новая — и единственная дѣйствительная — социальная сила, благородное шляхетство. Вмѣсто того, чтобы дожидаться подачи отъ одного изъ спорящихъ и одинаково безсильныхъ соперниковъ, которые наперерывъ принялись ухаживать за шляхетствомъ, какъ только увидѣли свою слабость, — и все-таки предлагали ему за союзъ, по его мнѣнію, недостаточно много, — шляхетство предпочло обратиться за привилегіями непосредственно къ монаршей власти, и не ошиблось въ расчетѣ. Наконецъ, новая государственная теорія поочередно служила для оправданія притязаній всѣхъ трехъ общественныхъ группъ, чтобы въ концѣ концовъ раствориться и потонуть въ традиціонныхъ чувствахъ рядоваго шляхетства. Прослѣдимъ же судьбу этой теоріи, которая насъ здѣсь главнымъ образомъ интересуетъ.

Въ рядахъ начавшей дѣло родовой аристократіи единственнымъ представителемъ европейской государственной теоріи явился кн. Дм. Мих. Голицынъ. Въ то время, какъ Долгорукіе при малолѣтнемъ Петрѣ II играли роль Шуйскихъ при царѣ Иванѣ IV — вплоть до разграбленія царскихъ драгоценностей включительно, — Голицына скорѣе можно было бы уподобить кн. Курбскому, съ его теоріей «избранной рады» и «совѣта всенародныхъ челобѣкъ». Теперь эта теорія двухъ палатъ, верхней и нижней, явилась въ шведскомъ костюмѣ. «Избранная рада» — это былъ теперь «Верховный совѣтъ», дѣлившій, подобно шведскому «государственному совѣту», съ государемъ его прерогативу. «Совѣтъ всенародныхъ челобѣкъ» это были, — на подобіе шведскаго риксдага, т.-е. представительства государственныхъ сословій, — двѣ сословныя палаты депутатовъ: отъ шляхетства и горожанъ (въ Швеціи были еще двѣ — отъ крестьянства и духовенства).

Дѣлежъ прерогативы съ «совѣтомъ» былъ утвержденъ имп. Анной

въ формѣ посланныхъ ей «кондицій». Это было захватомъ верховной власти въ руки «знатнѣйшихъ фамилій»,—такъ какъ своимъ сословнымъ палатамъ Голицынъ не предоставлялъ участія въ верховныхъ правахъ, а только охрану интересовъ соответствующихъ сословій; притомъ же и вся эта часть проекта Голицына еще находилась въ процессѣ разработки и обсужденія тѣмъ же Верховнымъ совѣтомъ. Но главное: проектъ вовсе обошелъ чиновную аристократію, которая со времени смерти Петра составляла особую политическую группу «генералитета»: это были высшіе четыре ранга, по табели соответствовавшіе «думнымъ чинамъ» XVII столѣтія (генералы, тайные и дѣйствительные статскіе совѣтники). Ни въ совѣтѣ, ни въ сословныхъ палатахъ голицынскаго проекта для нея не было мѣста, какъ для отдельной общественной группы. Между тѣмъ, помимо совѣта, она только одна и имѣла право оффиціально высказаться по вопросу. Она и воспользовалась этимъ, чтобы немедленно протестовать противъ проекта Голицына, рассчитывая при этомъ опереться на собравшееся въ Москву къ свадьбѣ Петра II шляхетство. Последнее уже негодовало на «тираннію» совѣта, ничего еще не зная въ большинствѣ о сословныхъ палатахъ голицынскаго проекта. Но «генералитетъ» протестовалъ не во имя своихъ собственныхъ интересовъ, а во имя принципа, во имя теоріи «естественнаго права». Выразителемъ—и чуть не инициаторомъ—этого протеста явился Татищевъ, сдѣлавшись, такимъ образомъ, невольнымъ орудіемъ чиновной группы. Что гласило «естественное право» по поводу даннаго случая? Случай былъ предвидѣнъ и приложеніе къ нему теоріи—сдѣлано уже Теофаномъ Прокоповичемъ въ упомянутой выше защитѣ «Правды воли монаршей». По «законамъ естественнымъ», подъ которыми и Теофанъ разумѣетъ тѣ, которые «сами собою крѣпки» и основаны на томъ, что «не можетъ здравый разумъ человѣческій иначе рассуждати»,—по этимъ законамъ «единственная цѣль установленія какой бы то ни было формы правленія есть всенародная польза». «Всякій образъ правленія, и сама наследственная монархія происходитъ отъ первоначальнаго соглашенія въ томъ или другомъ народѣ» (ср. стр. 215). Заключивъ между собой договоръ и, такимъ образомъ, «совлекшись общей своей воли», народъ, однако, уже обязанъ безусловно повиноваться избранной имъ государственной власти и «не оставляетъ самому себѣ никакой свободы къ общимъ опредѣленіямъ». Но отъ народа зависитъ опредѣлить, на какой срокъ онъ отказывается отъ своей «общей воли» и передаетъ ее власти. Если народъ предпочтетъ монархію избирательную, то воля возвращается народу по смерти избраннаго монарха. Если же народъ установитъ монархію наследственную, то тѣмъ самымъ онъ разъ навсегда «совлекается своей воли». Однако и тутъ, если «оскудѣетъ вся ближайшая фамилія» государя и не останется ни наследниковъ, ни завѣщанія, «тогда воля, бывшимъ монархамъ отданная, возвращается къ народу».

Вотъ этотъ-то послѣдній случай и представился по смерти Петра II: дочери Петра I и Екатерины I устранялись, какъ незаконныя, другихъ «ближайшихъ» наслѣдниковъ и завѣщанія не было; слѣдовательно, народная воля возвращалась къ «общенародію», и «народъ» могъ на основаніи естественнаго права, свободно выбирать себѣ ту или другую форму правленія. Но «народъ», а не Верховный совѣтъ. Рѣшеніе, каково бы оно ни было, по утвержденію Татищева, «должно быть согласіемъ всѣхъ подданныхъ, — нѣкоторыхъ персонально, другихъ черезъ повѣренныхъ». Въмѣсто того, «четыре или пять человекъ» навязали «общенародію» новаго государя и новую форму правленія. По извѣстной намъ классификаціи Татищева, это будетъ «насильственная неволя», противъ которой необходимо протестовать «и оное право защищать по крайней возможности, не давая тому закоснѣть», чтобы обидчики «на большій безпорядокъ не дерзнули» (ср. стр. 215). Въ виду этого, Татищевъ предложилъ «требовать» отъ совѣта немедленнаго созыва представителей отъ шляхетства для перерѣшенія незаконно рѣшенныхъ вопросовъ. Онъ не сомнѣвался, что личность выбранной государыни эти депутаты «общенародія» утвердятъ, новую форму правленія забракують, такъ какъ для блага Россіи необходимо самодержавіе, — но въ то же время выработаютъ «на время, доколѣ намъ Всевышній мужскую персону на престолъ даруетъ», особую организацію законодательной власти. Новый органъ законодательства, временно учреждаемый «въ помощь ея величеству», долженъ состоять изъ двухъ палатъ, «вышняго (21)» и «нижняго (100 чл.) правительства», которыя сами себя попомнятъ и въ сущности являются органами чиновной аристократіи, съ упраздненіемъ Верховнаго совѣта.

Итакъ, голосъ шляхетскаго «общенародія» предполагалось эксплуатировать въ интересахъ «генералитета», лишивъ шляхетство даже и той доли постояннаго участія въ правительствѣ, которая давалась ему сословными палатами Голицына. Этимъ воспользовался Верховный совѣтъ и предложилъ шляхетству высказать свои желанія прямо, безъ посредства «генералитета». Естественно, что оно пожелало осуществить права «общенародія» полнѣе и непосредственнѣе — и потребовало *постояннаго* участія выборныхъ отъ шляхетства (100) при обсужденіи новыхъ законовъ и назначеніи на высшія должности. Насколько заинтересовалось собравшееся въ Москвѣ «общенародіе» неожиданнымъ примѣненіемъ теоріи «естественнаго права» къ русской государственной практикѣ, видно будетъ изъ слѣдующихъ цифръ. Изъ 2000 присутствовавшихъ въ Москвѣ офицеровъ около половины участвовали своими подписями въ заявленіяхъ шляхетства. Татищевскій проектъ, передававшій власть руками шляхетства генералитету, второпяхъ былъ подписанъ 288 лицами *). Но, получивъ предложеніе подать прямо

*) Изъ генералитета (170) присутствовало въ Москвѣ 87 чел.

отъ шляхетства официальное заявленіе, шляхетство собрало въ 2½ раза болѣе голосовъ (743) подъ заявленіемъ, которымъ требовало себѣ самому права постоянного представительства.

На это Верховный совѣтъ точно такъ же не хотѣлъ согласиться, какъ и на собственное упраздненіе въ проектѣ генералитета. Шляхетству оставалось обратиться съ просьбой о выработкѣ новаго государственнаго устройства «по большинству голосовъ»—къ самой императрицѣ. Извѣстно, что это заявленіе передоваго кружка, вновь растаявшаго до 87 человекъ (въ ихъ числѣ Татищевъ), хотя и было подписано императрицей, но тотчасъ же ступедалось передъ раздраженными криками гвардейскихъ офицеровъ. Молчавшая до сихъ поръ половина шляхетства оказалась противъ всякаго примѣненія къ Россіи теорій «естественнаго права».

И она, однако же, не прочь была воспользоваться тѣми сословными льготами, которыя требовались всѣми проектами и общественными группами безъ различія: и Голицынымъ, и генералитетомъ, и конституціонной частью шляхетства. И всѣ эти требованія въ продолженіе тѣхъ же тридцатыхъ годовъ были удовлетворены правительствомъ: и отмѣна совѣта, и переустройство сената въ нѣкотораго рода «вышнее правительство» изъ 21 члена, куда введены были главные представители движенія—изъ болѣе чиновныхъ, и возстановленіе дворянскихъ баллотировокъ въ должности, и возстановленіе стараго порядка наследованія, съ отмѣной закона о майоратѣ, и учрежденіе шляхетнаго корпуса, и наконецъ важныя льготы по военной службѣ, съ сокращеніемъ срока службы до 25 лѣтъ. Такимъ образомъ, на первый разъ, примѣненіе политической теоріи къ русской дѣйствительности только дало лишній толчокъ стихійному процессу развитія сословныхъ привилегій, не имѣвшему, конечно, съ теоріей ничего общаго, кромѣ случайнаго хронологическаго совпаденія.

Для общей исторіи времени пособія: Исторія Соловьева, т. XVIII—XX (IV компактнаго изданія): *Waliszewski*. L'héritage de Pierre le Grand, règne des femmes, gouvernement des favoris (1725—1741), Paris, 1900. На этой книгѣ невыгодно отразилось недостаточное изученіе эпохи въ русской литературѣ. *Brückner*, Die Europäisierung Russlands, Gotha, 1858. О развитіи роскоши при дворѣ см. кн. *Щербатова*, О поврежденіи нравовъ въ Россіи, въ его сочиненіяхъ, т. II, Спб. 1898 (также въ «Русской Старинѣ» 1870) О провинціальномъ дворянствѣ см. Записки Болотова ч. I. изд. «Русск. Старины» (3 изд. 1875). Матеріаль этихъ Записокъ обработанъ въ книгѣ *Е. Н. Щепкиной*: Старинные помѣщики на службѣ и дома. «Завѣщаніе отеческое» Посошкова впервые издано въ полномъ видѣ подъ ред. Е. Прилежаева. Спб. 1893. Помимо «Завѣщанія» для характеристики употреблено специальное сочиненіе Посошкова противъ раскола и протестантства: его «Зеркало», изд. въ сочиненіяхъ Посошкова, ч. II, М. 1863, кромѣ 23 главы, трактующей о протестантствѣ и до сихъ поръ неизданной: ея изложеніе см. въ книгѣ *А. Царевскаго*: Посошковъ и его сочиненія М. 1883. Юности честное зеркало. Спб. 1767 (5 изд.). Совершенное воспитаніе дѣтей *Беллегарра*, пер. С. Волчкова. 1747. Выписки изъ того и другого а также и изъ

двухъ рукописныхъ руководствъ, цитированныхъ въ текстѣ. см. въ Исторіи русской педагогики *М. И. Демкова*. ч. II, Спб. 1897. «Разговоръ о пользѣ наукъ и училищъ» Татищева изданъ *Н. А. Поповымъ* въ Читеніяхъ Общества исторіи и древностей россійскихъ. 1887. I. Изложеніе его у *Бестужева-Рюмина*: Биографіи и характеристики, Спб. 1882, слабо характеризуетъ этотъ замѣчательный памятникъ. Объ источникахъ теоріи Татищева, см. мои Главныя теченія русской исторической мысли, 2-е изд. М. 1898. «Краткія экономическія до деревни слѣдующія записки» Татищева изданы въ *Временникѣ* Общ. ист. и древ., книга XII, М. 1852. «Духовная» издана *А. Островскимъ* въ *Извѣстіяхъ* археологии, исторіи и этнографіи при Имп. Казанскомъ унив. т. IV, Каз. 1884 (1885). Правда воли монаршей *Феофана* см. въ собраніи записокъ и т. д. *Туманскаго*, ч. X. Спб., 1788. О попыткѣ верховниковъ см. Воцареніе имп. Анны Іоанновны *Д. А. Корсакова*, Казань, 1880 и моя статья: Попытка государственной реформы при воцареніи имп. Анны Іоанновны въ сборникѣ «Въ пользу воскресныхъ школъ», М. 1894.

III.

Отношеніе елизаветинскаго поколѣнія къ реформѣ и просвѣщенію.—Среда и формы, въ которыхъ совершалось просвѣтительное движеніе той эпохи.—Книгоиздательство петровскаго времени и причина его неудачи.—Новое направленіе издательства съ 1748 года.—Переводный романъ, его культурная роль.—Малая распространенность книги.—Культурная дѣятельность учащейся молодежи.—Петровскій театр и причина его неудачи.—Роль шляхетскаго корпуса при началѣ новаго театра.—Театръ, какъ арена борьбы новаго направленія съ ложноклассическимъ.—Побѣда мѣщанской драмы, бытовой комедіи и политической пьесы въ московскомъ театрѣ.—Первый русскій журналъ при академіи: журналы молодежи шляхетскаго корпуса и московскаго университета.—Миллеровскій журналъ устанавливаетъ типъ и источники.—Шляхетская молодежь доставляетъ перевѣсъ нравоучительно-психологическому элементу и намѣчаетъ задачи и темы сатиры, Сумароковъ вноситъ элементъ любовной лирики: московскіе студенты подчеркиваютъ принципиальную основу нравоучительныхъ статей (естественное право) и сводятъ ее къ идеямъ масонства.—Ограниченный кругъ вліянія первой русской періодической прессы.

Изъ трехъ типовъ общественной мысли, съ которыми мы познакомились въ предыдущемъ отдѣлѣ, одинъ принадлежалъ прошедшему, другой настоящему и третій будущему. Естественно, что главное наше вниманіе будетъ обращено теперь на развитіе третьяго типа. Это—то критическое воззрѣніе, первую пробу котораго мы видѣли въ теоріяхъ Татищева и которое одинаково шло въ разрѣзъ и съ архаическимъ міровоззрѣніемъ «подлаго состоянія», и съ практикой «свѣтскаго житія», усвоенной благороднымъ шляхетствомъ. Опору въ своей борьбѣ противъ новыхъ модъ и старыхъ суевѣрій—это направленіе нашло въ образовательныхъ средствахъ, созданныхъ реформой. Но отношеніе къ образованію было у поколѣнія, выросшаго въ преобразованной Россіи, уже совсѣмъ другое, нежели у поколѣнія преобразователей. Тѣ ловили кое-какъ, на ходу, обрывки западной культуры и поневолѣ пріобрѣли сноровку сразу вылавливать практически-нужное и непосредственно-приложимое. Молодое поколѣніе очень скоро эманципировалось отъ такого утилитарно-техническаго характера заимствованій. вмѣстѣ съ тѣмъ оно на время утратило и то сознаніе связи между заимствованиями и ближайшими жизненными задачами, которое поневолѣ оказывалось налицо у піонеровъ новой культуры. Какъ жильцы новаго

дома пользуются его удобствами, не зная, какъ онъ построенъ, и не чувствуя еще нужды приступать къ ремонту, къ надстройкамъ и перестройкамъ, такъ точно чувствовало себя поколѣніе, родившееся во второмъ десятилѣтіи XVIII вѣка. Главные вопросы казались навсегда рѣшенными; оставались детали и орнаменты. Принципіальная оппозиція противъ Петра уже настолько отошла въ прошлое, что сыновья націоналистовъ-оппозиціонеровъ могли выступить подъ знаменемъ петровской реформы противъ иностранныхъ дѣльцовъ, остававшихся полтора десятка лѣтъ ея главными исполнителями. Это оригинальное возвращеніе къ Петру подъ знаменемъ націонализма само по себѣ показывало, какъ далеко елизаветинское поколѣніе отошло отъ пониманія жизненныхъ противорѣчій, вызванныхъ реформой, и какъ скоро оно забыло о прошломъ. Реформа стояла передъ этимъ поколѣніемъ, какъ непререкаемый, окончательный фактъ. За нее нечего было и не съ кѣмъ было бороться; ее предстояло эксплуатировать, т.-е. прежде всего прогнать «эксплуататоровъ»-иностранцевъ и занять ихъ мѣста, а затѣмъ извлечь изъ новаго положенія какъ можно больше жизненныхъ наслажденій. Одинъ изъ прогнанныхъ, Минихъ, принаровляясь къ настроенію минуты, пробовалъ вымолить себѣ пощаду Елизаветы вотъ какого рода проектомъ «шествованія по стопамъ» преобразователя. Петръ, по его словамъ, рассчитывалъ все пространство между Ораниенбаумомъ и Ладогой, на протяженіи 220 верстъ, застроить увеселительными домами, парками, фонтанами и каскадами, бассейнами и резервуарами, садами и звѣринцами; каждый годъ онъ предполагалъ съ министрами, генералами и дипломатическимъ корпусомъ совершать увеселительную прогулку по Невѣ и каналу, среди всѣхъ этихъ чудесъ искусства. Минихъ предлагалъ все это осуществить къ удовольствію Елизаветы. Приманка была, конечно, черезчуръ уже груба, но за то очень характерна для всего поколѣнія сверстниковъ императрицы. Дѣйствительно, гораздо доступнѣе, понятнѣе, вразумительнѣе, чѣмъ «польза» новой культуры, было для этого поколѣнія то «увеселеніе», которое можно было почерпнуть изъ этого источника.

Мы видѣли, въ чемъ находили удовольствіе въ срединѣ вѣка любители «свѣтскаго житія». Теперь мы должны прибавить, что и лучшіе люди того же поколѣнія,—враждебные свѣтскимъ излишествами и разсѣяніямъ,—все-таки искали удовлетворенія въ удовольствіяхъ же, только болѣе тонкихъ и культурныхъ. Новую ноту вносятъ здѣсь лишь поколѣніе, родившееся въ самомъ началѣ царствованія Елизаветы и выступившее въ литературѣ въ самомъ его концѣ. Но и оно стоитъ на только что подготовленной почвѣ. Культъ утонченныхъ удовольствій сердца послужилъ и для него основаніемъ, на которомъ оно создало свое болѣе отвлеченное, болѣе далекое отъ жизни, но за то и болѣе идеальное представленіе о пѣляхъ и о сущности новаго просвѣщенія.

Съ такимъ условнымъ, безпредметнымъ идеализмомъ, культурное движеніе елизаветинской эпохи составляетъ естественный переходъ отъ безыдейнаго реализма петровскаго времени къ первымъ попыткамъ сблизить реальность съ идеей и ввести въ литературу обсужденіе жизненныхъ вопросовъ — въ вѣкъ Екатерины II. Какъ нельзя лучше этому переходному характеру Елизаветинской литературы соответствуетъ и характеръ среды, въ которой она развивалась. Это были не практическіе дѣльцы петровскаго времени и не «философы»-просвѣтители екатерининскаго. Движеніе все еще совершалось въ непосредственной близости къ двору и правительству, но уже вышло изъ тѣснаго круга правительственныхъ лицъ. Главный матеріалъ для этого культурнаго движенія дала подроставшая молодежь новооткрытыхъ высшихъ учебныхъ заведеній: сперва академическаго университета, потомъ—и въ гораздо большей степени—сухопутнаго шляхетскаго корпуса и, наконецъ, въ самомъ концѣ эпохи—московскаго университета. Въ тѣхъ предѣлахъ—чисто ученическихъ «добрыхъ намѣреній» и «невинныхъ упражненій», изъ которыхъ пока еще не выходило движеніе тогдашней учащейся молодежи,—оно нисколько не противорѣчило настроенію двора, нашло даже точки соприкосновенія съ нимъ въ своемъ стремленіи — соединить пріятное съ полезнымъ и, въ такихъ случаяхъ, встрѣчало со стороны двора и императрицы прямую поддержку.

Простодушная, привыкшая окружать себя мужской молодежью, жадная до развлеченій и наслажденій императрица, сама дебютировавшая нѣсколькими стихотвореніями въ модномъ тогда сентиментально-любовномъ жанрѣ (II, 192; III, 196), была довольно подходящей центральной фигурой для характеризуемаго культурнаго момента. Конечно, и при ней искусство и литература продолжали—и даже въ усиленной степени—служить аксессуаромъ и орнаментомъ придворной обстановки. Но это выходило какъ-то искреннѣе, естественнѣе, безъ той чопорности и церемоннаго формализма, въ которые такъ неумѣло рядился неуклюжій дворъ имп. Анны, безъ того крикливаго противорѣчія съ окружающими нравами, которое чувствовалось на каждомъ шагу въ маскарадахъ, триумфальныхъ шествіяхъ и школьныхъ спектакляхъ петровскаго времени. «Педантство», въ лицѣ Тредьяковскаго, уступило мѣсто «хорошему вкусу», въ лицѣ новаго придворнаго поэта Сумарокова, «посвятившаго всю жизнь на увеселеніе двора». Мы увидимъ, однако, что къ концу царствованія литературное движеніе рѣшительно вырастаетъ изъ этихъ «придворныхъ рамокъ», продолжая все время оставаться въ рукахъ учащейся молодежи.

Помимо школы, главнымъ образовательнымъ средствомъ служила книга; къ этому присоединился еще теперь любительскій спектакль и, въ концѣ періода, книжка періодическаго журнала. На всемъ этомъ,—на книгѣ, театрѣ и періодической прессѣ отразился самымъ рѣшительнымъ образомъ переходъ просвѣтительной роли изъ рукъ власти

въ руки молодого поколѣнія и соотвѣтственная перемѣна во взглядахъ на самыя задачи просвѣщенія.

Благодаря Петру Великому, русскій читатель впервые получилъ свѣтскую книгу, напечатанную (съ 1708) «новоизобрѣтенными амстердамскими литеррами», т.-е. гражданскимъ шрифтомъ. Но на первый разъ ни содержаніе, ни языкъ этой книги не могли привлечь къ ней симпатій читателя. Въ учрежденныхъ Петромъ казенныхъ типографіяхъ печатались произведенія, составленныя, или чаще всего переведенныя по личному выбору и распоряженію императора. Выборъ этотъ соотвѣтствовалъ цѣлямъ Петра, но нисколько не соотвѣтствовалъ вкусамъ тогдашняго читателя. Читатель стараго покроя интересовался, кромѣ священнаго писанія и житій святыхъ, духовно-нравственными произведеніями вродѣ «Великаго Зерцала» (II, 189). Читатель новаго типа увлекался произведеніями повѣствовательной литературы, составившейся къ концу XVII в. изъ переводовъ съ польскаго,—повѣстями «умильными», или «потѣшными», или «чудными» (II, 190). А Петръ спѣшилъ обогатить русскую литературу переводными учебниками по артиллеріи и фортификаціи, по инженерству и военной архитектурѣ, по «художествамъ—математическому, механическому, хирургическому, архитектурѣ—цивилей, анатомическому, ботаническому, милитарисъ и прочимъ тому подобнымъ». Царь строго наблюдалъ при этомъ, чтобы переводилось только дѣло, а не разговоры, «чтобы не праздной ради красоты, а для вразумленія и наставленія чтущему было», «понеже нѣмцы обыкли многими разказами негодными книги свои наполнять только для того, чтобы велики казались,—чего, кромѣ самаго дѣла и краткаго передъ всякою вещью разговора, переводить не надлежитъ». Въ довершеніе всего, выборъ дѣлался наудачу, по заглавіямъ, и иногда оказывались переведенными руководства, трудныя даже и для специалистовъ (напр., Кугорна). А такъ какъ переводчики почти всегда, «которые умѣли языки,—художествъ не умѣли, а которые умѣли художества, языку не умѣли»,—то естественно, что зачастую изъ печати выходила макулатура, ни для кого не понятная и ни къ чему не пригодная. При этихъ условіяхъ русскій читатель просто и просто игнорировалъ произведенія новой гражданской печати и продолжалъ пробавляться, по старому, рукописной литературой. Уже въ 1703 г. голландскій купецъ, торговавшій русскими книгами, напечатанными по порученію Петра въ Голландіи, жаловался царю на то, что его книги не продаются и что онъ терпитъ убытокъ, «понеже купцовъ и охотниковъ въ земляхъ вашего величества зѣло мало». Однако, въ то же время синодальная типографія торговала бойко своими церковнослужебными книгами и букварями, печатавшимися и расходившимися въ тысячахъ и десяткахъ тысячъ экземпляровъ. Изъ произведеній новой печати тысячами распродавались только указы (съ 1714), сотнями—мѣсяцесловы и десятками—нѣкоторыя любимыя

произведенія средняго читателя. къ которымъ онъ уже привыкъ въ рукописныхъ спискахъ. Положеніе оставалось такимъ до второй половины вѣка, по наблюденію такого знатока русской читающей публики, какимъ былъ Новиковъ. «У насъ, говорилъ онъ, только тѣ книги третьими, четвертыми и пятыми изданіями издаются, которыя симъ простосердечнымъ людямъ (мѣщанамъ нашимъ) нравятся. Въ подтвержденіе сего мнѣнія служатъ тѣ книги, кои отъ просвѣщенныхъ людей (екатерининскаго времени) никакого уваженія не заслуживаютъ и читаются одними только мѣщанами. Сіи книги суть: «Троянская исторія», «Синописисъ», «Юности честное зеркало», «Совершенное воспитаніе дѣтей», «Азовская исторія» и нѣкоторыя другія. Напротивъ того, книги, на вкусъ такихъ мѣщанъ не попавшія, весьма спокойно лежатъ въ хранилищахъ, почти вѣчною для нихъ темницею назначенныхъ».

Такова именно и была судьба петровскихъ переводовъ. Въ 1743 г. академія наукъ представила сенату оригинальный проектъ обязательной распродажи залежавшихся изданій петровскаго времени. Каждый чиновникъ, какъ по военной такъ и по гражданской части, во всѣхъ учрежденіяхъ и присутственныхъ мѣстахъ всей Россіи, долженъ былъ по этому проекту купить въ академіи книгъ на 5—6 р. съ каждой сотни получаемаго имъ жалованья. Купцовъ тоже предполагалось привлечь къ уплатѣ этого курьезнаго налога «по пропорціи ихъ торгу». Еще рѣшительнѣе поступила съ петровскими изданіями синодальная типографія. Она прямо пустила ихъ на обложки для вновь выходящихъ книгъ (1752, 1769 и 1779)

Въ концѣ концовъ, книгоиздательство должно было уступить «мѣщанскому» вкусу, тѣмъ болѣе, что до Екатерины этотъ вкусъ вовсе нельзя было бы назвать исключительно вкусомъ «мѣщанъ». Его разделяла и «благородная» публика, безспорно предпочитавшая «умильный» и «потѣшный» элементъ въ литературѣ сухимъ и неудобоваримымъ петровскимъ учебникамъ. Какъ только реформирована была академія введеніемъ новаго устава. — новый президентъ ея гр. Разумовскій передалъ ей (27 янв. 1748) изустный указъ Елизаветы — «стараться при Академіи переводить и печатать на русскомъ языкѣ книги гражданскія различнаго содержанія, въ которыхъ бы польза и забава соединены были съ пристойнымъ къ свѣтскому житію нравоученіемъ». Во исполненіе указа академія приглашала черезъ «С.-Петербургскія Вѣдомости» желающихъ переводить книги съ иностранныхъ языковъ и обѣщала переводчикамъ, въ видѣ гонорара—по 100 экземпляровъ переведенной книги. Это былъ одинъ изъ первыхъ случаевъ непосредственнаго привлеченія молодежи высшихъ учебныхъ заведеній къ участію въ просвѣтительной дѣятельности. Очерченный въ указѣ характеръ желательныхъ переводовъ такъ же хорошо совпадалъ съ интересами этой молодежи, какъ и со вкусами читающей публики. Объявившіеся по публикаціи переводчики оказались большею частью

учениками академической гимназии и университета или же служащими при академии. Въ результатѣ новаго направленія издательства и книжное дѣло значительно оживилось. Издательская дѣятельность такъ возросла въ 50-хъ годахъ, что старая академическая типографія оказалась не въ состояніи выполнять всѣхъ заказовъ. Заведена была «новая» типографія, съ прямой цѣлью «умножить въ оной печатаніе книгъ, какъ для удовольствія народнаго, такъ и для прибыли казенной». Дѣйствительно, новая типографія печатала въ огромномъ количествѣ экземпляровъ книги, удовлетворявшія «мѣщанскому» вкусу вродѣ перечисленныхъ Новиковымъ: «Троянской исторіи», «Повѣсти о разореніи Іерусалима», «Синописа» и т. п. При такомъ направленіи дѣла обѣ поставленныя цѣли, т.-е. и «удовольствіе народное», и «казенная прибыль», были вполне достигнуты.

Но, сдѣлавшись выгоднымъ промышленнымъ предпріятіемъ, книжное издательство и торговля немного принесли бы пользы просвѣщенію. если бы ограничились перепечаткой старыхъ продуктовъ популярной литературы, распространявшихся и безъ того въ рукописныхъ спискахъ. Приглашенная къ сотрудничеству интеллигентная молодежь принялась искать свѣжаго матеріала для переводовъ въ популярныхъ произведеніяхъ заграничной литературы. Скоро она нашла литературный жанръ, одинаково привлекательный и для интеллигентнаго читателя, и для сврой публики. Этимъ жанромъ, дѣйствительно соединявшимъ, какъ требовалъ указъ 1748 г., «пользу и забаву съ пристойнымъ къ свѣтскому житію нравоученіемъ», — былъ переводный романъ. Роману скоро суждено было сдѣлаться самымъ популярнымъ, если не самымъ моднымъ видомъ литературы XVIII в. Въ смыслѣ развитія первыхъ отвлеченныхъ чувствъ на которыхъ сходились полуобразованный верхъ и вовсе необразованный низъ русскаго общества, — переводный романъ сыгралъ еще болѣе важную культурную роль, чѣмъ оригинальная любовная лирика (II, 193). Что давалъ переводный романъ русскому читателю, объ этомъ пусть скажетъ намъ, впрочемъ, самъ этотъ читатель. «Обыкновенно обвиняютъ романы», — говоритъ Болотовъ, зачитывавшійся романами въ срединѣ XVIII в., — въ томъ, что чтеніе ихъ не столько пользы, сколько вреда производитъ и что они нерѣдко ядомъ и отравой молодымъ людямъ почестся могутъ. Однако, я торжественно о себѣ скажу, что мнѣ не сдѣлали они ничего дурнаго. Сколько я ихъ ни читалъ, не развратились ими мысли мои и не испортилось сердце., но чтеніе оныхъ, напротивъ того, произвело для меня безчисленныя выгоды и пользы... Читая описываемыя происшествія во всѣхъ государствахъ и во всѣхъ краяхъ свѣта, я нечувствительно узналъ и получилъ довольно понятіе о разныхъ нравахъ и обыкновеніяхъ народовъ и обо всемъ томъ, что во всѣхъ государствахъ есть хорошаго и худого и какъ люди въ томъ и другомъ государствѣ живутъ и что у нихъ тамъ водится... Не меньшее понятіе получилъ я и о родѣ жизни разнаго со-

стоянія людей, начиная отъ владыкъ земныхъ до юдей самаго низкаго состоянія. Самая житейская свѣтская жизнь во всѣхъ ея разныхъ видахъ и состояніяхъ и вообще весь свѣтъ сдѣлался мнѣ гораздо знакомѣе передъ прежнимъ... Что касается до моего сердца, то отъ многого чтенія преисполнилось оно столь нѣжными и особыми чувствованіями, что я примѣтно ощущалъ въ себѣ великую перемену и самого себя точно какъ переродившимся. Я начиналъ смотрѣть на всѣ происшествія въ свѣтѣ какими-то иными и благонравнѣйшими глазами; а все сіе и вперяло въ меня нѣкое отвращеніе отъ грубаго и гнуснаго общества и сообщества съ порочными людьми... Что же касается до увеселенія, производимаго во мнѣ симъ чтеніемъ романовъ, то я не знаю уже, съ чѣмъ бы оное сравнить и какъ бы изобразить оное. А довольно, когда скажу, что оное было непрерывно и такъ велико, что я и понынѣ (т.-е. около 40 лѣтъ спустя) еще не могу позабыть тогдашняго времени и того сколь оно было для меня пріятно и увеселительно». Подобныя признанія мы слышимъ отъ многихъ лицъ, юные годы которыхъ прошли во второй половинѣ XVIII в. *).

Нельзя не заключить изъ нихъ, что переводный романъ дѣйствительно былъ серьезной культурной силой, облагороживавшей чувства и возбуждавшей умственные интересы. Чтеніе романовъ, на ряду съ затверживаніемъ любовныхъ пѣсенъ, было первой школой русскаго идеализма.

Однако же, въ теченіе всей первой половины вѣка кругъ вліянія романа былъ весьма ограниченъ уже просто потому, что печатная свѣтская книга оставалась большой рѣдкостью; книжныхъ лавокъ, кромѣ петербургской академической и московской синодальной, не существовало: въ провинціи добыть новую книгу было совершенно невозможно. Только-что упоминавшійся Болотовъ былъ страстнымъ охотникомъ до чтенія и, какъ сынъ полковника, принадлежалъ, повидимому къ средѣ, въ которой сравнительно легко было доставать книги. Тѣмъ не менѣе и въ его дѣтствѣ и юности каждая новая книга была важнымъ и рѣдкимъ событіемъ, которое онъ помнилъ до старости и черезъ нѣсколько десятилѣтій аккуратно занесъ въ свои записки. Одиннадцати лѣтъ, во французскомъ пансіонѣ, онъ наткнулся на «Похожденія Телемака», пробудившія у него вкусъ къ чтенію и послужившія для него «фундаментомъ всей будущей учености». На слѣдующій годъ онъ обревизовалъ книги своего отца и нашелъ среди нихъ двѣ по своему вкусу. Это были—жалкій учебникъ исторіи Гильмара Кураса и исторія походовъ принца Евгенія: первую Болотовъ перечиталъ трижды, вторую дважды. Заброшенный затѣмъ въ свою глухую деревню, онъ принужденъ былъ довольствоваться повтореніемъ своихъ учебниковъ нѣмецкой и французской грамматики и географіи. Только черезъ два года, вернувшись

*) Въ это время, какъ увидимъ, особенно усилилось чтеніе и издательство романовъ.

снова въ Петербургъ, напрактиковавшись нѣсколько во французскомъ разговорѣ у мосье Лаписса и перенявъ кое-что случайно изъ геометріи у товарища по занятіямъ, Болотовъ обогатилъ свой репертуаръ свѣтскихъ знаній нѣсколькими модными любовными пѣсенками и чтеніемъ печатной Сумароковской трагедіи «Артистоны» и рукописнаго любовнаго романа: «Эпаминондъ и Целеріана», перечитаннаго имъ дважды. Прошелъ еще годъ; умирая отъ скуки въ своей деревнѣ, Болотовъ раздобылся у сосѣдей «Камнемъ Вѣры» и Четырими-минеями, а у дяди рукописными курсами геометріи и фортификаціи, записанными когда-то подъ руководствомъ извѣстнаго Ганнибала. Богословскіе аргументы Яворскаго были скоро изучены, къ великому изумленію сельскихъ поповъ; чертежи Ганнибала перечерчены: по чертежамъ кое-какъ усвоенъ и математическій текстъ. Истоощивъ всѣ эти ресурсы, Болотовъ принялся списывать Телемака съ печатнаго экземпляра и списалъ его всего; списалъ и любимыя житія святыхъ. Затѣмъ оставалось только вернуться къ двумъ иностраннымъ грамматикамъ и къ географіи, но этого даже терпѣніе Болотова не выдержало: повертѣвъ нѣсколько разъ въ рукахъ, онъ ихъ бросилъ. Дошла и до деревенскаго захоlustья вѣсть о новомъ необыкновенно интересномъ романѣ, «Аргенидѣ» (Баркляя, перев. Тредьяковскаго, въ отвѣтъ на извѣстный намъ вызовъ академіи), гдѣ «все можно найти—и политику и нравоученіе и пріятность и все и все». Но этой заманчивой новинки въ деревнѣ получить было нельзя. На счастье Болотова, ему минуло шестнадцать лѣтъ: надо было собираться въ полкъ, на службу. По пріѣздѣ въ Петербургъ, первый выходъ Болотова былъ въ академическую книжную лавку, гдѣ онъ нашелъ не только вождедѣнную «Аргениду», но и только что вышедшаго тогда въ русскомъ переводѣ «Жиль-Блаза» Лесажа. Съ третьимъ знаменитымъ тогда романою, «Житіемъ Клевеланда, философа англійскаго» аббата Прево, Болотовъ познакомился вскорѣ уже въ нѣмецкомъ переводѣ не дожидаясь русскаго, вышедшаго въ 1760 г.

Эти шесть лѣтъ (1749 — 1755) изъ біографіи русскаго читателя новаго типа лучше всего могутъ объяснить намъ, почему современное литературное движеніе могло возникнуть только въ столицахъ и только въ той удобной для самообразованія обстановкѣ, какую создавало товарищеское общеніе между учениками высшихъ учебныхъ заведеній. Такой характеръ среды, въ которой совершалось новое движеніе, предопредѣлилъ и его формы. Формы эти были тѣ же, какія и теперь можно встрѣтить среди учащейся молодежи среднеучебныхъ заведеній: началось любительскими спектаклями, продолжалось литературными упражненіями въ кружкахъ самообразованія, кончилось созданіемъ литературныхъ журналовъ. Особенность момента была та, что эти ученическія упражненія оказались передовыми, пионерскими для цѣлой Россіи. При этомъ условіи ученическій спектакль послужилъ основой

на которой возникъ первый русскій театръ, а ученическій журналъ положилъ начало русской періодической прессѣ.

Правда, петровское время и здѣсь предупредило елизаветинское. Но петровскія попытки и въ данномъ случаѣ оказались безуспѣшными по той же причинѣ, по которой кончилось неудачей и его книгоиздательство. Черезчуръ еще неподготовленному обществу была предложена слишкомъ канцелярскимъ путемъ совершенно неудобоваримая пища.

Театръ царя Алексѣя былъ случайнымъ эпизодомъ, не оставившимъ по себѣ никакихъ слѣдовъ; притомъ московскіе спектакли XVII вѣка были доступны только царской семьѣ и немногимъ придворнымъ. Петръ Великій задумалъ создать общедоступный театръ и нашелъ для него мѣсто на Красной площади. Вопреки пассивному сопротивленію посольскихъ дьяковъ, въ 1702 г. отстроена была на площади помѣстительная «комедіальная храмина». Тогда же выписана была изъ Германіи труппа актеровъ, подъ управленіемъ Кунста, котораго замѣнилъ послѣ его смерти (1703) Фюрстъ. Два раза въ недѣлю давались представленія; указомъ 1705 г. приказывалось «смотрящимъ всякихъ чиновъ людямъ российскаго народа и иноземцамъ ходить» на представленія «повольно и свободно безъ всякаго опасенія». Разрѣшено даже не заперать городскихъ воротъ въ день представленія до 9 часовъ; съ проходящихъ не бралось пошлины, для того, чтобы «смотрящіе того дѣйствія ѣздили въ комедію охотно». Уже въ 1704 году отданные для выучки Кунсту подъячіе и посадскіе (10 чел.) начали давать представленія по-русски, а въ 1705 г. только русскіе спектакли и давались. Все это, однако, не привлекло въ театръ значительной публики. Судя по цифрамъ сборовъ, въ самые удачныя лѣтніе дни число посѣтителей не превышало 400, обыкновенно же эта цифра была гораздо ниже, а зимой слускалась иногда до 25. Уже въ 1707 г. спектакли прекратились; «комидійная храмина» на Красной площади была заброшена, а театральная обстановка взята царевной Натальей, для ея домашняго театра въ Преображенскомъ. Такое быстрое охлажденіе любопытства, не успѣвшаго развиться въ прочный интересъ къ театру, въ значительной степени объясняется самымъ характеромъ репертуара. Полтора десятка пьесъ, перешедшихъ на московскую сцену изъ репертуара нѣмецкихъ странствующихъ актеровъ, могли привлекать публику только шутовскими интермедіями да раздирательными сценами убійствъ и отравленій, которыми была такъ богата модная нѣмецкая пьеса того времени. Все, что выходило изъ этихъ рамокъ балагана,—высокія чувства и нѣжныя любовныя объясненія совершенно пропадали въ неуклюжемъ переводѣ посольскихъ подъячихъ. Эти невольные переводчики по служебной обязанности—терялись передъ непривычной и невозможной задачей—передать прозой посольскаго приказа вычурныя фразы нѣмецкой торжественной трагедіи и живой діалогъ Мольера. Какое, напр., впечатлѣніе на зрителя могло произвести страст-

ное любовное объясненіе, веденное въ такихъ выраженіяхъ, какъ слѣдующія: «Удовольствованія полное время, когда мы веселость весны безъ препятія и оwoщъ любви безъ зазрѣнія употреблять могли. Приди, любовь моя! Поволь черезъ смотрѣніе нашихъ цвѣтовъ очеса и чрезъ изрядное волненіе чувствованія нашего наполнить» и т. д.? Или вотъ во что обращался въ подъяческихъ рукахъ игривый разговоръ Юпитера съ Алкменой (въ «Амфітріонѣ»): «Во мнѣ, милая и любимая Алкмена, ты видишь мужа и любителя; кромѣ любительнаго имени не хочу я себѣ дати, хотя я съ тобою вмѣсто мужа пребывалъ. И той любитель твоей воли съ ревностію желаетъ, дабы твое сердце къ нему одному склонилось, а страданія того не хочетъ, что именемъ мужъ даетъ». Эти пудовыя фразы составляютъ плодъ безуспѣшной борьбы переводчика съ слѣдующими строками Мольера:

En moi, belle et charmante Alcène,
 Vous voyez un mari, vous voyez un amant;
 Mais l'amant seul me touche, à parler franchement;
 Et je sens, près de vous, que le mari le gêne.
 Cet amant, de vos vœux jaloux au dernier point,
 Souhaite, qu'à lui seul votre coeur s'abandonne,
 Et sa passion ne veut point
 De ce que le mari lui donne.

Это сопоставленіе одно можетъ показать, насколько безжизненъ былъ русскій театръ петровскаго времени.

Въ полуиностранномъ Петербургѣ конца петровскаго царствованія кое-какъ влачила существованіе вольная нѣмецкая труппа, спектакли которой преимущественно посѣщались дворомъ; кромѣ придворныхъ «изъ русскихъ никто не ходилъ смотрѣть ихъ, а изъ иностранцевъ также бывали немногіе (Берхгольцъ)». Послѣ Петра придворный спектакль вошелъ въ обиходъ придворной жизни; но это была не трагедія и комедія, а опера и балетъ. Композиторъ — итальянецъ, Франческо Арайа, составилъ изъ придворныхъ пѣвчихъ оперный хоръ, а въ роли танцоровъ явились воспитанники шляхетскаго корпуса, гдѣ, какъ мы знаемъ, хореографическое искусство преподавалось успѣшнѣе всѣхъ наукъ въ рукахъ Landet. Maître Landet хвалился даже впоследствии «что нигдѣ въ Европѣ не танцовали менуэта съ большей граціей, чѣмъ при петербургскомъ дворѣ». Въ концѣ царствованія Анны появилась помимо итальянской оперы, и нѣмецкая драматическая труппа подъ дирекціей Нейбурга. Если вспомнимъ, что послѣ танцевъ всего больше учились въ корпусѣ нѣмецкому языку, то естественно будетъ предположить, что и представленія нѣмецкой труппы не прошли для кадетъ безслѣдно. При Елизаветѣ Арайа и Ланде сохранили свое положеніе, но на смѣну Нейбургу явилась французская драматическая труппа Серинья, въ составѣ которой было нѣсколько актеровъ изъ Comédie française.

Это было послѣднимъ толчкомъ, вызвавшимъ подражаніе со стороны корпусной молодежи. Корпусъ далъ двору танцоровъ, ему предстояло теперь дать актеровъ и драматурговъ. Помимо интереса къ дѣлу, тутъ было замѣшано самолюбіе и выгода: за Чеглоковымъ, сдѣлавшимъ карьеру танцами при Аннѣ, слѣдовалъ Бекетовъ, впервые привлекшій вниманіе Елизаветы исполненіемъ роли «Хорева».

Въ 1749 г., какъ извѣстно, разыграны были въ корпусѣ, одна за другой, четыре оригинальныя пьесы Сумарокова: «Хоревъ», «Гамлетъ», «Синавъ» и «Артистона». Въ февралѣ слѣдующаго 1750 г. кадеты повторили «Хорева» на сценѣ Зимняго дворца; затѣмъ, въ теченіе года они дали еще пять придворныхъ спектаклей. Однако же, на постоянное профессиональное участіе въ спектакляхъ—такихъ любителей-кадетъ, какъ князь Мещерскій, графъ Бутурлинъ или баронъ Остервальдъ, рассчитывать было нельзя. Разъ забава становилась постоянною, надо было организовать спеціальную труппу. Въ ходъ были пущены старыя средства. въ мартѣ 1752 г. семеро придворныхъ пѣвчихъ отданы «для обученія наукамъ», т.-е. для пріобрѣтенія культурной внѣшности, въ шляхетскій корпусъ; за ними черезъ нѣсколько дней поступили въ корпусъ еще двое «ярославцевъ», — посадскихъ изъ провинціальной любительской труппы, доставленной, волею императрицы, въ полномъ составѣ на казенный счетъ въ столицу. Это были Дмитревскій и Поповъ; братья Ѡ. и Григ. Волковы, повидимому, поѣхали съ дворомъ въ Москву (1753 г.) и только по возвращеніи оттуда тоже опредѣлены въ шляхетскій корпусъ (январь 1754). По сосѣдству съ корпусомъ, на мѣстѣ теперешней Академіи художествъ, въ домѣ Головина будущіе актеры должны были практиковаться въ представленіяхъ. Наконецъ, въ 1756 г. обученіе пѣвчихъ и «комедіантовъ», отданныхъ въ корпусъ, закончилось; осенью этого года русскій театръ былъ учрежденъ официально, а 5 мая 1757 г. дано «первое представленіе для народа вольной трагедіи русской за деньги». Въ томъ же году учрежденъ русскій театръ въ Москвѣ подъ управленіемъ Хераскова—тоже воспитанника корпуса. Однако, свободное посѣщеніе театра петербургской публикой продолжалось не долго: въ 1761 г. возстановленъ былъ старый порядокъ раздачи мѣстъ по чинамъ. Только при Екатеринѣ, съ постройкой новаго зданія (на мѣстѣ теперешняго Большого театра) открылось въ Петербургѣ вновь «публичное русское комедіальное зрѣлище» (1783 г.). Такой длинный перерывъ (1761—83) далъ, какъ увидимъ, Москвѣ преимущество въ развитіи театральныхъ вкусовъ.

Шляхетскій корпусъ, такъ много сдѣлавшій для устройства русскаго театра, далъ ему и репертуаръ. Въ первое время игрались исключительно произведенія Сумарокова; съ 1757 года къ нимъ присоединились переводы, сдѣланные воспитанниками. Въ этомъ году поставлены были на сцену, въ переводахъ Кропотова, Нартова и Елагина, 6 комедій Мольера, по одной — Гольдберга, Лафона, Сень-Фуа;

въ 1758 еще двѣ комедіи Мольера (перев. Свистунова и Чаадаева), по одной Лиграна (А. Волковъ) и Детуша (А. Нартовъ), двѣ итальянскихъ (Булатницкаго и Карина). Какъ видимъ, начало театра вызвало усиленную литературную работу въ корпусѣ. Продукты этой работы стояли несравненно выше переводовъ петровскихъ подъячихъ. Искусственность и приподнятость сумароковскихъ трагедій не только не мѣшали публикѣ наслаждаться ими, но вполне соответствовали модному вкусу. Офицерская молодежь знала наизусть эффектные монологи и, подражая актерамъ, любила «прокрикивать стихи и съ жестами дѣлать декламаціи (Болотовъ)». Дмитревскій и Троепольская производили такого рода декламаціей огромное впечатлѣніе на публику въ пьесахъ Сумароковскаго репертуара. Трагическая коллизія у Сумарокова была всегда—любовнаго характера: даже «непросвѣщеннаго» Шекспира онъ передѣлалъ на свой ладъ, выдвинувъ на первый планъ въ числѣ психологическихъ мотивовъ гамлетовскаго колебанія—его страсть къ Офеліи, а изъ Полонія, отца возлюбленной, сдѣлавъ главнаго соучастника въ убійствѣ отца Гамлета и, слѣдовательно, предметъ его мщенія. Такъ было понятнѣе и чувствительнѣе въ глазахъ современной публики. Но увы, поклонникъ классической трагедіи, явившій театръ Расиновъ россамъ, не признавалъ, что, выдвигая такъ сильно любовь, онъ уже измѣняетъ основному принципу классической трагедіи—выводить лишь исключительныхъ людей и исключительныя чувства. Положеніе было тѣмъ опаснѣе для Сумароковской теоріи, что ложноклассицизмъ водворялся у насъ на сценѣ въ то самое время, когда въ Европѣ онъ изгонялся съ нея, уступая мѣсто изображенію обыкновенныхъ людей и обыкновенныхъ чувствъ въ мѣщанской драмѣ. Произведенія этого рода попадали на русскую сцену одновременно съ сумароковскими подражаніями Корнелю и Расину, Естественно, что русская публика, не посвященная въ тонкости европейской литературной борьбы, смѣшала Сумарокова въ представителями новаго, болѣе живого направленія, а старое, формалистическое, мертвое направленіе ложнаго классицизма—олицетворила въ «одѣ», какъ литературномъ жанрѣ, и въ Ломоносовѣ, какъ его оффиціальномъ представителѣ. Споръ о томъ, кто выше, Ломоносовъ или Сумароковъ, и что лучше, ода или трагедія, — сдѣлался модной темой литературнаго разговора: разумѣется, молодое поколѣніе отдавало предпочтеніе трагедіи и Сумарокову. Въ Россіи, навѣрное, было извѣстно мѣсто изъ «La Critique de l'école des femmes», въ которомъ Мольеръ, одинъ изъ первыхъ, подвергъ рѣзкой критикѣ искусственность ложноклассической трагедіи. «Гораздо легче витать въ сферѣ высокихъ чувствъ, бросать въ стихахъ вызовъ счастью, осыпать обвиненіями судьбу, поносить боговъ, чѣмъ проникать въ смѣшныя стороны человѣческой природы и интересовывать публику несообразностями повседневной жизни. Когда вы изображаете героевъ, вы дѣлаете это, какъ вамъ вздумается. Это совершенно произвольные образы

въ которыхъ нечего искать сходства съ чѣмъ-нибудь дѣйствительнымъ... Но когда вы беретесь изображать дѣйствительныхъ людей, вы должны ихъ брать, какими они являются въ жизни. Необходимо, чтобы ваши созданія походили на дѣйствительность; ваша работа утратить всякое значеніе, если въ ней не узнаютъ типовъ современности». То что здѣсь говорится о преимуществахъ комедіи передъ трагедіей, въ Россіи повторялось относительно преимуществъ трагедіи надъ одой: при оффиціальности и, еще недавно, полной бессмысленности придворнаго одопѣнія,—даже классическая трагедія казалась самою жизнью и дѣйствительностью въ сравненіи съ одой. «Одистъ на своей лирѣ», говорилось въ «Адской Почтѣ» (1769), «говоритъ обыкновенно съ одними героями, а трагикъ со всѣми человѣками. Одинъ наполняетъ свое сочиненіе вымыслами, а другой истинными разсужденіями; тотъ летаетъ по воздуху, по небесамъ, а другой остается на землѣ; тотъ выдумываетъ, чего нѣтъ и чему иногда быть не можно, а сей и то, что есть, тонкостію своею разбираетъ; и ежели теперь больше въ свѣтѣ людей, чѣмъ героевъ, — то смѣю сказать, что трагедія полезнѣе оды... Трагикъ... можно скорѣе и больше сдѣлать людей, хорошо мыслящихъ, нежели одисту героевъ: а изъ сего и большинство пользы видно». Какъ видимъ, критикъ защищаетъ трагедію такими аргументами, которые собственно относятся къ мѣщанской драмѣ, и выдвигаетъ противъ оды обвиненія, которыя падаютъ всей своей тяжестью на самую классическую трагедію. Это характерное смѣшеніе трагедіи съ драмою наглядно отразилось въ пестротѣ репертуара, особенно замѣтной въ Москвѣ, въ херасковскомъ театрѣ, доступномъ для публики и болѣе свободномъ отъ личнаго вліянія Сумарокова и его классическихъ теорій. Знаменитая пьеса Бомарше довершила здѣсь торжество мѣщанской драмы, и напрасны были всѣ протесты Сумарокова противъ «скандальнаго вкуса москвичей»; напрасны были жалобы на новый жанръ самому Вольтеру; напрасенъ былъ даже авторитетный отвѣтъ старика, скрывшаго собственныя колебанія подъ не совсѣмъ искреннимъ осужденіемъ этихъ *pièces bâtarde*, этого *genre larmoyant*, который *avilit le cothurne*. Общество продолжало у самого Сумарокова и его продолжателей, Княжнина, Озерова, Крюковского — цѣнить ту самую живую струю, которая окончательна побѣдила въ новомъ направленіи: живое человѣческое чувство. Никогда не переживъ самъ эпохи господства подлиннаго, строгаго классицизма, общество готово было къ воспріятію новѣйшихъ теченій драматургіи. Такимъ образомъ, на русскую сцену скоро и безпрепятственно проникла и бытовая пьеса, какъ «Мельникъ» Аблесимова (1779), и настоящая комедія «типовъ современности» (Фонъ-Визинъ), сравнительно съ которой сама молюеровская комедія отходила въ Европѣ на второй планъ, какъ комедія абстрактныхъ общечеловѣческихъ типовъ: явилась и обличительная комедія имп. Екатерины и, наконецъ, пьеса съ политической тенденціей, при-

нятая одно время подъ личную защиту самой императрицей. 12 февраля 1785 г. въ Москвѣ дана была пьеса такого характера, принадлежавшая знаменитому нѣкогда писателю Николеву, «Сорена и Замиръ». Трагедія имѣла огромный успѣхъ: весь театръ плакалъ навзрыдъ о судьбѣ супруговъ, разлученныхъ злодѣемъ Мстиславомъ, россійскимъ царемъ, и погибшихъ насильственной смертью. Авторъ не пожалѣлъ красокъ для характеристики коварнаго Мстислава. Слѣдующіе стихи обратили на себя особенное вниманіе московскаго главнокомандующаго:

Изчезни навсегда, сей пагубный уставъ,
 Который заключенъ въ одной монаршей волѣ;
 Лъзя-ль ждаты блаженства тамъ, гдѣ гордость на престолѣ,
 Гдѣ властью одного всѣ скованы сердца?
 Въ монархѣ не всегда находимъ мы отца.

Главнокомандующій пріостановилъ дальнѣйшія представленія пьесы и отослалъ Екатеринѣ рукопись съ своими отмѣтками. «Удивляюсь,—отвѣчала Екатерина, — что вы остановили представленія трагедіи, какъ видно принятой съ удовольствіемъ всей публикой. Смыслъ такихъ стиховъ, которые вы замѣтили, никакого не имѣетъ отношенія къ вашей государынѣ. Авторъ возстаетъ противъ самовластія тирановъ, а Екатерину вы называете матерью».

Естественно, что теперь и отношеніе къ театру со стороны публики было совершенно иное, чѣмъ прежде. Пьесы новаго направленія дѣйствовали на нее въ томъ же духѣ, какъ и новые переводные романы, но только театръ былъ гораздо доступнѣе книги и впечатлѣніе зрѣлища сильнѣе, чѣмъ впечатлѣніе чтенія. Театръ содѣйствовалъ, такимъ образомъ, развитію той «чувствительности», которая все болѣе и болѣе становилась маркой истиннаго образованія. «Петиметры» и «щеголихи» посѣщали вначалѣ театръ изъ моды; потомъ это вошло въ привычку и, наконецъ, сдѣлалось потребностью культурной жизни. Конечно, особый успѣхъ все еще имѣли въ обширныхъ кругахъ публики пьесы, дѣйствовавшія не на чувствительность, а на смѣшливость, или пьесы изъ народнаго быта, доступныя для самыхъ низменныхъ слоевъ мѣщанства. Аблесимовскій «Мельникъ» выдержалъ, по сообщенію Крылова (въ «Зрителѣ»), болѣе 200 полныхъ представленій въ демократическомъ московскомъ театрѣ. Болѣе тонкая петербургская публика все же смотрѣла его 27 разъ подрядъ въ вольномъ театрѣ Книппера (начало 80-хъ гг.).

Мы вышли за предѣлы характеризуемаго періода, чтобы не возвращаться къ исторіи театра въ слѣдующую эпоху, когда наше вниманіе будетъ занято болѣе сложными проявленіями русской общественности. Подготовку къ этимъ болѣе сложнымъ явленіямъ мы найдемъ, въ предѣлахъ елизаветинскаго времени, не столько въ исторіи театра, сколько въ исторіи русской періодической печати. Первые рус-

скіе журналы (конца 50-хъ и начала 60-хъ гг.) покажутъ намъ русскую общественную мысль въ состояніи наибольшей зрѣлости, какой она могла достигнуть, оставаясь на школьной скамьѣ тогдашнихъ высшихъ учебныхъ заведеній или только-что сойдя съ этой скамьи.

Академическій университетъ и здѣсь, какъ въ дѣлѣ книгоиздательства, положилъ начало, и самый толчокъ къ издавію перваго популярнаго журнала данъ былъ тѣмъ же событіемъ академической жизни, которое вызвало оживленіе дѣятельности переводчиковъ въ новомъ, болѣе популярномъ направленіи: новымъ уставомъ и новымъ президентомъ. Для перваго редактора и первыхъ сотрудниковъ русскаго журнала—писательская дѣятельность была службой, которую они обязаны были отправлять по приказанію гр. Разумовскаго. Обязательные сотрудники назначены были изъ числа академическихъ студентовъ съ жалованьемъ 100—150 р. въ годъ. Обязательнымъ редакторомъ сдѣланъ былъ историкъ Миллеръ, отъ личной энергіи котораго и личныхъ знаній зависѣло и направленіе, и успѣхъ журнала. Когда Миллеръ переведенъ былъ на службу изъ Петербурга въ Москву, то и журналъ прекратился, послѣ десятилѣтняго существованія (1755—1764).

За этотъ промежутокъ времени «Ежемесячныя сочиненія» Миллера успѣли, однако, вызвать къ дѣятельности цѣлый кружокъ добровольныхъ сотрудниковъ. Добровольцами явились опять извѣстные намъ воспитанники шляхетскаго корпуса (Сумароковъ, Елагинъ, Нартовъ, Херасковъ, Порошинъ). Втянувшись, при посредствѣ спектаклей и театра, также и вообще въ литературные интересы, они составили между собой цѣлое общество любителей русской словесности. Здѣсь читались литературные опыты сочленовъ; отсюда они переходили въ редакцію «Ежемесячныхъ сочиненій». Черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ начала миллеровскаго журнала молодежь рѣшила завести свой собственный органъ. Журналь кадетъ («Праздное время, въ пользу употребленное») — первый журналъ въ Россіи, заведенный частными лицами, — издавался въ типографіи корпуса и просуществовалъ два года (1759—1760), выходя еженедѣльно. Одновременно съ нимъ Сумароковъ издавалъ свой особый журналъ, «Трудолюбивую пчелу», прекратившійся на первомъ году (1759). Наконецъ, членъ того же кружка, Херасковъ, вмѣстѣ съ театромъ перенесъ въ Москву и изданіе литературныхъ журналовъ. Новый составъ сотрудниковъ скоро подобрался здѣсь изъ воспитанниковъ, только-что открытаго Московскаго университета. При дѣятельномъ участіи университетской молодежи Херасковъ издавалъ одинъ за другимъ два журнала: «Полезное увеселеніе» (дек. 1760—іюнь 1762) и «Свободные часы» (1763). Наконецъ, въ Москвѣ, какъ и въ Петербургѣ, отдѣльные сотрудники Хераскова дѣлали попытки выступить съ собственными журналами однороднаго характера («Невинное упражненіе» Богдановича въ 1763 и «Доброе намѣреніе» Санковскаго въ 1764).

Уже самыя заглавія сближаютъ перечисленные журналы въ одну общую семью. Характеръ ихъ, дѣйствительно, одинаковъ,—также какъ и стремленія, одушевлявшія ихъ участниковъ, несомнѣнно, одни и тѣ же. Но, всматриваясь внимательнѣе въ особенности отдѣльныхъ журналовъ, не трудно замѣтить въ смѣнѣ главныхъ изъ нихъ признаки быстраго внутренняго роста. На этомъ ростѣ еще важнѣе остановиться, чѣмъ на общей характеристикѣ названныхъ журналовъ.

«Ежемѣсячныя сочиненія, къ пользѣ и увеселенію служащія» носятъ двойственный характеръ. Миллеръ является въ нихъ, съ одной стороны, специалистомъ-историкомъ, съ другой—посредникомъ между русскими читателями и современной ему европейской журналистикой. Какъ историкъ, онъ загромождаетъ свой журналъ массой сырого матеріала, сдѣлавшаго «Ежемѣсячныя сочиненія» слишкомъ тяжелымъ чтеніемъ для того времени и сохранившаго за нимъ до сихъ поръ въ-который интересъ для специалистовъ. Какъ проводникъ европейской журналистики, Миллеръ даетъ точный сколокъ съ безчисленныхъ гамбургскихъ, ганноверскихъ, лейпцигскихъ и т. д. «сочиненій, къ пользѣ и увеселенію служащихъ». Прототипомъ всѣхъ ихъ были знаменитые журналы Аддисона и Стиля: «Болтунъ», «Зритель» и «Опекунъ». Число подражаній этимъ англійскимъ журналамъ доходило въ Германіи въ 1760 г. до 180.

Въ этихъ иностранныхъ образцахъ и источникахъ «Ежемѣсячныхъ сочиненій» типъ перваго русскаго журнала былъ уже predeterminedъ. Это была отвлеченная и потому черезчуръ блѣдная мораль, улавливавшая только общіе психологическіе мотивы человѣческихъ страстей, бичевавшая только ярлыки пороковъ, претендовавшая на рѣшающій голосъ въ вопросахъ житейской мудрости и съ завидною самоувѣренностью хозяйничавшая въ сферѣ тѣхъ прописныхъ правилъ и наблюденій, тѣхъ «среднихъ аксіомъ», въ самой формулировкѣ которыхъ обыкновенно гнѣздится наибольшее количество логическихъ ошибокъ. Пословица и аллегорія были любимой формой этого нравоученія, удачно скрывавшей, даже и отъ самихъ авторовъ, грозившіе имъ на всякомъ шагу ихъ моралистическихъ разсужденій логическіе провалы. Впрочемъ, нравоучительные журналы и не хотѣли быть школой строгаго мышленія; ихъ цѣль была совсѣмъ другая—самосовершенствованіе, господство разума надъ страстями. Они ставили себѣ также цѣлью—исправленіе и воспитаніе нравовъ. Въ заключеніи одной изъ переводныхъ статей «Празднаго Времени» (I, 168) эти цѣли формулированы очень характерно въ слѣдующихъ выраженіяхъ: «Разсужденія о нравоученіи и натурѣ человѣческой суть наилучшіе способы для приведенія ума нашего къ совершенству и для снисканія точнаго понятія о себѣ самомъ, слѣдовательно, и для освобожденія нашихъ душъ отъ пороковъ невѣжества и предразсужденій, которымъ они подвержены. Вотъ то намѣреніе, которое предпріялъ я въ моихъ разсужденіяхъ, и надѣюсь;

что они могут нѣсколько вспомоществовать къ исправленію нашихъ нравовъ. По крайнимъ образомъ должно признаться, что предпріятіе мое похвально, какимъ бы образомъ я сное ни исполнялъ».

Изъ переводныхъ «разсужденій» такого рода, на моральныя темы, я состоитъ исключительно проза «Ежемѣсячныхъ сочиненій», если оставить въ сторонѣ ихъ главное содержаніе: статьи и матеріалы спеціального характера по русской и азіатской исторіи и географіи. 17 нравоучительныхъ статей переведено прямо изъ англійскихъ журналовъ, болѣе дюжины изъ нѣмецкихъ. Оригинальны въ первомъ русскомъ журналѣ только стихи. Ихъ въ изобиліи поставляетъ Сумароковъ (123 стихотворенія), за которымъ слѣдуютъ Херасковъ (21) и нѣсколько менѣе значительныхъ поэтовъ шляхетскаго корпуса (А. Нартовъ, А. Демидовъ, Сем. Нарышкинъ, И. Л. Голенищевъ-Кутузовъ).

Изъ источниковъ, указанныхъ Миллеромъ, въ изобиліи черпалъ и первый самостоятельный журналъ молодежи, «Праздное время, на пользу употребленное». Исторія въ немъ безусловно отсутствовала, за исключеніемъ нѣсколькихъ страничекъ «Краткаго извѣстія о коммерціи между Россіей и Турціей», представлявшаго какъ бы визитную карточку Миллера въ молодую редакцію, и большой статьи о Довъ-Карлосѣ, но съ содержаніемъ совершенно романическимъ. Стиховъ тоже было очень мало. Корпусная молодежь «употребляла на пользу свое праздное время» исключительно въ видѣ переводовъ нравоучительныхъ статей: переводы не всегда свидѣтельствовали о полномъ знаніи языковъ (нѣмецкаго, французскаго, итальянскаго, англійскаго, датскаго, латинскаго и греческаго); стиль былъ иногда тяжелъ и запутанъ; но большей частью молодежь удачно разрѣшала нелегкую задачу: создать удобопонятный русскій философскій языкъ. При отсутствіи оригинальныхъ статей, объ интересахъ и взглядахъ переводчиковъ можетъ свидѣтельствовать только выборъ ими темъ для перевода. На пространствахъ четырехъ книжекъ «Празднаго времени» и двухъ лѣтъ изданія журнала можно замѣтить, какъ мало-по-малу вниманіе переводчиковъ, сперва разсѣянное въ обширномъ кругѣ нравственно-психологическихъ вопросовъ, мало-по-малу фиксируется на темахъ, имѣющихъ болѣе близкое отношеніе къ русской дѣйствительности. Въ первый годъ изданія молодежь занимаютъ темы обще и отвлеченно-этическія *). Во второй

*) Для наглядности приведемъ списокъ большинства этихъ статей 1759 года. О надеждѣ; о пространствахъ разума и предѣлахъ онаго (авторъ сходитъ на вопросъ объ умѣренности, какъ слѣдствіи самопознанія, и идеализируетъ довольство крестьянина), о чести (точка зрѣнія утилитарная); о ревности; о ученіи (практическая необходимость стоять на уровнѣ современнаго знанія); о душевномъ спокойствіи и о безумныхъ людскихъ желаніяхъ; о дѣйствіяхъ добраго и худого воспитанія (отношеніе разума къ страстямъ), о предѣлахъ дружества, о двухъ путяхъ, по которымъ человекъ въ сей временной жизни послѣдуетъ (пріятное здѣсь противоплагается полезному); о излишнихъ желаніяхъ; о счастья и несчастья (слѣдуй своей природѣ); человѣческая жизнь подобна опасному путешествію; разсужденія

годъ встрѣчаемъ рядъ переводныхъ статей, которыя кажутся оригинальными: до такой степени они вводятъ насъ въ кругъ вопросовъ, извѣстныхъ изъ сатирическихъ журналовъ Екатерининскаго времени. Во главѣ ихъ стоитъ вопросъ «о позволеніи сатиры», такъ горячо дебатировавшійся въ Екатерининскихъ журналахъ; въ «Праздномъ времени» онъ рѣшается въ самомъ либеральномъ смыслѣ. Прежде всего, не всякое зубоскальство есть сатира. «Лизетта косить глазами»: надъ этимъ можетъ упражнять свое остроуміе какой-нибудь шутникъ въ веселой компаніи; но до этого «нѣтъ дѣла сатирѣ». Вотъ, когда «Лизетта бросаетъ косые свои взоры съ безстыдною дерзостію въ компаніяхъ», тогда она становится достойнымъ предметомъ сатиры, обязанность которой «представлять пороки смѣшными и причинять въ людяхъ омерзѣніе къ онымъ». Невѣрно, что сатира бесполезна или опасна. «Хотя сатира не всегда поправляетъ порочнаго; однако, удерживаетъ другихъ быть порочными». Опасность же грозитъ только такому неосторожному безумцу, «кто сталъ бы говорить при всякомъ случаѣ правду». Рекомендую осторожность, статья однако прямо допускаетъ возможность личностей въ сатирѣ. «Не почитаю я достойнымъ наказанія тѣхъ, кои при сочиненіи сатиры мысли свои на нѣкоторое лицо обращаютъ. Мысли, изъясненія и все сочиненіе бываетъ гораздо живѣе, имѣя предъ собою подлинникъ. Они не хулятъ тогда *лицо*, но порокъ, который онъ имѣетъ». Такъ подготовлялось, уже при Елизаветѣ, настроеніе, отразившееся въ сатирѣ новиковскихъ журналовъ.

Близко напоминаютъ русскую дѣйствительность и отдѣльныя темы сатиры въ выбираемыхъ теперь для перевода статьяхъ. Такова, напр., характеристика дворянина въ статьѣ, переведенной съ нѣмецкаго кадетомъ П. Пастуховымъ *). «Скажите мнѣ, г. дворянинъ,—обращается сатирикъ къ своей жертвѣ,—что вамъ милѣе, лошадь ли ваша или жена, лягавая ли собака или сынъ?... Я съ низайшимъ моимъ почтеніемъ помню ту ярмарку, на которой вы купили сѣрую въ яблокахъ лошадь. Вы требовали полезныхъ совѣтовъ у всѣхъ вашихъ пріятелей и имѣли три дня сроку, прежде нежели могли вознамѣриться къ сей хорошей покупкѣ, и теперь такъ вы ей радуетесь, что нѣсколько

о молчаливости; хуже ли сталъ свѣтъ прежняго (отвѣтъ отрицательный. при чемъ особенно подчеркивается искорененіе суевѣрій); счастье не отъ насъ зависитъ; о честолюбіи; о порицаніи; о славѣ; о худыхъ слѣдствіяхъ злой и о прибыткахъ доброй совѣсти; о вкусѣ; о воспитаніи дочерей (передовая точка зрѣнія), о добромъ употребленіи страстей; о ненависти и враждѣ; о благодареніяхъ; о неблагодарности; о привидѣніяхъ («не смѣю отрѣшить всѣхъ такіа исторія»); о примиреніи, о избраніи сообщества; о человѣческой жизни (доказательства существованія будущей жизни); запрещенное охотнѣе исполняютъ; о жестокосердіи (съ декламаціей противъ тирановъ).

*) Будущимъ членомъ екатерининской комиссіи училищъ, руководившимъ составленіемъ учебниковъ.

часовъ сряду говорите о свойствахъ своей лошади. О женѣ же вашей вы говорите тѣмъ менѣе и весьма довольны, когда и другіе вамъ про нее не напомнятъ. Вы женились на ней безъ дальняго размышленія, не зная ея точно,—да и по сіе время еще ея не знаете... (Сынъ вашъ) подростаетъ,... вамъ надобно содержать для него учителя. Ученъ чтобъ онъ не былъ,... ему надобно учиться языкамъ. фехтовать и танцовать; вамъ надобно отдать его въ чужіе люди, чтобы сложили онъ деревенскій свой обычай. О,... я, съ моей стороны, почитаю все сіе совсѣмъ за ненужное: я знаю довольно древнее ваше шляхетство. Ему въ самомъ дѣлѣ не надобно сихъ педантствъ. Но дворъ,..— конечно худо, да уже такъ сдѣлано, — дворъ хочетъ, чтобы дѣти наши еще къ важнѣйшему могли быть употреблены, кромѣ того, чтобы умѣли ловить только зайцевъ... (Тратя съ сожалѣніемъ деньги на обученіе сына, дворянинъ не жалѣетъ ихъ на дрессировку собакъ)... Истинно, я... отгадалъ, что лошадь и собака милѣе вамъ жены и сына. Какъ благородно думаете ваше благородіе! Сколь превосходно разсужденіе ваше предъ подлыми предразсужденіями нешляхетнаго народа!» Затѣмъ сатирикъ сообщаетъ біографію прототипа нашего «Недоросля». «У него все натура. Отецъ его—старикъ добрый и такъ же незнающъ, какъ и его родители, былъ истиннымъ украшеніемъ своей деревни, когда пивалъ съ своими сосѣдами. Нашему дворянину не доставало ни пици, ни питья, коими милосердное попеченіе неба такъ его благословило, что онъ уже на восьмомъ году былъ твердаго и крѣпкаго сложенія. Потомъ засадилъ его отецъ на лошадь. На девятомъ году застрѣлилъ сей надеждою преисполненный сынъ перваго зайца—къ увеселенію всей высокой фамиліи. Сіе кавалерское упражненіе продолжалъ онъ до двѣнадцатаго года, какъ отецъ вознамѣрился дать ему столько наставленія, чтобы умѣлъ онъ подписать свое имя и прочесть, что написано. Учитель мучился съ нимъ цѣлый годъ: онъ уже въ обѣихъ сихъ наукахъ далеко дошелъ, какъ отецъ умеръ. Теперь все педантство кончилось. Опекуны не хотѣли употреблять на то болѣе иждивенія, и въ самомъ дѣлѣ было уже непристойно ходить въ школу такому знатному дворянину. Что помѣщику знать надобно было, то зналъ уже онъ по ихъ мнѣнію. Онъ умѣлъ ѣсть, пить, спать, ѣздить, ходить на охоту, бить крестьянъ, повелѣвать попамъ, роптать на дворъ и спать съ дѣвушкою; и для того, назвавши себя взрослымъ, вступилъ самъ во владѣніе и женился. Думали ли, чтобы господинъ дворянинъ, при семъ воспитаніи, былъ тотъ, котораго сосѣди за хорошей столъ любятъ, удивляются, видя у него хорошихъ лошадей и собакъ, какъ разумному мужу,—и чтобы за неосторожность, съ которою онъ за столомъ противъ правительства негодуетъ, почитали его за сына отечества? Конечно бы не имѣлъ онъ всѣхъ сихъ преимуществъ, если бы родился побѣднѣе и воспитанъ былъ рачительнѣе!»

Переводчики нѣсколько разъ возвращаются къ подобнымъ темамъ,

какъ бы указывая этимъ, что выборъ не случаенъ *). Но, вообще говоря, такія темы составляютъ въ «Праздномъ времени» исключеніе изъ извѣстнаго намъ обычнаго типа.

«Трудолюбивая Пчела» Сумарокова (1759) несравненно богаче оригинальными статьями **), особенно стихотвореніями; выборъ переводовъ разнообразнѣе (много переводовъ изъ классиковъ: Овидія, Горация, Тита Ливія, Лукіана, Эхина) и стиль переводовъ гораздо лучше. Но въ смыслѣ развитія общественной мысли, она стоитъ на одномъ уровнѣ съ «Празднымъ временемъ», прибавляя только новыя темы сатиры. Сумароковъ не избѣгаетъ нападенія на дворянскую смѣсь и невѣжество («Сатира»). Но любимымъ предметомъ его сатирическихъ выходовъ служатъ взяточничество и крючкотворство приказныхъ, а затѣмъ щегольство «петиметровъ». Любопытно, однако, что самая яркая характеристика «петиметра», давшая матеріалъ и краски русской сатирѣ, является въ журналѣ переводомъ съ датскаго, «изъ Гольберговыхъ писемъ». Довольно естественно, что наибольшее сочувствіе дворянскихъ читателей «Пчелы» вызвали нападки на приказныхъ: въ журналѣ напечатано по этому поводу благодарственное письмо къ издателю отъ имени «нѣкотораго общества, которыхъ благородныя мысли отвѣтствуютъ знатости ихъ и благородству». Члены «благороднаго» общества «ненавидятъ порокъ лихоимства», и авторъ «не сомнѣвается», что «Сумароковъ устыдитъ и усовѣститъ тѣ подлыя души», — «если въ нихъ еще какой-либо добродѣтели есть остатки», прибавляетъ онъ, впрочемъ, съ высоты «омерзѣнія честныхъ людей къ сему гнусному пороку».

Что касается поэзіи «Трудолюбивой Пчелы», она вся почти пронизана эротическимъ настроеніемъ, создавшимъ Сумарокову еще на школьной скамьѣ славу моднаго стихотворца любовныхъ романсовъ. Въ безчисленныхъ «элегіяхъ», «идилліяхъ» и «эклогахъ» воспѣваются игривыя пожденія пастуховъ и пастушекъ подъ тѣнью «сплетенныхъ древесъ», «на бережкахъ журчащихъ и по камышкамъ быстро текущихъ потоковъ». Нѣкоторые изъ романсовъ не лишены, впрочемъ, ни чувства, ни технической ловкости стиха ***).

*) О худомъ воспитаніи большихъ сыновей дворянъ, живущихъ въ деревнѣ; письмо слуги къ господину; о излишнемъ щегольствѣ и др.

**) Безразличнаго въ общественномъ смыслѣ содержанія: о пользѣ миеологии, о вопросахъ русскаго языка и грамматики.

***) Приведу для примѣра стихотвореніе дочери Сумарокова, напечатанное въ «Пчелѣ» отцомъ подъ своимъ именемъ и положенное еще раньше на музыку.

Тщетно я скрываю сердца скорби люты,

Тщетно я спокойною кажусь

Не могу спокойна быть я ни минуты,

Не могу, какъ много я ни тщусь.

Сердце тяжкимъ стономъ, очи токомъ

слезнымъ

Извлекаютъ тайну мвки сей:

Ты мое старанье сдѣлалъ бесполезнымъ,

Ты, о хищникъ вольности моей!

Ввергнута тобою я въ сію злу долю;

Ты спокойный духъ мой возмутить,

Ты мою свободу превратилъ въ неволю,

Ты утѣхи въ горестъ обратилъ.

И, къ лютейшей мукѣ, ты, того не зная,

эта система благоразумной умеренности и широкаго эгоизма развивается совершенно на новый ладъ. Оказывается, что, по сердечному убѣжденію юныхъ поэтовъ, міръ есть тлѣнь и суета, что нетлѣнна лишь добродѣтель и что добродѣтель сводится къ любви къ ближнему, къ другу; что любовь есть единственный способъ борьбы съ порокомъ и что цѣль жизни—есть истребленіе зла въ мірѣ и въ обществѣ посредствомъ подвига любви. Такимъ образомъ, начавъ тезисомъ изъ теоріи естественнаго права, сотрудники Хераскова постоянно кончаютъ свои стихотворныя тирады евангельскими призывами. Для иллюстраціи можно было бы процитировать цѣликомъ стихотворныя посланія, которыми обмѣнялись Нарышкинъ и Ржевскій въ январской книжкѣ 1761 г., если бы эти посланія не были такъ длинны, тягучи и безцвѣтны. Вмѣсто того, мы ограничимся другой характерной цитатой. У супруговъ Херасковыхъ былъ литературный салонъ, въ которомъ собирались журнальные сотрудники. У м-ше Херасковой была слабость къ стихотворной игрѣ въ *bouts rimés*. Навѣрное, въ одинъ изъ этихъ вечеровъ она задала своимъ гостямъ четыре рѣмы, на которыя каждый долженъ былъ импровизировать по стихотворенію. Результаты этого поэтическаго состязанія какъ нельзя лучше характеризуютъ идеи, бродившія въ умахъ посѣтителей любезной хозяйки. Гости написали:

1) Что есть всему Творецъ, сомнѣнья не . имѣю,
 Мнѣ сердце говорить.. о немъ:
 Но иначе любить я Бога не . умѣю,
 Какъ только въ ближнемъ лишь.. моемъ

2) Не мучуся, что я богатства не . имѣю,
 И не пекусь.. о немъ:
 Довольно, если я спокойнымъ быть.. умѣю
 Въ несчастіи.. моемъ.

3) Влюбся я въ тебя, спокойства не . имѣю;
 И потерявъ покой, хотя грущу.. о немъ
 Но возвратить его, Клариса, не... умѣю,
 Приятность находя въ страданіи.. моемъ.

Какъ видимъ, изъ трехъ поэтовъ только послѣдній вспомнилъ о любви; второй воспользовался моралью естественнаго права, а первый выразилъ совершенно масонскую мысль.

Къ серьезной сторонѣ московскаго идейнаго движенія мы еще вернемся. Теперь отмѣтимъ только, что несмотря на очевидную наивность и непосредственность, а, можетъ быть, и благодаря этимъ чертамъ,—это движеніе захватывало молодежь цѣликомъ,—совершенно въ иномъ родѣ, чѣмъ модные романы захватывали два предыдущихъ поколѣнія.

Такова была та высшая точка, на которую смогла подняться русская общественная мысль въ елизаветинскую эпоху. Но и эта ступень была

достигнута лишь небольшимъ кружкомъ лицъ, которыхъ можно было бы всёхъ пересчитать по спискамъ высшихъ учебныхъ заведеній того времени. Этотъ кружокъ писалъ и печаталъ почти исключительно для самого себя. Академическій журналъ Миллера требовалъ отъ читателя довольно значительной научной подготовки; послѣдовавшіе за нимъ литературные журналы требовали привычки къ условностямъ модныхъ литературныхъ вкусовъ и формъ, а также—интереса къ отвлеченнымъ темамъ и навыка въ философскомъ языкѣ, только что тогда создававшимся. Естественно, что всё эти журналы не могли имѣть вліянія за тѣсными предѣлами собственнаго литературнаго круга. Ихъ задачей было—поддерживать и укрѣплять интеллектуально-нравственные интересы въ тѣхъ кружкахъ, которыми они были созданы; а затѣмъ, когда общественная жизнь вышла на болѣе широкій просторъ, роль ихъ была сыграна, и они подверглись полному забвенію. Любопытно отмѣтить, что всё эти журналы никогда не переиздавались (за исключеніемъ сумароковской «Пчелы»), тогда какъ очень многіе журналы послѣдующаго періода перепечатывались по нѣскольку разъ. Ихъ кружковому характеру соответствовало и незначительное количество подписчиковъ, и взгляды издателей на свою роль. У «Ежемѣсячныхъ сочиненій», имѣвшихъ наибольшее распространеніе, никогда не было больше 700 подписчиковъ, а иногда эта цифра падала до 500. Остальные журналы имѣли и того меньше; очевидно, поэтому они составляютъ такую библиографическую рѣдкость, а удѣлѣнные экземпляры часто носятъ надписи кого-нибудь изъ членовъ того же литературнаго круга. Издатель «Невиннаго Упражненія», объявляя о прекращеніи журнала послѣ полугодичнаго существованія, считаетъ это вполне нормальнымъ и нисколько не думаетъ жаловаться на равнодушіе публики. Онъ просто ставитъ выходъ журнала въ тѣсную зависимость отъ удобствъ своего маленькаго круга сотрудниковъ и читателей. Журналъ прекращается потому, что наступило лѣто и «какъ издатели, такъ и тѣ, кои подписались братъ нашъ журналъ, изъ Москвы разъѣхались». Издатели «сожалѣютъ, что далѣе полугодя трудами своими жертвовать читателю не могутъ и съ чувствительной прискорбностью лишаются собственнаго своего утѣшенія». Такое отношеніе къ издательству какъ нельзя лучше подчеркиваетъ характеръ періода, когда русское просвѣщеніе ограничивалось кругомъ добрыхъ знакомыхъ, употреблявшимъ на пользу этого просвѣщенія лишь свои школьные годы и свое праздное время.

Лыпинъ, Исторія русской литературы, т. III, Спб. 1899. Проектъ Миниха въ «Русскомъ Архивѣ». 1865. О книгоиздательствѣ Петра и его времени см. *Щекарская*, Наука и литература при Петрѣ В. О новомъ направленіи издательства его же. Исторія Имп. Академіи Наукъ, Спб. 1870—1873. Тексты пьесъ петровскаго времени напечатаны *Тихомировымъ*, Русскія драматическія произведенія 1672—795 гг. 1874, 2 тома. См. его же статью о русскомъ театрѣ во II т. Сочиненій.

П. Морозова. Исторія русскаго театра до половины XVIII столѣтія, Спб. 1890. О послѣдующемъ періодѣ исторіи русскаго театра, наиболѣе интересномъ, къ сожалѣнію, нѣтъ столь же обстоятельныхъ изслѣдованій. *Le théâtre en Russie depuis ses origines jusqu'à nos jours*. par. Pierre de Corvin (Круковскаго). Paris, 1890 г., 2-е изд. не отличается критичностью и не носитъ характера изслѣдованія по первоисточникамъ. Документальная статья *Ломоносова*, Русскій театръ въ Петербургѣ и Москвѣ до 1774 г.) даетъ только хронологическій остовъ (Сборникъ II отдѣленія Академіи Наукъ, т. XI, 1875). Литература о Сумароковѣ указана въ Русской поэзіи *С. А. Венгеровой*, гдѣ собраны и лирическія произведенія Сумарокова, а также образцы поэзіи мелкихъ поэтовъ того времени и біографическія данныя о нихъ. Наличный составъ литераторовъ елизаветинской эпохи перечисленъ и характеризованъ еще *Дмитревскимъ*. въ его Извѣстіи о русскихъ писателяхъ (перепечатано въ Матеріалахъ для исторіи русской литературы *П. Ефремова*). О борьбѣ мѣщанской драмы съ ложноклассической трагедіей во Франціи см. главу о драмѣ въ соч. *И. И. Иванова*, Политическая роль французскаго театра въ связи съ философіей XVIII вѣка, М. 1895. Библиографическое описаніе журналовъ XVIII в., съ перечнемъ статей и краткими свѣдѣніями о редакторахъ и соотрудникахъ см. въ Историческомъ разысканіи о русскихъ повременныхъ изданіяхъ и сборникахъ за 1703—1802 Спб. 1875. *А. Н. Неустроева* и Указатель къ русскимъ повременнымъ изданіямъ и къ предыдущему труду, *его же*. Спб. 1898. Содержаніе «Ежемѣсячныхъ сочиненій» обстоятельно изслѣдовано *В. А. Милутинымъ* въ трехъ статьяхъ «Очерки русской журналистики». «Современникъ» 1851 г., т. XXV и XXVI См. также *Пекарскаго*. Редакторъ, сотрудники и цензура въ русскомъ журналѣ 1755—1764 гг. (Сборникъ II отдѣленія, т. II, 1867). Къ сожалѣнію, другіе перечисленные въ текстѣ журналы до сихъ поръ очень мало обращали на себя вниманія изслѣдователей. Краткія замѣчанія о журналахъ Хераскова см. у *Незеленова* въ Литературныхъ направленіяхъ екатерининской эпохи Спб. 1889. Нѣкоторыя свѣдѣнія о театрѣ и журналистикѣ елизаветинскаго времени, можно найти также въ Очеркахъ изъ исторіи русской литературы XVII и XVIII в. *Н. Майкова*, Спб. 1889 г.

III.

Новая роль общественной критики и переменна отношенія къ ней власти.—Начало сознательной общественной жизни, какъ основная черта екатерининской эпохи.—Новое отношеніе власти къ общественному мнѣнію; дифференціація элементовъ націонализма и общественной критики.—Личное отношеніе Екатерины къ критическимъ элементамъ, какъ результатъ промежуточнаго положенія ея поболѣнія между эпохами Людовика XIV и французской революціи.—Философія и политика салоновъ, ея умѣренность.—Характеръ вліянія Вольтера на Екатерину: пессимистическій взглядъ на людей и искусство управлять ими.—Первоначальный оптимизмъ Екатерины по отношенію къ идеямъ и его предѣлы: политика гармоніи «принциповъ» съ «интересами»; исключенія въ главныхъ вопросахъ внутренней и внѣшней политики.—Увѣренность въ личной миссіи—какъ результатъ идей вѣка, положенія и темперамента.—Личный характеръ просвѣтительной дѣятельности.—Отношеніе къ цѣльнымъ міровоззрѣніямъ русскимъ и заграничнымъ.—Беккариа и устраненіе «разрушительныхъ аксіомъ» изъ Наказа.—Прецеденты законодательной комиссіи Екатерины и отличіе послѣдней.—Дѣйствительность, обнаруженная наемами депутатовъ.—Положеніе провинціи; противорѣчіе между сословными требованіями дворянства и стремленіями императрицы въ крестьянскомъ вопросѣ и въ уголовномъ законодательствѣ.—Роль внѣшней политики въ измѣненіи настроенія Екатерины.—Задачи императрицы и положеніе партій въ комиссіи: интеллигентное дворянство, городскіе депутаты и разночинцы.—Оппозиція дворянства противъ намѣреній императрицы и оппозиція другихъ сословій противъ дворянства приводятъ къ закрытію комиссіи.

Екатерина и Петръ—эти два имени уже современниками сопоставлялись, какъ символъ двухъ послѣдовательныхъ эпохъ русской культурной исторіи. Современники поняли также и то, что екатерининская эпоха не только была *продолженіемъ* петровской, но и составляла съ ней въ то же время *рѣзкій контрастъ*. Чтобы характеризовать этотъ контрастъ, они даже придумали яркую метафору, которая сдѣлалась общимъ мѣстомъ у писателей екатерининскаго времени: «Петръ создалъ русскимъ тѣла, а Екатерина вложила въ нихъ душу».

Разумѣется, это наблюденіе сдѣлано грубо и отражаетъ на себѣ наивную персонификацію социальныхъ явленій, свойственную тогдашнему міровоззрѣнію. Но въ грубой формѣ здѣсь формулированъ чрезвычайно важный соціологическій фактъ, который, дѣйствительно, соста-

являетъ главную характерную черту эпохи и уже поэтому не могъ ускользнуть отъ вниманія современниковъ. Эпоха Екатерины является эрой въ исторіи русскаго общественнаго самосознанія. «Душа» новой русской общественности, дѣйствительно, начинаетъ помнить и сознавать себя съ этого времени. Именно тогда кончается доисторическій, третичный періодъ русской общественной жизни, и она принимаетъ тотъ видъ и тѣ формы, въ которыхъ извѣстна и нашему времени; старыя, допотопныя формы или окончательно вымираютъ, или, обреченныя на вымираніе, эмигрируютъ въ низшіе слои общественной атмосферы.

Мы знаемъ, что такова была въ самомъ дѣлѣ судьба стараго общественнаго самосознанія, сложившагося въ XV—XVII вв. и имѣвшаго по преимуществу націоналистическій характеръ. Отброшенное въ сторону побѣдой новой культуры, оно не сразу было замѣнено соответствующимъ новымъ сознаніемъ. Новая культура побѣдила, какъ извѣстно, прежде всего, своими техническими преимуществами, сдѣлавшими изъ нея необходимое орудіе новой государственности и неизбежное условіе болѣе развитой промышленной жизни. Побѣдивъ, эта культура на первыхъ же порахъ пріобрѣла симпатіи господствующаго класса, которому она дала самый удобный по своей наглядности признакъ, впервые проведенный рѣзкую внѣшнюю черту между «благородствомъ» и «подлостью». Наконецъ, опять-таки съ самаго начала, новая культура расположила въ свою пользу вліятельные классы, какъ источникъ особыхъ, доселѣ невѣдомыхъ наслажденій, матеріальныхъ, эстетическихъ и умственныхъ, начиная съ гастрономическаго обѣда и вольныхъ отношеній къ женщинѣ и кончая картами, музыкой, спектаклемъ и забавной книгой. Все это, однако, не давало еще достаточнаго матеріала для новаго, принципиально-различнаго отъ стараго, общественнаго самосознанія.

Матеріалъ этотъ дала книга, какъ только перестали искать въ ней простой забавы. Первоначально, правда, въ ней искали только правилъ для сознательнаго личнаго поведенія *). Но отъ этого перваго шага — отъ правилъ свѣтскаго обхожденія или предписаній индивидуальной морали — переходъ къ слѣдующему шагу, къ признанію важности общественной теоріи и необходимости сознательнаго общественнаго поведенія, былъ уже нечувствителенъ и совершился незамѣтно. Съ піонерами новыхъ воззрѣній мы уже знакомы. Извѣстно намъ также и то, что съ пятидесятихъ годовъ вліяніе книжной морали и общественной теоріи перестаетъ ограничиваться отдѣльными личностями и захватываетъ цѣлый общественный кругъ, — правда, еще очень ограниченный: кругъ дворянской молодежи, прошедшей высшую

*) См. стр. 205—6, о руководствахъ «свѣтскаго житія», — назовемъ еще, чтобы исчерпать всѣ темы этого рода, книгу Бельгарда, переведенную С. Волчковымъ въ 1762 г.: «Истинный христіанинъ и честный человекъ».

школу. Такимъ образомъ, императрицѣ Екатеринѣ посчастливилось взойти на престолъ въ такое время, когда почва была уже расчищена для воспріятія послѣдняго слова современной европейскій литературы,— для усвоевія той основной мысли, пропагандированной этой литературой, что общественный строй, въ интересахъ «человѣчества», можетъ и долженъ быть перестроенъ на «разумныхъ» началахъ.

Съ этого момента роль критическихъ идей, содержащихся въ новой петровской культурѣ, становится совершенно иною, чѣмъ прежде. Въ общемъ широкомъ и мутномъ разливѣ новой культурной жизни отъ Петра до Екатерины слабо выдѣлялись элементы, враждебные между собою въ сущности — новой критики и новой привилегированной общественной традиціи. Не размежевавшись между собою, всѣ стороны новой культуры безъ разбора принимались подъ общее покровительство государственной власти, проводившей реформу. При Екатеринѣ и въ этомъ отношеніи совершается полный переворотъ. Элементы критики выдѣляются и составляютъ основу новаго общественнаго мнѣнія, которое сознательно и рѣзко противопоставляетъ себя новой культурности, монополизированной привилегированнымъ классомъ. Новая культура, какъ санкція наличнаго соціального строя, оказывается, такимъ образомъ, въ полнѣйшемъ противорѣчій съ новой культурой, какъ основой сознательнаго отношенія къ жизни. Власть нѣкоторое время колеблется между этими двумя враждебными пониманіями новой культуры. Но колебанія продолжаются недолго: волей-неволей власть принимаетъ сторону соціальной силы противъ соціального безсилія.

Тогда и представительство элементовъ критики переходитъ отъ власти къ интеллигентному общественному мнѣнію. Этой дифференціаціей враждебныхъ другъ другу элементовъ новой культуры кончается періодъ «официальнаго торжества критическихъ элементовъ», какъ мы охарактеризовали періодъ отъ Петра до Екатерины. Русская общественная жизнь вступаетъ въ новый, еще и донынѣ не завершившійся фазисъ.

Только что указанный переломъ совершился въ русской жизни въ особенно яркихъ и рельефныхъ формахъ отчасти потому, что онъ произошелъ среди очень еще несложной обстановки, въ сравнительно ограниченномъ кругѣ людей, задѣтыхъ новой культурой: отчасти же и потому, что свое наглядное выраженіе этотъ переломъ нашелъ въ смѣнѣ настроеній самой императрицы. Сама проникнутая вначалѣ критическими идеями, Екатерина на первыхъ же порахъ убѣждается въ ихъ противорѣчій съ существующимъ общественнымъ строемъ, который она принуждена взять подъ свою защиту. Противорѣчіе это ее не особенно беспокоитъ, потому что критическія идеи заразъ начинаютъ казаться ей и бесполезными для практической жизни, и бессильными противъ русской дѣйствительности. Французская революція открываетъ ей глаза и

заставляетъ ее вступить въ борьбу съ мечтами своей юности, какъ дѣйствительно опасными для дальнѣйшаго существованія тѣхъ явленій жизни (прежде всего, крѣпостнаго права), противъ которыхъ протестовала критика. Въ этомъ признаніи критическихъ идей не просто лишними, но опасными для окружавшей дѣйствительности—заключается ихъ гражданское крещеніе. Съ этого момента начинается непрерывная традиція русской общественной критической мысли.

Превратившись изъ союзника въ принципиальнаго противника критическихъ элементовъ, власть, по самому духу времени, уже не могла ограничиться простой матеріальной, физической борьбой противъ этихъ элементовъ. Съ идеей нужно было бороться во имя идеи: нужно было найти принципиальную основу для положительной, а не отрицательной только программы дѣйствій. Эта основа найдена была, какъ скоро увидимъ, въ идеализаціи прошлаго. Считать эту идеализацію простымъ возстановленіемъ связи съ національнымъ самосознаніемъ XVI—XVII в. нѣтъ никакой возможности. Продукты того стараго національнаго самосознанія навсегда отсѣчены были отъ дальнѣйшаго историческаго процесса Никономъ и Петромъ: они кристаллизовались въ расколѣ. Такимъ образомъ, идеализація прошлаго въ екатерининское время оказывается совершенно новымъ явленіемъ, не опирающимся ни на какую традицію прошлаго. Напротивъ, пока жива была эта старая традиція, пока прошлое было слишкомъ близко, никакая идеализація его не была возможна (см. выше, стран. 202). Только забвеніе прошлаго могло лечь въ основу его *литературной* реставраціи. Мы увидимъ, что такая реставрація шла въ началѣ рука объ руку съ работой критической мысли и даже служила однимъ изъ ея приемовъ. Только по шѣрѣ того, какъ критическая мысль отбрасывалась въ оппозицію, литературная идеализація прошлаго начинала служить матеріаломъ для охранительной политической теоріи. Такимъ образомъ, охранительная идеологія, такъ же какъ оппозиціонная, ведетъ свою непрерывную традицію отъ екатерининскаго времени. Для современнаго націонализма, какъ для современнаго общественнаго мнѣнія—екатерининская эпоха служитъ зрѣи, съ которой тотъ и другое считаютъ свое сознательное существованіе.

Уже изъ сказаннаго видно, что, если Екатерина, можетъ быть, и не вложила самолично «души» въ матеріальное тѣло петровской новой культуры, то все же въ исторіи этой души ей принадлежитъ очень большая роль. Екатерина, увлекающаяся критическими идеями, Екатерина охлажденная, Екатерина враждебная имъ—всѣ эти метаморфозы собственнаго настроенія императрицы тѣсно сплетаются съ первыми шагами сознательной общественной жизни въ Россіи. Чтобы разобратъ, какъ слѣдуетъ, въ томъ и другомъ, необходимо слѣдить оба теченія параллельно.

Прежде всего, сдѣлаемъ нѣсколько хронологическихъ справокъ.

По своимъ годамъ, Екатерина (р. 1729) заняла въ Россіи среднее положеніе между двумя поколѣніями: елизаветинскимъ, которое родилось во второмъ десятилѣтіи XVIII в. и учебные годы котораго совпали приблизительно съ открытіемъ Шляхетскаго корпуса (1732),—и молодымъ поколѣніемъ, родившимся уже при Елизаветѣ и подростшимъ къ собственному воцаренію Екатерины: учебные годы этого послѣдняго поколѣнія совпадаютъ съ открытіемъ Московскаго университета (1755). Оба поколѣнія намъ уже отчасти извѣстны. Первое—насколько оно вообще жило культурной жизнью—жило идеями и вкусами эпохи Людовика XIV; интересы его были по преимуществу литературно-эстетическіе. Второе поколѣніе начало думать и чувствовать какъ разъ тогда, когда въ Европѣ совершился крутой переломъ настроенія, ознаменовавшій переходъ къ революціонной эпохѣ. Поколѣніе Екатерины—среднее между обоими. Оно вырастаетъ въ тотъ промежутокъ сравнительно неопредѣленнаго общественнаго настроенія, когда переходъ отъ Людовика XIV къ революціи только назрѣвалъ въ лучшихъ умахъ и даже ими самими не былъ еще вполне сознавъ. Литература и поэзія уже уступили мѣсто «философіи» и политикѣ, но новыя философскія и политическія идеи еще не были доведены до своихъ крайнихъ логическихъ послѣдствій. Руссо и Дидро, Гельвецій и Гольбахъ,—словомъ всѣ тѣ, кто поднялъ выше ноту общественнаго и философскаго протеста, еще не появлялись или не завоевали себѣ вниманія просвѣщенныхъ круговъ. Вольтеръ еще занятъ былъ по преимуществу литературой. Въ философіи удовлетворялъ общему настроенію деизмъ, въ политикѣ конституціонализмъ: но достаточно вспомнить что представителями того и другаго были Вольтеръ и Монтескьё, чтобы видѣть, что и эти ученія не представлялись въ формѣ строгой, законченной доктрины. Никакой доктрины и не потерпѣла бы та общественная среда, въ которой распространялись модныя идеи модныхъ философовъ и политиковъ. Мысль проникала въ эту среду—свѣтскихъ аристократическихъ салоновъ—исключительно въ формѣ фривольной шутки, достаточно серьезной, чтобы имѣть видъ теоретической защиты разсѣянной свѣтской жизни отъ «педаантизма» всевозможныхъ цѣльныхъ доктринъ и системъ,—и настолько все-таки легкой, чтобы не затруднять ума даже такихъ дамъ, которыя съ печатными книгами были знакомы только по молитвеннику.

Нуженъ былъ громадный литературный талантъ Вольтера и Монтескьё, въ соединеніи съ страстностью перваго и глубокомысліемъ второго, чтобы въ такія тѣсныя рамки втиснуть контрабанду новаго міровоззрѣнія. Но и при этихъ условіяхъ, новыя взгляды могли найти благосклонный пріемъ, лишь сильно урѣзанные и, сознательно или бессознательно, искаженные по шаблону той самой соціальной среды, для которой предназначались. Литература позволяла себѣ потрясать лишь тѣ основы, которыя и безъ того были расшатаны въ этой средѣ. Под-

капывая силу однихъ предразсудковъ, уцѣлѣвшихъ отъ прошлаго, модные писатели слишкомъ часто искали себѣ поддержки—въ союзѣ съ другими предразсудками, еще болѣе сильными, и такимъ образомъ «кадили Люциферу, чтобы избавиться отъ Вельзевула», по остроумному выраженію Даламбера. Теоретикъ политическихъ формъ (Монтескье) платонически восхищался «республикой» грековъ и римлянъ, не предвидя возможности встрѣтиться съ нею въ современной ему Европѣ, и такъ же платонически металъ свои стрѣлы противъ «деспотизма», отводн ему мѣсто исключительно въ Азіи. У себя дома онъ былъ доволенъ сословной монархіей, ограниченной привилегіями дворянства. Для того же дворянства, для «верхнихъ двухъ—трехъ тысячъ», оттачивалъ свои сарказмы проповѣдникъ терпимости (Вольтеръ), откровенно предпочитавшій фривольное вольнодумство знати убѣжденному фанатизму буржуазіи и янсенистскому «педантизму» парламентовъ. Человѣчество для него дѣлилось на «чернь» и «порядочныхъ людей», *saпаше* и *honnêtes gens*,—дѣленіе очень похожее на наши русскіе «подлость» и «благородство». Свою миссію онъ сознательно ограничивалъ «хорошей компаніей». «Довольно съ насъ, если всѣ порядочные люди будутъ презирать суевѣріе». «Народъ всегда останется глупъ и невѣжественъ: это скотъ, которому нужно лишь ярмо, кнутъ да сѣно». Союзникомъ въ борьбѣ противъ духовенства и парламентовъ должна быть королевская власть. Необходимо убѣдить правительство, что «философы»—естественные союзники «королей» и дѣлаютъ съ ними одно и то же дѣло.

Тѣ, кто говоритъ о позднѣйшей «измѣнѣ» Екатерины либеральнымъ взглядамъ ея молодости, не должны забывать, что эти взгляды были впервые усвоены ею въ этой смягченной, ни къ чему не обязывавшей формѣ. «Измѣна» была притомъ же обыкновеннымъ житейскимъ дѣломъ для первыхъ провозвѣстниковъ «философскихъ» идей. Безпрестанно отказывавшійся отъ собственныхъ сочиненій, при каждой ссорѣ съ церковью спѣшившій исповѣдаться и причаститься, льстившій королямъ, папѣ и іезуитамъ, систематически сочинявшій мадригалы королевскимъ любовницамъ, вынудившій, наконецъ, на смертномъ одрѣ у собственнаго секретаря, протестанта и масона, послѣ двадцати-четырехлѣтней совмѣстной жизни, недоумѣнный вопросъ: во что же онъ, наконецъ, вѣритъ,—Вольтеръ не могъ быть особенно строгимъ учителемъ въ вопросахъ совѣсти. Не трудно догадаться даже, что именно это отсутствіе строгости и сдѣлало Екатерину «ученицей» Вольтера въ наукѣ «здраваго смысла» и житейскаго благоразумія. Что наука Вольтера была собственно другая, а здравый смыслъ былъ въ ней только орудіемъ и методомъ,—на это императрица какъ-то не обратила особаго вниманія. Она знала, конечно, что говоря съ Вольтеромъ, надо было почаще упоминать о терпимости и порицать суевѣріе. Но эти лозунги, опасные для ихъ защитниковъ въ странѣ католицизма,—въ петровской Россіи разумѣлись сами собой (ср. стр. 218): здѣсь гораздо труд-

нѣе было бы защищать нетерпимость и традиціонную вѣру. Такимъ образомъ, послѣ пятнадцатилѣтней переписки императрица все еще не совсѣмъ ясно понимала, съ кѣмъ она имѣла дѣло: смерть Вольтера лишила ее только «божества смѣха». Пораженная началомъ французской революціи, Екатерина упорно ставитъ революціонерамъ въ укоръ своего «учителя», такъ мило, такъ весело и беззаботно умѣвшаго шутить съ серьезными вещами въ хорошей компаніи: не безтактно ли было со стороны этихъ «сапожниковъ и башмачниковъ» вынести пикантные разговоры своихъ «лучшихъ писателей» изъ салона на улицу? И только убѣжденная, наконецъ, неумолимой логикой событій въ тождествѣ слова и дѣла, Екатерина велитъ вынести бюстъ своего «учителя» — послѣдній по очереди — изъ галлерей Эрмитажа.

Характеръ письменныхъ сношеній Екатерины съ Вольтеромъ ничѣмъ не предвѣщалъ такого плачевнаго конца. Это были отношенія самая прочныя и ровныя, такъ какъ съ обѣихъ сторонъ были основаны на расчетѣ. У семидесятилѣтняго философа и тридцатипятилѣтней дебютантки оказалось слишкомъ достаточно жизненнаго опыта и разочарованій въ прошломъ, чтобы не питать взаимныхъ иллюзій и съ полуслова понять, что каждому нужно отъ другого. Въ интимной перепискѣ съ Даламберомъ Вольтеръ признавалъ, что «философіи не приходится особенно хвалиться такими ученицами», какъ «прекрасная Катò». Но, что дѣлать, покровительство императрицы поднимало его престижъ въ Европѣ, и Вольтеръ безъ зазрѣнія совѣсти возвеличиваетъ Екатерину надъ Солономъ и Ликургомъ, превозноситъ ея душу и умъ, восторгается ея мудрыми законами и блестящими празднествами, даже воспѣваетъ ея ручки и ножки. Съ своей стороны, и Екатерина приходитъ въ страхъ при мысли, что Вольтеръ можетъ поймать ее на словѣ и пріѣхать къ ней въ гости въ Россію; она спѣшитъ увѣрить его, что «Катò хороша только издали». Но изъ этого прекраснаго далека она искусно эксплуатируетъ перо Вольтера для оффиціозныхъ сообщеній по адресу Европы. Балансъ выгодъ скорѣе былъ на сторонѣ императрицы, чѣмъ на сторонѣ писателя.

Труднѣе рѣшить, была ли Екатерина съ самаго начала своей карьеры такимъ политикомъ въ своихъ отношеніяхъ къ представителямъ критическихъ идей? Косвенный отвѣтъ на это можно, правда, найти въ томъ обстоятельстве, что она вообще очень рано сдѣлалась политикомъ. Припомнимъ ея признанія въ «Мемуарахъ», что еще великой княгиней она поставила себѣ за правило за всѣми ухаживать, чтобы въ каждомъ имѣть союзника на случай нужды. Но именно къ Вольтеру ея отношеніе нѣсколько иное, такъ какъ ему она обязана отчасти и самымъ этимъ правиломъ. Прежде чѣмъ ей пришлось искать въ Вольтерѣ союзника, она нашла въ немъ учителя въ искусствѣ нравиться. На этомъ развился и ея интересъ къ серьезному чтенію. Въ Вольтерѣ и Тацитѣ ее увлекли, прежде всего, уроки эмпирической

психологіи, совпадавшей съ ея собственными наблюденіями надъ мотивами человѣческихъ поступковъ. «Я начала видѣть вещи въ болѣе мрачномъ свѣтѣ и научилась искать для всего, что проходило передъ моими глазами, болѣе глубокихъ объясненій въ различіи интересовъ». Такъ резюмируетъ сама императрица практическій итогъ своего серьезнаго чтенія. Изъ ироніи Вольтера и Тацита она, очевидно, вывела мораль Ларошфуко.

Несомнѣнно, Екатерина разумѣла именно это и была совершенно искренна, когда признавала, что Вольтеръ научилъ ее читать и думать и имѣлъ на нее огромное вліяніе въ періодъ, когда формировался ея умъ и характеръ. Вотъ почему въ свои отношенія къ Вольтеру—и только къ нему одному—она внесла на первыхъ порахъ робость и нерѣшительность ученицы и серьезно искала его одобренія. Только получивъ это одобреніе слишкомъ легко и незаслуженно, она поняла ему дѣву. Это былъ для нея первый урокъ презрѣнія въ «философіи» и философамъ. «Учитель» послѣ того пересталъ импонировать; но король европейскаго общественнаго мнѣнія и «забавникъ»—сохранилъ симпатіи императрицы.

Вопросъ о вліяніи на Екатерину самыхъ *идей* «просвѣтительной» философіи ея времени гораздо сложнѣе вопроса о ея личныхъ отношеніяхъ къ «философамъ». Несомнѣнно, прежде всего, что ранній пессимизмъ по отношенію къ людямъ у нея долгое время совмѣщается съ оптимизмомъ по отношенію къ идеямъ. Почему, извѣрившись въ людей, Екатерина продолжаетъ вѣрить въ идеи,—это намъ предстоитъ объяснить; но фактъ тотъ, что она въ нихъ, дѣйствительно, вѣритъ и готова сообразовать съ ними свое поведеніе. Возражать на это ссылкой на самый ранній примѣръ противорѣчія между «принципами» и поведеніемъ Екатерины,—на ея двусмысленное положеніе между Вольтеромъ и православной религіей, было бы совершенно неосновательно. Въ этомъ случаѣ противорѣчіе «интереса» съ принципами всего легче разрѣшалось самой усвоенной ею философіей. Развѣ не была самая перемѣна вѣры доказательствомъ свободы отъ «суевѣрія», въ которомъ погрязъ старый протестантъ, отецъ Екатерины? И развѣ не утверждалъ съ другой стороны самъ Вольтеръ, что всякій владѣлецъ пяти или шестисотъ крестьянъ долженъ признать необходимость религіи вѣчныхъ мукъ и воздаяній за гробомъ? Очевидно, учитель и ученица вполне сходились въ оцѣнкѣ какъ соціальнаго значенія религіи, такъ и того, что на языкѣ Екатерины называлось «*moneries*».

Въ дѣлахъ государственнаго управленія было, конечно, не такъ легко привести въ гармонію «принципы» съ «интересами». Историки Екатерины обратили вниманіе на сентенцію въ словарѣ Бейля, которая, по ихъ соображеніямъ, должна была запасть въ душу будущей императрицѣ: «правила государственнаго искусства противоположны строгой честности». Изъ собственныхъ набросковъ Екатерины, когда

она была еще великой княгиней, мы знаем. однако, что съ этой сентенціей Екатерина не хотѣла мириться и поставила себѣ прямою цѣлью— примирить честность съ политикой. Средство для этого она нашла въ той идеѣ, что быть честнымъ — всего лучше для собственной выгоды государя. Идея о выгодности хорошихъ принциповъ проходитъ красной нитью въ этихъ интересныхъ замѣткахъ, рисующихъ намъ великую княгиню со всѣми ея сильными и слабыми сторонами, совершенно тѣми же, какія характеризуютъ впоследствии императрицу. Тутъ находимъ въ совершенно отчетливой, сознательной формѣ и всѣ правила будущаго царствованія. Государь долженъ, по мнѣнію Екатерины въ этихъ замѣткахъ, дѣлать благодѣянія и любить истину, такъ какъ это «сдѣлаетъ его пріятнымъ для Бога и людей». Онъ долженъ заботиться о славѣ страны, потому что это его собственная слава. Онъ долженъ сдѣлать вельможъ и приближенныхъ довольными и богатыми, потому что отъ этого зависитъ его собственное величіе. Онъ долженъ открыто заявлять свои цѣли, «если правда и разумъ на его сторонѣ», такъ какъ эти резоны, навѣрное, «возьмутъ верхъ въ глазахъ толпы». Онъ долженъ заранѣе разгласить о законѣ, который собирается издать, и послѣ прислушаться къ общественнымъ толкамъ по этому поводу, чтобы законъ вышелъ удаченъ и не пришлось его отмѣнять. Придворныхъ надо заставить *изъ лести* говорить правду, сдѣлавъ ее выгодной, такъ какъ иначе государь рискуетъ быть обманутымъ: самое унижительное положеніе, какое только можетъ себѣ представить Екатерина.

Нельзя, однако, съ выбранной точки зрѣнія отрицать одного: *возможности*, что «принципы» съ «интересами» разойдутся и понадобится правило Бейля. Тѣ же наброски карандашомъ предвидятъ два такихъ случая.—какъ разъ тѣ самые, въ которыхъ Екатерину всего строже осудило потомство. Въ одномъ изъ нихъ, въ главномъ вопросѣ своей внутренней политики, Екатерина уже тогда ясно повимала всю трудность своего положенія, но еще надѣялась на возможность компромисса. «Противно христіанской религіи и справедливости дѣлать людей (которые всѣ родятся свободными) рабами. Соборъ освободилъ въ Германіи, Франціи, Испаніи и т. д. всѣхъ крестьянъ (прежде бывшихъ крѣпостными). Устроить подобный же крутой переворотъ было бы плохимъ способомъ заслужить любовь землевладѣльцевъ, которые полны упорства и предрасудковъ («къ тому же,—признается Екатерина,—хотя я и освободилась отъ предрасудковъ и обладаю складомъ ума отъ природы философскимъ, но чувствую, однако, сильную склонность уважать древнія фамиліи»). Но вотъ легкое (Екатерина еще мало знакома съ юриспруденціей) средство: постановить, что при всякой продажѣ помѣстья новому владѣльцу рабы объявляются свободными. Въ сто лѣтъ всѣ или большая часть земель мѣняются владѣльцевъ: вотъ, народъ и свободенъ».

Въ другомъ затруднительномъ случаѣ — изъ области внѣшней политики, Екатерина, очевидно, скорѣе готова склониться въ сторону «интересовъ». «Говорятъ, что во всякомъ дѣлѣ бываетъ два возможныхъ исхода: справедливый или несправедливый; обыкновенно, когда склоняетъ къ несправедливости. Въ курляндскомъ вопросѣ справедливость требовала отдать дѣтямъ Бирона то, что далъ имъ Богъ и природа. Если же хотѣли соблюсти выгоду, слѣдовало (конечно, несправедливо) оставить Курляндію за собой, отнять ее у Польши и присоединить къ Россіи. Кто бы могъ угадать, что найдется еще третій способъ: сдѣлать несправедливость безъ всякой выгоды? Курляндію отдали саксонскому принцу и тѣмъ усилили короля польскаго... Неужели, спрашивается, могущественный сосѣдь выгоднѣе для Россіи, чѣмъ счастливая анархія, въ которой находится Польша и благодаря которой мы въ ней хозяйничаемъ, какъ хотимъ?.. Если ужъ хочешь быть несправедливымъ, такъ надо извлечь изъ этого выгоду».

Итакъ, вѣра въ «приложимость» общихъ принциповъ къ жизни основывалась у Екатерины на убѣжденіи, что, по крайней мѣрѣ, въ большинствѣ случаевъ, приложеніе хорошихъ принциповъ—выгодно. Екатерина отдавалась идейному руководству, по ея собственному выраженію въ тѣхъ же наброскахъ, «съ открытыми глазами» и подъ условіемъ, что это идейное руководство не только не противорѣчитъ, а, напротивъ, совпадаетъ съ ея личными «интересами». Не совпадетъ оно—и Екатерина заранѣе высказываетъ готовность отъ него отказаться. Такимъ образомъ, если трезвость въ отношеніяхъ къ идеямъ и измѣняла Екатерину, то, во всякомъ случаѣ, не на этомъ пунктѣ, не въ расчетъ выгоды,— а въ вопросѣ объ «осуществимости» идеи, предполагая ее полезной.

Во взглядѣ на осуществимость идеи Екатерина оказывалась дочерью своего времени, фанатикомъ своего положенія и жертвой своего темперамента. Мысль о всемогуществѣ мудраго законодателя была одной изъ основныхъ аксіомъ просвѣтительнаго вѣка. Но у Екатерины эта мысль была не простою данью времени. Она неразрывно связана у ней съ увѣренностью во всемогуществѣ русскаго государя. «Что можетъ противиться безграничной власти абсолютнаго монарха, управляющаго воинственнымъ народомъ», спрашиваетъ она въ тѣхъ же наброскахъ великой княгини. Съ этой идеей Екатерина пріѣхала въ Россію, съ нею она сознательно и терпѣливо пробивала себѣ путь къ престолу. Дойдя до цѣли, она смѣло положила руку на механизмъ, издалека манящій своей громадностью ея славолюбіе и властолюбіе.

Она надѣялась проводить на этомъ мѣстѣ «хорошіе и вѣрвые принципы». Чтобы провести ихъ, ей нужно именно *это* мѣсто. Но на такомъ мѣстѣ такіе принципы могла осуществить лишь «натура одаренная отъ природы полезными дарованіями»; другой былъ бы только

«смѣшонъ» тамъ, гдѣ подобная натура могла бы себѣ составить «блестящую карьеру». Мы цитируемъ здѣсь все тѣ же легучіе наброски: Екатерина уже при Елизаветѣ только себя считаетъ достойной посетительницей великихъ идей на высокомъ мѣстѣ. Вѣра въ силу идеи и въ безграничное могущество положенія. въ свою очередь, неразрывно связана у ней съ вѣрой въ себя: въ собственной психологіи она очерчиваетъ то, чего не хватаетъ въ другихъ источникахъ вѣры.

Французскій посланникъ Лопиталь еще при Елизаветѣ находилъ, что у Екатерины «горячая голова». Можно бы было подчеркнуть: именно «голова», а не «сердце», воображеніе, а не чувство. Екатерина, повидимому, и сама была совершенно согласна съ этимъ опредѣленіемъ своей «преобладающей способности». Разъ въ ея присутствіи зашелъ разговоръ, чѣмъ бы могла она быть, если бы была частнымъ человѣкомъ и мужчиной. Дипломаты наперерывъ прочили ее, кто въ министры, кто въ полководцы. Императрица рѣшила: «Всѣ вы ошибаетесь; я знаю свою горячую голову; я бы всѣмъ рискнула для славы и въ чинѣ поручика въ первую же кампанію не снесла бы головы». Въмѣсто всѣхъ достоинствъ, которыми надѣлялъ ее Гриммъ въ 1774 году, Екатерина признала за собой одно, благодаря которому она «чего-нибудь стоитъ»: «умѣнье страшно хотѣть того, чего она хочетъ». «Нужно быть твердой въ своихъ рѣшеніяхъ,—говоритъ она въ другой разъ,—лучше сдѣлать дурно, чѣмъ мѣнять мнѣніе: нерѣшительны бываютъ только дураки».

Нельзя сказать, чтобы Екатерина не сознавала опасности такого темперамента въ правителѣ. «Удача для ума то же, что молодость для темперамента, — находимъ мы въ тѣхъ же наброскахъ: — она приводитъ въ дѣйствіе всѣ страсти. Счастливъ, кто не допуститъ себя увлечься этимъ потокомъ». Въ послѣднихъ словахъ слышится какъ бы опасеніе — весьма основательное, какъ показало время, — что сама Екатерина въ такомъ положеніи не сумѣетъ сдержаться. Но она знаетъ свои слабыя стороны—и, какъ политикъ, прежде всего, и *изъ нихъ* хочетъ извлечь выгоду, разъ невозможно ихъ уничтожить. Увлеченіе неизбѣжно, но увлеченіе есть тоже сила. За недостаткомъ подлинной силы, самоувѣренность можетъ ее до нѣкоторой степени замѣнить. «Могу поздравить себя съ началомъ популярности».—записываетъ она при Елизаветѣ.—«Я не должна, конечно, ей довѣрять, несмотря на внѣшніе знаки; но это не помѣшаетъ мнѣ дѣйствовать такъ, какъ будто бы я была въ ней увѣрена. Меня хвалятъ лишь тогда и постольку, поскольку недовольны великимъ княземъ; я слишкомъ еще молода, чтобы меня любили; но я должна дѣйствовать такъ, какъ будто бы вѣрила, что меня любятъ». Мы видимъ: тутъ полная программа политики, почерпающей силу изъ внѣшняго вида успѣха.

При такой сложности природы Екатерины, очевидно, очень трудно различить въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, гдѣ кончается у ней убѣж-

деніе и начинается политика. Всего вѣрнѣе будетъ, можетъ быть, принять, что политика у нея вездѣ, и что въ нѣкоторыхъ случаяхъ пружинами ея политики служатъ убѣжденія, которыя она считаетъ вѣрными и выгодными.

Во всякомъ случаѣ, эту политику Екатерина будетъ примѣнять сама, своимъ умомъ и по собственной инициативѣ. Въ дѣлѣ, которое должно было послужить пьедесталомъ для ея славы, Екатерина не признаетъ предшественниковъ и сотрудниковъ. Она — вторая только послѣ «перваго» Петра; но въ своемъ дѣлѣ она первая и единственная. Она пишетъ въ своемъ Наказѣ эти рискованныя слова, такъ усердно цитировавшіяся депутатами комиссіи: «Боже сохрани, чтобы послѣ окончанія сего законодательства былъ какой народъ больше справедливъ и, слѣдовательно, больше процвѣтающъ на землѣ; намѣреніе законовъ нашихъ было бы не исполнено: несчастіе, до котораго я дожить не желаю». Еще ярче это настроеніе Екатерины подчеркивается современной аллегорической гравюрой по поводу изданія Наказа. Въ центрѣ картины, на возвышеніи, стоитъ Екатерина въ спокойной, увѣренной позѣ, совсѣмъ не напоминающей того «курць-галоп», которымъ, по шутливому выраженію ея «Записокъ», она должна была выступать въ первые годы царствованія между охлаждающимъ скептицизмомъ Панина и бурными поспиреніями Григорія Орлова. Мѣсто обоехъ по сторонамъ Екатерины заняли въ аллегоріи Минерва и юный Марсъ, попирающій пятой закованнаго въ цѣпи врага. Подъ ногами императрицы копошится народъ: море головъ, жаждущихъ взглянуть на Екатерину, смотрящихъ на нее съ выраженіемъ любви и надежды, слѣщащихъ запечатлѣть въ памяти золотыя строки раскрытаго передъ ними Наказа. Въ сторонѣ, надъ тѣмъ же моремъ головъ поднимается пирамида, на которой «блаженство каждаго и всѣхъ» датировано 1766 годомъ и которая увѣнчивается императорской короной *). Въ сравненіи съ этой пирамидой статуя какого-то древняго законодателя, стоящаго на вершинѣ колонны позади пирамиды, кажется совсѣмъ маленькой. Наконецъ, вверху, въ облакахъ дыма, крылатая фигура славы уже слѣшитъ разнести по свѣту благую вѣсть о новой эрѣ «блаженства всѣхъ и каждаго», датированной 1766 годомъ.

Основная идея аллегоріи ясна. Екатеринѣ «посчастливилось найти хорошіе и вѣрные принципы», но эти принципы осуществляются, потому что Екатерина ихъ проводитъ. И если ей придется впоследствии признаться, что принципы остались неосуществленными, она ни минуты не подумаетъ усомниться въ принципахъ или въ собственной силѣ осуществить ихъ. По крайней мѣрѣ, она въ этомъ никогда не признается открыто и сложитъ вину на другихъ. «Мое честолюбіе не было дурно, но, быть можетъ, я слишкомъ много взяла на себя, повѣривъ, что люди могутъ сдѣлаться разумными, справедливыми и счастливыми».

*) Эта эмблема изображена была и на жетонахъ, розданныхъ депутатамъ.

Одного только Екатерина не могла допустить: что люди могут сдѣлаться разумны, справедливы и счастливы по какой-нибудь другой системѣ, исключая ея собственной. и особенно по такой системѣ, которая допускаетъ возможность для нихъ достигнуть этой цѣли своими собственными средствами. Реформаторская роль Екатерины представлялась ей по существу своему совершенно личной. Это опредѣлило и ея отношеніе ко всѣмъ современнымъ ей системамъ, исходившимъ изъ принципа самодѣятельности. Такихъ системъ было двѣ въ Россіи во время Екатерины. Обѣ онѣ обозначились достаточно ясно уже въ настроеніи молодого поколѣнія, выросшаго ко времени воцаренія императрицы. Одна была извѣстная намъ теорія *естественнаго права*, которая скоро могла справлять полувѣковой юбилей не только существованія, но непрерывнаго академическаго преподаванія въ Россіи. Со времени Гросса, учившаго естественному праву Кантемира въ Академическомъ университетѣ, рядъ поколѣній слушалъ эту науку у Пфлуга въ Шляхетскомъ корпусѣ, у Дильтея и Лангера въ Московскомъ университетѣ. Но человѣкъ изъ «порядочнаго общества» не обязанъ былъ «прочестъ всѣ книги и прилежно учиться всему, чему учать въ школахъ»: съ него было довольно «природнаго здраваго смысла». Мы сейчасъ увидимъ, какъ отнеслась Екатерина къ теоріи естественнаго права, на примѣрѣ Беккаріа. Отношеніе ея къ другой системѣ принципиальныхъ взглядовъ, явившейся въ Россіи позднѣе, но тоже до нея и независимо отъ нея, къ религіозно-нравственному міросозерцанію *масонства*, было еще болѣе отрицательнымъ и поверхностнымъ, какъ увидимъ впоследствии. Если на первыхъ же порахъ не вышло никакихъ рѣзкихъ столкновеній между императрицей и представителями обоихъ цѣльныхъ воззрѣній; то лишь потому, что сами эти представители въ первомъ поколѣніи оказались не такими яркими и послѣдовательными, какъ того требовалъ смыслъ ихъ теорій. Мы знакомы уже немного съ литературнымъ дебютомъ этой молодежи, перешедшей отъ естественнаго права къ масонству (выше, 244—5). Скоро мы встрѣтимся съ нею опять и поймемъ, почему она такъ быстро и безслѣдно сошла съ общественной арены (см. ниже, стр. 263, 273).

Мы поймемъ теперь и то, какъ должна была отнестись Екатерина къ знаменитому сопернику Вольтера,—къ Руссо, господствовавшему обновленной имъ системой общественнаго договора въ тогдашней наукѣ естественнаго права. Для любимаго персонажа XVIII вѣка, мудраго законодателя, въ этой системѣ былъ оставленъ слишкомъ тѣсный уголокъ. На личныя сношенія съ несимпатичнымъ философомъ Екатерина не рѣшилась, а отъ приглашенія Григорія Орлова—поселиться въ его помѣстьи, нелюдимый мыслитель отказался. Тѣмъ и кончились отношенія его къ Россіи. За то горячему поклоннику «великаго человѣка, благодѣтельствующаго человѣчеству, которое его гонитъ»,—юристу Беккаріа выпалъ на долю громкій успѣхъ въ Россіи.

На этомъ эпизодѣ надо остановиться нѣсколько подробнѣе. Книжка Беккариа появилась какъ разъ въ то время, когда Екатерина компилировала свой Наказъ: изъ ея источниковъ это былъ едва ли не единственный, въ которомъ Екатерина могла уловить ноты, совершенно чуждыя салонной корректности ея любимыхъ руководителей. Но Беккариа былъ усерднымъ почитателемъ одного изъ нихъ (Монтескье); онъ нуженъ былъ Екатеринѣ, такъ какъ у него она могла заимствовать характеристику будущаго гуманнаго суда. Тѣмъ любопытнѣе слѣдить, съ какой тщательностью устранены изъ заимствованнаго текста всѣ черты, которыя ставятъ Беккариа въ ряды поклонниковъ Руссо. Читая Наказъ, никакъ нельзя догадаться, что тутъ не хватаетъ основного нерва всѣхъ разсужденій Беккариа. По его теоріи общественнаго договора, этимъ договоромъ ограждаетъ себя обыкновенно меньшинство отъ большинства, и нужны вѣка страданій и бѣдствій, чтобы договоръ могъ быть перестроенъ въ пользу обдѣленнаго большинства. Мыслитель, опережая свой вѣкъ, открываетъ этотъ коренной недостатокъ закона, состоящій въ его покровительствѣ привилегированному меньшинству; просвѣщенный государь можетъ услышать голосъ мыслителя, воспользоваться своей силой въ интересахъ большинства и тѣмъ предвосхитить результатъ естественнаго историческаго развитія. «Мы предоставляемъ обыкновенно развитіе важнѣйшихъ постановленій или просто теченію времени, или же благоусмотрѣнію тѣхъ именно лицъ которыя возстаютъ противъ введенія мудрыхъ законовъ. Послѣдніе имѣютъ цѣлью, по самому существу своему, сдѣлать благоденствіе всеобщимъ, тогда какъ меньшинство стремится къ тому, чтобы удерживать полное могущество и блаженство за собою, не удѣливъ другимъ ничего, кромѣ безсилія и нищеты. Поэтому, только перейдя черезъ тысячи ошибокъ въ задачахъ, разрѣшающихъ самыя существенныя условія жизни и свободы, послѣ утомительныхъ страданій, порожденныхъ зломъ, дошедшимъ до крайности, мы приступаемъ къ исправленію гнетущихъ насъ безпорядковъ; только тогда начинаемъ мы сознавать тѣ осязательныя истины, которыя, именно по своей простотѣ, ускользаютъ отъ вниманія людей недоразвитыхъ... Откроемъ книгу исторіи, и мы увидимъ, что законы, которые въ сущности составляютъ и должны составлять не что иное, какъ договоръ свободныхъ лицъ, всегда были или орудіемъ страстей немногихъ, или же являлись результатомъ случайной и мимолетной необходимости. Они вовсе не были плодомъ спокойнаго изслѣдованія человѣческой природы, стремящейся къ тому, чтобы мы сознали, что задача нашей жизни есть предоставленіе высшаго благосостоянія наибольшему числу людей. Счастливы тѣ немногія государства, которыя не ожидали, чтобы медленное движеніе взаимныхъ общечеловѣческихъ отношеній и превратностей жизни повлекло за собой сначала господство зла, а потомъ уже и постепенное развитіе добра, но ускоряли мудрыми законами

водвореніе добра; и всеобщаго уваженія заслуживаетъ философъ, имѣвшій дерзость изъ глубины своего незамѣтнаго и даже пренебрегаемаго кабинета бросить въ массу людей первыя сѣмена полезной истины, которыя долго еще будутъ оставаться безплодными».

Оказалось не трудно превратить эту пламенную рѣчь о вѣковых препятствіяхъ къ сознательной общественной жизни въ безобидное «блаженство всѣхъ и каждаго», декретируемое немедленно. Нужно было только отбросить исходныя точки и основные принципы разсужденія Беккариа, затушевать его конкретныя историческія наблюденія, и мы получимъ исправленный текстъ екатерининскаго Наказа. Вотъ какъ производилось это исправленіе (Екатериной или ея совѣтниками?):

Наказъ.

Право давать законы о наказаніяхъ имѣетъ только одинъ законодатель, какъ представляющій въ своей особѣ все общество соединенное и содержащій всю власть въ своихъ рукахъ.

Беззаконныя предпріятія противу жизни и вольности гражданина суть изъ числа самыхъ великихъ преступленій: и подъ симъ именемъ заключаются не только смертоубійства, учиненныя людьми изъ народа; но и того же рода насилія, сдѣланныя особами, какого бы происшествія и достоинства они ни были.

долгѣ, и поставляя на ихъ мѣсто право сильнаго... Нѣтъ свободы тамъ, гдѣ законы дозволяютъ, чтобы человѣкъ пересталъ быть, при нѣкоторыхъ обстоятельствахъ, лицомъ и превратился бы въ вещь: въ такомъ случаѣ сильные люди употребили бы все свое пронырство, чтобы изъ множества гражданскихъ отношеній извлечь только тѣ, которыя установлены закономъ въ ихъ пользу. Достигнуть этой цѣли, значить открыть волшебный жезлъ, превращающій гражданъ во вьючныхъ скотовъ; въ рукахъ сильнаго этотъ жезлъ есть цѣпь, сковывающая дѣйствія людей слабыхъ. Вотъ почему въ нѣкоторыхъ государствахъ, пользующихся, повидимому, полною свободой, скрывается господство силы, или же она врывается непредвидѣнно въ какой-нибудь забытый законодателемъ уголокъ, гдѣ незамѣтно развивается.. Привилегіи дворянъ составляютъ большую часть законовъ въ разныхъ государствахъ. Я здѣсь не буду разбирать, полезно ли для правительства это наследственное раздѣленіе дворянства и народа и необходимо ли оно въ монархіи: правда ли, что дворянство составляетъ среднюю власть, ограничивающую злоупотребленія двухъ крайнихъ (все это мнѣнія Монтескье)... Если даже справедливо, что неравенство неизбежно для общества, то справедливо ли, чтобы оно выражалось въ различіи группъ, а не отдѣльныхъ личностей; чтобы оно сосредоточивалось въ одной части государства, а не пронизывало его насквозь, чтобы оно непрерывно продолжалось, а не рождалось и уничтожалось поминутно *)?

*) Эту точку зрѣнія открыто защищали въ засѣданіяхъ Екатерининской комиссіи нѣкоторые депутаты (особенно городской дерптскій—Урсинусъ).

Беккариа

Право устанавливать эти законы принадлежитъ исключительно законодателю, представляющему собою все общество, связанное взаимнымъ договоромъ.

Къ этому роду преступленій (покушение на безопасность и свободу гражданъ) относится не только убійство и кража, совершаемыя простонародьемъ, но также совершаемыя вельможами и судьями, вліяніе которыхъ дѣйствуетъ на большемъ пространствѣ и съ болшею силою, разрушая между подданными всѣ понятія о справедливости и

Можетъ быть, это и были тѣ *axiomes à renverser les murailles*, которыя вычеркнуты совѣтниками Екатерины изъ окончательной редакціи Наказа. Наша домашняя теорія естественнаго права уже освоилась съ этими жгучими темами и давала на нихъ болѣе или менѣе невинные отвѣты. Упоминавшееся выше руководство Золотницкаго, напр. совершенно спокойно разсуждало о «домовомъ подданствѣ» «совершенномъ» и «несовершенномъ», легко находя первому «мѣсто въ самомъ натуральномъ состояніи» и колеблясь только относительно второго, которое, какъ будто, «въ натуральномъ состояніи изъ начала простаго общества не явствуется, по причинѣ всѣмъ свойственнаго общаго равенства». Но и общее равенство не мѣшало выводить изъ «натуральнаго состоянія» происхожденіе сословныхъ привилегій. «Хотя всѣ люди въ натуральномъ состояніи между собой равны, однако, не всѣ достойны равнаго мнѣнія, чести и похвалы. Ибо равными только для того называются, что имѣютъ одни права и обязательства, но не всякъ имѣетъ тѣ совершенства, отъ которыхъ достоинство мнѣнія, чести и похвалы зависитъ».

Въ предполагавшемся собраніи депутатовъ всѣ эти деликатные вопросы, поставленные жизнью, но замалчиваемые политикой и школьной теоріей, должны были выплыть наружу. Но безъ собранія депутатовъ нельзя было обойтись. Екатерина только что считала необходимымъ разглашать «на рынкахъ» проекты законовъ, претендовавшихъ на долговѣчность; она только что прочла у Беккаріа прозрачный намекъ, что «счастливо было бы челоуѣчество, если бы сразу ему были предписаны законы монархами, которыхъ мы теперь видимъ на престолахъ Европы» и что при этомъ слѣдовало бы выслушать «всегда откровенный голосъ народа», заглушаемый второстепенными чиновниками, «болѣе жестокими, потому что менѣе обезпечены» (мысль объ этомъ «средостѣнни» особенно понравилась императрицѣ, см. Наказъ). «Философски» настроенная Екатерина не могла, наконецъ, остаться позади своихъ предшественниковъ на престолѣ, поддерживавшихъ безъ всякихъ теорій традицію XVII вѣка: вызывать для составленія Уложенія депутатовъ отъ разныхъ сословій. Безконечныя комиссіи, тщетно рѣшали всю первую половину вѣка эту непосильную задачу. Послѣдняя изъ нихъ (1754), послѣ безплодныхъ усилій—заставить работать на себя канцеляріи присутственныхъ мѣстъ—сама пришла (1761) къ мысли подкрѣпить себя, «по примѣру прежде сочиненнаго въ 1649 году Уложенія», выборными отъ дворянъ и купцовъ. Въ первой половинѣ вѣка всѣ попытки этого рода (1722, 1728, 1730) потерпѣли неудачу: вмѣсто «добрыхъ и знающихъ людей» провинція посылала въ Петербургъ старыхъ и увѣчныхъ,—отчасти потому, что формально относилась къ требованіямъ правительства и смотрѣла на посылку депутатовъ, какъ на досадную повинность, отчасти же потому, что подходящихъ людей и не было среди помѣщиковъ, оставшихся жить въ своихъ дерев-

няхъ (стр. 196, 218). Въ срединѣ вѣка провинціальное общество все еще не сложилось: оно появилось лишь въ результатѣ сословныхъ успѣховъ въ вѣкъ Екатерины. Но въ провинцію все-таки чаще стали заглядывать офицеры, побывавшіе за границей (въ Семилѣтнюю войну), получившіеся въ школѣ. Кромѣ столичныхъ модъ и вольныхъ нравовъ, они завозили съ собой иной разъ и печатную книжку, и темы для «ученыхъ и важныхъ разговоровъ» о поэзіи, о литературѣ, словомъ, о богѣ или менѣе отвлеченныхъ предметахъ. Назначая въ 1761 г. выборы депутатовъ въ комиссію 1754 года сенатъ считъ возможнымъ заговорить съ провинціальными избирателями совершенно необычнымъ до тѣхъ поръ языкомъ: работа надъ уложеніемъ не есть повинность, а общественный долгъ. «Какъ сочиненіе Уложенія для управленія всего государства весьма нужно, слѣдственно всего общества и трудъ въ совѣтахъ быть къ тому потребенъ; и потому всякаго сына отечества долгъ есть совѣтомъ и дѣломъ въ томъ помогать». Сенатъ надѣется, что избранные не только не откажутся, но охотно понесутъ «всѣ затрудненія и убытки», и не для того только, чтобы «получить награжденіе за излишніе труды», но и «чая незабвенную въ будущіе роды о себѣ оставить память». Это — языкъ Екатерининской комиссіи.

Приглашенные Елизаветой депутаты начали работать уже при Екатеринѣ: къ двумъ составленнымъ канцелярскимъ путемъ (1755) главамъ законопроекта (судебные и уголовные законы: послѣдніе, по преданію, поразили Елизавету своей жестокостью и удержали ее отъ подписанія проекта) они прибавили третью—о правахъ сословій, во многомъ сходную съ депутатскими наказами и съ выработанными Екатерининской комиссіей законопроектами о сословіяхъ. Теперь, эти депутаты и комиссія должны были уступить мѣсто Екатерининскимъ.

Такимъ образомъ, и цѣль (кодификація), и средство (участіе выборныхъ), и даже общее направленіе работы (реформа уголовного законодательства въ гуманномъ и сословнаго въ дворянскомъ духѣ)—все это Екатерина получила готовымъ отъ своей предшественницы. Если, тѣмъ не менѣе, она говорила и думала, что затѣваетъ нѣчто, совершенно новое и до сихъ поръ небывалое, то это нельзя объяснить *только* какъ сознательный обманъ изъ самолюбія или какъ добросовѣстное заблужденіе по незнанію прецедентовъ, намъ теперь лучше извѣстныхъ. Екатерина могла дѣйствительно утверждать, что открываетъ совершенно новый путь,—и не потому, что она провозглашала, «блаженство всѣхъ и каждаго», какъ высшую задачу законодательства: такого рода утвержденія можно, пожалуй, услышать и отъ власти, собиравшей земскіе соборы XVII вѣка (и тогда выборные отъ всей земли должны были рассказать «всякія ихъ нужды и тѣсноты... и размышляти ко всему добру, чтобы всѣ люди государства жили въ покоѣ и въ радости»); но свое законодательство она впервые хотѣла

основать на сознательной теоріи, на той «истинѣ», которая «свѣтитъ какъ молнія среди продолжительной и мрачной ночи, удручающей людей», по счастливому выраженію Беккаріа. Каковы бы ни были личныя мотивы молодой государыни, искала ли она «любви» или «славы» въ «довѣрїи народа».—мы можемъ повѣрить, что ея сердце билось сильнѣе, когда у того же Беккаріа она читала эти строки: «слово мудреца слишкомъ слабо, чтобы противостоятъ гвалту и крикамъ людей, руководимыхъ слѣпою привычкою...; (но) если бы истина могла, несмотря на безконечныя препятствія, которыя удаляютъ ее отъ монарха, даже противъ его воли.—достигнуть до его престола, онъ долженъ понять, что она высказываетъ ему тайныя желанія всего народа: онъ долженъ понять что слава его заглушитъ кровавую славу завоевателей и что справедливое потомство поставитъ его выше миролюбивыхъ Титовъ, Антониновъ и Траяновъ». «Слово мудреца» дошло до престола Екатерины; до него дойдутъ и «тайныя желанія народа». Екатерина была права; это было «не дурное честолюбіе»: поставить пирамиду своего законодательства выше траяновой колонны.

Наказы, привезенные съ собой депутатами изъ провинціи, свели Екатерину съ ея неба на землю. На этой землѣ она все прочнѣе укрѣплялась, по мѣрѣ того, какъ развертывалась передъ ней поставленная ею пьеса. Прошло немного времени, и Наказъ началъ ей представляться «болтовней»; этой болтовнѣ она предпочитала трезвое, дѣловое содержаніе «Учрежденія о губерніяхъ». Какую роль сыграли въ этомъ переворотѣ депутатскіе Наказы, и дѣятельность созванной Екатериной комиссіи?

Перечитывая эти указы теперь, мы можемъ сами видѣть, что они развернули передъ Екатериной, дѣйствительно, ужасающую картину. Созывая свою Комиссію, она знала людей, но еще не знала Россіи. Россію заслонялъ отъ нея небольшой кругъ молодого дворянства, болѣе или менѣе проникнутаго или способнаго проникнуться тѣми же теоріями и идеями, какими увлеклась императрица. Въ провинціи люди изъ этого интеллигентнаго круга были случайными гостями. Выбравъ своими депутатами тѣхъ изъ нихъ, которые не попали въ число депутатовъ отъ центральныхъ учрежденій, провинціи замаскировала нѣсколько своихъ естественныя взгляды и вкусы, но не могла замаскировать ихъ надолго. Въ наказахъ и преніяхъ—украшенія постепенно отпали, и выступила на первый планъ неприкрашенная дѣйствительность. Было бы нелѣпо утверждать, что съ теоріей эта дѣйствительность ничего общаго не имѣла: при всѣхъ своихъ недостаткахъ, политическая теорія XVIII вѣка была все-таки достаточно тонка и гибка, чтобы не спасовать передъ объясненіемъ русской дѣйствительности. Законодатель-практикъ, прочитавшій всѣ депутатскіе указы, не могъ бы написать лучшей и болѣе близкой къ жизни страницы, чѣмъ та страница Беккаріа (см. стр. 262), которую, именно, въ виду этой чрезмѣрной близости, при-

шло съ выкинуть изъ Наказа. Но серьезное приложеніе *такой* теоріи къ практикѣ, требовало горіздо бѣльшей ломки, чѣмъ могла предпо- лагать императрица на основаніи своего знакомства съ придворнымъ кругомъ русскаго дворянства. Съ *этимъ* кругомъ можно было спокойно говорить о самыхъ страшныхъ вещахъ: мы видѣли, что здѣсь сумѣли, не обижая себя, примирить передовыя теоріи естественнаго права съ явленіями русской дѣйствительности. Другое дѣло, когда сама эта дѣйствительность загорела отъ своего лица. Тутъ уже не было мѣста компромиссу: нужно было рѣшиться на выборъ: и выборъ, по условіямъ времени, не могъ быть сомнителенъ.

Что же сказала и обнаружила эта Комиссія, дѣйствительно, молніей среди ночи, освѣтившая современную дѣйствительность и начавшая собой эру, если не «блаженства всѣхъ и каждаго», то сознательной общественной жизни въ Россіи?

Наказы показали, прежде всего, что всѣ государственные и обще- ственные успѣхи, достигнутые Россіей въ теченіе вѣковъ, ограничи- ваются поверхностью и что въ своей глубинѣ эта жизнь недалеко ушла отъ той картины, которую мы видѣли въ памфлетѣ Ивашки Пересвѣ- това. До деревни не дошелъ еще ни судъ, ни администрація: учреж- денныя правительствомъ судебныя и административныя власти въ нее не проникаютъ, и населеніе, безъ различія сословій, остается безъ всякой защиты закона. За отсутствіемъ этой защиты, борьба силь- наго и слабого ведется здѣсь въ формахъ, свойственныхъ самому примитивному обществу. «Сколько ни предписано законовъ, съ угро- женіемъ наихвосточайшихъ штрафовъ, но вкоренившаяся междоусобная наглость и самовольство не истребляются, что главнѣйшее зло обще- ству; ибо сильный безсильнаго, богатый небогатаго, *кто съ кого смо- жетъ, тотъ того и разоряетъ*». «Слабый сильному всегда лучше усту- пить, нежели начать продолжительное и для себя разорительное дѣло». Подобныя замѣчанія не разъ попадаются въ наказахъ. Противъ этого «главнѣйшаго зла» и направленъ единодушный вопль, который несется изъ провинціи въ наказахъ. Провинція жаждетъ получить, прежде всего, судъ и управленіе, *близкое* къ населенію и доступное для него. Избиратели хлопчуть, чтобы имъ дали возможность у себя дома со- вершать и свидѣтельствовать всяческіе документы гражданскаго права, размежевывать своими, мѣстными геодезистами спорныя земли и на- ходить у себя подъ бокомъ, въ ближайшемъ городѣ, нужныя справки въ юридическихъ документахъ, хранившихся до сихъ поръ исключи- тельно въ вотчинномъ архивѣ древней столицы. Дворянство добивается, чтобы мелкія сельскія ссоры о потравахъ, порубкахъ и всевозможныхъ захватахъ можно было рѣшать сокращеннымъ словеснымъ судомъ, съ примѣненіемъ немедленнаго слѣдствія на мѣстѣ, по живымъ слѣдамъ, — такъ какъ, по странному юридическому недоразумѣнію, петровская «форма суда» передвинула судебное слѣдствіе къ концу процесса, — послѣ судебного разбирательства.

Населеніе хочетъ также у себя дома учиться, лечиться, пользоваться кредитомъ: оно требуетъ устройства провинціальныхъ школъ, банковъ, аптекъ и докторовъ. Потомъ, почти столь же единодушно, но все-таки на второмъ мѣстѣ сравнительно съ главной насущной потребностью въ близкомъ судѣ и власти,—дворянскіе указы требуютъ, чтобы этотъ судъ и управленіе были устроены на началахъ *дворянскаго выборнаго самоуправленія*. Предлагаемыя дворянствомъ формы расходятся между собой; одни желаютъ товарища воеводы сдѣлать выборнымъ, другіе—возобновить для этого должность петровскаго ландрихтера или создать новую должность «опекуна»; третьи хотятъ сохранить выбраннаго для баллотированія депутатовъ «предводителя»; четвертые предлагаютъ раздѣлить провинцію на земскіе участки и назначить въ каждомъ «земскихъ судей» съ административно-судебными полномочіями. Одинъ указъ вспоминаетъ даже губныя учрежденія Грознаго. Собранія дворянъ, для выбора и контроля выборныхъ, для содѣйствія уголовному слѣдствію и преслѣдованію, предполагаются сами собою. Въ нѣкоторыхъ указахъ дальше этого и не идетъ дворянское классовое самосознаніе. Но чаще встрѣчаемъ признаки того, что уже и провинціальное дворянство, вслѣдъ за столичнымъ, начинаетъ сознавать свое привилегированное положеніе и провикаться корпоративнымъ сословнымъ духомъ. Прежде всего родовое дворянство настойчиво стремится замкнуться отъ новаго чиновнаго дворянства петровской табели. Старшая братья не хочетъ признавать дворянства по чину, а лишь по диплому (т.-е монаршему пожалованію); она особенно негодуетъ на то, что новые пришельцы «дѣлаютъ дворянству великій подрывъ въ покупкѣ деревень», и набиваютъ цѣну. Помимо разсчета выгоды, тутъ однако говоритъ и новая въ дворянствѣ чувствительность къ вопросамъ сословной чести. Если нѣкоторые избиратели хлопчутъ еще, по старому обычаю, о денежныхъ штрафахъ за дворянское «безчестье», то другіе уже протестуютъ: «дворянство честь свою съ деньгами равнять не могутъ». Дворяне считаютъ унижительнымъ сидѣть въ одной комнатѣ съ «подлыми» и требуютъ отвода особыхъ помѣщеній для себя въ правительственныхъ канцеляріяхъ. Во имя того же чувства они протестуютъ противъ осмотровъ на заставахъ, противъ обысковъ и арестовъ въ собственныхъ усадьбахъ. Въ связи съ тѣмъ же сословнымъ духомъ развивается понятіе о почетности и обязательности общественной службы, особенно выборной. Если одни указы заранѣе хлопчутъ о казенномъ жалованьѣ для будущихъ выборныхъ судей, то другіе прямо объявляютъ: «какъ предводитель, такъ и судьи должны служить обществу изъ одного любочестія и для общественной пользы»; въ выборную должность избираются дворяне «не въ службу, но потому только, что всякій сынъ отечества должность сію для общей пользы и покоя исполнить не отречется (ср. стр. 264 указъ сената 1761)». Правда, это пониманіе дѣла, очевидно, внушается сверху. «Не

смотря на чинъ и званіе,—проговаривается одинъ наказъ,—каждый, почитая за необходимость, какъ патріотъ отечества, служить определенное время для общества долженъ,—*такъ какъ въ нынѣшнемъ манифестѣ о выборѣ предводителя и депутата предписано*.

Гораздо охотнѣе дворянство стремится «отличить» себя отъ прочихъ сословій—расширеніемъ старыхъ привилегій и дарованіемъ новыхъ. Не въ примѣръ другимъ, оно требуетъ освобожденія отъ всѣхъ тѣхъ стѣсненій въ передачѣ владѣльческихъ правъ на крестьянъ и земли, которыя еще уцѣлѣли отъ старой московской регламентаціи службы; оно желаетъ получить полную свободу завѣщанія, которое, однако, съ точки зрѣнія тогдашняго естественнаго права, «едва можетъ почитаться натуральнымъ способомъ переносенія своего владѣнія къ другому». Дворяне хотятъ также освободить свою собственность отъ податей и обязательствъ, наложенныхъ новымъ петровскимъ законодательствомъ (ограниченіе правъ на лѣса, минеральныя богатства, винокуреніе; налогъ на бани). Особенно же настойчиво хлопчутъ они о запрещеніи другимъ сословіямъ владѣть крѣпостными и о закрѣпленіи за ними самими ихъ крѣпостныхъ новыми строгими мѣрами. Штрафъ за приѣмъ бѣглыхъ долженъ быть увеличенъ съ 10 до 100 или 200 рублей; правительство должно облегчить преслѣдованіе бѣглыхъ или даже взять его на себя; должно зачитать въ рекруты потерянныхъ и сосланныхъ помѣщикомъ крестьянъ.

Мы видѣли, что Екатерина еще великой княгиней готова была пойти на компромиссъ съ рабовладѣльцами въ крестьянскомъ вопросѣ и предвидѣла ихъ сопротивленіе. Въ дальнѣйшихъ бесѣдахъ и перепискѣ (съ И. П. Елагинымъ, Д. А. Голицынымъ) она окончательно утвердилась на мысли, что собственность полезна и даже необходима для экономическаго развитія страны, но что дать крестьянамъ свободу и собственность сразу, общимъ закономъ, — эльза—не только на земляхъ помѣщиковъ, которымъ надо предоставить въ этомъ отношеніи полную свободу, но даже и на дворцовыхъ земляхъ, гдѣ общая реформа тоже будетъ небезопасна для помѣщиковъ. Дѣло свелось, на первый разъ, къ подготовкѣ маленькаго опыта на землѣ Григорія Орлова, гдѣ «собственность и свобода» должны были осуществиться въ видѣ наследственной аренды за определенныя повинности, по образцу остзейскихъ крестьянъ;—и даже въ этомъ видѣ остались въ проектѣ; къ скромному запросу по адресу вновь учрежденнаго Вольнаго Экономическаго Общества: въ чемъ именно, въ движимости или въ недвижимости должна состоять крестьянская собственность; и, наконецъ, къ нѣсколькимъ робкимъ выпискамъ изъ Монтеस्कье, наполовину вычеркнутымъ изъ Наказа до его изданія—объ огражденіи личности и собственности крестьянъ отъ произвола и насилія владѣльцевъ. Прежде однако же, чѣмъ подоспѣли отвѣты на тему, поставленную Экономическимъ Обществомъ нѣсколько смѣлѣе Екатерининскаго вопроса, Екатерина должна

была убѣдиться, что самые разговоры о какихъ бы то ни было переменѣхъ считаются опасными и что, вмѣсто компромисса, дворянство требуетъ безусловнаго и торжественнаго подтвержденія своихъ владѣльческихъ правъ. Наказы заявляли, что «люди и крестьяне нынѣ помѣщикамъ своимъ послушаніе по нѣскольку уменьшаютъ», что «многіе, а особливо въ ночное время, въ домахъ своихъ не бываютъ, а укрываютъ себя въ неизвѣстныхъ никому мѣстахъ», или «страха ради по полугоду и болѣе находятся въ городахъ», такъ какъ бѣглые крѣпостные, «кого изъ тѣхъ помѣщиковъ въ домахъ своихъ застанутъ, мучатъ злодѣйски, жгутъ огнемъ, рѣжутъ и на части разрубаютъ, а дома ихъ выжигаютъ» *). Въ виду этого дворяне «всеподданнѣйше просили, дабы въ сохраненіе древняго узаконенія дворянскіе люди и крестьяне въ подлежащемъ повиновеніи, яко своимъ господамъ, были, и о томъ въ нынѣ сочиняемомъ проектѣ новаго уложенія подтвердить съ такимъ объявленіемъ, что узаконенная древле помѣщичья власть надъ ихъ людьми и крестьянами не отъемлетъ, безотмѣнно какъ донынѣ была, такъ и впредь будетъ». Тѣ 500 крестьянскихъ прошеній, которыя Екатерина привезла съ собой изъ путешествія по Волгѣ въ Москву, къ самому открытію засѣданій Коммиссіи, были слишкомъ краснорѣчивою иллюстраціей къ свѣдѣніямъ наказовъ. Знаменитая нервная реплика Екатерины поэту Сумарокову («и бываютъ—т. е. помѣщики—отчасти зарѣзаны отъ своихъ» и т. д.) доказываетъ, что императрица отнюдь не представляла уже себѣ деревенскаго сожительства сословія въ видѣ счастливой идилліи. Но практическимъ результатомъ этого яснаго пониманія дѣла на первый разъ оказалось лишь запрещеніе крестьянамъ жаловаться и военныя экзекуціи. Мы знаемъ, что Екатерина не любила колебаній въ политикѣ.

Другимъ тяжелымъ ударомъ, который дѣйствительность нанесла гуманнымъ намѣреніямъ императрицы, было отношеніе наказовъ къ ея попыткамъ смягчить уголовную процедуру. Уже въ 1763 г. Екатерина успѣшила распорядиться, чтобы въ случаѣ признанія преступника судьи не пытали его (для открытія сообщниковъ или другихъ преступленій, въ которыхъ онъ не обвинялся) и чтобы вообще чиновники мелкихъ городовъ («приписныхъ») не прибѣгали къ пыткамъ. Изъ Новгородскаго, изъ Бѣлозерскаго, изъ Опочецкаго, изъ Чухломскаго уѣзда раздались въ отвѣтъ на это—требованія, чтобы пытать по старому, и заявленія, что «избѣжать не можно, дабы не узаконить жесточайшихъ и безпощадныхъ истязаній». Алатырское дворянство поясняло императрицѣ, что только «просвѣщенный и политизованный народъ» можетъ сознаваться безъ пытки, «а Россійскій народъ, когда который сдѣлается злодѣемъ, то уже такое окамененное сердце и духъ

*) О настроеніи крестьянъ послѣ манифеста Петра III о вольности дворянства см. Очерки, I, 214 (4 изд.).

сугубый имѣеть, что не только священнику, но и въ розыску, когда его пытають, правды не скажутъ». И полуграмотное данковское дворянство коснѣющимъ языкомъ лепетало вслѣдъ за другими: «а вслучаехъ по законамъ Ея императорскаго величества осудившихъ наказания публичнаго кнутомъ і смертные казни благоволено было чинить встрахъ другимъ втехъ местахъ, где кто какое злодѣйство учинили, въ селахъ и деревняхъ... чтобъ всѣ въ сотнѣ и приходѣ на ту экзекуцію къ тому дню сходились и всѣ неотмѣнно были во объявленное мѣсто для усмотрѣнія преступниковъ и злодѣевъ наказанія и казни... чтобъ лутче можно чрезъ тотъ страхъ искоренить беззаконныхъ злодѣевъ... что можетъ страхъ и слухъ зараженнымъ въ сердцахъ преступникомъ находится въ глазахъ ихъ быть можетъ наказаніе ихъ понятно каждому»...

Увы, на этотъ разъ крики русской провинціи должны были напомнить Екатеринѣ первоначальный текстъ Беккариа, смягченный ею въ § 208 ея Наказа: «На очерствѣлыя души народа, едва вышедшаго изъ дикаго состоянія, нужно дѣйствовать впечатлѣніями болѣе сильными и чувствительными; нуженъ ударъ грома, чтобы поразить льва, ибо выстрѣлъ изъ ружья можетъ только раздражить его; но по мѣрѣ развитія народа *въ условіяхъ общежитія*—возрастаетъ и впечатлительность, и вмѣстѣ съ тѣмъ должна ослабиться строгость наказаній». Призванная къ отвѣту, императрица могла бы тутъ отвѣтить только то, что она отвѣтила Сумарокову на его замѣчаніе, что «нашъ низкій народъ никакихъ благородныхъ чувствій еще не имѣеть»: «*имѣть не можетъ въ нынѣшнемъ состояніи*». Такъ, самъ собой возникалъ вопросъ, что отъ чего зависитъ; переменна «условія общежитія» отъ развитія «благородныхъ чувствій», или, наоборотъ, развитіе «чувствій» отъ перемены «нынѣшняго состоянія». Екатерина пока оставалась при либеральномъ мнѣніи: «тѣла» надо освободить прежде «душъ».

Наша характеристика положенія, опредѣлившаго участь Комиссіи объ Уложеніи, была бы неполна, если бы мы вовсе обошли молчаніемъ ту область дѣйствій Екатерины, въ которой ей было легче рѣшиться на выборъ между «интересомъ» и «справедливостью». Я разумѣю сферу внѣшней политики.

Какъ извѣстно, пути внутренней и внѣшней политики Екатерины пересѣклись. Комиссія была закрыта (или точнѣе отсрочена), потому что началась первая турецкая война, поглотившая все вниманіе императрицы. Въ новой сферѣ дѣятельности вкусы и стремленія Екатерины нашли болѣе легкое и благодарное примѣненіе. Слава завоевательницы оказалась менѣе тернистой, чѣмъ законодательные лавры, и *видъ* силы здѣсь было легче сдѣлать источникомъ силы. Вотъ почему царствованіе, начавшееся демонстративнымъ торжествомъ критическихъ идей, повернуло, затѣмъ, на путь завоевательной политики.

На первый взглядъ, и здѣсь Екатерина лишь примыкала къ пред-

шествовавшей традиціи, завершая задачи, поставленные еще московской политикой XV вѣка. Цѣли, дѣйствительно, были тѣ же. До поразительнаго сходны были отчасти и средства: я разумѣю поддержку въ Польшѣ православной партіи, достаточно слабой, чтобы она не могла держаться собственными средствами и служила постояннымъ предлогомъ къ русскому вмѣшательству. Казалось, Екатеринѣ самъ собой свалился плодъ, созрѣвшій вѣками. Въ дѣйствительности это было совсѣмъ не такъ. Исслѣдователи все настойчивѣе начинаютъ утверждать, что Екатерина протянула руку къ плоду еще несозрѣвшему и, благодаря этому, оторвала лишь часть вмѣсто цѣлаго. Во всякомъ случаѣ, несомнѣнно, что ея личное вліяніе во внѣшней политикѣ сказалось очень сильно и что главный результатъ его былъ—ускореніе *темпа* событій, создавшее очень неблагоприятную обстановку для рѣшенія поднятыхъ вопросовъ. «Горячая голова» сказалась и здѣсь. Осторожности и медленности—двухъ главныхъ чертъ старой московской политики, совсѣмъ не было въ политикѣ Екатерины.

Напомнимъ, для большей наглядности, быструю смѣну событій, въ предѣлахъ интересующаго насъ теперь промежутка времени. Екатерина дебютируетъ въ политикѣ мирными намѣреніями. Въ нихъ уже таится будущая воинственная программа, такъ какъ очень скоро обнаруживается, что поддержаніе мира есть въ глазахъ Европы *новая* цѣль *самостоятельной* русской политики, разрывающая съ системой старыхъ союзовъ и начинающая новую эру въ международномъ положеніи Россіи. Екатерина втягивается, затѣмъ, стихійно въ колею старой московской политики, но первые, слишкомъ легкіе успѣхи отуманиваютъ ей голову. Достигнутыя черезчуръ неразборчивыми средствами побѣды въ вопросѣ о диссидентахъ ставятъ въ затрудненіе само правительство: оно не можетъ удержаться на занятой позиціи, лицомъ къ лицу съ встревоженными или злорадствующими державами и національнымъ возбужденіемъ въ Польшѣ, раздраженной русской безцеремонностью. «Сила наша все можетъ,—такъ характеризуетъ это положеніе самъ исполнитель русской политики, кн. Репнинъ, изъ Варшавы,—но не только тѣмъ не утвердимъ повѣренность націи къ намъ и нашу здѣсь инфлюенцію, но, напротивъ, совсѣмъ оныя разрушимъ, оставя въ сердцахъ рану всѣхъ резонабельныхъ и достойныхъ людей, которые одни только и могутъ черезъ свой разумъ націей предводительствовать... Таковое мнѣніе произведетъ, натурально, крайнюю недовѣрку и сильно слѣдственно будетъ препятствовать къ собранію намъ, въ независимую ни отъ кого, кромѣ насъ, партію, надежныхъ и достойныхъ людей, на коихъ бы мы характеръ и на ихъ въ народѣ инфлюенцію полагаться могли. Если же нашу партію соберемъ изъ людей, кои почтенія въ націи не имѣютъ, то они намъ болѣе будутъ въ тягость, нежели въ пользу, не имѣя никакого кредита: и тако принуждены будемъ все дѣлать единственно силою. Изъ сего же произойдетъ, что

при первомъ случаѣ, при коемъ аттенція наша или силы отвращены будутъ въ другую сторону, то Польша, по безсилію только снося строгость нашего ига, тѣмъ воспользоваться захочетъ, дабы онаго избавиться... Изъясняя сіе, осмѣлюсь предложить, что наши интересы, на время какого-либо замѣшательства съ Портой, требуютъ, чтобы мы заранѣе въ Польшѣ внутренній порядокъ установили, дабы при надобности можно намъ было ей дать ту силу, которую заблагоразсудимъ... а иначе она намъ полезна быть не можетъ».

Послѣдствія осужденной Репнинымъ политики не замедлили сказаться. Замѣшательства въ Польшѣ склонили турокъ къ объявленію войны, которую Россія предвидѣла, но тщетно старалась предупредить—и должна была вести, не приготовившись, какъ слѣдуетъ. Екатерина не унывала: недостатокъ войскъ она восполнила знаменитымъ наминаніемъ Румянцеву: «не спрашивали римляне, въ какомъ числѣ противъ нихъ непріятель, но гдѣ онъ». Румянцевъ оказался на высотѣ задачи: Ларга и Кагулъ выручили императрицу и оправдали претензіи русскихъ дипломатовъ. Но это были эффекты минуты, а годы проходили, и русскія войска, несмотря на блестящее начало, не могли двинуться отъ Дуная вглубь страны: не выручала и римская доблесть. Несмотря на это, предъявленныя нами къ Турціи требованія были очень высоки, и, вопреки собственному желанію заключить миръ, Порта тянула войну. Наконецъ, чтобы выйти изъ затруднительнаго положенія, Екатерина принуждена была пополнить итоги войны вознагражденіемъ отъ Польши и для этого пригласить къ участию въ дѣлѣхъ другія сосѣднія державы. Такимъ образомъ, результатомъ злоупотребленія русской силой въ Польшѣ оказалась поспѣшная ликвидація польскаго вопроса европейскимъ концертомъ.

Ко времени открытія засѣданій комиссіи объ Уложеніи, лѣтомъ 1767 года, о такомъ вынужденномъ исходѣ русскихъ дипломатическихъ побѣдъ въ Польшѣ никто еще не думалъ. Европа, казалось, преклонилась передъ неожиданнымъ откровеніемъ русскаго могущества. Внутри государства положеніе императрицы тоже окрѣпло. Послѣ крушенія брачнаго проекта Орловыхъ, вызвавшего раздраженіе противъ нихъ въ средѣ гвардейскаго офицерства, Григорій Орловъ не могъ уже импонировать Екатеринѣ своимъ вліяніемъ на круги, возведшіе ее на престолъ. Претензіи Панина на власть были ловко устранены его приближеніемъ,—какъ Екатерина впоследствии готова была посовѣтовать Людовику XVI поступить съ Лафайетомъ. Репутація просвѣщенной законодательницы, о которой мечтала Екатерина, была заранѣе обезпечена ей Вольтеромъ. Наконецъ, «довѣріе и любовь народа», которую Екатерина рассчитывала пріобрѣсти вниманіемъ къ «народному благу» и «справедливостью», оказывались традиціонной принадлежностью высокаго званія, которое она носила: Екатерина не знала сердиться ей или умиляться, когда во время путешествія деревенскія

бабы ставили передъ ней свѣчи, крестились и клали земные поклоны. Словомъ, значительная часть внѣшнихъ побужденій къ мудрому законодательству отпала какъ разъ къ тому времени, когда легкій успѣхъ началъ отвлекать вниманіе императрицы къ дѣламъ внѣшней политики. Дѣйствія Комиссіи открывались при этомъ новомъ настроеніи, очень не похожемъ на то, когда эта Комиссія была затѣяна.

Комиссія оказалась громоздкой, сложной и трудно управляемой машиной. Она дѣлала очень серьезное дѣло, и дѣлала его очень солидно; но это было не совсѣмъ то дѣло, для котораго прочла ее императрица. Настроеніе собранія оказалось очень дѣловое, и уровень дѣловой подготовки, пониманія собственныхъ интересовъ обнаружился очень высокій. Но за то идеологія была рѣдкимъ исключеніемъ среди членовъ. И однако же, вывести отсюда, какъ вывелъ сынъ маршала Комиссіи, Бябикова, что «умы большей части депутатовъ не были еще къ тому приготовлены и весьма далеки отъ той степени просвѣщенія и знанія, которая требовалась къ столь важному ихъ дѣлу», было бы совершенно несправедливо. Краткая характеристика споровъ и взглядовъ собранія намъ это покажетъ.

Первое, что насъ интересуетъ, когда мы раскрываемъ обстоятельные протоколы засѣданій Комиссіи,—это та роль, которую играла дворянская интеллигенція въ ея дѣятельности. Мы встрѣчаемъ, дѣйствительно, въ составѣ членовъ Комиссіи почти всѣ тѣ имена, съ которыми, семью годами раньше, мы встрѣтились на страницахъ первыхъ русскихъ журналовъ. Но насъ ждетъ большое разочарованіе: въ Комиссіи первая роль принадлежитъ совсѣмъ не этому цвѣту дворянской молодежи. Она держится крайне сдержанно, говоритъ рѣдко, въ принципиальныхъ вопросахъ бѣльшею частью молчитъ и какъ бы систематически избѣгаетъ высказываться. Ближайшее объясненіе можно искать въ томъ, что, занимая часто высокія придворныя и правительственныя должности, дворянская интеллигенція чувствуетъ себя въ Комиссіи, какъ дома, и уступаетъ мѣсто гостямъ. Но тутъ есть и другой отгѣнокъ. Столичные дѣятели, видимо, лучше посвящены въ закулисную исторію Комиссіи, выступаютъ, только когда это нужно по какимъ-нибудь особымъ соображеніямъ, и предоставляютъ провинціаламъ вести горячія принципиальныя пренія, отъ которыхъ все равно не ждутъ важныхъ практическихъ послѣдствій. Бываютъ, однако же, случаи, когда и они считаютъ нужнымъ высказаться и даже снисходятъ до полемики съ рядовыми членами собранія. Въ такихъ случаяхъ представители перваго русскаго интеллигентнаго поколѣнія разочаровываютъ насъ еще болѣе. Если они высказываютъ либеральныя мысли, почти всегда можно предположить, что они хотятъ быть угодными императрицѣ, или прямо исполняютъ ея секретное порученіе. Если же они говорятъ отъ себя, то ихъ рѣчи почти всегда сводятся къ осторожной защитѣ дворянскихъ притязаній во всей ихъ широтѣ. Время, очевидно, успѣло охладить

ихъ порывы: мы узнаемъ здѣсь поколѣніе, занимавшееся журналистикой для собственной забавы (см. предыдущій очеркъ) и внесшее въ отвлеченную теорію естественнаго права практическія поправки. Мы начинаемъ понимать, почему поколѣніе пятидесятихъ годовъ не записало своихъ именъ въ исторіи русской общественности и совершенно исчезло изъ памяти потомства. Чтобы найти ихъ имена, надо перерыть словарь Новикова, записку Дмитревскаго: но и тамъ мы узнаемъ только, что всѣ эти камеръ-юнкеры и сановники когда-то въ своей молодости подавали надежды; объ исполненіи надеждъ не говорится ни слова.

Отказавшись отъ активной идейной пропаганды, они, однако, чувствуютъ неловкость передъ открытой защитой сословныхъ привилегій. Принципіальными и безусловными защитниками дворянства являются въ Комиссіи другіе люди, приближающіеся къ одному изъ двухъ крайнихъ типовъ: князя Щербатова, единственнаго теоретика аристократіи, съ жаромъ и знаніемъ полемизирующаго противъ афишированнаго либерализма императрицы, но въ тонъ ея тайнымъ симпатіямъ къ «древнимъ фамиліямъ»,—или закоренѣлаго провинціала Михайлы Глазова, который не можетъ говорить безъ брани и увеселяетъ собраніе своими яростными выходками и безтолковой аргументаціей.

Главное оживленіе и интересъ преніямъ придаетъ присутствіе въ собраніи многочисленной антидворянской группы городскихъ депутатовъ. Трудно сказать, насколько намѣренно, но этихъ представителей средняго рода людей оказалось въ комиссіи больше, чѣмъ дворянскихъ депутатовъ (207 противъ 160). Дѣло шло для нихъ о самыхъ жизненныхъ интересахъ, затронутыхъ претензіями дворянства. Уже проектъ, выработанный предыдущей комиссіей, сильно стѣснялъ торгово-промышленный классъ въ пользу дворянства; теперь, изъ наказовъ и мнѣній екатерининскихъ депутатовъ городскіе депутаты «съ прискорбіемъ усмотрѣли, что русскому купечеству готовится большое отягощеніе», и приготовились къ серьезной борьбѣ. Сильный подъемъ промышленной жизни во время Екатерины (см. «Оч.». I, 86, 4 изд.) отчасти обострилъ, отчасти создалъ вновь антагонизмъ между торгово-промышленнымъ и земледѣльческимъ классомъ. Въ деревнѣ значительно развился отхожій промыселъ, кустарничество, скупка и перепродажа крестьянами-кулаками крестьянскихъ продуктовъ. Борьба шла здѣсь за роль скупщика, которую купцы хотѣли отнять у крестьянъ, а крестьяне—удержать за собой. Въ обратномъ направленіи, отъ города къ деревнѣ, развивалась посредническая роль мелочного торговца, по всѣмъ правамъ принадлежавшая купечеству, но постоянно ускользавшая отъ него, благодаря сельскимъ ходябщикамъ и ярмарочнымъ торговцамъ. Въ обоихъ случаяхъ завоевать посредническую роль въ торговлѣ для крестьянъ—являлось прямой выгодой для ихъ владѣльцевъ, облагавшихъ такихъ крестьянъ высокимъ оброкомъ или вкладывавшихъ въ ихъ торговлю собственный капиталъ. Понятно, почему дворянскіе депутаты, не ща-

дившіе красокъ для изображенія лѣности, распущенности и всевозможныхъ пороковъ своихъ крѣпостныхъ крестьянъ, вдругъ становились ихъ горячими защитниками противъ нападеній купечества и начинали въ такихъ же яркихъ краскахъ, — даже съ «великимъ движеніемъ духа» — изображать печальное положеніе крестьянства. Существовалъ и другой пунктъ, на которомъ интересы дворянства и купечества сталкивались уже непосредственно. Какъ только фабричное производство начало приносить выгоды, появилась масса фабрикъ, основанныхъ помѣщиками и работавшихъ крѣпостнымъ трудомъ: петровской посессионной фабрикѣ помѣщичья крѣпостная фабрика грозила серьезнымъ подрывомъ. Вотъ почему въ вопросѣ о владѣніи фабриками загорѣлась особенно оживленная перестрѣлка въ Комиссіи. Обѣ стороны требовали запрещеній и не могли сойтись ни на какомъ компромиссѣ. Одно это обстоятельство располагало горожанъ къ постоянной и настойчивой оппозиціи противъ требованій дворянства.

Была еще группа въ комиссіи, не такая многочисленная, какъ предыдущая, и не такая однородная по своимъ интересамъ: она занимала промежуточное положеніе, примыкая по разнымъ вопросамъ то къ той, то къ другой изъ предыдущихъ группъ. Это были одиодворцы и другіе мелкіе служилые люди. Противъ дворянства ихъ настраивала претензія послѣднихъ — отгородиться высокой стѣной монаршаго пожалованія отъ массового вторженія въ дворянскую среду всевозможныхъ разночинцевъ путемъ выслуги чина. Но та же надежда сдѣлаться самимъ дворянами отчасти и сближала эту группу съ дворянствомъ. Противъ купечества ихъ возстановляло желаніе послѣдняго отобрать и у разночинцевъ всякіе торги и промыслы: разночинцамъ доходы отъ промышленныхъ занятій были, между тѣмъ, еще нужнѣе, чѣмъ крестьянамъ, такъ какъ здѣсь количество лицъ, потерявшихъ землю и принужденныхъ кормиться промыслами, было гораздо больше.

Въ одномъ только вопросѣ представители разныхъ сословій оказались единодушными между собой и согласными съ взглядами императрицы. Остзейскіе, финляндскіе, малороссійскіе и смоленскіе депутаты пріѣхали въ Комиссію съ твердымъ намѣреніемъ — не считать ея дѣла своимъ собственнымъ. «Блаженству всѣхъ и cadaго» они предпочитали сохраненіе старыхъ привилегій, укрѣпленныхъ за ними договорами, на основаніи которыхъ они присоединены были въ свое время къ Россіи. Екатерина ясно понимала, въ чемъ дѣло, и давно уже составила себѣ опредѣленный планъ дѣйствій. «Нарушить (привилегіи) отрѣшеніемъ всѣхъ вдругъ — весьма непристойно бы было, однакожь и называть ихъ чужестранными... есть больше, нежели ошибка, а можно назвать съ достовѣрностію глупостію... Сіи провинціи надлежитъ легчайшими способами привести къ тому, чтобы онѣ обрусѣли». Эти слова инструкціи генераль-прокурору написаны въ 1764 г. Но въ Комиссіи Екатерина должна была говорить другимъ языкомъ. Она обидѣлась за

свои просвѣщенные принципы. «Чтобъ лифляндскіе законы лучше были, нежели наши будутъ,—тому статья нельзя; ибо наши правила само челоуѣколюбіе писало, а они правилъ показать не могутъ. и сверхъ того ивыя ихъ узаконенія наполнены невѣжествами и варварствами. И такъ, предохраняя себя, торжественно они просятъ: мы хотимъ, чтобы насъ смертью казнили, мы просимъ пытокъ; мы просимъ, чтобъ отъ непрерывной ябеды наши суды никогда не были окончены... Просвѣщенному свѣту останется судить о подобныхъ неистовствахъ». Такия мысли Екатерина распорядилась внушить въ Комиссіи «кому благопрістойнѣе, а лучше, если бы былъ кто-нибудь изъ знати». Однако же, тонкая работа императрицы не понадобилась. Собраніе обидѣлось требованіями окраинныхъ депутатовъ не меньше императрицы, но выразило эту обиду грубѣе и откровеннѣе. «Побѣжденные» не должны имѣть преимущества надъ «побѣдителями»; а государь можетъ сдѣлать, что хочетъ: слѣдовательно, законы должны быть одинаковые для всѣхъ. Такова, въ главныхъ чертахъ, аргументація ораторовъ въ собраніи Екатерина не могла не почувствовать, какъ, тормозя всѣ планы ея, когда дѣло шло о политикѣ внутренней, депутаты готовы были развязать ей руки и идти сами дальше ея въ національномъ вопросѣ. Это было предвкушеніемъ того успѣха, который ожидалъ императрицу въ мнѣніи самого общества, какъ только свои мечты и усилія она перенесетъ въ область внѣшней политики.

Такова была та сложная среда, не приспособленная, быть можетъ, къ осуществленію задачъ Екатерины, но очень способная и готовая стремиться къ осуществленію своихъ собственныхъ. Разъ государыня «удостоила» депутатовъ «не только объявлять о своихъ нуждахъ, но и быть еще судьями разсматриваемыхъ общенародныхъ дѣлъ»,—они, конечно, не считали «возможнымъ гражданину умолкнуть». Но довольно естественно, что обсужденіе «общенародныхъ дѣлъ» они вели съ точки зрѣнія своихъ групповыхъ интересовъ. Это-то и лишило возможности императрицу и ея депутатовъ сговориться другъ съ другомъ.

Черезъ свою интеллигенцію императрица не разъ пыталась навести собраніе на обсужденіе интересовавшихъ ее вопросовъ: о пыткѣ и крѣпостномъ правѣ. Но первый вопросъ почти не нашелъ отклика среди депутатовъ, если только не считать нѣсколькихъ случайныхъ обмолвокъ провинціаловъ въ пользу тѣлесныхъ наказаній, что вызвало лишь рѣзкіе призывы къ порядку и ироническія напоминанія объ идеяхъ Наказа со стороны дворянской интеллигенціи. По вопросу о крѣпостномъ правѣ и объ ограниченіи помѣщичьей власти застрѣльщикомъ выступилъ тоже одинъ интеллигентный дворянинъ,—провинціалъ, но, какъ мнѣ кажется, инспирированный властью *). Въ пику дворянству, депутаты другихъ сословій отнеслись къ нему довольно сочувственно, но со

*) Коробьинъ, которому и потомъ Екатерина поручила защиту «правъ благородныхъ» и который голосовалъ часто вмѣстѣ съ дворянской интеллигенціей.

стороны дворянства поднялась такая буря, которая должна была еще разъ убѣдить Екатерину, что самыя скромныя попытки ея въ этомъ направленіи натолкнутся на самое упорное сопротивленіе. Екатерина сдѣлала, однако, еще попытку: въ проектъ о правахъ благородныхъ, выработанный частной комиссіей, введено было глухое указаніе на возможность устройства новаго типа «свободныхъ деревень», которыя предполагалось снабдить разными льготами по правовому положенію. Но дворянство, и именно интеллигентное, на этотъ разъ предпочло не понять намека, дѣйствительно не особенно яснаго.

На разборѣ этого «проекта правъ благородныхъ» главныя сословныя группы собранія дали, наконецъ, другъ другу генеральное сраженіе, которое должно было наглядно доказать императрицѣ, что можно и чего нельзя добиться отъ Комиссіи. Уже первая попытка маршала—ограничить собраніе *суммарной* оцѣнкой проекта—вызвала протестъ со стороны обѣихъ боровшихся другъ съ другомъ группъ. Небольшая группа дворянъ-писателей и интеллигентовъ коротко, но рѣшительно попросила «времени на размышленіе». Представители разночинцевъ, интересы которыхъ особенно были задѣты проектомъ, еще настойчивѣе просили «дозволить: если оный (проектъ) сходствененъ съ положеніемъ нашего государства, и что больше, ежели согласенъ съ естественнымъ разсужденіемъ (изъ него разночинцы выводили требованіе о равенствѣ всѣхъ дворянъ!), то подтвердимъ и постановимъ оный непоколебимымъ; а если, напротивъ того, найдемъ въ немъ что-нибудь такое, которое для всего отечества и общаго спокойствія можетъ быть вредно, о томъ подать намъ свои примѣчанія». Маршалъ уступилъ, и рѣшительная борьба началась. Въ ней снова были подняты всѣ затруднительные вопросы и вновь возникли, вмѣстѣ съ ними, всѣ серьезныя разногласія, раздѣлявшія депутатовъ. Но теперь боровшіяся партіи сосчитались и выступали сплоченными группами. Интеллигентное дворянство, защищавшее привилегіи, выставило своимъ лидеромъ Алексѣя Нарышкина, извѣстнаго намъ сотрудника херасковскихъ журналовъ: за нимъ по всѣмъ вопросамъ, крупнымъ и мелкимъ, шла тѣсная группа въ 36 человѣкъ. Гораздо импозантнѣе были группы разночинцевъ и горожанъ, боровшіяся за доступъ въ дворянство и за охрану торгово-промышленной дѣятельности отъ дворянскихъ фабрикъ и крестьянскихъ кулаковъ. Не могло быть рѣчи о дальнѣйшемъ соглашеніи по существеннымъ вопросамъ въ собраніи, гдѣ численное преобладаніе принадлежало непримиримымъ противникамъ «правъ благородныхъ». Настроеніе этого большинства и невозможность идти съ нимъ въ желательномъ для правительства направленіи особенно ярко сказались въ исторіи одной баллотировки, которая по началу казалась совершенно случайной, а своимъ исходомъ, можетъ быть, оказала рѣшительное вліяніе на судьбу комиссіи.

Въ засѣданіи 7-го августа 1768 г. дворянскій депутатъ кн. Иванъ Вяземскій выступилъ съ предложеніемъ, по внѣшности примирительнымъ.

Онъ находилъ, что проектъ дворянскихъ правъ ничего не отниметъ у тѣхъ, кто въ данную минуту чѣмъ-либо владѣетъ, что всѣ дослужившіеся «до сего времени» разночинцы. несомнѣнно, попадутъ въ дворяне и что остается ходатайствовать у императрицы о «разборѣ дворянства» и о составленіи общаго дворянскаго списка. Но въ понятіи интеллигентнаго дворянства «разборъ» соединялся съ разграниченіемъ дворянъ по разрядамъ и съ закрытіемъ дальнѣйшаго доступа къ дворянству. Предложеніе Вяземскаго, несомнѣнно, было инспирировано императрицей, но внесено было, какъ многія такія же внушенныя предложенія, такъ осторожно, что въ началѣ не возбудило ничьего особеннаго вниманія. Но это-то и оказалось опаснымъ для исхода предложенія. Въ концѣ слѣдующаго засѣданія, выслушавъ совершенно резонныя соображенія двухъ городскихъ депутатовъ, что составленіе списковъ есть дѣло герольдіи, что собраніе должно лишь установить *правила* полученія дворянства, а не заботиться о томъ, кто попадетъ въ дворянство и кто вѣтъ; что, наконецъ, предложеніе Вяземскаго явно двусмысленно и клонится къ устраненію чиновниковъ и офицеровъ отъ дворянства,—разночинцы и горожане большинствомъ 102 голосовъ противъ 18 провалили предложеніе Вяземскаго. Тогда въ слѣдующее засѣданіе явились отсутствовавшіе въ предыдущемъ члены интеллигентной дворянской группы и въ ихъ числѣ такіе рѣдкіе гости Комиссіи и близкіе люди императрицы, какъ Григорій Орловъ, Козицкій, Левъ Нарышкинъ. Предложеніе Вяземскаго было поставлено вновь, подъ тѣмъ неловкимъ предлогомъ, что герольдія требуетъ списковъ у Комиссіи, а Комиссія сама не можетъ ихъ сообщить и должна всеподданнѣйше испросить ихъ у государыни. Подъ предложеніемъ Вяземскаго подписались 140 человекъ, въ томъ числѣ до десятка татаръ; новая баллотировка назначена была въ слѣдующее засѣданіе. Передъ баллотировкой маршалъ пригласилъ депутатовъ къ особому размышленію и «во время самой раздачи шаровъ не преминулъ паки напомнать, чтобы тѣ клали шары на правую сторону, которые согласны съ Вяземскимъ». Послѣ всѣхъ этихъ разъясненій и напомнаній нашлось всетаки 158 дерзкихъ смѣльчаковъ, которые предпочли лѣвую сторону правой. За Вяземскаго было подано 242 голоса.

Отсрочка засѣданій Комиссіи, четыре мѣсяца спустя, конечно, не стояла въ прямой связи съ только-что описаннымъ инцидентомъ. Изъ 160 дворянскихъ депутатовъ, 92 должны были отправиться къ дѣйствующей арміи, чѣмъ достаточно мотивировался перерывъ въ занятіяхъ Комиссіи. Но эпизодъ съ Вяземскимъ долженъ былъ показать, что Комиссія совсѣмъ не годится, какъ *machine à voter*. Какъ источникъ свѣдѣній о положеніи государства, «съ кѣмъ дѣло имѣемъ и о комъ пещись должно»,—она уже сдѣлала свое дѣло. Дѣловыми свѣдѣніями и рабочей силой депутатовъ гораздо удобнѣе было пользоваться въ многочисленныхъ частыхъ комиссіяхъ, выбранныхъ «Большою». Такимъ образомъ, созывъ вновь Большой Комиссіи былъ бы только стѣсни-

теленъ для личной инициативы императрицы, а мы знаемъ, что этой инициативой она не имѣла желанія поступиться, особенно теперь, когда убѣдилась въ упорствѣ, съ какимъ различныя сословныя группы защищаютъ свои интересы. Эра «блаженства всѣхъ и cadaго» кончилась. Когда у Екатерины вернется вкусъ къ законодательству, она будетъ искать иныхъ авторитетовъ и поставить себѣ инныя, болѣе скромныя цѣли (см. 318 и слѣд.). Но она всегда будетъ помнить о неудачѣ своего «просвѣщеннаго» законодательства, когда обстоятельства столкнутъ ее съ прямыми проявленіями русской общественной самодѣятельности.

Кромѣ общихъ сочиненій Соловьева (томы XXV—XVIII или V и VI компактнаго изданія), Брикнера (Исторія Екатерины Второй, изд. А. Суворина, съ рисунками, Спб. 1885) и Бильбасова (два тома до 1764 года) см. также двухтомную характеристику личности Екатерины и ея сотрудниковъ. *K. Waliszewski* *Le roman d'une impératrice* и *Autour d'un trône*, Paris, 1894 (10-е изд. и 5-е изд.). По случаю столѣтняго юбилея появился рядъ характеристикъ, принадлежащихъ проф. *В. О. Ключевскому*, Императрица Екатерина II (Русская Мысль, 1896, XI); *В. С. Ильникову* (Значеніе царствованія Екатерины II, Кіевъ, 1897; стр. *его же* Страница изъ исторіи Екатерининскаго Наказа, объ отмѣнѣ пытки въ Россіи); *Г. Шеретятковичу* (Значеніе царствованія Екатерины II въ русской исторіи, Одесса, 1897); *А. С. Лапто-Данилевскому* (Очеркъ внутренней политики Екатерины II, Спб., 1898); *А. А. Кизветтеру* (Историческое значеніе царствованія Екатерины Великой въ Образованіи, 1896, № 11). О современной французской литературѣ см. *Тэнъ*, Происхожденіе современной Франціи, т. I; *Лансонъ*, Исторія французской литературы, т. II, М. 1898; *Сорель*, Монтескье (два перевода подъ ред. Н. Карѣва и П. Виноградова); *Морлей*, Вольтеръ, перев. подъ ред. Кирпичникова, М. 1889 и *Штраусъ*, Вольтеръ, изд. «Книжнаго Дѣла», М. 1900. Собственноручныя замѣтки Екатерины до 1762 года изданы въ «Бумагахъ императрицы Екатерины II» академикомъ *Пекарскимъ*, т. I, Спб. 1871 (7-й томъ Сборника Русскаго Историческаго Общества), текстъ книги Беккариа «О преступленіяхъ и наказаніяхъ», сопоставленъ съ текстомъ Наказа въ книгѣ *С. Заруцкаго* (Б о пр. и нак. Спб., 1879). Гравюра по случаю изданія Наказа издана въ Исторіи Екатерины Брикнера. Наказы депутатовъ Екатерининской Комиссіи напечатаны въ томахъ IV, VIII, XIV, XXXII, LXVIII и XCIII Сборника Русскаго Историческаго Общества. Протоколы засѣданій Большой Комиссіи—въ первыхъ половинахъ тѣхъ же томовъ (кромѣ послѣднихъ двухъ). Содержаніе дворянскихъ наказовъ изложено въ статьѣ *С. Б(рюлловой)*, «Вѣст. Евр.», 1876, № 12: Общественные идеалы въ Екатерининскую эпоху. Болѣе подробное изложеніе дворянскихъ и городскихъ наказовъ, въ сопоставленіи съ законодательными мѣрами, см. въ «Законодательныхъ комиссіяхъ въ Россіи въ XVIII в.». *В. Н. Латкина*, т. I, Спб. 1887. Тамъ же и исторія предыдущихъ комиссій. Общая характеристика дѣятельности Комиссіи см. у *Сергеевича*, Лекціи и изслѣдованія, Спб. 1883, и *Дитяткина*, Екатерининская Комиссія, въ Статьяхъ по исторіи русскаго права, Спб. 1896. Отношеніе Екатерины къ крестьянскому вопросу см. въ Крестьянскомъ вопросѣ въ Россіи, *В. И. Семевскаго*, т. I, Спб. 1888. Внѣшняя политика Россіи въ началѣ царствованія Екатерины, 1762—1774, по русскимъ источникамъ, характеризуется *Н. Д. Чечулинимъ*, Спб. 1896. Донесеніе князя Репнина см. въ Сборникѣ Русскаго Историческаго Общества т. LXXXVII (1893).

IV.

Характеръ второго фазиса просвѣтительной дѣятельности Екатерины — Екатерина и европейское общественное мнѣніе этихъ годовъ — Дидро, какъ его представитель. — Его впечатлѣнія въ Россіи, уклончивость объясненій Екатерины. — Его проектъ политической реформы. — Отношеніе его и Екатерины къ религиозному вопросу. — Ультиматумъ Дидро и общее впечатлѣніе императрицы. — Послѣдствія его для вопроса о переизданіи «Энциклопедіи» въ Петербургѣ. — Екатерина и русское общественное мнѣніе — «Исправленіе нравовъ» занимаетъ мѣсто философскаго законодательства. — Попытка изданія нравовоспитательнаго журнала (Всякая Всячина). — Отношеніе къ нему общественнаго мнѣнія въ другихъ органахъ и полемика императрицы съ этими органами — Соціальная сатира Трутня и отношеніе къ ней журнала Екатерины — Споръ о границахъ, приемахъ и цѣляхъ публицистики. — Нейтральная почва въ восхваленіи «древнихъ» добродѣтелей русскихъ и въ нападкахъ на французманію. — Происхожденіе націоналистическаго протеста и карикатурныхъ типовъ сатирическихъ журналовъ. — Новиковъ пробуетъ стать на почву націоналистической карикатуры въ «Живописцѣ» — Неудачный опытъ восхваленія національных добродѣтелей въ «Кошелекѣ». — Характеръ лучшихъ журналовъ 1769—1774 гг. — Роль публициста при Екатеринѣ.

Мы переходимъ теперь ко второму фазису въ развитіи просвѣтительныхъ идей Екатерининскаго времени. Передовая мысль Европы шагнула къ этому времени далеко впередъ сравнительно съ эпохой молодости Екатерины. Напротивъ, Екатерина успѣла «обжечь себѣ пальцы» на первыхъ попыткахъ осуществленія идей своей молодости. «Духъ времени» ушелъ впередъ; духъ власти подался назадъ; такимъ образомъ разрушилась та кажущаяся гармонія между тѣмъ и другимъ, которою характеризовался первый періодъ дѣятельности Екатерины. Съ своимъ практическимъ умомъ, императрица очень скоро отдала себѣ ясный отчетъ въ этомъ внутреннемъ противорѣчій «принятой на себя роли. Но отдавать въ этомъ отчетъ другимъ, разумѣется, не могло входить въ ея планы. Такимъ образомъ, самой характерной чертой второго фазиса явилось *недоразумѣніе* во взаимныхъ отношеніяхъ общественнаго мнѣнія и власти. Общественное мнѣніе Европы ждало отъ Екатерины логическихъ выводовъ изъ первыхъ шаговъ ея реформаторской дѣятельности. Нарождавшееся общественное мнѣніе Россіи, призванное этими самыми шагами къ жизни и дѣятельности, только что собиралось заявить о себѣ. Оба оказались плохо освѣдомленными относительно истинныхъ намѣреній императрицы.

Результатомъ такого недоразумѣнія были первыя, болѣе или менѣе мягкія столкновенія императрицы съ общественнымъ мнѣніемъ. Одно изъ этихъ столкновеній—съ общественнымъ мнѣніемъ Европы, сохранялось, въ полномъ своемъ размѣрѣ, втайнѣ до самаго послѣдняго времени. Я разумѣю разговоры императрицы съ Дидро, настоящимъ депутатомъ отъ передовой Европы въ Петербургѣ. Другое столкновеніе, менѣе глубокое принципиально, но зато болѣе видное для всѣхъ и чувствительное для Екатерины,—произошло у себя дома, въ русской литературной семьѣ: оно было послѣдствіемъ попытки Екатерины—принять личное участіе въ русской журналистикѣ. Собственно хронологическій порядокъ обоихъ этихъ столкновеній былъ обратный сказанному (бесѣды съ Дидро—1773 г.; столкновеніе съ журналами—1769 г.); но мы нарушимъ на этотъ разъ хронологію и начнемъ съ болѣе принципиальнаго столкновенія, чтобы кончить болѣе жизненнымъ.

Не было человѣка въ Европѣ, болѣе способнаго выполнить единственную въ своемъ родѣ миссію—делегата европейской литературной республики при русской императрицѣ, чѣмъ Дидро. Надо было стоять въ самомъ центрѣ просвѣтительнаго движенія и сдѣлать свое имя символомъ этого движенія въ глазахъ друзей и враговъ; надо было имѣть за плечами шестьдесятъ лѣтъ и 28 томовъ «Энциклопедіи»—и при этомъ сбережь юношеское незнаніе людей и вѣру въ идеи. надо было обладать душевнымъ жаромъ и всѣми чарами увлекательной рѣчи и благородной прямоты обращенія: словомъ, надо было такъ полно и цѣльно слить свою личность съ великой цѣлью просвѣтительнаго движенія, какъ это было у Дидро, чтобы обезоружить житейскій скептицизмъ Екатерины и заставить ее выслушать все то, что, нѣсколько мѣсяцевъ подъ рядъ, отъ трехъ до пяти послѣ полудня, проповѣдывалъ ей Дидро въ своихъ монологахъ, иногда переходившихъ въ оживленные споры *). Надо отдать справедливость Екатеринѣ: она выдержала свою роль великолѣпно и ничѣмъ, ни однимъ жестомъ, ни однимъ словомъ не дала понять увлекающемуся философу, что передъ нимъ не совсѣмъ то лицо, которое онъ создалъ себѣ въ своемъ богатомъ воображеніи **). «Почему Россія управляется хуже Франціи?» спрашивалъ Екатерину ея собесѣдникъ, — и тотчасъ же отвѣчалъ самъ: «потому что свобода личности сведена здѣсь къ нулю, верховная власть слишкомъ еще сильна и естественныя права слишкомъ еще урѣзаны... Всякій произволъ дурень: я не исключая и неограниченной власти добраго, твердаго, справедливаго и просвѣщен-

*) Собственно, Дидро прочелъ Екатеринѣ рядъ записокъ, иногда переходившихъ въ наброски и конспекты для устнаго изложенія.

**) «Я больше слушала его, чѣмъ говорила,—разсказывала Екатерина впоследствии Сегюру;—кто засталъ бы насъ врасплохъ, могъ бы принять его за строгаго педагога, а меня за почтительную ученицу. Кажется, онъ и самъ такъ полагалъ». Задѣтое самолюбіе императрицы сказалось въ послѣдней фразѣ.

наго государя». — «Понимаете ли вы, что говорите съ неограниченнымъ государемъ», останавливала философа императрица. — «Да,—горячо подхватывалъ Дидро,—но съ государемъ справедливымъ, твердымъ и просвѣщеннымъ...» «Такой государь приучаетъ уважать и любить *всякаго* государя; онъ отнимаетъ у націи право судить, хотѣть или не хотѣть... Одно изъ величайшихъ несчастій, которое можетъ случиться съ свободнымъ народомъ,—это два или три царствованія подрядъ въ духъ просвѣщеннаго деспотизма. Три такихъ государя, какъ Елизавета (англійская), и англичане были бы нечувствительно поработены надолго». —И Екатерина кончала щекотливый разговоръ двусмысленнымъ согласіемъ: «и я такъ думаю (je le crois)».

Четырнадцать лѣтъ спустя Екатеринѣ пришлось слушать болѣе ловкую свѣтскую лесть, обращающуюся не къ «человѣку» въ ней, а къ «императрицѣ» и «женщинѣ». Патентованный куртизанъ, графъ Сегюръ, не могъ конечно, сдѣлать ошибки—смутить ее наивнымъ удивленіемъ передъ имъ же выдуманнми качествами и поставить ее въ неловкое положеніе какого-то небывалаго и невѣроятнаго «чуда» на престолѣ. Съ такимъ собесѣдникомъ Екатеринѣ было легче установить взаимное пониманіе, и вдвоемъ они слегка, шутя вспомнили о непрактичномъ философѣ, навязывавшемъ императрицѣ свои беспочвенныя мечтанія *). Бѣдный философъ: онъ это предвидѣлъ и съ обычной своей прямою самъ надъ собой шутить заранѣе. Было не совсѣмъ справедливо и совсѣмъ не великодушно ловить его на словѣ и отдѣлываться отъ его мечтаній простымъ повтореніемъ его же собственныхъ шутокъ. Если Екатерина замѣчала, что ея философъ говоритъ то какъ столѣтній старикъ, то какъ десятилѣтній ребенокъ,—то это вполне объяснялось характеромъ Дидро: въ кабинетѣ императрицы, какъ въ кружкѣ парижскихъ друзей, онъ отдавалъ себя всего и рѣшительно не умѣлъ удержатъ въ себѣ ни малѣйшей мысли, которая пробѣгала въ его плодовитомъ мозгу: онъ сообщалъ «все, что приходило въ голову», и даже считалъ себя обязаннымъ дѣлать это передъ *своей* императрицей—давать ей всю свою мысль безъ прикрасъ, безъ обработки. Что-нибудь можетъ пригодиться ей изъ самыхъ бѣглыхъ намековъ, гово-

*) Въ разговорѣ съ Сегюромъ Екатерина арранжировала ходъ своихъ бесѣдъ съ Дидро такъ, какъ ей хотѣлось думать, что они происходили. Сперва она внимательно слушаетъ, потомъ сразу осаживаетъ философа эффектной репликой и—«я убѣждена, что съ тѣхъ поръ онъ смотрѣлъ на меня съ состраданіемъ, какъ на узкій и вульгарный умъ; онъ говорилъ со мной послѣ того лишь о литературѣ, а политика была исключена изъ нашихъ бесѣдъ». *Dichtung* и *Wahrheit* здѣсь, какъ часто у Екатерины,—безнадежно перемѣшаны; но ясно, что и крутой переломъ въ отношеніи къ ней Дидро и внезапная перемѣна содержанія ихъ бесѣдъ сильно преувеличены въ ея рассказѣ: это своего рода реваншъ за неудачную попытку покорить философа аффектированной простотой обращенія. Обиженная неудачей, императрица принимаетъ здѣсь, заднимъ числомъ, величественную позу, утѣшающую ея обиженное самолюбіе.

рилъ онъ; а если и ничего не пригодится, она узнаетъ «мѣру» философовъ и сократитъ себѣ трудъ знакомства со всѣмъ ихъ родомъ. И та знаменитая реплика Екатерины, которую она передала Сегюру, — о «все терпящей бумагѣ», на которой работаютъ философы, и «щекотливой человѣческой шкурѣ», на которой работаетъ императрица, — эта реплика теряетъ значительную часть своего эффекта, когда узнаемъ, что здѣсь лишь скопирована собственная скромная оцѣнка Дидро, нѣсколько разъ повторенная имъ передъ императрицей. «Ничего нѣтъ легче, какъ приводить въ порядокъ государство, лежа на подушкѣ. Тутъ все идетъ, какъ по маслу. А когда приходится приняться за самое дѣло, это уже нѣчто совсѣмъ другое». Или: «это своего рода забава для вашего величества — измѣрять разстояніе между философомъ-систематикомъ, который устраиваетъ благосостояніе обществу у себя на подушкѣ, и великой государыней, которая съ утра до вечера наталкивается, при попыткѣ осуществить малѣйшее благо, на всевозможныя препятствія, понимать которыя научаетъ лишь опытъ и которыя совсѣмъ не входятъ въ расчеты бѣднаго философа». Въ бесѣдѣ съ Сегюромъ это сопоставленіе фантазера съ государственнымъ дѣятелемъ было, дѣйствительно, только «забавой»; но вообще говоря, тутъ примѣшивалось и то чувство, которое «бѣдный философъ» опять-таки самъ охарактеризовалъ всего лучше. «Когда нужно удалить отъ государей достойнаго человѣка, его выдаютъ за горячую голову, которая все можетъ перепутать».

Мы теперь сами можемъ прочесть эту тетрадку въ красномъ сафьянномъ переплетѣ, въ которой Дидро записалъ всѣ свои разговоры съ Екатериной и секретъ существованія которой императрица такъ хорошо сохранила. Философъ здѣсь, дѣйствительно, приходитъ въ отчаяніе отъ своего безсилія передъ русской дѣйствительностью. «Я принужденъ ограничиться общими взглядами, а между тѣмъ я такъ хорошо знаю, что общіе взгляды есть дѣло ординарныхъ людей, и самъ придаю значеніе лишь детальнымъ сужденіямъ, единственнымъ, которыя дѣльны и схватываютъ сущность дѣла». И онъ усиливается вникнуть въ русскую жизнь такъ глубоко, какъ это позволить ему императрица. Вождь «Энциклопедіи» слишкомъ много думалъ о социальныхъ вопросахъ и слишкомъ хорошо знаетъ исторію, — настоящую культурную исторію собственной страны, чтобы нуждаться въ комментаріи къ тому что онъ видитъ вокругъ себя въ самомъ Петербургѣ. Этотъ городъ «дворцовъ», окруженныхъ пустырями, краснорѣчиво говоритъ ему объ обществѣ, которому не хватаетъ прежде всего организующаго, связующаго общественнаго цемента. Нужны не одни «дворцы»; нужны «улицы» — рядъ частныхъ домовъ городского промышленнаго населенія, которые связывали бы «дворцы» между собою. Нужно больше, какъ можно больше населенія, чтобы люди жили ближе, тѣснѣе другъ къ другу; тогда, какъ кремни, они отшлифуются другъ о друга и созда-

дутъ жилую общественную атмосферу. Теперь же, изолированные, разбросанные, они существуютъ каждый самъ по себѣ: въ результатѣ получается отсутствіе всякихъ обязательныхъ правилъ общежитія. Взаимнаго довѣрія не существуетъ; купцы продаютъ вдесятеро дороже свои товары въ кредитъ магнатамъ, рискуя большею частью ничего не получить въ уплату. Законъ остается на бумагѣ. Правосудіемъ торгуютъ открыто. Нѣтъ общественнаго контроля, нѣтъ и чувства равенства передъ закономъ, безсильнымъ защитить слабого отъ сильнаго. Общество, только что пережившее политическій переворотъ, чувствуетъ себя такъ неувѣренно, какъ будто почва каждую минуту можетъ уйти у него изъ подъ ногъ. «Долговременная привычка къ гнету» создала общую сдержанность и недоувѣріе,—какой-то осадокъ паническаго страха въ умахъ,—«полный контрастъ той благородной и честной прямотѣ, которая характеризуетъ свободный, возвышенный и увѣренный въ себѣ складъ ума француза или англичанина». Наконецъ, въ низшихъ классахъ совершенно отсутствуетъ то чувство самоуваженія, которое можетъ быть создано только улучшеніемъ ихъ положенія, признаніемъ за ними права быть людьми, а не вещами. «Душа раба оподлена; не принадлежа самому себѣ, онъ не имѣетъ интереса о себѣ заботиться и живетъ въ грязи и нечистотѣ». «Это жилецъ, который запускаетъ непринадлежащую ему квартиру».

Эти личные впечатлѣнія, изобличающія глубокаго и тонкаго наблюдателя, Дидро старается пополнить справками и разспросами. Онъ предъявляетъ Екатеринѣ длинный списокъ вопросовъ, на которые она даетъ себѣ трудъ сама отвѣтить, но отвѣчаетъ такъ, что свѣдѣнія Дидро о Россіи увеличиваются незначительно, и притомъ не особенно надежнымъ матеріаломъ. На вопросъ, предложенный такъ недавно самой Екатериной вольному экономическому обществу, «не имѣетъ ли дурныхъ послѣдствій неимѣніе собственности крестьянами»,—Екатерина теперь отвѣчаетъ болѣе чѣмъ уклончиво: «каждое государство имѣетъ свои недостатки, пороки и неудобства». Очень оптимистичнымъ, но совсѣмъ неубѣдительнымъ выходитъ отвѣтъ на прямой вопросъ Дидро, существуютъ ли опредѣленные условія между помѣщиками и крестьянами? «Условій нѣтъ, но всякій благоразумный хозяинъ бережетъ корову, которую доить. Когда законъ молчитъ, естественный законъ занимаетъ его мѣсто,—и часто такое положеніе вещей оказывается не хуже, такъ какъ по крайней мѣрѣ оно создается естественнымъ путемъ, сообразно существу дѣла». Разъ только, отвѣчая на вопросъ о сословіяхъ въ Россіи, Екатерина увлекается и высказываетъ свое собственное настроеніе, вынесенное изъ опыта съ Комиссіей депутатовъ. Ей, очевидно, хочется тутъ убѣдить философа—стать на ея сторону во имя своихъ собственныхъ принциповъ. По ея словамъ, дворянство, горожане и крестьяне (духовенство здѣсь, какъ и въ своей Комиссіи, Екатерина игнорируетъ), «всѣ эти три класса людей, въ защиту своихъ

притязаній, потрясаютъ воздухъ самыми громкими словами: землевладелецъ взываетъ къ правамъ *собственности*; купецъ—къ правамъ *свободы*; народъ—къ правамъ *чужданности*. Послѣ этого любопытнаго, хотя не совсѣмъ спокойнаго резюме извѣстной уже намъ партійной борьбы въ Комиссіи, Екатерина развиваетъ собственную точку зрѣнія. «Чего особенно слѣдуетъ бояться—это увлечься духомъ партіи. Партійный духъ—это судья, который властвуетъ на просторѣ, пользуясь новизной просвѣщенія,—судья пристрастный, у котораго больше увѣренности, чѣмъ знанія; который упорно дѣлается за то, что ему удастся уловить въ потемкахъ, ни отъ чего не отказывается, потому что неспособенъ къ точному пониманію, и рѣдко позволяетъ себя переубѣдить, такъ какъ мнѣнія лишь тогда становятся гибкими, когда вытекаютъ изъ колебаній и когда питаются мыслью, а не темпераментомъ. Всякій законъ, изданный для *всей* націи, долженъ имѣть источникомъ *общее* благо; когда сила и невѣжество отдаляются отъ этого принципа, то получаютъ акты деспотизма и заблужденія, противъ которыхъ протестуютъ разумъ и справедливость: это дни бѣдствій, конца которыхъ люди ждутъ съ нетерпѣніемъ».

Зная, что за этой горячей тирадой противъ «партійнаго духа» немедленно послѣдовало дворянское законодательство Екатерины (Уложеніе о губерніяхъ 1775 г. и жалованная грамота дворянству 1785), можно спросить себя, что же это значитъ? Имѣемъ ли мы дѣло съ послѣднимъ воплемъ отчаянія передъ сознанной уже невозможностью законовъ для «общаго блага» и необходимостью партійнаго законодательства; или, наоборотъ, съ твердой увѣренностью, уцѣлѣвшей среди испытаній,—что «разумъ» и «справедливость» могутъ еще восторжествовать надъ «партійнымъ духомъ» господствующаго сословія, или, наконецъ, просто съ желаніемъ говорить съ философомъ на его языкѣ?

Не можетъ быть, конечно, чтобы Дидро вовсе ничего не зналъ о колебаніяхъ Екатерины. Кое-что про закулисную исторію Комиссіи долженъ былъ рассказать ему его спутникъ въ путешествіи и хозяинъ въ Петербургѣ, извѣстный намъ лидеръ интеллигентнаго дворянства, А. Нарышкинъ. Безъ этого трудно объяснить тотъ тревожный тонъ, съ которымъ Дидро проситъ Екатерину сдержать свои обѣщанія и продолжать свое покровительство Комиссіи. Противъ интригъ придворныхъ, противъ зависти, убѣжденій, просьбъ и клеветы онъ заклинаетъ ее остаться непреклонной. «Обѣщаніе,—а тѣмъ болѣе публичное обѣщаніе,—данное государемъ, должно быть священо». «Особенно пусть ваша собственная воля не нарушаетъ публичныхъ обязательствъ. Не подрывайте довѣрія, которое вамъ оказываютъ; иначе народъ перестанетъ вамъ вѣрить: оставьте недоувѣріе народа въ удѣлъ другимъ государямъ, которые вызываютъ смѣхъ своими клятвами... Если скажутъ: Екатерина II никогда ничего не обѣщала, чего бы она не сдержала, то при равенствѣ величія вы будете имѣть надъ

прусскимъ королемъ преимущество честности и доброты». «Пусть в. в. не потерпитъ, чтобы засѣданія Комиссіи и ея дѣятельность, подъ какимъ бы то ни было предлогомъ, были потревожены, ея кругъ дѣйствій ограниченъ или расширенъ, ея прерогативы увеличены или уменьшены, ея привилегіи уничтожены, ея почетная роль ослаблена. Первый толчокъ къ упадку ея будетъ уже непоправимъ. Это великое зло, когда люди знаютъ, что можно нападать на Комиссію и нападать успѣшно».

О чемъ бы ни говорилъ Дидро,—о правѣ, экономіи, финансахъ, народномъ образованіи, успѣхахъ культуры вообще, о внѣшней политикѣ,—его мысль всегда возвращается къ судьбѣ Комиссіи. Онъ ненавидитъ войну, изъ года въ годъ отвлекающую мысли Екатерины отъ законодательства. Онъ хотѣлъ бы на ея «пирамидѣ» начертать «годъ первый» (царствованія Екатерины); а между тѣмъ, «драгоцѣнные годы текутъ,—и в. в. нѣтъ возможности заняться своими великими планами для блага страны». «Мнѣ не жаль людей: люди народятся вновь; не жаль и казны: казна наполнится, но кто вернетъ народу истекшіе годы? Вотъ истинная, вознаградимая потеря, которая приводитъ въ отчаяніе всѣхъ честныхъ людей въ Европѣ, вздыхающихъ по результатамъ первоначальныхъ намѣреній императрицы».

Ошибочно было бы думать, однако, что Дидро просто желаетъ возобновленія засѣданій Большой Екатерининской Комиссіи. Его мечты идутъ гораздо дальше: тутъ мы встрѣчаемся съ самой главной мыслью всѣхъ его разговоровъ съ императрицей. Исходя отъ факта созыва Комиссіи, который онъ понимаетъ, какъ «благородный актъ отказа государя отъ законодательной власти», Дидро горячо доказываетъ, что для прочности и полноты реформы Комиссію надо сдѣлать постоянной. «Если задачей императрицы было обезсмертить свое собственное имя, то эта цѣль достигнута». Чѣмъ хуже будутъ ея преемники, тѣмъ больше славы они прибавятъ Екатеринѣ. Но, конечно, *его* императрица думаетъ не о собственной славѣ, а о счастіи потомства. Въ такомъ случаѣ, она должна объ этомъ при себѣ позаботиться. «Петръ I и Екатерина—рѣдкія явленія; было бы безумствомъ рассчитывать на частое повтореніе такой милости неба». Въ государствѣ только одинъ дворецъ и кругомъ него 400.000 частныхъ домовъ: въ *одномъ* случаѣ изъ 400.000 дары генія упадутъ съ неба на дворецъ; въ остальныхъ они попадутъ мимо. Какъ во всякой семьѣ, между двумя хорошими членами здѣсь будетъ длинный рядъ злыхъ или глупыхъ; и даже въ хорошемъ государѣ, не часто совпадутъ всѣ хорошія свойства. Онъ можетъ быть добръ и образованъ, но слабъ и лѣнивъ; добръ, но не образованъ и т. д. Противъ всѣхъ такихъ возможностей необходимо заблаговременно принять мѣры, чтобы предотвратить ихъ вредныя послѣдствія. Для этого недостаточно созвать націю и составить законы. Законы суть писанная бумага; за ними должно стоять «физическое существо, постоянное, неизмѣнное, оно должно го-

ворить и дѣйствовать, тогда какъ мраморъ нѣмъ и непроченъ». Такимъ тѣломъ послужить Комиссія, если сдѣлать ее постоянной и дать право провинціямъ назначать туда и контролировать своихъ представителей.

«— Вы, значитъ, совѣтуете мнѣ устроить парламентъ на англійскій образецъ,—прерывала Екатерина въ этомъ мѣстѣ своего собесѣдника?

«— Если бы ваше величество могли создать его по мановенію волшебнаго жезла, то я думаю, завтра онъ уже существовалъ бы», отвѣтилъ Дидро.

Нѣтъ, это не былъ бы англійскій парламентъ. Даже превращенная въ постоянное представительное учрежденіе, Комиссія «никогда не могла бы получить такой силы; развѣ только при отдаленныхъ потомкахъ, она пріобрѣла бы недостатки и преимущества англійскаго парламента». Но Дидро не желалъ бы видѣть русскую Комиссію и такую слабою, какъ французскій судебный парламентъ. Онъ подробно объясняетъ Екатеринѣ историческія причины безсилія французскаго парламента,—чтобы она могла устранить эти причины изъ своего законодательства. Русской Комиссіи онъ желалъ бы «дать всю ту прочность и организацію, какія совмѣстимы съ общественнымъ спокойствіемъ».

Отъ власти зависитъ, какую часть верховныхъ правъ она передастъ будущей постоянной Комиссіи. Но отчужденныя разъ въ ея пользу права—необходимо оградить отъ произвола преемниковъ. Пусть Комиссія не вмѣшивается ни въ военныя дѣла, ни въ иностранную политику, ни въ финансы; пусть она только охраняетъ существующіе законы и подготавливаетъ новые. Пусть она, однако, имѣетъ право петицій, и пусть тѣ петиціи Комиссіи, важность которыхъ для общественнаго блага будетъ доказана повтореніемъ ихъ, обязательно будутъ удовлетворяемы.

Дидро съ энтузіазмомъ перечисляетъ всѣ тѣ преимущества, которыя такое учрежденіе доставитъ самой верховной власти, — въ томъ числѣ и возможность для нея стать съ помощью Комиссіи выше «партійнаго духа» сильныхъ членовъ общества, не рискуя подвергнуться личной опасности съ ихъ стороны. Онъ доказываетъ, далѣе, полную безвредность Комиссіи для верховной власти. «Словомъ,—заключаетъ онъ,—если даже это учрежденіе будетъ однимъ только призракомъ свободы, оно все-таки будетъ имѣть вліяніе на національный духъ: нужно, чтобы народъ или былъ свободенъ,—что, конечно, самое лучшее,—или по крайней мѣрѣ чтобы считалъ себя свободнымъ, такъ какъ такая увѣренность влечетъ за собою самые цѣнные результаты. Пусть же в. в. создастъ эту великую реальность или великій фантомъ, пусть сдѣлаетъ его настолько великолѣпнымъ, блестящимъ, почетнымъ какъ только сможетъ, и пусть будетъ увѣрено, что можно стѣснить, но никакъ нельзя заковать въ оковы ребенка, который родится на свѣтъ съ четырьмя стами тысячами рукъ. О Монтескье, зачѣмъ не

ты на моемъ мѣстѣ! Какъ бы ты говорилъ! Какъ бы тебѣ отвѣчали! Какъ бы ты слушалъ! Какъ бы выслушали тебя!»

Дидро тоже былъ выслушанъ и получилъ отвѣтъ. Мы можемъ судить о содержаніи этого отвѣта по его дальнѣйшей репликѣ. Ему поставили, очевидно, на видъ, что даже такой «фантомъ» представительства, какимъ онъ ограничилъ свои мечты, не могъ бы быть осуществленъ въ виду полнаго равнодушія населенія къ какому бы то ни было представительству. Ему указанъ былъ тотъ несомнѣнный фактъ, что въ то время, какъ онъ требовалъ увѣковѣченія Комиссіи,—депутатамъ самой Комиссіи даже и немногіе мѣсяцы ихъ засѣданій казались черезчуръ долгими, и они спѣшили разѣхаться по домамъ. Дѣйствительно, въ каждомъ почти засѣданіи Комиссіи находились депутаты, которые пользовались предоставленнымъ имъ правомъ сдать свое полномочіе товарищамъ. Дидро не могъ знать, что эти факты допускали и другое толкованіе. Онъ былъ, очевидно, сильно огорченъ неожиданнымъ возраженіемъ; но и тутъ не подумалъ отступить отъ самой идеи постояннаго представительства. Онъ только видоизмѣнилъ свое прежнее предложеніе. «Въ виду равнодушія членовъ Комиссіи», онъ предлагалъ теперь уменьшить число представителей, сдѣлать представителями провинцій чиновниковъ коллегій, какъ постоянныхъ жителей столицы. Каждый изъ нихъ могъ представлять одинаковое количество провинцій и обязывался справляться съ ихъ мнѣніемъ въ важныхъ случаяхъ. Во всякое время провинція сохраняла право послать въ Петербургъ настоящаго представителя, къ которому и переходилъ тотчасъ же голосъ соответствующаго постояннаго резидента. Мы видимъ, что при глубокой вѣрѣ въ принципъ, у Дидро не было недостатка въ готовности пожертвовать самыми существенными чертами своего идеала, чтобы приблизить моментъ его пракческаго осуществленія. Но ни готовность къ практическому компромиссу, ни ясное пониманіе политической дѣйствительности собственной страны, ни тонкія наблюденія надъ положеніемъ самой Екатерины во внѣшней политикѣ, ни даже совпадавшіе съ собственными взглядами Екатерины совѣты—обезвредить вельможъ наградами, ввести въ Россіи вездѣсущую французскую полицію (чтобы обезпечить силу закона) и др.,—ничто не спасло Дидро отъ репутаціи празднаго фантазера. Мы увидимъ, однако, что предложеніе его относительно Комиссіи не прошло безслѣдно (стр. 332)

Нельзя пройти молчаніемъ еще одну сторону разговоровъ Дидро съ Екатериной,—ут которая касалась вопросовъ религіозныхъ. Въ религіи, какъ въ политикѣ, Дидро старался дать понять императрицѣ, что она отстала отъ передовыхъ взглядовъ европейскихъ «философовъ». Вольтеровскій деизмъ уже не удовлетворялъ энциклопедистовъ. «Деистъ отрѣзалъ у гидры дюжину головъ, но изъ той, которую онъ оставилъ, возродятся вновь всѣ остальные». Деисты продолжаютъ спорить между собой о предопредѣленіи и о свободной волѣ, о безсмертіи души и за-

гробныхъ мукахъ. Самые просвѣщенные изъ нихъ допускаютъ, что высшее существо можетъ сердиться и успокоиваться. Но такому существу нуженъ культъ; его нельзя, какъ боговъ Эпикура, сослать въ надзвѣздную пустоту и усыпить въ полномъ бездѣйствіи. Все это служить новымъ источникомъ старыхъ явленій, столь знакомыхъ и столь ненавистныхъ философу: нетерпимости и суевѣрія. Такъ, въ рукахъ у деиста вновь вырастаютъ отрубленные головы старой католической гидры. Различіе терпимости и вѣры отъ нетерпимости и суевѣрія изъ принципіальнаго превращается при этомъ въ случайное и условное, изъ качественнаго—въ количественное. Терпимость оказывается просто временнымъ оружіемъ слабыхъ, пока они не станутъ сильны. Вѣра, по словамъ Гоббса, становится тѣмъ же «суевѣріемъ, разрѣшеннымъ закономъ», а суевѣріе—той же «вѣрой, запрещенной закономъ».

Екатерина не хотѣла слушать. О Богѣ и о прусскомъ королѣ она запрещала Дидро разговаривать съ ней. Но философъ не унимался. Пусть такъ, пусть религія нужна ей, какъ политическое средство: но онъ будетъ доказывать, что это плохая политика для монарха—признавать власть выше себя, и что единственной правильной политикой было бы «свести богословіе къ двумъ страничкамъ и держать поповъ въ приниженіи и невѣжествѣ». Чѣмъ святѣе и образованнѣе духовенство, тѣмъ оно опаснѣе для государства.

Какъ должна была смѣяться про себя Екатерина, когда французскій мыслитель горячился передъ ней по этому поводу! Разъ въ своей жизни, въ самомъ началѣ царствованія, она, дѣйствительно, подъ вліяніемъ Вольтера, сдѣлала faux pas, начавъ сурово преслѣдовать неговорчиваго русскаго архіерея, Арсенія Мацѣевича. Но съ тѣхъ поръ она успѣла убѣдиться, что ей нечего заботиться о приниженіи и невѣжествѣ русскаго духовенства. Напротивъ,—принять совѣты философа и не сказать ни слова о Богѣ въ будущемъ уложеніи, начать свой Наказъ, вмѣсто молитвеннаго обращенія, теоріей общественнаго договора и признаніемъ народнаго верховенства,—вотъ гдѣ заключалась настоящая опасность для Екатерины.

Вернувшись за границу, Дидро написалъ новыя «замѣтки по поводу Наказа», въ которыхъ гораздо рѣзче, чѣмъ въ читанныхъ передъ Екатериной запискахъ, подчеркивалъ принципіальную сторону своихъ политическихъ и философскихъ воззрѣній. Екатерина или не знала, или игнорировала этотъ ультиматумъ философа, ставившаго теперь ребромъ вопросъ: хочетъ ли она искренно, или вовсе не хочетъ отречься отъ своего деспотизма. Можно подозрѣвать, что на этотъ—или подобный—документъ Екатерина отвѣтила вопросомъ, переданнымъ Дидро черезъ Гримма (1776): «Въ своемъ ли умѣ онъ былъ, когда писалъ это?» Во всякомъ случаѣ, мы знаемъ отзывъ Екатерины о «замѣткахъ», прочтенныхъ ею послѣ смерти философа (1784) въ его бумагахъ: «Это болтовня,

не обнаруживающая ни знанія дѣла, ни проницательности, ни благо-разумія». Однако же, въ этомъ наброскѣ ничего не было, что не было бы высказано въ болѣе мягкой формѣ во время бесѣдъ Дидро съ Екатериной. И, конечно, уже эти бесѣды должны были показать Екатерину, куда ведутъ послѣдовательные выводы изъ теорій ея старыхъ авторитетовъ, Монтескье и Вольтера. Обезоруженная наивностью философа и привлекательностью личныхъ сношеній, Екатерина могла продлить до конца его иллюзію; но она вовсе не хотѣла, чтобы его идеи распространялись въ русской публикѣ. Этимъ объясняется неудача того практическаго предложенія, съ которымъ Дидро пріѣхалъ въ Россію. Увлечшись личными сношеніями съ императрицей, философъ отложилъ это свое собственное дѣло до конца: «мое поведеніе стало отъ этого болѣе достойнымъ и возвышеннымъ», замѣчалъ онъ въ одномъ интимномъ письмѣ. Но мнительному философъ нечего было краснѣть за то предложеніе, съ которымъ онъ намѣревался обратиться къ Екатерину. Когда-то прежде, всего девять дней послѣ воцаренія, Екатерина сама предложила Дидро перенести въ Россію печатаніе Энциклопедіи, которую преслѣдовали и уродовали въ Парижѣ. Теперь, доведя искаженное изданіе до конца (1772), Дидро предлагалъ Екатерину издать въ Россіи новое изданіе, исправленное и улучшенное, гдѣ онъ думалъ возстановить всѣ пропуски и искаженія цензоровъ и издателей. Въ матеріальномъ отношеніи предпріятіе обѣщало блестящій и вѣрный успѣхъ; Дидро просилъ только 40.000 р. аванса, чтобы имѣть возможность начать дѣло. Екатерина отослала его къ Бецкому, который затянулъ переговоры, велъ себя «сфинксомъ», послѣ долгихъ проволочекъ отказалъ, потомъ, какъ будто подъ давленіемъ императрицы, согласился, потомъ отказалъ окончательно. Чтобы понять секретъ этой комедіи, философъ долженъ былъ бы знать, что Екатерина даже свой собственный Наказъ, казавшійся ему такимъ умѣреннымъ и отсталымъ сравнительно съ передовой мыслью энциклопедистовъ, разрѣшила имѣть только въ присутственныхъ мѣстахъ «единственно для свѣдѣнія однихъ тѣхъ мѣстъ, и чтобы оный никому, ни изъ нижнихъ канцелярскихъ служителей, ни изъ постороннихъ не только для списыванія, но ниже для прочтенія даванъ не былъ» (1767).

Только что приведенная цитата какъ нельзя лучше подчеркиваетъ ту огромную разницу, какая существовала въ положеніи европейскаго и русскаго общественнаго мнѣнія относительно Екатерины и ея просвѣтительной дѣятельности. Судъ и критика существовали для Екатерины только въ Европѣ; и тутъ она принимала всевозможныя мѣры, чтобы повліять на приговоръ. Въ Россіи роли мѣнялись. Судьей была здѣсь сама она,—она одна. Общество было подсудимымъ, призваннымъ выслушать надъ собою строгій, но справедливый приговоръ. Поведеніе депутатовъ въ Коммиссіи явилось непредвидѣнной помѣхой, обнаружило обстоятельства, не зависящія отъ личной воли императрицы. Но это

несколько не нарушило цѣльности и стройности взгляда Екатерины на свои задачи. Даже напротивъ: Екатерина должна была утвердиться въ своемъ исходномъ убѣжденіи, что она одна противъ всѣхъ. Всѣ проникнуты «духомъ партій»; она одна стремится къ «общему благу». «Люди глупы и неблагодарны; они сами не понимаютъ, въ чемъ ихъ прямое добро состоитъ». Но что же изъ этого? «Человѣкъ, старающійся дѣлать или добро, или великія дѣла для того, чтобы заслужить отъ своихъ согражданъ благодарность, и узнавъ послѣ, что они непризнательны и глупы,—для сей одной причины теряющій бодрость духа и охоту подавать имъ всякаго рода помощь въ ихъ недостаткахъ,—конечно ошибается въ своемъ предметѣ... Для великой души трудъ, ею пріемлемый, есть путь, не зависящій ни отъ какихъ постороннихъ приключеній и препятствій. Прямая великость души состоитъ въ томъ, чтобы дѣлать добро для того, что оно есть добро, а не для того, что люди суть благодарны; слѣдовательно, и не переставать дѣлать добра для того, что люди суть неблагодарны... Потомство не будетъ страстно; оно разберетъ, оно справедливо судить будетъ» («Всякая Всячина»). Итакъ, Екатерина будетъ «тверда»: «встрѣчающіяся бури» лишь заставятъ ее перемѣнить тактику и сдѣлаются «способами ко пріобрѣтенію новыя славы».

«Когда я отчаяваюсь разрушить что-либо прямо, противъ того я веду подкопъ», такъ выразилась Екатерина въ разговорѣ съ Дидро, говоря о томъ же самомъ: о «препятствіяхъ» на пути къ «ясно сознанный ею цѣли». На языкѣ тогдашней теоріи это можно бы было выразить такъ. Если я не могла осчастливить человѣчество новыми законами, то, очевидно, потому, что законы зависятъ отъ «нравовъ», отъ «народнаго умоначертанія». Слѣдовательно надо начать съ другого конца: съ «исправленія нравовъ». Такова, навѣрное, была логическая нить (только о ней мы здѣсь говоримъ), приведшая Екатерину отъ идей ея Наказа къ ея опытамъ воспитанія «новой расы людей» и къ ея попыткамъ дѣйствовать на русскіе «нравы» путемъ публицистики и театра. Это были тѣ «мины», о которыхъ императрица говорила Дидро.

Судьбу педагогическихъ опытовъ Екатерины мы уже знаемъ (Оч. II, 314—318). Судьба ея публицистическихъ попытокъ для насъ особенно интересна въ этомъ мѣстѣ, такъ какъ здѣсь ожидала Екатерину неудача совсѣмъ особаго рода, вовсе не походившая на тотъ «партійный духъ» депутатовъ Большой Коммиссіи, который оказался въ ея глазахъ непреодолимымъ препятствіемъ къ «общему благу». Оказалось, именно, что не только одинъ вождь энциклопедистовъ ушелъ дальше императрицы въ своихъ мечтаніяхъ объ «общемъ благѣ». Въ томъ же направленіи пошли и обогнали Екатерину на открытомъ ею пути—ея собственные «глупые и неблагодарные сограждане».

Въ 1769 году началъ выходить еженедѣльный листокъ «Всякая Всячина». Въ литературныхъ кругахъ было извѣстно, что редакто-

ромъ состоитъ секретарь императрицы Козицкій; болѣе догадливые должны были скоро понять, что руководить журналомъ сама Екатерина.

Съ самаго начала журналъ взялъ тонъ, совсѣмъ необычный для простыхъ литераторовъ. Редакція объявила на первыхъ страницахъ, что попреки читателей для нея безразличны, что «никакая препона не можетъ отвратить (ее) отъ великаго предпріятія»; что она не нуждается въ деньгахъ, такъ какъ «доходъ ея» «есть дань, наложенная на людей, кои работаютъ въ потѣ лица своего»; про саму себя она шутливо утверждала, что она «умна» и что у ней «сердце доброе»; относительно читателя напередъ замѣчала, что «глухимъ трудно слышать проповѣди»; но, впрочемъ, великодушно прибавляла при этомъ: «Я не уничтожаю никакого человѣка, ибо уничтожая онаго, я-бъ самъ себя уничтожилъ; понеже я самъ есмь человѣкъ равный ему во всемъ». Еще откровеннѣе «Всякая Всячина» третируетъ свысока своихъ читателей въ заключительныхъ строкахъ журнала: «Прощайте, господа; я съ великимъ терпѣніемъ часто слушалъ всѣ ваши осужденія и смѣялся отъ чистаго сердца всему тому, за что другой бы сердился, и не пересталъ писать, пока мнѣ самому не вздумалось окончить Всякія Всячины: и сію оканчивая, объявляю вамъ, что я приѣмлю другое ремесло, гдѣ доставнутся отъ меня многимъ щедрія милости».

Взявъ сразу этотъ тонъ — благодѣтеля человѣчества, Всякая Всячина выдерживаетъ его въ теченіе всего времени изданія. Екатерина — невысокаго мнѣнія о своей публикѣ; она выступаетъ передъ ней въ своемъ обыкновенномъ домашнемъ нарядѣ, съ обычнымъ настроеніемъ своихъ досужныхъ часовъ. Ея статьи въ журналѣ — это та же небрежная болтовня, съ тѣмъ же parti pris веселости, подчасъ напускной, и остроумія, черезчуръ тяжеловѣснаго, съ тѣмъ же недостаткомъ литературнаго вкуса и чувства мѣры, тѣмъ же «разстеганнымъ» стилемъ и «прыгающими» мыслями, которыми отличается ея интимная корреспонденція. Нѣтъ только тѣхъ яркихъ и мѣткихъ образныхъ выраженій, которыя какъ то сами собой, невзначай, выскакиваютъ изъ ея головы и стекаютъ съ пера въ ея французской рѣчи. Получается въ итогѣ претенціозный и блѣдный стиль, слишкомъ натянутый, чтобы быть живымъ и остроумнымъ, слишкомъ прѣсный и поверхностный, чтобы быть поучительнымъ*). Однако, редакція «не вѣритъ», что у нея выходитъ «не смѣшно, но глупо», — и готовится одерживать педаго-

*) На этотъ стиль намекалъ, вѣроятно, Новиковъ въ своемъ Живописцѣ. «Тутъ найдешь писателя, старающагося забавлять разумъ своими сочиненіями, но увидишь, что онъ производитъ скуку, а смѣется только самъ — бѣдный авторъ! Въ другомъ мѣстѣ увидишь нравоучителя, порицающаго всѣхъ критиковъ и утверждающаго, что сатиры ожесточаютъ только нравы, а исправляютъ — нравоученія; но читатель ему отвѣтствуетъ: ты пишешь такъ сухо, что я никогда не имѣю терпѣнія читать твоихъ сочиненій — бѣдный авторъ!» Рѣзкость этихъ характеристикъ смягчалась, правда, тѣмъ, что онѣ могли относиться не къ одной только Всякой Всячинѣ.

гическія побѣды. Напечатавъ, уже въ январѣ, «усердное поздравленіе» — самой себѣ — съ тѣмъ, что «листки ваши, каковыми впредь ни будутъ, конечно, останутся отечеству полезными и достопамятными навѣки, ибо такихъ правдъ, какія вы намъ обѣщаете, у насъ еще не бывало», — редакция торжествующимъ тономъ прибавляетъ отъ себя: «Сіе письмо доказываетъ великое уваженіе, кое Всякая Всячина зачинаетъ имѣти въ людяхъ: отъ чего мы сочинители уже часъ отъ часу начинаемъ ходить прямѣе и скоро уже принуждены будемъ нѣсколько загнуть спинную кость назадъ». «Великое уваженіе» читателей затѣмъ быстро прогрессируетъ на страницахъ журнала. Корресподенты Всякой Всячины скоро находятъ неуважительнымъ обращаться къ редактору просто «господинъ сочинитель». «По причинѣ полезныхъ наставленій», они пишутъ: «г. наставникъ» или «г. правоучитель», и не забываютъ въ каждомъ письмѣ сообщить объ успѣхахъ журнала среди публики. Полушутя, полусерьезно, Всякая Всячина объявляетъ, наконецъ, по поводу одного изъ такихъ писемъ, — совершенно въ стилѣ Наказа: «мы не сомнѣваемся о скоромъ исправленіи нравовъ, и ожидаемъ немедленнаго искорененія всѣхъ пороковъ; ибо уже начали твердить наизусть Всякую Всячину, что вышеписаннымъ письмомъ доказывается. Сочинитель онаго важность нашего труда совершенно узналъ, что мы ему чрезъ сіе торжественно объявляемъ».

Увы, лавры Всякой Всячины оспаривали у ней съ подлюжины другихъ журналовъ, появившихся немедленно вслѣдъ за нею *). Екатерина послѣшила поставить ихъ на почтительное разстояніе отъ своего журнала. «Государыня моя госпожа Всякая Всячина», привѣтствовалъ ее журналъ Чулкова; «не погнѣвайся на меня, что я наименую тебя родною моею сестрою и сестрою еще большою или старшею, для того что ты прежде вышла на свѣтъ изъ природной утробы, и прошу въ томъ извиненія, что я причитаюсь къ тебѣ роднею. Ты родилась на Парнасѣ, да и я неподалеку оттуда; тебя производила муза, да и меня, я думаю, та же; слѣдовательно, близки мы такъ другъ къ другу, какъ солнце къ огню, которые (одинаково) грѣютъ и освѣщаютъ»... Эта смиренная по формѣ декларация правъ на литературное равенство задѣла Екатерину за живое. Всякая Всячина обидѣлась и жаловалась, что «И то и сію» обращается съ ней «безо всякаго почтенія». Императрица, очевидно, во все не хотѣла панибратства съ собратьями по оружію и на первый разъ объявила себя не «сестрой», хотя бы и старшей, а развѣ только «бабушкой» прочихъ журналовъ: Это сразу отравило взаимныя отношенія. Журналъ Рубана рѣшительно отвѣчалъ: «мы, бабушка, тебѣ хотя и внучки, однако уже на возрастѣ». А Смѣсь прибавила, что

*) И то и сію — Чулкова; Ни то ни сію — Рубана; Смѣсь; Трутень — Новикова; Адская почта — Эмина; Поденьщина — Тузова; Полезное съ пріятнымъ — «упражненіе» при сухопутномъ корпусѣ: все это журналы, издававшіеся только въ томъ же 1769 г.

«последніе внучата поразумнѣе бабушки». Затѣмъ журналы довольно единодушно рѣшили, что «бабушка выжила изъ ума». и принялись усердно слѣдить за ея промахами. Въ концѣ концовъ и Чулковъ напечаталъ у себя, на этотъ разъ уже дѣйствительно «безо всякаго почтенія», слѣдующую ядовитую пародію на редакціонные приемы Всякой Всячины. «Г. Сочинитель и Того Сего, сочиненіе ваше похваляется во всякомъ углу С.-Петербурга, слава его носится по многимъ домамъ и по рынку. Всѣ незнающіе другихъ языковъ люди (Всякую Всячину обвиняли въ литературной кражѣ изъ Спектетора) благодарятъ васъ отъ искренняго сердца, выключая нѣкоторыхъ полуученыхъ писателей; они одни сочиненіемъ вашимъ издѣваются, но... и они подвержены равной съ вами участи. Люди бываютъ иногда столько неблагодарны, что пересмѣхаютъ и то, что производитъ земля для нашего удовольствія... Сердце мое наполняется сладостію, когда прекрасная Аврора показываетъ свой носъ на нашемъ горизонтѣ, и крылатое время, шествуя предъ нею, пишетъ надъ нами «Вторникъ». Я открываю мои глаза и устремляю мои мысли единственно только къ одному вашему сочиненію... Великость вашего духа, важные замыслы, красота въ велерѣчїи, искусство въ изъясненіяхъ... заслоняютъ дорогу дыханію... Часъ отъ часу дѣлаюсь я премудрѣе, и нынѣ уже рассуждаю со слугами моими о коловратности свѣта... О великій человѣкъ сочинитель и Того и Сего! Ежели бы мы не имѣли счастья видѣть твой еженедѣльникъ, то бы мы и донинѣ сидѣли въ безднѣ заблужденія, были бы грубыми невѣждами, и не умѣли бы отличить худое отъ хорошаго... О великій человѣкъ сочинитель и Того и Сего!.. Ты исправилъ грубые наши нравы и доказалъ намъ, что надобно обѣдать тогда, когда ѣсть захочется. Твоя философія научила насъ и тому, что ежели кто не имѣетъ лошади, то тотъ непременно пѣшкомъ ходити долженъ. О великій и т. д., гдѣ мнѣ тебя поставить и куда тебя спрятать? Спряталъ бы я тебя въ хорошую бібліотеку, но ты зачнешь переводить различныхъ авторовъ и будешь выдавать сочиненія ихъ подъ своимъ именемъ... Спряталъ бы я тебя на Парнасѣ, но ты высокомеренъ, презришь свою Музу... и заставишь ее вѣчно плакать... Спряталъ бы я тебя въ обществѣ молодыхъ нашихъ сочинителей; но то бѣда, что съ ними ты не соглашаешься, идешь своею дорогой и не требуешь изъ нихъ ни одного себѣ въ путеводители—по причинѣ той, что они сами не выбираютъ себѣ никого въ проводники... Добро,—оставайся ты на своемъ мѣстѣ, безъ большой заслуги не требуй большаго воздаянія, безъ великаго успѣха не ищи великой славы, безъ ежечаснаго труда не желай ежечасной похвалы, будь доволенъ своею участію и не пекись о томъ, чтобы слава твоя гремѣла повсюду. Сочиненіе твое есть произведеніе слабаго ума для слабыхъ умовъ; но и въ другихъ, мы видимъ,—не граціи танцуютъ, но сельскія дѣвки по русски пляшутъ».

Это было жестоко; но это было еще не все, что пришлось выслу-

шать Екатерину отъ своихъ собратьевъ—или, какъ она предпочитала ихъ называть,—внуковъ по журналистикѣ. Относительно Чулкова, Рубана, Эмина и т. д. императрица могла оправдывать свое брезгливое отношеніе тѣмъ самымъ, что призналъ въ послѣднихъ словахъ сочинитель и Того и Сего. Въ самомъ дѣлѣ, у нихъ въ журналахъ «не грація танцовали, а плясали русскія дѣвки». Тяжеловѣсное остроуміе Екатерины здѣсь замѣнялось слишкомъ часто пошлостью и цинизмомъ; ея прописная мораль—безцѣльнымъ зубоскальствомъ, бившимъ на самые низменные инстинкты; ея щепетильность по отношенію къ внѣшнимъ приличіямъ—самыми безцеремонными потасовками на потѣху почтенной публики. «Дуракъ» было довольно употребительнымъ эпитетомъ во взаимной литературной критикѣ «сочинителей». Рубанъ заявлялъ въ началѣ своего журнала: «между множествомъ ословъ и мы вислоухими быть не покраснѣемъ». Чулковъ писалъ: «когда есть ваканція публичныхъ дураковъ, то занимаютъ у насъ такія мѣста мелкотравчатые писаки, и намъ гораздо мило смотрѣть, какъ они дурачатся и ругаютъ сами себя». Довольно естественно, что въ подобныхъ «писакахъ» Екатерина могла видѣть не товарищей, а только пациентовъ, примитивные «нравы» которыхъ подлежали смягченію при помощи тѣхъ пріемовъ, которые она считала непогрѣшимыми. Совсѣмъ другое было дѣло, когда самые эти пріемы объявлялись недостаточными и подвергались критикѣ; когда являлся писатель, который стоялъ на одинаковой высотѣ съ Екатериной въ вопросахъ литературнаго приличія и хорошаго тона, и въ то же время оказывался ея принципиальнымъ врагомъ по вопросу, гораздо болѣе существенному: по вопросу, насколько дѣйствительны и цѣлесообразны средства, употребленныя императрицей для «исправленія нравовъ».

Въ чемъ заключались, въ самомъ дѣлѣ, эти средства, отъ которыхъ Екатерина ожидала столь быстрыхъ и чудодѣйственныхъ послѣдствій?

Обычный литературный пріемъ для «исправленія нравовъ» состоялъ у Всякой Всячины, какъ и у другихъ журналовъ, въ помѣщеніи писемъ постороннихъ лицъ къ «Сочинителю» и въ отвѣтахъ редакціи на эти письма. По этой одной формѣ можно довольно безошибочно выдѣлить оригинальную часть журнала отъ переводовъ. Но и по содержанію эти корреспонденціи, писавшіяся, конечно, болѣею частью въ редакціи, представляютъ извѣстную внутреннюю связь и единство, не говоря уже объ общемъ всѣмъ имъ самовосхваленіи. По теоріи Екатерины надо «заохочивать» публику къ усвоенію моральныхъ сентенцій, мѣшая смѣшное съ серьезнымъ: поэтому, корреспонденты журнала то рассказываютъ что-нибудь забавное, то что-нибудь дурное изъ русской грубости нравовъ; въ обоихъ случаяхъ они просятъ совѣта или «рецепта» у «сочинителя» и получаютъ его, обыкновенно, въ видѣ лаконической резолюціи самаго элементарнаго свойства. Примѣръ забав-

ный: Агафья Хрипухина проситъ лѣкарства отъ бессонницы, такъ какъ ея мужъ по ночамъ не даетъ ей спать своимъ храпомъ. Совѣтъ: прочесть на ночь шесть страницъ Всякой Всячины и шесть страницъ Телемахиды (Тредьяковскаго). Послѣдствія статьи: журналъ не перестаетъ острить надъ храпящимъ мужемъ и надъ Телемахидой въ слѣдующихъ номерахъ; почитатель Всячины протестуетъ противъ мнѣнія редакціи, что ея журналъ усыпителенъ; литературные противники протестуютъ противъ насмѣшки надъ честнымъ труженикомъ—Тредьяковскимъ. Теперь примѣръ серьезный: «многія молодыя дѣвушки чулковъ не вытягиваютъ, а когда сядутъ, тогда ногу на ногу кладутъ, чрезъ что поднимаютъ юбку такъ высоко, что я сіе примѣтить могъ, а иногда и болѣе сего»; женщины слишкомъ возвышаютъ голосъ въ обществѣ; «наши жены» говорятъ при дѣтяхъ «обо всемъ». Корреспондентъ проситъ редакцію сдѣлать изъ этихъ замѣчаній «употребленіе на пользу ближняго». Литературные противники находятъ такія нравоученія «непристойными». Еще одинъ примѣръ: корреспондентъ предлагаетъ редакціи «раздѣлить наши обычаи на два рода: первые природные, другіе—татарскіе: всѣ хорошіе обычаи суть природные русскіе; всѣ же дурные суть татарскіе», и предлагаетъ списокъ, съ которымъ редакція обѣщаетъ справляться, «гдѣ кстати покажется». И дѣйствительно, въ дальнѣйшемъ оказывается, что обычай нарушать обѣщанія «есть крымскихъ татаръ, а старинный русскій—сдержать данное слово»; «мотать, болтать, злословить»—тоже «татарскіе обычаи»; сюда же относятся далѣе «невѣжливость, жадность и зависть»; женщины, «кои бѣлятся,—суть всѣ татарки»; но взаимное равнодушіе модныхъ супруговъ журналъ объявляетъ обычаемъ «татаро-французскимъ». Журналисты и тутъ не упустили случая подцѣпить Всякую Всячину. Сумароковъ написалъ письмо въ «И то и се», гдѣ утверждалъ, что портятъ русскихъ не татары, а французы; что «худые нравы отъ худыхъ сердець и отъ худого просвѣщенія происходятъ»; что, наконецъ, «добрый и отличный человекъ достоинъ почтенія, безъ различія, россиянинъ ли онъ, французъ или татаринъ». Однако и Сумароковъ не прочь былъ объяснить русскую грубость примѣсью «сарматской» (финской) крови. Сама Всякая Всячина, наконецъ, тоже спохватилась, хотя нѣсколько по инымъ соображеніямъ: она помѣстила у себя протестъ отъ имени татаръ; «да и мнѣ», замѣчалъ ея корреспондентъ, «сіе доказательство невѣроятнымъ кажется, потому что сколько у насъ есть выѣзжихъ князей и знатей татарскихъ, кои здѣсь въ великія произошли достоинства: они ихъ получили не по худымъ природнымъ ихъ обычаямъ и нравамъ, но по благороднымъ и добрымъ». И журналъ предпочитаетъ, подобно Сумарокову, свалить вину на безотвѣтныхъ «сарматовъ» тогдашней исторической теоріи: «когда славяне, отъ коихъ мы происхожденіе имѣемъ, по покореніи сарматовъ съ ними смѣшались, то сіи худые обычаи и нравы отъ нихъ въ наслѣдіе намъ достались».

Это, впрочемъ, не мѣшаетъ Всякой Всячинѣ утверждать по прежнему, что старинные русскіе нравы были превосходны и испорчены лишь новыми модами.

Подобный выборъ темъ и способъ ихъ обработки, какъ видимъ, самъ по себѣ уже лишалъ журналъ Екатерины серьезнаго значенія. Литературные антагонисты (II то и сію) не замедлили отмѣтить, что въ такомъ случаѣ изданіе журнала превращается въ скоропроходящую моду, въ «невинное увеселеніе», которое нечего прикрывать высокими претензіями. «Я пишу единственно только для одного увеселенія», подчеркивалъ почтительный къ Всячинѣ журналъ Чулкова, «и другого намѣренія не имѣю, ибо снѣ моихъ къ тому не станеть; не требую похвалы и за славой не гоняюсь, для того что я ихъ недостойнъ, а желаю, чтобъ получилъ ихъ тотъ, который мыслить о себѣ, что онъ приноситъ сочиненіями великую пользу отечеству». Эта скрытая пасмѣшка превращается въ совершенно открытую въ «Смѣси», самомъ смѣломъ изъ тогдашнихъ журналовъ послѣ Новиковскаго Трутня, которому Смѣсь горячо и открыто сочувствуетъ. «Праздность вмѣняютъ въ порокъ, а трудолюбіе похваляютъ: но праздность присвояютъ благороднымъ, а трудолюбіе крестьянамъ... Я родился дворяниномъ: итакъ, не хотя сравнять себя съ крестьянами, хотѣлъ было ничего не дѣлать. Но вспомня, что есть *благородныя и модныя упражненія*, коими *увеселяются* и знатные люди,—принялся за перо, чтобы написать письмо къ какому-нибудь издателю еженедѣльныхъ листовъ».

Очевидно, издатель Смѣси, сходясь съ Чулковымъ въ оцѣнкѣ Всякой Всячины, гораздо серьезнѣе смотрѣлъ на задачи настоящаго журналиста. Но въ своемъ журналѣ онъ остался ниже своего собственнаго пониманія,—на общемъ уровнѣ тогдашнихъ издателей листовъ. Если онъ писалъ и, не «единственно для одного увеселенія», то съ другой стороны и «пользу» отъ изданія журнала онъ понималъ довольно устарѣлымъ образомъ. Совершенно такъ же, какъ журналисты-дебютанты Елизаветинскаго времени, онъ объявлялъ: «намѣреніе мое было при начатіи журнала употребить въ пользу скучные часы празднаго времени». Совершенно такъ же, какъ тѣ журналы, Смѣсь пробавлялась, главнымъ образомъ, переводными статьями изъ иностранныхъ нравоучительныхъ журналовъ; совершенно такъ же она и расходилась только въ своемъ ближайшемъ литературномъ кругу, въ количествѣ всего 200 экземпляровъ. По собственному признанію, издатель ея былъ только мирнымъ любителемъ наукъ и просвѣщенія, онъ не рисковалъ выйти на бранное поле съ открытымъ забраломъ. Но онъ хорошо понималъ, что на этомъ полѣ можно и нужно дѣлать. Когда въ томъ же самомъ году на журнальномъ поприщѣ появился настоящій боецъ,—издатель Смѣси сразу оцѣнилъ его значеніе и обратился къ нему съ одушевленнымъ привѣтствіемъ «благодарнаго, обязаннаго и вѣрнаго слуги». «Г. изда-

тель Трутня, — писалъ онъ Новикову, — прочитаю вашего изданія листы, началъ я имѣть къ вамъ почтеніе: ваши сочиненія имѣютъ въ себѣ ченьше увеселенія, но больше пользы. Сатиры ваши, подъ именемъ вѣдомостей, не имѣютъ въ себѣ невѣжества и злонавія, какъ думаютъ нѣкоторые злонавные невѣжи, но ѣдкую соль... Пускай злоязычники проповѣдуютъ, что вы объявили себя непріателемъ всего челоѣческаго рода; что злость вашего сердца видна въ вашихъ сочиненіяхъ; что вы пишете только наглую брань (все это — мнѣнія «Всякой Всячины» и Чулкова о «Трутиѣ»): это не умаляетъ достойную вамъ похвалу, но умножаетъ. Пусть Стозмѣй, изо всей мочи надсѣдаясь, кричитъ, что вы обижаете цѣлый корпусъ дворянства и что ваши ругательства скоро уймутся... Не смотрите на клеветущихъ на васъ, презирайте ихъ и продолжайте свой трудъ такъ, какъ вы начали: выводите порочныхъ (*лицъ*), ибо пороки вообще осмѣиваемые не исправятъ порочныхъ *настоящаго* времени. Вы тѣмъ не раздражите истинныхъ сыновъ отечества: ибо они вамъ сплетаютъ за сіе похвалы»...

Эта цитата сразу показываетъ тонъ новиковскаго журнала, мѣсто, которое онъ занялъ среди извѣстныхъ намъ собратовъ, отношеніе ихъ къ «Трутню», характерные приемы его сатиры. Что же было такого необычайнаго въ этомъ журналѣ, что вызвало крики «цѣлаго корпуса дворянства» и вывело изъ равновѣсія сдержанную, приличную «Всякую Всячину», соблюдавшую въ другихъ случаяхъ болѣе или менѣе успѣшно свой основной принципъ: смѣяться, а не сердиться на бранчивый лепетъ и злонавную грызню неблаговоспитанныхъ «внучатъ»?

Бывшій секретарь комиссіи о «среднемъ родѣ людей», можетъ быть, помогшій даже сохранить для потомства (въ протоколахъ Большой Комиссіи, гдѣ онъ секретарствовалъ) яркія черты «партиійной» борьбы городскихъ депутатовъ съ дворянскими притязаніями, — Новиковъ явился въ журналистикѣ сознательнымъ и принципиальнымъ защитникомъ слабыхъ противъ сильныхъ, «подлыхъ» противъ «благородныхъ». Не тонъ, не приемы его сатиры, а, прежде всего, именно это содержаніе ея доставило Новикову популярность среди «мѣщанъ», — того класса, который, по мнѣнію Екатерины (стр. 285), защищалъ «свободу». И оно же обрушило на него громы «придворныхъ господчиковъ», со «Всякой Всячиной» во главѣ. Журналъ Екатерины тщательно устранялъ изъ литературы все, что сколько-нибудь близко касалось общественной жизни. Это были для него «матерія не нашего департамента», какъ выразился разъ въ подобномъ случаѣ журналъ. Когда одинъ, очевидно, не фиктивный, корреспондентъ попробовалъ было перенести на страницы «Всякой Всячины» обсужденіе важнѣйшихъ жизненныхъ вопросовъ, поднятыхъ дворянскими депутатскими наказами, — редакция наотрѣзъ отказала: «сіи и симъ подобныя вещи въ нашихъ листахъ мѣста не имѣютъ; они не на насъ положены, но въ числѣ

статскихъ, сирѣчь составляющихъ существо правленія вмѣщены быть могутъ». Такимъ образомъ, подъ «нравами», которые журналъ брался исправлять, онъ разумѣлъ, главнымъ образомъ, область личныхъ моральныхъ отношеній и житейскихъ привычекъ. «Всякая Всячина» охотно вмѣшивалась въ распри между мужемъ и женой, родителями дѣтьми, женихомъ и невестой; она благословляла на бракъ или совѣтовала его отложить и провѣрить свои чувства; увѣщала отца дать денегъ сыну и т. п. Или она убѣждала подписчицъ не вѣрить въ сны и гаданья; разбирала ихъ жалобы и клала на нихъ резолюціи вродѣ слѣдующей: «худо быть нечисту и неопрятну въ житьѣ и въ обхожденіи; да и очень нѣжиться и гнушаться всѣмъ, что кажется быть противно и не по нашему вкусу, равнымъ образомъ худо». Во всѣхъ подобныхъ случаяхъ журналъ не избѣгалъ имѣть дѣло даже съ одиночными, совершенно конкретными эпизодами изъ личной жизни подписчиковъ, обращавшихся за совѣтомъ въ редакцію.

Новиковъ ввелъ въ журналистику совершенно новый матеріалъ,—и какъ разъ тотъ, котораго «Всякая Всячина» такъ тщательно избѣгала. Онъ бралъ случай изъ области общественныхъ отношеній и рассказывалъ его во всѣхъ дѣловыхъ подробностяхъ. Случаи были вымышленные, но обстановка, въ которую они ставились, обрисовывалась у талантливаго сатирика настолько жизненными штрихами, что случаи выходили живыми и типичными. Открылась вакансія; на нее являются три кандидата. Одинъ—невѣжественный дворянинъ, но съ деньгами и съ знатной родней: другой—добрый и честный, но не ученый и небогатый дворянинъ: третій, по терминологіи «нѣкоторыхъ глупыхъ дворянъ», «человѣкъ *подлый*, ибо онъ отъ добродѣтельныхъ и честныхъ родился мѣщанъ»,—но испытанный общественный дѣятель и съ широкимъ образованіемъ, оконченнымъ за границей. «Читатель, угадай: глупость ли, подкрѣпляемая родствомъ съ боярами, или заслуги съ добродѣтелью вознаграждаются?» Или, рядомъ: барыня въ богатомъ экипажѣ пріѣхала въ Гостиный дворъ и украла у купца товаръ. Купецъ ищетъ суда и управы, но получаетъ удары плетью. «Ништо тебѣ бѣдный купецъ. Какъ ты, честный злородный человекъ, осмѣлился назадъ требовать своей сѣтки у благородной воровки? Благодарю еще боярыню, что безчестья съ тебя не взяла! Въ самомъ дѣлѣ, не великая ли милость купцу сдѣлана?»

Къ подобнымъ темамъ отношеніе журнала Екатерины сразу опредѣлилось. «Всякая Всячина» объявила, что она не любитъ «дурныхъ шутокъ» и «меланхоличныхъ писемъ»; погрозила поднять «завтра» вопросъ о томъ, «чтобы впредь никому не разсуждать, о чемъ кто не смыслить, и никому не думать, что онъ одинъ можетъ весь свѣтъ исправить». Затѣмъ, она искусно перенесла споръ о задачахъ сатиры на другую почву. Вмѣсто вопроса, дѣйствительно подлежащаго спору, какія стороны жизни могутъ быть доступны сужденію печати, — она

подняла вопросъ о личности въ сатиры и принялась доказывать, что личные нападки не исправляютъ нравовъ; какъ будто обличенія Новикова грѣшили именно личнымъ характеромъ, и какъ будто сама «Всячина» не обсуждала личныхъ случаевъ. Вопросъ о *содержаніи* публицистики былъ подмѣненъ, такимъ образомъ, вопросомъ о дозволенныхъ для нея *пріемахъ*: на этой почвѣ легче было подвести новиковскую сатиру подъ рубрику обычныхъ журнальныхъ «ругательствъ» того времени. Журналисты, съ Новиковымъ во главѣ, приняли сраженіе на предложенной почвѣ—и выиграли его, доказавъ «бабушкѣ», что она «запуталась въ противорѣчіяхъ»; что «въ добрый часъ она намѣряется исправлять пороки, а въ блажной даетъ имъ послабленіе» (Смѣсь). Поставленный Новиковымъ вопросъ о разумныхъ и справедливыхъ отношеніяхъ между «подлостью и благородствомъ» «Всякая Всячина» рѣшилась до конца игнорировать и не проронила о немъ ни звука. За то она сдѣлала уступку, снизойдя до обсужденія другого общественнаго вопроса, — еще при Елизаветѣ завоеваннаго русской публицистикой, — вопроса о взяточничествѣ приказныхъ. Осужденіе взятокъ, какъ мы знаемъ (стр. 243), было первой побѣдой русской журналистики, вырванной у дворянскаго общественнаго мнѣнія. Поэтому даже въ ближайшемъ къ Екатеринѣ кругу должно было произвести впечатлѣніе скандала, когда императрица взяла на себя въ журналѣ защиту «крапивнаго сѣмени». Взятки перевести «весьма легко»,—заявила «Всякая Всячина»:—«не обижайте никого; кто же васъ обижаетъ, полюбовно миритесь безъ подьячихъ». Мы знаемъ изъ депутатскихъ наказовъ, что такъ именно и поступали, въ виду безсилія закона,... слабые, безнаказанно обижаемые сильными. Понятенъ отвѣтъ «Смѣси»: «если бы всѣ были совѣстны и наблюдали законы, то не надобно бы было и судовъ, и приказовъ, и подьячихъ... но когда сіе необходимо, то для чего защищать подьячихъ?» Екатерина повяла неловкое положеніе, въ которое поставила себя,—и сдѣлала дальнѣйшую уступку. Сославшись на свой законъ о назначеніи жалованья подьячимъ, она напечатала въ журналѣ грозное «увѣщаніе лихоимцамъ», которое кончалось совсѣмъ не литературной угрозой. «Если вы еще и такъ дерзки, что осмѣливаетесь и т. д..., то неминуемо изъ двухъ послѣдуетъ одно: или вы будете истреблены, или исправитесь, пока есть на то время». Памятуя, однако, что споръ начался съ ея заявленія, что «подьячихъ перевести не можно и не должно», «Всякая Всячина» при первомъ случаѣ поспѣшила успокоить своихъ читателей: «какъ имъ (приказнымъ) отъ насъ предписаны правоучительныя заповѣди, то должно думать, что они скоро исправятся». Въ глазахъ «Всячины», очевидно, инцидентъ былъ этимъ исчерпанъ.

Какъ видимъ, сама «Всякая Всячина» не удержалась все-таки въ намѣченныхъ ею для публицистики границахъ. Мало того, она въ сердцахъ оказалась способной прибѣгнуть и вовсе къ нелитератур-

нымъ приѣмамъ. Если можно было въ журналѣ грозить подъячимъ административной карой, то отчего было не сдѣлать внушенія забывшимся журналистамъ?

«Екатерина въ этомъ отношеніи походила на Вольтера, — замѣчаетъ Сегюръ, — самые легкіе булабочные уколы больно задѣвали ея тщеславіе. Будучи умна, она дѣлала видъ, что смѣется надъ этимъ; но ясно было, что смѣхъ этотъ былъ немножко вынужденный».

Мы, дѣйствительно, видѣли, что Екатерина «аффектировала смѣхъ», пока дѣло шло о нападкахъ «мелкотравчатыхъ писакъ». Она и теперь продолжала рекомендовать смѣхъ, какъ «новѣйшій образъ лѣченія» того рода «горячки», въ которой «больной вздумаетъ строить замки въ воздухъ (и утверждать, что) всѣ люди не такъ дѣлаютъ, и само правительство,—какъ бы радѣтельно ни старалось,—ни въ чемъ не угождаетъ; они одни по ихъ мыслямъ въ состояніи подавать совѣтъ и все учреждать къ лучшему». Но уже эта характеристика «болѣзни» показывала, что смѣхъ въ данномъ случаѣ не совсѣмъ натуральный. На этомъ способѣ лѣченія Екатерина успокоиться не могла и потому, что «такое несчастное сложеніе, наполненное злостью и злословіемъ, при свободности языка и съ острыми выраженіями—вредъ великій нанести можетъ молодымъ людямъ: иной, на то прельстися, старается перенять, а другой угнетается, не бывъ сложеніемъ толь дерзостенъ,—и не осмѣлится дать воли своему здравому разсудку». Въ виду этой возможности юношескихъ увлеченій, «Всякая Всячина» выходитъ изъ своего притворнаго равнодушія и начинаетъ внушать своимъ читателямъ, что «долгъ нашъ, какъ христіанъ и какъ согражданъ, велитъ имѣти повѣренность и почтеніе къ установленнымъ для нашего блага правительствомъ и не поносить ихъ такими поступками и несправедливыми жалобами (авторъ хочетъ сказать: несправедливыми жалобами на такіе поступки), коихъ, право, я еще не видалъ, чтобы съ умысла случались». «Справедливы ли жалобы о неправосудіи, наипаче тогда, когда всякій честный гражданинъ признаться долженъ, что можетъ быть никогда и нигдѣ какое бы то ни было правленіе не имѣло болѣе попеченія о своихъ подданныхъ, какъ нынѣ царствующая надъ нами монархія имѣетъ о насъ?» Долгъ писателя, въ такое правленіе, есть прославлять положительныя стороны жизни, а не критиковать отрицательныя. «Добросердечный сочинитель... изрѣдка касается къ порокамъ..., но располагая свои другимъ наставленія, поставляетъ примѣръ въ лицѣ человѣка, украшеннаго различными совершенствами... описываетъ твердаго блюстителя вѣры и закона, хвалитъ сына отечества, пылающаго любовію и вѣрностью къ государю и обществу, изображаетъ миролюбиваго гражданина... присовокупляетъ къ тому пользы, изъ того проистекающія... Вотъ славный способъ исправлять слабости человѣческія».

Какъ бы то ни было, этими наставленіями пока и кончилось дѣло.

Всякая Всячина удовольствовалась тѣмъ, что отдала Трутень «на судъ публики»; а Трутень, къ слову, замѣтилъ, что выраженіе, употребленное Всячиной (она «уничтожала» оскорбленія Трутня) неточно. «Уничтожить, то-есть въ ничто превратить — есть слово самовластію собственное; а такимъ бездѣлицамъ, какъ ея листки, никакая власть неприлична: уничтожаетъ верхняя власть какое-нибудь право другимъ». Этими замѣчаніями Новиковъ напоминалъ императрицѣ тѣ условія борьбы, въ которыя она сама себя захотѣла поставить.

Съ Екатериной-писательницей Новиковъ, очевидно, не хотѣлъ считаться иначе, какъ на почвѣ чисто литературнаго спора. Главной, неистощимой темой Трутня остается, вопреки недовольству императрицы, социальная тема: смѣлая, открытая борьба съ кореннымъ зломъ русской жизни, съ сильными обидчиками, съ привилегированными хищниками, съ безнаказаннымъ нарушеніемъ закона, прикрываемымъ социальнымъ или оффиціальнымъ положеніемъ преступника. Когда Екатерина, съ своей точки зрѣнія индивидуальной морали, призываетъ сатирика къ «снисхожденію», «шьетъ изъ милосердія кафтанъ для пороковъ» и рекомендуетъ считать ихъ человѣческими слабостями, — Новиковъ и эти совѣты разрабатываетъ въ духѣ своей обычной темы. «Я слыжалъ слѣдующія разсужденія: въ маленькомъ человѣкѣ воровство есть преступленіе противъ законовъ; въ средостепенномъ воровство есть порокъ, а въ превосходительномъ степени и человѣкѣ, по вѣрнѣйшимъ математическимъ новымъ исчисленіямъ, воровство не что иное, какъ слабость. Хотя бы и не такъ надлежало: ибо кто имѣетъ превосходительный чинъ, тотъ долженъ имѣть и превосходительный умъ и превосходительныя знанія и превосходительное просвѣщеніе: слѣдовательно и преступленіе такого человѣка должно быть превосходительное». Какъ видимъ, Новиковъ старался возвратитъ императрицу на ту почву, которая была ей особенно неприятна — именно потому, что она хорошо понимала всю важность и щекотливость такой постановки вопроса. На этой почвѣ Новиковъ подавалъ руку другому строителю «замковъ на воздухѣ», Дидро. «Вогъ смѣлая, можетъ быть безумная идея, — говорилъ этотъ послѣдній въ одной изъ своихъ бесѣдъ съ Екатериной, — «приведенная въ исполненіе, она принесетъ больше чести и вызоветъ больше шума, чѣмъ выиграшь десяти битвъ. Она поможетъ въ тысячѣ случаевъ, когда законъ остается безсильнымъ противъ могущественныхъ лицъ, — излечить страшный недостатокъ, нерѣдкій во всѣхъ обществахъ, но особенно частый въ деспотическихъ, — что слабый не можетъ отстаивать свои права противъ сильнаго. На моей родинѣ, если герцогъ не можетъ заплатить долговъ, его, несмотря на грансеньерство, арестуютъ на улицѣ и сажаютъ въ тюрьму. Мнѣ кажется, что здѣсь подобная строгость не въ обычаяхъ. Я думалъ сперва, что единственнымъ лекарствомъ было бы дать силу закону и подчинить ему одинаково и сильнаго и слабого. Но это дол-

гая и трудная исторія, а зло требуетъ немедленнаго искорененія». Итакъ, Дидро предлагаетъ Екатеринѣ лично удовлетворять кредиторовъ и потомъ самой расчитываться со всякимъ вельможей, не исполнившимъ своихъ обязательствъ.

Новиковъ не могъ, разумѣется, подавать такихъ совѣтовъ, но энергично указывалъ на зло,—и его указанія нельзя было сохранить въ тайнѣ, какъ рукопись французскаго философа. Къ недовольству Екатерины присоединялось раздраженіе, вызванное журналомъ Новикова въ придворныхъ кругахъ. Онъ только усилилъ это раздраженіе, напечатавъ инициалы «семерыхъ» наиболѣе вліятельныхъ вельможъ, которымъ нечего «краснѣть, читая его сатиры» *). Всѣ остальные, стало быть, тѣмъ самымъ объявлялись кліентами сатирика. Не могъ Новиковъ ослабить своихъ противниковъ и тѣмъ, что напечаталъ въ своемъ журналѣ, какъ они грозятъ ему Сибирью и досаждаютъ на снисходительность государыни. Защищать не въ мѣру откровеннаго журналиста становилось трудно, хотя за его спиной и стояли, говорятъ, вліятельные оппозиціонеры изъ тогдашней знати,—И. Шуваловъ, Воронцовъ, кн. Дашкова,—собиравшіе около себя журналистовъ. Новикову, очевидно, были сдѣланы внушенія, и журналъ присмирѣлъ. Но это не помѣшало сатирику отъ имени публики протестовать противъ своего новаго положенія и жаловаться на блѣдность журнала.

Развязка пришла сама собой. Интересъ Екатерины къ своему журналу быстро охладѣлъ, какъ онъ охладѣвалъ ко всему, что не удавалось ей сразу («*сomment-sense de profession*» и «*rien d'achevé*»—это качество она «открыла» въ себѣ сама въ 1781 г.). Въ 1770 г. Всякая Всячина допечатывала свой «барышокъ»,—рукописи (большей частью переводныя), залежавшіяся въ портфелѣ редакціи, и прекратилась, едва протянувъ полгода. Вслѣдъ за ней (въ іюль) скончался и Трутень, послѣдній изъ журнальной семьи 1769 г., объявивъ передъ смертью читателямъ, что умираетъ «противъ своего желанія», «по обстоятельствамъ» и вслѣдствіе охлажденія публики.

Послѣ того Новиковъ занялся своимъ Словаремъ писателей, а Екатерина увлеклась новымъ способомъ «исправленія нравовъ»—посредствомъ театра. Послѣ неудачныхъ опытовъ съ Комиссіей и съ публицистикой—это была третья арена, на этотъ разъ наиболѣе узкая и скромная, на которую она перенесла свою литературно-общественную дѣятельность. Мы послѣдуемъ, при случаѣ, за Екатериной и въ это послѣднее приближеніе ея либерализма, но пока мы должны еще заняться дальнѣйшими попытками Новикова на открытомъ ему инициативой Екатерины поприщѣ русской публицистики.

Въ 1772 г. Новиковъ вернулся на это поприще съ новымъ, наибо-

*) О(рлова), П(анина), Н(арышкина), С(алтыкова), В(оронцова или Вяземскаго?), Ш(увалова), Б(ецкаго или Бябикова?). В(севоложскаго или Воронцова?). Число «семь» дано въ другомъ мѣстѣ Трутня.

лѣе зрѣлымъ продуктомъ своего сатирическаго таланта, съ «Живописцемъ». Опытъ съ Трутнемъ научилъ Новикова кое-какимъ журнальнымъ уловкамъ, но ни на іоту не измѣнилъ его настроенія. Сатирикъ ставитъ себя подъ эгиду императрицы и открываетъ новый журналъ посвященіемъ автору комедіи «О время»: здѣсь онъ принимаетъ на себя роль скромнаго подражателя великихъ начинавѣй державной писательницы. Каждую смѣлую статью онъ непременно сопровождаетъ трескучимъ панегирикомъ по адресу кого-нибудь изъ великихъ міра. Наконецъ, онъ безпрестанно твердитъ себѣ отъ лица своихъ читателей и корреспондентовъ, что надо быть «осторожнымъ». Все это, однако, не мѣшаетъ Новикову ставить свою главную задачу такъ, какъ онъ ее ставилъ и раньше. Въ только что упомянутомъ посвященіи онъ рекомендуетъ, напр., императрицѣ вотъ какое средство, чтобы сравниться съ Мольеромъ: «истребите изъ сердца своего всякое пристрастіе; не взирайте на лица: порочный человекъ во всякомъ званіи достоинъ презрѣнія. Низкостепенный порочный человекъ, видя осмѣиваема себя купно съ превосходительнымъ, не будетъ имѣть причины роптать, что пороки въ *бѣдности* только одной перомъ вашимъ угнетаются. А превосходительство, удрученное пороками (если будетъ осмѣяно на театрѣ Екатериной), въ первый разъ въ жизни своей почувствуетъ равенство съ низкостепенными». И въ слѣдующемъ обращеніи къ «самому себѣ» Новиковъ прозрачно намекаетъ на неудачный литературный дебютъ Всякой Вячины.

Что же значить это новое «дерзновеніе»? Какой новый ресурсъ имѣетъ въ запасѣ «осторожный» сатирикъ, чтобы позволить себѣ эти неосторожности? Подъ какимъ новымъ флагомъ онъ надѣется провезти свою старую контрабанду?

Помимо упомянутыхъ уже литературныхъ уловокъ, Новиковъ разсчитывалъ, очевидно, на одно серьезное измѣненіе въ программѣ Живописца, совпадавшее съ желаніями государыни. Рядомъ съ социальнымъ вопросомъ онъ выдвинулъ на первое мѣсто въ новомъ журналѣ сатиру на «нравы» въ Екатерининскомъ смыслѣ этого слова. Это была такая общая почва, на которой, не измѣняя своимъ убѣжденіямъ, Новиковъ могъ надѣяться—сойтись во взглядахъ съ сочинительницей комедіи «О время» и заслужить ея благосклонность.

Только что указанная общая почва намѣтилась еще во время выхода Трутня и Всякой Вячины. Новиковъ, конечно, не могъ изображать положительныхъ типовъ и отрадныхъ явленій въ настоящемъ, какъ того требовала императрица въ своемъ журналѣ (стр. 301). Но и сама Всякая Вячина восхваляла «добродѣтели россиявъ» не въ настоящемъ, а только въ прошедшемъ. Не находя ихъ кругомъ себя, среди «татарскаго» (или «сарматскаго») варварства и «французскихъ» новомодныхъ пороковъ, она твердо надѣялась найти эти добродѣтели въ архивахъ и рукописяхъ. «Древнія повѣсти, крыющіяся теперь въ книгохрани-

тельницахъ, когда будутъ тисненіемъ во свѣтъ изданы (мѣры для этого были уже приняты Екатериной), покажутъ намъ довольное число оныхъ, о которыхъ теперь, кромѣ чтущихъ, если кто по счастію достанетъ рукописныя книги, мало кому и слышать удастся. О прехвальныя добродѣтели предковъ нашихъ, къ вамъ я теперь рѣчь свою простираю, явите себя міру; заткните уста поношающихъ вамъ и не вѣдущихъ васъ; прославьте потомковъ вашихъ и себя *извнѣ*, внутри же подайте примѣръ домашній, сильнѣйшій къ подражанію, нежели всѣ иностранныя. Увидятъ чуждые языки и племена' событіе стараній и желаній великія нашей государыни, что народъ россійскій *будетъ* добродѣтеленъ, справедливъ и благополученъ во свѣтѣ столько, сколько можно по человѣчеству». Этотъ любопытный отрывокъ свидѣтельствуемъ о большой путаницѣ мыслей автора (не Екатерины). Тѣ самыя надежды, которыя Наказъ возлагалъ на раціональное законодательство, возлагаются здѣсь на историческую реставрацію древнихъ добродѣтелей, а современное состояніе нравовъ является какимъ-то пробѣломъ. Пробѣлъ этотъ наполненъ отрицательными явленіями, но ихъ вина лежитъ не на русскихъ, а на иностранцахъ. Такъ нащупываются и складываются на нашихъ глазахъ элементы новой націоналистической теоріи, которой предстоитъ долгая исторія и много превращеній. И мы къ ней вернемся еще не разъ; но теперь, стоя у самаго источника будущей теоріи, воспользуемся случаемъ, чтобы заблаговременно указать на обстоятельства, при которыхъ она возникла.

Отрицательное отношеніе къ новымъ культурнымъ заимствованіямъ и восхваленіе, въ пику имъ, древней простоты нравовъ уже въ описываемый моментъ было явленіемъ, совсѣмъ не новымъ въ Россіи. Источникъ этихъ взглядовъ двоякій,—отчасти въ литературѣ, отчасти въ жизни. Въ жизни это, прежде всего, реакція стихійнаго націонализма, съ которой мы сталкивались не разъ и при Петрѣ, и при его преемникахъ. Идейнаго тутъ еще очень мало; это просто продуктъ непосредственнаго раздраженія эксплуатируемаго противъ своего конкурента, съ которымъ, за слабостью мысли и знанія, приходится бороться силой и хитростью. Въ любой странѣ, сразу шагнувшей изъ примитивнаго быта въ культурную обстановку жизни и безсильной противъ эксплуатаціи иностранцевъ, это стихійное чувство достигаетъ сильнаго напряженія и проявляется совершенно своеобразными пароксизмами національнаго самомнѣнія. Въ современной Болгаріи пишущій эти строки имѣлъ возможность наблюдать множество поучительнѣйшихъ параллелей къ исторіи русскаго націонализма XVIII вѣка. Прежде чѣмъ сложится въ какую-нибудь теорію, задѣтое чувство національнаго соперничества проявляется во всевозможныхъ мелочахъ жизни. Несложное самолюбіе юныхъ адептовъ культуры одинаково удовлетворяется при этомъ двумя противоположными способами: или безпрекословнымъ усвоеніемъ или грубымъ протестомъ противъ всего иностраннаго. При

всей кажущейся противоположности, оба прясвленія самолюбія находятся въ самомъ тѣсномъ психологическомъ родствѣ, и потому зачастую прямо другъ въ друга переходятъ или совмѣщаются другъ съ другомъ. На ближайшей высшей ступени оба типа вызываютъ насмѣшки и становятся предметомъ литературнаго изображенія. Изобразить ихъ не трудно, такъ какъ и въ жизни оба типа крайне каррикатурны; тѣмъ не менѣе, для литературнаго изображенія употребляются готовые трафареты болѣе зрѣлыхъ литературъ. Это объясняетъ, почему литературныя характеристики каррикатурныхъ націоналистическихъ типовъ—ксенофоба и ксеномана—появляются у насъ одновременно съ ихъ появленіемъ въ жизни (Кантемиръ, Сумароковъ). Но было бы ошибочнымъ заключать отсюда, какъ дѣлали нѣкоторые изслѣдователи,— что въ жизни такихъ типовъ не существовало. Я раскрываю путешествіе по Россіи датчанина Петра Хавена, и нахожу у него прототипы обѣихъ отмѣченныхъ разновидностей дѣморощеннаго самолюбія *еще въ тридцатыхъ годахъ*, т.-е. задолго до законченнаго литературнаго изображенія ихъ въ русскихъ сатирическихъ журналахъ Екатерининскаго времени. Вотъ будущая «щеголиха» или «кокетка», молодая княгиня Куракина. «у ней цѣлый придворный штатъ; она ѣздитъ шестерней съ двумя форрейторами и четырьмя лакеями, держитъ двѣ дюжины горничныхъ и столько же лакеевъ, ѣстъ роскошно и не во время, спитъ до полудня, одѣвается какъ петербургская оперная пѣвица, говоритъ только по русски, но примѣшиваетъ столько французскихъ и итальянскихъ словъ съ русскими окончаніями, что природнымъ русскимъ труднѣе понять ее, чѣмъ иностранцу, въ разговорѣ по большей части хвалитъ французскія моды и вольное обращеніе, смѣется надъ богобоязненными женщинами, которыя вздыхаютъ о мірской суетѣ, потому что не могутъ найти жениховъ и выйти замужъ (она разумѣетъ тутъ своихъ кузинъ); ея любовныя исторіи доказываютъ, что въ Москвѣ можно разыгрывать амурныя драмы нисколько не хуже Парижа и Лондона». А вотъ противоположный типъ, князь и княгиня Черкасскіе. «Князь спросилъ меня, понимаю ли я по-русски. Я отвѣчалъ: да, немножко. Тогда князь сказалъ, что такъ какъ онъ вездѣ въ своихъ путешествіяхъ долженъ былъ говорить на томъ языкѣ, гдѣ находился, то онъ не можетъ позволить, чтобы въ его отечествѣ кто-либо говорилъ иначе, чѣмъ по-русски. Я хотѣлъ бы знать, продолжалъ онъ, почему бы русскій языкъ нельзя было поставить наравнѣ съ французскимъ и нѣмецкимъ. Я отвѣтилъ, что это, вѣроятно, потому отчасти, что науки еще не процвѣли въ странѣ, и языкъ не распространенъ и не обработанъ, но отчасти также и по той причинѣ, что русское государство только недавно стало уважаться иностранцами; но что, конечно, съ могуществомъ государства возрастетъ и репутація языка. Князь успокоился на этомъ, но тогда княгиня меня спросила, не нѣмецъ ли я. Когда я сказалъ, что нѣтъ, она сняла

съ головы соломенную шляпу, сдѣланную по англійскому фасону, и спросила, какъ я думаю, слѣдуетъ ли выписывать такія вещи изъ-за границы. Я отвѣчалъ, что эта провинность вполне искупается тѣмъ, что ея сіятельству пришлось купить ее поневолѣ и что это хорошая и полезная вещь. Да, отвѣчала княгиня, — а мнѣ ее сдѣлалъ мой мужикъ тутъ въ Москвѣ; стало быть, вы видите, что мы здѣсь въ Россіи не нуждаемся въ нѣмецкихъ товарахъ, — да и въ самихъ нѣмцахъ».

Въ сатирическихъ журналахъ екатерининскаго времени мы встрѣтимъ совершенно тѣ же типы, тѣ же разговоры и ту же самую логику. Но какъ замѣчено выше, — въ промежуткѣ тутъ еще вошелъ элементъ, помогшій передѣлать жизненные факты въ журнальныя статьи, съ соответствующими обстоятельствамъ націоналистическими выводами. Это тотъ книжный элементъ, который, въ его сыромъ и неприкосновенномъ видѣ, мы нашли въ журналахъ елизаветинскаго времени. Мы знаемъ, что русская журналистика овладѣла описанными явленіями жизни по готовымъ книжнымъ образцамъ, и главнымъ образомъ по нѣмецкимъ. Иностранные источники русскихъ журналовъ, правда, изображали иногда явленія болѣе тонкія и сложныя: напримѣръ «петиметръ» у Гольберга (стр. 243) похожъ скорѣе на современнаго эстета или декадента, чѣмъ на кукольный типъ русской сатиры (и русской дѣйствительности). Но это были частности; въ общемъ же не только типы, а и отношеніе къ нимъ журналистовъ было въ германскихъ странахъ то же, что у насъ. Этимъ отчасти объясняется, почему наши писатели такъ любили эксплуатировать именно нѣмецкіе моральные журналы. Тамъ они находили то же самое націоналистическое раздраженіе, тотъ грубоватый тевтонскій протестъ противъ французской модной культуры, который всего лучше соответствовалъ ихъ собственному настроенію и потребностямъ русской публики. Тамъ національный протестъ противъ галломаніи сложился раньше, чѣмъ у насъ; вотъ почему мы могли взять его оттуда готовымъ.

Справедливость требуетъ, однако, подчеркнуть, что у насъ этотъ націоналистическій протестъ противъ французской культурной внѣшности зачастую получалъ болѣе прогрессивный, менѣе шовинистскій смыслъ. Отчасти это было потому, что самыя заимствованія были гораздо поверхностнѣе, грубѣе у насъ: поэтому протестъ противъ культурной внѣшности получалъ значеніе протеста противъ внѣшней культурности. Съ другой стороны, у насъ въ гораздо большей степени, чѣмъ у нѣмцевъ, новая культура сдѣлалась привилегированнымъ достояніемъ *однихъ* только «благородныхъ». Слѣдовательно, нападки на внѣшнюю культурность сливались у насъ съ нападками на исключительное положеніе привилегированнаго класса.

Послѣ этихъ разъясненій будетъ понятно, какимъ образомъ «русскій Рабенеръ», Новиковъ нашелъ для своихъ новыхъ журналовъ общую почву съ Екатериной въ осмѣиваніи французскихъ заимство-

ваній—въ настоящемъ—и въ идеализаціи старинныхъ русскихъ добродѣтелей, уничтоженныхъ этими заимствованіями, въ прошломъ.

На первый разъ сближеніе съ взглядами императрицы оказалось однако, далеко не полное. «Живописецъ» весьма исправно «малевалъ своими красками нынѣшніе развратные свѣтскіе обычаи, новоманерныхъ петербургскихъ щеголей и щеголихъ», «перенятое нашими молодыми господичами у иностранцевъ нововыдуманное обхожденіе»: «легковѣрность, вертопрашество, непостоянство, вольность въ обхожденіи и многіе другіе пороки», заимствованные у французовъ: но въ то же время онъ набрасывалъ первыя въ русской литературѣ картины крѣпостной крестьянской страды и по прежнему настаивалъ на томъ, что «подлыми» людьми надо называть лишь тѣхъ, которые дѣлаютъ «дурныя дѣла».

Относительно «древнихъ добродѣтелей» предковъ онъ предпочиталъ пока молчать, ограничиваясь критикой современныхъ ему «развратныхъ обычаевъ» высшихъ классовъ; и позоря ломающуюся на иностранный манеръ молодежь, онъ не думалъ возлагать за это отвѣтственности на самихъ иностранцевъ. Словомъ, общій тонъ и общая картина журнала получались хотя и много «веселѣе» Трутня, но «меланхолическихъ» нотъ слышалось болѣе чѣмъ достаточно, а картины изъ деревенскаго быта оставили даже за собой лучшее, что было въ Трутнѣ въ этомъ родѣ,—знаменитыя письма и отписки изъ провинціи, перепечатанныя потомъ въ слѣдующихъ изданіяхъ Живописца. Правда, *разсужденія* по поводу изображенныхъ явленій далеко не стояли на одинаковой высотѣ съ самымъ этимъ изображеніемъ. Но причины этого понятны. въ числѣ другихъ нововведеній, журналъ долженъ былъ ввести въ употребленіе столь знакомый новѣйшей русской сатирѣ «езоповскій языкъ». Къ удивленію, этотъ языкъ, который очень хорошо умѣли понимать читатели Живописца, ввелъ въ заблужденіе позднѣйшихъ изслѣдователей, которые и въ самомъ дѣлѣ повѣрили, что сатирическіе журналы Новикова считаютъ свой вѣкъ золотымъ и добиваются только частичныхъ перемѣнъ—не столько въ порядкахъ, сколько въ лицахъ. Разумѣется, Живописецъ, говоря о крѣпостномъ правѣ, долженъ былъ пояснять, что бичуетъ лишь «злоупотребленія дворянскимъ преимуществомъ», а не самое это преимущество; что, нападая на казнокрадовъ и взяточниковъ, онъ критикуетъ лишь отдѣльных бюрократовъ, а не весь бюрократическій строй; что, наконецъ, всѣ эти безпорядки и злоупотребленія, о которыхъ онъ рассказываетъ, уже отмѣнены и исправлены, похитители отставлены, мучители наказаны; словомъ, выражаясь языкомъ «Всякой Всячины», «нравоучительныя заповѣди предписаны», и нравы, если еще не совсѣмъ исправились, то, во всякомъ случаѣ, «скоро исправятся». Но каждый понималъ, что мысль журналиста идетъ дальше, чѣмъ его выраженія. Личиной оптимизма журналъ не могъ обмануть никого, а всего менѣе заинтересованныя

сферы. Это и отразилось на судьбѣ Живописца, совершенно одинаковой съ судьбою Трутня. Журналъ зачахъ, а журналисту пришлось пойти еще дальше по направленію, желательному для Екатерины. Съ начала 1773 года, т. е. еще раньше, чѣмъ окончательно прекратился Живописецъ, Новиковъ сталъ издавать при прямомъ участіи и денежной поддержкѣ Екатерины сборникъ историческихъ документовъ, долженствовавшій, согласно идеѣ «Всякой Всячины», (стр. 305), извлечь изъ архивовъ несомнѣнные доказательства «древнихъ російскихъ добродѣтелей». Въ предисловіи къ «Вивліоекѣ» цѣль эта указана вполне опредѣленно: изъ «начертанія нравовъ и обычаевъ» предковъ читатель долженъ былъ познать «великость духа ихъ, украшеннаго простотою». Мало того, пользуясь благосклоннымъ отношеніемъ императрицы къ этому изданію, — въ которомъ, кромѣ нѣсколькихъ строкъ предисловія, нѣтъ ничего публицистическаго, — Новиковъ задумываетъ новый сатирическій журналъ, въ которомъ обѣщаетъ развивать ту же идею о древнихъ добродѣтеляхъ. Въ этомъ журналѣ, «Кошелькѣ» (1774), онъ впервые и самъ ближе всматривается въ эту идею, мелькавшую въ его умѣ еще при изданіи Трутня. Результаты его размышленій оказываются, однако, довольно неожиданные. Чѣмъ дальше онъ пишетъ, тѣмъ яснѣе начинаетъ понимать, что древнія добродѣтели предковъ находятся въ очень сомнительной связи съ его собственными общественными и просвѣтельными идеалами. Пока онъ рисуетъ типичнаго проходимца-француза, шевалье де-Мансонжа, дѣло идетъ на ладъ: любопытно, однако, что и тутъ Новиковъ высмѣиваетъ не вообще вліяніе иностранцевъ, а только вліяніе французовъ извѣстнаго типа, и заставляетъ возражать шевалье де Мансонжу — не русскаго, а нѣмца, личность котораго изображается въ самыхъ привлекательныхъ чертахъ. Но окончательно сбивается Новиковъ, когда дѣло доходитъ до теоретической защиты старины. Чтобы отдалить моментъ, онъ предпосылаетъ сперва возраженія *противъ старины*, — и возраженія оказываются въ его собственныхъ глазахъ настолько вѣскими, что онъ отказывается опровергать ихъ и прекращаетъ изданіе журнала. Если бы вся эта метаморфоза не происходила на глазахъ читателя, то положительно можно было бы подумать, что все это — одинъ изъ пріемовъ «езоповскаго» языка Новикова. Но нѣтъ: начинается онъ съ прямыхъ заимствованій подлинныхъ выраженій Екатерины и «Всякой Всячины», обѣщаетъ статью, которая должна быть центральной, которою объясняется и самое заглавіе, данное журналу; между тѣмъ, статьи въ журналѣ не оказываются, заглавіе объясняется кое-какъ, мимоходомъ; вмѣсто первоначальнаго пожеланія читателю «въ жизни сей пользоваться древними російскими добродѣтелями», находимъ весьма резонное разсужденіе воображаемаго противника Новикова: «время отъ времени нравы перемѣняются, а съ ними и правоучительныя правила подвержены такой же перемѣнѣ». Затѣмъ идетъ настоящая сатира на то время, когда

«древнія російскія добродѣтели были въ употребленіи. а именно, когда русскіе цари, въ первый день свадьбы своей, волосы клеили медомъ, а на другой день парились въ банѣ вмѣстѣ съ царицами и тамъ же обѣдали; когда всѣ науки заключались въ однихъ святцахъ; женились, не выдавъ невѣсты въ глаза: за различное знаменованіе (креста) сожигали въ срубахъ или, изъ особливаго благочестія, живыхъ закапывали въ землю; словомъ сказать, когда было великое изобиліе всѣхъ тѣхъ добродѣтелей, кои отъ просвѣщенныхъ людей именуется нынѣ варварствомъ». Но пусть читатель самъ прочтетъ эти блестящія, чисто новиковскія насмѣшки и опроверженія защищаемаго имъ самимъ взгляда. «Сильныя выраженія и доказательства» противъ старины такъ искусно перемѣшаны здѣсь съ нелѣпыми и смѣхотворными, что, въ концѣ концовъ, вслѣдъ за изображаемымъ противникомъ старины, читатель въ недоумѣніи спрашиваетъ журналиста: «я подлинно еще не знаю, притворяетесь ли вы прямымъ русакомъ или таковы и въ правду?» Какъ бы ни отвѣтилъ Новиковъ на этотъ вопросъ,—который онъ предпочитаетъ оставить безъ отвѣта,—ясно, во всякомъ случаѣ, одно: въ пропагандисты націоналистической теоріи, только-что начинавшей складываться, онъ совсѣмъ не годился. Изъ «исторіи» онъ извлекъ лишь такіе непріятные аргументы, о которыхъ «Всякая Всячина» отнюдь не думала, когда ожидала найти «древнія російскія добродѣтели» въ архивахъ; а въ защиту новой легенды объ этихъ старыхъ добродѣтеляхъ онъ пока привелъ только устное преданіе—«словесныя объявленія старожиловъ»,—да, точно въ насмѣшку, предложилъ редактору «Кошелька» самому поискать этихъ добродѣтелей въ своей «Вивліюикѣ».

Съ прекращеніемъ «Кошелька» окончился второй важный эпизодъ въ исторіи русской журналистики (1769—1774). Для начинавшаго тогда слагаться русскаго общественнаго мнѣнія журналы этихъ годовъ сыграли въ высшей степени важную роль. Они сформулировали мнѣнія и чаянія передовой части русскаго общества и выяснили отношеніе къ этимъ взглядамъ разныхъ сословій и правящихъ круговъ. Стремленія выступившаго въ этихъ журналахъ поколѣнія были безсословными, точнѣе, они могутъ назваться сословными въ томъ смыслѣ, что къ нимъ могли присоединиться всѣ недовольные господствующимъ положеніемъ сословія, которое какъ разъ въ этотъ моментъ становилось не только привилегированнымъ, но и правящимъ. Главнымъ образомъ это были горожане. Наиболѣе обдѣленные судьбой, крестьяне были и главнымъ предметомъ сочувствія; но до нихъ голоса журналовъ не доходили. «Хлѣбъ, который они ѣдятъ; религія, которая ихъ утѣшаетъ, вотъ единственныя ихъ идеи. Благоденствіе государства, потомство, грядущее поколѣніе—для нихъ это слова, которыми ихъ нельзя затронуть. Они связаны съ обществомъ только своими страданіями и изъ всего того безпредѣльнаго пространства, которое называется будущимъ, они замѣчаютъ только завтрашній день. Ихъ жалкое положеніе лишаетъ

ихъ возможности имѣть болѣе отдаленные интересы». Читатель спрашиваетъ, конечно, изъ какого радикальнаго автора взята эта красно-рѣчивая цитата? Она принадлежитъ императрицѣ Екатеринѣ; это часть того отвѣта ея Дидро о русскихъ сословіяхъ, на который я ссылаюсь выше. Конечно, не хуже русскихъ журналистовъ своего времени Екатерина понимала положеніе дѣлъ. Она хорошо знала, «о комъ пещись должно»,—но знала также и то, «съ кѣмъ дѣло имѣемъ».

Сравнивая настроеніе литературныхъ круговъ 1769—1774 гг. съ настроеніемъ интеллигентнаго поколѣнія, создавшаго первый расцвѣтъ русской журналистики десятью годами раньше, мы должны будемъ констатировать огромный шагъ впередъ. Отвлеченные интересы и чувства характеризовали то поколѣніе, — и они уступили, какъ мы видѣли, первому холодному дыханію жизни. Вчерашніе литераторы сдѣлались сегодняшними защитниками интересовъ своего сословія. Напротивъ, новое поколѣніе интеллигенціи, подъ вліяніемъ идей времени и опираясь уже на своихъ интеллигентныхъ предшественниковъ, выросло съ болѣе серьезными и болѣе конкретными запросами отъ жизни и литературы. Житейскій холодъ охватилъ скоро и ихъ, послѣ короткаго періода «недоразумѣній»; имъ этотъ холодъ былъ даже гораздо чувствительнѣе, чѣмъ ихъ старшимъ братьямъ. Но это только закалило ихъ, какъ скоро увидимъ, для дальнѣйшей борьбы, и, вмѣсто того, чтобы охладить ихъ къ теоріямъ, заставило только внимательнѣе пересмотрѣть свой умственный багажъ. Не простая потребность использовать досугъ, а сознаніе своего нравственнаго долга побудило лучшихъ изъ нихъ взяться за перо журналиста. То же серьезное отношеніе къ себѣ заставило и отложить это перо въ сторону, когда оказалось, что въ журналѣ возможна только одна «веселая и легкая критика». Двѣ цитаты помогутъ намъ представить себѣ эту смѣную настроенія молодыхъ журналистовъ. «Я думаю,—говорилъ себѣ Фонвизинъ, — что таковая свобода писать, каковой пользуются нынѣ россияне, поставяетъ человѣка съ дарованіемъ, такъ сказать, стражемъ общаго блага. Въ томъ государствѣ, гдѣ писатели наслаждаются дарованною намъ свободою, имѣютъ они долгъ возвысить громкій голосъ свой противъ злоупотребленій и предрасудковъ, вредящихъ отечеству, такъ что человѣкъ съ перомъ въ рукахъ можетъ быть иногда полезнымъ совѣтователемъ государя, а иногда и спасителемъ согражданъ своихъ и отечества». Сравнимъ это радужное настроеніе начинающаго литератора съ горькимъ разочарованіемъ литератора опытнаго. Въ Живописцѣ Новикова отставленный отъ службы взяточникъ обращается къ издателю со слѣдующей насмѣшливой рѣчью: «Что ты изъ пустого въ порожнее переливаешь? Мнѣ кажется, братъ, что ты похожъ на постельную собачку моей жены, которая брешетъ на всѣхъ и никого не кусаетъ: а это по нашему называется — брехать на вѣтеръ. По нашему, коли брехнуть, такъ ужъ и укусить, да и такъ

укусить, чтобы больно, да и больно было. Да на это есть другія собаки, а постельнымъ хоть и дана воля брехать на всѣхъ, — только никто ихъ не боится. Такъ-то и ты: пишешь все пустое».

Мы видѣли, что и Екатерина разочаровалась въ журнальной дѣятельности. Но какъ причины, такъ и послѣдствія разочарованія были діаметрально противоположны у нея и у молодыхъ литераторовъ. Она сокращала и ограничивала районъ своего литературнаго воздѣйствія; они старались расширить. Она ушла отъ журнала къ театру, отъ русскаго театра къ французскимъ эрмитажнымъ спектаклямъ и къ интимной корреспонденціи. Они перенесли свою дѣятельность изъ журнала непосредственно въ жизнь и отъ сатирическихъ набросковъ перешли къ работѣ надъ цѣльнымъ міровоззрѣніемъ.

Записки Дидро, читанныя имъ Екатериной, изданы *Maurice Tourneux. Diderot et Catherine II, Paris 1899* Съ появленіемъ этого важнаго матеріала прежнія работы о Дидро должны считаться устарѣвшими. О Дидро вообще см *Морлея, Дидро и энциклопедисты*, и *А Веселовскаго*, статья «Дени Дидро» въ *Этюдахъ и характеристикахъ*, М 1894 О журналахъ см кромѣ текстовъ ихъ (*Живописецъ* и *Трутенъ* переизданы съ примѣчаніями П, А Ефремовымъ, Спб. 1864—5, оба журнала и *Кошелекъ* имѣются также въ общедоступной «Дешевой Библиотекѣ» Суворина 1900 г.), *А Леанасьева* Русскіе сатирические журналы 1769—1774 гг М. 1859 г, *Н. А Добролюбова*, Русская сатира въ вѣкъ Екатерины, соч I, *Е. С. Шумиорскаго*. Очерки изъ русской истории I Императрица—публицистъ, Спб. 1887 г; *В. Ѳ. Солнцева* Всякая Всячина и Спектаторъ въ *Журналѣ Мин Нар Просв* 1892 г, I (въ моемъ изложеніи заимствованныя изъ Спектатора мѣста совершенно оставлены въ сторонѣ, авторъ преувеличиваетъ ихъ значеніе и не подозреваетъ того дѣйствительнаго—и весьма важнаго—значенія, какое имѣлъ журналъ Екатерины въ исторіи русской публицистики—*оригинальной* частью своего содержанія); *его же*, Смѣсь, сатирический журналъ 1769 г. Спб 1894 г (изд библиографа) *Memoires de Ségur.* т III

Второй періодъ «легисломаніи» Екатерины (1775—1785) — Обстоятельства, побудившія ее вернуться къ законодательнымъ работамъ — Вліяніе пугачевщины: ея соціально-политическая программа и дворянскія демонстраціи Екатерины — Вліяніе депутатскихъ наказовъ — Вліяніе Блэкстона — Вліяніе остзейскихъ учреждений — Выборныя должности Учрежденія о губерніяхъ. — Идеиный вкладъ Екатерины въ У. о. г. — Идеаль и дѣйствительность дворянскаго самоуправленія. — Стремленіе приурочить его къ службѣ и чину. — Значеніе губернскихъ учреждений для распространенія дворянской культуры въ провинціи — Общій планъ екатерининскихъ преобразованій — Исключеніе изъ него крестьянскаго вопроса — Характеръ жалованныхъ грамотъ сословіямъ. — Предположенія о реформѣ центральныхъ учреждений. — Причины, почему эти предположенія были отложены

«Недоразумѣніе», о которомъ мы говорили въ началѣ предыдущей главы, разсѣялось. Власть и общественное мнѣніе пошли различными путями, и когда эти пути пересѣклись вновь, ихъ встрѣча была, какъ увидимъ, далеко не дружественнаго характера. Прежде чѣмъ мы перейдемъ къ этому столкновенію, намъ слѣдуетъ познакомиться ближе съ путями, избранными властью.

Выборъ этотъ происходилъ при трудныхъ обстоятельствахъ, и нельзя отрицать что, — при этихъ обстоятельствахъ, — онъ въ значительной степени оказался вынужденнымъ. Однако, въ трудныхъ обстоятельствахъ, о которыхъ идетъ рѣчь, не было ничего, что не было бы подготовлено предыдущимъ общимъ положеніемъ дѣлъ. И, въ этомъ смыслѣ, окончательный выборъ направленія внутренней политики не былъ чѣмъ либо новымъ и неожиданнымъ. Краски сгустились; очертанія стали рельефнѣе; но, въ общемъ, это тотъ же тонъ, тѣ же тенденціи, которыя намѣтились у Екатерины давно, какъ мы могли видѣть и изъ нашего предыдущаго изложенія.

1774 годъ былъ однимъ изъ тяжелыхъ годовъ для Екатерины. Съ турецкаго театра войны до самаго конца іюля получались свѣдѣнія одно неудовлетворительнѣе другого. Внутри имперіи разгоралась жажерія, грозившая принять небывалые размѣры. Слухъ за слухомъ приходилъ изъ Москвы, что чернь волнуется, что тюрьмы переполнены открытыми сторонниками Пугачева, что губернаторъ принужденъ былъ стрѣлять въ мятежную толпу, что 18 человекъ повѣшено. Дворянство, въ свою очередь, нервничало и не скрывало своего раздраженія

противъ правительства, которое не умѣетъ его защитить. И среди этой, переполненной политической отравой атмосферы, раскрылась старая рана екатерининскаго правленія, — вопросъ о ея отношеніи къ наслѣднику престола. Все, что притаилось при самомъ дворѣ оппозиціоннаго, заговорило или, предполагалось, должно было заговорить. Герои и участники и даже простые свидѣтели переворота 1762 года, казалась, самымъ своимъ присутствіемъ снова напоминали про непрочность положенія Екатерины. Этотъ психологическій моментъ окончательно толкнулъ императрицу отъ Орловыхъ и Чернышевыхъ къ Потемкину. Но Потемкинъ былъ только надежной точкой опоры, точкой приложенія силы; силой осталась сама Екатерина. И, надо сказать, она обнаружила гибкость и энергію, которыя помогли ей справиться съ трудностью положенія. Утѣшая вскорѣ послѣ того Роберта Гуннинга, авглійскаго представителя, — который, правда, ждалъ отъ нея войскъ, а не утѣшеній, въ затруднительномъ положеніи Англии, — Екатерина обмолвилась нѣсколькими искренними словами о своихъ собственныхъ затрудненіяхъ, только что пережитыхъ ею «Повѣрьте мнѣ, я не основывала своей надежды на успѣхъ на какомъ-либо одномъ средствѣ дѣйствія. Есть моменты, когда не приходится быть слишкомъ ригористичной». И дѣйствительно, мы видимъ не одну, а нѣсколько Екатерины, борющихся съ приливомъ, готовымъ ее захлеснуть. Она осыпаетъ золотомъ перваго встрѣчнаго шарлатана, явившагося съ Поволжья съ предложеніемъ выдать или убить Пугачева; и она же обращаетъ всю пугачевщину въ шутку въ своей литературно-дипломатической болтовнѣ съ Вольтеромъ, Гриммомъ и мадамъ Бьельке. Она отдаляетъ вѣрныхъ друзей, привыкшихъ дѣлить съ ней власть, и дѣлаетъ будирующаго противъ нея, но безопаснаго честолюбца Панина — усмирителемъ пугачевщины. Она отмѣняетъ, послѣ трудной и дорогой войны, рядъ податей, чтобы доказать, что русскіе финансы въ блестящемъ положеніи; и она выбираетъ Москву, средоточіе оппозиціи, ареной своихъ блестящихъ празднествъ по поводу заключенія мира. Напрасно близорукіе партизаны, въ родѣ Сиверса, всѣми силами отговариваютъ ее отъ этого путешествія въ Москву. Екатерина лучше ихъ понимаетъ значеніе политической *mise en scène*, и съ той же демонстративностью, съ какой она устраивала въ Москвѣ открытіе своей Комиссіи, она выбираетъ это же самое мѣсто для продолженія своихъ законодательныхъ трудовъ. Да, она, наконецъ, будетъ продолжать эти труды: не только потому, что всѣ этого ждутъ отъ нея въ Европѣ, что сама жизнь требуетъ реформъ, сколько потому, что теперь — это козырь въ ея рукахъ, одинъ изъ «инструментовъ царствованія»: потому что, какъ она хорошо понимаетъ сама, даже и безъ совѣтовъ Библикова, однихъ палліативовъ и зрѣлищъ мало, чтобы побороть общее недовольство; потому наконецъ, что это ея профессія и ея спеціальность «дѣлать людей довольными», — тѣхъ людей, которые ей нужны, — и потому что для

этой цѣли у нея есть, какъ она увѣрена большою запасъ рецептовъ и средствъ.

Изъ этого запаса она, конечно, пуститъ въ дѣло тѣ средства, которыя требуются данною минутой. Всмотримся внимательнѣе въ главный фактъ, послужившій психологическимъ толчкомъ для новаго прилива екатерининской «легисломаніи», и мы легко поймемъ, что и почему поставлено было на ближайшую очередь.

Главнымъ толчкомъ было, конечно, то положеніе вещей, которое съ особенной ясностью было обнаружено пугачевщиной. Пугачевщина, какъ фактъ, могла быть устранена смѣлой операціей. Пугачевщина, какъ симптомъ, требовала систематическаго и продолжительнаго леченія.

Въ своемъ происхожденіи, пугачевщина была однимъ изъ давно знакомыхъ Москвѣ проявленій борьбы между рядовымъ казачествомъ и казацкой аристократіей. Въ этой социальной борьбѣ московская политика постоянно стремились дать перевѣсъ казацкой старшинѣ надъ казачествомъ, казачеству надъ ^ипосполствомъ (крестьянствомъ). Но иногда правительству поневолѣ приходилось поддерживать демократическіе элементы, — когда болѣе вліятельныя общественныя группы слишкомъ уже открыто обнаруживали автономистскія стремленія или вступали въ сношенія съ поляками и турками. Во второй половинѣ XVIII вѣка положеніе дѣла значительно перемѣнилось. Съ одной стороны, уже не было больше основаній опасаться, что казацкая старшина *восточной* русской окраины войдетъ въ союзъ съ политическими врагами Россіи. Съ другой стороны, социальный процессъ закрѣпощенія посполства и присвоеніе казацкихъ земель въ частную собственность старшиной—къ этому времени почти завершился; и этотъ быстрый ростъ земельной силы новой казацкой аристократіи отлично гармонировалъ съ ростомъ шляхетскихъ тенденцій въ самой Россіи. Вотъ почему политика Петербурга на Дону и особенно на Волгѣ уже совсѣмъ не представляетъ даже тѣхъ, чисто внѣшнихъ заигрываній съ казацкой демократіей, какихъ нечужда была политика Москвы на Днѣпрѣ. Старшинская партія стала здѣсь окончательно — правительственной, а войсковая—оппозиціонной. Новорожденное казацкое дворянство и старшинская бюрократія быстро сознали свою солидарность съ дворянствомъ и бюрократіей имперіи. И еще быстрѣе простой народъ, закрѣпощаемый тѣмъ и другимъ дворянствомъ, долженъ былъ признать въ обоихъ своего общаго врага;—тѣмъ болѣе, что притокъ бѣглыхъ переселенцевъ изъ центра на окраины никогда не прерывался и приносилъ съ собой постоянно свѣжую струю социальной вражды, обостряемой еще болѣе—крѣпостническими стремленіями мѣстной казацкой старшины. Этою солидарностью чувствъ и интересовъ обѣихъ социальныхъ группъ въ центрѣ и на окраинѣ объясняется, почему движеніе, вначалѣ специфически казацкое, антистаршинское, такъ легко и быстро

перекинулось изъ только что начавшей заселяться территоріи казаковъ и инородцевъ въ черту (тоже не особенно стараго) помѣщичьяго землевладѣнія и крѣпостного права. Пугачевскія прокламаціи не оставляли никакого сомнѣнія относительно соціального характера движенія. Главная цѣль его — истребленіе «тѣхъ проклятаго рода дворянъ, которые, не насытятся Россією, но и природныя казачьи войска хотѣли раздѣлить въ крестьянство и истребить казачій родъ». «Всему свѣту извѣстно,— заявлялось въ прокламаціи одного изъ сообщниковъ Пугачева,— сколько во изнуреніе приведена Россія. Отъ кого-жъ? Вамъ самимъ то небезызвѣстно. Дворянство обладаетъ крестьянами; но хотя въ законѣ Божіемъ и написано, чтобы они крестьянъ такъ же содержали, какъ и дѣтей, но они... хуже почитали собакъ своихъ, съ которыми гонялись за зайцами. Компанейщики завели премножество заводовъ и такъ крестьянъ работой утрудили, что и въ ссылкахъ того никогда не бываетъ». Самъ Пугачевъ не упускалъ случая объяснять, что и потерпѣлъ онъ, и лишевъ былъ престола—за свою попытку улучшить положеніе крестьянъ: за то, что хотѣлъ перевести дворянство на жалованье, а земли вернуть крестьянамъ *). Конечно, есть въ прокламаціяхъ и другіе мотивы: тягости со стороны государства (подушная подать и рекрутчина) и перемѣна вѣры. Но и эти оба мотива ставятся въ самую тѣсную связь съ главнымъ, антидворянскимъ. «Отъ прописанныхъ злодѣевъ дворянъ древняго святыхъ отецъ преданія законъ христіанскій нарушенъ и поруганъ, а вмѣсто того съ ихъ зловреднаго умысла, съ нѣмецкихъ обычаевъ, введенъ въ Россію другой законъ, и самое богомерзкое братодобріе и разныя христіанской вѣрѣ, какъ въ крестѣ, такъ и въ прочемъ, неистовства; и подвергнули, кромѣ (т.-е. вопреки) нашей монаршей власти, всю Россію себѣ въ подданство, съ наложеніемъ великихъ отягощеніевъ и доводя ее до самой и крайней гибели». Исходъ намѣчался самъ собою: замѣнить дворянское войско—казацкимъ; тогда не нужно будетъ ни помѣщичьихъ, ни государственныхъ сборовъ, ни рекрутчины. «Вѣрноподданныхъ» Пугачева ожидала «вольность, безъ всякаго требованія въ казну подушныхъ и прочихъ податей и рекрутовъ набору; войско *изъ вольножелающихъ* къ службѣ великое исчисленіе имѣть будетъ; дворянство крестьянъ своихъ великими работами и податями отягощать не будутъ, понеже каждый восчувствуетъ прописанную вольность и свободу».

Современники хорошо понимали, что сила Пугачева не въ немъ самомъ, а въ этой соціально-политической программѣ, которая съ своего рода необходимостью вытекала изъ всей вѣковой исторіи крестьянства и явилась неизбѣжнымъ, неустрашимымъ выраженіемъ его классоваго самосознанія. (Ср. «Оч.», I, 138—139, 209 и слѣд.). Въ этомъ смыслѣ,

*) Ср. Очерки, I, стр. 214—215 (4 изд.).

вся крестьянская Россія была пугачевской. «Не вездѣ ли опасность одинакова? И не весь ли черный народъ вообще, когда не въявь, такъ въ сердцахъ своихъ—бунтуетъ и готовъ поднять на насъ свои руки?» Такъ спрашивалъ себя, всего въ 60-ти верстахъ отъ Москвы, помѣщикъ Болотовъ, смущенный слухами о приближеніи Пугачева. Единственной гарантіей противъ «этихъ бородачей» Болотовъ считалъ, что ему случилось быть въ тотъ моментъ *не въ своей*, а въ государственной деревнѣ. «Тамъ наши люди первые могли бы быть нашими злодѣями и врагами, а здѣшнимъ мы—сторона дѣло. *Ничтъмъ мы имъ еще не нагрубимъ*». И однако, и въ этихъ ожиданіяхъ Болотовъ ошибся. Обратившись къ новобранцамъ, собраннымъ противъ Пугачева, съ увѣщаніемъ «драться хорошеенько», онъ услышалъ отъ одного изъ нихъ самый недвусмысленный отвѣтъ. «Да, сказалъ онъ мнѣ на сіе, злодѣйски усмѣхаясь; сталъ бы я бить свою братью! А развѣ васъ, бояръ, такъ готовъ буду десятерыхъ посадить на копые сіе!» Не мудрено, что тотъ же Болотовъ,—писатель и интеллигентъ, какъ мы знаемъ,—будучи допущенъ вмѣстѣ съ другими «дворянами и господами» къ самому эшафоту Пугачева, вынесъ изъ зрѣлища казни одно только чувство—сословнаго удовлетворенія этимъ «истиннымъ торжествомъ дворянъ надъ симъ общимъ ихъ врагомъ и злодѣемъ» *).

Политика власти, когда приходилось выбирать между противоположными интересами дворянства и крестьянства, намъ хорошо извѣстна. Мы видѣли, что уже Иванъ Грозный, впервые выставившій демократическо-монархическую программу, резюмѣлъ подъ своимъ демократизмомъ собственно защиту интересовъ служилаго «воинства». То же самое «воинство», опираясь на которое Грозный «игралъ» со знатью, «какъ съ младенцами», вынесло на своихъ плечахъ смуту и посадило на престолъ новую династію. Взамѣнъ того, оно получило право свободного распоряженія крѣпостнымъ трудомъ и значительную долю участія въ выгодахъ установившагося бюрократическаго режима. Наконецъ, на то же «воинство» предпочиталъ опираться и Петръ Великій въ борьбѣ съ своими многочисленными врагами **). Зато, самъ того не сознавая, онъ посѣялъ зародыши сословныхъ привилегій въ западно-европейскомъ смыслѣ среди излюбленнаго имъ гвардейскаго офицерства. Теперь эти сѣмена принесли свой плодъ. Корпоративное сознаніе зародилось; не хватало только корпоративной организаціи, и эту орга-

*) Съ другимъ чувствомъ—«отвращенія», борющагося съ любопытствомъ—ушелъ отъ того же эшафота пятнадцатилѣтній И. И. Дмитріевъ, писатель слѣдующаго, Карамзинскаго поколѣнія. «Чувствительное сердце его» (онъ говоритъ про своего брата эти слова, которые можно отнести и къ нему самому и ко всему поколѣнію) уже «не могло выносить такого позорища».

***) См. Очерки, III, 1, стр. 65, 77—89, 147—149.

низадію предстояло дать Екатерину, чтобы успокоить недовольство, вызванное въ дворянствѣ успѣхами пугачевщины.

Для начала Екатерина посиѣшила—еще во время самой борьбы и въ интересахъ ея успѣха—признать свое дѣло солидарнымъ съ дѣломъ дворянства. Когда, по вызову Бибикова, казанское дворянство постановило сформировать особый конный корпусъ, Екатерина велѣла передать дворянамъ, что она, въ виду пожертвованія ихъ, «поставляетъ себѣ тѣмъ сугубѣйшимъ долгомъ—цѣлостъ, благосостояніе и безопасность ихъ ничѣмъ нераздѣлимою почитать съ собственною нашею и имперіи нашей безопасностію и благосостояніемъ». Съ своей стороны, «яко помѣщица той губерніи», императрица приказывала поставить въ дворянскій корпусъ рекрутъ съ дворцовыхъ волостей. Демонстрація Екатерины вызвала высокопарный отвѣтъ дворянства, написанный Державинымъ. По старинному дворяне умилялись, что императрица «пріемлетъ на себя рабье названіе», и, переходя въ новый тонъ, восклицали: «признаемъ тебя своею помѣщицею: принимаемъ тебя въ свое товарищество; когда угодно тебѣ, равняемъ тебя съ собою. Но за сіе и ты ходатайствуй за насъ у престола величества твоего».

Эту роль—ходатая передъ самой собой за дворянство—Екатеринѣ не трудно было выполнить послѣ всего того, что было сказано и сдѣлано депутатами ея Комиссіи отъ собственнаго имени дворянства. Насущныя потребности и корпоративныя тенденціи дворянъ были ей хорошо извѣстны изъ наказовъ и рѣчей, изъ преній и баллотировокъ по вопросу «о правахъ благородныхъ». Но прежде чѣмъ мы перейдемъ къ тому, что Екатерина взяла изъ этого источника, намъ надо познакомиться съ идеологическими источниками сословнаго законодательства Екатерины.

Источники эти были такъ же не похожи на прежнихъ вдохновителей Екатерины, какъ не похожъ былъ и ея новый пріемъ подготовки законопроектовъ—наединѣ съ собой, въ собственномъ кабинетѣ, иногда съ однимъ - двумя экспертами, призываемыми ad hoc, — на старую форму шумныхъ преній въ Комиссіи. Провозвѣстниковъ новыхъ абстрактныхъ идей, теоретиковъ «общаго блага», «благодѣтелей чело-вѣчества» смѣняютъ на ея рабочемъ столѣ тяжеловѣсныя историко-юридическія изслѣдованія и монографіи по спеціальнымъ вопросамъ. Екатерина никогда не любила политическаго абсолютизма Руссо; но и въ политическомъ релятивизмѣ Монтескье было еще черезчуръ достаточно абсолютныхъ элементовъ, которые она принимала на вѣру. Теперь Екатерина беретъ въ руководители писателя-юриста той страны, гдѣ особенно силенъ юридическій консерватизмъ. Вмѣстѣ съ нимъ она готова подчинить всякую теорію существующему факту: въ этомъ фактѣ, въ существующемъ, вѣками сложившемся общественномъ строѣ, въ историческихъ прецедентахъ она ищетъ единственной твердой опоры—если не для теоріи, то для законодательства. Блэкстонъ зани-

маетъ мѣсто Монтескье. И какъ различенъ отъ прежняго способъ пользованія новымъ авторитетомъ! Цѣлыми страницами Екатерина переписывала когда-то «президента Монтескье» въ свой Наказъ и спѣшила выставить на показъ всему свѣту свой безцеремонный литературный плагиатъ. Теперь, изъ Блэкстона она ничего не беретъ прямо: это ея «нить, которую она разматываетъ на свой манеръ». И она совсѣмъ не читаетъ больше «экономистовъ» и всякихъ другихъ «—истовъ», которые въ изобиліи шлютъ ей свои сочиненія, стараясь подѣйствовать на ея умъ и волю. Она занимается теперь не «болтовнею», а «дѣломъ». Плоды ея новыхъ работъ въ ея глазахъ, конечно, гораздо выше Наказа; но своимъ корреспондентамъ, Вольтеру или Гримму, она вовсе не спѣшитъ теперь посылать свои работы. Почему? О, конечно, не потому, чтобы эти «указы» не были краснорѣчивы или не принесли бы великой пользы «человѣчеству». Но дѣло въ томъ, что... «ихъ переведутъ плохо: въ нихъ больше идей, чѣмъ фразъ, а у переводчиковъ больше фразъ, чѣмъ идей»... Наконецъ,—это Екатерина пишетъ послѣ настойчивыхъ упрасиваній не въ мѣру льстивыхъ корреспондентовъ,—«это слишкомъ скучное чтеніе; это очень хорошо, быть можетъ очень красиво, но ужасно скучно».

Дѣйствительно, скучное, дѣловое чтеніе; но мы не можемъ освободить себя отъ него, какъ освобождала Екатерина своихъ корреспондентовъ. Послѣдуемъ за ней въ ея московское уединеніе; посидимъ надъ разгонистымъ почеркомъ ея черновиковъ, въ которыхъ пять мѣсяцевъ подрядъ, упорно марая, зачеркивая и переписывая, она вырабатывала текстъ перваго своего капитальнаго законодательнаго акта, «Учрежденія о губерніяхъ». Что взяла она здѣсь изъ дворянскихъ просьбъ и желаній? Въ чемъ можно усмотрѣть идеологическое вліяніе Блэкстона?

Въ сущности, оба эти источника сходились ближе, чѣмъ можно было бы ожидать отъ такихъ полярныхъ повидимому, явленій, какъ русская жизнь и англійская теорія XVIII-го вѣка. Мы знаемъ, что самое единодушное желаніе дворянскихъ депутатовъ заключалось въ томъ, чтобы въ русской провинціи созданы были близкія къ населенію судебно-полицейскія учрежденія и чтобы въ составъ этихъ учрежденій, цѣликомъ или отчасти, введены были выборные отъ дворянства. Но въ Англии XVIII-й вѣкъ былъ какъ разъ вѣкомъ расцвѣта областныхъ судебно-полицейскихъ учрежденій, отдавшихъ деревенское населеніе всецѣло въ распоряженіе класса помѣстныхъ землевладѣльцевъ. Къ этому именно классу—лордовъ и сквайровъ, полновластныхъ хозяевъ сельской Англии,—обращается Блэкстонъ съ своими «Комментаріями на англійскіе законы». Прирожденные законодатели и судьи, они должны знать законы страны, какъ долженъ былъ знать римское право римскій патрицій. Повятно, что здѣсь была бы неустыжная демократическая теорія общественнаго договора. Блэкстонъ рѣшительно

признаетъ ее «абсурдной» и оставляетъ «теоретикамъ». Оставаясь сыномъ своего вѣка, онъ не можетъ, конечно, не признавать теоріи «естественнаго права» вообще; но онъ весьма предусмотрительно отдѣляетъ сферу дѣйствія естественнаго права отъ сферы дѣйствія положительнаго закона. Санкцію закона (поскольку онъ не противорѣчитъ «здравому разуму»), Блэкстонъ ищетъ исключительно въ правительственномъ распоряженіи. Въ своемъ уваженіи къ существующему, онъ даже идетъ еще дальше. «Хотя бы разумъ, диктовавшій законы, и не былъ ясенъ съ перваго взгляда, мы обязаны слишкомъ большимъ уваженіемъ къ нашимъ предкамъ, чтобы предположить, что они дѣйствовали вовсе безъ всякаго разсужденія». Такому руководителю Екатерина смѣлѣе могла вѣрится, чѣмъ разнымъ «вралямъ» — «экономистамъ». И мы можемъ легко предположить, что роль, отведенная «джентри» въ публичномъ и частномъ правѣ Англій, въ частности же и въ мѣстномъ управленіи англійскаго графства, очень помогла Екатеринѣ помириться съ сословно-автономистскими стремленіями русскаго дворянства.

Былъ впрочемъ еще одинъ ближайшій источникъ, который могъ послужить и послужилъ нагляднымъ образцомъ тѣхъ же сословныхъ мѣстныхъ учрежденій, какихъ добивалось наше дворянство и какія въ такой полнотѣ осуществлены были въ отечествѣ Блэкстона. Въ остзейскомъ краѣ, подъ покровомъ шведскихъ бюрократическихъ формъ, «рыцарство», въ сущности, держало въ своихъ рукахъ все управленіе краемъ. Правда, остзейскіе порядки вызывали какъ разъ тѣ же самыя жалобы, которыя такъ часто слышатся въ дворянскихъ наказахъ. До суда и расправы и здѣсь было далеко простому, не привилегированному обывателю; за отсутствіемъ на мѣстѣ представителей законной власти, и здѣсь самоуправство было въ порядкѣ вещей; помѣщикъ и здѣсь фактически былъ высшей властью и неограниченно господствовалъ въ предѣлахъ, а частью и за предѣлами собственнаго имѣнія. Но даже и такое несовершенное въ юридическомъ отношеніи состояніе остзейскихъ провинцій все-таки оставалось идеаломъ для страны, гдѣ, послѣ неудачной попытки Петра (см. выше), *воевода* оставался единственнымъ и полновластнымъ хозяиномъ цѣлой территоріи уѣзда, гдѣ «въ одной воеводской канцеляріи совокуплены» были «дѣла всякаго рода и званія».

Теперь эти дѣла должны были распредѣлиться по принадлежности. Финансы, полиція и судъ получали свои отдѣльные органы въ уѣздѣ и въ губерніи; въ судѣ и полиціи получали значительное участіе выборные представители дворянства. Ближайшее мѣсто по отношенію къ населенію занялъ при этомъ судебно-полицейскій органъ, соотвѣтствовавшій лифляндскому «орднунгсгерихту». Согласно желаніямъ наказовъ этотъ органъ былъ *цѣликомъ* составленъ изъ выборныхъ: во главѣ его «земскій капитанъ-исправникъ» избираемый дворянствомъ; при немъ 2—3 «засѣдателя», выбранныхъ отъ дворянъ и двое отъ государствен-

ныхъ крестьянъ, гдѣ они были. Но Екатерина хотѣла *отдѣлать* судъ отъ управленія и организовать судебныя мѣста согласно идеѣ, усвоенной ею еще въ Наказѣ: именно такъ, чтобы «всякаго человѣка судити черезъ равныхъ ему». Поэтому рядомъ съ названнымъ органомъ («нижнимъ земскимъ судомъ»), получившимъ преимущественно полицейское значеніе (хотя и сохранившимъ до 1889 года свою коллегіальную форму), она поставила чисто судебный органъ *первой* инстанціи для дворянъ («уѣздный судъ»), въ соотвѣтствіе такимъ же органамъ для горожанъ (городовой магистратъ) и не помѣщичьихъ крестьянъ (нижняя *народная* расправа—такъ назывался этотъ органъ въ первоначальномъ текстѣ). Затѣмъ суды *средней* инстанціи (уничтоженные вскорѣ, въ 1796 г.) тоже устраивались по сословіямъ: дворяне получили въ этой инстанціи «верхній земскій судъ» (остзейскій оберландгерихтъ), въ соотвѣтствіе «губернскому магистрату» и «верхней народной расправѣ» для горожанъ и крестьянъ. Весь составъ дворянскаго уѣзднаго суда былъ выборный отъ дворянства; въ верхнемъ же судѣ только два предсѣдателя были назначенные отъ короны. Напротивъ, въ крестьянскихъ судахъ обѣихъ инстанцій предсѣдателями были лица назначенные правительствомъ, т.-е. опять-таки служащіе дворяне; «не запрещалось» и крестьянскихъ засѣдателей выбирать «изъ дворянъ или ученыхъ, или чиновныхъ людей». Суды *высшей* инстанціи въ губерніи (гражданская и уголовная палата) были уже вполнѣ коронными по составу.

«Сей порядокъ сходственъ съ порядкомъ нашихъ остзейскихъ провинцій», признавала сама Екатерина. Принимаясь за его осуществленіе, она и пригласила поэтому, въ качествѣ экспертовъ, одного ландрата изъ Эстляндіи, имя котораго осталось неизвѣстнымъ, и лифляндца Сиверса, которому предоставлено было произвести первый опытъ введенія новыхъ учрежденій—въ Тверской и Новгородской губерніяхъ. Сиверсъ, несомнѣнно, преувеличиваетъ свою роль при самой разработкѣ проекта. Безспорно только одно, что по его совѣту исключена изъ черновиновъ Екатерины промежуточная инстанція между уѣздомъ и губерніей: *провинція*. Она и дѣйствительно являлась лишней, послѣ того какъ сами губерніи были уменьшены до размѣровъ прежней провинціи *).

Напротивъ, самая существенная черта, *отличающая* «Учрежденіе» отъ его остзейскаго образца,—именно, проведеніе болѣе стройной, чѣмъ практичной,—и никогда не осуществившейся вполнѣ—системы сословныхъ «судовъ пэровъ» для крестьянъ, горожанъ и дворянства—есть, конечно, личное дѣло самой Екатерины. Въ этой идеѣ нельзя не видѣть центрального зерна, около котораго кристаллизовалось все остальное идейное содержаніе «Учрежденія о губерніяхъ».

*) Прямимъ послѣдствіемъ этой перемѣны въ первоначальномъ проектѣ и было накопленіе въ губернскомъ городѣ судебныхъ мѣстъ двухъ высшихъ инстанцій: («палаты» и «верхніе» сословные суды, скоро отмѣненные)

Устройствомъ «судовъ равныхъ». дѣйствительно, не ограничиваются идеологическіе элементы «Учрежденія». Въ первоначальный проектъ закона, при самомъ началѣ его разработки, императрица вставила еще три характерныхъ органа, почерпнутые изъ другихъ источниковъ и, несомнѣнно, представляющіе то, что Екатерина считала своимъ особенно важнымъ идейнымъ вкладомъ въ Учрежденіе о губерніяхъ. Всѣ три прибавлены на поляхъ къ первоначальному тексту, разрываютъ стройность системы, и Екатерина тщетно ищетъ у Сиверса указаній, какъ бы возстановить эту стройность. Новые органы эти: 1) сиротскіе суды, дворянскій (опека) и городской: 2) приказъ общественнаго призрѣнія и 3) совѣстный судъ. Что касается опеки, указанія на это Екатерина могла найти въ наказахъ, въ томъ числѣ въ имѣвшемъ особое вліяніе на нее наказѣ сената, изъ котораго усвоены ею многія частности. Но устройство приказа общественнаго призрѣнія—этого предшественника теперешнихъ земствъ, предназначеннаго вѣдать мѣстную благотворительность, медицину и народное образованіе,—стоитъ въ несомнѣнной связи съ ея личными просвѣтительными тенденціями. Объ этомъ приказѣ Екатерина особенно заботится: ставитъ его рядомъ съ высшими мѣстами въ губерніи,—съ губернскимъ правленіемъ и судебными палатами; даетъ ему безвозвратно капиталъ въ 15.000 для начала его дѣятельности. Еще интереснѣе происхожденіе совѣстнаго суда: самое названіе этого учрежденія — *conseil de l'équité* указываетъ на заимствованіе изъ Блэкстона. Назначеніе совѣстнаго суда — смягчать жесткость закона въ примѣненіи къ отдѣльнымъ случаямъ и восполнять недостатокъ законовъ: совѣстный судъ долженъ дѣйствовать тамъ, гдѣ законы молчатъ. Въ такой постановкѣ нельзя не видѣть результатовъ чтенія Блэкстона. Уже самыя вступительныя слова этой главы «Учрежденія»: «Понеже личная безопасность каждаго вѣрноподданнаго весьма драгоценна есть челоуколюбивому монаршему сердцу» и т. д., а также дальнѣйшій параграфъ (401: «Буде кто пришлетъ прошеніе въ совѣстный судъ, что онъ содержится въ тюрьмѣ болѣе 3 дней, и въ тѣ три дни ему не объявлено, за что онъ содержится въ тюрьмѣ или что онъ въ тѣ 3 дни не допрашиванъ, тогда с. с., не выходя изъ присутствія, долженствуетъ послать повелѣніе» и т. д.) — показываютъ, что глава «Комментаріевъ» о *habeas corpus* произвела на императрицу сильное впечатлѣніе. Своимъ совѣстнымъ судомъ Екатерина особенно гордилась и ожидала отъ него важныхъ послѣдствій. Въ своей перепискѣ она не разъ повторяетъ, что это будетъ «могила ябеды». Въ порядкѣ губернскихъ учрежденій совѣстный судъ поставленъ еще независимѣе, чѣмъ приказъ общественнаго призрѣнія. Въ обоихъ учрежденіяхъ засѣдаютъ, подъ предсѣдательствомъ короннаго судьи и губернатора, выборные представители всѣхъ трехъ сословій поровну.

Если даже оставить въ сторонѣ только что перечисленные органы, необходимо будетъ все-таки признать, что Учрежденіе о губерніяхъ

вводило въ наше государственное право совершенно новыя начала. Въ виду этого, Екатерина сочла даже нужнымъ теоретически оправдать необходимость подобныхъ нововведеній. Въ предисловіи къ Учрежденію она ссылается на «многіе примѣры» «въ доказательство истины сей, что распространеніе предѣловъ государства, умноженіе въ ономъ народа и происшедшее изобиліе въ способахъ ко внутреннему и извнѣ текущему обогащенію (обыкновенно и повсюду) перемѣняли какъ образъ ихъ управленія, такъ часто и заставляли дополнять самыя законоположенія, учинившіяся на послѣдокъ или неудобными или недостаточными, коихъ довлѣло (т.-е. которыя были достаточны). при основаніи державы и въ первомъ ея сосояніи» *). И этотъ аргументъ далеко не былъ лишнимъ. Новыя учрежденія, прежде всего, предполагали существованіе корпоративно-организованныхъ общественныхъ группъ, выбравшихъ своихъ представителей въ новыя общественныя и правительственныя должности. Но самое понятіе корпорации, какъ юридическаго лица, настолько чуждо было нашему праву, что Екатеринѣ пришлось объяснять это правовое понятіе выписками изъ Блэкстона и Делольма.

Не мудрено, что и для власти, и для дворянства далеко не сразу стало ясно все значеніе введенныхъ правительствомъ выборовъ и словнаго представительства. Фактически у дворянства явились «предводители» уже тогда, когда надобно было устроить выборы въ Комиссію уложенія. Но манифестъ 14-го декабря 1766 г. создавалъ эту должность лишь на два года— «для лучшаго между собой порядка» при выборѣ депутата и на «случай, если даны будутъ отъ верховнѣй власти ка-

*) Въ черновыхъ текстахъ выработкѣ этого интереснаго мѣста предшествовала довольно продолжительная работа, очень характерная для исторіи екатерининскихъ идей о естественномъ правѣ. Указавъ на недостаточность историческихъ свѣдѣній о началѣ человѣческихъ обществъ (Блэкстонъ въ этомъ случаѣ ищетъ указаній въ Библии), Екатерина ссылается, какъ на единственный остающійся источникъ, на «здравый разумъ», который «заставляетъ думать, что во всякомъ народѣ управленіе его» . «сходствовало съ народнымъ», пишетъ она сперва привычную мысль, но тотчасъ же оговаривается «или заимствовало чего ни на есть отъ народнаго». Но и эта оговорка кажется Екатеринѣ недостаточной: она надписываетъ надъ строкой фразу, выражающую совершенно противоположную мысль (эти слова мы ставимъ въ скобки). «сходствовало съ народнымъ (или надъ нимъ власть имѣющихъ) умоначертаніемъ». Далѣе исправленный текстъ читается (зачеркнутое Екатериной въ скобкахъ): «или же, по крайней мѣрѣ, заимствовало много или мало отъ онаго, устанавлиемо же было или (вдругъ силою) исподволя по общему желанію (согласіемъ общимъ, надобностямъ) или силою. Перемѣны же происходили по положенію дѣлъ и разнообразныхъ военныхъ и мирныхъ обстоятельствъ внутреннихъ и внѣшнихъ, или же по умноженію или умаленію людей или земли ими занятыми. Краткое сіе описаніе замыкаетъ въ себѣ безъ изъятія дѣтописаніа всѣхъ государствъ». Мы видимъ, какъ мысль императрицы колеблется, отвыкая отъ «абсурдной» теоріи общественнаго договора и приноворя старыя термины къ новому пониманію, вытекающему изъ чтенія Блэкстона

кія особыя повелѣнія» относительно «всѣхъ живущихъ въ уѣздѣ дворянъ». На второе двухлѣтіе (1769) выборы были опять назначены особымъ указомъ, и только при третьихъ выборахъ (1771) сдѣлано было распоряженіе повторять ихъ впредь, не дожидаясь особыхъ указовъ. Часть дворянства, правда, уже въ наказахъ обнаружила стремленіе къ постоянной корпоративной организаціи дворянства, требовавъ отъ правительства не только права выбора въ судебно-полицейскія должности, но также и права періодическаго созыва дворянскихъ собраній—для выслушанія отчетовъ выборныхъ лицъ, для обсужденій сословныхъ нуждъ дворянства и даже для представленія петицій. Однако, «Учрежденіе о губерніяхъ» признавало лишь *выборныя* собранія дворянства, и только на прямой запросъ Безбородко о правѣ обсужденія нуждъ и петицій (1778: «кромѣ выборовъ, ежели общее собраніе дворянства или нѣкоторые уѣзды будутъ имѣть надобность или пожелаютъ собраться для совѣта съ собратіями своими о нуждахъ и пользахъ взаимныхъ... можно ли дозволить имъ о томъ совѣтовать и дѣлать представленія или жалобы именемъ общества чрезъ депутатовъ?») Екатерина лаконически отвѣчала: «дозволить», введя затѣмъ это дозволеніе и въ текстъ жалованной грамоты дворянству 1785 года.

Такимъ образомъ, лишь мало-по-малу дѣло, начатое въ рамкахъ прежнихъ законодательныхъ комиссій XVII—XVIII вѣковъ, разрослось до предѣловъ настоящаго дворянскаго самоуправленія, гораздо болѣе напоминавшаго средневѣковыя сословныя учрежденія Запада, чѣмъ губныя учрежденія Грознаго или «всеуѣздныя избы» московскаго чернососнаго сѣвера.

Но, отставъ отъ одного берега, пристали ли новые порядки къ другому? Конечно, нѣтъ,—и этимъ объясняются колебанія теоретиковъ государственнаго права, слѣдуетъ ли признать дворянскія учрежденія Екатерины за самоуправленіе вообще. Стоитъ взглянуть на сосѣднюю Лифляндію, послужившую ближайшимъ источникомъ этихъ учрежденій, чтобы замѣтить и оцѣнить всю разницу. Въ Лифляндіи даже коронныя должности, замѣщаемыя мѣстнымъ дворянствомъ, пріобрѣтали земскій характеръ. Напротивъ, у насъ, какъ сейчасъ увидимъ, земскія должности стремились пріобрѣсти коронный характеръ. Средоточіемъ дворянской силы въ Лифляндіи была та самая «коллегія ландратовъ», которую когда-то Петръ тщетно старался привить Россіи. И эта коллегія настолько стояла въ разрѣзъ съ духомъ екатерининскихъ учрежденій, что, къ великому огорченію Сиверса и раздраженію мѣстнаго дворянства, она была первая уничтожена, когда Екатерина рѣшилась навязать краю свои новыя учрежденія. Такимъ образомъ, введеніе губернскихъ учрежденій, бывшее торжествомъ дворянскихъ тенденцій у насъ, явилось въ остзейскихъ губерніяхъ первымъ симптомомъ ихъ паденія. Такъ велико было различіе между сословными

учрежденіями, вводимыми искусственно, и тѣми же учрежденіями, сложившимися исторически *).

Въ чемъ же корень различія? Мы это поймемъ сразу, если скажемъ, что съ самаго начала дѣйствія новыхъ учрежденій и власть, и дворянство смотрѣло на нихъ, какъ на новаго рода службу, повинность, и что общественную дѣятельность очень скоро пришлось свести къ масштабу такого единственнаго тогда и всемогущаго соціальнаго мѣрила, какимъ былъ чинъ (ср. выше).

Отъ службы,—единственной, какую дворянство до тѣхъ поръ знало, т.-е. военной,—дворянство было, правда, только что уволено. Но оно такъ сроднилось съ мыслью, что только служба и даетъ ему его соціальное положеніе въ государствѣ, что никакъ не могло понять своего освобожденія и, въ массѣ, отнеслось къ освобожденію отъ службы недоувѣрчиво и подозрительно. Въ самой Комиссіи вопросъ этотъ не разъ становился предметомъ горячихъ споровъ, и самые ретроградные элементы дворянства оригинальнымъ образомъ сходились съ самыми передовыми во мнѣніи, что освободить дворянство отъ службы не слѣдуетъ. Иначе оно теряетъ право владѣть крестьянами. такова была задняя мысль у всѣхъ, въ томъ числѣ и у самихъ крестьянъ, какъ мы знаемъ («Оч.», I, стр. 214). Эта задняя мысль и явилась источникомъ всѣхъ возраженій: какъ крѣпостниковъ, въ родѣ Выродова, находившихъ, что дворянинъ долженъ служить «изъ благодарности» «за предпочтеніе передъ прочими», такъ и радикаловъ, въ родѣ Урсинуса или городского депутата Антонова, утверждавшихъ, что каждый дворянинъ долженъ «собственными заслугами» возобновлять предпочтеніе, оказанное предкамъ. Общее мнѣніе было, что, предоставленное самому себѣ, дворянство предастся праздности и бездѣлю въ своихъ имѣніяхъ. Противовѣсомъ противъ всѣхъ этихъ опасеній и явилось созданіе новыхъ коронныхъ и выборныхъ должностей по мѣстному управленію. Даже такіе близкіе къ губернской реформѣ люди, какъ Сиверсъ, видѣли въ ней, главнымъ образомъ, поправку къ указу о вольности отъ службы. Служба на мѣстѣ являлась лучшимъ средствомъ примирить интересы дворянства съ нуждами правительства: сельскую жизнь съ государственной службой. По остроумному выраженію одного изслѣдователя, дворянство переводилось только изъ министерства военнаго въ

*) Первоначально Екатерина не имѣла въ виду дѣлать свои губернскія учрежденія орудіемъ руссификаціи окраинъ. Въ черновомъ текстѣ находимъ прямую оговорку въ этомъ смыслѣ: «Все сіе не касается до тѣхъ губерній, кои имѣютъ особыя подтвержденныя привилегіи, какъ-то Малороссія, Лифляндія и прочія,—и не до Сибири» И далѣе: «изъключая изъ сего новаго учрежденія всѣ тѣ области, земли и княженія нашего государства, коими особыми привилегіями и жалованными грамотами отъ предковъ нашихъ и насъ самихъ снабжены или нашими конфирмаціями подтверждены». Ср стр 275—276, пренія въ Комиссіи. Какъ извѣстно, губернскія учрежденія были распространены на Малороссію въ 1782 г. и на Лифляндію и Эстляндію въ 1783 г.

министерство внутренних дѣлъ. И раньше, чѣмъ имп. Николай I рельефно выразилъ эту мысль, одѣвши всѣхъ дворянъ безъ различія въ одинъ мундиръ министерства внутренних дѣлъ, екатерининскіе цвѣтные мундиры дворянъ по губерніямъ уже намѣчали такой исходъ, хотя ближайшей ихъ цѣлью и было символизировать корпоративность и привилегированность сословія, имѣвшаго входъ ко двору.

Наиболѣе интеллигентные изъ дворянъ такъ и поняли съ самаго начала новыя права дворянства, какъ новый видъ службы. «Учрежденіе собраній дворянскихъ есть истинное право», замѣчалъ, напр., Щербатовъ, «если бы оно зависѣло отъ собственнаго согласія или отъ тѣхъ, кого они сами начальниками себѣ выберутъ; но какъ сего нѣтъ, то они собираются не для сужденія о своихъ дѣлахъ, не для разсмотрѣнія общей и частной пользы, но токмо какъ нѣкоторыя орудія, которыя сносятъ, для угнетенія самихъ же ихъ». Это доказывалось, по мнѣнію Щербатова самой постановкой дворянскаго представительства въ законѣ, который «уподлялъ чинъ губернскаго предводителя» и ставилъ его въ полную зависимость отъ намѣстника и губернатора. Какъ извѣстно, «хозяинъ губерніи» по Учрежденію былъ, дѣйствительно, единственнымъ и безконтрольнымъ посредникомъ между областью и верховной властью: положеніе, которое одинаково вызывало оппозицію новому закону какъ среди придворныхъ временщиковъ, такъ и среди вліятельныхъ элементовъ провинціи. По замѣчанію Щербатова, намѣстники и губернаторы, «бывъ деспоты въ губерніяхъ, всегда могутъ имѣть нѣкоторую партію для избранія, кого пожелаютъ... а потому всѣ судьи и будутъ по ихъ волѣ выбираться» *). Щербатовъ забывалъ только прибавить, что огромное большинство рядового дворянства не видѣло въ такой постановкѣ ничего обиднаго для своего корпоративнаго достоинства. Дворянство, какъ это мы знаемъ изъ сообщеній Сиверса, на перебой бросилось занимать губернскія должности, не различая выборныхъ отъ невыборныхъ и видя въ тѣхъ и другихъ лишь новый путь для службы и выслуги.

Необходимымъ послѣдствіемъ такого взгляда власти и самого дворянства на выборныя должности, какъ на новый типъ государственной службы, было включеніе ихъ въ рамки таблицы о рангахъ. «Учре-

*) Предсказанія Щербатова подтверждаются наблюденіями надъ петербургскими выборами двухъ пріѣзжихъ французовъ (1792), въ отзывѣ которыхъ, конечно, отражаются и тогдашніе толки *столичнаго* дворянства: «Читая указъ объ этихъ собраніяхъ, видишь, что не можетъ быть лучшихъ правилъ и большаго простора для корпоративнаго обсужденія общественныхъ и государственныхъ дѣлъ. Но до сихъ поръ власть ставила столько препятствій предположеніямъ собраній, генераль-губернаторы такъ сильно вліяли на рѣшеніе ихъ, что результаты этихъ собраній можно считать совершенно сведенными къ нулю. Извѣстно заранѣе, кого выберутъ, потому что кандидаты указаны свыше, и власть охотно жертвуетъ формой (назначенія), разъ дворянство этимъ удовлетворяется, только бы остаться по существу полновластнымъ господиномъ».

ждение о губерніяхъ» сочло должность предводителя и дворянскихъ засѣдателей совѣстнаго и верхняго земскаго суда въ 7 классѣ, капитана-исправника и уѣздныхъ засѣдателей—въ 9-мъ, засѣдателей при исправникѣ—въ 10-мъ. Но дворянство этимъ не ограничилось. Тотчасъ же возникъ дальнѣйшій вопросъ о томъ, какъ устроить свободный переходъ съ одной «службы» на другую, съ коронной на земскую и наоборотъ. Рѣшить вопросъ полнымъ приравненіемъ «обѣихъ государственныхъ службъ» Екатерина, однако, не рѣшилась. Она ограничилась установленіемъ правила, что губернскую должность извѣстнаго ранга могъ получить только тотъ, кто по своей предыдущей службѣ дослужился до ближайшаго низшаго ранга табели *). Для дворянъ, конечно, важнѣе было добиться обратнаго, т.-е., чтобы на государственную службу дворянинъ принимался въ рангѣ, какой занималъ по выборной (и вообще губернской) должности. Практика сената, который систематически игнорировалъ ранги низшихъ должностей (заполняемыхъ по назначенію губернскаго правленія) вызывала сильное недовольство дворянъ.

Дальнѣйшее развитіе законодательства, хотя и не оправдало ожиданій дворянъ относительно губернской службы, тѣмъ не менѣе совершалось именно въ направленіи бюрократизаціи земской службы. Предводитель, также какъ исправникъ, превратились, въ концѣ-концовъ въ чиновниковъ, отягощенныхъ изобиліемъ правительственныхъ порученій. Не давая желаемыхъ правъ по службѣ, правительство не стѣснялось усложнять обязанности губернскихъ учреждений. Въ результатѣ, послѣ перваго увлеченія мѣстной службой, дворянство быстро отхлынуло отъ нея **). Умственный и нравственный цензъ избирае-

*) Тотъ, кто вовсе не служилъ, не могъ совсѣмъ участвовать въ самоуправленіи: дворяне, не имѣвшие оберъ-офицерскаго ранга, по жалованной грамотѣ 1785 г. могли присутствовать въ собраніи, но безъ права голоса и, тѣмъ болѣе, безъ права быть выбранными въ какую-либо должность.

**) Объ этомъ имѣется любопытное свидѣтельство В. Н. Каравина (1801): онъ жалуется на случайность и произвольность коронныхъ назначеній въ *вышнія* губернскаго должности, важныя для службы, но отнятыя у мѣстнаго общества; наоборотъ, *низшія* должности, не представлявшія служебнаго интереса, предоставлялись общественному выбору и скоро стали пренебрегаться дворянами. «Отъ сего произошло, что со времени открытія намѣстничествъ, мало-по-малу важность дворянскихъ выборовъ упала до того, что наослѣдокъ стали производить ихъ съ пренебреженіемъ. Никто изъ людей достойныхъ не хотѣлъ быть выбраннымъ въ уѣздныя чины или въ верхній земскій судъ, и сіи мѣста предоставляли, какъ милостыню, дворянамъ, не имѣющимъ другихъ способовъ къ жизни. Вообще примѣчно, что первые выборы въ губерніяхъ были и самыя лучшія: тогда не успѣли еще рассмотреть всѣхъ сихъ послѣдствій, и намѣренія монархини произвели всеобщій энтузіазмъ къ добру; простылъ сей жаръ, когда увидѣли, что безпристрастіе выбирающихъ и безкорыстіе избранныхъ были равно, посмѣяны... что *уѣздныя* присутственныя мѣста суть пустая инстанція», а дѣло вершится въ губерніи, въ коронныхъ палатахъ.

мыхъ сильно упалъ, какъ только обнаружилось, что мѣстная служба не можетъ служить предварительнымъ стажемъ для государственной. И тутъ-то выяснился вполнѣ обязательно-служебный характеръ выборной службы. «Уклоненіе» отъ выборовъ и отъ выборныхъ должностей стало трактоваться властями, какъ преступленіе; уже въ XVIII в. и въ началѣ XIX-го законъ опредѣляетъ наказаніе за такое уклоненіе, потомъ пробуетъ повысить цензъ избирателей, ранги избираемыхъ, сроки ихъ службы (1831),—и все напрасно. Создавъ нѣсколько несомнѣнно полезныхъ для государства и общества учреждений, законъ Екатерины не создалъ самоуправленія въ Россіи.

Это не значитъ, однако же, чтобы губернскія учрежденія не имѣли значенія для дворянскаго сословія. Совершенно напротивъ. Отдавъ полицію, судъ и частью управленіе въ губерніи въ руки дворянства, «Учрежденіе о губерніяхъ» послужило началомъ огромной перемѣны въ жизни русской провинціи. Служба по выборамъ все-таки закрѣпила дворянское общество на мѣстахъ, установила связи между его членами, соединила ихъ съ городомъ, куда до сихъ поръ дворяне ѣздили только въ лавки къ купцамъ и въ канцеляріи къ приказнымъ крючкамъ, помогавшимъ имъ оттягать у сосѣда имѣніе. «Дворянство входитъ мало-по-малу во вкусъ—собираться въ городѣ и строиться тамъ», пишетъ Сиверсъ о Твери и Новгородѣ. «Начало знатное дворянство не токмо въ губернскомъ городѣ часто съѣзжаться, но и строить порядочные дома для ихъ всегдашняго житья», повторяетъ почти тѣми же словами Державинъ о Тамбовѣ. «Эпоха сія,—подтверждаетъ Болотовъ,—была по всей справедливости самая достопамятная во всей новѣйшей исторіи нашего отечества и послѣдствіями своими произвела во всемъ великія перемѣны...» «Такое хорошее и веселое житье было въ особенности въ первыя 3 или 6 лѣтъ (т.-е. на первыхъ двухъ выборахъ) по открытіи намѣстничества (Тульскаго, 1777) и было намъ столь пріятно, что на вѣкъ осталось для насъ незабвенно». Послѣднія слова, которыя могли бы повторить тысячи тогдашнихъ дворянъ, показываютъ намъ, гдѣ мы должны искать сущности «великой перемѣны», совершившейся въ жизни нашего провинціального дворянства со введеніемъ губернскихъ учреждений. Это были не дворянскія привилегіи сами по себѣ: законъ ничего или очень мало могъ бы прибавить въ этомъ отношеніи къ тому, что уже существовало фактически. Не было это и торжество порядка и законности, такъ какъ, надо признаться, губернскія учрежденія не составили и въ этомъ отношеніи какой-либо особой эры: для низшихъ слоевъ населенія большая близость власти отозвалась на первыхъ порахъ лишь большимъ количествомъ приказныхъ и чиновныхъ насилій, а также большими расходами на новыя земскія власти. «Незабвенны» были для средняго дворянства годы устройства намѣстничества, какъ годы окончательнаго насажденія въ провинціи той дворянской культуры, начало которой мы имѣли случай прослѣ-

дять въ первой половинѣ XVIII столѣтія. Подъ культурой мы разумѣемъ тутъ отнюдь не какія-либо новыя явленія умственной и нравственной жизни: это просто приобщеніе провинціи къ тѣмъ новымъ формамъ общественности, которыя вырабатывались съ начала вѣка вблизи двора и среди привилегированнаго населенія столицы (стр. 187—196).

Екатерина и тутъ первая подаетъ знакъ для общаго подражанія. Въ дни московскихъ празднествъ по поводу Кучукъ-Кайнарджійскаго мира (1775) она развертываетъ въ грандіозныхъ размѣрахъ ту самую программу, которая въ миниатюрѣ будетъ выполняться, на личный или на казенный счетъ, ея намѣстниками при открытіи учреждений въ губернскихъ городахъ. «Я здѣсь четыре недѣли,—пишетъ Екатерина мадамъ Бьельке изъ Москвы, въ ожиданіи торжествъ,—два раза въ недѣлю у меня приемы, и ни разу не было меньше 400—500 дамъ; я дала три маскарада, куда допускалось только дворянство, и ни на одинъ не было роздано меньше 6—7.000 билетовъ». Въ дни торжествъ, въ іюлѣ 1775 г. Москва еще больше передолняется провинціальнымъ дворянствомъ; и даже такія простыя души, какъ семья Болотова, удостоиваются взглянуть, въ первый разъ въ жизни, на настоящій балъ-маскарадъ, театръ и въ довершеніе всего, великолѣпный фейерверкъ. Черезъ два года у себя въ Тулѣ они будутъ показывать все это, и балъ, и маскарадъ, и театръ, и фейерверкъ, еще болѣе простымъ душамъ, чѣмъ онѣ сами. Еще черезъ десятокъ лѣтъ, проѣзжая черезъ Смоленскъ, Екатерина будетъ имѣть удовольствіе видѣть себя окруженной цѣлымъ цвѣтникомъ дамъ и дѣвицъ, въ великолѣпныхъ столичныхъ костюмахъ, и съ самыми изысканными манерами, которыя только въ ея скептическомъ спутникѣ, Сегюрѣ, вызываютъ подозрѣніе, что истинная культура отсутствуетъ подъ этой маской цивилизаціи. Но дѣло, конечно, не въ томъ,—не въ этой «истинной культурѣ». Дѣло въ томъ, что дворянство довольно; что «вранье» въ провинціи на время прекращается и уступаетъ мѣсто славословію.

Екатерина, декламировавшая и издавшая строгіе законы противъ роскоши и расточительности,—хотѣла ли одного только этого результата, сочиняя въ то же самое время, между куртагами и маскарадами, свое «Учрежденіе о губерніяхъ»? Разумѣется, она мѣтила дальше и думала захватить глубже. «Учрежденіе», по ея мысли, было только обломкомъ, отдѣльнымъ кускомъ большого цѣлаго; и если она издавала его первымъ, то лишь для того—какъ она сама выразилась въ предисловіи,—чтобъ «приготовить тѣмъ самымъ и облегчить лучшее и точнѣйшее исполненіе полезнѣйшихъ впредь издаваемыхъ узаконеній». Послѣдующія обстоятельства—и особенно увлеченіе внѣшней политикой такъ и свели все зданіе законодательства Екатерины къ обломкамъ. Но это не мѣшаетъ намъ попытаться возстановить изъ намековъ и набросковъ, по крайней мѣрѣ, его общіе контуры.

Ближайшій свидѣтель второго періода екатерининской «легисло-

маніи», Сиверсъ, нѣсколько лѣтъ спустя (1779), уѣзжая изъ Петербурга, напоминаетъ императрицѣ обо всемъ, что такъ недавно еще она имѣла намѣреніе создать тотчасъ же вслѣдъ за «Учрежденіемъ о губерніяхъ». «Если ваше величество меня спросите, какой отдѣлъ я считаю важнѣе,—мнѣ будетъ трудно отвѣтить. Все одинаково необходимо: судебные уставы, уголовное и гражданское уложеніе, вексельный уставъ, инструкція казначействамъ, директорамъ экономіи (государственныхъ имуществъ), городское положеніе, глава о дворянствѣ, преобразованіе столичныхъ учреждений, наконецъ, прибавлю съ стѣсненнымъ сердцемъ,—сельскій законъ,—законъ человѣчности». Къ этому послѣднему, «закону человѣчности», Сиверсъ много разъ возвращается въ своей перепискѣ съ Екатериной, напоминая ей постоянно, что «въ основѣ смуть оренбургскихъ, казанскихъ и поволжскихъ лежало невыносимое иго рабства»; что «приверженцы Пугачева состояли исключительно изъ крѣпостныхъ, недобольныхъ своими господами», что «источникъ броженія всегда будетъ оставаться одинъ и тотъ же, пока не будетъ издано закона о сельскомъ хозяйствѣ». Но съ другой стороны тотъ же Сиверсъ оговаривался, что «пока такого закона нѣтъ, необходимо поддерживать положеніе дворянства какъ оно есть; если позволить крѣпостнымъ хотя бы самамалѣйшій протестъ или разсужденіе, то, зная человѣческое сердце, нельзя ручаться за послѣдствія». Исходя изъ такого же «знанія человѣческаго сердца» и пониманія пугачевщины, Екатерина, какъ мы знаемъ, уже сдѣлала свой выборъ. «Законъ человѣчности» къ этому времени уже не представлялся ей—не только *легко* осуществимымъ, но даже и осуществимымъ вообще. Она молчаливо вычеркнула его изъ списка своихъ будущихъ преобразованій. Хорошо еще, что «знаніе человѣческаго сердца» не позволило ей искать рѣшенія крестьянскаго вопроса въ томъ, въ чемъ искали его многіе современники,—и въ томъ числѣ Сиверсъ: въ систематической раздачѣ всѣхъ государственныхъ крестьянъ во владѣніе дворянству. Это не помѣшало, правда, усиленной раздачѣ этихъ же крестьянъ фаворитамъ и усиленной продажѣ дворянамъ государственныхъ земель; не помѣшало и юридическому укрѣпленію дворянской власти надъ крѣпостными на основахъ *частнаго* права. Въ итогѣ, по заключенію современнаго спеціалиста, «въ царствованіе Екатерины было сдѣлано гораздо болѣе для усиленія и даже для распространенія крѣпостнаго права, чѣмъ для его ограниченія».

Словомъ, «законъ человѣчности» надо исключить изъ перечня, сдѣланнаго Сиверсомъ. Остаются основныя права сословіи и кодификація матеріальнаго и процессуальнаго права. Послѣднее осталось не только не выполненнымъ, но почти и не начатымъ,—если не считать подготовительныхъ выписокъ изъ старыхъ законовъ, сдѣланныхъ въ Комиссіи и, можетъ быть, подобныхъ же выписокъ, представленныхъ Екатериной Соймоновымъ въ восьмидесятихъ годахъ, съ распредѣленіемъ

ихъ на этотъ разъ «по блэкстоновымъ заглавіямъ». Главный интересъ Екатерины сосредоточился на болѣе легкой и благодарной задачѣ, на составленіи жалованныхъ грамотъ разнымъ сословіямъ. Для этого матеріалъ въ значительной степени былъ заготовленъ частными комиссіями. Наибольшаго вниманія удостоились, конечно, матеріалы для жалованной грамоты дворянству: здѣсь приняты были Екатериной во вниманіе не только проектъ и докладъ частной комиссіи, но и пренія «о правахъ благородныхъ» въ большой Комиссіи, гдѣ эти пренія заняли, какъ мы знаемъ (стр. 277) не мало засѣданій. Однако, текстъ грамоты, выработанный Екатериной, остается оригинальнымъ: главное его отличіе отъ матеріаловъ состоитъ въ томъ, что особенно разработаннымъ оказывается у Екатерины отдѣлъ о *корпоративныхъ* правахъ дворянскихъ обществъ (въ матеріалахъ онъ едва ямѣченъ въ главныхъ чертахъ), тогда какъ перечисленіе отдѣльныхъ *личныхъ* правъ, требовавшихся депутатами, значительно сокращено или представлено въ болѣе обобщенной, юридически-систематизированной формѣ. Эту разницу нельзя не поставить въ связь съ изученіемъ заинтересовавшихъ Екатерину образцовъ европейскаго государственнаго права. Та же разница между проектами и составленнымъ Екатериной текстомъ въ еще болѣе рѣзкой формѣ замѣчается въ Городовомъ положеніи, черновикъ котораго составленъ былъ Екатериной уже въ 1779 году. Матеріальныя особенности и условія русской городской жизни отходятъ здѣсь еще болѣе на второй планъ передъ чисто формальными вопросами корпоративнаго городского устройства. Вниманіе императрицы какъ будто устремлено, главнымъ образомъ, на то, чтобы выдержать, насколько возможно больше, симметрію между городскимъ и дворянскимъ корпоративнымъ устройствомъ. Идеологія разошлась здѣсь еще дальше съ практикой—уже въ самой формулировкѣ закона. Какъ мы говорили въ другомъ мѣстѣ («Оч.» I, стр. 201, изд. 4-е), городская автономія явилась гораздо въ большей степени, чѣмъ дворянская, мертворожденнымъ плодомъ. Органы самоуправленія здѣсь еще скорѣе и безпрепятственнѣе приняли характеръ правительственныхъ административныхъ органовъ, чѣмъ это было съ дворянской службой по выборамъ. Въ третьей жалованной грамотѣ, «сельской» (предназначавшейся конечно только для свободныхъ крестьянъ вѣдомства директора экономіи)—формальные вопросы получили еще больше преобладанія, и интересъ къ симметріи окончательногозобладалъ надъ интересомъ къ матеріальному содержанію сельской жизни. Вся эта грамота есть не больше, какъ отдѣлъ городской грамоты о ремесленной управѣ, съ замѣной только термина «городской» терминомъ «сельскій». Не мудрено, что въ результатѣ получилось нѣчто совершенно не примѣнимое къ сельскому быту вообще и къ русскому быту, съ его своеобразностями, съ его общиннымъ землевладѣніемъ,—въ особенности. Крестьянинъ трактовался какъ цеховой, за его работой устанавливался самый мелочной надзоръ; для полученія

права на веденіе самостоятельнаго хозяйства онъ подвергался экзамену и т. п. Естественно, что этотъ проектъ такъ и остался въ бумагахъ Екатерины, не получивъ дальнѣйшаго движенія. Онъ не оказалъ даже никакого вліянія на позднѣйшее киселевское устройство казенныхъ селеній, проникнутое отчасти сходныхъ духомъ детальной правительственной опеки.

Необходимо остановиться еще на одной чертѣ екатерининскаго плана реформы, не обратившей на себя должнаго вниманія изслѣдователей. Во главѣ реформированнаго государства она хотѣла поставить реформированныя центральныя учрежденія. Рассказывая о своихъ намѣреніяхъ московскому главнокомандующему кн. М. Н. Волконскому, она представляетъ свой планъ (1775) въ слѣдующихъ чертахъ: «Окромѣ трехъ государственныхъ коллегій, прочія исчезнуть (ср. «Оч.», I, 171). Сенатъ останется. При немъ будетъ палата, дабы сенатъ имѣлъ, гдѣ отослать тѣхъ людей и дѣла, кои разбора требуютъ. *Въ палату оборотитъ я намѣрена Коммисію уложенія*». Только сопоставляя эти торпливыя слова съ извѣстнымъ намъ совѣтомъ, поданнымъ Екатериной Дидро, мы можемъ понять полное значеніе ея намѣренія. Что это намѣреніе не было случайнымъ, только мелькнувшимъ въ ея головѣ и тотчасъ же оставленнымъ, видно изъ дальнѣйшей судьбы его. Къ своей идеѣ о переустройствѣ сената Екатерина вернулась въ 1787 г., т.-е. наканунѣ второй турецкой войны и французскихъ замѣшательствъ. Въ это время былъ составленъ ею проектъ указа о сенатской реформѣ. Текстъ указа пока неизвѣстенъ, но о содержаніи его можно заключать съ большою вѣроятностью, если сопоставить то, что говоритъ о немъ секретарь Екатерины, Храповицкій, — съ одной позднѣйшей запиской Безбородко (1799), очевидно, основанной на томъ же указѣ и частью передающей подлинныя выраженія его. Здѣсь, послѣ несомнѣнно екатерининскихъ замѣчаній объ устройствѣ высшихъ судовъ, совѣстнаго и уголовнаго, находимъ фразу: «все собраніе депутатовъ, подъ предсѣдательствомъ канцлера юстиціи, составляетъ надзираніе правъ государственныхъ... Когда издается новый законъ, то проектъ онаго посылается на разсмотрѣніе въ сіе собраніе, потомъ на ревизію въ общее сената собраніе и, наконецъ, утверждается самодержавною властію». По прямому смыслу этого мѣста, подъ «всѣмъ собраніемъ депутатовъ» приходится разумѣть собраніе однихъ только сословныхъ депутатовъ двухъ упомянутыхъ высшихъ судовъ. Но, даже при такомъ пониманіи остается несомнѣннымъ, что въ этой ограниченной формѣ собранія депутатовъ сохранился здѣсь слѣдъ той «палаты» при сенатѣ, въ которую Екатерина хотѣла еще въ 1775 г. превратить свою Комиссію уложенія *).

*) Еще ближе былъ бы смыслъ этой фразы къ первоначальному намѣренію императрицы, если бы оказалось, что она цѣликомъ переписана Безбородкомъ изъ первоначальнаго проекта, безъ соображенія съ другими частями его черновика.

Когда же совершилась эта замѣна болѣе широкаго плана болѣе узкимъ? Десять дней спустя послѣ цитированной выше замѣтки Храповицкаго, подъ 26 апр. 1787 г. встрѣчаемъ въ его дневникѣ сравненіе, сдѣланное Екатериной между ея «собраніемъ депутатовъ» и *Assemblée des Notables*, созванной Людовикомъ XVI, въ видѣ неизбѣжной уступки общественному мнѣнію Франціи. Вынужденный характеръ такой уступки Екатерина очень хорошо понимала. Въ январѣ 1788 г. Храповицкій заноситъ въ дневникъ: «разговоръ о обстоятельствахъ Франціи, и что ей должно войти въ войну, дабы избѣгнуть сдѣланнаго королемъ обѣщанія о собраніи чиновъ государственныхъ». Екатерина, конечно, не нуждалась въ такомъ героическомъ средствѣ, «дабы избѣгнуть» того, что Дидро считалъ ея «обѣщаніемъ», торжественно даннымъ передъ всей страной. Тѣмъ не менѣе въ положеніи была извѣстная аналогія, и тонкая проницательность Екатерины относительно положенія Людовика XVI, несомнѣнно, имѣла источникомъ ея личный тяжелый опытъ. Въ своемъ предисловіи къ Учрежденію о губерніяхъ она не даромъ нашла нужнымъ оправдываться войной въ пріостановкѣ своей законодательной дѣятельности. «Свѣту извѣстно, что въ 1766 г. уже приступили мы къ созыву депутатовъ со всей имперіи, и уже оставалось намъ ожидать отъ трудовъ Комиссіи уложенія плодовъ, соответствующихъ нашему попеченію о благѣ общемъ и частномъ, какъ объявленіе съ турецкой стороны въ 1768 году войны Россіи и шестилѣтнее продолженіе оной, отвлекая людей и возможности отъ продолжительнаго сочиненія цѣлаго узаконенія, и умножая собою бремя, заняло время и мысли упражненіемъ не менѣе важнымъ» и т. д. Теперь, послѣ десяти лѣтъ мира, Екатерина опять поднимала нить своей завоевательной политики. Подобно первой турецкой войнѣ, и вторая должна была отнять у ней «время упражняться пріятнѣйшимъ сердцу трудомъ—снабдить имперію нужными и полезными учрежденіями». Прошло еще два съ половиной мѣсяца послѣ послѣдней замѣтки Храповицкаго, и секретарь Екатерины вноситъ въ журналъ, между извѣстіями о заграничной почтѣ, о спѣшномъ письмѣ къ Потемкину и о сочиненіи новой комедіи Екатериной,—ея замѣтку по поводу новаго разговора о реформѣ сената: «не время теперь дѣлать реформы». И вопросъ опять откладывается, пока уже въ послѣдній годъ царствованія мы не встрѣчаемъ Екатерину вновь за сочиненіемъ «Устава о сенатѣ». На этотъ разъ, вѣроятно, и явилось ограниченіе первоначальнаго плана, о которомъ свидѣтельствуется записка Безбородки *).

*) Можетъ быть, съ цѣлью замѣнить отброшенную идею контроля черезъ депутатовъ, Екатерина прибѣгла тогда же къ идеѣ контроля *при помощи сенаторскихъ ревизій*, встрѣчаемой въ запискѣ Безбородки. «Государь не можетъ объять своимъ собственнымъ осмотромъ столь обширную имперію, обзираетъ оную по губерніямъ, чрезъ довѣренныхъ его особъ, и именно, одного сенатора, двухъ дворянскихъ, двухъ мѣщанскихъ и двухъ поселянскихъ депутатовъ, которые всѣ раз-

«Не время для реформъ» — это не значитъ, конечно, чтобы не было времени сочинять реформы, когда есть время для писанія комедій. Это симптомъ новаго направленія внутренней политики, признакъ наступленія третьяго и послѣдняго періода царствованія Екатерины. Къ настроенію императрицы за этотъ періодъ мы еще вернемся. Теперь намъ нужно ознакомиться предварительно съ развитіемъ русскаго общественнаго мнѣнія за время, соотвѣтствующее главнымъ екатерининскимъ реформамъ.

Донесенія Гуннинга см. въ «Сборникѣ Ист. Общ.», т. XIX. Новѣйшая архивная работа о пугачевщинѣ принадлежитъ *Н. Ѡ. Дубровину*: «Пугачевъ и его сообщники», три тома, Спб. 1884. Объ обращеніи Екатерины къ казанскому дворянству см. «Записки о жизни и службѣ А. И. Бибикова», М. 1865. Сочиненіемъ Блэкстона Екатерина пользовалась во французскомъ переводѣ: «Commentaires sur les loix anglaises», de M. Blackstone, Bruxelles, 1774—76, шесть томовъ. Объ остзейскихъ мѣстныхъ учрежденіяхъ XVIII вѣка см. *Julius Eckardt*, Livland im achtzehnten Jahrhundert, I, Lpz., 1876. Черновики Екатерины, относящіеся къ выработкѣ текста Учрежденія о губерніяхъ и Городоваго положенія, хранятся въ Государственномъ архивѣ мин. иностр. дѣлъ, въ X отдѣлѣ; тамъ же матеріалы для жалованной грамоты дворянству и перебѣленные рукописи сельскихъ положеній съ замѣтками Екатерины. Послѣднія изданы *В. И. Вешняковымъ* въ Сб. Ист. Об., т. XX. Сношенія Екатерины съ Сиверсомъ см. въ соч. *К. Blunt*: Ein russischer Staatsmann, т. II, Lpz. и Heidelberg, 1857. Общія свѣдѣнія о губернскихъ реформахъ Екатерины см. въ соч. *Лохвицкаго*, Губернія, Спб. 1865; въ курсахъ государственнаго права *Градовскаго* и *Коржунова*. О роли дворянства см. *Романовича-Славатинскаго*, Дворянство въ Россіи, Спб., 1870, мемуары Державина, Болотова, сочиненія Щербатова и др. Оцѣнка дѣятельности губернскихъ учреждений см. въ докладѣ Балугьянскаго для комиссіи 1826 г. въ Сб. И. Об. т. XC. Проекты правъ сословій, выработанные частными комиссіями, напечатаны въ Сб. И. О. т. XXXII и XXXVI. Переписка Екатерины съ Волконскимъ издана въ «Осьмнадцатомъ вѣкѣ», П. Вартенева, т. I. Записка Волконскаго о преобразованіи учреждений въ Сб. И. О. т. V. Наказъ сената см. въ Сб. И. О. т. LXIII. О реформѣ сената см. богатую библиографическими указаніями статью *В. С. Иконникова*, Сенатъ въ царствованіе Екатерины II, Русскій Архивъ 1888, № 11. Записка Безбородко «О потребностяхъ имперіи Россійской» напечатана въ Сб. Ист. Общ. т. XXIX. Записка Каразина см. въ Читеніяхъ О. И. и Др. 1863, кн. III.

дѣляются такъ, чтобы каждые три года всякая губернія осмотрѣна была въ подробности».

VII.

Статистика книгоиздательства XVIII в., какъ симптомъ роста читающей публики.— Характеръ популярнаго чтенія: романъ, какъ средство культурной пропаганды среди провинціи и мѣщанства.— Главныя течения въ высшемъ культурномъ слоѣ — Вольтеріанство; пониманіе его Екатериной; ея отношеніе къ религіи.— Вольтеріанство въ высшемъ общественномъ слоѣ Критическое отношеніе къ *этому* вольтеріанству передовой интеллигенціи.— Отношеніе ея къ подлинному вольтеріанству: увлеченіе и раскаяніе.— Значеніе масонства, идейное и общественное.— Тайныя ученія масонства.— Безъидейный и клубный характеръ первоначальнаго масонства.— Подъемъ масонства со вступленіемъ въ него воспитанниковъ высшихъ учебныхъ заведеній (конецъ 50-хъ и начало 60-хъ гг.).— Новое охлажденіе.— Отношеніе Новикова къ масонству.— Его идея о книгоиздательствѣ и книжной торговлѣ, какъ важнѣйшей просвѣтительной миссіи интеллигенціи.— Отношеніе Екатерины къ инициативѣ Новикова.— Переѣздъ его въ Москву; настроеніе Москвы и направленіе «Московского изданія».— Роль Шварца въ масонствѣ.— Его просвѣтительный планъ, профессорская и кружковая дѣятельность.— Постепенное усвоеніе новаго міровоззрѣнія въ журналахъ Новикова.— Источникъ этого міровоззрѣнія— въ популярной нѣмецкой философіи.— Высшая точка— въ трактатѣ Шварца.— Новый фазисъ дѣятельности кружка по смерти Шварца.— Книгопродавческія и издательскія предпріятія Новикова.— Помощь голодающимъ.— Отношенія Екатерины къ масонству въ трехъ фазисахъ его.— Литературная полемика ея противъ масонства.— Административныя мѣры.

Семидесятыя и восемьдесятыя годы XVIII-го столѣтія были тѣмъ моментомъ, съ котораго начинается непрерывная исторія интеллигентнаго общественнаго мнѣнія въ Россіи. Этотъ моментъ, какъ мы видѣли, былъ подготовленъ двумя предыдущими десятилѣтіями—пятидесятыми и шестидесятыми годами. Но тогдашнее поколѣніе—первое поколѣніе русской интеллигенціи—мы можемъ пересчитать по пальцамъ: это была, какъ мы знаемъ, учащаяся молодежь высшихъ учебныхъ заведеній обѣихъ столицъ. Она писала и печатала для самой себя,—авторы хвалили и критиковали другъ друга, сами себя утѣшали своими возвышенными чувствами и тонкими ощущеніями. Теперь впервые появляется среда, могущая служить объектомъ культурнаго воздѣйствія: читающая, болѣе или менѣе интеллигентная публика въ сколько-нибудь значительномъ количествѣ.

Чрезвычайно наглядно покажетъ намъ это *особое* положеніе семидесятыхъ и восьмидесятыхъ годовъ—простая справка съ цифрами,—съ количествомъ печатавшихся въ это время книгъ. Всего за XVIII-е столѣтіе библиографамъ извѣстно около девяти съ половиной тысячъ печатныхъ изданій (не считая церковно-служебныхъ книгъ, газетъ и журналовъ). По четвертямъ вѣка эта цифра распредѣляется слѣдующимъ образомъ:

1698—1724:	561 (6 ⁰ /o)
1725—1750:	357 (4 ⁰ /o)
1751—1775:	2.010 (21 ⁰ /o)
1776—1800:	6.585 (69 ⁰ /o)

Всего. . . 9.513 *).

Какъ видимъ, послѣ нѣкоторой задержки во второй четверти вѣка число изданныхъ книгъ быстро растетъ, составляя за вторую половину вѣка 90⁰/o всей суммы. Еще ярче выступить значеніе интересующаго насъ теперь момента, если мы распредѣлимъ изданія по десятилѣтіямъ (и, гдѣ нужно, по пятилѣтіямъ):

1698—1710	149		въ годъ по	12 книгъ.
1711—1720	248		»	25 »
1721—1725	215 {	182	»	36 »
1726—1730		33	»	7 »
1731—1740	140		»	14 »
1741—1750	149		»	15 »
1751—1760	233		»	23 »
1761—1770	1.050		»	105 »
1771—1775	1.466 {	633	»	126 »
1776—1780		833	»	166 »
1781—1785	2.685 {	986	»	197 »
1786—1790		1.699	»	366 »
1791—1795	2.660 {	1.494	»	299 »
1796—1800		1.166	»	233 »

Книгоиздательство оказывается очень чувствительнымъ барометромъ общественныхъ настроеній и культурныхъ вѣяній.. Таблица начинается энергично прогрессирующими цифрами петровскаго книгоиздательства; но мы знаемъ, что это были за книги и какъ мало они повліяли на созданіе читающей публики (стр. 227). Затѣмъ издательство сразу падаетъ до ничтожной цифры (7), которая медленно возра-

*) Въ эту цифру я включилъ 553 книги, точная дата которыхъ неизвѣстна, распредѣливъ ихъ, пропорціонально количеству датированныхъ книгъ, между послѣдними тремя четвертями вѣка.

стаетъ къ воцаренію Екатерины II *). Тотчасъ послѣ вступленія Екатерины на престолъ цифра дѣлаетъ рѣзкій скачокъ вверхъ (почти въ пять разъ). Далѣе начинается быстрый и постоянный ростъ книгоиздательства, достигающій кульминаціоннаго пункта въ пятилѣтіе 1786—1790 (въ $3\frac{1}{2}$ раза больше сравнительно съ началомъ царствованія). Скоро увидимъ, что эта высшая точка достигнута исключительно дѣятельностью *частныхъ* типографій, — точнѣе, вмѣшательствомъ энергической общественной инициативы (предпріятія новиковскаго кружка). Съ устраненіемъ этой инициативы падаетъ и издательская дѣятельность, особенно послѣ воцаренія имп. Павла. Но главное дѣло уже сдѣлано; читающая публика создана, и въ самые мрачные годы цифры все же не падаютъ до стараго уровня.

На какую публику рассчитывалъ весь этотъ печатный матеріалъ и какого рода почву онъ могъ создать для дѣятельности интеллигентныхъ кружковъ? Большая часть печатавшихся книгъ удовлетворяла, конечно, исключительно, дѣловымъ потребностямъ (правительственныя распоряженія), нуждамъ школы (учебники) или стариннымъ вкусамъ къ духовно-нравственному чтенію (поученія, житія и т. п.). Но цѣлые 40% книгъ обращались прямо къ новому, быстро возраставшему въ числѣ классу любителей свѣтскаго занимательнаго чтенія. Это были романы, повѣсти, стихотворенія, драматическія пьесы и т. п. Въ продажѣ этотъ беллетристическій матеріалъ преобладалъ, такъ какъ на него былъ наибольшій спросъ. Это видно уже изъ того, что именно беллетристическія произведенія чаще всего доживали до новыхъ изданій. Изъ 839 переводныхъ романовъ XVIII в. 336 были переизданы; изъ 104 оригинальныхъ русскихъ романовъ еще большій процентъ: цѣлыхъ 55. Противъ увлеченія романами уже и въ то время горячо протестовали представители верхняго слоя интеллигенціи. Они утверждали, что романы развиваютъ чувственность и создаютъ міръ воображаемыхъ чувствъ, заслоняющихъ дѣйствительную жизнь. Эти упреки не были лишены основанія; но они нисколько не мѣшали многочисленнымъ читателямъ и читательницамъ беллетристики приносить «жертвы благодарности и любви» на алтарь романистовъ, открывавшихъ для нихъ неотразимо-обаятельный міръ «нѣжныхъ» и «сладостныхъ» ощущеній, — міръ «тайностей человеческого сердца». О культурномъ значеніи этого открытія мы уже говорили (стр. 229—31). Прибавимъ теперь, что культурная роль романа не кончилась завоеваніемъ столичнаго дворянина-интеллигента. Сдѣлавъ въ серединѣ вѣка свое дѣло въ столицѣ, романъ продолжалъ создавать новаго читателя въ провинціи. Приучивъ благородное шляхетство «къ нѣкоторой изящности нравовъ, къ нѣкото-

*) Надо, однако, замѣтить, что тутъ мы не имѣемъ такого тщательнаго библиографическаго изслѣдованія, какое сдѣлано Пекарскимъ относительно книгъ Петровскаго времени; слѣдовательно, въ дѣйствительности надо предположить цифры послѣ Петра нѣсколько выше.

рой нѣжности чувствованій», онъ и для «подлаго» мѣщанства долженъ былъ сдѣлаться источникомъ «изрядныхъ и благородныхъ» чувствъ. Вотъ почему гораздо правѣе интеллигентныхъ противниковъ беллетристики былъ Карамзинъ, принявъ на себя защиту романа. По его справедливому замѣчанію, тотъ, «кто плѣняется «Никаноромъ злосчастнымъ дворяниномъ»,—тотъ на лѣстницѣ умственнаго образованія стоитъ еще ниже его автора, — и хорошо дѣлаетъ, что читаетъ сей романъ: ибо безъ всякаго сомнѣнія чему-нибудь научается».

Разумѣется, для высшаго слоя русской интеллигенціи въ семидесятыхъ или восьмидесятыхъ годахъ уже прошло время, когда мы могли бы характеризовать ихъ положеніе «на лѣстницѣ умственнаго образованія» однимъ только чтеніемъ романовъ. Для *этого* слоя—болѣе обширный кругъ читателей романовъ представлялъ только почву, на которую должны были падать ихъ сѣмена. Наоборотъ, для обширнаго круга обыкновенныхъ читателей представители передовой интеллигенціи были «вольтерьянцами» и «фармазонами». Въ этихъ двухъ терминахъ характернымъ образомъ закрѣпилось воспоминаніе о двухъ важнѣйшихъ умственныхъ теченіяхъ среди тогдашней высшей интеллигенціи. Оба теченія были діаметрально противоположны и враждебны другъ другу. Тѣмъ характернѣе, что въ представленіи широкихъ круговъ оба термина сливались, какъ что-то родственное, что-то одинаково крайнее и, стало быть, одинаково опасное для обывателя, еретическое передъ судомъ его рутины. Одной этой популярной терминологіи достаточно, чтобы показать намъ, что передовая русская мысль текла еще очень узкой и тонкой струей, углубляя свое русло среди едва разрыхленной поверхности культурной пустыни. Даже сама Екатерина, помогавшая пролагать это русло, настолько мало различала оттѣнки среди одинаково непріятныхъ ей передовыхъ теченій, что смѣшала впоследствии «мартинизмъ» съ направленіемъ Радищева.

Дѣло въ томъ, что время слишкомъ уже шло впередъ, обостряя вопросы, радикализируя настроеніе и отодвигая на задній планъ воззрѣнія, только что казавшіяся передовыми. Екатерина называла себя «вольтеріанкой»; но ея вольтеріанство скорѣе отзывало фривольной эпохой регентства, чѣмъ эпохой Людовика XVI-го. Самъ Вольтеръ долженъ былъ къ концу жизни сдѣлать надъ собой усиліе, чтобъ остаться «вольтеріанцемъ». Вольтеріанство—это былъ теперь боевой кличъ, означавшій борьбу и торжество свободной мысли противъ государственной церкви, противъ догмы, защищаемой силами инквизиціи и іезуитизма. Рядомъ съ вольтеріанствомъ стояли и опережали его радикальныя, философскія и политическія ученія. Не только эти ученія остались внѣ кругозора Екатерины, но и «вольтеріанство» она продолжала понимать въ болѣе узкомъ и неизменномъ смыслѣ эпохи своего дѣтства: въ смыслѣ побѣды «здраваго смысла» надъ «суевѣріемъ»,—въ смыслѣ легкой чистки человѣческихъ мозговъ, а не упорной борьбы

за реформу человѣческихъ учрежденій и вѣрованій. Это была, какъ мы говорили раньше, полная свобода отъ какой-бы то ни было доктрины, отождествляемой съ «педантствомъ»,—а вовсе не подчиненіе какой-нибудь передовой доктринѣ. Такое пониманіе ни къ чему не обязывало и даже могло повести къ довольно неожиданнымъ послѣдствіямъ. Въ самомъ дѣлѣ, кто же болѣе іезуитовъ былъ свободенъ отъ «суевѣрій»? И развѣ не торжествовали они побѣду «здраваго смысла» надъ богословской метафизикой янсенистовъ? Сознаніе умственной близости съ этими сторонниками «здраваго смысла» слишкомъ сильно чувствуется въ добродушныхъ насмѣшкахъ Екатерины надъ *mes chers coquins de jésuites*. Вотъ почему, когда Европа XVIII вѣка изгнала іезуитовъ,—Екатерина ихъ пріютила; и вотъ почему впоследствии, когда французское дворянство отказалось въ ночь на 4 августа 1789 г. отъ своихъ привилегій, Екатерина увидала въ этомъ только послѣдствія «дурнаго воспитанія», какое стали получать дворяне послѣ закрытія іезуитскихъ школъ.

Въ началѣ царствованія (стр. 289) Екатерина, впрочемъ, поняла было серьезно свою роль вольтеріанки по отношенію къ русскому духовенству. Въ 1767 г. Мелиссино представилъ синоду, въ качествѣ оберъ-прокурора, «пункты», долженствовавшіе служить руководствомъ при составленіи депутатскаго наказа отъ синода. Въ пунктахъ указывалось, что синодальные члены могли бы предложить въ Наказѣ: разрѣшить раскольникамъ публично совершать богослуженіе, ослабить и сократить православные посты, очистить церковь отъ «суевѣрія» и всѣхъ «притворныхъ чудесъ», не носить по домамъ иконы, отмѣнить лишніе праздники и убавить что-нибудь изъ «продолжительныхъ церковныхъ обрядовъ»; установить чтеніе краткихъ молитвъ съ поученіемъ— вмѣсто всемогущихъ и вечеренъ, дозволить епископамъ жениться, а всѣмъ вообще духовнымъ—носить болѣе приличное платье; смягчить правила о разводѣ, о запрещеніи браковъ между родственниками и о бракахъ съ иновѣрцами; отмѣнить обычай поминовенія усопшихъ. Синодъ предпочелъ отмолчаться отъ этихъ странныхъ предложеній, и Екатерина не настаивала. Ея *modus vivendi* съ русскимъ духовенствомъ скоро выработался. Въ перепискѣ съ оффиціальными вольнодумцами, въ родѣ Гримма, она позволяла себѣ шутить надъ *saintes huiles fricassées en sa présence, qui sont devenues puantes et que... Potemkine a fait jeter dans la rivière*. Но когда Вольтеръ намекалъ ей, что недурно бы было вывести изъ употребленія цѣлованіе руки духовнымъ лицамъ, она съ насмѣшливой ироніей предлагала ему предоставить это дѣло времени. Таинство можно было сдѣлать предметомъ интимной шутки, но никакъ нельзя было касаться церковнаго обычая. «Il faut profiter des opinions populaires»—таково было политическое правило, передъ которымъ умолкало «вольтеріанство» Екатерины.

Дворъ и высшее общество пошли по тому же пути и такъ

же недалеко ушли по нему. Мы знаемъ (стр. 218), до какой степени условія дворянскаго воспитанія и «свѣтскаго житія» не благоприятствовали выработкѣ какихъ бы то ни было, въ томъ числѣ и религіозныхъ убѣжденій. Новыя идеи, при этихъ условіяхъ, не встрѣтили въ высшей дворянской средѣ никакого противодѣйствія, но и никакой серьезной подготовки къ ихъ дѣйствительному усвоенію. Это была просто—новая мода, новый дополнительный элементъ для отличія «благороднаго» состоянія отъ «подлаго», наравнѣ съ покроемъ платья и французской рѣчью. Новыя идеи служили доказательствомъ утонченнаго образованія въ высшихъ кругахъ свѣтскаго общества. Какой-нибудь князь Х. или графъ У. сообщалъ въ кружкѣ гостей самую послѣднюю парижскую новость, привезенную съ только-что полученной почтой или лично услышанную за границей. Бога, оказывалось, вовсе нѣтъ, а попы и монахи—простые шарлатаны. Эти самоновѣйшія открытія «философовъ» разносились сливками петербургскаго общества съ такимъ же усердіемъ, съ какимъ они привыкли разносить городскіе сплетни и слухи. Князь Х., залучивъ въ свою компанію «вольтеріанцевъ» новичка изъ Москвы (въ данномъ случаѣ Фонвизина), спѣшитъ свозить его къ графу У., единомышленнику или, можетъ быть, первоисточнику моды. И графъ У. тотчасъ же, при первомъ визитѣ, принимается за обращеніе новичка въ свою вѣру. Самъ оберъ-прокуроръ синода, встрѣтившись въ гостинномъ дворѣ съ мало знакомымъ ему молодымъ дворяниномъ, въ чинѣ простаго унтеръ-офицера гвардіи, забываетъ свое званіе и рангъ своего собесѣдника и не можетъ удержаться, чтобы не внушить ему тутъ же, на улицѣ, здравыя понятія о бытіи Божіемъ.

Немудрено, что, вмѣстѣ съ другими признаками дворянской моды, *такого рода «вольтеріанство»* сдѣлалось скоро мишенью сатирическихъ нападений со стороны настоящей интеллигенціи. Для этого даже не понадобилось особенно много прибавлять къ тому старому клише, которое уже съ полвѣка служило русской сатирѣ для изображенія свѣтскаго модника. Нѣсколько штриховъ, взятыхъ изъ области ходячей теоріи; нѣсколько жизненныхъ чертъ для болѣе реальной, сознательной характеристики соціальнаго положенія модника,—и «петиметръ» Елизаветинской сатиры легко превратился подъ перомъ сатириковъ въ Екатерининскаго «вольтеріанца».

Не бывши просищенъ нравоученьемъ моднымъ,
 Не можешь и въ публикѣ казаться благороднымъ...
 По модѣ ты чешись, по модѣ одѣвайся...
 Приборной, щегольской имѣй ты экипажъ...
 Гони, дави людей, и тѣмъ преиозноси;
 Французскимъ языкомъ и въ русскомъ щеголай...
 Всѣ знанія и всѣ науки отметаѣй...
 Люби лишь оперы, комедіи, романы...
 Изъ философскихъ книгъ ты разиѣ тѣ имѣй,

Что душу съ вѣчностью глотаютъ у людей...
 Въ военную одну ты службу лишь вступаи...
 Будь вѣчно холостымъ, женись лишь на богатствѣ;
 Съ женою разведись, какъ водится въ дворянствѣ...
 Крестьянъ ты разоривъ, продай или заложь,
 И деньги извѣй за нихъ, на карту положи...
 И, словомъ, ты по всемъ по модному живи.
 Еще-жъ знать всякому потребно офицеру
 Оспорить въ полчаса и опорочить вѣру...
 Все дѣлай тлѣннымъ, все ты дѣлай безконечнымъ.
 Сей мѣръ ты признавай то временнымъ, то вѣчнымъ;
 То тѣломъ иногда ты душу называй,
 То духа имя ей изъ милости давай...
 Въ послѣдокъ истреби совѣтъ ты свой разсудокъ,
 Скажи: произвела натура песь сей свѣтъ;
 Преиыше умудрись,—скажи, что Бога нѣтъ,
 Что вѣра есть обманъ, лукавое притворство.
 Вотъ въ семь-то состоитъ прямое благородство...
 Похвально, если ты обиды не прощаешь,
 Безчестенъ будучи, честь шпагой защищаешь.
 Ты смѣло безъ вины соперника рази,
 За грубыя слова и друга жизнь пронзи...

Вотъ въ какой обстановкѣ, вотъ съ какими ассоціями — бреттера, кутилы и юнкера—представляетъ себѣ русскій сатирикъ («Вечерняя Заря», 1782) современное ему *русское* вольтеріанство. Разумѣется, не слѣдуетъ думать, что эта критика распространяется и на оригиналь русской каррикатуры. Когда изъ другого реакціоннаго лагеря слышатся проклятія противъ Вольтера, тотъ же интеллигентный журналистъ спѣшитъ взять Вольтера подъ свою защиту и произносить диѳирамбъ XVIII-му вѣку. «О вѣкъ просвѣщеннѣйшій, въ которомъ удалена вся сила мнимыя набожности! Всѣ страны свѣта, всѣ народы одолжены тебѣ всѣмъ, что ни имѣютъ они священнѣйшаго. Твоимъ неусыпнымъ бдѣніемъ всѣмъ возвращена свобода, похищенная пустою набожностью человѣческаго рода»; благодаря тебѣ, «явилось человѣколюбіе ко всѣмъ»; «твой плодъ есть нынѣшнее распространеніе наукъ, которому величайшею препоною было пустосвятство». И, «кто бы ни былъ Вольтеръ,—хотя, впрочемъ, и онъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ невинителенъ,—при всемъ томъ онъ одинъ гораздо былъ полезнѣе для общества, нежели все полчище пустосвятствъ».

Во всякомъ случаѣ, и по отношенію къ подлинному вольтеріанству *) передовая русская интеллигенція заняла совершенно иную позицію, чѣмъ высшее дворянское общество. На людей, менѣе затронутыхъ придворной культурой, проповѣдь новыхъ идей производила совѣмъ не то впечатлѣніе. Конечно, и въ этомъ общественномъ словѣ многіе

*) Къ направленіямъ болѣе лѣвымъ, чѣмъ собственно «вольтеріанство», мы еще вернемся впоследствии. Здѣсь мы пока не различаемъ рѣзко этихъ теченій, какъ не различались они и въ русскомъ обществѣ.

изъ юныхъ адептовъ новой философіи принимали ее на вѣру и спѣшили даже превзойти учителей смѣлостью сужденій. Молодымъ дворянамъ изъ провинціи, пріѣхавшимъ въ Петербургъ на службу, не могла не импонировать пропаганда великосвѣтскихъ атеистовъ. Но зато большинство изъ нихъ въ одинъ прекрасный день безъ церемоніи и безъ компромиссовъ возвращались къ вѣрѣ или къ идейному индифферентизму отцовъ, полагая, очевидно, какъ московскій главнокомандующій Брюсъ, что «въ нѣкоторыхъ чинахъ и лѣтахъ уже непристойно симъ заниматься», и смѣясь надъ своими старыми сужденіями, какъ надъ проказами молодости. Совершенно другое значеніе получали новыя идеи для болѣе глубокихъ и болѣе подготовленныхъ натуръ изъ этой же дворянской молодежи. Первое впечатлѣніе было обыкновенно ошеломляющее. Подъ этимъ впечатлѣніемъ и наиболѣе вдумчивые принимали часто цѣликомъ новую вѣру. Но переходъ отъ старой вѣры совершался слишкомъ быстро, чтобы быть прочнымъ и окончательнымъ. Скоро заговаривала совѣсть, и при добросовѣстномъ анализѣ своихъ мыслей и чувствъ молодое поколѣніе приходило къ тяжелому сознанію полнаго внутренняго разлада. Послѣ болѣе или менѣе усерднаго изученія самыхъ сочиненій новыхъ философовъ, оно оказывалось не въ состояніи ни принять ихъ міровоззрѣнія, ни вернуться всецѣло къ простодушному міровоззрѣнію дней своей юности.

Для петровскаго поколѣнія этого внутренняго противорѣчія не существовало. Тѣ люди (ихъ образчикъ мы видѣли въ Татищевѣ) еще твердо вѣрили въ возможность согласить дѣдовскіе взгляды съ духомъ просвѣщенія. Отсюда происходитъ та своеобразная цѣльность, эпическое спокойствіе и ясность души, которыя отличаютъ выдающихся русскихъ людей первой половины XVIII-го вѣка. Поколѣніе 50-хъ—60-хъ годовъ, какъ мы видѣли, уже должно было вступать въ болѣе или менѣе сознательныя компромиссы между теоріей и жизнью. Но теорія въ то время еще не приняла такого остраго, вызывающаго оттѣнка по отношенію къ жизни, который могъ бы затруднить компромиссъ и отравить душу сознаніемъ его внутренней несостоятельности. Совсѣмъ другое положеніе занимало поколѣніе 70-хъ—80-хъ годовъ. Вопросы здѣсь стояли ребромъ, обостренные французскимъ умственнымъ движеніемъ послѣ 1750 года. Дремлющія русскія души были окончательно разбужены этимъ толчкомъ, рѣзко поставившимъ другъ противъ друга два противоположныя міровоззрѣнія. Такимъ образомъ, молодежь интересующаго насъ поколѣнія впервые очутилась на распутьѣ между старой и новой вѣрой, принужденная выбирать между той и другой. Она впервые почувствовала, что критическая мысль можетъ поколебать самыя коренныя основы старой вѣры. Можно себѣ представить то душевное смятеніе, ту панику, которая овладѣвала серьезнымъ и добросовѣстнымъ юношей, когда ему приходилось дѣлать рѣшительный выборъ и когда при этомъ выборѣ онъ чувствовалъ себя предоставлен

нымъ исключительно своимъ собственнымъ силамъ. Что-нибудь подобное должны были чувствовать тѣ средневѣковые студенты медицины, которые въ полночный часъ отправлялись на кладбище отрывать мертвецовъ, чтобы изучить на трупахъ человѣка тайны жизни. Немногіе могли преодолѣть въ себѣ священный ужасъ и рѣшались переступить черезъ порогъ святилища, въ школу послѣдовательнаго философскаго мышленія. Менѣе рѣшительные спѣшили уцѣпиться за обломки, уцѣпвшіе отъ стараго багажа, и принимались усердно идеализировать старину,—только бы можно было вернуться подъ ея защиту. Даже и наиболѣе смѣлые — все-таки кончили компромиссомъ. стараясь скрыть отъ самихъ себя, какъ велики уступки, уже сдѣланныя ими новому міровоззрѣнію. Фонвизинъ, одинъ изъ такихъ юношей, затронутыхъ новой модой, въ Петербургѣ поддался было общему настроенію и принялся, въ тонъ веселой компаніи, вышучивать старую вѣру. Но достаточно было ему побывать въ патриархальной Москвѣ, чтобы съ него вольтеріанское настроеніе какъ рукой сняло. Встревоженная совѣсть требовала, однако же, публичнаго покаянія, и Фонвизинъ обратился за духовнымъ утѣшеніемъ къ одному изъ людей стараго поколѣнія. Г. Н. Тепловъ укрѣпилъ его въ истинахъ вѣры и посоветовалъ перевести изъ книги Кларка отрывки о «доказательствахъ бытія Божія и истинѣ христіанской вѣры». Покаяніе передъ свѣтскимъ духовникомъ, литературная эпитимія и отпущеніе грѣховъ потомствомъ—это, какъ видимъ, совсѣмъ уже не тѣ средства, къ которымъ прибѣгли бы люди предыдущихъ поколѣній, если бы они могли очутиться въ подобномъ положеніи. Разница не менѣе велика, чѣмъ тотъ контрастъ, который существовалъ между неприкрашенной московской стариной и той идеализаціей ея, въ какую ударился Фонвизинъ послѣ своего душевнаго кризиса.

Совершенно тотъ же внутренній процессъ, но съ инымъ, болѣе положительнымъ результатомъ, мы можемъ наблюдать у другого представителя тогдашней интеллигентной молодежи, Лопухина. Лопухинъ пошелъ дальше, чѣмъ Фонвизинъ, и въ отрицательномъ, и въ положительномъ фазисѣ своихъ убѣжденій. Онъ не удовлетворился «вольтеровыми насмѣшками надъ религіей» въ благородной компаніи. Онъ засѣлъ за самое евангеліе французскаго матеріализма, «*Système de la Nature*» барона Гольбаха, перевелъ ея заключительное резюме («*Côde de la Nature*»), «любовался своимъ переводомъ» и даже «расположился разсѣвать его въ рукописяхъ». «Но только что дописали первую (копію) красивымъ письмомъ», рассказываетъ намъ самъ онъ, «какъ вдругъ почувствовалъ я неописанное раскаяніе. Не могъ заснуть ночью прежде, нежели слегъ я и красивую мою тетрадку, и черную. Но все я не былъ спокоенъ, пока не написалъ, какъ бы въ очищеніе себя, разсужденія: О злоупотребленіи разума нѣкоторыми новыми писателями». Однако же, и литературной эпидеміей на этотъ разъ дѣло не

ограничилось. Противъ «злоупотребленія разумомъ» Лопухинъ искалъ спасенія въ вѣрѣ; но это не была уже патріархальная вѣра отцовъ. Идейная молодежь стремилась къ очищенному, одухотворенному пониманію вѣры. Отвергнувъ знамя «вольтеріанства», она не переходила, какъ Фоввизинъ, въ ряды «стародумовъ», а становилась подъ знамя *франкъ - масонства*.

Для нашего времени масонство кажется обыкновенно чѣмъ-то далекимъ, чуждымъ, немножко страннымъ и смѣшнымъ. Мы вспоминаемъ о немъ развѣ по поводу архаической формулы присяги—о непринадлежности къ масонскимъ ложамъ. Намъ трудно представить себѣ, какую огромную роль сыграло это теченіе въ исторіи нашего общественнаго развитія и какимъ путемъ оно попало въ эту присягу. Даже въ тѣхъ случаяхъ, когда масонство, уже слишкомъ очевидно, является въ связи съ общественнымъ движеніемъ, какъ, напр., у Новикова,—исслѣдователи часто стараются умалить значеніе масонскаго элемента въ развитіи дѣятельнаго идеализма передовой интеллигенціи. Это совершенно неправильно. Вліяніе масонства слѣдовало бы признать весьма значительнымъ, даже если бы оно ограничивалось чисто теоретическимъ ученіемъ масоновъ. Въ смыслѣ теоріи или, лучше сказать, въ смыслѣ цѣльнаго міровоззрѣнія, масонство было какъ разъ самымъ подходящимъ выходомъ для всего того молодого поколѣнія, которое остановилось въ колебаніи между старой и новой вѣрой. Когда молодой писатель того времени рисуетъ себѣ полный контрастъ съ выше изображенной сатирой на вольтеріанца, когда онъ стремится надѣлать свой идеалъ всѣми возможными «достоинствами», у него самъ собой выходитъ изъ-подъ пера житейскій кодексъ масона (см. ту же «Вечернюю Зарю»). Вотъ почему далеко не одинъ Новиковъ «попалъ въ общество (масоновъ) потому, что находился на распутьи между вольтеріанствомъ и религіей и не имѣлъ точки опоры или краеугольнаго камня, на которомъ могъ бы основать душевное спокойствіе». Это былъ общій и типическій случай для болѣе глубокихъ и отзывчивыхъ натуръ его поколѣнія. Масонство являлось для нихъ желаннымъ исходомъ, прежде всего, потому, что оно представлялось имъ вполне совмѣстнымъ съ самыми строгими требованіями православія. На запросъ нѣмецкихъ масоновъ московскіе братья одинъ разъ заявили формально, что «обряды греко-россійской церкви такъ сходны съ масонскими, что нельзя сомнѣваться въ томъ, что они имѣютъ одинъ источникъ». И митрополитъ Платонъ нисколько не кривилъ душой, когда далъ свой извѣстный отзывъ (см. ниже 369) о православіи Новикова,—дѣйствительно искренно вѣровавшаго и не менѣе искренняго масона. Католическое пониманіе масонства, какъ церкви антихриста (раздѣлявшееся еще покойнымъ Влад. Соловьевымъ) было нашей интеллигенціи XVIII вѣка совершенно чуждо и приходило на умъ развѣ только такимъ богобоязненнымъ старушкамъ, какъ тетка Державина, — да

авторамъ лубочнаго пасквиля на масонство 1765 года. Интеллигенція же видѣла въ масонствѣ *вѣру*, но только вѣру просвѣтленную разумомъ. Масонство было для нея своего рода *духовнымъ* христіанствомъ,—и это было другой причиной, почему переходъ въ масонство являлся такимъ желаннымъ исходомъ изъ тяжелой борьбы двухъ крайнихъ міровоззрѣній. Центральная идея масоновъ, какъ и духовнаго христіанства, есть «моральное перерожденіе», въ противоположность идеямъ французскихъ «философовъ» о перерожденіи людей путемъ раціональнаго законодательства. вмѣсто борьбы за реформу масонство ставило чело-вѣку задачу внутренняго самопознанія и работы надъ самимъ собой. Изъ этой основной идеи выводилось все соціальное ученіе масонства. Нельзя сказать, что бы оно было, однако, слишкомъ узко или индиви-дуалистично, чтобы оно ставило чело-вѣку однѣ только личныя цѣли. По нѣсколько болѣе позднему опредѣленію одного опытнаго масона, «масонство видитъ во всѣхъ людяхъ братьевъ, которымъ оно открываетъ свой храмъ, чтобы освободить ихъ отъ предрасудковъ ихъ родины и религіозныхъ заблужденій ихъ предковъ, побуждая людей къ взаимной любви и помощи. Оно никого не ненавидитъ и не преслѣдуетъ, и цѣль его можетъ опредѣлиться такъ: изгонять между людьми предрасудки кастъ, условныхъ различій происхожденія, мнѣній и національностей, уничтожить фанатизмъ и суевѣріе, искоренить между-народныя вражды и бѣдствія войны; посредствомъ свободнаго и мир-наго прогресса достигнуть закрѣпленія вѣчнаго и всеобщаго права, на основаніи котораго чело-вѣкъ призванъ къ свободному и полному развитію всѣхъ своихъ способностей; споспѣшествовать всѣми силами общему благу и сдѣлать такимъ образомъ изъ всего чело-вѣческаго рода одно семейство братьевъ, связанныхъ узами любви, познаній и труда» *).

Словомъ, масонство — это своего рода толстовство своего вре-мени. Не даромъ Толстой сдѣлалъ масономъ (въ «Войнѣ и мирѣ») родоначальника любимаго типа своихъ романовъ. Онъ заразъ былъ вѣренъ и исторіи, и собственному настроенію. Отмѣтимъ особенно—де-мократическую тенденцію масонской идеи. Въ самый разгаръ увле-ченія русскихъ аристократовъ вольтеріанствомъ масонство провозгла-шаетъ уничтоженіе «предрасудковъ кастъ и условныхъ различій про-исхожденія». Конечно, этотъ принципъ не проводится на практикѣ, и Елагину, напр., очень не нравится, когда его братьями по ложѣ ока-зываются два повара-француза. Но не надо забывать, что скоро ду-ховными вождями русскаго масонства сдѣлались, вмѣсто этого вельможи,

*) Конечно, не всѣ масоны вполне усвоили такое возвышенное пониманіе масонства, но по частямъ эта характеристика повторяется во множествѣ масон-скихъ произведеній. Мало того, среди этихъ произведеній мы укажемъ ниже одно, которое представляетъ еще болѣе глубокое пониманіе, потому что обосновываетъ приведенную въ текстѣ формулировку—философской аргументацей.

такой защитникъ «подлости» и мѣщанства, какъ Новиковъ, и такой выходецъ безъ соціального положенія, годившійся по обычному представленію развѣ въ «гофмейстеры», какъ Шварцъ.

Однимъ теоретическимъ вліяніемъ, во всякомъ случаѣ, далеко еще не исчерпывается значеніе масонства для русской общественной исторіи XVIII вѣка. Въ моментъ, когда русская интеллигенція выросла изъ рамокъ частныхъ дружескихъ кружковъ, масонство дало ей готовую форму для болѣе широкой группировки на основаніи общей идейной связи. Въ масонствѣ, какъ средствѣ организаціи, всегда заключалась огромная соціальная сила. Чтобы понять это, стоитъ познакомиться съ прошлымъ и настоящимъ масонства на Западѣ, особенно во Франціи. Какъ использована была эта черта масонства интеллигенціей екатерининскаго времени, мы скоро увидимъ.

Итакъ, какъ извѣстное морализирующее міровоззрѣніе, какъ средство объединенія интеллигентныхъ силъ, масонство имѣло очень важное значеніе въ исторіи общественнаго развитія Россіи. Исслѣдователи, отрицающіе это значеніе, представляютъ иногда себѣ масонство съ третьей стороны, которая, дѣйствительно, не играла почти никакой роли въ русскомъ интеллигентномъ масонствѣ. Рѣчь идетъ о тайныхъ ученіяхъ масонства, открывавшихся только тѣмъ, кто доходилъ до высшихъ степеней масонской іерархіи. На этихъ высшихъ степеняхъ масонство расходится въ своихъ ученіяхъ и дѣлится на нѣсколько системъ. Французское масонство чрезвычайно увеличило количество ступеней и ввело множество обрядовъ и церемоній. Нѣмецкое масонство увлеклось натурфилософіей и погрузилось въ изученіе секретовъ природы, надѣясь этимъ путемъ дойти до познанія Божества въ природѣ (см. ниже 359—63). Наконецъ, одна отрасль масонства задумала воспользоваться масонской организаціей, какъ средствомъ для политическихъ цѣлей. Первой изъ названныхъ трехъ системъ, съ ея развѣтвленіями, лучшіе изъ русскихъ масоновъ не сочувствовали: она имѣла сторонниковъ, главнымъ образомъ, среди «знатныхъ господъ», привыкшихъ къ іерархіи, чинамъ и знакамъ отличія *). Последней системы, т.-е. политической, такъ называемыхъ «иллюминатовъ», въ Россіи вовсе не существовало: подозрѣнія Екатерины въ этомъ отношеніи были совершенно неосновательны. Только вторая, мистическая, система («розенкрейцеры и мартинисты») получила одно время значеніе въ русскомъ идейномъ масонствѣ. Но мы сейчасъ увидимъ, что это значеніе свелось на практикѣ къ усиленію тѣхъ же двухъ элементовъ, важность которыхъ мы только что подчеркнули: идейнаго одушевленія и идейныхъ связей.

*) Наблюденіе это приведено самими русскими масонами, въ ихъ донесеніи заграничному съѣзду, какъ доказательство пользы внѣшнихъ знаковъ и церемоній для успѣха масонской пропаганды.

Масонство занесено было въ Россію иностранцами еще при Аннѣ, одновременно съ распространеніемъ его въ Германіи. Но первыя извѣстія о *русскихъ* адептахъ масонства мы имѣемъ лишь отъ пятидесятихъ, самое большое—отъ конца сороковыхъ годовъ. Эти извѣстія рисуютъ намъ масоновъ елизаветинскаго времени въ такихъ чертахъ, которыя мало соотвѣтствуютъ только-что сдѣланной характеристикѣ. При Елизаветѣ масонство распространялось въ томъ же самомъ значительномъ кругу, который потомъ, при Екатеринѣ, смѣнилъ его на новую моду, вольтеріанство. Для этого круга масонство было простой забавой, дѣломъ моды, суетности и тщеславія. Въ это именно время, въ 50-хъ годахъ, вступилъ въ орденъ И. П. Елагинъ, первый «возстановитель на твердую степень» масонства въ Россіи. По его собственному признанію, этотъ оффиціальнѣйшій глава позднѣйшаго масонства руководился тогда, главнымъ образомъ, побужденіями «любопытства и тщеславія»: любопытства—узнать сокровенныя тайны масонства и тщеславія—побыть «хотя минуту въ равенствѣ съ такими людьми, кои въ обществѣ знамениты,—и чинами, и достоинствами, и знаками отъ меня удалены суть». «Содѣйствовала тому и лестная надежда, не могу ли чрезъ братство достать въ вельможахъ покровителей и друзей, могущихъ споспѣшествовать счастью моему». Но скоро Елагинъ убѣдился, что «вельможи» вовсе не смотрятъ серьезно на «братскій» союзъ. И самъ Елагинъ «работы» въ масонскихъ собраніяхъ «почиталъ совершенно игрушкою, для препровожденія празднаго времени вымышленною». Дѣйствительно, собранія масоновъ приняла въ этотъ періодъ характеръ клуба, съ обычными клубными занятіями: билліардомъ, карточной игрою и веселыми ужинами. О масонствѣ напоминали развѣ только торжественныя пріемы новичковъ и посвященія изъ степени въ степень, обставленныя церемоніями и символической обстановкой, предназначенной дѣйствовать на воображеніе, но скорѣе возбуждавшей смѣшливость. Естественно, что такое масонство не давало пищи ни уму, ни сердцу. «Не пріобрѣлъ я изъ тогдашнихъ работъ нашихъ», признается Елагинъ, «ни тѣни какого-либо ученія, ниже преподаваній нравственныхъ, а видѣлъ токмо одни предметы неудобно достижимые, обряды странные, дѣйствія почти безразсудныя; и слышалъ символы неразсудительныя, объясненія религіи здравому разсудку противныя. Въ такомъ безплодномъ упражненіи открылась мнѣ только та истина, что ни я, ни начальники масоновъ иного тайнства не знаютъ, какъ развѣ со степеннымъ видомъ въ открытой ложѣ шутить и при торжественной вечери за трапезой неистовымъ воплемъ непонятныя ревѣтъ пѣсни, и насчетъ ближняго хорошимъ упиваться виномъ, да начатое Минервѣ служеніе окончится празднествомъ Вакху».

Такъ стояло дѣло, когда въ концѣ пятидесятихъ и началѣ шестидесятихъ годовъ начали примыкать къ масонству представители учащейся молодежи въ Петербургѣ и Москвѣ, воспитанники шляхетскаго

корпуса и университета. Прямыхъ извѣстій объ этомъ моментѣ въ исторіи масонства мы почти не имѣемъ, такъ какъ принадлежность къ масонству хранилась тогда въ глубокой тайнѣ; масонскія собранія ютились на чердакахъ, и «братья» скрывали свою принадлежность къ ордену, боясь правительственнаго преслѣдованія. Только гораздо позже, въ рядахъ екатерининскихъ масоновъ 80-хъ годовъ мы встрѣчаемъ представителей этого поколѣнія молодежи. О времени ихъ вступленія въ орденъ обыкновенно не имѣется никакихъ свѣдѣній, но среди «братьевъ» они часто считаются старыми и опытными масонами и занимаютъ иногда видное мѣсто въ іерархіи ордена. Здѣсь встрѣчаемъ самыхъ видныхъ участниковъ журналистики начала 60-хъ гг. (Херасковъ, Ржевскій, Нартовъ) и ихъ менѣе видныхъ друзей, державшихся плотной группой *) въ Комиссіи уложенія (Всеволожскій, графъ А. Строгововъ), наконецъ, сыновей или родственниковъ этой депутатской группы (Лодыженскій А. Ѳ., Загряжскій Б. А., Трубецкіе, можетъ быть Лопухинъ). Это, конечно, только остатки интеллигентныхъ кружковъ и группъ 60-хъ годовъ; но ихъ совершенно достаточно, чтобы поднять нить интеллигентнаго развитія, ускользающую отъ нашего прямого наблюденія. Къ тому же, намъ хорошо извѣстно настроеніе и складъ убѣжденій молодыхъ литераторовъ начала 60-хъ годовъ. Ихъ взгляды совершенно совпадаютъ съ приведенной только что характеристикой масонской идеи: мы принуждены были назвать эти взгляды масонскими по существу, по самому содержанію ихъ, прежде чѣмъ заговорили о внѣшней исторіи русскаго масонства (см. выше 244—45).

Несомнѣнно, присоединеніе къ масонству интеллигентной молодежи обѣихъ столицъ сразу подняло тонъ движенія и дало ему серьезное содержаніе. И однако же, мы ничего не знали бы объ этомъ подъемѣ, если бы не знали о немъ изъ юношескихъ журнальныхъ произведеній этого поколѣнія молодежи. Почему же, спрашивается, эта масонская традиція 60-хъ годовъ, столь сходная по существу съ идеями 80-хъ годовъ, оказалась такъ слаба, что самое существованіе ея намъ приходится доказывать косвенными соображеніями и сопоставленіями мелкихъ фактовъ, совершенно ускользнувшихъ отъ вниманія изслѣдователей? Оскуднѣніе традиціи есть тоже историческій фактъ, весьма любопытный для исторіи нашего общественнаго развитія. Фактъ этотъ подтверждаетъ наши предыдущія наблюденія надъ первымъ поколѣніемъ интеллигентовъ и находитъ себѣ въ нихъ полное объясненіе. Юношеское одушевленіе, очевидно, не пережило юныхъ годовъ. Мы знаемъ, какъ охладѣло поколѣніе 60-хъ годовъ къ идейнымъ основамъ своей общественной дѣятельности (см. 263, 273—4). Необходимо только прибавить, что увлеченіе *масонствомъ*, даже независимо отъ возраста и опытности,

*) Дружныя дѣйствія этой группы въ Комиссіи (см. выше, стр. 277) не должны-ли быть тоже объясняемы отчасти ихъ масонскими связями?

должно было подвергнуться серьезному *идейному* испытанію. Тѣхъ, кого не охладилъ жизненный опытъ, могло отвлечь отъ масонства новое увлеченіе французскими философами. Показанія Елагина и въ этомъ случаѣ оказываются драгоценными. Совершенно разочаровавшись, какъ мы видѣли, въ масонствѣ, онъ «спознался съ аееистами и деистами» и «сталъ искать просвѣщенія разума» въ книгахъ «такъ называемыхъ новыхъ философовъ и энциклопедистовъ... въ славѣ тогда находившихся». Но и для Елагина, какъ для другихъ интеллигентовъ екатерининскаго времени, это увлеченіе «вольтеріанствомъ» послужило только переходной ступенью къ составленію собственнаго міровоззрѣнія, болѣе подходившаго къ старымъ привычкамъ мысли и чувства. И онъ, какъ другіе, проникся сердечнымъ трепетомъ при сознаніи того, что «дерзнулъ забыть вѣру, въ которой родился и страхъ Божій, и ученіе, которое при воспитаніи въ училищахъ преподаваемо было». И онъ искалъ успокоенія встревоженной совѣсти въ бесѣдахъ съ «просвѣщенными и учеными» руководителями. Къ его величайшему удивленію, эти руководители оказались масонами. Масонами были, какъ онъ зналъ, и самъ Вольтеръ и «ему сообразные». По необходимости Елагину пришлось заключить, что въ масонствѣ есть что-то такое, что осталось ему неизвѣстнымъ. Онъ набросился тогда на изученіе масонской литературы, «за безумно истраченные деньги собралъ громады писаній», искалъ высшихъ степеней масонства, чтобы проникнуть въ его сокровенныя тайны, входилъ въ сношенія съ заграничными масонами. Но во всемъ этомъ онъ не могъ «удовлетворительнаго ничего почерпнуть, а единственно увидѣлъ токмо разныя человѣческія умствованія, инныя острыя и разумныя, другія нелѣпыя и весьма глупыя»,—и сверхъ всего этого очень много шарлатанства, эксплуатировавшаго простодушіе и любопытство искателей масонскихъ тайнъ для простаго выманиванія денегъ. Истинная тайна масонства, которой съ такимъ трудомъ и расходами добивался Елагинъ, оказалась гораздо ближе и гораздо доступнѣе.

Простому человѣку, какъ Новиковъ, богатому только своимъ здравымъ смысломъ, эта тайна видна была сразу. Новиковъ съ самаго начала отнесся враждебно къ китайскимъ церемоніямъ французскаго «храмоваго» масонства, а къ чернокнижническимъ тайнамъ розенкрейцеровъ остался довольно равнодушнымъ. Но онъ быстро понялъ значеніе масонства, какъ нравственной теоріи, и оцѣнилъ вліяніе масонства, какъ общественной силы. Для того, чтобы заниматься нравственнымъ самоусовершенствованіемъ и чтобы воспользоваться организаціонными средствами масонства для цѣлей общественной дѣятельности, — для этого не нужно было гоняться ни за какими тайнами, нечего было разыскивать ключей къ масонству въ Швеціи, Англіи или Германіи. Ключъ этотъ,—«ключъ дружелюбія и братства», какъ опредѣлялъ его одинъ доносъ на масоновъ, найденъ былъ въ собственномъ сердцѣ и

собственной волѣ. Въ этой находкѣ и заключается все значеніе Новикова для русскаго масонства. Этимъ же объясняется и то, какимъ образомъ человѣкъ, «безъ воспитанія, безъ ученія», не посвященный въ секреты ни «герметической философіи» розенкрейцеровъ, ни «храмовыхъ» церемоній, «шотландскихъ» и «рыцарскихъ» степеней системы «строгаго соблюденія» и родственныхъ съ нею,—какимъ образомъ такой человѣкъ могъ сдѣлаться однимъ изъ главныхъ реформаторовъ русскаго масонства.

Зерно той идеи, которая толкнула Новикова въ масонство и которая покорила масонство Новикову, — зрѣло въ умѣ Новикова исподволь и давно. Еще въ «Живописцѣ» онъ говоритъ о только что учрежденномъ императрицею «Обществѣ, старающемся о напечатаніи книгъ», какъ о «наипохвальнѣйшемъ и наиплезнѣйшемъ учрежденіи, о какомъ только частнымъ людямъ помышлять дозволяется». Но мало *издать* книгу; надо *дать* ее въ руки читателю. Только при такомъ расширеніи дѣло книгоиздательства явится дѣйствительно живымъ дѣломъ, способнымъ принести неисчислимыя культурныя послѣдствія. Мало и этого: надо пустить книгу въ провинцію, гдѣ ее ждетъ, не дождется самый главный читатель и покупатель *русскихъ* книгъ, алчущій духовной пищи и не имѣющій чѣмъ удовлетворить ее. «Петербургъ и Москва имѣютъ способы покупать книги, заводить книгохранительницы и употреблять ихъ въ свою пользу, лишь только бы была у покупающихъ охота. Но позвольте сказать, петербургскіе и московскіе жители много имѣютъ увеселеній. Есть у нихъ различныя зрѣлища, забавы и собранія; слѣдовательно весьма не у великаго числа людей остается время для чтенія книгъ. А сверхъ того и просвѣщеніе наше, или, такъ сказать, слѣпое пристрастіе къ французскимъ книгамъ, не позволяетъ покупать *россійскихъ*. Въ *россійской* типографіи напечатанное рѣдко молодыми нашими *господчиками* пріемлется за посредственное, а за хорошее—почти никогда. Напротивъ того, живущіе въ отдаленныхъ провинціяхъ *дворяне и купцы* лишены способовъ покупать книги и употреблять ихъ въ свою пользу. Напечатанная въ Петербургѣ книга черезъ трой или четверо руки дойдетъ, на примѣръ, въ Малую Россію; всякой накладываетъ неумѣренный барышъ, для того, что производитъ сію торговлю весьма малымъ числомъ денегъ; и такъ книга, продающаяся въ Петербургѣ по рублю, приходитъ туда почти всегда въ три рубля, а иногда и больше. Чрезъ сіе охотники покупать книги уменьшаются, книгъ расходуется меньше, а печатающіе оныя, вмѣсто награжденія за свои труды, часто терпятъ убытокъ. *Вотъ* государь мой, *куда* должно стремиться *намырненіе* сего общества.; *но не у пріиде часъ*».

Часъ этотъ пришелъ, какъ увидимъ, двѣнадцать лѣтъ спустя: Новиковъ осуществилъ въ грандіозныхъ размѣрахъ свою идею и своимъ «Обществомъ» дѣйствительно «привелъ торговлю книжную въ цвѣтущее состояніе». Но, какъ это ни важно само по себѣ, для насъ въ данную

минуто дѣло Новикова имѣеть совсѣмъ особый интересъ и значеніе. Это было первое широкое практическое предпріятіе, осуществленное коллективно русской интеллигенціей, обществомъ частныхъ людей, по собственной инициативѣ. И главный инициаторъ, выносившій эту идею въ своемъ умѣ, шелъ къ ея осуществленію цѣлый рядъ лѣтъ, медленно и упорно, соединяя идейное увлеченіе съ практической смѣтливостью, заражая своей энергіей цѣлую группу близкихъ людей, вербуя по всей Россіи цѣлую сѣть единомышленниковъ, связывая ихъ идейными узами братства и сообщая такимъ образомъ отвлеченнымъ филантропическимъ стремленіямъ масонства самое реальное, самое жизненное содержаніе.

Начало этого изумительнаго для того времени предпріятія было очень скромно. Но это начало уже показало, что для Новикова, при всей его практической дѣловитости, дѣло будетъ идти объ *общественномъ* интересѣ, а не объ одной только коммерческой выгодѣ. Точнѣе говоря, выгода должна была служить расширенію того же общественнаго интереса.

На очереди для «частныхъ людей» стоялъ вопросъ просвѣщенія. Новиковъ затѣваетъ для начала два параллельныхъ просвѣдительныхъ предпріятія, изъ которыхъ одно должно было питать другое. Онъ подбираетъ небольшую компанію молодежи и открываетъ (1777) въ Петербургѣ двѣ школы для мѣщанства. Эти школы будутъ содержаться доходами съ журнала, который компанія начинаетъ издавать одновременно съ открытіемъ школъ («Утренній Свѣтъ»). Типъ журнала Новиковъ взялъ готовый—тотъ самый, который созданъ былъ въ началѣ 60-хъ годовъ учащейся молодежью и меньше всего вызывалъ цензурныхъ опасеній. Матеріалъ журнала остался по преимуществу переводнымъ, направленіе—моралистическимъ (см. ниже). Но журналъ велся гораздо живѣе и серьезнѣе журналовъ Хераскова. Въ первый же годъ онъ имѣлъ 800 подписчиковъ. Кромѣ Москвы и Петербурга онъ расходился въ 26 теперешнихъ губернскихъ городахъ, 24 уѣздныхъ и 7 мѣстечкахъ. Такимъ образомъ завязались у Новикова связи съ провинціей.

Вся эта дѣятельность уже совершалась отчасти на почвѣ масонскихъ отношеній. Въ серединѣ 1770-хъ годовъ въ Петербургѣ сложился кружокъ, тяготившійся обрядовой и мистической стороной масонства. Настроеніе Новикова совпадало съ настроеніемъ кружка. Онъ сдѣлался масономъ (1775) съ спеціальнымъ условіемъ—не считать себя связаннымъ содержаніемъ тайнъ масонства. Тогда же кружокъ добился открытія собственной ложи въ Петербургѣ, работавшей по особой программѣ. «Тутъ все было обращено на нравственность и самопознаніе; говоренныя же (въ собраніяхъ) рѣчи и изъясненія произвели великое уваженіе и привязанность». Такъ характеризуетъ цѣли и средства новаго масонскаго кружка самъ Новиковъ.

Однако же Петербургъ оказался неудобнымъ мѣстомъ для свобод-

наго и широкаго развитія идейно-филантропической дѣятельности новиковскаго кружка. Екатерина отнеслась съ самаго начала болѣе чѣмъ холодно къ новому почину своего литературнаго антагониста, грозившаго опередить его уже на второмъ поприщѣ общественной дѣятельности,—и опять на такомъ, которое она считала *своимъ* по преимуществу. Конечно, ея энтузіазмъ къ созданію «новой расы людей» очень значительно остылъ въ этому времени; но вопросъ о народномъ просвѣщеніи и народной школѣ стоялъ на ближайшей очереди, поставленный еще разъ Учрежденіемъ о губерніяхъ. Однако когда первыя дворянскія собранія, думая откликнуться на призывъ императрицы, начали дѣлать постановленія объ открытіи школъ, Екатерина поспѣшила охладить ихъ рвеніе. Калужскій и тверской губернаторы получили (1779) внушенія, что усердіе дворянства «преждевременно» и что слѣдуетъ ожидать отъ императрицы общихъ правилъ и инструкцій объ открытіи школъ. «Никогда не принудятъ меня бояться образованнаго народа,—писала Екатерина къ Гримму въ слѣдующемъ году (1780); но когда-то еще онъ сдѣлается такимъ и когда между образованными людьми переведутся негодяи (des gredins) съ ложнымъ направленіемъ и кривыми взглядами, люди способные скорѣе все испортить, чѣмъ принести пользу?» Болѣе чѣмъ вѣроятно, что во второй половинѣ этой любопытной тирады Екатерина имѣла въ виду инициативу Новикова. Какъ бы то ни было, эта инициатива заставила ее, наконецъ, поторопиться съ распространеніемъ образованія сверху. Въ томъ же году заведены были переговоры съ австрійскими педагогами, и въ 1782 г. началась дѣятельность комиссіи народныхъ училищъ (см. «Оч.» II, 321 и слѣд.).

Въ 1777 г. Екатерина демонстративно устранилась отъ участія въ школахъ, созданныхъ Новиковымъ, и такъ же демонстративно не подписалась на его журналъ, несмотря на его обычные авансы. Очевидно перспектива для дальнѣйшей дѣятельности, при этихъ условіяхъ, складывалась неблагопріятно. Тогда Новиковъ рѣшился перенести все дѣло въ Москву, гдѣ атмосфера, какъ мы отчасти уже знаемъ, была совершенно иная. Здѣсь, прежде всего, такое направленіе, какъ масонство, могло развиваться гораздо свободнѣе, не оттѣсняемое модной «философіей» придворнаго круга. Для патріархальной Москвы эта «философія» и по существу своему была черезчуръ уже крайней: здѣсь настроеніе интеллигентныхъ круговъ скорѣе походило на нѣмецкое стародумство, чѣмъ на французское свободомысліе. Какъ сейчасъ увидимъ, въ Москвѣ нѣмецкое культурное вліяніе тотчасъ и побѣдило французское. Затѣмъ, отсутствіе двора имѣло еще и другія послѣдствія. Въ Москвѣ не было ни высшаго чиновничества, обязаннаго сообразоваться со взглядами власти, ни той житейской сутолоки, которая неизбежно связана съ повседневнымъ ходомъ громаднаго государственнаго механизма. Петербургъ суетился, поглощенный злобой дня и ме-

лочами жизни. Москва утопала въ роскоши и въ праздности. Петербургъ дѣйствовалъ, Москва критиковала. Петербургъ создавалъ баловней счастья; въ немъ дѣлали карьеру. Въ Москвѣ доживали свои дни всѣ падшія звѣзды и угасшія свѣтила сѣверной столицы. Здѣсь они по-барски прожигали шальные состоянія, нажитыя въ болѣе счастливые дни; сюда уносили горечь и раздраженіе, копившіяся годами невольной или добровольной ссылки и находившія себѣ единственный исходъ въ томъ, что на языкѣ Екатерины называлось «враньемъ».

Въ этой атмосферѣ сановнаго брюжжанья,—мало, конечно, походившаго на политическую оппозицію,—жилося спокойнѣе и независимѣе и представителямъ интеллигентнаго русскаго общественнаго мнѣнія. За спиной главнокомандующаго, графа Захара Чернышева, не забывшаго еще, что и самъ онъ когда-то, въ дни Елизаветы, былъ однимъ изъ первыхъ русскихъ масоновъ, родовитые и богатые представители молодого масонства чувствовали себя въ сравнительной безопасности,—внѣ непосредственнаго дѣйствія петербургской власти. У нихъ было довольно вліянія и денежныхъ средствъ; талантъ и энергію вложили въ движеніе приглашенные ими идейные руководители.

Съ помощью дружескихъ масонскихъ связей (черезъ Хераскова) Новиковъ уже въ 1779 году перебрался окончательно въ Москву изъ Петербурга. Тогда же онъ взялъ въ аренду московскую университетскую типографію и принялся за осуществленіе любимой своей мысли, идейнаго издательства. Какъ отразилось переселеніе въ Москву на настроеніи Новикова, видно всего лучше изъ его «Московскаго изданія», замѣнившаго въ 1781 году «Утренній Свѣтъ». Въ самомъ предисловіи къ новому журналу публицистъ поднимаетъ забрано и рѣшительно объявляетъ, что прямая цѣль журнала есть борьба съ людьми, «отъ природы великими способностями одаренными, въ воспитаніи ученостью украшенными, и между людьми почтенными», которые, однако, «хулятъ съ надменнымъ и увѣрительнымъ видомъ законъ, ко спасенію рода человѣческаго первыми людьми свыше полученный» (такъ опредѣлялась, между прочимъ, и основная тайна масонства), и готовы уже думать, что искоренили «всѣ народныя предразсудки и низкое суевѣріе». Слова эти прямо мѣтили на Екатерину и ея придворный кругъ: ихъ можно только сопоставить съ отвѣтомъ Платона, когда ему пришлось выбирать между «христіанствомъ» масоновъ и «философіей» императрицы (см. ниже 369). Не даромъ архіереи явились усердными подписчиками журнала, на который не подписалась Екатерина. Но Новиковъ пошелъ еще дальше этихъ общихъ намековъ. Въ немъ просыпается издатель «Грутня» и «Живописца»; и въ журналъ, предназначенный для благотворительности и моральнаго назиданія, скоро врывается бурной струей негодованіе публициста и обличительный смѣхъ сатирика. Въ промежутокъ между двумя пароксизмами націоналистической и завоевательной политики Екатерины.—«Московское изданіе» поднимаетъ

голосъ противъ наступательныхъ войнъ. Не честолюбіе и любовь къ славѣ, а только любовь къ общественному благу и отечеству должна побуждать къ войнѣ. Война—если она не оборонительная—есть просто кровопролитіе и должна вызывать одинъ ужасъ. Безсмертіе государь можетъ заслужить скорѣе правосудіемъ и справедливостью, чѣмъ «завоеваніемъ многихъ государствъ, разореніемъ ста городовъ и истребленіемъ ста тысячъ человѣкъ». Всякій, «утверждающій власть свою на неправосудіи, скрываетъ пропасть, которою онъ или его преемники поглощены будутъ. Самыя великія и жесточайшія возмущенія не отъ чего иного произошли, какъ отъ своеправія и жестокостей государей». Государь долженъ остерегаться страстей. «Всякое государство лучше управляемо быть можетъ празднымъ государемъ, нежели страстнымъ. Ежели первый будетъ имѣть искуснаго министра, тогда праздность его можетъ обратиться въ пользу народа; страстный же... повинуется волѣ любовницы... Какъ скоро государь отдается любви, то... временщики, министры, придворные... показываютъ нѣжное сердце... Любовницы государя, министровъ и временщиковъ, сдѣлавъ союзъ, станутъ раздавать чины и всѣ дѣла располагать по своимъ прихотямъ». И какъ бы боясь, что всѣ эти прозрачныя намеки не будутъ поняты, авторъ прибавляетъ: «Такое правленіе бывало при государяхъ, которые великую надежду подавали въ началѣ своего владѣнія».

Горячій публицистъ, превосходный практикъ и организаторъ, трезвая, дѣловая натура,—Новиковъ не годился, однако, въ вожди чисто идейнаго движенія, какимъ было въ основѣ своей масонство, хотя и могъ лучше всякаго другого использовать движеніе для общественныхъ цѣлей. Идейнымъ руководителемъ, душой движенія съ его теоретической стороны явился другой человѣкъ, глубокій энтузіастъ, готовый самого себя цѣликомъ отдать на служеніе своему идеалу. Въ 1776 году пріѣхалъ въ Россію—и одновременно съ Новиковымъ поселился въ Москвѣ нѣкто Шварцъ, нѣмецъ изъ Трансильваніи. Вліяніе этого человѣка въ Московскомъ университетѣ, гдѣ онъ тогда же сдѣлался профессоромъ (1779), сравнивали съ вліяніемъ Грановскаго. Но еще сильнѣе, чѣмъ вліяніе Шварца на университетскую аудиторію, было дѣйствіе его дружескихъ бесѣдъ, если, впрочемъ, забыть, что онъ владѣлъ несомнѣннымъ даромъ—дружескую бесѣду превращать въ профессорскую лекцію, а изъ лекціи дѣлать дружескую бесѣду. И въ этомъ-то тѣсномъ кружкѣ друзей, который постепенно расширялся въ болѣе широкій кругъ поклонниковъ и послѣдователей, скорѣе можно бы было сравнить вліяніе Шварца съ вліяніемъ другого знаменитаго представителя тридцатыхъ годовъ, Станкевича. Столь же тонко организованная и благородная, но несомнѣнно болѣе пылкая натура, чѣмъ Станкевичъ, Шварцъ былъ такимъ же идейнымъ и нравственнымъ оракуломъ своего кружка, среди котораго гораздо рѣзче выдавался своими знаніями и образованіемъ. Обоихъ рано подкосила смерть, но оба оставили неизгладимый

слѣдъ въ сердцахъ и умахъ своихъ почитателей. Шварцу дано только было еще то, чего не дано было Станкевичу,—натурѣ болѣе созерцательной, чѣмъ дѣятельной. Шварцу суждено было самому осуществить въ жизни то «идеальное царство Платона», которое наполняло душу молодого энтузіаста «райскими ощущеніями». «Колумбъ, впервые за-видѣвшій землю», выражался самъ Шварцъ, «не могъ радоваться болѣе меня, когда въ рукахъ моихъ очутился значительный капиталъ для осуществленія моей платоновской идеи». Но что же это была за утопія, за «новая Атлантида», которая заставляла Шварца и его друзей вспоминать о Колумбѣ и Платонѣ при одной мысли о возможности ея осуществленія? Въ пониманіи *ближайшей цѣли* для достиженія своей мечты Шварцъ очень близко сошелся съ Новиковымъ: именно, онъ мечталъ составить въ Россіи общество для распространенія истиннаго просвѣщенія. Для этого нужно было, по его мнѣнію: 1) популяризировать правила хорошаго воспитанія, 2) издавать полезныя книги, поддерживая тѣмъ и предпріятіе Новикова, и 3) выписать способныхъ педагоговъ изъ-за границы, а еще лучше—приготовить своихъ русскихъ преподавателей къ роли распространителей просвѣщенія. Для какой *дальнѣйшей*, можно сказать, міровой задачи все это было нужно, можно понять только тогда, когда познакомимся ближе съ философскимъ міровоззрѣніемъ Шварца. Мы увидимъ, что, по широтѣ размаха, его «утопія»—первая утопія русскаго общественнаго дѣятеля, ничуть не уступаетъ утопіямъ нашего времени.

Чтобы осуществить свою идею,—которую Шварцъ повсюду пропагандировалъ со всѣмъ жаромъ убѣжденія, не останавливаясь передъ скептицизмомъ своихъ болѣе практическихъ собесѣдниковъ, онъ не дожидаясь, пока счастливый случай дастъ ему въ руки «значительный капиталъ». Бывшій домашній учитель, только-что ставшій профессоромъ, бѣднякъ, оставившій послѣ своей смерти безъ копѣйки денегъ свою семью, Шварцъ пожертвовалъ въ университетъ 5.000 рублей (не меньше 25.000 на наши деньги), чтобы положить первый камень въ основу будущаго своего зданія. На эти деньги должны были подготовляться при университетѣ по особой системѣ будущіе учителя. Чтобы подобрать составъ воспитанниковъ этой «педагогической семинаріи», кружокъ друзей вошелъ немедленно въ сношенія съ начальствомъ единственныхъ тогда сколько-нибудь сносно поставленныхъ среднеучебныхъ заведеній,—именно духовныхъ семинарій и академій. Количество стипендіатовъ дружескаго кружка, присланныхъ изъ этихъ заведеній, доходило въ послѣдующіе годы до 30-ти слишкомъ; расходъ на стипендіи превышалъ 3.000 ежегодно; для помѣщенія стипендіатовъ кружокъ купилъ собственный домъ на имя Шварца.

Но учрежденіемъ «педагогической семинаріи» намѣренія Шварца, разумѣется, не ограничивались. За первымъ шагомъ послѣдовали два другіе, логически вытекавшіе изъ перваго. Свои отношенія къ собран-

нымъ отовсюду семинаристамъ Шварцъ не ограничилъ инспекторскимъ надзоромъ и профессорскими лекціями. Онъ вступилъ съ ними въ личныя и непосредственныя отношенія, старался развить въ нихъ нравственную и умственную самодѣятельность. Для этого черезъ два года послѣ открытія «педагогической семинаріи» онъ основалъ студенческое общество подъ названіемъ «собранія университетскихъ питомцевъ» (1781). Цѣлью общества было образованіе ума и вкуса членовъ, собиравшихся для совмѣстнаго обсужденія своихъ литературныхъ опытовъ. Въ началѣ засѣданій члены по очереди читали рѣчи моральнаго содержания. Предполагалось приучать членовъ и къ прямой филантропической дѣятельности, для которой средства добывались, по принципу уже намѣченному Новиковымъ, самими членами посредствомъ изданія ихъ сочиненій. Какъ велико было вліяніе Шварца на «университетскихъ питомцевъ», видно уже изъ того, что долго послѣ смерти учителя среди нихъ сохранялся настоящій культъ его памяти.

Наконецъ, третій шагъ на томъ же пути сдѣланъ былъ Шварцемъ въ слѣдующемъ 1782 году. Прошедшіе указанную школу питомцы, а также и вызванные вновь изъ семинарій студенты получили возможность приложить свои знанія и вмѣстѣ добыть средства къ существованію во вновь устроенной «переводческой семинаріи» — путемъ переводовъ лучшихъ авторовъ и моральныхъ сочиненій. Такимъ образомъ, цѣль, которую намѣтилъ себѣ Шварцъ, мало-по-малу осуществлялась. Его энергичными усиліями созданъ былъ цѣлый кружокъ молодыхъ интеллигентовъ, педагоговъ и переводчиковъ, оставившихъ по себѣ очень замѣтный слѣдъ въ дѣятельности русской школы и печати конца XVIII вѣка. Какія же идеи они проводили въ своей дѣятельности?

Прежде чѣмъ отвѣтимъ на этотъ вопросъ, намъ надо познакомиться съ дѣятельностью Шварца въ ближайшемъ дружескомъ кружкѣ. Здѣсь онъ взялъ на себя, какъ Новиковъ, роль чернорабочаго для «знатныхъ господъ» и увлекъ за собой кружокъ своей неутомимой дѣятельностью. Самое сплоченіе кружка, одушевленіе его одной просвѣтительной идеей — есть въ очень значительной степени дѣло Шварца. Началось это сплоченіе на почвѣ теоретическаго согласія во взглядахъ, на почвѣ извѣстнаго пониманія масонства. Закрѣпилось же оно окончательно на почвѣ активной общественной дѣятельности. Мы знаемъ, какія идеи одушевляли масоновъ до появленія среди нихъ Шварца. Шварцъ, со своими поисками масонскихъ тайнъ, съ своимъ знаніемъ масонскихъ формъ — казался подозрительнымъ русскимъ реформаторамъ масонства. Въ первый годъ знакомства со Шварцемъ Новиковъ тщательно избѣгалъ заводить съ нимъ разговоръ о масонствѣ. Но потомъ дѣло объяснилось, и московскіе представители масонства согласились, отложивъ въ сторону все таинственное и формальное, соединиться въ одной нейтральной ложѣ съ цѣлями нравственнаго самосовершенствованія. Какъ мы говорили раньше, Новиковъ былъ главнымъ сторонникомъ этого про-

стого, исключительно моральнаго пониманія масонства, и онъ перетянулъ на свою сторону другихъ. Но передъ знаніями и убѣжденностью Шварца самъ Новиковъ пасовалъ, и въ концѣ концовъ весь кружокъ подчинился вліянію молодого профессора. Шварцъ былъ мистикомъ: онъ вѣрилъ, что масонство можетъ открыть тайну сліянія Божества съ природой путемъ изученія секретовъ природы въ ея сокровеннѣйшей сущности. Хотя методы и цѣли масонства противорѣчили наукѣ, но не надо забывать, что сама наука въ то время какъ разъ нападала на путь, который, казалось, велъ туда же, куда стремилась проникнуть и натурфилософія. Ученой новинкой, поразившей воображеніе тогдашней публики, были первыя открытія химіи. Вещества, повидимому, простыя, какъ воздухъ, вода, оказались сложными. Являлась надежда открыть еще болѣе первичные элементы, въ которыхъ и ожидали найти начало всѣхъ началъ и ключъ къ превращенію однихъ веществъ въ другія. Этихъ-то тайнъ природы, въ которыя обѣщала проникнуть нарождавшаяся химія, доискивался и Шварцъ. Но это была только одна сторона его взглядовъ, которая притомъ играла подчиненную, служебную роль въ общемъ міросозерцаніи Шварца (см. ниже 360—64).

Посланный друзьями за границу для отысканія истиннаго масонства, Шварцъ вернулся оттуда послѣдователемъ системы «розенкрейцеровъ», занимавшихся изслѣдованіемъ «Божества въ натурѣ». Съ своимъ вліяніемъ онъ легко превратилъ въ розенкрейцеровъ и своихъ ближайшихъ друзей. Они остались, правда, совершенно чуждыми его «практическимъ работамъ». Однако, общая мистическая идея Шварца объ «истинномъ просвѣщеніи» должна была повліять и на нихъ. Изъ этой идеи вытекала вся дѣятельность Шварца; она придавала этой дѣятельности цѣльность и внутреннюю силу. Не будучи въ состояніи вполне понять своего руководителя и послѣдовать за нимъ до конца, друзья-масоны вѣрили, однако, что существуетъ дѣйствительно какая-то таинственная цѣль познанія, какая-то высшая задача дѣятельности, которыя все объясняютъ и объединяютъ. Стремленіе къ этой цѣли выдѣляло кружокъ изъ остального общества; званіе «розенкрейцера» сближало ихъ въ своего рода конспиративный союзъ внутри самого масонства. При такой завлекательной обстановкѣ ставились и выполнялись общія задачи дѣятельности кружка. Примѣръ Шварца (стр. 355) увлекъ нѣсколькихъ членовъ кружка къ значительнымъ денежнымъ пожертвованіямъ. Собравъ такимъ образомъ нѣкоторыя средства, кружокъ друзей рѣшился выступить формально и открыто подъ названіемъ «Дружескаго ученаго общества», преслѣдующаго филантропическія и ученныя цѣли. «Дружеское ученое общество» было торжественно открыто въ ноябрѣ 1782 года, въ присутствіи приглашенныхъ властей. Черезъ мѣсяцъ съ небольшимъ Шварцъ, послѣ многочисленныхъ непріятностей и столкновеній съ университетскимъ начальствомъ, принужденъ былъ выйти въ отставку. Въ 1783 году

онъ продолжалъ еще читать свой приватный курсъ исторіи философіи въ мистическомъ духѣ, руководилъ филантропической дѣятельностью «Дружескаго общества». Но слабый организмъ, надломленный непосильнымъ трудомъ и душевными огорченіями, наконецъ, не выдержалъ. Осенью 1783 года Шварцъ заболѣлъ и въ февралѣ 1784 года умеръ.

Чтобы оцѣнить значеніе профессорской дѣятельности Шварца, надо сравнить содержаніе новиконскихъ журналовъ, издававшихся для поддержанія двухъ петербургскихъ училищъ (стр. 351) до и послѣ того, какъ приняли въ нихъ участіе «университетскіе питомцы», вышедшіе изъ педагогической семинаріи Шварца. Кружокъ, начавшій издавать въ 1777 году «Утренній Свѣтъ», стоялъ почти на уровнѣ сотрудниковъ журналовъ 1759—61 гг. Какъ тамъ, такъ и здѣсь идеи «естественнаго закона» сохраняются рядомъ съ новыми идеями самосовершенствованія, безъ всякой попытки согласить то и другое, хотя оба рада идей въ сущности были плодомъ двухъ противоположныхъ и борющихся между собой міровоззрѣній, философско-раціоналистическаго и религіозно-сентиментальнаго. Стремленіе къ счастью и наслажденію, эпикурейская и утилитарная система морали мирно уживаются въ журналѣ съ моралью «самопознанія», которая скоро будетъ развита Шварцемъ въ цѣлую систему теософіи и теургіи. Переводы изъ древнихъ авторовъ по вопросамъ любви, морали, безсмертія души наполняютъ первые томы «Утренняго Свѣта». Во второмъ году изданія начинается въ журналѣ «бореніе между вѣрой и разумомъ», въ лицѣ классическаго героя этой борьбы, Паскаля, «Мысли» котораго переводятся въ «Утреннемъ Свѣтѣ». Результатъ борьбы предрѣшенъ, кромѣ этого выбора, напечатаніемъ тутъ же другого произведенія, нашумѣвшаго въ Европѣ въ 70-хъ годахъ и бывшаго тамъ предвѣстникомъ торжества «чувствительности» надъ раціонализмомъ. Это былъ «Плачь или ночныя думы» Юнга, воспѣвавшаго смерть «по ночамъ, при тускломъ свѣтѣ лампы, таплившейся въ человѣческомъ черепѣ» и патетически призывавшаго къ жалости, къ состраданію, къ заботѣ о душѣ и о будущей жизни. Третій годъ изданія (1780) представляетъ еще шагъ дальше, на пути къ усвоенію новаго міровоззрѣнія. вмѣсто переводовъ изъ древнихъ являются статьи по философіи и психологіи; въ научныхъ статьяхъ проводятся новыя мысли (напр., что мифы-не басни, а аллегоріи, скрывающія высокія истины). Въ концѣ редакція помѣщаетъ статью Гисмана, въ которой отрицается аксіома всего XVIII-го столѣтія, — существованіе естественнаго права и теорія естественнаго состоянія людей до образованія государства. Въ противоположность Руссо (и Юнгу), здѣсь доказывается что «попавшись въ состояніе сходное съ природою», люди сдѣлались бы не счастливыми и блаженными, а «плутами и негодьями». Въ связи съ этимъ, журналъ рѣшительно отрицаетъ и другую мысль Руссо, получившую

широкое употребленіе у насъ, особенно въ рукахъ противниковъ рационализма изъ *реакціоннаго*, «стародумческаго» лагеря,—мысль, что просвѣщеніе вредитъ нравственности. Скоро мы увидимъ, почему эти идеи о вредѣ культуры и блаженствѣ «естественнаго состоянія» оказались несовмѣстимыми съ новымъ міровоззрѣніемъ редакціоннаго кружка.

«Московское изданіе» еще не обнаруживаетъ рѣзкаго шага впередъ въ смыслѣ развитія общаго міровоззрѣнія: его особенность, какъ мы видѣли, заключается въ той публицистической и сатирической струѣ, которую внесъ въ него переселившійся въ Москву Новиковъ. На новомъ мѣстѣ старый кружокъ сотрудниковъ, повидимому, порѣдѣлъ, а новый еще не подобрался въ этомъ году (1781),—и этимъ, можетъ быть, объясняется болѣе близкое участіе самого Новикова въ этомъ журналѣ. Зато въ слѣдующемъ году (1782) подоспѣлъ первый выпускъ «питомцевъ» Шварца, составившихъ въ томъ же году «переводческую семинарію» (см. выше). Въ руки этого-то молодого кружка *) и передалъ теперь Новиковъ веденіе своего ежемѣсячнаго изданія (выходившаго въ этомъ году подъ названіемъ «Вечерней Зари», мистическій смыслъ котораго Новиковъ подчеркнул въ своемъ «предувѣдомленіи»).

Главный интересъ «Вечерней Зари» заключается въ рядѣ философскихъ статей, которыя на этотъ разъ уже совершенно сознательно формулируютъ общее міровоззрѣніе, какое вырабатывалось въ московскомъ интеллигентномъ кружкѣ подъ влияніемъ лекцій Шварца. Не нужно, конечно, ожидать отъ этого міровоззрѣнія чего-нибудь очень крупнаго и оригинальнаго. Содержаніе философскихъ статей «Вечерней Зари» довольно точно соотвѣтствуетъ среднему уровню тогдашней нѣмецкой популярной философіи. Богъ, міръ и душа—таковы основные вопросы міровоззрѣнія, около которыхъ сосредоточилась философская борьба XVIII вѣка. Въ описываемое время Кантъ уже сдѣлалъ всѣ эти вопросы предметомъ разрушительной гносеологической критики. Но «Критика чистаго разума» только что появилась тогда (1781); ея роль была еще вся въ будущемъ. Другія, болѣе раннія *цѣльныя* міровоззрѣнія, монизмъ Спинозы и монизмъ французскихъ матеріалистовъ казались слишкомъ подозрительными и были не по плечу тогдашнему среднему интеллигенту. Шварцъ разбиралъ Спинозу, Гельвеція, Ламеттри на лекціяхъ; и, естественно, профессорская критика не могла внушить слушателямъ желанія познакомиться со всѣми этими системами ближе. Нѣмецкая университетская философія, правда, тоже ставила цѣлью борьбу противъ теологіи и схоластики. Но здѣсь борьба эта шла на совсѣмъ другой почвѣ, гораздо болѣе умѣренной, чѣмъ философскія системы пантеизма и матеріализма. Это была система Вольфа,—очень передовая

*) Имена «трудившихся въ изданіи журнала студентовъ» перечислены Новиковымъ въ количествѣ 18 лицъ: здѣсь видимъ дѣтей иностранцевъ и духовныхъ и ни одного аристократическаго имени.

и даже преслѣдовавшаяся въ первой трети XVIII вѣка, но заключавшая въ себѣ еще достаточно теологическихъ и схоластическихъ элементовъ, чтобы сдѣлаться во второй трети вѣка общепризнанной университетской системой. Дальнѣйшій прогрессъ философіи въ Германіи, послѣ Вольфа, заключался въ усвоеніи идей англійскихъ философовъ и моралистовъ, — хотя и «свободомыслящихъ», но все еще не рѣшавшихся сойти съ почвы самаго благонамѣреннаго деизма. Такъ какъ при этомъ усвоеніи англійскихъ идей преслѣдовались болѣе моральныя, чѣмъ методологическія задачи, то естественно, что въ результатѣ заимствованій получился рядъ эклектическихъ философскихъ системъ, имѣвшихъ въ лучшемъ случаѣ лишь временное культурное значеніе. Это и была та стихія, въ которую ввелъ Шварцъ своихъ «питомцевъ». То, что было достаточно для средняго интеллигента въ Германіи, конечно, оказалось болѣе чѣмъ достаточно для Россіи, гдѣ философское преподаваніе (въ академіяхъ) стояло еще на уровнѣ Аристотеля и Томы Аквинскаго, гдѣ даже Декартъ и Лейбницъ были еще контрабандой и только въ 1777 г. окончательно введенъ учебникъ философіи ученика Вольфа, Баумейстера. При такомъ уровнѣ философскихъ знаній, направленіе философскихъ статей «Вечерней Зари» было несомнѣннымъ и значительнымъ шагомъ впередъ, но при этомъ все же настолько скромнымъ, чтобы привлечь интересъ и симпатіи посланныхъ Шварцу академистовъ и семинаристовъ, не испугавъ ихъ начальства.

Каждая книжка «Вечерней Зари» начиналась одной или нѣсколькими статьями по философіи. Не трудно замѣтить, что статьи первыхъ восьми книжекъ составляютъ цѣлый философскій трактатъ, переведенный съ нѣмецкаго, причемъ, переводчикъ не понималъ основныхъ идей системы и потому часто путалъ термины («разумъ» и «разсудокъ»; «духъ» и «душа»). Мы предполагаемъ, что эти статьи принадлежатъ Шварцу; какъ бы то ни было, стоитъ остановиться подробнѣе на ихъ содержаніи, такъ какъ здѣсь мы встрѣчаемся съ цѣлымъ міровоззрѣніемъ, на которомъ могъ успокоиться русскій интеллигентъ, послѣ того, какъ старое міровоззрѣніе «естественнаго закона» (см. выше, систему Татищева) устарѣло въ его глазахъ. Авторъ статей начинаетъ съ доказательствъ безсмертія души, характернымъ образомъ обходя первую по порядку тогдашнюю тему, о существованіи Бога (двѣ статьи объ этомъ, одна компилятивная, другая изъ Локка — помѣщены въ журналѣ по окончаніи трактата). *Человѣкъ*, его психика и мораль — таковъ центральный пунктъ философіи автора. Въ доказательствахъ безсмертія нѣтъ ничего новаго; ихъ выборъ сдѣланъ по Мозесу Мендельсону; добавлено только въ концѣ любопытное соображеніе, что *выгоднѣе* вѣрить въ безсмертіе, даже если его нѣтъ, чѣмъ не вѣрить, если оно есть. Далѣе слѣдуютъ общія замѣчанія «о душѣ», въ которыхъ намѣчается точка зрѣнія и темы послѣдующаго изложенія. Эта точка зрѣнія окончательно выясняется въ двухъ дальнѣйшихъ статьяхъ.

Въ первой душа трактуется, какъ своего рода химическій, продуктъ явившійся результатомъ соединенія «духа» и «тѣла». Продуктъ соединенія есть нѣчто третье, новое: такъ: «сѣра и ртуть, будучи смѣшаны, производятъ нѣчто третье, а именно киноварь, имѣющую такія свойства, которыя не принадлежатъ ни къ одной киновари, ни къ одной ртути». Это «нѣчто новое» есть «натуральная жизнь» души со всѣми ея свойствами, какихъ не находилось ни въ «матеріи тѣлесной», ни въ «духѣ». Смотря по свойству матеріи, вошедшей въ составъ («огненной», «водяной» или «соляной»), варьируется и «естественный» характеръ души или «темпераментъ» (ср. «Оч.» II, стр. 279, изд. 3). По смерти человека «духъ» и «персть» возвращаются къ первобытной чистотѣ и отдѣльности; гибнетъ при этомъ только ихъ смѣсь—«тѣ свойства, которыя духъ заимствовалъ отъ матеріальной части», «подобно какъ ртуть по разрушеніи киноваря дѣлается опять чистою и настоящею ртутью». Однако, сдѣлать отсюда выводъ о гибели «души», т. е. противъ *личнаго* безсмертія авторъ, не рѣшается. Вопросъ о дальнѣйшемъ существованіи «души» по смерти онъ прямо признаетъ открытымъ.

Итакъ,* «человѣкъ состоитъ не изъ двухъ токмо существенныхъ частей, а изъ трехъ: тѣла, души и духа» *). Авторъ напрасно, конечно, считаетъ эту свою точку зрѣнія оригинальной. Таковъ былъ взглядъ Аристотеля и нѣкоторыхъ схоластиковъ. Дальнѣйшія доказательства взяты изъ Мендельсонова «Федона». Первое изъ нихъ «можно назвать аналогическимъ или почерпнутымъ изъ сходства вещей» въ разныхъ царствахъ природы. «Восходя по степенямъ тварей снизу кверху», мы найдемъ, что Творецъ «даровалъ каждому послѣдующему царству тварей не токмо матерію и основное вещество предыдущаго, но и всегда еще въ прибавленіе новую часть, собственно и существенно ему принадлежащую». Такъ, въ царствѣ растеній является сравнительно съ минералами новый элементъ «жизнь», а въ царствѣ животныхъ «душа» или «самопроизвольное движеніе». Впрочемъ, «вообще царство животныхъ въ толь тѣсномъ находится союзѣ съ царствомъ растеній, что испытатели естества спорятъ, гдѣ одно царство кончится, а другое начинается». Напримѣръ, «нельзя почти распознать» относительно полипа, «животное ли то, или растеніе». Человѣкъ «долженъ стоять на высшей степени: ему надлежитъ составлять совсѣмъ новый классъ и совсѣмъ новое царство тварей». Слѣдовательно, въ немъ должно заключаться и новое начало: *духъ* разумный и безсмертный. «Итакъ, человѣкъ принадлежитъ къ царству духовъ». «Какъ въ царствѣ животныхъ полипъ соединяетъ между собой царства животныхъ и растеній, такъ и человѣкъ соединяетъ царства животныхъ и духовъ. Въ царствѣ животныхъ находятся гораздо совершеннѣйшія животныя

*) Принадлежность Шварцу этой основной мысли всего трактата доказывается его собственными записями.

нежели полипы; а въ царствѣ духовъ гораздо совершеннѣйшіе духи, нежели человѣкъ». Такимъ образомъ, «религія посредствомъ сего положенія не только не приходитъ въ упадокъ, но паче въ большую силу и уваженіе». Другое доказательство троичности началъ въ человѣкѣ почерпывается изъ «Божественнаго откровенія», именно изъ сотворенія человѣка по образу и подобію Божію (т.-е. Св. Троицы).

Опредѣливъ такимъ образомъ душу, какъ смѣсь духа и вещества, временнаго и вѣчнаго, какъ «одушевленную матерію» (конечно, не въ смыслѣ матеріализма), авторъ пріобрѣтаетъ чрезвычайно удобную позицію для своего эклектизма. «Душа» является для него эмпирической сферой, къ которой онъ примѣняетъ генетическую точку зрѣнія новыхъ философовъ, а «духъ» — сферой трансцендентальной, своего рода «интеллигибельнымъ характеромъ». Все условное, измѣняющееся, развивающееся принадлежитъ болѣе узкой сферѣ «души». Въ этой сферѣ «духъ дѣйствуетъ только черезъ посредство чувственнаго опыта»; безъ него онъ «вовсе не показываетъ своего дѣйствія въ человѣкѣ». Опытъ, слѣдовательно, необходимъ, чтобы «духъ» могъ проявить себя въ «душѣ». Такимъ образомъ, авторъ можетъ дѣликомъ принять возраженія Локка противъ схоластическаго и картезіанскаго ученія о врожденныхъ идеяхъ. Содержимое «души» пусто, пока не наполнить ее опытъ и наблюденіе. Вслѣдъ за Локкомъ и сенсуалистами авторъ посредствомъ наблюденій надъ глухонѣмыми и надъ «людьми, кои выросли между животными», доказываетъ, что «размышленіе не необходимо сопряжено съ духомъ».

Болѣе широкая и безусловная сфера «духа» въ человѣкѣ есть «разумъ». Болѣе узкая эмпирическая сфера «души» есть «разсудокъ». «При разлученіи души съ тѣломъ и разсудокъ, какъ вещь происходящая изъ соединенія оныхъ, исчезаетъ; разумъ же съ душою (надо бы: «съ духомъ», такъ какъ вопросъ о безсмертіи «души» раньше оставленъ открытымъ) навсегда пребудетъ». Такимъ образомъ, разсудокъ подчиненъ законамъ «естественной жизни» и имѣетъ свою «естественную исторію», которую и изслѣдуетъ авторъ. Разсудокъ «не можетъ далѣе проникнуть, какъ только куда поведутъ чувства тѣлесныя». «Будучи оставленъ чувствами», онъ «странствуетъ одинъ въ весьма глубокой темнотѣ и доходитъ до границъ духовныхъ вещей, а пришедъ туда, либо совсѣмъ останавливается, или когда далѣе отваживается подходить, то заходитъ въ опасный лабиринтъ, гдѣ не имѣя ничего, что бы могло его остановить, ниспадаетъ въ пропасть, изъ которой выйти и попасть на истинный путь уже не можетъ, если не просвѣтится и не исправится чрезъестественнымъ свѣтомъ духа премудрости и откровенія».

Здѣсь, какъ видимъ, авторъ довольно близко подходитъ къ Канту, но только для того, чтобы тотчасъ же уйти отъ него очень далеко. Доказать несовершенство эмпирической сферы «души», постепенно эволюционирующей въ своемъ развитіи, ему нужно только для того, чтобы

сдѣлать отсюда *моральные* выводы, приводящіе читателя постепенно къ практической философіи масонства. Первое звено этихъ выводовъ состоитъ въ признаніи *необходимости несовершенства* и въ примиреніи его съ идеей божественнаго всемогущества. Такъ какъ естественная исторія души доказала, что «никакое конечное существо безъ достаточнаго времени не можетъ пріобрѣсти твердыхъ и сколько-нибудь обширныхъ познаній», и такъ какъ «совершенное блаженство предполагаетъ весьма пространныя знанія и великій навыкъ къ размышленію», то, «слѣдовательно, невозможно было Богу создать разумныхъ конечныхъ тварей, одаренныхъ всѣми познаніями, нужными къ совершенному блаженству». Этимъ же объясняется необходимость зла и страданій на землѣ, такъ какъ конечное существо не можетъ *сразу* согласить своихъ желаній съ законами вселенной и потому должно быть жертвой этого несоотвѣтствія. «Чѣмъ болѣе разумное существо успѣваетъ въ познаніи міра, тѣмъ менѣе оно подвергается обману въ ожиданіи того, что должно случаться, и менѣе желаетъ невозможныхъ вещей. Неудовольствія должны уменьшаться съ той же соразмѣрностью». Отсюда прямо вытекаетъ сократовскій выводъ, который авторъ противопоставляетъ Руссо и русскимъ «стародумамъ». Не только просвѣщеніе не вредитъ нравственности, но нравственность и состоитъ въ «истинномъ» просвѣщеніи. Достаточно *знать* пользу нравственности, чтобы практиковать ее и понять необходимость нравственнаго самосовершенствованія. Этотъ выводъ открываетъ человѣчеству тѣ безконечныя перспективы, которыя и составляли «утопію» Шварца. «Ежели міръ сей не безконеченъ, то возможно конечному существу дойти до такого совершенства, чтобы имѣть подробное понятіе о цѣломъ мірѣ (о «законахъ нравственнаго порядка, честности и доброты»), и тогда неудовольствія его должны совершенно исчезнуть». «Восхитительное зрѣлище, внушающее всякому мыслящему существу желаніе безсмертія!»

Мы понимаемъ теперь, почему уже «Московское изданіе» протестовало противъ того перенесенія золотого вѣка въ самое начало историческаго процесса, которое вытекало изъ понятія Руссо о «естественномъ состояніи». Золотой вѣкъ есть не начало, а цѣль и конечный пунктъ человѣческаго прогресса. Понятно также, какое огромное значеніе должна была имѣть въ глазахъ Шварца идея о постепенномъ воспитаніи человѣчества, уже пущенная въ литературный оборотъ Лессингомъ. Въ дальнѣйшихъ статьяхъ Шварцъ и обращается къ изученію *дѣйственныхъ* началъ въ человѣкѣ: воли и совѣсти, какъ главныхъ пружинъ самосовершенствованія и прогресса. Онъ и тутъ подчеркиваетъ, что велѣнія воли и совѣсти вовсе не категоричны и не ясны сами собой: та и другая могутъ и должны быть развиваемы и воспитываемы. «Воля сама по себѣ есть слѣпая сила», не могущая дѣйствовать цѣлесообразно безъ вмѣшательства «разсудка». *Совѣсть*, какъ «способность *судить* о нравственности дѣйствій», также не составляетъ чего-либо врожден-

наго, а пріобрѣтается «опытомъ и размышленіемъ»; какъ способность *дѣлать* добро, она есть продуктъ усилія, т.-е. воспитанія воли, безъ котораго не было бы ни заслуги, ни награды. Самое понятіе *добра* есть результатъ воспитанія воли и мысли. Только «физическое благо, общее человѣку съ животными, не требуетъ разсужденія»: «нравственнаго же добра хотимъ мы не по необходимости, но по свободному выбору». Какъ видимъ, идея свободы, въ противоположность Канту и Шопенгауэру, торжествуетъ у нашего автора не въ мірѣ умопостигаемомъ, а, наоборотъ, именно въ самой сферѣ явленій эмпирическаго сознанія, т.-е. тамъ, гдѣ она имѣетъ непосредственное практическое значеніе для религіи и морали. При этомъ условіи, ясно, какое значеніе имѣло для автора «познаніе самого себя». Разсужденіемъ объ этомъ основномъ догматѣ масонства онъ и заканчиваетъ свой замѣчательный трактатъ. Понятно также значеніе воспитанія юношества, о которомъ Шварцъ такъ заботился во всѣхъ своихъ учрежденіяхъ и которому посвятилъ особый трактатъ, напечатанный Новиковымъ уже послѣ его смерти (1783).

Мы не будемъ далѣе слѣдить за московской журналистикой. Только въ ближайшіе два года по смерти Шварца она еще держалась на высотѣ, достигнутой «Вечерней Зарей». «Прибавленія къ Московскимъ Вѣдомостямъ» живутъ матеріалами Шварца. «Покоящійся Трудолюбецъ», послѣднее въ серіи этихъ изданій (1784), прибѣгаетъ къ усиленію сатирическаго элемента. Затѣмъ, Новиковъ бросаетъ изданіе журналовъ, а въ рукахъ однихъ «питомцевъ» они сразу падаютъ, вызывая со стороны пріученныхъ уже къ нимъ читателей горькія жалобы на отсутствіе серьезныхъ статей.

Покойнаго энтузіаста замѣнить было некому. Послѣ его кончины, если не душой, то правой рукой кружка остался Новиковъ; и вмѣстѣ съ тѣмъ вся дѣятельность кружка принимаетъ совершенно иное направленіе. Новиковъ былъ полной противоположностью Шварцу по всему умственному складу. Соединенные не только единствомъ стремленій, но и тѣсной дружбой, оба эти вожака московской интеллигенціи не могли, однако, смотрѣть одними глазами на вещи и часто сталкивались во взглядахъ. Горячій и увлекающійся Шварцъ упрекалъ Новикова въ недостаткѣ энтузіазма. Практическій Новиковъ отвѣчалъ на это упреками въ излишней горячности. «Онъ подозрѣвалъ меня въ холодности къ масонству и ордену, потому что я, бывъ совершенно занятъ типографскими дѣлами, упражнялся въ томъ урывками; а я, вѣдая пылкость его характера и скорость, удерживалъ его, опасаясь, чтобы въ чемъ не проступиться, и съ великою осторожностью смотрѣлъ на все, что онъ дѣлалъ». Такъ говоритъ самъ Новиковъ. Въ результатѣ, между друзьями, по словамъ того же Новикова, «произошла нѣкоторая холодность и недовѣрчивость», продолжавшаяся до самой смерти Шварца. Легко было предвидѣть, какія перемѣны произойдутъ въ кружкѣ, когда

первая роль снова перейдетъ къ Новикову. Мистическія и химическія занятія, и прежде недоступныя друзьямъ, теперь были совершенно брошены. вмѣстѣ съ тѣмъ, отошли на второй планъ и совмѣстныя практическія упражненія въ филантропіи, съ цѣлью нравственнаго самоусовершенствованія. Сношенія съ иностранными масонами, на которыя и при Шварцѣ кружокъ смотрѣлъ косо и соглашался неохотно, стали еще рѣже, а вскорѣ и вовсе прекратились. Подобно Новикову, друзья очень недовѣрчиво относились къ высшимъ степенямъ масонства и сильно опасались, нѣтъ ли въ орденѣ чего-нибудь противнаго христіанскому ученію и государственной власти. Опасенія эти особенно усилились, когда въ 1785 году баварское правительство официально закрыло тайное общество иллюминатовъ, преслѣдовавшее, въ формахъ масонства, политическія цѣли. Московскіе масоны давно были предупреждены заграничными братьями о существованіи иллюминатовъ и получили совѣтъ избѣгать сношеній съ ними. Теперь, «по причинѣ великаго распространенія и пронырствъ иллюминатовъ», на все масонство наложено было (съ 1787) «молчаніе» или «бездѣйствіе». Надо сказать, что уже въ 1783 году масонскія собранія въ кружкѣ фактически прекратились, а лично Новиковъ «по типографскимъ дѣламъ и заботамъ» давно уже не собиралъ порученныхъ его наблюденію братьевъ. Съ 1786 года дѣятельность масонства была и формально приостановлена. Въ этомъ году масонскія ложи въ Москвѣ были «разорены», по приказанію императрицы. Все это, вмѣстѣ взятое, совершенно остановило собственно масонскую дѣятельность кружка. Зато Новиковъ направилъ «работы» кружка на новую и гораздо болѣе плодотворную дорогу.

За мѣсяцъ до смерти Шварца (15-го января 1782 г.) появился знаменитый указъ, разрѣшавшій всякому желающему заводить частныя типографіи. Теперь, наконецъ, «пришелъ часъ» для Новикова—пустить полнымъ ходомъ задуманное еще въ «Живописцѣ» (см. выше) предпріятіе. Для выполненія своей идеи, какъ мы знаемъ, онъ уже не мало сдѣлалъ. Число подписчиковъ «Московскихъ Вѣдомостей» поднялось за время его завѣдованія университетской типографіей съ 800 до 4.000. Масса книгъ была уже напечатана, завязаны сношенія съ книгопродавцами, заведены комиссіонеры и въ провіанціи. Расширеніе всѣхъ этихъ предпріятій съ помощью вольныхъ типографій обѣщало, не говоря уже объ идейномъ значеніи дѣла, вѣрную коммерческую выгоду. Новиковъ убѣдилъ друзей широко воспользоваться правительственнымъ указомъ. Такимъ образомъ, кружокъ московскихъ розенкрейцеровъ перешелъ къ издательской дѣятельности въ широкихъ, до тѣхъ поръ небывалыхъ размѣрахъ. Каждый изъ членовъ кружка внесъ болѣе или менѣе значительный пай, и «Дружеское ученое общество» превратилось въ 1784 г. въ акціонерную «Типографскую ком-

панію». Капиталъ компаніи считался теперь уже не десятками, а сотнями тысячъ; компанія приобрѣла нѣсколько домовъ, имѣла свою аптеку. Масонскій характеръ кружка сохранился въ выборѣ для изданія книгъ преимущественно правоучительнаго содержанія. Но собственно масонскія, мистическія книги издавались компаніей въ очень ограниченномъ количествѣ и предназначались не для продажи, а для тѣснаго круга посвященныхъ. Зато уже изъ чисто коммерческихъ соображеній типографіи Новикова и компаніи печатали также и книги, не имѣвшія ни малѣйшаго отношенія ни къ масовству, ни къ нравственному просвѣщенію въ масонскомъ смыслѣ. Чѣмъ дальше, тѣмъ больше предпріятіе компаніи принимало общій просвѣтительный характеръ. Общее количество книгъ, выпущенныхъ Новиковымъ на книжный рынокъ, достигло цифры около 440. Чтобы познать значеніе этой цифры, надо припомнить, что въ единственной московской книжной лавкѣ 1768 г. (при университетѣ) продавалось (по каталогу) всего 168 названій книгъ; въ книжной лавкѣ Миллера передъ переходомъ университетской типографіи въ аренду къ Новикову (1776 г.), 438 названій, а передъ началомъ дѣятельности «типографической компаніи» (1782 г.) въ университетской лавкѣ—576 книгъ. Такимъ образомъ, Новиковъ болѣе чѣмъ удвоилъ количество находившихся до него въ продажѣ книгъ, не говоря уже о лучшемъ качествѣ книжнаго товара пущеннаго имъ въ оборотъ. Организаторомъ же книжной торговли въ провинціи онъ явился первый. Въ основу для книжнаго комиссіонерства въ провинціи были положены связи съ провинціальными масонскими ложами, какъ совершенно вѣрно замѣтила Екатерина—говоря, что «братья» развозятъ новиковскія книги по Россіи. Но Новиковъ и помимо масонскихъ связей не упускалъ случая завести себѣ новаго комиссіонера, какъ это испыталъ на себѣ Болотовъ. Въ Ярославлѣ, Смоленскѣ, Вологдѣ, Твери, Казани, Тулѣ, Богородицкѣ, Глуховѣ, Кіевѣ можно было получить книги новиковскаго изданія; а, «если кому угодно будетъ продажу сихъ книгъ учредить и въ другихъ городахъ Россійской имперіи», объявлялъ онъ, «таковыя могутъ адресоваться письменно или самолично въ книжную лавку, гдѣ всевозможное къ тому вспомошествованіе оказано будетъ, ибо въ оной принято намѣреніе доставить почтеннымъ любителямъ россійской литературы всевозможную способность въ сообщеніи и всевозможныя выгоды въ цѣнахъ книгъ».

Наиболѣе эффектный актъ общественной дѣятельности московскаго кружка былъ, однако, еще впереди. Это было въ голодный 1787 г. Нарисованная Новиковымъ картина народнаго бѣдствія вызвала щедрую помощь друзей (въ томъ числѣ около 50.000 тогдашнихъ рублей со стороны одного московскаго богача, Походяшина). Новиковъ на эти деньги организовалъ въ широкихъ размѣрахъ раздачу хлѣба въ Москвѣ

и въ окрестностяхъ своей подмосковной деревни. Помощью воспользовались тамъ до 100 казенныхъ и помѣщичьихъ селеній. Возвращаемый крестьянами хлѣбъ и деньги рѣшено было употребить на устройство постояннаго хлѣбнаго магазина, къ чему и приступилъ немедленно Новиковъ. Этотъ случай показалъ, что можетъ сдѣлать нравственное вліяніе Новикова, въ связи съ дѣловой организаціей, какую принялъ кружокъ по смерти Шварца. Помощь голодающимъ въ 1787 г. уже не походила на тѣ добровольные сборы въ кружку, какіе дѣлались на засѣданіяхъ «Дружескаго общества» въ началѣ 1780-хъ гг., и организація помощи не походила на тѣ розыски отдѣльныхъ бѣдняковъ, которые предпринимались друзьями для упражненія въ филантропіи и для цѣлей личнаго совершенствованія. На частномъ примѣрѣ теперь стало ясно для всѣхъ, какое значеніе имѣла въ Москвѣ «шайка» Новикова.

Голодъ 1787 г. былъ высшей точкой дѣятельности московскихъ мартинистовъ; но онъ же сдѣлался и началомъ ихъ бѣдствій. Масонство было терпимо, пока высокопоставленные лица занимались имъ для собственнаго развлеченія и забавлялись имъ, «какъ игрушкой». На масонство не обращали особеннаго вниманія и тогда, когда оно обратилось къ работѣ внутренняго самоусовершенствованія и къ тайственнымъ алхимическимъ занятіямъ. Но масонство, какъ частное общество съ задачами общественнаго характера, какъ организованная общественная сила, располагавшая крупными денежными средствами, распространявшая черезъ своихъ членовъ «сскровенныя книги отъ Риги до донскихъ станицъ», сильная своимъ вліяніемъ на общество и крѣпкая внутренними убѣжденіями,—это масонство было явленіемъ неслыханнымъ въ русской жизни. Оно занимало слишкомъ видную позицію, чтобы можно было дольше его игнорировать.

Императрица попыталась сперва бороться съ новымъ общественнымъ движеніемъ старыми средствами. Въ 1780 г. поступила въ продажу анонимная брошюрка, осмѣивавшая масоновъ («Тайна противонелѣпаго общества»). Авторомъ брошюры, вѣроятно, была императрица. Согласно рецепту, данному еще во «Всеякой Всячинѣ», Екатерина пробуетъ здѣсь побѣдить общественное мнѣніе смѣхомъ. Масонство для нея просто «болтанье и дѣтскія игрушки»; противъ него, какъ противъ дѣтскихъ шалостей, нужна лишь розга. Возможно, что Екатерина въ этотъ моментъ добросовѣстно заблуждалась, видя въ масонствѣ одно шарлатанство, игру въ обряды и не замѣчая его моралистическаго міросозерданія. Масонскаго мистицизма она просто не могла понять: для ученицы Вольтера это было оскорбленіемъ философіи и здраваго смысла. Часто справляясь съ «Энциклопедіей», она нашла тамъ мѣсто, гдѣ говорилось, что «теософамъ удалось бы потушить духъ изслѣдованія и открытій и снова погрузить насъ въ варварство, если бы пра-

вительство ихъ поддерживало, какъ они того желаютъ». Отсюда, конечно, далеко еще было до преслѣдованія масонства, какъ и намекалъ Екатеринѣ философъ Циммерманъ, одинъ изъ ея корреспондентовъ. Однако, когда организовалась «Типографическая компанія» и когда на Западѣ иллюминаты были оффициально признаны вредной политической организаціей, Екатерина рѣшилась выступить открыто противъ масонства. Въ это время были, какъ мы видѣли, «разорены» по ея приказанію московскія ложи. Но въ то же время Екатерина не теряла еще надежды настроить противъ масонства само общественное мнѣніе. Въ январѣ, февралѣ и іюлѣ 1786 г. на эрмитажномъ театрѣ были поставлены три комедіи императрицы, грубовато осмѣивавшія «мартышекъ» и извѣстнаго шарлатана Каліостро («Обманщикъ», «Обольщенный» и «Шаманъ Сибирскій»). Двѣнадцать лѣтъ Екатерина не писала комедій; и три комедіи заразъ, послѣ такого долгаго промежутка, свидѣтельствуютъ о сильномъ впечатлѣніи, произведенномъ на Екатерину дѣятельностью московскихъ мартинистовъ. «Надо было помять бока ясновидцамъ, которые очень ужъ стали задирать носъ», признается она въ письмѣ къ Гримму. Разсчетъ императрицы, однако, оказался ошибочнымъ. Побѣда въ литературномъ состязаніи, какъ мы знаемъ, и въ 60-хъ гг. осталась не за ней. Теперь конечно, на оффициальную сатиру уже нельзя было отвѣчать неоффициальной. Но скоро Екатерина должна была убѣдиться, что съ «политическими вѣтрыными мельницами» бороться не такъ легко и что она не только въ Россіи, но и въ Европѣ идетъ противъ теченія. Безполезно было стараться остановить время и сослаться на то, что когда-то, въ 1740 году, въ годы ея воспитанія, даже «наименѣе философскія головы считали нужнымъ притворяться философами» и что ея пьесы построены на статьѣ «Энциклопедіи» (резюме которой, приведенное выше, она дѣйствительно выписала въ своихъ наброскахъ для «Шамана Сибирскаго»). Дворъ, конечно, рукоплескалъ автору комедій, и Екатерина въ своихъ письмахъ трубила о ихъ огромномъ успѣхѣ. Петербургская пресса по данному сигналу принялась осыпать мартинистовъ насмѣшками и порицаніями. Но въ Москвѣ печать угрюмо отмалчивалась. Можетъ быть, не безъ вліянія этой пассивной оппозиціи нервныя нотки прорываются все чаще и рѣзче въ пьесахъ Екатерины. Она начинаетъ наконецъ признавать, что шарлатанство и мода не исчерпываютъ всего смысла движенія; что масонская литература оказываетъ сильное умственное вліяніе, которое Екатерина не можетъ не считать вреднымъ. Но и нападками на это умственное вліяніе, на тарабарщину мистическихъ книгъ, ея сатира не ограничивается. У ней прорывается въ концѣ концовъ, настоящій и главный мотивъ: раздраженіе противъ общественной дѣятельности московскаго кружка. «Они въ намѣреніи имѣютъ потаенно заводить благотворительныя разныя заведенія, какъ-то: школы,

больницы и т. п., и для того стараются привлекать къ себѣ людей богатыхъ...; дѣла такого рода на что производить сокровенно, когда благимъ узаконеніемъ открыты всевозможныя у насъ къ такимъ установленіямъ удобства?»

Вотъ гдѣ основная причина недовольства Екатерины. Масонство есть независимая отъ ея контроля и вліянія просвѣтительная сила. Такая сила есть врагъ, съ которымъ необходимо бороться серьезно. Циммерманъ спѣшилъ напередъ похвалить Екатерину за то, что въ этой борьбѣ она останется исключительно на почвѣ литературной, что «вмѣсто всякаго законодательства она противопоставитъ заблуждающимся хорошую труппу комедіантовъ». Очевидно, при чтеніи посланныхъ ему пьесъ онъ уже замѣтилъ, что этимъ дѣло можетъ не ограничиться. Въ послѣдней изъ нихъ, отъ безсильнаго смѣха и вышучиванія Екатерина прямо перешла къ угрозамъ. «Какъ свѣдаютъ доподлинно, колико его ученіе не сходствуетъ съ общимъ установленіемъ, то достанется и тому, кто привезъ лжеучителя»... «совѣтую тебѣ дружески: поѣзжай, братъ, въ деревню... хотя на время».

Послѣ разоренія московскихъ ложъ, кружокъ друзей буквально послѣдовалъ совѣту Екатерины. По донесенію московскаго главнокомандующаго, съ этихъ поръ «партія Новикова собирается приватно, чего и запретить невозможно, въ видѣ пріятельскаго посѣщенія, внѣ Москвы, у кн. Н. Н. Трубецкаго въ деревнѣ, называемой Очакова». Запретить это, дѣйствительно, было трудно. *Лишь* Екатерина пока оставила въ покоѣ, но на ихъ *дѣло* уже въ 1787 года она наложила свою руку. Старый покровитель масоновъ, гр. Зах. Чернышевъ, въ то время уже нѣсколько лѣтъ какъ умеръ (1784); его замѣнилъ нарочно выбранный Екатериной суровый, надменный графъ Брюсъ. Екатерина, очевидно хотѣла смирить строптивую Москву. Идя ей навстрѣчу, такіе видные масоны, какъ Тургеневъ, Гамалѣя, Лопухинъ оставили государственную службу. Вслѣдъ затѣмъ Брюсу предписано было обрѣзывать московскія школы и обратить особое вниманіе на направленіе, въ какомъ преподается Законъ Божій. Черезъ два съ половиной мѣсяца Брюсъ долженъ былъ составить описи «странныхъ» книгъ, печатавшихся у Новикова, и отправить ихъ для разсмотрѣнія Платону, который долженъ былъ также испытать Новикова въ Законѣ Божіемъ. Извѣстно, что и здѣсь Екатерина не встрѣтила поддержки. Отвѣтъ Платона былъ прямо тенденціозенъ. Онъ отвѣчалъ императрицѣ, — какъ отвѣтилъ бы и самъ Новиковъ, — что онъ знаетъ только однѣ книги, развращающія нравы и подрывающія религіозныя чувствованія—это «гнусныя и юродивыя порожденія энциклопедистовъ», которыя, дѣйствительно, «слѣдуетъ исторгать, какъ пагубныя плева». Еще разъ императрица должна была убѣдиться, что она имѣетъ противъ себя серьезную, тѣсно сплоченную и независимую группу

людей. Между тѣмъ, обстоятельства складывались такъ, что все, что было враждебнаго Екатеринѣ въ Россіи и за границей,—все это принимало печать масонства. Съ началомъ второй турецкой войны (1787) испортились наши отношенія къ Пруссіи и Швеціи. Но государи обѣихъ странъ сильно покровительствовали масонамъ, и съ масонами прусскими и шведскими у русскихъ масоновъ въ разное время существовали прямыя сношенія. Внутри самой страны имя наследника Павла постоянно связывалось съ оппозиціонными толками; между тѣмъ, у масоновъ съ наследникомъ тоже завязались сношенія, положимъ довольно невинныя. Какъ бы то ни было, Потемкинъ, по словамъ Лопухина, воспользовался слухами объ этихъ сношеніяхъ, чтобы окончательно погубить масоновъ, а себя представить въ роли спасителя престола. По вѣрному замѣчанію Лопухина, держать постоянно въ страхѣ императрицу прямо входило въ интересы Потемкина, для поддержанія личнаго положенія. На этотъ разъ, впрочемъ, явилось и объективное основаніе для всевозможныхъ опасеній. Этимъ основаніемъ послужила конспиративная дѣятельность иллюминатовъ, съ которыми смѣшивали намѣренно или ненамѣренно русскихъ масоновъ. Всего этого было болѣе чѣмъ достаточно, чтобы подготовить императрицу къ самымъ крайнимъ мѣрамъ противъ масонства. Остальное додѣлали слухи, одинъ другого нехлѣбѣе. Благотворительная дѣятельность мартинистовъ во время голода 1787 какъ разъ совпала съ блестящей поѣздкой Екатерины въ Крымъ, долженствовавшей служить выставкой всеобщаго благополучія въ имперіи. Контрастъ былъ слишкомъ разителенъ. Недоброжелателямъ мартинистовъ легко было установить мнѣніе, что Новиковъ дѣйствуетъ съ намѣреніемъ и, очевидно, хочетъ привлечь на свою сторону низшіе классы народа. Павла сдѣлаютъ главой русскаго масонства и помогутъ ему, опираясь на общее недовольство, взойти на престолъ. Екатерину устранить, какъ устранила она Петра III. Откуда возьмутъ средства для всего этого? И тутъ отвѣтъ былъ готовый. Очевидно, масоны дѣлаютъ фальшивыя ассигнаціи.

Какъ видимъ, тучи сгустились надъ кружкомъ, и гроза готова была разразиться. Запрещеніемъ печатать духовныя книги и наблюденіемъ за продажей книгъ по городамъ на ярмаркахъ дѣло не могло ограничиться. Таково было общее положеніе, когда началась французская революція. Ея послѣдствія по отношенію къ общественному движенію въ Россіи мы увидимъ въ слѣдующей главѣ.

Статистическія данныя о книгоиздательствѣ XVIII вѣка см. въ книгѣ *Пекарскаго*, Наука и литература въ Россіи при Петрѣ Великомъ, т. II, Спб. 1862, и въ брошюрѣ *В. В. Сиповскаго*. Изъ исторіи русской литературы XVIII вѣка, I—II, Спб. 1901 (изъ Извѣстій Отд. русск. яз. и слов. Им. Ак. Наукъ, т. VI, кн. 1). О

докладъ Мелиссино см. *Θ. В. Благовидова*, Оберъ-прокуроры св. Синода въ XVIII в., Казань, 1900. Важнѣйшія сочиненія о масонствѣ: *М. Н. Лонгиновъ*, Новиковъ и московскіе мартинисты, Мск. 1867. *С. В. Ешевскій*, «Нѣсколько замѣчаній о Новиковѣ» и «Московскіе масоны» въ «Русскомъ Вѣстникѣ», 1857 и 1864—1865; въ Собраніи сочиненій, изд. 1870, т. III и въ «Сочиненіяхъ по русской исторіи». Мск. 1900. *Н. С. Тихомировъ*, біографіи Новикова и Шварца и «Новыя свѣдѣнія о Новиковѣ» въ Сочиненіяхъ, т. III, ч. 1 и 2, Мск. 1898. *А. Н. Пыпинъ*, Русское масонство, «Вѣстн. Евр.», 1867, т. II—IV; Русское масонство до Новикова, «В. Е.». 1868, іюнь и іюль; Матеріалы для исторіи масонскихъ ложъ, «В. Е.» 1872, январь. *П. Пекарскій*, Дополненія къ исторіи масонства въ Россіи въ Сбор. рус. отд. Ак. Наукъ, т. VII, № 4, Спб. 1869. (Здѣсь также хронологическій перечень фактовъ и бібліографія). «Повѣсть о самомъ себѣ» Елагина напечатана въ «Русск. Архивѣ». 1864. Записки *И. В. Лопухина* въ Чтеніяхъ О. И. и Др. Росс. 1860 и въ Русскомъ Архивѣ, 1884. О журналахъ Новикова см. *А. Незеленова*, *Н. И. Новиковъ*, Спб. 1875: книга, интересная выписками, но почти всегда неудачная по выводамъ. О философскомъ преподаваніи въ академіяхъ см. *С. Смирнова*, Исторія московской славяно-греко-латинской академіи, Мск. 1855, и Біографія *А. И. Кошелева* (Клюпанова), т. I, кн. I, Мск. 1889. О параллельныхъ явленіяхъ западной литературы см. *Геттнера*, Исторія литературы XVIII столѣтія, т. III и *М. Н. Розанова*. Поэтъ періода бурныхъ стремленій Яковъ Ленцъ, Мск. 1901. Объ отношеніи Екатерины къ мартинистамъ, см. брошюру *А. В. Себеки*: русскіе розенкрейцеры и сочиненія имп. Е. противъ масонства, Спб. 1902. Здѣсь также свѣдѣнія о рукописяхъ Шварца, подтверждающія нашъ выводъ о принадлежности ему статей въ «Вечерней Зарѣ». Ср. также выписки въ книгѣ *Незеленова*, Литературныя направленія Екатерининской эпохи, Спб. 1889. Тексты пьесъ Екатерины см. въ Сочиненіяхъ имп. Екатерины II съ примѣчаніями *А. Н. Пыпина*, академическое изданіе, т. I, Спб. 1901.

VII.

Градація предреволюціоннаго настроенія во Франціи.—Отраженіе его въ различныхъ кругахъ русскаго общества.—Отношеніе молодежи и читающей публики.—Философскія и политическія идеи лейпцигскаго кружка.—Вліяніе нѣмецкой университетской философіи и французскаго матеріализма и сенсуализма. Эклектицизмъ кружка.—Источники трактата о смертности и безсмертіи и неодинаковое отношеніе къ нимъ Радищева.—Вліяніе политической жизни Запада; первая борьба.—Отношеніе къ Маблі.—Настроеніе при возвращеніи домой и послѣ.—Связь Путешествія Радищева съ настроеніемъ 80-хъ годовъ.—«Законность»—основной критерій «Путешествія»; безправіе—главное зло русской жизни.—Обращеніе къ престолу. Царь и «истина» (сонъ). Свобода слова.—Проектъ соціальной реформы (крестьянство и чины), вложенный въ уста потомка Екатерины.—Отдаленныя перспективы и ода.—Пріемъ книги публикой и отношеніе Екатерины.—Отношеніе Екатерины къ Франціи, двору до революціи; ея первые сужденія о волненіи умовъ во Франціи.—Перемена тона послѣ 14-го іюля.—Тревога по поводу радищевской книги, какъ проявленія московскаго оппозиціоннаго духа.—Приговоръ и произведенное имъ впечатлѣніе.—Новыя впечатлѣнія революціи; попытки воздѣйствовать на нее и эксплуатировать въ свою пользу.—Нервное настроеніе; слухи объ атентатахъ; разгромъ московскихъ мартинистовъ.—Мѣры противъ «французской заразы».—Ода Карамзина; новое настроеніе.—Русская сцена, какъ выраженіе настроенія средней публики.—Народный элементъ пьесъ: отношеніе театра къ народу.—Націоналистическіе элементы въ комедіи.—Отрицательные типы комедіи и ихъ отношеніе къ типамъ сатиры и къ дѣйствительной жизни.—Положительные типы: отсутствіе между ними представителей передовыхъ теченій; разница передовыхъ взглядовъ и резонерской морали.—Взглядъ на заграничное путешествіе.—Попытки націоналистической теоріи.—«Антидотъ» Екатерины.—Колебанія Щербатова.—Теорія Болтина и ея преимущества передъ націонализмомъ.

Съ тѣхъ поръ, какъ «философамъ» просвѣтительнаго вѣка удалось добиться первой крупной общественной побѣды,—отмѣны ордена іезуитовъ во Франціи (1762), *религіозная* цѣль поднятаго ими движенія казалась въ главномъ достигнутой. Общественный интересъ обратился окончательно отъ вопросовъ терпимости и свободы мысли—къ вопросамъ *соціальнымъ* и *политическимъ*. Въѣстѣ съ тѣмъ, и вліяніе на общественное мнѣніе перешло въ другія руки. Мы говорили раньше, какъ уже съ середины XVIII вѣка на помощь Вольтеру явились *энциклопедисты*, значительно поднявшіе тонъ движенія и увлекшіе за собой самого Вольтера и «вольтеріанцевъ», включая и Екатерину II.

Съ 1767 года на смѣну «энциклопедистовъ» являются *экономисты*, теоретики новаго, болѣе справедливаго распредѣленія общественныхъ тягостей. По установившейся традиціи, эти новые вожди общественнаго мнѣнія еще посылали Екатеринѣ свои сочиненія, но ихъ она уже рѣшительно не любила и читала только по особой рекомендаціи. Однако, и на этой стадіи—движеніе не остановилось. Послѣ принципіальнаго столкновенія короля съ парламентомъ (1771) и «экономисты» были отодвинуты на второй планъ. Общественнымъ мнѣніемъ завладѣли *патріоты*. Это было новое наводненіе брошюръ и памфлетовъ—на этотъ разъ вовсе не могшихъ рассчитывать на одобреніе и сочувствіе Екатерины и оставшихся ей совершенно неизвѣстными. Въ противоположность теоріи божественнаго права, выдвинутой королемъ въ его законодательномъ эдиктѣ, эти памфлеты дѣлали новые выводы изъ старой теоріи естественнаго права,—выводы Руссо и *Contrat social*. Верховенство принадлежитъ не одному человѣку, а цѣлой націи,—не только *до* созданія государства, но и *послѣ* избранія народомъ властей,—для контроля надъ ними. Законодательная власть не можетъ принадлежать *одному* королю, а принадлежитъ ему *вмѣстѣ* съ народными представителями. Если акты королевской воли нарушаютъ основныя законы государства, то эти акты не могутъ имѣть юридической силы. Противъ нихъ нація имѣетъ «право сопротивленія»,—право, примѣненное уже англичанами въ ихъ «мирной» революціи 1688 г. и съ тѣхъ поръ поставленное въ правовомъ сознаніи Европы прочно и неизблемо на мѣсто всѣхъ «ложныхъ идей о пассивномъ повиновеніи, о божественномъ правѣ» и т. д.

Такимъ образомъ, общее настроеніе умовъ сдѣлалось «революціоннымъ до революціи». Уже въ 1768 году близкій въ послѣдствіи къ Екатеринѣ писатель, Гриммъ характеризовалъ это настроеніе, какъ безпокойное броженіе, напоминающее эпоху реформаціи и «предвѣщающее неизбежное наступленіе революціи», очагомъ которой будетъ Франція и которая «будетъ имѣть передъ прежними то преимущество, что осуществится безъ пролитія крови» Въ первые мѣсяцы Людовика XVI (августъ, 1774) тотъ же Гриммъ, уже не столько съ сочувствіемъ, сколько съ ироніей замѣчаетъ, что «теперь нѣтъ такого школьника, который бы не проектировалъ, едва сойдя со школьной скамейки, новой системы государственнаго устройства; нѣтъ писателя, который бы не считалъ себя обязаннымъ внушить земнымъ властямъ, какъ имъ лучше всего управлять своимъ государствомъ».

Гриммъ не ошибался, сравнивъ съ реформаціей новое движеніе, «очагомъ котораго была Франція», но которое уже въ подготовительной своей стадіи сдѣлалось такимъ же космополитичнымъ, какъ французскій языкъ и французскія моды. Не было, казалось, такого захолустнаго уголка въ Европѣ, гдѣ изумительныя событія, начавшіяся въ Парижѣ въ 1789 году, не всколыхнули бы умовъ, не вызвали бы го-

рячаго отклика въ сердцахъ. Но не было также въ Европѣ страны, которая была бы лучше застрахована отъ дѣйствительнаго вліянія революціонныхъ идей на жизнь, чѣмъ Россія, — Россія, только что достигшая вульминаціоннаго пункта въ развитіи тѣхъ самыхъ рабовладѣльческихъ отношеній и сословныхъ привилегій, которымъ былъ нанесенъ этими идеями такой рѣшительный ударъ.

Императрица и русскіе дипломаты не упускали случая указать за-границей на это особенное положеніе Россіи. «Одни мы, изъ всѣхъ державъ, можемъ не бояться французской революціи и не бороться съ ней по отношенію къ нашимъ подданнымъ», говорилъ Марковъ прусскому посланнику. И сама Екатерина, еще послѣ казни короля (апрѣль, 1793), доказывала англійскому королю безкорыстіе своей политики тѣмъ, что Россія, отдаленная отъ Франціи огромнымъ разстояніемъ, не можетъ быть охвачена этой заразой. Сами про себя, однако, и императрица, и дипломаты думали совершенно иначе. Вотъ, напр., полугнѣвная, полуиспуганная тирада нашего посла въ Лондонѣ, Семена Воронцова, въ интимномъ письмѣ къ брату Александру (2-го дек. 1792 г.): «Я вамъ говорилъ: это борьба не на животъ, а на смерть между имущими классами и тѣми, кто ничего не имѣетъ. И такъ какъ первыхъ гораздо меньше, то, въ концѣ концовъ, они должны быть побѣждены. Зараза будетъ повсемѣстной. Наша отдаленность насъ предохранитъ на нѣкоторое время: мы будемъ послѣдніе.—но и мы будемъ жертвами этой эпидеміи. Вы и я, мы ея не увидимъ; но мой сынъ увидитъ. Я рѣшилъ научить его какому-нибудь ремеслу, слесарному что ли или столярному: когда его вассалы ему скажутъ, что онъ имъ больше не нуженъ и что они хотятъ подѣлить между собой его земли,—пусть онъ, по крайней мѣрѣ будетъ въ состояніи зарабатывать хлѣбъ собственнымъ трудомъ и имѣть честь сдѣлаться членомъ будущаго муниципалитета въ Пензѣ или въ Дмитровѣ. Эти ремесла ему больше пригодятся, чѣмъ греческій, латинскій и математика!»

Мы скоро увидимъ, что и Екатерина далеко не спокойно относилась къ возможности вліянія революціонныхъ идей на Россію. Но какія же реальныя, объективныя основанія были для всѣхъ подобныхъ опасеній?

Здѣсь нельзя, прежде всего, не вспомнить знаменитаго мѣста мемуаровъ Сегюра, которое такъ часто цитировалось и толковалось историками. Рѣчь идетъ о впечатлѣніи, произведенномъ въ Петербургѣ взятіемъ Бастиліи. «Новость быстро распространилась, и была принята различно, смотря по положенію и настроенію cadaго. При дворѣ она вызвала сильное волненіе и общее неудовольствіе. Въ городѣ впечатлѣніе было совершенно обратное, и хотя Бастилія не грозила никому изъ жителей Петербурга, я не могу передать энтузіазма, вызваннаго среди негоціантовъ, купцовъ, мѣщанъ (*les bourgeois*) и нѣсколькихъ молодыхъ людей изъ болѣе высокаго класса паденіемъ этой государственной

тюрьмы, этимъ первымъ триумфомъ бурной свободы. Французы, русскіе датчане, нѣмцы, англичане, голландцы, всѣ, посреди улицы, поздравляли другъ друга, обнимались, точно ихъ избавили отъ тяжелой цѣпи, сковывавшей ихъ самихъ. Это увлеченіе (*folie*), которому я самъ едва вѣрю теперь, рассказывая это, продолжалось очень недолго. Страхъ скоро погасилъ первую вспышку. Петербургъ не былъ ареной, на которой можно было безопасно обнаруживать подобныя чувства».

Должны ли мы вѣрить тому, чему почти отказывается вѣрить очевидецъ этихъ событій,—очевидецъ сильно предубѣжденный въ пользу того впечатлѣнія, о которомъ рассказываетъ? Мы думаемъ, что скептицизмъ историковъ по отношенію къ свидѣтельству Сегюра едва ли былъ вполне основательнымъ. Конечно, по словамъ самого Сегюра, радовались, прежде всего, *иностранцы*. Мы знаемъ, что ихъ было не мало въ Петербургѣ: когда Екатерина заставила впоследствии французъ принести антиреволюціонную присягу (стр. 406), ихъ однихъ оказалось до полутора тысячъ. Но, разумѣется, не изъ однихъ иностранцевъ состояла та группа *горожанъ и купечества*, объ особомъ интересѣ которой къ парижскимъ событіямъ Сегюръ считаетъ нужнымъ спеціально упомянуть. Изъ того, что мы уже знаемъ, мы можемъ извлечь не мало подтвержденій въ пользу того же самаго наблюденія. Припомнимъ оппозиціонную роль городскихъ депутатовъ въ Комиссіи. Припомнимъ, что сама Екатерина характеризовала ихъ настроеніе, какъ стремленіе къ «свободѣ». Припомнимъ, что именно въ эту среду направлены были всѣ просвѣтительныя усилія маленькаго ядра нашей тогдашней интеллигенціи. Что эти усилія не остались безъ результатовъ,—объ этомъ можетъ свидѣтельствовать одно любопытное показаніе «Почты Духовъ», сатирическаго журнала, выходившаго какъ разъ въ одинъ годъ съ началомъ революціи (1789). «Какъ,—спросилъ я,—кто-жъ у васъ читаетъ Платоновы сочиненія о должностяхъ: Наставленіе политикамъ, О состояніи земледѣльцевъ и О званіи вельможъ? Купцы и мѣщане,—отвѣчалъ авторъ; а вельможи читаютъ веселыя сказки, дѣтскія выдумки и шутливыя басни» *). Пусть это свидѣтельство нѣсколько тенденціозно,—можетъ быть даже неоригинально; во всякомъ случаѣ, характерна самая тенденція. Мы знаемъ и отъ Новикова, что «господчики» изъ *высшаго* класса предпочитали французскія книги русскимъ (см. выше), и мы можемъ предположить, какого рода книги это были. Исключеніе, конечно, надо сдѣлать,—для очень небольшого числа высокопоставленныхъ фамилій, дѣти которыхъ воспитывались на серьезной французской литературѣ хорошими педагогами. Въ этой тѣсной общественной группѣ иногда тоже воспитывалось чувство сво-

*) Цитата взята какъ разъ изъ статьи, отъ которой потомъ косвенно отрекся Крыловъ, напечатавъ противъ нея возраженіе: такимъ образомъ, если участіе Радищева въ журналѣ будетъ доказано, статья можетъ оказаться принадлежащей ему (не переводной ли?).

боды; они тоже иногда негодовали на произволъ: но ихъ негодованіе было совсѣмъ особаго свойства. Маленькая бытовая сценка изъ жизни этой золотой молодежи Петербурга намъ это покажетъ лучше длиннаго разсужденія. Le charmant prince Boris Golitsine ввелъ новую моду на галстуки выше подбородка и шляпы конической формы. Это былъ «якобинскій» покрѣй, и императрица его строго запретила. «Но наши молодые люди, несмотря на (вторичное) запрещеніе, одѣваются по прежнему, и когда, въ послѣднее воскресеніе, графиня Салтыкова хотѣла призвать своего племянника къ благоразумію, онъ такъ громко сталъ кричать о свободѣ, что она убѣжала со всѣхъ ногъ,—со страху не кроется ли въ семьѣ Голицыныхъ зерно какой-нибудь революціи»

Если даже воспитательное вліяніе западной литературы шло иногда глубже у членовъ этой правящей группы, то результаты его рѣдко оказывались благопріятными для самыхъ идей запада. Здѣсь, въ этомъ общественномъ слоѣ, привыкшемъ стоять близко къ власти, чаще всего и прочнѣе всего прививались идеи національнаго самовозвеличенія, такъ тѣсно связанныя съ направленіемъ внѣшней политики Екатерины. Отсюда выходили такіе типичные націоналисты и враги запада, какъ Ростопчинъ или Семенъ Воронцовъ. Конечно, парижскія событія лицамъ этого типа были извѣстны ближе и лучше, чѣмъ большинству петербургскихъ «буржуа»; но они вызывали здѣсь настроеніе, далекое отъ всякаго сочувствія. «Увлекаться» примѣромъ Франціи способны были здѣсь развѣ отдѣльные юноши, вродѣ сына извѣстнаго намъ масона Строгонова, воспитаннаго будущимъ монтаньяромъ, Роммомъ, и введеннаго имъ въ члены якобинскаго клуба. Любопытно, однако, что и въ этомъ единственномъ извѣстномъ намъ исключеніи изъ общаго настроенія высшей дворянской молодежи мы можемъ предположить культурную семейную традицію.

Указаніе Сегюра на «нѣсколькихъ молодыхъ людей изъ болѣе высокаго класса» (*d'une classe plus élevée*), какъ на средоточіе интеллигентныхъ симпатій къ французской революціи, очень цѣнно и мѣтко; но этотъ «болѣе высокій» классъ ихъ не есть самый высокій. Мы имѣемъ дѣло, очевидно, опять съ тѣмъ среднимъ дворянствомъ*), въ средѣ котораго развивались и другія, уже извѣстныя намъ движенія русской интеллигентной мысли. Такъ, правдивый разсказъ Сегюра приводитъ насъ къ тому же пункту въ исторіи русской общественности, на которомъ мы остановились раньше.

*) Есть и прямое подтвержденіе свидѣтельства Сегюра о симпатіи къ революціи въ этихъ кругахъ. Секретарь императрицы Соѣмоновъ—тотъ самый, который дѣлалъ для нея выписки изъ законовъ по Блэкстоновскимъ рубрикамъ, вернувшись однажды домой осенью 1789 г., т.-е. мѣсяца два послѣ взятія Бастиліи, засталъ у себя цѣлую иллюминацію,—множество зажженныхъ свѣчей. Семилѣтняя дѣвочка, его дочь (впослѣдствіи г-жа Свѣчина), на вопросъ отца, зачѣмъ она зажгла свѣчи,—отвѣчала: «но, папа, развѣ не нужно было отпраздновать взятіе Бастиліи и освобожденіе этихъ бѣдныхъ французскихъ арестантовъ?»

Настроение большинства этой интеллигентной молодежи намъ уже достаточно ясно. Мы знаемъ, что по отношенію къ общему міровоззрѣнію эта молодежь отшатнулась отъ крайнихъ выводовъ французскаго философскаго радикализма и искала нравственнаго успокоенія въ примиреніи своихъ религіозныхъ запросовъ съ прогрессивными теченіями вѣка. Отъ политическаго радикализма это молодое поколѣніе было еще дальше, чѣмъ отъ философскаго. Когда изъ его среды одинъ (Радищевъ) увлекся политическимъ радикализмомъ, то ближайшій другъ его, сторонникъ извѣстнаго намъ религіозно-моралистическаго направленія, посланный масонами за границу Кутузовъ счелъ своимъ долгомъ провести самую рѣзкую границу между своими взглядами и взглядами пріятеля, съ которымъ связывала его двадцатилѣтняя дружба. «Вы знаете мои правила», пишетъ онъ одному изъ главныхъ членовъ новиковскаго кружка, кн. Н. И. Трубецкому: «извѣстно вамъ, что я великій врагъ всякаго возмущенія и что я не престану никогда твердить, что критика настоящаго правленія есть непозволенное дѣло и нимало не принадлежитъ къ литературѣ». И другой членъ того же кружка, извѣстный намъ И. В. Лопухинъ пишетъ Кутузову: «я слышу очень мартинистомъ, отъ природы очень нелюбостыжателенъ и охотно соглашусь не имѣть ни одного крѣпостнаго. Но притомъ молю и желаю, чтобы никогда въ отечество наше не проникъ тотъ духъ ложнаго свободолюбія, который сокрушаетъ многія въ Европѣ страны и который, по мнѣнію моему, вездѣ губителенъ». И мы увидимъ, что, при всемъ своемъ радикализмѣ, въ сущности и самъ Радищевъ не разрываетъ принципиально съ тѣми понятіями о предѣлахъ дозволеннаго въ литературной и общественной дѣятельности, которыя приняты въ кружкѣ.

Какъ бы то ни было, мы должны теперь ближе познакомиться съ источниками и характеромъ этого *другого* направленія въ исторіи русской общественной мысли конца XVIII-го столѣтія. Фактъ существованія его былъ бы самъ по себѣ характеренъ,—даже въ томъ случаѣ, если бы вѣрно было заявленіе, сдѣланное Радищевымъ на допросѣ,—что онъ «общниковъ не имѣетъ» и что напечатанная имъ книга, по трудности слога и отвлеченности содержанія, не можетъ найти себѣ читателей, ибо «народъ нашъ книгъ не читаетъ». Въ буквальный смыслъ это, конечно, было совершенно вѣрно. Но мы только что слышали, и, можетъ быть, изъ устъ самого Радищева, нѣсколько иное утвержденіе—объ интересѣ «купцовъ и мѣщанъ» къ сочиненіямъ на подобныя философскія и общественныя темы. Если бы мы даже не имѣли этого свидѣтельства или не повѣрили ему.—факты могли бы дать намъ дополнительныя подтвержденія. Мы знаемъ, что та самая книга Радищева, о которой идетъ рѣчь, сразу «начала входить въ моду у многой шали»; «по счастью, скоро ее узнали (т.-е. власти)», прибавляетъ сообщившій намъ этотъ фактъ канцлеръ Безбородко. И когда «узнали» книгу и остановили продажу, то, по другому извѣ-

стію, «купцы» (опять купцы!) готовы были платить по 25 руб. (впятеро болѣе на наши деньги) за то только, чтобы получить книгу на самый короткій срокъ. Черезъ три года, другая «пропавшая книга», извѣстная трагедія Княжнина («Вадимъ»), цѣлый десятокъ дней мирно покоившаяся на полкахъ книжныхъ магазиновъ, сразу была расхватаана въ сотняхъ экземпляровъ, какъ только въ публикѣ узнали, что она пропадетъ. Но мало того, что мы, такимъ образомъ, достовѣрно узнаемъ, что у Радищева были «общники» и была симпатизировавшая ему аудиторія, довольно значительная по тому времени. У него было еще *потомство*, къ которому онъ не напрасно апеллировалъ: его книга явилась первымъ звеномъ въ длинной цѣпи—непрерывной и богатой фактами традиціи, и уже поэтому заслуживаетъ самаго пристального вниманія въ исторіи русской культуры.

Радищевъ былъ не одинъ также и въ томъ смыслѣ, что онъ былъ членомъ тѣснаго кружка товарищей, вкусы и взгляды которыхъ развились въ одинаковомъ съ нимъ направленіи, благодаря особенно благоприятнымъ условіямъ. Этотъ небольшой кружокъ молодежи волею Екатерины былъ поселенъ на нѣсколько лѣтъ въ культурной германской средѣ,—въ Лейпцигѣ. Екатерина хотѣла создать изъ нихъ себѣ образованныхъ юристовъ, способныхъ исполнять ея законодательные проекты, которыми она тогда увлекалась. Радищевъ пробылъ въ лейпцигскомъ университетѣ цѣлыхъ пять лѣтъ (1767—1771) и испыталъ цѣлый рядъ просвѣтительныхъ вліяній, которыхъ не могла дать тогдашняя Россія. Главой кружка, впрочемъ, былъ не онъ, а старшій товарищъ Ѡ. В. Ушаковъ, добровольно бросившій хорошо начатую службу и карьеру и, изъ чисто идейныхъ побужденій, вернувшійся на школьную скамью. Ушаковъ лучше младшихъ своихъ товарищей владѣлъ и языками (нѣмецкимъ и латинскимъ), такъ что, само собою, сдѣлался ихъ руководителемъ въ университетскихъ занятіяхъ и въ самообразовательномъ чтеніи. Первые шаги будущаго писателя подъ этимъ руководствомъ особенно интересно прослѣдить, такъ какъ ими опредѣлилось все его дальнѣйшее направленіе.

«Всѣ почти юноши, мыслить начинающіе, любятъ *метафизику*; съ другой же стороны, всѣ, чувствовать начинающіе, придерживаются правилъ, *народнымъ правленіямъ* приличныхъ». Въ этихъ словахъ самъ Радищевъ чрезвычайно мѣтко резюмировалъ философскія и общественныя симпатіи своего кружка. Послѣдуемъ его указаніямъ въ томъ и другомъ направленіи.

Въ философскомъ отношеніи Радищевъ попалъ въ ту самую атмосферу, которую мы характеризовали выше (стр. 359). Это была атмосфера университетскаго преподаванія, умѣреннаго и эклектическаго. Вліяніе германской университетской философіи и было первымъ сильнымъ вліяніемъ, которое легло въ основу его будущаго міровоззрѣнія. Одинъ новѣйшій изслѣдователь опредѣлилъ усвоенный Радищевымъ

философскій идеализмъ, какъ ученіе Лейбница. Этотъ выводъ приходится, однако, нѣсколько исправить при болѣе близкомъ изученіи вопроса. Нѣтъ никакихъ основаній думать, чтобы Радищевъ былъ знакомъ съ сочиненіями самого Лейбница. Конечно, идеи Лейбница вошли въ составъ философскихъ воззрѣній Радищева, — но не въ большей степени, чѣмъ онѣ вообще входили въ составъ тогдашнихъ эклектическихъ университетскихъ системъ. Извѣстный запасъ философскихъ идей успѣлъ сдѣлаться *общимъ мѣстомъ* университетскаго философскаго преподаванія: и эти-то идеи усвоены были, прежде всего, кружкомъ Ушакова и Радищева. Лейбниціанскіе элементы были въ томъ числѣ, — и наши студенты *должны* были съ ними столкнуться, слушали ли они лекціи своего профессора Платнера, или учили рекомендованный имъ учебникъ («введеніе въ философію») выдающагося голландскаго математика 'с Гравесанда, или читали только-что тогда выходившія и производившія фуроръ произведенія Мозеса Мендельсона, Бонне или Галлера. Самыя плодотворныя и глубокія идеи системы Лейбница (какъ идея непрерывности, отрицаніе картезіанскаго дуализма духа и матеріи, лѣстница постепенно совершенствующихся психо-физическихъ организацій) во всѣхъ этихъ книгахъ уже успѣли получить дальнѣйшую обработку и циркулировали болѣею частью безъ имени автора. А специфически-лейбницевскія идеи, наиболѣе популярныя и сомнительныя (какъ «предустановленная гармонія» или «наилучшій изъ міровъ»), фигурировали уже въ роли историческихъ пережитковъ и никого изъ молодежи особенно заинтересовать не могли.

Гораздо привлекательнѣе для нея были философскія произведенія другого типа, — французскія матеріалистическія и сенсуалистическія системы. Въ университетскихъ сферахъ на эти произведенія смотрѣли свысока; зато ими зачитывались въ большомъ свѣтѣ. Отсюда, изъ этого большого свѣта, и притомъ изъ русскаго, и посчастливилось нашей молодежи въ Лейпцигѣ получить толчокъ къ изученію французскихъ философовъ. Какой-то заѣзжій важный баринъ познакомилъ Ушакова съ Гельвеціемъ. Книга Гельвеція («De l'Esprit») сразу перевернула все направленіе интересовъ кружка. Ушаковъ первый прочелъ ее подрядъ четыре раза и почувствовалъ въ себѣ «неутомимое рвеніе къ изслѣдованію всѣхъ полезныхъ истинъ и отвращеніе непреоборимое ко всѣмъ системамъ, имѣющимъ основаніе въ необузданномъ воображеніи ихъ творцовъ». Другими словами, Ушаковъ измѣнилъ метафизикѣ и всевозможнымъ теоріямъ «influxus physicus» и «causae occasionales», чтобы всей душой предаться эмпиризму. Надо думать, этотъ же переворотъ толкнулъ Радищева къ изученію фізіологіи и медицины.

Однако же, и занятія надъ учебникомъ 'с Гравесанда не пропали даромъ. При всемъ увлеченіи Гельвеціемъ, Ушаковъ на первыхъ же страницахъ «De l'Esprit» почувствовалъ, что не все обстоитъ благополучно въ сенсуализмѣ новаго учителя. Онъ принялся писать возраже-

нія на Гельвеція, и хотя его работа не пошла дальше первыхъ шестнадцати страницъ «De l'Esprit», но для насъ и этого совершенно достаточно, чтобы опредѣлить общій смыслъ разногласія и характеръ ушаковскихъ возраженій. Гельвецій выводитъ зданіе своей психологіи исключительно на фундаментъ «тѣлесной чувствительности», причемъ роль этой чувствительности является совершенно пассивной. Она или «принимаетъ ударенія внѣшнихъ предметовъ», или «хранитъ сдѣланное на чувства удареніе». Ушаковъ старается доказать,—по 'с Гравесанду,—что, напротивъ, роль психики *активная*; что *идея* предмета отнюдь не похожа на самый предметъ, т.-е. *не матеріальна*; что работа разума заключается въ активныхъ чисто-психическихъ и сознательныхъ операціяхъ: *сравненіи* и дальнѣйшей (логической) обработкѣ матеріала, доставленнаго чувствами. Это, однако, не мѣшаетъ Ушакову,—какъ не мѣшаетъ и 'с Гравесанду,—оставаться вѣрнымъ главнѣйшимъ пріобрѣтеніямъ англійской, эмпирической психологіи. Онъ сомнѣвается въ существованіи врожденныхъ идей и отрицаетъ свободу воли, какъ «дѣйствіе безъ причины», во имя детерминизма. Онъ, повидимому, не признаетъ также и безсмертія души, и «нисходя въ гробъ *), за онымъ ничего не видитъ».

Какъ видимъ, опустошенія, произведенныя философіей въ традиціонныхъ «понятіяхъ о священныхъ вещахъ», были у вождя лейпцигскаго кружка гораздо значительнѣе, чѣмъ у молодежи, увлекавшейся въ Россіи французскими теоріями. Но и у Ушакова дѣло не обошлось безъ компромисса съ идеализмомъ, правда, компромисса, тоже основаннаго на философскомъ изученіи. Какъ далеко пошелъ въ этомъ отношеніи Радищевъ?

Для отвѣта мы позволимъ себѣ перенестись къ 1792 году, когда Радищевъ писалъ (въ Сибири) свой философскій трактатъ: «О чело-вѣкѣ, о его смертности и безсмертіи». Несмотря на четверть вѣка, которая отдѣляетъ этотъ трактатъ отъ первыхъ впечатлѣній семнадцатилѣтняго Радищева въ Лейпцигѣ, въ трактатѣ сохранились самыя живые слѣды лейпцигскихъ занятій и чтеній.

«Смертность» и «безсмертіе»—въ борьбѣ этихъ двухъ противоположныхъ понятій заключается біографическій и культурный интересъ трактата. На Радищева, какъ и на Ушакова, французскій сенсуализмъ и нѣмецкій идеализмъ произвели почти одинаково сильное впечатлѣніе,—но въ послѣднюю минуту идеализмъ перевѣшиваетъ, по соображеніямъ моральнымъ. «Возвѣся по силѣ нашей обѣ противоположности, я вамъ оставляю выбирать, любезные мои, тѣ (доводы), кои наиболѣе имѣютъ правдоподобія или ясности, *буде не очевидности*. А я, лишенный васъ, о друзья мои, послѣдую мнѣнію, *утѣшеніе* вливающему въ душу скорбящую» (т.-е. мнѣнію, что душа безсмертна).

*) Ушаковъ умеръ 23-хъ лѣтъ, еще въ Лейпцигѣ.

Обѣ половины аргументаціи въ трактатѣ Радищева—и за «смертность», и за «безсмертіе»—не оригинальны. Своимъ руководителемъ при доказательствѣ «смертности» челоѵка Радищевъ избираетъ Гольбаха («Système de la Nature»). При доказательствѣ безсмертія онъ пользуется знаменитыми «разговорами» Мендельсона, повліявшими, какъ мы упоминали выше, и на трактатъ Шварца («Phaedon oder über die Unsterblichkeit der Seele»). Но степень зависимости въ обоихъ случаяхъ—разная. Рѣшеніе въ пользу «смертности», очевидно, приковывало вниманіе Радищева въ гораздо большей степени, чѣмъ рѣшеніе въ пользу «безсмертія». И разобратъся въ доказательствахъ «смертности» было для него важнѣе. Поэтому здѣсь, хотя основная нить разсужденія, всѣ главныя мысли и многія отдѣльныя мѣста прямо взяты изъ Гольбаха, тѣмъ не менѣе видны и постоянные слѣды личныхъ усилій мысли. Для доказательства и развитія положеній Гольбаха Радищевъ часто прибѣгаетъ къ упоминавшейся раньше нѣмецкой философской литературѣ. Надо замѣтить, что, вообще, Радищеву бросалось въ глаза не столько коренное различіе между Гольбахомъ и лебниціанцами, сколько общее тому и другимъ стремленіе къ философскому монизму. У самого Гольбаха Радищевъ находитъ главное возраженіе Лейбница противъ картезіанскаго дуализма матеріи и духа: то возраженіе, что матерія не можетъ считаться инертной и мертвой — и на *этомъ* основаніи противопологаются «духу»; что между матеріей и духомъ есть промежуточное, соединяющее ихъ понятіе *силы*. Радищеву этотъ основной аргументъ Гольбаха извѣстенъ и отъ нѣмецкихъ лейбниціанцевъ,—и это помогаетъ ему усвоить и развитъ идею о матеріи-силѣ, которую готовъ былъ отвергать еще Ушаковъ, столкнувшись съ ней у Гельвеція. У Гольбаха Радищевъ могъ найти и дальнѣйшій—уже чисто матеріалистическій выводъ изъ понятія о матеріи-силѣ: тотъ выводъ, что и сама «чувствительность» есть лишь одно изъ неизвѣстныхъ пока *свойствъ матеріи*. Но *это* положеніе Гольбаха Радищевъ уже прямо видоизмѣняетъ по своему: чаще всего онъ формулируетъ его такъ, что «чувствительность» оказывается не свойствомъ матеріи, а *функцией организаціи*—чего не отрицаютъ и его нѣмецкіе авторитеты: 'с Гравесандъ, Платнеръ, даже Бонне. Пойдемъ дальше: слѣдующая основная мысль системы—та, что *функция* неразрывно связана съ органомъ, психика съ фізіологіей. Эта мысль, опять-таки очень сильно подчеркивается и Гольбахомъ. Гольбахъ показываетъ и то, какъ психика растетъ и разрушается вмѣстѣ съ органомъ, въ какой тѣсной зависимости она находится отъ среды и внѣшнихъ условій. Но и тутъ Радищевъ вноситъ въ аргументацію Гольбаха еще болѣе замѣтный нѣмецкій оттѣнокъ. Гольбахъ настаиваетъ на *тождественности матеріала*, изъ котораго одинаково созданы какъ высшія, такъ и низшія организаціи и въ природѣ. Радищевъ подчеркиваетъ различіе и постепенное совершенствованіе *структуры* по мѣрѣ перехода отъ

низшихъ къ высшимъ формамъ. Гольбахъ старается обнаружить во всемъ разнообразіи явленій одни и тѣ же *элементарныя* стихіи и силы—только все съ большимъ и большимъ участіемъ «огня», какъ животворящаго элемента. «Огонь», «электрическая» и «магнетическая» сила и у Радищева играютъ роль; но ему мало для объясненія міровой жизни этихъ оживляющихъ и усложняющихъ элементовъ. Онъ интересуется, прежде всего, самымъ *процессомъ* міровой жизни,—и набрасываетъ такую картину *развитія* непрерывной цѣпи существъ, начиная съ минераловъ и кончая человѣкомъ, которая, въ *тогдашней* литературѣ, ближе всего напоминаетъ «Contemplation de la Nature и Considérations sur les corps organisés» Бонне *). Онъ преслѣдуетъ, такимъ образомъ, скорѣе идею психофизиологическаго параллелизма, чѣмъ матеріальнаго тождества между духовной и матеріальной стороной явленій природы. Подчеркивая всѣ эти оттѣнки, въ которыхъ сказывается его личное пониманіе теоріи «смертности» души, Радищевъ всюду старается пополнить Гольбаха онтогеническими и филогеническими данными тогдашнихъ экспериментальныхъ наукъ. Замѣтимъ, что въ одномъ случаѣ онъ, характернымъ образомъ, охотнѣе ухватывается за мнѣніе Гольбаха (въ противоположность Гельвецію): это тамъ, гдѣ Гольбахъ отрицаетъ первоначальное равенство и одинаковость психическаго склада всѣхъ людей. Люди являются на свѣтъ съ *различными* задатками; это, конечно, еще не предполагаетъ вѣры во *врожденность* идей, но прямо только вытекаетъ изъ факта различія *человѣческихъ* организацій. Первоначальное *неравенство* признавалъ уже Ушаковъ (у Гольбаха, какъ извѣстно, изъ неравенства людей выводится потребность людей другъ въ другѣ и, слѣдовательно, происхождение общества ср. ниже, стр. 387). Наконецъ, съ той же цѣлью, какъ Ушаковъ (380),—т.-е. съ цѣлью показать *активность* разума,—Радищевъ обогащаетъ свой трактатъ элементарными психологическими и логическими свѣдѣніями, какія онъ могъ получить изъ университетскихъ руководствъ,—«Введенія» Гравесанда такъ же, какъ изъ «Философскихъ афоризмовъ» Платнера.

Такимъ образомъ, отдѣлъ о «смертности» въ редакціи Радищева является, несмотря на всю близость къ Гольбаху, значительно и какъ

*) При живомъ и сильномъ взаимодействіи главныхъ представителей философской и научной мысли XVIII в., нелегко было бы указать, чѣмъ Радищевъ обязанъ *именно* Бонне, но, если вообще Бонне имѣлъ на него вліяніе, то, конечно этими двумя, наиболѣе знаменитыми своими произведеніями, въ которыхъ онъ старается держаться на почвѣ психофизиологии. Любопытно, что новиковскій кружокъ предпочиталъ, повидимому, позднѣйшее и болѣе слабое, по мнѣнію самого Бонне, произведеніе: *Palinogénésie philosophique*,—которое Карамзинъ даже принялся переводить по-русски въ присутствіи самого Бонне. Причина предпочтенія понятна: въ «Палингенезіи» Бонне особенно внимательно остановился на идеѣ совершенствованія живыхъ существъ въ будущей жизни ср. слѣд. страницу.

бы невольно смягченнымъ подѣ вліаніемъ привычекъ мысли, приобрѣтенныхъ на нѣмецкой философской литературѣ. Невѣрующій у Радищева не есть, строго говоря, ни матеріалистъ, ни атеистъ *); [и несмотря на матеріалистическіе аргументы, которые онъ выдвигаетъ, между строкъ можно прочесть—а въ концѣ отдѣла, это сказано и прямо— что, собственно, онъ не вѣритъ не столько въ существованіе и вѣчность духовной субстанціи вообще, сколько въ то, что эта субстанція по смерти тѣла можетъ сохранить свою сознательность и человѣческую индивидуальность. Другими словами, онъ сомнѣвается только въ личномъ безсмертіи.

Переходимъ къ отдѣлу о «безсмертіи». Здѣсь Радищевъ гораздо больше полагается на своего руководителя, Мозеса Мендельсона и передаетъ основное содержаніе «Федона» отчасти въ сокращенномъ пересказѣ, отчасти въ буквальномъ переводѣ. Діалогическую форму онъ отбрасываетъ, но сохраняетъ сократическій пріемъ Мендельсона—развивать мысль путемъ ряда альтернативъ. Въ подлинникѣ—двѣ существенныхъ части: Сократъ сперва доказываетъ безсмертіе духа вообще, потомъ безсмертіе *личнаго* духа человѣческаго. Радищевъ, характернымъ образомъ, ступенчато переходитъ, подчеркивая только, что первые аргументы обращаются къ уму, тогда какъ послѣдніе—къ *чувству и къ сердцу*. Для ума остается аргументъ, что въ природѣ ничто не уничтожается, а слѣдовательно и духовная субстанція; что измѣняться, т.-е. слагаться и разлагаться, можетъ только сложное, но духъ нельзя представлять ни сложнымъ, ни продуктомъ или функціей сложнаго. Самое понятіе сложнаго (напр., гармоніи, пропорцій и т. п.) въ природѣ не существуетъ и предполагаетъ существованіе мыслящаго и сравнивающаго разума, слѣдовательно, есть послѣдствіе, а не причина существованія духа. Продуктомъ сложнаго дѣйствія болѣе элементарныхъ (матеріальныхъ) силъ,—духъ тоже не можетъ быть, такъ какъ психическое не можетъ создаться изъ суммы непсихическихъ ингредиентов: равнодѣйствующая не можетъ быть *качественно* различна отъ создающихъ ее отдѣльныхъ силъ. Для *чувства и сердца*—предлагается другое соображеніе. Непрерывная цѣпь безконечно совершенствующихся существъ въ мірѣ само по себѣ заставляетъ предполагать, что міръ готовится, *воспитывается* для какой-то высшей цѣли: если такъ, то бессмысленно было бы допустить смертность высшаго типа, достигнутого природой въ ея развитіи, это было бы крупнымъ паденіемъ внизъ, съ достигнутой высоты. Мы знаемъ, что именно эта часть діалога Мендельсона особенно пригодилась для Шварца, и что онъ охотно принялъ неизбѣжный выводъ—дальнѣйшее совершен-

*) Съ классическимъ образцомъ тогдашняго матеріализма, сочиненіями Ламеттри, повидимому, Радищевъ не былъ знакомъ непосредственно, хотя и упоминаетъ о нихъ. Вѣроятно, онъ зналъ рѣзкіе отзывы о Ламеттри своего учителя Галлера. Воинне пользовался Ламеттри, по возможности не упоминая о немъ.

ствование человека въ мірѣ высшихъ духовъ. Выводъ этотъ принимаетъ и Радищевъ. Надо вообще замѣтить, что Радищевъ вмѣстѣ съ Бонне, понимаетъ лѣстницу постепенно совершенствующихся типовъ и организацій не въ смыслѣ современной намъ науки,—т.-е. не какъ продуктъ ихъ міровой эволюціи, а какъ продуктъ преформаціи (т.-е. заранѣе, предвѣчно установленной смѣны формъ въ известной послѣдовательности). Но въ этомъ «царствѣ неиспытаннаго», гдѣ такъ привольно чувствовалъ себя Шварцъ, — и, вѣроятно, другъ Радищева Кутузовъ, — Радищевъ чувствуетъ себя какъ-то не ловко. Это—«область догадокъ», а не «дѣйствительности»; область «стихотворческаго воображенія», а не «остроумнаго размышленія»; и Радищевъ спѣшитъ опуститься на твердую почву. Вмѣсто того, чтобы послѣдовать за Мендельсономъ въ его «полетѣ» и кончить трактатъ на самыхъ высокихъ нотахъ, Радищевъ вдругъ вспоминаетъ, что у него есть еще третій рядъ аргументовъ въ пользу самостоятельности духа—известные уже намъ аргументы Гравесанда и Ушакова; и онъ прибавляетъ ихъ наблюденія надъ активностью духа въ психологическихъ и логическихъ операціяхъ. Далѣе, онъ спускается еще ниже: онъ возвращается къ своей любимой психофизиологіи, которою и раньше не упускалъ воспользоваться для амплификацій на темы Мендельсона. Онъ заговариваетъ о снѣ, о лунатикахъ, о психическихъ болѣзняхъ—въ доказательство господства духа надъ тѣломъ! Такимъ образомъ, и въ этой части трактата, съ противоположнаго конца, Радищевъ приходитъ къ тому же центру тяжести своей мысли, къ которому отклонялась его матеріалистическая аргументація. Религіозный трансцендентализмъ Мендельсона и матеріалистическій сенсуализмъ Гольбаха примиряются у него въ своего рода критическомъ эмпиризмѣ.

Не менѣе обильнымъ источникомъ возбужденія послужила для лейпцигскаго кружка *политическая* жизнь и теорія Запада. Радищевъ съ товарищами попалъ за границу какъ разъ въ характеризованное выше время, когда настроеніе просвѣтительнаго вѣка, подъ вліяніемъ текущихъ событій, быстро превращалось въ революціонное. И уроки жизни не прошли даромъ для кружка. Отголосокъ того, какое впечатлѣніе произвели на кружокъ событія текущей общественной борьбы, можно видѣть въ тѣхъ полупутливыхъ, полусерьезныхъ выраженіяхъ, въ какихъ Радищевъ изобразилъ намъ собственную борьбу—свою и своихъ пріятелей съ официальнымъ ихъ начальникомъ, взяточникомъ, глупцомъ и невѣждой Бокумомъ «Имѣя власть въ рукѣ своей и деньги, забылъ гофмейстеръ нашъ умеренность и, подобно правителямъ народовъ, возмнилъ, что онъ не для насъ съ нами; что власть ему данная надъ нами и опредѣляющія деньги—не на нашу были пользу, но на его...» «Тѣ, кои изъ насъ были постарѣе... дѣлали ему весьма кроткія представленія—гораздо кротче, нежели когда-либо парижскій парламентъ дѣлывалъ французскому королю. Но какъ таковыя представ-

ленія были частныя,—какъ то бывають и парламентскія,—а не ото всѣхъ, то Бокумъ отвергалъ ихъ толико же самовластно, какъ и король французскій, говоря своему народу: въ томъ состоитъ наше удовольствіе (*tel est notre plaisir*). Наскучивъ представленіями, Бокумъ захотѣлъ ихъ пресѣчь вдругъ, показавъ пространство своей власти (Радищеву, очевидно, рисуется тутъ *lit de justice*)...» «Подобно, какъ въ обществахъ, гдѣ удрученіе начинаетъ превышать предѣлы терпѣнія и возникаетъ отчаяніе, такъ и въ нашемъ обществѣ начинались сходбища, частыя совѣтованія, предпріятія, и все, что при заговорахъ бываетъ, взаимныя о вспомоствованіи обѣщанія, неумѣренность въ изреченіяхъ; тутъ отважность была похваляема, а робость молчала, но скоро единомысліе протекло всѣхъ души, и отчаяніе ждало на воспаленіе случая».

Какъ видимъ, студенческія волненія лейпцигской молодежи очень помогали ей понять предреволюціонное настроеніе Парижа *). Англійскіе политическіе перевороты XVII-го вѣка, и особенно второй изъ нихъ—«мирная» революція 1688 года,—вызывали у нашихъ студентовъ особый интересъ, очевидно, не безъ вліянія тогдашней памфлетной литературы. «Если бы смерть тебѣ (Ушаковъ) не возхитила изъ среды друзей твоихъ», предполагаетъ Радищевъ, «ты, конечно, о божественная душа, прилѣпился бы къ языку сихъ гордыхъ островитянъ, кои нѣкогда, прельщенные наихитрѣйшимъ изъ властителей (Кромвелемъ), дарю своему жизнь отъяты покусились судебнымъ порядкомъ; кои для утвержденія благосостоянія общественнаго изгнали наследственнаго своего дара (Якова II), избравъ на управленіе посторонняго: кои, при наивеличайшей развратности нравовъ, возмѣряя вся на вѣсахъ корысти,—и нынѣ нерѣдко за величайшую честь себѣ вмѣняютъ противуборствовать державной власти и оную *побѣждать законно*».

Для боевого настроенія этихъ годовъ Руссо уже казался слишкомъ отвлеченнымъ, а Монтескье—слишкомъ оппортунистскимъ. Нуженъ былъ писатель, который соединилъ бы принципиальность перваго съ практичностью втораго. Этой потребности момента какъ нельзя лучше удовлетворилъ Мабли. Онъ сумѣлъ выставить такую теорію народнаго верховенства, которая не требовала постояннаго присутствія верховнаго народа *en personne* при выполненіи народной воли; и онъ сумѣлъ быть практичнымъ, не опускаясь до восхваленія англійской аристократической конституціи. Онъ удовлетворялся представительствомъ, но требовалъ, чтобы представительство было демократично и чтобы передъ нимъ преклонялись его исполнительные органы. Мабли-теоретикъ представительныхъ собраній будущей революціи былъ настоящимъ человѣкомъ положенія. Этимъ объясняется его оіромное значеніе и слава въ то время и его забвеніе слѣдующими поколѣніями.

*) «Житіе Ушакова», изъ котораго взяты эти цитаты, напечатано было въ Петербургѣ, въ 1789 году.

Если въ философіи нѣмецкіе авторитеты успѣшно соперничали съ французскими въ умахъ лейпцигской молодежи, то въ политикѣ французское вліяніе господствовало безраздѣльно, а Мабли былъ послѣднимъ словомъ французской политической науки. Русскіе студенты рѣшительно отказались слушать курсъ нѣмецкаго профессора Бѣме по международному праву, заявивъ, что будутъ лучше читать «*Proit public de l'Europe*» Мабли.—сочиненіе, признанное классическимъ «по мнѣнію всего свѣта», и, «конечно, болѣе содержательное, чѣмъ какія бы то ни были лекціи». Одно изъ сочиненій Мабли Радищевъ самъ перевелъ для «Общества, старающагося о напечатаніи книгъ», которому покровительствовала Екатерина. Это были «Размышленія о греческой исторіи»,—далеко не самое яркое, но все же весьма характерное для Мабли произведеніе. Соотвѣтственно своимъ теоріямъ о равенствѣ имуществъ и націонализаціи земли, Мабли идеализируетъ здѣсь Спарту и Ликурга, аѳинскую демократію обвиняетъ въ изнѣженности и распущенности, какъ результатахъ соціального неравенства: искусную политику Филиппа Македонскаго осуждаетъ, потому что она была направлена не на возстановленіе греческой федераціи, а на удовлетвореніе личнаго эгоизма и тщеславія; завоеванія Александра считаетъ безумствомъ, заранѣе обреченнымъ на неудачу и заслуживающимъ ненависть человѣчества. Къ тексту Мабли Радищевъ прибавилъ свои примѣчанія, въ которыхъ вполне принимаетъ его точку зрѣнія на первенство избирателей надъ избранными и законодательной власти надъ исполнительной *).

Однако же, въ нѣсколькихъ существенныхъ пунктахъ лейпцигскій кружокъ не раздѣлялъ ученій Мабли. Русская молодежь осталась вѣрна Гельвецію и Гольбаху въ вопросѣ о происхожденіи морали, которую материалистическій сенсуализмъ выводилъ исключительно изъ закона самосохраненія и изъ «физическихъ» потребностей человѣка. «Любовь самого себя или своего благосостоянія есть основаніе всѣхъ человѣческихъ дѣяній...» Воля есть потребность «избирать состояніе, счастливѣйшимъ почитаемое...» «Добродѣтелию я называю навикъ дѣйствій, *полезныхъ* обществу благу». Создать этотъ навикъ—дѣло общества и законодателя, который для того и получаетъ отъ общества «верховную власть», чтобы «направлять всѣ отдѣльныя воли

*) По поводу слова *despotisme* Радищевъ замѣчаетъ, что это «наипротивнѣйшее человѣческому естеству состояніе. Мы не токмо не можемъ дать надъ собою неограниченной власти, но ниже законъ—извѣтъ общія воли—не имѣетъ другого права наказывать преступниковъ, опричь права собственности сохранности. Если мы живемъ подъ властію законовъ, то сіе не для того, что мы оное дѣлать должны; но для того, что мы находимъ въ ономъ выгоды. Если мы удѣляемъ закону часть нашихъ правъ и нашей природныя власти, то дабы она употребляема была въ нашу пользу: о семъ мы дѣлаемъ съ обществомъ безмолвный договоръ. Государь есть первый гражданинъ народнаго общества». Конечно, эти идеи Радищевъ могъ взять также изъ Гольбаха и Руссо.

и силы—къ общественному благу». Средство для этого—«учрежденіе наказаній и награжденій». Всѣ эти характерныя для французскаго «натурализма» утвержденія мы встрѣчаемъ уже въ сочиненіяхъ Ушакова. Какъ извѣстно, со стороны Мабли всѣ они вызвали рѣшительныя возраженія, направленные противъ «экономистовъ», какъ сторонниковъ тѣхъ же «натуралистическихъ» ученій. Мабли не призналъ также и того, чтобы въ теоріи общественнаго строя, созданной «экономистами», найденъ былъ ключъ къ гармоническому примиренію личныхъ инстинктовъ съ общественнымъ благомъ. Онъ, напротивъ, утверждалъ, что ихъ основной принципъ, признаніе земельной собственности и вытекающаго отсюда неравенства, есть источникъ всѣхъ антиобщественныхъ инстинктовъ, что «культура земли» не есть культура людей и производство наибольшаго числа цѣнностей—не тождественно съ созданіемъ наибольшаго количества счастья. Лейпцигской молодежи, повидимому, коммунистическія ученія Мабли казались утопией. «Образъ всякаго правленія»,—говоритъ Ушаковъ,—«влечетъ за собою неравенство имѣній. Монархическое тѣмъ и существуетъ, аристократическое онаго отвергнуть не можетъ, въ демократическомъ, *хотя бы надлежало быть равенству имѣній*, но, судя съ точностію, не можетъ быть истинной демократіи, и сіе правленіе, приличествуя токмо весьма малымъ и бѣднымъ государствамъ, не можетъ, и по мнѣнію г. Руссо, сдѣлать народа счастливымъ, по склонности своей къ возмущеніямъ. Опытъ всѣхъ вѣковъ и настоящее государствъ состояніе доказываютъ невозможность равенства имѣній. А неравенство онаго производитъ, съ одной стороны нищету, а съ другой—роскошь».

Такимъ образомъ, русскіе студенты остановились въ нерѣшительности передъ крайними выводами европейскаго политическаго (такъ же какъ и философскаго) радикализма. Въ сущности, сами ихъ авторитеты еще не стояли твердо на этой крайней точкѣ зрѣнія. У того же Гольбаха они могли найти не мало мѣстъ, возвращавшихъ ихъ въ политикѣ къ любимой идеѣ XVIII-го вѣка, къ идеѣ «философа на престолѣ», который придетъ и все устроитъ. «Государи часто потому лишь управляютъ произвольно, что они не знаютъ истины; они ненавидятъ истину, потому что они не знаютъ ея неоцѣненныхъ преимуществъ». Мудрый государь «никогда не станетъ ревниво оберегать свой безграничный авторитетъ: онъ пожертвуетъ частью его, чтобы вѣрнѣе сохранить то, что ему останется» (Гольбахъ).

Мы опять вернулись съ этими словами на точку зрѣнія разговоровъ Дидро съ Екатериной. Возвращаясь въ Россію, въ 1771 году, лейпцигскіе юноши имѣли полное основаніе стоять на этой точкѣ зрѣнія. Они ѣхали домой, полные энтузіазма, полные надеждъ и ожиданій. Радищевъ намъ живо изобразилъ это настроеніе. «Вспомни», обращается онъ къ Кутузову, «нетерпѣніе наше—видѣть себя паки на мѣстѣ рожденія нашего, вспомни о восторгѣ нашемъ, когда мы узрѣли

межу. Россію отъ Курляндіи отдѣляющую. Если кто, безстрастный, ничего иного въ восторгѣ не видитъ, какъ неумѣренность или иногда дурачество,—для того не хочу я марать бумаги. Но если кто, понимая что есть изступленіе, скажетъ, что не было въ насъ такового, и что не могли бы мы тогда жертвовать и жизнью для пользы отечества—тотъ, скажу. не знаетъ сердца человѣческаго».

Что нашли они по возвращеніи? Мы знаемъ,—это былъ еще періодъ «недоразумѣнія»; но на эффектной декорации, долженствовавшей изображать «блаженство всѣхъ и каждаго», уже начинали обнаруживаться швы и бѣлыя нитки. Своя, не ѣздившая за границу, молодежь не унывала и не складывала рукъ. Потерявъ надежду на журналистику, она обратилась къ просвѣтительной и благотворительной дѣятельности. Перспективы сѣззились, но зато выиграли въ наглядности, въ осязательности: притомъ же новая работа такъ хорошо совпала съ новымъ религіозно-моралистическимъ міровоззрѣніемъ, осмысливавшимъ цѣли этой работы, поддерживавшимъ одушевленіе. Пріѣхавшей изъ-за границы молодежи всего этого было мало. Недаромъ же открылись ей на Западѣ такіе широкіе горизонты, недаромъ она чувствовала себя такой сильной, такой способной принести настоящую пользу. Понятно, что и разочарованіе ея было гораздо сильнѣе. Ея готовность на подвиги самопожертвованія никому не понадобилась; а передъ муравьиной работой, которую дѣлали ея сверстники, у ней опускались руки. «Признаюсь», продолжаетъ Радищевъ въ только-что цитированномъ мѣстѣ, «и ты, мой другъ, въ томъ же признаешься,—что послѣдовавшее по возвращеніи нашемъ жаръ сей въ насъ гораздо умѣрило. О вы. управляющіе умами и волею народовъ властители, колико вы бываете часто кратковидцы и близоруки, колико кратно упускаете вы случай на пользу общую, утушая заквасъ, воздымающій сердце юности. Единожды смиривъ его, нерѣдко навѣки содѣлаете калѣкою».

Большинство товарищей, дѣйствительно, замолкло «навѣки» послѣ возвращенія на родину. Замолкъ и Радищевъ на полтора десятка лѣтъ. Но онъ не «смирился» и «калѣкой» не сдѣлался. Съ середины 80-хъ годовъ онъ «воспрянулъ отъ унынія», «почувствовалъ, что возможно *всякому* (т.-е. во всякомъ общественномъ положеніи) быть соучастникомъ въ благоденствіи себѣ подобныхъ», дѣйствуя на разумъ людей путемъ печатнаго слова; онъ ощутилъ въ себѣ довольно силъ, чтобы противиться «*заблужденію*»,—которое философами XVIII-го в. всегда считалось главной причиной «страданій человѣческихъ». И онъ принялся за составленіе своей знаменитой книги, причинившей автору столько бѣдствій при жизни и обезсмертившей его въ потомствѣ. «Путешествіе изъ Петербурга въ Москву» было готово въ 1788 г. и вышло въ свѣтъ въ 1790, когда еще не успѣли остыть первые восторги, вызванные среди петербургской интеллигенціи событіями въ Парижѣ.

Что же такъ подняло настроеніе Радищева. что вызвало въ немъ

то активное общественное настроеніе, ту готовность на литературную борьбу и пропаганду своихъ мнѣній, о которыхъ свидѣтельствуется каждая строка его книги?

«Я взглянулъ окрестъ меня, душа моя *страданіями* человѣческими уязвлена стала; обратилъ взоры во внутренность мою, и узрѣлъ, что бѣдствія человѣка происходятъ *отъ* *человѣка*, часто отъ того только, что онъ взираетъ не прямо на окружающіе его предметы». Другими словами, два мотива руководили Радищевымъ: сознаніе того страшнаго противорѣчія, въ которомъ находилась русская дѣйствительность, съ идеалами вѣка, императрицы и его самого; и глубокая увѣренность въ томъ, что тутъ есть какое-то нелѣпое недоразумѣніе, которое надо во что бы то ни стало разсѣять. Это было мучительное чувство человѣка, который стоитъ въ толпѣ и видитъ, что люди на платформѣ говорятъ совсѣмъ не о томъ и не то, что нужно и необходимо и что для него такъ ясно и просто. Стоитъ только крикнуть громко, чтобы эти люди поняли свое «заблужденіе» и прониклись разумными соображеніями. Такимъ отчаяннымъ крикомъ была книга Радищева.

Это настроеніе Радищева въ 80-хъ годахъ вовсе не было его личнымъ. Противорѣчіе между идеаломъ и жизнью, прежде всего, отразилось на самой императрицѣ—полнымъ крушеніемъ той самоувѣренности, съ какою она вступила на путь своей «легисломаніи». Она могла, сколько угодно, утѣшать себя тѣмъ, что противорѣчія есть признакъ хорошихъ мозговъ (*grande saboche*): фактъ былъ тотъ, что цѣльность плана во внутренней политикѣ была совершенно утрачена,—*ganzlich verlogen*, какъ писала сама она Гримму. И это признаніе пришлось ей сдѣлать тогда, когда наступало время подводить итоги царствованія. Въ интимной перепискѣ она могла сознаться, что никакого итога еще нельзя подвести всѣмъ этимъ разрозненнымъ попыткамъ, этимъ началамъ безъ концовъ, этой дѣятельности *à batons rompus* (стр. 303). Но признать это публично не позволяла ни политика, ни самолюбіе. Отсюда—необходимость декораціи, которою Екатерина все сознательнѣе закрывала современную ей дѣйствительность. Отсюда же эта потребность похвалы и это быстро растущее нетерпѣніе при малѣйшей попыткѣ постороннихъ заглянуть въ ея игру, проникнуть за кулисы. Что пороки и недостатки русскаго общества «скоро исправятся» при помощи новыхъ законовъ,—этимъ Екатерина не могла уже теперь утѣшать ни себя, ни другихъ. Слѣдовательно, оставался одинъ исходъ, если она хотѣла перейти въ исторію съ именемъ «Великой»: отрицать самое существованіе пороковъ и недостатковъ.

Люди, близкіе къ сценѣ, на которой давался спектакль,—такіе какъ, напр., князь Щербатовъ,—очень хорошо видѣли истинный характеръ и причины настроенія Екатерины. Щербатовъ и далъ очень яркое изображеніе этого настроенія. Люди, стоявшіе въ отдаленіи,—а такими было огромное большинство русской интеллигенціи,—дольше

сохранили иллюзію: иллюзію не относительно русской дѣйствительности, а относительно взгляда на нее Екатерины. Многие изъ нихъ были увѣрены, что Екатерина просто не знаетъ, не видитъ этой дѣйствительности, и негодованіе ихъ обращалось противъ двора и приближенныхъ, противъ того «средостѣнія», которое заслоняло, по ихъ мнѣнію, жизнь отъ императрицы. Даже начатое правительствомъ преслѣдованіе масоновъ не измѣнило ихъ взгляда. По поводу самого этого преслѣдованія Кутузовъ написалъ Лопухину письмо, которое лучше всего можетъ ввести насъ въ настроеніе, вызвавшее появленіе въ свѣтъ радищевскаго «Путешествія». Письмо это можно принять за одну изъ страницъ самаго «Путешествія»: такое совпаденіе настроенія тѣмъ болѣе знаменательно, что и Радищевъ, и Кутузовъ одинаково свидѣтельствуютъ о различіи своихъ политическихъ взглядовъ.

«Извѣстно мнѣ», пишетъ Кутузовъ, «что, окрестивъ насъ многихъ именемъ мартинистовъ, самымъ тѣмъ думаютъ имѣть право—поступать съ нами, какъ угодно, и считаютъ за дозволенное отнимать у насъ podporу законовъ. Но, сердечный мой другъ, приличны ли таковыя поступки въ благоучрежденномъ государствѣ? Согласуются ли оныя съ начертаніемъ нашей монархини? Все сіе заставляеть меня воззывать: горе землѣ, въ которой подчиненные, начальники и судьи, а не законы управляютъ гражданами и дѣлами!.. Всякій изъ нихъ считаетъ себя мудрецомъ высшей степени... и отъ сего... у семи нянекъ дитя безъ глазу. Коль скоро позволяется человѣку судить о намѣреніяхъ человѣка и догадки свои равнять дѣйствительному дѣянію, толь скоро исчезаетъ личная безопасность, ослабѣваетъ довѣренность законовъ, да и сами законы теряютъ свою силу. Граждане содѣлываются нерѣшительными, твердость и мужество уступаютъ мѣсто робости и ползающему духу; правда и праводуніе отступаютъ отъ сердецъ нашихъ; коварство, хитрость и лукавство воздымаютъ смѣло главу свою.; отечество наше становится намъ чуждо, ибо содѣлывается жилищемъ нашего душевнаго мученія... О мой другъ, сердце мое содрогается при начертаніи сей легко токмо начертанной картины. Ежели бы наша монархиня могла видѣть все то, что опредѣленные ею дѣлаютъ, вострепетало бы ея нѣжное человѣколюбивое сердце; гнѣвъ ея, справедливый гнѣвъ, постигъ бы сихъ нечеловѣковъ, злоупотребляющихъ ея довѣренность. Я всегда скажу, безъ всякаго лицемерія: не монархиня причиною нашего притѣсненія, но одовѣренные настицею ея власти. Скажу и то, что *частію мы сами причиною сего.* Дитя не плачетъ, мать не разумѣетъ. *Для чего не прибѣгаемъ къ самой ей и не стараемся пробиться сквозь лицемеріе, ласкательство и ложь, окружающія ея престолъ?* Она человѣколюбива, она правосудна; безъ сомнѣнія, подала бы намъ руку помощи. Собственная ея польза требуетъ сего: ея благоденствіе находится въ благоденствіи ея подданныхъ... Ежели бы знали истинныя наши расположенія, перестали бы

насъ гнать и нашли бы насъ послушнѣйшими и вѣрнѣйшими гражданами, нежели тѣ, которые противу насъ наущаютъ... Смѣло можно сказать, что изъ среды насъ не выдетъ никогда Мирабо и ему подобные чудяща... Христіанинъ и возмутитель противъ власти, отъ Бога установленная, есть совершенное противорѣчіе». Кутузовъ, можно думать, рассчитывалъ прямо на то, что съ этими письмами изъ-за границы онъ дѣйствительно «пробьется» къ престолу при помощи cabinet poig императрицы Екатерины *). Онъ очень настойчиво старался въ нихъ очистить себя отъ подозрѣнія въ соучастіи съ Радищевымъ при составленіи посвященнаго ему же «Путешествія». Но, во всякомъ случаѣ, набрасывая свою «легко начертанную картину», Кутузовъ не подозрѣвалъ, что та же самая картина, только въ детальнѣхъ и конкретнѣхъ чертахъ, составляетъ главное содержаніе инкриминированной книги Радищева, и что главной мечтой Радищева было при этомъ тоже «пробиться» къ престолу—только болѣе прямымъ, открытымъ путемъ, при помощи вольныхъ типографій,—и такимъ образомъ снять съ себя падавшую на него «часть» вины въ безмолвіи подданныхъ.

Съ этой двойной точки зрѣнія,—какъ первый въ русской исторіи вполне открытый и сознательный примѣръ публицистической критики, и какъ произведеніе, адресованное не только къ общественному мнѣнію, но—и главнымъ образомъ—къ «философу на престолѣ», мы и должны разсматривать здѣсь «Путешествіе изъ Петербурга въ Москву». Мы могли бы, конечно, также найти въ «Путешествіи» не мало новыхъ чертъ для общаго міровоззрѣнія Радищева, поискать еще разъ его иностранныхъ источниковъ; но послѣ сказаннаго раньше нѣтъ надобности вновь возвращаться къ этимъ сторонамъ дѣла. Продуманное міровоззрѣніе и обширная начитанность служатъ здѣсь вполне определенной цѣли: дать идейное освѣщеніе фактамъ русской дѣйствительности, связать одной мыслью и однимъ чувствомъ случайныя, разрозненныя впечатлѣнія жизни; заставить людей, привыкшихъ проходить мимо этихъ жизненныхъ мелочей, подумать надъ ними и почувствовать весь ужасный смыслъ обыденныхъ сценъ на большой дорогѣ.

Основная мысль публицистической критики Радищева одна: это та самая мысль, которую мы встрѣтили въ письмѣ его друга, Кутузова. Послѣ «добродѣтели» больше всего надо руководствоваться «закономъ». «Законъ, какъ ни худъ, есть связь обществу». Поэтому, повиновеніе закону и защита его отъ произвола есть первѣйшая обязанность гражданина. Если даже сама власть захочетъ нарушить законъ,—повиноваться ей не слѣдуетъ. Пусть сперва законъ будетъ измененъ или

*) Несомнѣнно, московскіе мартинисты знали, что ихъ письма прочтываются на почтѣ. Относительно Екатерины они употребляли ту же уловку, какую она сама употребляла относительно прусскаго короля. Ср. ниже, стр. 400—401.

уничтоженъ той властью, которая въ правѣ это сдѣлать («въ Россіи государь—источникъ законовъ»).

«Законность»—основной принципъ Радищева; полное отсутствіе чувства законности въ тогдашней общественной жизни—это та главная черта, противъ которой направлены всѣ его обличенія. Безправіе русской общественной жизни—вотъ то «чудище обло, озорно, стозѣвно и лаяй», которое Радищевъ избралъ темой своихъ нападеній въ самомъ эпиграфѣ къ своему произведенію.

За соблюденіе или нарушеніе закона отвѣчаетъ администрація: противъ этого «средостѣвія», отдѣляющаго власть отъ народа, и направляются, прежде всего, удары Радищева. Произволъ администраціи, зависимость управляемыхъ отъ ея каприза—къ этой темѣ онъ постоянно возвращается въ «Путешествіи». Передъ нами проходитъ цѣлая галерея типовъ тогдашнихъ администраторовъ, начиная съ того мелкаго начальника береговой команды, сладкій сонъ котораго чуть не стоитъ жизни двадцати человѣкамъ, и кончая государевымъ намѣстникомъ, который за тысячу верстъ шлетъ въ Петербургъ на казенныя деньги курьеровъ за устрицами, и производитъ ихъ за это въ чины за служебное усердіе. Еще опаснѣе судья въ роли нарушителя закона: и еще чаще мелькаютъ въ «Путешествіи» образы пристрастныхъ судей, неправыхъ рѣшеній, честныхъ людей, принужденныхъ бросить службу въ судѣ, потому что отчаялись въ возможности бороться противъ протекціи, подкупа и всяческихъ несправедливостей. Но особенно сильно обрушивается Радищевъ на коренное явленіе безправія въ русской общественности,— на крѣпостное право. Картины и сцены, рисуемыя здѣсь, становятся прямо ужасающими, и «чувствительность» читателя подвергается самому серьезному испытанію, вслѣдъ за чувствительностью самого рассказчика. Мы видимъ варварскую семью помѣщиковъ, выведшую изъ терпѣнія своихъ мужиковъ и убитую ими въ стихійномъ порывѣ озлобленія и самозащиты; видимъ крестьянъ, работающихъ на себя только по ночамъ и по праздникамъ, видимъ дѣвушекъ, судьба которыхъ подвергается всѣмъ случайностямъ барской прихоти, видимъ насильственные браки, незаконную торговлю рекрутами, продажу людей по одиночкѣ,—и притомъ людей, связанныхъ личными и кровными узами съ барининомъ, униженіе раба, получившаго одинаковое воспитаніе съ сыномъ своего господина, нищенскую и антигигіеническую обстановку крестьянской избы и т. под. изображенія, одно реальнѣе и мрачнѣе другого. «Я размышлялъ, какимъ бы образомъ сіе происшествіе могло достигнуть до слуха верховной власти, ибо справедливо думалъ, что въ самодержавномъ правленіи одна она въ отношеніи другихъ можетъ быть безпристрастна», замѣчаетъ Радищевъ по поводу одного такого эпизода. «Возможно ли, что бы въ толь мягкосердое правленіе, каково нынѣ у насъ, производились толикія жестокости?» Эта мысль руководитъ Радищевымъ и во многихъ

другихъ случаяхъ, особенно когда онъ указываетъ на незаконность совершающихся фактовъ, когда подчеркиваетъ, что рассказываемые имъ эпизоды не выдуманы, а дѣйствительно были. Его жажда поскорѣе просвѣтить власть, показать ей обратную сторону медали, скрываемую «средостѣніемъ», особенно ярко высказывается въ его «снѣ», составляющемъ кульминаціонную точку всего «Путешествія». Автору снится, что онъ царь, что онъ сидитъ на блестящемъ тронѣ въ раззолоченныхъ чертогахъ, наполненныхъ толпой раболѣпныхъ придворныхъ. Окружающіе льстецы превозносятъ до небесъ его военные успѣхи, его законодательную мудрость, его широкую благотворительность и покровительство, которое онъ оказываетъ наукамъ и искусствамъ. Царь отдаетъ новыя приказанія въ томъ же смыслѣ и готовится уже наслаждаться плодами своихъ трудовъ, когда его повелительно останавливаетъ женщина въ рубищѣ, забравшаяся, вопреки стражѣ, въ его палаты. Эта женщина—Истина; она снимаетъ бѣлмы съ глазъ царя и показываетъ ему вещи «въ естественномъ ихъ видѣ». И царь видитъ, что «военачальникъ, посланный на завоеванія, утопалъ въ роскоши и веселіи; въ войскахъ не было подчиненности», солдатамъ не платили жалованья и не кормили ихъ; рекрута наполовину умирали; казна употреблялась на увеселенія, а чины и ордена «доставались не храбрости, но подлomu раболѣпцю». «Милосердіе сдѣлалось торговлею, и кто давалъ больше, тому стучалъ молотъ жалости и великодушія». «Въ созиданіи городовъ» царь видѣлъ теперь «одно расточеніе государственной казны, омытое нерѣдко кровію и слезами подданныхъ» «Щедроты» его «изливались на богача, на льстеца, на вѣроломнаго друга, на тайнаго убійцу, на предателя и нарушителя общественной довѣренности, на уловившаго (его) пристрастіе, на жену, кичащуюся своимъ безстыдствомъ; едва досягали (они до) застѣнчиваго достоинства и стыдливой заслуги». И Истина вѣщала царю: «Если изъ среды народной возникнетъ мужъ, порицающій дѣла твои,—вѣдай. что онъ есть другъ твой искренній, чуждый надежды мзды, чуждый рабскаго трепета; онъ твердымъ голосомъ возвѣститъ тебѣ обо мнѣ. Блюдись, и не дерзай его казнить, яко общаго возмутителя. Призови его, угости, яко странника,—ибо всякій, порицающій царя въ самовластіи, есть странникъ земли, гдѣ передъ нимъ все трепещетъ». И ужъ отъ себя Радищевъ прибавляетъ въ заключеніе: «Властитель міра, если, читая сонъ мой, ты улыбнешься съ насмѣшкою или нахмуришь чело,—вѣдай. что видѣнная мною странница отлетѣла отъ тебя далеко и гнушается твоихъ чертоговъ».

Но нѣтъ, Радищевъ не хочетъ вѣрить этому. Онъ твердо увѣренъ, что истина должна и можетъ говорить свободно въ Россіи. Только при этомъ условіи литература и можетъ сыграть свою великую общественную роль. «Если свободно всякому—мыслить и мысли свои объявлять всѣмъ невозбранно, то естественно, что все придуманное и изобрѣтен-

ное будетъ извѣстно; великое будетъ велико, и истина не затмится. Правители народовъ не дерзнутъ удалиться отъ стези правды и убоятся: ибо пути ихъ злости и ухищренія обнажатся. Вострепещетъ судія, подписывая неправедный приговоръ, и раздеретъ его. Устыдится имѣющій власть управлять ею только на удовлетвореніе своихъ прихотей. Тайный грабежъ назовется грабежемъ; прикрытое убійство—убійствомъ... Спокойствіе будетъ *дѣйствительное*, ибо не будетъ въ немъ заквасу. Нынѣ поверхность только гладка; но илъ, на днѣ лежащій, мутится и тмитъ прозрачность воды». Во имя этихъ благодѣтельныхъ послѣдствій Радищевъ требуетъ для печати полной гласности и отмѣны цензуры, ссылаясь при этомъ на взгляды самой императрицы. «Пускай печатаютъ все, кому что на умъ ни взойдетъ. Кто найдетъ себя въ печати обиженнымъ, тому да дастся судъ по формѣ... Слова не всегда суть дѣянія; размышленія-жъ—не преступленія: это правила Наказа о новомъ уложеніи» *).

Руководясь этими соображеніями, Радищевъ не ограничился въ «Путешествіи» тѣмъ, что нарисовалъ мрачную картину русской дѣйствительности. Онъ рѣшился указать и на средства помочь злу, перенеся, впрочемъ, свои указанія въ болѣе или менѣе отдаленное будущее. «Блаженъ живущій иногда въ будущемъ! блаженъ живущій въ мечтаніи», восклицаетъ онъ въ самомъ началѣ книги. «Не мечта это», говоритъ онъ въ концѣ, — «во взоръ проницаетъ густую завѣсу времени, скрывающую отъ очей нашихъ будущее; я зрю черезъ цѣлое столѣтіе...» И отъ имени «гражданина будущихъ временъ» Радищевъ предлагаетъ свой «проектъ въ будущемъ», яко бы найденный имъ на дорогѣ. Форма проекта — та самая, какую употребилъ когда-то Крижаничъ: это рѣчь царя къ народу или, лучше сказать, къ правящему сословію государства. Цѣль проекта — «постепенное введеніе нарушеннаго въ обществѣ естественнаго и гражданскаго равенства». Средства—двоякія. Съ одной стороны, это — освобожденіе крестьянъ (съ землей); съ другой — «умаленіе правъ дворянства». «Извѣстно вамъ изъ нашихъ лѣтописей», говоритъ у Радищева будущій государь гражданамъ будущихъ временъ, «что мудрые правители нашего народа, подвизаемы истиннымъ человеколюбіемъ, познавъ естественную

*) Радищевъ, очевидно, разумѣетъ здѣсь слѣдующее мѣсто Наказа Екатерины: «Законы не обязаны наказывать внѣшнихъ или наружныхъ дѣйствій, слова не вмѣняются никогда въ преступленіе, развѣ оныя приготавливаютъ или соединяются или послѣдуютъ дѣйствию незаконному. Все превращаетъ (тотъ), кто дѣлаетъ изъ словъ преступленіе смертной казни достойное... Человеку снилось, что онъ умертвилъ царя: сей царь приказываетъ казнить его смертію, говоря, что не приснилось бы сіе ему ночью, если бы онъ о томъ днемъ наяву не думалъ. Сей поступокъ былъ великое тиранство, ибо, если бы онъ то и думалъ, однако-жъ на исполненіе мысли своей еще не поступилъ».

связь общественнаго союза, старалась положить предѣлъ сему стоглавному злу (т.-е. крѣпостному праву). Но державные ихъ подвиги утщелись извѣстнымъ тогда своими гордыми преимуществами въ государствѣ нашемъ чиностояніемъ, но нынѣ обвѣтшальнымъ и въ презрѣніе впадшимъ наслѣдственнымъ дворянствомъ. Державные предки наши среди могущества силъ своихъ немоцны были разрушить оковы гражданской неволи. Не токмо не могли они исполнить благихъ своихъ намѣреній, но ухищреніемъ помянутаго въ государствѣ чиностоянія подвигнуты были на противныя разсудку и сердцу ихъ правила». Радищевъ увѣренъ, что государь будущаго будетъ счастливѣе въ своихъ попыткахъ освободить крестьянъ, но и онъ заставляеть этого государя обратиться не съ приказаніемъ, а съ убѣжденіемъ къ потомкамъ современныхъ Радищеву рабовладѣльцевъ, чтобы они «познали свое заблужденіе». Не только они грѣшатъ противъ права и справедливости, противъ «природы и сердца своего», но они просто поступаютъ неразсчетливо, сохраняя крѣпостное право. Рабство *невыгодно* для государства и для отдѣльныхъ лицъ, такъ какъ «принужденная работа даетъ меньше плода», а уменьшеніе количества «земныхъ произведеній столько же препятствуетъ размноженію народа». И если даже въ отдѣльныхъ случаяхъ удастся увеличить производительность имѣнія насиліемъ надъ рабами, то, конечно, это не аргументъ въ пользу рабства. «Какая польза государству, что нѣскольکو тысячъ четвертей въ годъ болѣе родится хлѣба, если тѣ, кои его производятъ, питаются наравнѣ съ воломъ, опредѣленнымъ вздирать тяжкую борозду? Или блаженство гражданъ въ томъ почитаемъ, чтобы житницы были полны хлѣба, а желудки пусты?» Всѣ эти аргументы можно найти у Мабли, но и Радищевъ не идетъ за Мабли до конца. Онъ не хочетъ ни націонализаціи земли, ни коллективной собственности на землю. Крестьянская свобода въ будущемъ рисуется ему, какъ режимъ частной земельной собственности. Постепенный переходъ къ этому режиму и составляетъ главное содержаніе его проекта. Сперва помѣщики должны лишиться права переводить крестьянъ во дворъ, права судить крестьянъ и распоряжаться крестьянскими браками и имуществомъ. Наличный надѣлъ, который крестьянинъ пашеть, долженъ сдѣлаться его собственностью. Затѣмъ, крестьянинъ получаетъ право выкупиться на волю и купить себѣ землю. «Засимъ слѣдуетъ совершенное уничтоженіе рабства».

На случай, если убѣжденія не окажутъ вліяніе на рабовладѣльцевъ, у будущаго государя есть болѣе сильный аргументъ.—тотъ самый, который дѣйствительно употребляли и Екатерина II, и Николай I, и Александръ II: лучше освободить крестьянъ сверху, нежели дожидаться, чтобы они сами освободились снизу. Радищевъ напоминаетъ дворянамъ пугачевщину,—какъ напоминалъ (см. выше) Екатеринѣ

Сиверсъ. «Вотъ что намъ предстоитъ, вотъ чего ожидать намъ должно. Гибель приближается постепенно, и опасность уже надъ главами нашими», говоритъ его будущій государь. «Уже время, вознесши косу, ждетъ удобнаго часа; и первый льстецъ или любитель чело­вѣчества, рожденный для пробужденія несчастныхъ, ускоритъ его махъ. Блюдитесь!»

Но это пока—только угроза, только отдаленная перспектива *). Будущій государь кончаетъ совѣтомъ — предупредить ее, — не изъ одного страха или расчета, а также и изъ чувства чело­вѣколюбія. «Зная расположеніе сердецъ вашихъ», обращается онъ къ «гражда­намъ будущаго времени», «пріятнѣе имъ убѣдиться доводами, въ чело­вѣческомъ *сердцѣ* почерпнутыми, нежели исчисленіями корысто­любиваго благоразумія, а менѣе еще опасностію. Идите, возлюбленные мои, идите въ жилище брата вашей и возвѣстите имъ о премѣнѣ ихъ жребія... Да не скончаемъ жизни нашей, возымѣвъ столь благую мысль и не возмогши ея исполнить. Да не воспользуется тѣмъ по­томство наше, да не пожелаетъ вѣнца нашего и съ презрѣніемъ о насъ да не скажетъ: они были его недостойны!»

Увы, всѣ сильныя и горячія слова не могли сдѣлать «будущаго» настоящимъ. Но въ будущемъ они должны были принести свой плодъ.

Другая часть «проекта въ будущемъ» предлагаетъ отмѣнить при­дворныя чины или, по крайней мѣрѣ, не равнять ихъ съ дѣйстви­тельной заслугой,—съ чинами военными и гражданскими. Рѣчь идетъ и здѣсь отъ имени государя, который этимъ способомъ хочетъ огра­дить себя отъ лести, дѣлающей «глухими, слѣпыми и неосязательными» даже «наилучшихъ между нами». Не похожій на обычныхъ властите­лей, идеальный государь Радищева «соблюдетъ сердце свое» отъ этой заразы и «будетъ примѣромъ позднѣйшему потомству, какъ должно на взаимную пользу соединять власть со свободой».

Впрочемъ, въ *такое* отдаленное будущее и «проектъ» Радищева не заглядываетъ. Проза для такой утопіи не годится, и Радищевъ начинаетъ говорить стихами. Онъ пишетъ оду, въ которой развива­етъ упоминавшіяся выше теоріи Мабли и французской памфлетной литературы, Гольбаха и собственнаго своего примѣчанія къ переводу Мабли (см. выше стр. 373, 386).

Какъ мы уже говорили, книга Радищева сразу вызвала «великое любопытство» публики въ Петербургѣ. О ней «говорили по всему го­роду». Это было не мудрено. Все, что только крупными, по частямъ, въ формѣ намековъ и иносказаній высказывалось до сихъ поръ въ новиковскихъ журналахъ,—все это было здѣсь сведено въ одинъ фо-

*) Ни Екатерина, ни послѣдующіе изслѣдователи не обратили вниманія на *форму*, въ которой изложенъ радищевскій проектъ, и въ которой эта угроза аграр­ной революціей, конечно, не можетъ быть истолкована, какъ подстрекательство въ бунту.

кусь, сказано прямо и сильно и освѣщено опредѣленной общей теоріей. И все это было сказано въ тотъ моментъ, когда одушевленіе, вызванное взятіемъ Бастиліи, еще не успѣло охладѣть въ интеллигентныхъ кружкахъ столицы, но уже ясно было, что настроеніе императрицы мало соотвѣтствуетъ этому одушевленію.

Екатерина была одной изъ первыхъ читательницъ «Путешествія», и въ этомъ отношеніи надежды Радищева «пробиться» къ престолу совершенно исполнились. Но впечатлѣніе получилось обратное тому, на какое рассчитывалъ Радищевъ. Въ его книгѣ Екатерина, прежде всего, увидѣла личную обиду себѣ, а затѣмъ, «разсѣяніе заразы французской». Перваго она никогда не прощала, а второго имѣла особенные поводы не простить въ 1790 году. «Ничто ей не можетъ быть досаднѣе, какъ-то, когда докладывая ей по какимъ дѣламъ, въ сопротивленіе воли ея, законы поставляютъ; и тотчасъ отвѣтъ отъ нея вылетаетъ: а развѣ я не могу, не взирая на законы, сего учинить? Но не нашли никого», прибавляетъ Щербатовъ къ только что приведеннымъ его словамъ, «кто бы осмѣлился отвѣтствовать ей, что *можетъ*—яко деспотъ, но съ поврежденіемъ своей славы и повѣренности народной». Самъ Щербатовъ набросалъ картину русской дѣйствительности въ концѣ царствованія Екатерины, и эта картина,—«черная», но «непристрастная», до поразительнаго сходна съ картиной Радищева и съ жалобами Кутузова. Но картина Щербатова, также какъ и злыя письма Ростопчина, и мемуары иностранцевъ, подтверждающіе ее, оставались въ рукописи при жизни Екатерины. «Не нашли никого, кто бы осмѣлился» сказать ей правду въ лицо: никого, за исключеніемъ Радищева, который смѣло поставилъ соблюденіе «закона» и водвореніе законности, какъ *conditio sine qua non* для сохраненія «славы и народной повѣренности» Екатериной.

Такимъ образомъ, личныхъ мотивовъ было бы уже достаточно для объясненія того, какъ отнеслась Екатерина къ книгѣ Радищева. Характерно, что и у писателя она, прежде всего, предположила личные мотивы. Прочтя «сонъ» Радищева и основательно заключивъ, что въ немъ обнаруживается «намѣреніе, для чего вся книга писана», Екатерина затѣмъ истолковала это намѣреніе такъ: «объ закладъ битися можно», что поводъ къ написанію «есть тотъ: для чего входъ не имѣетъ въ чертоги. Можетъ быть, что имѣлъ когда ни на есть, а нынѣ, не имѣя, съ дурнымъ и, слѣдовательно, неблагодарнымъ сердцемъ подвизается перомъ». Но скоро императрица догадывается, что имѣетъ дѣло не съ представителемъ придворной оппозиціи, а съ кѣмъ-нибудь изъ учившихся «въ Лейпцигѣ». Тогда ея объясненіе мѣняется, сохраняя однако прежній характеръ. Авторъ «родился въ необузданной амбиціи и, готовясь къ высшимъ степенямъ, донынѣ еще не дошедъ, желчи нетерпѣніе разлилось на все установленное». «Скажите сочинителю», приказываетъ она въ концѣ концовъ, «что я читала его книгу отъ

доски до доски и, прочтя, усумнилась, не сдѣлано ли ему мною какой обиды». Такъ далеки и несоизмѣримы оказались точки зрѣнія императрицы и автора,—и такъ невозможно было, при этомъ условіи, установить то взаимное пониманіе, на которое рассчитывалъ Радищевъ.

Какъ бы то ни было, и самыя теоріи «Путешествія» оказались, на взглядъ Екатерины, «криминальнаго намѣренія». Это намѣреніе, по ея словамъ, «на всякомъ листѣ видно; сочинитель наполненъ и зараженъ французскимъ заблужденіемъ, ищетъ всячески и защищаетъ все возможное къ умаленію почтенія къ власти и властямъ, къ приведенію народа въ негодование противъ начальниковъ и начальства». Радищевъ могъ, сколько угодно, приводить въ свое оправданіе, что книгу свою «писалъ онъ прежде, нежели въ Франціи было возмущеніе». Онъ не могъ отрицать, что «знаніе имѣетъ довольно и многихъ книгъ читалъ»; между ними опытный глазъ Екатерины различилъ Руссо и Рейналя *). Несомнѣнно было и то, что усвоенныя имъ теоріи «совершенно тѣ, отъ которыхъ Франція вверхъ дномъ поставлена», что онъ «любитъ распространять гипохондрическія и унылыя мысли», которыхъ такъ не любила императрица. Екатерина вывела, наконецъ, общее заключеніе, что авторъ «себя опредѣлилъ начальникомъ, книгою ли или инако, исторгнуть скипетры изъ рукъ царей; но какъ сіе исполнить одинъ не могъ, и оказываются уже слѣды, что нѣсколько сообщниковъ имѣлъ, то надлежитъ его допросить». Такимъ образомъ, изъ литературнаго произведенія выросъ политическій процессъ; и какъ бы ни была лично обижена Екатерина, очевидно, что къ *такому* результату могло привести только сопоставленіе «системы» Радищева съ «французскимъ развратнымъ нынѣшнимъ примѣромъ». Въ отношеніи Екатерины къ французской революціи надо искать ключа къ тѣмъ экстремнымъ мѣрамъ государственной безопасности, которыя приняты были ею въ послѣдніе годы царствованія и для которыхъ, казалось, такъ мало было реальныхъ основаній во внутреннемъ положеніи Россіи.

По отношенію къ французской націи Екатерина всегда питала чувства истинной нѣмки. «Божусь вамъ, что я никогда не любила и не люблю французовъ», говорила она англійскому посланнику. Относительно французскаго правительства это враждебное чувство подкрѣплялось соображеніями внѣшней политики. Екатерина привыкла съ самаго начала царствованія встрѣчать французскихъ дипломатовъ вездѣ на своемъ пути, будь то въ Турціи или въ Шведіи или въ Польшѣ. Но какъ разъ къ правительству Людовика XVI она перемѣнила отношеніе, такъ какъ стала въ это время искать французскаго союза. «Я такого хорошаго мнѣнія обо всемъ, что дѣлается при Людовикѣ XVI», гово-

*) Бліяніе Рейналя призналъ и самъ Радищевъ. Помимо ссѣля, у Рейналя онъ нашелъ образцы и случаи дурного обращенія съ рабами, отсюда взялъ и мнѣніе о невыгодности рабства, о грозѣщемъ возстаніи рабовъ, о необходимости улучшить участь рабовъ и т. д.

ритъ императрица въ 1779 г., «что готова бранить всѣхъ, кто будетъ его злословить». Скоро, однако, и сама Екатерина перешла въ ряды злословящихъ. Неспособность короля, расточительность королевы не укрылись отъ вниманія Екатерины. Она знала, конечно, и о беспокойномъ состоянїи умовъ во Франціи, но совѣтовала, какъ мы упоминали раньше, искать выхода въ активной внѣшней политикѣ, т.-е. въ союзѣ съ Россіей. «Бездѣйствіе двора совершенно роняетъ уваженіе къ нему», пишетъ она Гримму. «Меня никто не заподозритъ въ сочувствїи къ этому двору, но интересъ Россїи и всей Европы требуетъ, чтобы онъ вновь занялъ подобающее ему мѣсто, и притомъ какъ можно скорѣе. Французы любятъ почетъ и славу... но всякій французъ согласится, что Франція не пользуется ни тѣмъ, ни другимъ въ этомъ состоянїи политическаго небытія, при которомъ растутъ и множатся внутреннія смуты. Надо спустить натянутыя струны во внѣ страны; тогда онѣ перестанутъ точить и подкапывать ее, какъ черви—корабельное дно». Екатерина давала тутъ совѣтъ, который она сама испробовала, когда одушевленіе, вызванное въ дворянствѣ ея «легисломаніей», уступило мѣсто разочарованію и когда изъ Москвы донеслись до нея первые звуки «натянутыхъ струнъ» общественнаго недовольства. Головокружительные планы Потемкина, возстановленіе греческой имперїи, потомъ чуть не дѣлежъ Европы въ проектѣ Зубова, подоспѣли какъ разъ во-время для нея, чтобы увлечь русское общество на путь, уже испробованный ею, завоевательной внѣшней политики. Не углубляясь особенно во внутреннее положеніе Франціи, она мысленно ставила себя въ положеніе Людовика XVI, и только удивлялась, что онъ находитъ и создаетъ себѣ трудности тамъ, гдѣ она справилась бы такъ легко и просто. Ей совершенно чужда была мысль о неизбежности революціи, которую Вольтеръ и Гриммъ высказали еще въ 60-хъ годахъ и которая въ 70-хъ г. сдѣлалась уже общимъ мѣстомъ. «Я не придерживаюсь мнѣнїя тѣхъ, которые полагаютъ, что мы находимся наканунѣ великой революціи», писала она Гримму еще въ апрѣлѣ 1788 г.

При такомъ настроенїи, Екатерина встрѣтила совершенно равнодушно извѣстіе о созывѣ нотаблей. «Эта идея дѣлаетъ честь добрымъ намѣренїямъ короля, но у насъ пока о ней невысокаго мнѣнїя». Русская Коммиссія уложенїя кажется Екатеринѣ несравненно болѣе смѣлой и удачной идеей; и она не можетъ лишить себя удовольствїя—сдѣлать сравненіе въ свою пользу между этими двумя учрежденїями. Она созвала депутатовъ для блага народа; французскій король созвалъ ихъ только для того, чтобы получить деньги. Однако, огсгавка Калонна вызываетъ у Екатерины уже совсѣмъ иного рода сравненіе нотаблей съ Коммиссіей. Депутаты Коммиссіи не могли бы заставить ее противъ собственной воли отставить министра, замѣчаетъ императрица. Естественно, что скорѣ она вовсе перестаетъ одобрять созывъ нотаблей. «Богъ съ ними, съ вашими нотаблями; не знаешь дальше, чего отъ

нихъ ждать». Она не совсѣмъ довольна, разумѣется, и созывомъ генеральныхъ штатовъ; но все же еще готова съ ними мириться. Совершенно неожиданно, она даже высказываетъ одобреніе идеѣ Неккера удвоить число депутатовъ третьяго сословія,—не подозрѣвая вовсе, что логическимъ послѣдствіемъ этой мѣры будетъ превращеніе представителей *tiers-état* въ представителей всего французскаго народа. Она просто ожидаетъ, что, удвоивъ представительство *tiers-état*, король заслужитъ популярность въ народѣ и пожнетъ лавры Генриха IV. Генрихъ IV постоянно подвергается подъ перо Екатерины въ эти безпокойные годы: ея монархическій демократизмъ не идетъ дальше Генриады Вольтера; скоро она посоветуетъ читать Генриаду французскому дворянству, чтобы укрѣпиться въ лойяльныхъ чувствахъ.

Сквозь эту литературно-историческую призму Екатерина плохо разбираетъ смыслъ первыхъ событій французской революціи и невнимательно слѣдитъ за ея развитіемъ. Депутаты, правда, ставятъ королю досадныя препятствія, но, конечно, король съумѣетъ съ ними справиться, и, въ союзѣ съ Россіей, онъ возстановитъ вліяніе Франціи въ Европѣ. «Если нотабли и генеральные штаты очень ужъ разгорячатся, я советую угостить ихъ политической *guade* противъ партіи штатгальтера въ Голландіи. Это единственное средство, чтобы примирить всѣхъ и успокоить волненіе».

При такомъ увѣренномъ и спокойномъ настроеніи, 14-е іюля 1789 г. было для Екатерины громовымъ ударомъ при безоблачномъ небѣ. Послѣ взятія Бастиліи, тонъ ея сужденій о парижскихъ событіяхъ сразу и круто мѣняется. Мѣсто преувеличенной безопасности занимаютъ теперь самыя крайнія опасенія. Франція, если бы даже захотѣла, не можетъ теперь оказать никакой услуги Россіи. Въ ней наступило господство анархіи. Король — каждый день пьянъ (!): имъ управляетъ, кто хочетъ. Депутаты—сапожники: какъ могутъ сапожники управлять государствомъ; ихъ дѣло шить сапоги. Они въ состояніи повѣсить короля на фонарѣ. Съ октябрьскихъ дней, съ самаго переѣзда короля въ Парижъ изъ Версаля, Екатерина предсказываетъ: «его ожидаетъ участь Карла I». И отношеніе Екатерины къ извѣстнымъ ей дѣятелямъ революціи рѣзко измѣняется. *Астроному* Бальи она пересылала черезъ Гримма любезности и подарки; Бальи, демократическому *меру* Парижа, она отказываетъ въ своемъ портретѣ,—«портретѣ самой аристократической императрицы въ Европѣ», по ея выраженію. Лафайета, дѣятеля американской революціи, Екатерина приглашала еще въ 1787 г. пріѣхать въ Россію; Лафайетъ начальникъ національной гвардіи для нея есть «*tête à révolution*», «*Dadais le grand*». Напротивъ, Мирабо, антипатичный Екатеринѣ, какъ демократъ-писатель, на нѣсколько времени располагаетъ ее въ свою пользу какъ защитникъ королевской прерогативы. Черезъ русскаго посланника въ Парижѣ Екатерина даже заводитъ съ нимъ переговоры, съ

цѣлью привлечь его—и черезъ него все собраніе—на сторону русскаго союза. Русскій оффиціозъ, «Петербургскія Вѣдомости», съ 14-го іюля метавшій громы противъ революціи, печатаетъ по смерти Мирабо довольно сочувственный отзывъ о личности великаго трибуна. Но въ частной перепискѣ Екатерина не церемонится и съ Мирабо: онъ «достойнъ уваженія Содома и Гоморры»; это преступникъ и злодѣй, котораго давно повѣсили бы во всякое другое время. Гриммъ даже подумываетъ, не переѣхать ли ему съ улицы, которую окрестили именемъ Мирабо.

Таково было настроеніе Екатерины, когда ей пришлось прочесть книгу Радищева. Мы знаемъ, что она уже нѣсколько лѣтъ, какъ слѣдила за московскими «мартинистами» и уже приняла противъ нихъ, противъ ихъ собраній, противъ печатаемыхъ ими книгъ и противъ распространенія ихъ въ провинціи рядъ полицейскихъ мѣръ. Корреспонденція «мартинистовъ» съ ихъ стипендіатами, посланными за границу, вся перлюстрировалась, и участь членовъ московскаго «сборища» висѣла на волоскѣ. Зная, что письма распечатываются, нѣкоторые изъ «мартинистовъ» (какъ Лопухинъ, можетъ быть, и Кутузовъ), попробовали было этимъ путемъ реабилитировать себя передъ правительствомъ (стр. 390); но мы видѣли, что самыя оправданія ихъ «по совѣсти» иной разъ получали видъ цитатъ изъ Радищева. Естественно, что для Екатерины и Радищевъ показался такимъ же «мартинистомъ», а книга его—проявленіемъ того самаго якобинскаго духа, который она подозрѣвала, но до сихъ поръ не могла открыть, у членовъ московской «шайки». Вотъ чѣмъ объясняется и ея вопросъ объ «общникахъ» Радищева. Надо думать, что не совсѣмъ неосновательны были и тогдашніе петербургскіе толки, связывавшіе книгу Радищева съ именами тѣхъ же самыхъ вельможныхъ оппозиціонеровъ, Воронцовыхъ, Дашковой,—которые извѣстны намъ, какъ покровители Новикова и оппозиціонной журналистики (см. выше, стр. 298, 303).

Какъ бы то ни было, Екатерина, очевидно, смотрѣла на книгу Радищева, не какъ на случайный и индивидуальный фактъ, а какъ на симптомъ, сильно ее встревожившій. Радищеву пришлось серьезно заявлять, что, хотя одно изъ инкриминированныхъ сочиненій его и «кажется (имѣющимъ цѣлью) произвести французскую революцію, но, однако жъ, по чистой совѣсти своей» онъ можетъ «увѣрить, что сего злого намѣренія не имѣлъ». Тѣмъ не менѣе, онъ былъ преданъ суду по обвиненію, для котораго не нашлось ни одной подходящей статьи въ тогдашнихъ русскихъ уголовныхъ законахъ: книга его признана «разрушающею покой общественный, умаляющею должное къ властямъ уваженіе, стремящейся къ тому, чтобы произвести въ народѣ негодованіе противъ начальниковъ и начальства». Уголовная палата и сенатъ приговорили Радищева къ смертной казни посредствомъ отсѣченія головы. Екатерина отдала приговоръ на пересмотръ еще третьей,

не предусмотрѣнной закономъ инстанціи, военнаго «совѣта». и, наконецъ, замѣнила смертную казнь десятилѣтней ссылкой въ Сибирь. въ Илимскъ.

Очевидно, Екатерина хотѣла на Радищевѣ показать такой же примѣръ строгости, какой она совѣтовала въ эти самые мѣсяцы употребить съ нѣсколькими депутатами національнаго собранія, чтобы «образумить остальныхъ». Небывалая въ Россіи мѣра произвела, дѣйствительно, сильное и тяжелое впечатлѣніе, «La condamnation du pauvre Radistchef me fait une peine extrême», писалъ С. Ф. Воронцовъ. «Quelle sentence et quel adoucissement—pour une étourderie... cela fait frémir». Письма московскихъ мартинистовъ тоже свидѣлствуютъ объ угнетенномъ настроеніи, тѣмъ болѣе, что ударъ косвенно былъ направленъ на нихъ. Со дня на день они могли ждать, что и надъ ними разразится гроза, какъ ни старались они предупредить ее своими демонстративными заявленіями о несогласіи съ Радищевымъ. Дѣйствительно, уже весной 1791 г. графъ Безбородко пріѣхалъ въ Москву съ указомъ—произвести слѣдствіе надъ мартинистами. Но Безбородко находилъ подобныя мѣры «несоотвѣтствующими славѣ Екатерины» и пользуясь даннымъ ему полномочіемъ, оставилъ бумагу у себя въ карманѣ. Преслѣдованіе было отсрочено на годъ; но дальнѣйшія событія французской революціи дали ему окончательный ходъ.

Въ этихъ событіяхъ Екатерина пробуеетъ принять теперь непосредственное участіе. Подавать совѣты—поздно и бесполезно: со времени переселенія въ Парижъ король въ плѣну у народа и не имѣетъ собственной воли. Екатерина вполнѣ усваиваетъ этотъ взглядъ французскихъ роялистовъ; и помогая имъ проводить его, она безсознательно приближаетъ дѣло къ той самой роковой развязкѣ, которой такъ боятся. Послѣ смерти Мирабо, вся ея надежда на бѣгство короля: она его совѣтуетъ и помогаетъ устроить. «Вы отлично сдѣлаете», пишетъ она Гримму (апрѣль 1791), «если возьмете съ собой или даже, по возможности, спрячете въ карманъ, удаляясь изъ Содома и Гоморры, короля французовъ, чтобы онъ добрался цѣлымъ и невредимымъ до границъ своего королевства. Тамъ вы его сдадите Булье или какому-нибудь другому благонадежному человѣку, чтобы онъ предохранилъ его христіаннѣйшее величество отъ всѣхъ несчастій, которыя, какъ намъ кажется, ему угрожаютъ... Вотъ уже три года, какъ мы дрожимъ за жизнь» короля и его семьи. Получивъ извѣстіе, что бѣгство состоялось (не безъ участія русскаго посольства, какъ извѣстно), петербургскій дворъ ликуетъ; но тотчасъ же приходитъ новая вѣсть, что король арестованъ, и императрица сильно поражена. «Я думаю, что главное затрудненіе для бѣгства короля представлялъ самъ онъ», справедливо замѣчаетъ она. Больше всего тревожитъ ее теперь вопросъ: «подпишетъ ли христіаннѣйшій король противохристіанскую конституцію. Самой своей подписью онъ отлучитъ самого

себя». При извѣстїи, что конституція подписана королемъ, гнѣвъ императрицы не знаетъ границъ. Она выходитъ изъ себя, «топаетъ ногами» отъ раздраженія. Это уже не просто политическая ошибка; это—недостойная низость:

«Renoncer aux Dieux, que l'on croit dans son coeur,
— C'est le crime d'un lâche, et non pas une erreur».

И «можно ли помогать такому королю, который самъ своей пользы не понимаетъ». Подписавъ конституцію, онъ санкціонировалъ парижскіе событія. Онъ уничтожилъ самъ себя, в логическомъ послѣдствіемъ долженъ быть разрывъ дипломатическихъ сношеній съ его правительствомъ. Уже въ августѣ 1790 года Екатерина велѣла всѣмъ русскимъ въ Парижѣ немедленно вернуться на родину. Въ августѣ 1791 года она перестала принимать при дворѣ официальнаго представителя Франціи Жюнета, «яраго демагога», а въ началѣ слѣдующаго года въ Петербургъ явился личный повѣренный короля, Бомбелль. Но на короля Екатерина уже не надѣется болѣе; настоящимъ представителемъ Франціи становится третье лицо—посланецъ братьевъ короля и эмигрантовъ,—Эстергази. На эмигрантовъ Екатерина переноситъ всѣ надежды; Кобленцъ становится для нея истинной столицей Франціи; туда она посылаетъ своего уполномоченнаго, гр. Румянцева. «Петербургскія Вѣдомости» наполняются статьями эмигрантовъ и становятся органомъ непримиримаго роялизма. Екатерина увѣрена или дѣлаетъ видъ, что увѣрена, что эмигрантамъ не трудно будетъ оружіемъ усмирить взбунтовавшуюся страну; и она уже даетъ совѣты, какъ реорганизовать замиренную Францію. Главное—это «устранить идею полного равенства». Для этого надо возстановить «древніе обычаи, которые внушаютъ публикѣ уваженіе къ рангамъ... Особы высшаго ранга должны всегда показываться не иначе, какъ въ особомъ костюмѣ, съ лентами и другими отличіями. Принцы вѣкогда не должны допускать къ себѣ иначе, какъ во фракѣ». Очень полезно возстановить парламенты; съ ихъ претензіями справиться не трудно, но они служатъ несомнѣнной поддержкой монархіи: безъ нихъ, добавляла Екатерина въ перепискѣ съ Гриммомъ, монархія превратится въ республику, или въ деспотизмъ *).

Совѣтовъ Екатерина давала сколько угодно. На денежныя субсидіи она была значительно скупѣе. А что касается помощи войсками, она вѣкогда серьезно о ней не думала, такъ какъ очень скоро она стала эксплуатировать революцію для цѣлей собственной внѣшней политики. Она втянула шведскій дворъ въ борьбу, старалась втянуть прусскій и австрійскій—съ совершенно опредѣленной цѣлью отвлечь ихъ вниманіе отъ ближайшей къ Россіи арены екатерининской политики: отъ Турціи и Россіи. «Есть мотивы, о которыхъ нельзя гово-

*) Эта реминисценція изъ Монтегкье освѣщаетъ намъ отношеніе Екатерины къ той постоянной законодательной комиссіи, которую она проектировала, слѣдуя совѣту Дидро.

рить: я хочу вовлечь ихъ въ дѣло, чтобы у меня были руки развязаны. У меня много предпріятій неоконченныхъ, и надобно, чтобы они были заняты и мнѣ не мѣшали». Такъ говорила Екатерина своему секретарю Храповицкому. Западнымъ дипломатамъ она, разумѣется, говорила другое. Она тоже будетъ сражаться съ «якобинцами», но не въ Парижѣ, а въ Стокгольмѣ, въ Варшавѣ и въ Константинополѣ. Въ Стокгольмѣ «одинъ изъ воспитателей молодого короля состоитъ вождемъ мистическаго движенія теософовъ, стремящихся къ испроверженію христіанской религіи и престоловъ» *). Польша тоже полна якобинскими клубами. Наконецъ, турокъ «демократы подстрекають объявить войну обоимъ императорскимъ дворамъ».

При такомъ положеніи дѣлъ, прусскій и вѣнскій дворы, естественно, предпочитали оборачиваться назадъ, на Вислу и Черное море. вмѣсто того, чтобы спѣшить на помощь эмигрантамъ, ожидавшимъ ихъ въ Кобленцѣ. Такимъ образомъ, направивъ сторонниковъ короля на путь непримиримой борьбы съ революціей, Екатерина все сдѣлала, чтобы сдѣлать исходъ этой борьбы безнадежнымъ. Ея собственная политика на востокѣ отвлекла вниманіе Европы отъ революціи и наиболѣе способствовала торжеству революціи надъ коалиціонными силами, а слѣдовательно, и надъ королемъ.

Событія въ Парижѣ, при этихъ условіяхъ, быстро шли къ развязкѣ. И какъ ни готова была Екатерина къ этой развязкѣ, какъ часто ни предсказывала она ее, когда еще было возможно ее избѣжать, теперь, когда она стала неизбѣжна, парижскія событія подѣйствовали на нее, какъ рядъ ошеломляющихъ неожиданностей. Обстоятельства сложились такъ, что и помимо этого нервы Екатерины были сильно потрясены. Въ октябрѣ 1791 года, въ самое трудное для нашей политики время, умеръ Потемкинъ; потеря эта стоила Екатерину «слезъ и отчаянія» и вызвала у ней тяжелое признаніе, что она «не успѣла приготовить людей» и что «теперь не на кого опереться». Начался зубовскій режимъ, вызывавшій негодованіе даже у такихъ людей, какъ Ростопчинъ. Не оправилась Екатерина отъ этого «страшнаго удара обухомъ», какъ пришло въ Петербургъ извѣстіе объ убійствѣ Густава III-го. «Я боюсь совсѣмъ отупѣть отъ этихъ событій, которыя бьютъ васъ по нервамъ», писала императрица Гримму (апрѣль, 1792). «Напримѣръ, внезапная смерть императора; убійство шведскаго короля; послѣдствія, которыхъ можно каждый день ждать во Франціи». Тотчасъ затѣмъ распространились слухи о готовящемся покушеніи на жизнь самой императрицы. «Якобинцы вездѣ печатають, что они меня убьютъ, и что съ этой цѣлью послано трое или четверо лицъ, относительно которыхъ меня предупреждаютъ со всѣхъ сторонъ... Въ Варшавѣ Маззеу держалъ пари, что 3-го мая меня не бу-

*) Это—то самое, въ чемъ Екатерина обвиняла русскихъ «мартинистовъ» и Радищева.

детъ въ живыхъ; говорятъ, и меръ Петіонъ увѣрялъ, что 1-го іюня меня не будетъ на свѣтѣ... Когда же, наконецъ, положатъ конецъ всѣмъ этимъ преступнымъ фактамъ». Екатерина прибавляетъ, правда, что не вѣритъ слухамъ, но, однако, принимаетъ свои мѣры. 9-го апрѣля посланъ секретный указъ петербургскому губернатору, «чтобы искать француза, пріѣхавшаго черезъ Кенигсбергъ 22-го марта съ злымъ умысломъ на здравіе ея величества: взяты предосторожности на границѣ и въ городѣ. Даны указы, чтобы строго смотрѣть за пріѣзжающими въ Царское Село и Софію, а паче за иностранцами». При такомъ настроеніи, даже шутки императрицы принимаютъ особый оттѣнокъ. Она смотритъ въ окно на солдатъ и говоритъ: «У этихъ нѣтъ патріотическихъ пикъ». — «И красныхъ колпаковъ». подхватываетъ услужливый секретарь, Храповицкій.

Между тѣмъ, въ Петербургѣ зловѣщіе слухи принимаютъ новую, конкретную форму. Мартинисты хотятъ покуситься на жизнь императрицы. Они уже бросали между собой жребій и т. д. Едва ли можно считать случайностью, что въ тотъ самый день, когда въ Петербургѣ полиція искала «француза Басевия» (13-го апр.), императрица подписала указъ Прозоровскому въ Москву объ арестѣ Новикова. Арестованный у себя въ деревнѣ, онъ въ маѣ былъ, со всевозможными предосторожностями, перевезенъ окольными путями въ Шлиссельбургъ и тамъ допрошенъ Шешковскимъ. Судебная процедура, употребленная въ дѣлѣ Радищева, — согласно убѣжденію императрицы, что *c'est l'opinion publique*, — на этотъ разъ была сочтена излишней и неудобной по самому характеру подозрѣній. Екатерина до конца дознанія осталась при убѣжденіи, что Новиковъ «не открылъ еще сокровенныхъ своихъ замысловъ»; между тѣмъ, всѣ наличные матеріалы для допроса были использованы. Не доводя дѣло до суда, Екатерина распорядилась, вмѣсто «тягчайшей и нещадной казни», какой заслуживалъ Новиковъ «по силѣ законовъ», — «слѣдуя сродному намъ челоуколюбію и оставляя ему время на принесеніе въ своихъ злодѣйствахъ покаянія, запереть его на пятнадцать лѣтъ въ Шлиссельбургскую крѣпость». Для стараго и больного Новикова этотъ приговоръ, очевидно, имѣлъ смыслъ пожизненнаго тюремнаго заключенія. Вслѣдъ затѣмъ, пострадали и другіе, наиболѣе видные члены московскаго «сборища». Кн. Н. Н. Трубецкой и И. П. Тургеневъ высланы на жительство въ свои деревни. Молодые стипендіаты масоновъ, Колокольниковъ и Невзоровъ, арестованы при возвращеніи изъ-за границы: первый заболѣлъ и умеръ подъ арестомъ; второй перенесъ сильное нервное потрясеніе, совершенно подломившее ту стойкость характера, которую онъ обнаружилъ при первыхъ шагахъ слѣдствія, настаивая на строгомъ соблюденіи законныхъ формъ. Неоднократно упоминавшійся Кутузовъ, другъ Радищева, вовсе не рѣшился возвращаться въ Россію и скоро умеръ за границей.

Несмотря на такой полный разгромъ подозрительныхъ для нея элементовъ, Екатерина все еще продолжала опасаться «французской заразы». Еще въ концѣ того же 1792 года она велѣла строго слѣдить за однимъ иностраннымъ выходцемъ (Милліоти), подозрѣвая, «не заводитъ ли (онъ) здѣсь (т.-е. въ Петербургѣ) якобинскаго клуба». Уже послѣ перваго прихода парижской черни въ Тюльери (20-го іюня 1792 г.) Екатерина выслала изъ Россіи окончательно французскаго посла. 10-го августа и арестъ короля вырвалъ у ней новые крики ужаса. Казнь короля уложила Екатерину на нѣсколько дней въ постель. Всѣ сильныя выраженія ея лексикона давно уже были израсходованы. «Петербургскія Вѣдомости» теперь тоже сразу замолчали, не рѣшившись даже сообщить публикѣ о смерти Людовика XVI. Очевидно, самое сообщеніе дальнѣйшихъ свѣдѣній о революціи, хотя бы съ безусловно враждебной точки зрѣнія, считалось неудобнымъ. Едва оправившись, Екатерина приступила къ рѣшительнымъ дѣйствіямъ. Всякія сношенія съ Франціей объявлены были прекращенными. Французскіе корабли не допускаются болѣе въ русскія гавани; поѣздки русскихъ во Францію, сношенія съ французами, даже выписка французскихъ журналовъ и ношеніе французскихъ модъ были строго воспрещены. Выгнать изъ самой Россіи всѣхъ французовъ было бы трудно; но Екатерина и тутъ приняла строгую мѣру. Она составила присягу, которою французы обязывались впредь до возстановленія порядка «прервать всякія сношенія съ своими соотечественниками, подживившимися въ настоящее время незаконному и отвратительному правительству», осудить «преступленіе, совершенное этими чудовищами относительно личности короля» и отречься отъ «безбожныхъ и разрушительныхъ принциповъ, введенныхъ лицами, захватившими незаконно верховную власть» во Франціи. Такимъ образомъ, всѣ французы были превращены въ «ревностныхъ роялистовъ», по выраженію Екатерины. Изъ 1.500 французскихъ подданныхъ, только 43 отказались принести эту присягу, лишавшую ихъ отечества, такъ какъ имена присягнувшихъ печатались въ «Петербургскихъ Вѣдомостяхъ» и въ иностранныхъ газетахъ. Всѣ французы, допускавшіеся къ императрицѣ, подлежали съ этихъ поръ своего рода «политическому карантину», какъ выражалась сама Екатерина.

Среди всеобщаго молчанія, вызваннаго репрессіей, только одинъ голосъ въ русской журналистикѣ раздавался въ пользу «милости» къ жертвамъ. Голосъ этотъ принадлежалъ Карамзину. Въ своемъ «Московскомъ журналѣ» (1792 г.) онъ напечаталъ оду «Къ милости», въ которой осторожно напоминалъ Екатерину точку зрѣнія ея лучшихъ годовъ:

Доколѣ милостью пребудешь,	По мыслямъ жизнь располагать...
Доколѣ пользоваться будешь	Доколѣ правда не страшна,
Ты правомъ матери одной,	И чистый въ сердцѣ—не боится
Доколѣ гражданинъ спокойно,	Въ своихъ желаніяхъ открыться
Безъ страха можетъ засыпать	Тебѣ, владычица души;
И всѣмъ твоимъ подвластнымъ вольно	Доколѣ всѣмъ даешь свободу

свѣта не темнишь въ умахъ,
 Доколь довѣренность къ народу
 Видна во всѣхъ твоихъ дѣлахъ:
 Дотоль будешь свято чтима,
 Отъ подданныхъ боготворима
 И славима изъ рода въ родъ.

Спокойствія твоей державы
 Ничто не можетъ возмутить...
 Тотъ тронъ на вѣкъ не потрясется,
 Гдѣ онъ любовью бережется
 И гдѣ на тронѣ ты сидишь.

Но самъ Карамзинъ, этотъ духовный сынъ новиковскаго кружка, былъ уже, въ сущности, человѣкомъ другого поколѣнія. Въ активѣ людей этого поколѣнія, выросшихъ и выступившихъ на общественную арену въ девяностыхъ годахъ, уже не было тѣхъ свѣтлыхъ впечатлѣній, на которыхъ выросли свидѣтели екатерининской «легисломаніи», шестидесятники и семидесятники XVIII вѣка. Въ глазахъ этихъ старшихъ товарищей Карамзинъ былъ благонамѣреннымъ, но политически-не развитымъ юношей, и они не могли понять, какъ, съ своимъ легкимъ багажомъ, онъ рѣшался выступить на журнальное поприще. Онъ, однако же, выступилъ—и имѣлъ успѣхъ. Это значило, что его слушаетъ новое поколѣніе, которому онъ былъ понятнѣе и доступнѣе своихъ старшихъ друзей. Къ настроенію этого поколѣнія мы еще вернемся. Но теперь же необходимо замѣтить, что настроеніе это создавалось не только отрицательными, а и положительными впечатлѣніями. Когда замолкли голоса семидесятниковъ, на опустѣвшей аренѣ раздались другія рѣчи. Интеллигентное общественное мнѣніе было остановлено въ своемъ развитіи; зато тѣмъ съ большей свободой выступило подпочвенное теченіе, широкое и сильное количественно, но стусевывавшееся до тѣхъ поръ передъ общимъ духомъ времени и передъ качественными преимуществами лучшихъ представителей интеллигенціи. Очередь была за націонализмомъ и за націоналистическою теоріей, слабые зародыши которой мы видѣли уже въ жизни и въ сатирической литературѣ.

Мы не упоминали до сихъ поръ объ одномъ важномъ симптомѣ націоналистическаго настроенія—о театрѣ. Изъ всѣхъ формъ интеллигентнаго общенія, театръ по самому существу своему есть наиболѣе консервативная, наиболѣе принужденная считаться съ умственными привычками и традиціями широкой публики. Если вамъ нужно составить сужденіе о степени интеллигентности средней публики, о ея симпатіяхъ и предразсудкахъ, о томъ, что у ней принято и не принято, — словомъ о всѣхъ продуктахъ соціологическаго «подражанія» въ данной средѣ, — идите въ театръ, и все это тамъ отразится для васъ, какъ въ зеркалѣ. Заговоривъ теперь о подпочвенномъ теченіи націонализма, — мы всего удобнѣе ознакомимся съ нимъ, если обратимъ вниманіе на то, какое же настроеніе средней публики выражала, къ какому настроенію приспособлялась екатерининская сцена?

Мы говорили въ другомъ мѣстѣ, насколько сблизилась эта сцена съ жизнью, и какъ персонажи изъ русской дѣйствительности, изъ средняго и «подлаго» класса мало-по-малу вытѣсняли классическихъ царей и героевъ. Въ нѣкоторыхъ отдѣльныхъ случаяхъ сцена даже дѣлалась

отголоскомъ передовыхъ взглядовъ, философскихъ и политическихъ. За такіе именно отголоски,—очень похожіе на тѣ, за которые въ 1785 г. Екатерина не хотѣла преслѣдовать Николаева (стр. 237),—она въ 1791 г. запретила посмертную и не поставленную еще на сцену пьесу Княжнина («Вадимъ»), какъ только эта пьеса появилась, благодаря оппозиціонному либерализму кн. Дашковой, въ печати. Но это были одиночныя исключенія. Въ общемъ, русскій театръ сбросилъ ложно-классическую тогу лишь для того, чтобы служить выраженіемъ—и источникомъ—націоналистическихъ настроеній и взглядовъ полуинтеллигентныхъ и вовсе неинтеллигентныхъ слоевъ публики. Перечитывая многочисленныя пьесы тогдашняго «Россійскаго Театра», мы можемъ составить себѣ отчетливое представленіе о томъ запасѣ общихъ мѣстъ и сентенцій, который вошелъ въ умственный сбиходъ этой публики. Далѣе мы увидимъ, что на этомъ же основномъ фундаментѣ популярныхъ общихъ мѣстъ строили свои взгляды и болѣе интеллигентные представители русскаго націонализма.

Народный элементъ есть первое, что по справедливости бросается въ глаза, какъ новая особенность русскаго театра послѣдней трети или четверти XVIII-го вѣка. Но народъ же, какъ мы знаемъ, составлялъ главную, если не исключительную цѣль публицистической и общественной дѣятельности передовыхъ кружковъ интеллигенціи. «Народъ» русскаго театра—это совсѣмъ, однако, не тотъ народъ, надъ страдой котораго болѣютъ душой новиковскіе журналы и Радищевъ, недоѣданію котораго стараются помочь московскіе масоны. За немногими исключеніями, всѣ эти диссонансы деревенскихъ будней остаются за кулисами русскаго театра. На сценѣ являются веселые и довольные, по праздничному приваряженные пейзаже, которые поютъ и пляшутъ, влюбляются и женятся, благословляютъ судьбу и помѣщика. Для примитивнаго театральнаго вкуса необходимо соединить музыку и танцы съ драматическимъ дѣйствіемъ; необходимо балетъ и хоръ: мужики, мужицкіе костюмы, мужицкія пѣсни являются самымъ подходящимъ матеріаломъ,—какимъ они являлись уже на барскихъ праздникахъ, въ мало-мальски богатой помѣщичьей усадьбѣ. Ничего не стоитъ, конечно, въ мужицкую среду перенести и незатѣйливую любовную интригу: ложно-классическая пастораль уже приготовила публику къ этой идеализаціи деревенской простоты въ лицѣ какого-нибудь пастуха «Медора» или пастушки «Прелесты». Такимъ образомъ, всѣ элементы національной русской комической оперы оказываются уже готовыми и привычными для зрителя; «комическая опера» и является самой любимой театральной формой, которая заразы и удовлетворяетъ, и воспитываетъ инстинктивный націонализмъ широкой публики. Иногда этотъ театральнй «народъ» говоритъ на настоящемъ народномъ языкѣ, какомъ-нибудь мѣстномъ діалектѣ (напр., Милозоръ и Прелеста); онъ сыщлетъ подлинными народными пословицами, по временамъ (хотя рѣдко) поетъ и на-

стоящія народныя пѣсни. Но, въ общемъ, обстановка остается чрезвычайно условной и искусственной. Искусственность эта, помимо тогдашнихъ литературныхъ вкусовъ, вызывается обязательнымъ для сцены оптимистическимъ тономъ. Добродѣтельная любовь пьесы, конечно, должна испытывать препятствія. Препятствія эти берутся большей частью изъ реальной жизни. Но всегда дѣло кончается счастливой развязкой. По большей части, виноватъ во всемъ оказывается «приказчикъ», котораго въ концѣ пьесы наказываетъ (въ «Судьбѣ деревенской» — отпускаетъ на волю) благодѣтельный господинъ (напр. «Новое семейство», «Приказчикъ», «Милозоръ и Прелеста», «Деревенскій праздникъ», и др.). Если господинъ самъ влюбляется въ рабу, то или раба, по счастью, оказывается, въ концѣ концовъ, дворянкой («Анюта»), или онъ самъ не зналъ, когда влюблялся, что онъ дворянинъ («Милозоръ и Прелеста»), или у него оказывается счастливый соперникъ — крестьянинъ, которому онъ великодушно уступаетъ возлюбленную (Замиръ въ «Добрыхъ солдатахъ»). Только однажды авторъ пьесы рѣшается создать довольно реалистическую обстановку: помѣщикъ беретъ крестьянку силой и создаетъ этимъ настроеніе, очень напоминающее то, которое описалъ Радищевъ въ извѣстномъ разсказѣ объ убійствѣ крестьянами ассессора и его сыновей. Крестьяне даже хотятъ «жаловаться царицѣ», которая имъ «тоже мать». Но въ послѣдній моментъ, и тутъ дѣло кончается благополучно: помѣщикъ уступаетъ, кается и соединяетъ влюбленную парочку (Щедровъ въ «Розанѣ и Любимѣ»). Немудрено, что чуть не всѣ эти пьесы кончаются и начинаются словесіемъ помѣщику. «Попеченіе о хозяйствѣ» для крестьянъ «одна забава» («Новое семейство»). «Жизнью мы довольны, не худъ для насъ свѣтъ» («Розанъ и Любима»). «Въ нашемъ краю не знаемъ печали, помѣщикъ не давитъ работою насъ; мы любимъ сердечно его, какъ отца; плѣнилъ себѣ вѣчно онъ наши сердца» («Матросскія шутки»). «Мы живемъ въ счастливой долѣ, работая всякій часъ; жизнь свою проводимъ въ полѣ, — и проводимъ, веселясь; мы всегда своей судьбою всѣ довольны, и тобою; лошадей, коровъ, овецъ много мы имѣемъ въ полѣ и живемъ по нашей волѣ: ты намъ баринъ и отецъ. Мы руками работаемъ — и за долгъ себѣ считаемъ быть въ работѣ таковой. Давъ оброкъ, съ насъ положенной, въ жизни мы живемъ блаженной за господской головой». Баринъ тоже поетъ: «Коль крестьяне мной довольны — самъ собой доволенъ я. Коль они богаты, вольны, — въ томъ утѣха вся моя» («Деревенскій праздникъ»). Естественно, крестьянамъ остается только прицѣвять хоромъ: «Будемъ вѣчно прославляти господина своего; онъ насъ станетъ защищать; мы поремъ всѣ за него».

Такова «народность» или, лучше сказать, *этнографическое народолюбіе* тогдашняго театра, прикрывавшее красивой декорацией въ господствующемъ вкусѣ коренной социальный вопросъ русской жизни, такъ настойчиво ставившійся на очередь только-что народившейся русской публицистикой.

Если перейдемъ отъ «комической оперы» къ другому національному продукту русской сцены, къ комедіи нравовъ, то и здѣсь найдемъ гораздо болѣе пунктовъ разногласія, чѣмъ точекъ соприкосновенія между сценой и передовой публицистикой. Въ общемъ, можно сказать, что сцена овладѣваетъ давнишними темами русской сатиры; но она разрабатываетъ эти темы въ совершенно иномъ направленіи. Мы видѣли, что нападки передовой публицистики на подражаніе за-границѣ, хотя и соприкасались съ націоналистическими теченіями въ самой жизни, но тѣмъ не менѣе постоянно сопровождались особымъ оттѣнкомъ: это были нападки на тотъ соціальныи слой, въ которомъ заимствованія принимали каррикатурный и уродливый характеръ. Никогда эта публицистика не позволяла себѣ указывать на темныя стороны самой западной жизни *для того, чтобы оправдать* темныя явленія у насъ или ослабить производимое ими впечатлѣніе. Стоило отбросить или затушевать эту разграничительную черту,—и критика дворянской искусственно-подражательной культуры обращалась въ злорадный смѣхъ надъ западничествомъ вообще; особенно, если къ обѣимъ отмѣченнымъ чертамъ присоединялась третья: недоувѣріе къ самому источнику западнаго прогресса,—къ наукѣ. Всѣ эти типическія особенности націоналистическаго отношенія къ западной культурѣ,—особенности, совершенно отсутствующія въ передовой публицистикѣ,—мы въ изобиліи встрѣтимъ на русской сценѣ.

Персонажи русской комедіи рѣзко дѣлятся на двѣ категоріи: типы отрицательные и типы положительные. Въ категорію отрицательныхъ типовъ безусловно заносятся *все* иностранцы, появляющіеся на сценѣ: это исключительно плуты, авантюристы и эксплуататоры. Оставляя ихъ въ сторонѣ, находимъ двѣ разновидности отрицательнаго типа, иногда сливающіяся между собою. Это или *злодѣй* по натурѣ, неисправимый интриганъ, котораго авторъ клеймитъ самымъ названіемъ (Злорадовъ, Злотворъ, Змѣядъ, Ядонъ и т. д.) и котораго неизмѣнно караетъ въ концѣ пьесы, часто при помощи полиціи и властей; или же это *жертва*, человекъ по природѣ не дурной, но испорченный «обращеніемъ съ порочными людьми». Погнавшись за модой и за свѣтскимъ лоскомъ, онъ попадаетъ въ дурную компанію, которая его обираетъ, заставляетъ продать деревни и надѣлать долговъ, а потомъ—или бросаетъ на произволь судьбы, если онъ человекъ простодушный и ограниченный, или же, что гораздо рѣже, принимаетъ его въ свой кругъ ловкихъ плутовъ и пройдохъ *). Брошенный старыми пріятелями, онъ иногда находитъ въ себѣ силу раскаяться и подчиниться вліянію людей добродѣтельныхъ **).

Мы поймемъ теперь тенденцію этой комедіи, если скажемъ, что

*) Всего полнѣе и ярче эта метаморфоза описана въ комедіи «Перемѣна въ правахъ»; затѣмъ «Воспитаніе», «Свадьба г. Промоталова» и др.

**) Напр. Добросердовъ («Мотъ, любовью направленный»), Богатовъ (Перемѣна въ нравахъ), Постоанновъ (Награжденіе добродѣтели).

все, что портитъ людей, все, что отличаетъ дурную компанію отъ хорошей, плута отъ честнаго человѣка и негодяя отъ героя добродѣтели—все это, за немногими исключеніями злодѣевъ отъ природы, сводится къ французскому воспитанію или вліянію французскихъ нравовъ. Въ этой галлерей типовъ мы встрѣчаемъ декадента-риемача Модстриха («Самолюбивый стихотворецъ»); копіи съ фонвизинскаго «Иванушки»: Франколюба («Русскій парижанецъ») и Махалова (отъ моднаго глагола «махаться»=волочиться, въ «Воспитаніи»); петиметра съ хлестаковскимъ оттѣнкомъ (Верхолетъ въ «Хвастунѣ»), петиметра-пижона, затверживающаго со словъ своего наставника, что «добродѣтель, вѣра, законъ суть предрасудки», и «ни добра, ни зла нѣтъ» на свѣтѣ (Пустовъ въ «Злоумномъ»); петиметра-плута, Промоталова, «придворнаго человѣка», снисходящаго до женитьбы на богатой деревенщинѣ («Свадьба г. Промоталова»); петиметровъ-рагвепус, купцовъ и мѣщанъ въ дворянствѣ, улавливаемыхъ пройдохами на удочку тщеславія и безцеремонно обираемыхъ (Богатовъ въ «Перемѣнѣ въ нравахъ»; Глуповъ въ «Обманѣ за обманъ»); цѣлую серію соответствующихъ женскихъ типовъ—«щеголихъ» русской сатиры (Легкомысла, Вѣтромысла, Вѣтродумова, Жеманыха и т. д.). Передъ типами сатирическихъ журналовъ всѣ эти фигуры, несомнѣнно, представляютъ нѣкоторое преимущество жизненности, такъ какъ сцена поневолѣ переноситъ ихъ въ ихъ реальную обстановку—русской помѣщичьей жизни. Что въ этой обстановкѣ эти типы не были рѣдкостью,—это доказывается тѣмъ, что вопросъ о сыновьяхъ-мотахъ и петиметрахъ, живущихъ не по средствамъ и пускающихъ на вѣтеръ наследственное состояніе, поднять былъ и серьезно обсуждался, какъ одинъ изъ самыхъ жизненныхъ и больныхъ вопросовъ, въ засѣданіяхъ самой екатерининской комиссіи. Согласно съ депутатами, и русская сцена на отвѣтственность этой золотой молодежи возлагаетъ отягощеніе крестьянъ непосильными оброками и поборами: для такого важнаго случая, какъ видимъ, она даже рѣшается приподнять край завѣсы, скрывающей отъ театральной публики деревенскую дѣйствительность. Какъ бы то ни было, вся вина и тутъ падаетъ на дурное французское воспитаніе. Мы видимъ, что и въ этомъ случаѣ сцена отвлекаетъ вниманіе своей публики отъ болѣе глубокаго объясненія,—опять-таки изъ страха встрѣтиться при этомъ съ тѣмъ же грознымъ и тщательно замалчиваемымъ социальнымъ вопросомъ.

Но взглянемъ на *положительные* типы русской комедіи. Въ ихъ ряду мы, прежде всего, тщетно стали бы искать представителей какого-нибудь изъ передовыхъ интеллигентныхъ теченій, о которыхъ шла рѣчь выше. Если комедія изображаетъ литератора, то это «самолюбивый стихотворецъ», равняющій себя съ Вольтеромъ. Если она изображаетъ «безбожника» утверждающаго, что лишь «суевѣріе мѣшаетъ намъ дать волю сердцу», то это извергъ и злодѣй, котораго въ буквальномъ смыслѣ Богъ убиваетъ громомъ въ концѣ пьесы. Если выводится на сцену масонъ, то это—по примѣру Екатерины—или обман-

щикъ Хитроумъ, или обманутой Легковѣръ; и бесѣда ихъ съ духами оказывается мошеннической продѣлкой въ стилѣ Калиостро и Калифалкжерстона («Мнимый мудрецъ»). Разъ, правда, пьеса заступається за «мартинистовъ» и обвиняетъ петиметровъ въ разнесеніи ложныхъ слуховъ о нихъ по гостинымъ: во это единственное исключеніе; притомъ же авторъ не рѣшается идти дальше общаго опроверженія.

Оставляя передовыя теченія въ сторонѣ, мы находимъ, что положительные типы комедіи относятся къ одной изъ двухъ категорій. Во-первыхъ, это *резонеръ* пьесы, старшій годами, отецъ или дядюшка; во-вторыхъ, покровительствуемые имъ молодые влюбленные, которыхъ онъ ведетъ къ благополучному браку. Связь между обоими разновидностями вполне естественная, такъ какъ и всѣ разсужденія благороднаго отца или дядюшки не идутъ дальше круга личной морали,—дальше того, что способствуетъ выясненію добродѣтелей жениха и невѣсты и устанавливаетъ кодексъ ихъ жизни. Всѣ многочисленныя копіи того и другого типа, какъ бы они ни назывались*), какъ двѣ капли воды напоминаютъ хорошо извѣстныя блѣдныя фигуры благородныхъ резонеровъ и добродѣтельныхъ влюбленныхъ фонвизинскихъ комедій. Они говорятъ общими мѣстами тогдашняго просвѣщенія; но вглядываясь въ эти общія мѣста, мы не найдемъ между ними ряда такихъ, въ которыхъ привыкли видѣть общія мѣста интеллигентной публицистики; а въ томъ, что найдемъ, встрѣтимъ и кое-что несовмѣстимое съ взглядами передовыхъ круговъ. Мы неоднократно видѣли, наприимѣръ, какъ всѣ передовыя теченія одинаково настаивали на значеніи разума для «истинной» морали,—морали самопознанія. «Предразсудки», съ этой точки зрѣнія, являлись главнымъ и злѣйшимъ врагомъ «добродѣтели». Нельзя сказать, чтобъ и комедія была противъ «разума» и защищала «предразсужденіе». Но фактъ тотъ, что предразсудковъ она опасается *меньше*, чѣмъ разума, и «добродѣтель» въ комедіи чаще и легче мирится съ предразсудками, чѣмъ съ разумомъ. «Искореняя предразсудки», мы «воротимъ съ корня» и добродѣтель: этотъ откровенный тезисъ фонвизинскаго резонера составляетъ заднюю мысль всѣхъ нашихъ тогдашнихъ драматурговъ. Вотъ почему такіе типы, какъ Аѳросинья Сысоевна въ «Такъ и должно» или Русалей въ «Русскомъ Парижанцѣ», несмотря на всѣ свои «предразсужденія», вѣру въ чертей и въ примѣты, вызываютъ симпатію авторовъ и рисуются, въ противовѣсъ всякимъ «франколюбамъ», какъ типы положительные, хотя первая при всемъ этомъ сильно смахиваетъ на Простакову, а второй—на Скотинина. Все это извиняется имъ потому, что всѣ «качества» ихъ «суть русака прямого». А суевѣріе извинительно, *потому что* оно есть и въ самыхъ просвѣщенныхъ странахъ:

*) Для типа резонера: Правдолюбовъ, Праводумъ, Добромысль, Прямыковъ, Чеснодумъ, Добронравовъ, Милосердовъ, Честонъ, Правомысль, Благоразумъ, Здравомысль и т. д. Для любовниковъ: Доблестинъ, Достоинновъ, Благоразумовъ, Здравомысловъ, Чеснодумъ, Честанъ и т. д.

«За суевѣріе какъ дѣлать намъ упреки,
 Когда во Франціи лились кровавы рѣки?..
 Вѣрь, какъ бы ни была страна просвѣщена,
 Ума народнаго—не важная цѣна.
 Къ предразсужденію—во Лондонѣ, въ Парижѣ
 Народъ иль болѣе, или хотъ менѣ—ближе.

Выводъ получается очень близкій къ тому, какой мы встрѣчали во «Всякой Всячинѣ». Достоинства «русака» суть его собственные, а недостатки—общія ему съ другими народами.

Естественно, что резонеръ русской комедіи ищетъ этихъ достоинствъ «прямого русака» *) тамъ, куда еще не проникли космополитическіе пороки: въ деревню, которой противопоставляется городъ. Конечно, «люди деревенскіе—простого воспитанія: любятъ безъ нѣжности, изъясняются грубо, говорятъ просто». Но зато «городская жизнь помираетъ всѣ добродѣтели. Нѣтъ ни праводушія, ни искренности: вездѣ лукавство и обманъ». «Они (т.-е. городскіе и придворные) люди лукавые, а мы (деревенскіе дворяне) чистосердечны; они любятъ роскоши, мотовство, праздную жизнь, а мы—постоянство, умѣренность и труды, они пренебрегаютъ нами и считаютъ, что крестьянинъ самая послѣдняя тварь на свѣтѣ, крестьянинъ съ себя хотъ кожу продай, да оброкъ заплати, а мы крестьянъ любимъ и считаемъ ихъ себѣ товарищами, бережемъ ихъ, какъ глаза» (Свадьба г. Промоталова). Мы знаемъ, что и передовая публицистика къ «придворнымъ господамъ» относится вовсе не сочувственно; деревенской простотой нравовъ умиляется еще и Радищевъ. Но, конечно передовой интеллигенціи не пришло бы въ голову свести вопросъ о значеніи просвѣщенія къ полемикѣ между городомъ и деревней, и еще труднѣе было бы для нея такъ фальшиво идеализировать отношеніе къ крестьянамъ мелкихъ дворянъ-хозяевъ сравнительно съ крупными помѣщиками-абсентеистами, какъ это сдѣлано, наперекоръ фактамъ, въ приведенной цитатѣ.

Расходятся съ передовыми кружками и взгляды резонеровъ комедіи на кодексъ жизненныхъ правилъ. Первое и главное, что подчеркивается въ этомъ отношеніи,—это крѣпость деревенской дворянской семьи въ противоположность какъ моднымъ взглядамъ на бракъ **), такъ и тому несомнѣнному «поврежденію нравовъ», которое такъ краснорѣчиво описано кн. Щербатовымъ. Въ самыхъ трудныхъ положеніяхъ влюбленные не рѣшаются пойти противъ воли родителей (напр. Глафира въ Именинникахъ; Пріята въ Ненавистникѣ и т. д.) Если одинъ разъ резонеръ комедіи (Праводумъ въ «Злоумномъ») и увлекается до того, что развиваетъ передъ матерью теорію, близко напоминающую

*) Въ «Русскомъ Парижанцѣ», изъ котораго взята и приведенная въ текстѣ цитата, эти достоинства перечислены такъ: «Онъ честенъ, справедливъ, незлобивъ, милосердъ, хорошій братъ, сынъ, другъ, во обѣщаньяхъ твердъ».

***) «..Жена!.. Какъ это дрянно! Жена и мужъ!.. Смѣшна.. смѣшна обоихъ роль», повторяетъ Модстрихъ въ Самолюбивомъ стихотворцѣ общее мѣсто русской сатиры на петиметровъ

радищевскую *), и предлагаетъ влюбленному жениться увозомъ, то это лишь для того, чтобы рѣзче характеризовать злонаравіе матери и «добродѣтель» влюбленнаго, который стоитъ на своемъ, находитъ, что «ни честь, ни разсужденіе, ни любовь не позволяютъ сдѣлать такого поступка». Что касается общественной дѣятельности,—для резонера она сводится къ «службѣ». Общественную дѣятельность внѣ службы ему такъ же трудно представить себѣ, какъ большинству депутатовъ екатерининской Коммиссіи. Изъ «Путешествія» Радищева извѣстно, съ какой осторожностью относились къ «службѣ» своихъ дѣтей передовые люди вѣка. И если даже они принимались серьезно думать о службѣ, имъ—начиная съ Татищева—всегда рисовалось служба *гражданская*, какъ наиболее подходящая для интеллигентнаго человѣка. Резонеру русской комедіи Екатерина не могла бы сдѣлать тѣхъ упрековъ за подобныя взгляды на службу, какіе она сдѣлала Радищеву. Конечно, резонеръ цѣнитъ въ службѣ не *чинъ*, какъ пегиметры, а самую дѣятельность, возможность быть полезнымъ. Но для него самая эта возможность не подлежитъ сомнѣнію; и особенной его симпатіей, какъ «прямого русака», пользуется служба *военная*. Сообразно съ этой цѣлью жизни онъ смотритъ и на воспитаніе. Онъ нисколько не отрицаетъ значенія заграничной поѣздки для воспитательныхъ цѣлей; онъ даже начертываетъ для такой поѣздки серьезную программу: знакомство съ внутреннимъ строемъ чужой страны, съ ея производительными силами, съ бытомъ сословій, съ политикой и современными событіями. Экзаменуя вернувшагося изъ-за границы петиметра, одинъ изъ этихъ резонеровъ (Добромысль въ «Воспитаніи») даже ставитъ ему такой вопросъ, который впору было бы поставить Радищеву. «Какъ вы тамъ находились во время самыхъ важныхъ и знаменитыхъ происшествій, а именно, когда парламенты перемѣнены (ср. стр. 373, 384), то уже легко вамъ было открывать побудительныя тому причины и разбирать, что въ старомъ было порочнаго и что въ новомъ находится полезнаго?» Но такому «разбору» самъ же этотъ резонеръ ставитъ довольно узкія рамки. По словамъ его дочери, «дѣльныя его размышленія не суть дерзновенныя критики на дѣла правительства, коихъ причины, намѣренія и основанія и самыя обстоятельства рѣдко намъ бывають извѣстны; такихъ критиковъ онъ самъ ненавидитъ и отъ нихъ удаляется». Наравнѣ съ внутренней политикой интересъ резонера направленъ и къ внѣшней; спросивъ петиметра о политической борьбѣ во Франціи, онъ переходитъ къ славѣ русскаго оружія за границей, къ толкамъ о томъ «шумѣ», который надѣлало въ Парижѣ имя Румянцева, и о томъ, какъ «громѣло» тамъ имя Орлова,—того Орлова, который «турецкій флотъ истребилъ, Константинополемъ потрясъ и російскій флагъ даже въ египетскихъ водахъ почитать заставилъ». Мы знаемъ,

*) «Кто далъ право отцамъ и матерямъ требовать отъ дѣтей своихъ, чтобы они мыслили, чувствовали и желали такъ, какъ мыслятъ, чувствуютъ и желаютъ они?...» и т. д.

что русскіе интеллигенты новиковскаго и лейпцигскаго кружковъ одинаково смотрѣли на войну, какъ на убійство, и на завоевательную политику, какъ на преступленіе передъ «человѣчествомъ». Но большая публика театра была не ихъ публикой, а публикой, для которой дѣйствовала Екатерина.

Впечатлѣнія, какихъ ожидаетъ русскій резонеръ отъ заграничнаго путешествія, заранѣе опредѣляются и предрѣшаются тѣмъ скептическимъ отношеніемъ къ европейской жизни, примѣръ котораго мы уже видѣли. Русскій туристъ этого типа—себѣ на умѣ; его не проведешь. Онъ твердо помнитъ ту аксіому, «что глупость есть своя у каждаго народа»; и очутясь за границей, онъ будетъ искать тамъ, прежде всего, не ума, а этой самой «глупости», этой оборотной медали европейской жизни. Попавъ въ Лейпцигъ,—въ тотъ самый Лейпцигъ, изъ котораго Радищевъ и его товарищи вынесли такое богатство идей и впечатлѣній, онъ презрительно будетъ острить: «Я нашелъ сей городъ наполненнымъ учеными людьми. Иные изъ нихъ почитаютъ главнымъ своимъ и человѣческимъ достоинствомъ то, что умѣютъ говорить полатыни, чему, однако-жъ, во времена Цицеронова умѣли и пятилѣтніе ребята; другіе, вознесясь мысленно на небеса, не смыслятъ ничего, что дѣлается на землѣ; иные весьма твердо знаютъ артифіціальную логику, имѣя крайній недостатокъ въ натуральной: словомъ, Лейпцигъ доказываетъ неоспоримо, что ученость не родитъ разума. Оставляя сихъ педантовъ, поѣхалъ я во Франкфуртъ-на-Майнѣ»—и могъ бы ѣхать ва конецъ свѣта и ничего не увидать, не понять и не замѣтить. Если онъ пріѣдетъ хотя бы въ самый Парижъ, гдѣ въ одно время съ нимъ Гиббонъ «въ двѣ недѣли слышалъ больше дѣльныхъ разговоровъ и видѣлъ больше просвѣщенныхъ людей, чѣмъ въ двѣ-три зимы въ Лондонѣ», то и тутъ онъ найдетъ только, что «д'Аламберты, Дидероты въ своемъ родѣ такіе же шарлатаны, какихъ видѣлъ я всякій день на бульварѣ», а литераторы, въ родѣ Мармонтеля и «еще нѣкоторыхъ» («я почти со всѣми познакомился»),—просто паразиты, которые ходятъ къ нему въ домъ, потому что онъ «ѣздитъ въ каретѣ» и кормитъ ихъ обѣдами. Нельзя не припомнить по этому поводу остроумнаго афоризма того же самаго туриста: «Кто самъ въ себѣ ресурсовъ не имѣетъ, тотъ и въ Парижѣ проживетъ, какъ въ Угличѣ». Хотя «нѣтъ ничего труднѣе, какъ чужестранцу войти въ здѣшнее общество» и хотя самъ нашъ туристъ, «по краткости времени моего здѣсь пребыванія», не могъ въ него проникнуть, тѣмъ не менѣе онъ оставляетъ Францію въ увѣренности, что «нашелъ доброе въ гораздо меньшей мѣрѣ, нежели воображалъ; а худое въ такой большой степени, которой и вообразить не могъ». Раскритиковавъ Францію по французской же книжкѣ, онъ рѣшаетъ окончательно, «что всѣ рассказы о здѣшнемъ совершенствѣ суцая ложь, что люди вездѣ люди, что прямо умный и достойный человѣкъ вездѣ рѣдокъ, что въ нашемъ

отечествѣ можно быть столько же счастливу, сколько и во всякой другой землѣ», а что Паряжъ для туриста «есть истинная зараза, которая, хотя молодого человѣка не умерщвляетъ физически, но дѣлаетъ его навѣки шалуномъ и ни къ чему неспособнымъ—вопреки тому, какъ его сдѣлала природа и какимъ бы онъ могъ быть, не ѣздя во Францію». Все это—уже не разсужденія резонера изъ русской комедіи: это выписки изъ заграничныхъ писемъ Фонвизина. Но большой разницы между тѣмъ и другимъ мы не найдемъ: резонеры комедіи даже выражаются обыкновенно осторожнѣе. Можно, конечно, и у нихъ натолкнуться на рѣшительные выводы, въ родѣ, напр., такого: «Весь плодъ науки есть сомнѣніе и недоумѣніе» («Матерняя любовь»). Фонвизинъ, какъ всегда, и здѣсь подаетъ реплику. «Вотъ каковы тѣ люди («нынѣшніе философы»), изъ которыхъ Европа многихъ считаетъ великими и которые, можно сказать, всей Европѣ повернули голову!» У нашего вояжера голова на мѣстѣ, а потому онъ съ этими «великими» не церемонится. «Истинно, нѣтъ никакой нужды входить съ ними въ изъясненія, почему считаютъ они религію недостойною быть основаніемъ моральныхъ человѣческихъ дѣйствій, и почему признаніе бытія Божія мѣшаетъ человѣку быть добродѣтельнымъ? Но надлежитъ только взглянуть на самихъ господъ нынѣшнихъ философовъ, чтобы увидѣть, каковъ человѣкъ безъ религіи!»

Не будемъ продолжать далѣе этихъ сопоставленій между сценическими типами, типами дѣйствительности и взглядами передовой русской интеллигенціи. Сказаннаго достаточно, чтобы характеризовать настроеніе той значительной по количеству общественной среды, къ которой обращалась театральная пьеса. Эта среда была, какъ мы видимъ, несравненно доступнѣе для распространенія націоналистическихъ тенденцій, чѣмъ новѣйшихъ идей, философскихъ и политическихъ. И однако же, передовые вожди общественнаго мнѣнія предпочитали давать эти идеи, на которыя не было спроса въ широкой публикѣ, и не давали того, что этой публикѣ требовалось: не давали націоналистической теоріи. Такъ какъ теоретиками только и были одни они, и такъ какъ націоналистическое теченіе, въ сущности, довольствовалося однимъ настроеніемъ, то довольно понятно, почему XVIII-й вѣкъ такъ и не создалъ никакой стройной теоріи русскаго націонализма. Однако же, попытки націоналистическихъ разсужденій были. Нужда въ нихъ стала особенно сильно чувствоваться, когда критическое общественное мнѣніе было принуждено умолкнуть. Необходимо, поэтому, остановиться и на нихъ, чтобы исчерпать всѣ главныя теченія общественной мысли екатерининскаго времени.

Для націоналистическаго настроенія болѣе, чѣмъ для какого-либо другого,—и чѣмъ далѣе, тѣмъ больше,—сама Екатерина даетъ тонъ и выраженіе. Съ самаго своего появленія въ Россіи, съ ревностью иностранки, рѣшившей во что бы то ни стало сдѣлаться русской и спѣшившей перенять для этого всѣ тонкости чуждаго ей народнаго

быта, Екатерина увлеклась тѣмъ, что мы назвали этнографическимъ народолюбіемъ. До конца жизни она писала безъ всякихъ правилъ орѳографіи и путала русскіе падежи; но русскія пословицы, русскія повѣрія, обычаи, предрасудки, она считала себя знающей въ совершенствѣ. Создавшійся такимъ образомъ интересъ къ этнографической старинѣ возрасталъ, по мѣрѣ того, какъ падало уваженіе и довѣріе къ «моднымъ философамъ». Въ самый разгаръ сильныхъ впечатлѣній французской революціи Екатерина углубилась окончательно въ русскую исторію и демонстративно заявляла, что не читаетъ больше ничего, кромѣ лѣтописей. На тотъ же путь историческаго націонализма толкала ее и внѣшняя политика. Начиная съ польскихъ раздѣловъ и кончая знаменитымъ «греческимъ проектомъ», Екатерина тутъ лишь примѣняла и развивала дальше традиціонную русскую націоналистическую теорію «панрусизма» и «панславизма». Задолго до русскихъ историковъ-націоналистовъ XIX-го вѣка она пишетъ Гримму, что «скоро докажетъ, что древніе славяне дали свои названія большинству рѣкъ, горъ, долинъ и урочищъ во Франціи. Шотландіи и въ другихъ мѣстахъ». Нѣсколько недѣль спустя она уже увѣрена, что салической законъ есть славянскій, Хлодвигъ и Меровинги тоже славяне (Людвигъ=людь+двигъ), Хильперикъ лишился трона потому, что хотѣлъ внести въ римскій алфавитъ три славянскихъ буквы (х, ч и пси), и недаромъ французскіе короли приносятъ въ Реймсѣ присягу надъ славянскимъ евангеліемъ. Эти смѣлыя гипотезы Екатерина оставляла, правда, про себя. Но она громко высказывала и крѣпко держалась за другой свой историческій выводъ, именно, что «въ теченіе слишкомъ семисотъ лѣтъ, т.-е. до смерти царя Θεодора Іоанновича, Россія управлялась, имѣла приблизительно тѣ же нравы, шла тѣмъ же путемъ и находилась почти на одномъ уровнѣ, какъ и всѣ государства Европы». Только смуты передъ водареніемъ Петра немножко задержали ее назадъ; но законодательство Екатерины поможетъ быстро наверстать потерянное.

Для оффиціального или оффиціознаго націонализма екатерининской эпохи очень характерна эта постановка вопроса. Екатерина не рѣшалась идти такъ далеко, какъ уже пошелъ Фонвизинъ, и утверждать, что за границей «во всемъ генерально хуже нашего», а «у насъ все лучше, и мы больше люди, нежели нѣмцы». Она довольствовалась защитой болѣе скромной позиціи,—что у насъ «не хуже», или, по крайней мѣрѣ, что за границей такъ же худо, какъ у насъ. Эту позицію она заняла уже въ своемъ «Антидотѣ», опроверженіи книги о Россіи аббата Шаппа (1770). Здѣсь уже формулированъ извѣстный намъ тезисъ: «въ какой странѣ люди—не люди?»; «въ Россіи люди такіе же, какъ и повсюду»; «ни вполне хороши, ни вполне дурны: такое среднее состояніе—въ природѣ вещей и существуетъ у всѣхъ народовъ, ибо человѣкъ всегда приблизительно одинаковъ, подъ какимъ бы небомъ

онъ ни родился». Къ этой безспорной аксіомѣ примыкаетъ далеко не безспорный уже выводъ: «русскій народъ стоитъ приблизительно въ уровень съ остальными народами Европы». Всѣ дальнѣйшія доказательства относятся не къ первому, а къ послѣднему тезису. Методъ доказательства состоитъ или въ отрицаніи фактовъ, доказывающихъ низкую степень развитія Россіи, или въ ссылкахъ на подобныя же факты на Западѣ, или, наконецъ,—изрѣдка—въ утвержденіи, что хотя данный фактъ и вѣренъ, но онъ быстро отходитъ въ прошлое, подъ вліяніемъ законодательныхъ усилій Екатерины. Русскія избы воняютъ, но «поѣзжайте, г. аббатъ, въ Вестфалію: тамъ услышите и не такіе запахи». Биронъ былъ плохъ, но не лучше и «правленіе хваленаго кардинала Ришелье». Тайная канцелярія—не хороша: но она «сдѣлалась ненужной» и «упраздняется», а «Бастилія еще существуетъ». Впрочемъ, примѣры этого рода можно найти въ изобиліи на всякой страницѣ «Антидота». Не останавливаясь на нихъ, замѣтимъ еще, что Екатерина не ограничивается защитой выбранной позиціи, но изъ обороны переходитъ въ наступленіе. «Русскій крестьянинъ въ сто разъ счастливѣе и обезпеченнѣе, чѣмъ французскіе крестьяне»; «наши чиновники и на сотую долю не такіе тираны, какъ чиновники французскаго короля»; «мало есть государствъ, въ которыхъ бы законъ уважался бы такъ, какъ у насъ»; «нѣтъ страны, въ которой жизнь и имущество подданныхъ были бы ограждены бѣльшими формальностями, чѣмъ въ Россіи». «Наши законы—самые простые въ Европѣ и во многомъ самые ясные и разумные». «Граждане—наименѣе стѣснены, наименѣе подвержены мелочнымъ придиркамъ». «Какой современный народъ можетъ похвастаться, что въ цѣломъ своемъ составѣ былъ призванъ къ составленію своихъ законовъ?» «Всей Европой признано, что нѣтъ народа болѣе сильнаго и неутомимаго». «Общезвѣстно, что нѣтъ народа, болѣе работающаго». Не признавать всего этого можетъ только «предубѣжденіе и предразсудокъ»: еще чаще Екатерина говоритъ: зависть и злоба. «Враги русской славы стараются изобразить Россію такою, какою они желали бы, чтобы была эта страна, но не такою, какою она есть, то-есть цвѣтущею и сильною». Вотъ источникъ всѣхъ «клеветъ» иностранцевъ противъ Россіи. Какъ видимъ, самъ Данилевскій не могъ бы опредѣленнѣе поставить вопроса.

Отвлекаемая другими дѣлами и мыслями,—въ томъ числѣ либеральными, Екатерина не занялась систематизаціей своихъ націоналистическихъ взглядовъ, и не пробовала привести ихъ въ согласіе съ остальнымъ составомъ своего умственнаго багажа. Но она нѣсколько разъ пробовала поставить эту задачу другимъ лицамъ, которыхъ поочередно приближала къ себѣ. Мы видѣли, что одно время она намѣчала для этой цѣли Новикова и готова была помогать ему матеріалами и деньгами, только бы онъ нашелъ въ историческихъ рукописяхъ древнія русскія добродѣтели. Мы знаемъ, что Новиковъ, послѣ первыхъ нерѣшительныхъ попытокъ, отказался отъ безнадежной и слишкомъ про-

творѣчившей его собственнымъ цѣлямъ и взглядамъ задачи—найти въ исторіи подтвержденіе націоналистическимъ взглядамъ. Нѣсколько раньше Новикова Екатерина обратилась для той же цѣли,—хотя и не такъ рѣзко поставленной тогда, къ кн. Щербатову. Этотъ выборъ былъ немногимъ удачнѣе. И Щербатову помѣшала создать цѣльную націоналистическую теорію—та же причина, какъ самой Екатеринѣ: онъ слишкомъ проникнуть былъ непригодными для этой теоріи и противорѣчившими ей рационалистическими взглядами.

Взгляды Щербатова эволюционировали, и надо различать Щербатова въ годы приближенія къ Екатеринѣ отъ того же кн. Щербатова годовъ взаимнаго недовольства и раздраженія. Щербатовъ перваго періода держится деистическихъ взглядовъ на религію и вмѣстѣ съ Екатериной (см. тотъ же Антидотъ) раздѣляетъ теорію монархіи, ограниченной закономъ. Щербатовъ въ оппозиціи — остается, правда, деистомъ въ теоріи, но на практикѣ все больше и больше подчеркиваетъ свою приверженность къ традиціонной вѣрѣ *въ противоположность* безвѣрію и вольтеріанству Екатерины, и обнаруживаетъ все болѣе рѣзкія симпатіи къ аристократической идеѣ *въ противоположность* даже тѣмъ льготамъ, которыя Екатерина дала дворянству—и которыя кажутся ему недоста точными, а подчасъ и оскорбительными. Щербатовъ первыхъ годовъ былъ полонъ вѣры въ предстоящее «смягченіе нравовъ» путемъ рациональнаго законодательства; Щербатовъ послѣдняго времени говоритъ уже только о «поврежденіи нравовъ» и ядовито констатируетъ полное фiasco просвѣщеннаго абсолютизма. Строить систему изъ всѣхъ этихъ разнородныхъ элементовъ — значило бы идти дальше самого Щербатова. Но нельзя не указать на двѣ—три идеи, которыя онъ развилъ полнѣе своихъ предшественниковъ по теоріи націонализма.

Во первыхъ, это извѣстная намъ идея, что религія падаетъ вмѣстѣ съ предрасудками, нравственность вмѣстѣ съ религіей, и, слѣдовательно, — просвѣщеніе портитъ нравы. У Щербатова на этой идеѣ построена цѣлая историческая система. Исходный пунктъ ея—идеализація допетровской старины, въ смыслѣ цѣльности и чистоты нравовъ. Результатъ процесса—упадокъ вѣры и нравовъ, безвѣріе и развратъ,—особенно тотъ развратъ и распущенность въ семейной и личной жизни, на которые такъ часто нападала комедія. Причина процесса: вторженіе иноземной внѣшней культуры,—роскоши и изнѣженности. Описательная сторона у Щербатова, какъ мы имѣли случай видѣть, вѣрна и поучительна. Но его объясненія—почти исключительно моралистическія—поверхностны и мелки. Большею частью они не идутъ дальше самого описанія. Самое глубокое изъ его наблюденій,—наблюденіе надъ характеромъ русской вѣры (стр. 218), сдѣлано какъ бы нечаянно, и до такой степени не вяжется съ другими частями его міровоззрѣнія, что самъ онъ, вмѣсто логическаго, казалось бы, требованія—усилить самостоятельность и внутреннее значеніе вѣры—проекти-

руеть, въ концѣ концовъ, рядъ такихъ крутыхъ, чисто государственныхъ мѣръ для установленія единства вѣры въ Россіи, которыя напоминаютъ Посошкова. Какъ онъ миритъ свой государственный взглядъ на вѣру, какъ на орудіе «здравой политики», съ своимъ же историческимъ объясненіемъ, по которому и самое «поврежденіе нравовъ» есть именно слѣдствіе такого т.-е. государственнаго характера вѣры, это остается его секретомъ. Во всякомъ случаѣ, при такомъ несогласіи съ самимъ собой, онъ очевидно, не могъ сдѣлать вѣру, т.-е. русскую форму вѣры, основой какой-либо націоналистической теоріи. Точно также, онъ не могъ положить въ основу націоналистической конструкціи и русскую форму государства; ибо тутъ отъ заимствованной изъ Монтескье вражды къ «деспотичеству» онъ сразу перешелъ къ совершенно личной ненависти къ режиму, прикрывавшемуся законностью. Его идеаломъ была вначалѣ сословно-конституціонная монархія Монтескье; позднѣе онъ переноситъ отчасти свои симпатіи на старый шведскій порядокъ, въ которомъ дворянскій элементъ былъ еще сильнѣе, аристократичнѣе и сплоченнѣе, а монархическій слабѣе, чѣмъ въ старой Франціи. Такимъ образомъ, ни «православіе», ни «самодержавіе» не могли играть роли основныхъ элементовъ въ націоналистической теоріи Щербатова: немудрено, что однихъ симпатій къ старинѣ и къ мнимой цѣльности тогдашнихъ нравовъ оказалось недостаточно, и націоналистическая теорія осталась не построенной.

Раньше, чѣмъ все это могло выясниться окончательно, Екатеринѣ стало ясно, что Щербатовъ для нея, при всѣхъ своихъ консервативныхъ тенденціяхъ, слишкомъ либераленъ. Вѣроятно же всего, что это и было главной причиной ея охлажденія. Любимцемъ и помощникомъ въ собственныхъ историческихъ работахъ является теперь для Екатерины Болтинъ, который начинаетъ свою литературную карьеру написаннымъ по заказу Потемкина и напечатаннымъ на средства императрицы двухтомнымъ памфлетомъ противъ новой «клеветы» на Россію французскаго Леклерка. Продолжаетъ онъ рѣзкой и безцеремонной полемикой противъ Щербатова, долженствовавшей окончательно убѣдить Екатерину, что у стараго ея любимца голова не совсѣмъ въ порядкѣ, а на новаго можно положиться вполне.

Нападеніе на Леклерка было новымъ «Антидотомъ»; но націоналистическая теорія въ этомъ произведеніи Болтина дѣлала новый и крупный шагъ впередъ. Болтинъ вполне принималъ исходную аксіому Екатерины, что люди вездѣ люди, что добродѣтели и пороки есть у всѣхъ народовъ. Онъ вполне усвоилъ также и ея способъ аргументаціи: у насъ не хуже, а за границей не лучше нашего. Но другое основное ея положеніе,—что у насъ все, болѣе или менѣе, одинаково и что мы стоимъ «приблизительно» на той же ступени, какъ Европа,—это положеніе Болтинъ рѣшительно отвергнулъ. Екатерина въ «Антидотѣ» очень раздраженно полемизировала противъ замѣчанія аббата Шаппа, что «недостатокъ таланта у русскихъ есть, повидимому, дѣйствіе почвы

и климата». Болтинъ, конечно, не сомнѣвался въ талантѣ русскихъ; но онъ принялъ замѣчаніе Шаппа въ той формѣ, что русскіе *дѣйствительно* отличны отъ европейцевъ, что отличие это *дѣйствительно* объясняется разницей дѣйствія почвы и климата. Екатерина должна была почувствовать, что съ этой уступкой націоналистическая теорія гораздо болѣе выигрываетъ, чѣмъ проигрываетъ, такъ какъ она получаетъ болѣе глубокое обоснованіе, чѣмъ когда-либо прежде,—и этимъ обоснованіемъ служатъ, въ духѣ самыхъ новѣйшихъ идей, неизмѣнные законы природы.

Теперь и защита «обычаевъ предковъ» становилась на неожиданно твердую почву. Развѣ не были эти обычаи, это старинное народное «умоначертаніе», сложившееся вѣками,—непосредственнымъ продуктомъ психофизиологическихъ вліяній, обусловленныхъ почвой и климатомъ? Измѣна этимъ нравамъ, введеніе иностранныхъ обычаевъ, оказывались не только чѣмъ-то дурнымъ и безнравственнымъ, а прямо—физически-вреднымъ. Уничтожьте баню,—ту самую баню, надъ которой такъ издѣвался Шаппъ и которую не умѣла защитить Екатерина въ «Антидотѣ»; введите французскую кухню: и вы ослабите тѣло и испортите желудокъ; то и другое не по климату. Понятно, что при такомъ взглядѣ перемѣна народныхъ «нравовъ» и «умоначертанія» вопреки законамъ природы—часто просто даже невозможны. Такія перемѣны—дѣло вѣковъ, а не результатъ усилій одного законодателя. Не законы вызываютъ перемѣну въ нравахъ, а, наоборотъ, только перемѣна въ нравахъ можетъ вызвать перемѣну въ законахъ. Этотъ тезисъ даетъ основу для оцѣнки дѣйствій отдѣльнаго законодателя, напр., реформы Петра Великаго. На немъ строитъ Болтинъ и все свое объясненіе хода русской исторіи, первое органическое объясненіе ея, хотя, конечно, черезчуръ еще схематическое и внѣшнее.

Если самое «единообразіе» законовъ природы неизбежно вызываетъ *разнообразіе* національнаго развитія каждаго народа, въ зависимости отъ различныхъ мѣстныхъ условій, физическихъ и историческихъ, то нѣтъ ни возможности, ни надобности гнаться за поисками *сходства* и натягивать сравненія тамъ, гдѣ ихъ быть не можетъ. Екатерина упорно отрицала утвержденія Шаппа, что Россія плохо населена и доказывала, что Россія въ собственномъ смыслѣ набита жителями, «какъ яйцо». Болтинъ могъ свободно признать слабую населенность Россіи и основать на этомъ важные выводы относительно ея своеобразія.

Понятно, какъ все это двигало впередъ созданіе націоналистической теоріи. И однако, такой теоріи не создалъ и Болтинъ, какъ онъ ни близко подходилъ иногда къ ея созданію. Почему же это такъ вышло?

Дѣло въ томъ, что Болтинъ далъ для своей теоріи слишкомъ широкое основаніе. При дальнѣйшемъ развитіи его мыслей, на его основаніи можно было построить научную теорію, но нельзя было построить націоналистической. Признавъ особенность русскаго національнаго раз-

витія, попытавшисьъ объяснить эту особенность условіями среды, онъ, конечно, сдѣлалъ для націоналистической теоріи очень много.—но все-таки не все, что для нея было необходимо. Его теорія объясняла очень удовлетворительно и своеобразность, и большую или меньшую устойчивость національныхъ элементовъ быта; но она нисколько не доказывала ни ихъ полной неподвижности и неизмѣняемости, ни необходимости и возможности ихъ сохраненія при измѣнившихся условіяхъ жизни. Въ его теоріи было слишкомъ еще много эволюціоннаго элемента, чтобы основать на ней незыблемые устои; въ частности политическая форма быта, какъ ясно было и изъ его изложенія, мѣнялась, эволюционировала на самыхъ глазахъ исторіи. Съ другой стороны, въ теоріи Болтина было слишкомъ много научнаго безразличія къ тому или другому частному національному прогрессу, чтобы основать на ней националистическую теорію превосходства какого-нибудь *одного* изъ нихъ. Она объясняла *національное* въ исторіи, не давая прямыхъ поводовъ для *націоналистическаго* отношенія къ этому національному. Для того, чтобы получить настоящую націоналистическую теорію, нужно бы было, слѣдовательно, выбросить изъ теоріи Болтина ея эволюціонные элементы и ея научную объективность. То и другое съ успѣхомъ сдѣлала впоследствии метафизическая идея абсолютнаго «народнаго духа». Но это случилось полувѣкомъ позже. Мы еще увидимъ, какъ это произошло. XVIII-й вѣкъ, какъ мы окончательно убѣждаемся на этой, наиболее развитой и продуманной изъ тогдашнихъ націоналистическихъ теорій, не давалъ еще достаточныхъ матеріаловъ для созданія полной и законченной теоріи націонализма *). Изъ этого не слѣдуетъ, конечно, чтобы въ то время не было и націоналистическаго настроенія. Настроеніе это не для того, конечно, перешло изъ инстинктивнаго въ болѣе или менѣе сознательное, чтобы сразу уничтожиться. Напротивъ, мы увидимъ въ ближайшемъ поколѣніи очень сильный ростъ этого настроенія, связанный съ новыми попытками націоналистическихъ построеній. Если мы рассмотримъ отдѣльно только что характеризованныя попытки, то лишь потому, что онѣ принадлежатъ дѣятелямъ изучавшагося нами теперь поколѣнія и, какъ мы только что видѣли, носятъ на себѣ неизгладимую печаль его взглядовъ, его чаяній, его

*) Терминъ «національный», «національность» употреблялся и употребляется мной въ безразличномъ смыслѣ: «относящійся къ націи, свойственный націи». Терминъ «націоналистическій, націонализмъ» я употребляю въ смыслѣ *terminus prae-grans*: относящійся *сочувственно* къ національнымъ чертамъ, сочувственное отношеніе къ національнымъ особенностямъ. Думаю, что этого разъясненія достаточно, чтобы устранить тѣ возраженія противъ моей терминологіи, которыя предъявлялись мнѣ нѣкоторыми критиками. Источникъ возраженій, если не ошибаюсь, заключался въ желаніи сохранить терминъ «національный» для означенія *тѣхъ* изъ числа національныхъ особенностей, относительно которыхъ *сочувствіе* закономерно. Такому употребленію термина я отказываюсь слѣдовать, ибо вопросъ о предѣлахъ законнаго сочувствія не можетъ быть рѣшенъ терминологіей, а только рискуетъ быть запутанъ; самое же рѣшеніе вопроса субъективно и условно.

увлеченій современной ему литературой, наконецъ, того общественнаго положенія, которое занимали представители 'этихъ теорій при Екатеринѣ. Въ ближайшее послѣдующее время все это измѣнится очень радикально, какъ увидимъ. вмѣстѣ съ тѣмъ измѣнится и характеръ націоналистическихъ теорій, хотя нельзя отрицать, что оживленіе этихъ теорій въ послѣдніе годы Екатерины уже предсказываетъ и намѣчаетъ путь, по которому пойдутъ ближайшіе младшіе сверстники. Но ихъ моральный и умственный обликъ принадлежитъ уже XIX столѣтію.

О градациі предреволюціонныхъ настроеній см *Félix Rocquain*, *L'esprit révolutionnaire avant la Révolution 1715—1789*. Paris, 1878 (есть русскій переводъ). Вопросъ объ отношеніи Россіи къ французской революціи разсмотрѣнъ въ рядѣ интересныхъ статей *Alfred Rambaud*. въ *Revue politique et littéraire*, 1) Paris et St.-Petersbourg à la veille de la Révolution, (2 série, t. XIV, p. 1221, 29 juin. 1878). 2) L'opinion russe et la Révolution (ib., t. XV, p. 249, 14 septembre 1878), 3) Un homme d'état russe (Семенъ Воронцовъ) pendant la révolution française (ib., t. XVI, p. 669, 18 janvier 1879) 4) Catherine II. et la révolution française I. Le journal de Khrapovistki (ib., t. XIX, p. 361, 16 octobre, 1880). 5) Catherine II et la révolution française II Les libéraux russes et la révolution (ib. 3-me série, t. I, p. 358). *Его же*. 6) La révolution française et l'aristocratie russe (Mémoire lu à l'academie des Sciences M. et P. Paris, 1878). Разсказъ о Соѣмоновѣ см у *Fallois*, M-me Swetchine, Paris, 1860. Новѣйшая работа принадлежитъ Larivière'у, Catherine II et la Révolution (здѣсь и библиографія). Учебные годы лейпцигскаго кружка характеризованы самимъ Радищевымъ въ его житіи О. В. Ушакова (перепечатано П. Бартевымъ въ сборникѣ «XVIII вѣкъ», т. II). Здѣсь же см. и критическія замѣчанія Ушакова на книгу Гельвеція Трактатъ «о смертности и безсмертіи» изложенъ (по Собранію сочиненій Радищева) въ книгѣ проф. *Евгеня Боброва*, Философія въ Россіи вып. III, Казань. 1900. Переписка Кутузова съ московскими масонами издана въ «Русской Старинѣ», 1874, №№ 1—3. Важнѣйшія сочиненія и матеріалы о Радищевѣ: *Сухомлиновъ*, Исслѣдованія и статьи, т. I, Спб Архивъ Воронцова, т. V (здѣсь критическія замѣчанія Екатерины, допросные пункты и отвѣты Радищева), *В. Е. Якушкинъ*, Судъ надъ русскимъ писателемъ въ XVIII в. въ «Русской Старинѣ», 1882, № 9 и *его же*: Учебные годы Радищева въ сборникѣ «Подъ знаменемъ науки», М. 1802 и *В. А. Мякотинъ*, На зарѣ русской общественности

въ его книгѣ: Изъ исторіи русскаго общества, Спб. 1902 (тамъ же см. статью о Щербатовѣ: дворянскій публицистъ екатерининской эпохи). О разныхъ элементахъ системы Лейбница см. *Merz, Leibnitz*, въ серіи *Philosophical Classics* ed by W. Knight, Lond. 1884. О иностранныхъ источникахъ Радищева, кромѣ самыхъ сочиненій, цитированныхъ въ текстѣ авторовъ (с Гравесанда, Гельвеція, Гольбаха, Мендельсона, Платнера, Бонне, Галлера, Мабли) см. *W. Guerrier, L'abbé de Mably, moraliste et politique*, Paris, 1886 *I E Poritzky, Lamettrie*. Berlin. 1900. *G. Plekhanow, Beitrage zur Geschichte des Materialismus* (Holbach, Helvetius, Marx), Stuttgart, 1896. *Offner, Die Psychologie Charles Bonnet's*, Leipzig, 1893, въ *Schriften der Gesellschaft für psychologische Forschung* Объ отношеніи Екатерины къ революціи, кромѣ указанныхъ выше сочиненій, см. ея переписку съ Гриммомъ и дневникъ Храповицкаго. Значительная часть театральныхъ пьесъ екатерининскаго времени собрана въ «Россійскомъ Театрѣ или полномъ собраніи всѣхъ Россійскихъ театраль-ныхъ сочиненій», 43 тома, Спб. 1786 и слѣд. Нѣкоторыя выдержки оттуда см. въ книгѣ *Незеленова, Литературныя направленія въ екатерининскую эпоху. «Антидотъ» Екатерины* перепечатанъ въ 4-мъ томѣ «Восемнадцатаго вѣка» Бартенева.
